

Поэль Карп

ПОЧЕМУ Я НЕ ХУНВЕЙБИН?

Петербург

Поэль Карп

ПОЧЕМУ Я НЕ ХУНВЕЙБИН?

Петербург

2015

УДК 930
ББК 633
К26

К26 **Поэль Карп**
Почему я не хунвейбин? — СПб.: ЛЕМА, 2015. — 420 с.

ISBN 978-5-98709-900-1

© Карп П., 2015

Статьи, составившие сборник, как публиковавшиеся, так и не печатавшиеся, объединяет их общий подход к выяснению социального смысла событий конца XX и начала XXI века. Вместе с книгами «Разбитый алтарь арифметики», «Свобода – опора порядка» и опубликованной ранее монографией «Отечественный опыт» сборник отражает взгляды автора, складывавшиеся со времени учения на кафедре истории Средних веков МГУ. Там в свое время сложилась русская школа английской аграрной истории П.Г.Виноградова (1854-1925), к которой принадлежал А.Н.Савин (1873-1923), части материалов, собранных которым в британских архивах, была в 1949 году посвящена дипломная работа автора. Тогда же он знакомился с трудами немецкой социальной истории конца XIX – начала XX века и студентом имел возможность прочесть «Протестантскую этику и дух капитализма» Макса Вебера (1864-1920) и его статьи о России.

К сожалению, обстоятельства эпохи не позволили посвятить себя исследованию Средних веков. Но учение в трагическую, однако еще не вконец задвленную пору российской исторической науки оставило навыки мышления, потом служившие автору в занятиях дальнейшей жизни. Соответственно, в сборнике первые три части отведены литературе: классической, советской и нынешней, четвертая – художественным и общественным событиям, пятая – театру и шестая – переводу поэзии, постоянному занятию автора. Статьи в каждой части расположены не строго хронологически, а в соответствии с развитием складывающихся сюжетов. В конце книги указаны место и время первой публикации каждой статьи. Там, где меж написанием и публикацией прошли годы, или если местом первой публикации оказался настоящий сборник, указана и дата написания.

Как читатель, с одной стороны, Савина, с другой, Вебера, автор сознавал подвижность истории, ее внутренние преобразования и революционные перемены, сметавшие, хоть и не всегда справедливо, но при сопротивлении неизбежно, преграды дальнейшему развитию. И всегда отличал насильственное устранение переживших свое время ограничений от насильственного построения предполагаемого прогресса. Нежелание различать то и другое едва ли не нагляднее всех движений этого типа, выразили китайские хунвейбины в «культурной революции» 1966 года, трактовавшейся потом как вредная крайность.

Статьи сборника были полемическими реакциями на конкретные крайние суждения, ощутимо влиявшие на разные сферы нашей художественной и общественной жизни. Авось, сложенные вместе они выявят свой более общий смысл.

Содержание

I

1. Почему я не хунвейбин?	7
2. По поводу незаменимости	18
3. «Классика и мы»	25
4. В защиту Чацкого	36
Прибавление к написанному	51
5. Смысл притчи.	54
6. Непреднамеренность гения.	61
7. Социальная почва романтизма	63
8. Романтизм и его исследователь	139
9. Памяти Н.Я.Берковского	144

II

10. Деревенский человек	147
11. Актуальность вчерашней газеты	171
12. Решения, от которых не уйти	174
13. За кого Чонкин?	176
14. Недостоверное опознание	182
15. Старые письма	186
16. Пропущенные уроки	190
17. Мифология, как принцип	201

III

18. Знать своих героев!	223
19. Единый счет	228
20. Смятение и звуки	238
21. Идолопоклонство или гласность?	249
22. Культ безличности	252
23. Правда не по букварю	259
24. Новые песни Кантора	263
25. С надеждой на лютые зимы	273

IV

26. И это было правильно?	285
27. Зачем мы пишем?	289
28. Принадлежит народу	295
29. Что почем?	300
30. Круги художественного кровообращения	306
31. Книга и государство	319
32. Книга и читатель	323
33. Вопросы о культуре	327
34. Ни один идеал не может быть единственным	330
35. Выступление на похоронах В.М.Глинки	340
36. Он прожил не зря	341

Опора самосознания.	350
V	
37. Современная трагедия	355
38. Пределы преискуранта	357
39. Булгаков среди перемен	359
40. Святые и святоши	361
41. Казарма в храме	364
42. Профессиональные парадоксы	369
43. Памяти Эфроса	379
44. Крушение Креона	382
45. Надежда была	385
VI	
46. Преображение	388
47. «Что пользы, если Моцарт будет жив?»	401
48. Шарль Бодлер, Цветы зла	406
49. Дважды рожденное	408
50. Только арифметика	414
Место и время публикаций	419

I

ПОЧЕМУ Я НЕ ХУНВЕЙБИН?

Когда мои добрые знакомые потешались, над тем, что М. Лифшиц счел необходимым заявить о своей неприязни к модернизму всему свету, я не смеялся. Оно, конечно, модернизм не всеобщее исповедание даже и на Западе, тем более у нас, и риторический вопрос в стиле Бертрана Рассела тут несколько странноват: не модернист, ну и не модернист, мало ли кто не модернист, вон трамвай битком набит не модернистами, и никто из них по этому поводу не шумит. Но мне, признаться, демонстрация М. Лифшица понравилась. Не потому, скажем сразу, понравилась, что я с ним согласен. Как увидит читатель, совсем даже напротив. Но подумалось, что в этом упорном отречении от модернизма заключено высшее его признание. Уж если настолько настоятельно ощущаешь требование эпохи быть модернистом, что считаешь для себя необходимым публично его отвергнуть, сильное, должно быть, это требование. Не объясняет же М. Лифшиц человечеству, почему он не адвентист, не сторонник йогов и даже, надо думать, не поклонник несравненного Пеле.

Спор о модернизме лишь по видимости сосредоточен на художественных проблемах. Речь идет о всякой духовной жизни и ее месте в обществе, именно поэтому М. Лифшиц так легко подменяет в своих рассуждениях искусство философией и философию искусством. Конечно, такие подмены облегчают внушение недоказуемого. Положить на обе лопатки философа Пикассо не составит, вероятно, труда для среднего студента, тем более что философа такого на свете нет, а художнику Пикассо не возбраняется пороть чушь, эпатировать публику, и не глядя подписывать бог весть кем составленные манифесты. Мы, конечно, и глупости осудим, и эпатажу подивимся, но строить на них далеко ищущие выводы все же поостережемся. Ведь интересен-то Пикассо человечеству своими картинами, вот о них и надо бы потолковать взявшемуся судить о его философии. Но, увы, орешек сей труден не только для студента.

В споре с М. Лифшицем его нет, однако, надобности разгрызать. Ведь художник здесь лишь псевдоним философа, вот и посмотрим для начала, что ждет его, буде мы вылуцим (в той мере, в какой это вообще возможно) идеи из художественной ткани. Если наперед ясно, что выволочки не миновать, стоит ли стараться? Раз уж спор идет про другое, про другое будем и говорить.

«Я понимаю, — соглашается М. Лифшиц, — не философы делают события, а события делают философов, иначе вина последних была бы слишком велика. Однако, вина все-таки есть». Вот и точка опоры, — расходимся мы с М. Лифшицем только насчет вины. Не потому, впрочем, расходимся, что, по-моему, у философа, художника или ученого вообще не может быть вины, и в сфере духа, что захочешь, то и выкомаривай. Опять же, совсем напротив. Но именно поэтому необходимо установить, какие тут бывают вины.

Итак, мы договорились: события делают философов. Но что же делают философы? На кой ляд содержит их общество, а газеты предоставляют им по три подвала сразу? Покамест мы не знаем, что они делают, что должны они делать, мы ничего не знаем и об их винах. Когда по улице малого городка — в больших этого уже не увидишь, — едет ассенизационный обоз, ценители чистой красоты зажимают носы: воняет. Не поддадимся соблазну морализации, дескать, сия тяжелая картина не побудит наших эстетов отказаться в дальнейшем от отправления естественных надобностей. Подумаем о вине сидящего на козлах. Это ведь он загубил тихие улочки нашего милого философического городка. Но если мы (конечно, не со страниц «Литературной газеты», которую он, должно быть, видит лишь на работе, да и то, естественно, обрывками) скажем ему: что же ты, братец, виноват, уж признавайся, он, к неудовольствию М. Лифшица, вины за собой не признает, хотя, может быть, и поймет, какое огорчение доставил нашему тонкому вкусу, а только пожмет плечами, да хорошо, если, удостоит ответа, и нас оглядев, бросит: «Я дело свое делаю».

Когда философ или художник смотрит на мир и говорит, что в мире есть, пусть даже отдавшись этому миру, слившись с ним, но открыв в нем существенное, назвав его, демонстрируя его нам, он тоже делает свое дело, и нелепо винить его в том, что увидал он иное, чем бы нам хотелось. К тому же, увидеть-то увидал, а что из этого выйдет, хорошее или худое, сказать еще трудно. Как свидетель, художник или философ виноват, если кривит душой. Но как бы ни были странны его показания, если он не лжет нарочно, задача суда, наша задача — разобраться, о чем же его показания говорят. Пренебрегая ими, мы не свидетеля, не художника наказываем, мы ограничиваем для себя возможность судить о деле.

Зачем же корить художника тем, что он не сивилла? В особенности не стоит его корить, когда приходишь после него, от него узнаешь, что в мире есть и, благо, время несколько продвинулось, уже стало ясным, до чего вчерашняя новость дошла. Понял это, правда, теперь и сам художник, но его обличитель, в полном соответствии с нравами далеких наших предков, полагающих, что гонца, доставившего дурную весть, надо убивать, принимается хихикать по поводу исторического возмездия и иронии истории.

История и впрямь успевает подчас преподнести художнику, а еще чаще философу, печальные плоды тех своих поворотов, каких он некогда жаждал. Посмеяться тут не грех, абсолютная истина никому не обеспечена, каждый так или иначе обманывался, а иные еще норовили обмануть других, и уж этих-то, норовистых, люди вольны высмеивать, не дожидаясь приговора истории. Но когда в темном хаосе заблуждений на миг блеснет искорка истины, сколь бы ни был слаб ее свет, какую бы малость ни озарял, нельзя от него отмахнуться. Истина дается нелегко, крупницы ее драгоценны, хотя бы их и вынесло вместе со шлаком. Вот бы и стараться постоянно отличать неведомые прежде или по-прежнему живые истины от новых и старых самообманов и обманов. Так нет же, всегда находятся люди, уверенные, что истина принадлежит им одним и притом на вечные времена. Они возводят стену, ограждающую от заблуждений, и, поскольку отдельного входа

для истины быть не может, стена вырастает и перед истиной. Конечно, ратуя за право истины быть высказанной в любой форме и в любых обстоятельствах, мы невольно ратуем за такое же право для заблуждений, другого пути у истины нет. Но так все же можно надеяться, что в свете истины заблуждения померкнут, а иначе уцелеют одни заблуждения, если не свежеиспеченные, то старые и проверенные, не говоря уже, что часто и предрассудок — «обломок давней правды», которой стало недостаточно, — ведь, как ни упираться, и природе и обществу свойственна изменчивость.

Начался великий кризис общества, с эпохи Возрождения шедшего ввысь. Философ различает, не все, понятно, еще разумея, чем живет этот новый, начавший сдвигаться мир. А обличитель, который, как водится, понимает все, философа винит в том, что тот дышит воздухом мира, в котором живет: «Вы приняли условия задачи — решение не зависит от вас».

«Вы приняли условия задачи...» Но как же можно было их не принять? Переселиться на Марс? Не быть философом? Но, бога ради, что же мы тогда узнаем о нашей бедной Земле? М. Лифшиц совершенно не задается этим вопросом. Когда он голосует за «самый посредственный академизм, как за меньшее зло», он, по сути дела, признает, что никакого нового знания от искусства ему и не надо. Это — суть его воззрений. И предпочтение мюнхенской школе титанов Возрождения ничего тут не меняет.

Но, увы, мы не выбираем условия задачи. Рождаясь на свет, мы застаем мир, не нами созданный. И более того, не по нашей воле он несется куда-то вперед или в сторону. И вечно оказывается, что мы знаем о мире еще слишком мало, не поспеваем за ним, и надобно учиться дальше.

Можно ли ставить преграду знанию, даже предположив, что кто-то, где-то воспользуется потом этим знанием с дурной целью? Д. И. Менделеев открыл периодический закон, его открытие помогло Марии и Пьеру Кюри, их открытие привело, в конечном счете, к созданию ядерного оружия и погубило сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Несет ли Менделеев за это ответственность? Несут ли за это ответственность Мария и Пьер Кюри? Или эта ответственность падает только на плечи Роберта Оппенгеймера и его сотрудников? Разумеется, речь идет не об уголовной ответственности, тем более, что тут и у доктора Оппенгеймера найдутся смягчающие обстоятельства: бомбу уже делали в Германии и Оппенгеймер хотел, чтобы она не стала монополией фашистского зверя, а на Японию бомбу бросили, кажется, его даже и не слишком спрашивая. Я безмерно почитаю тех работавших в Германии физиков, которые уклонились от создания ядерного оружия, хоть это и не единственная причина того, что нацисты им не овладели. И пусть цивилизация, которая так дорога нам с М. Лифшицем, могла быть обязана своим спасением именно Роберту Оппенгеймеру, я все же не стану его сейчас защищать, он все же действовал уже в области практики — не философии, не науки, не искусства, — а тут свои законы. Но что до супругов Кюри и Менделеева, то, извините, их винить не в чем.

М. Лифшиц, вероятно, считает, что наперед мне ответил: «Наука есть наука, она вполне доказала свою ценность, хотя и вокруг нее вьется философский модернизм. (Не слишком ее, стало быть, сбивают его ложные идеи! — П. К.) А вот объективная ценность такого искусства остается сомнительной». Но тут лишь пожмешь плечами: к концу статьи критик модернизма забыл, что в начале ее он писал: «пусть нам не рассказывают детские нравоучительные истории об отличии искусства от науки». Вот именно! И наука и искусство — прежде всего, каналы информации (хотя и очень разной) о мире, в котором мы живем, и человечестве, среди которого мы живем. Если бы ученый сдерживал свою мысль, боясь последствий, никакой науки вообще бы не стало, если художник встает на горло собственной песне, искусство кончается, а порой и сам художник себя убивает, даже без револьвера. Между тем, насилию от этого ничего не делается, оно не стихает, достаточно припомнить историю Российской империи, которая без всякого вашего модернизма знала в насилии толк.

«Ах, — скажет М. Лифшиц, — вы, стало быть, на манер Г. Померанца отрицаете значение идей?» Отнюдь, отнюдь. Я никак не согласен с прекрасным по нравственному побуждению и, увы, довольно наивным рассуждением Померанца о том, что идеи, в сущности, значат не так уж много. Тем более, что теория «становится материальной силой, как только она овладевает массами». Но вот какая, однако, странность! Материальной-то материальной, но какой же именно силой идеи становятся, овладев массами? М. Лифшиц не задается этим вопросом, явно разумея, что если уж овладела некая идея массами, то именно она, а не какая-либо другая идея ими и осуществляется.

Но вот выступают массы за «свободу, равенство и братство», а на деле потом оказывается, что «свобода» — это, по преимуществу, возможность без феодальных ограничений продавать свою рабочую силу, «равенство» — опять же означает главным образом эквивалентность рыночного обмена, а «братство» — свидетельство национального характера одного рынка. Я, понятно, утрирую, в лозунге Великой французской революции есть и другие аспекты. Но так или иначе идеи «свободы, равенства и братства» отнюдь не адекватны действительному содержанию движения, которое началось, когда сей лозунг, овладев массами, стал материальной силой.

Поскольку М. Лифшиц игриво именует себя «сторонником известного мировоззрения», ему, разумеется, известно, что основатель этого мировоззрения открыл «товарный фетишизм». Но он открыл и вообще «идейный фетишизм», то есть указал на различие между выражением идеи и ее реальной сущностью. Уже отношение Маркса к философии Гегеля, именуемое «извлечением из нее "рационального зерна"», носило характер демистификации. Оно вовсе не сводилось к признанию за гегелевскими идеями реального материалистического содержания. По отношению к любому явлению духовной жизни метод Маркса был прежде всего методом демистификации, то есть открытия реального смысла в любой оболочке.

Демистификация была потребностью времени и, предложив материалистическое понимание истории, Маркс в немалой степени

демистифицировал краеугольные камни общества, в котором жил. И чем дальше двигалось общество, тем сильнее охватывало это движение самые разные сферы, вовсе не всегда непосредственно связанное с Марксом, порой даже думая, что оно ему противостоит. Все ясней становилось, что традиционные понятия и формы искусства тоже скрывают за собой уже иное реальное содержание, чем то, которым живет общество. Минувшие сто лет были веком великого демистификационного усердия. Искусство модернизма стало одним из главных его путей. Поскольку мистифицированные идеи выступали в формах, внешне подобных действительности, демистификация в искусстве не могла стать ничем иным, кроме как деформацией — деформацией природы в изобразительных искусствах, деформацией традиционных литературных приемов и музыкального строя.

Само собой, далеко не всегда процесс деформации, ставший основным методом модернистского искусства, действительно оставался демистификационным. Порой в ходе его вообще отказывались от познания мира, выплескивая вместе с водой ребенка, порой сама деформация заново мистифицировала публику, порой она вообще никакого отношения к искусству не имела — для шарлатанства и спекуляций, для эпигонства и изготовления суррогатов в модернизме ничуть не меньше возможностей, чем в любом другом художественном течении, и все же великие художники, которых так много явилось в конце XIX — начале XX века, открыли мир, где мы живем, не вопреки модернизму, а именно на его путях. Если угодно, модернизм, совершенно так же, как классицизм или романтизм, — разновидность всегда присущего искусству реализма, который отнюдь не исчерпывается художественным течением XIX века, избравшим слово «реализм» себе в самоназвание. Не отдельные модернисты, как думает М. Лифшиц, порой приближались к действительности, а, напротив, модернизм, как художественное течение, служил постижению действительности при том, что «отдельные модернисты» как раз делали это далеко не всегда, поскольку в модернизме, совершенно так же, как в реализме XIX века, наряду с великими и малыми художниками действуют и ремесленники, и бездарности, да и великие в любом течении создают не одни только шедевры.

Если сопоставлять пигмеев одного течения с великанами другого, можно доказать что угодно. Но и сопоставляя между собой великанов, нелепо спрашивать, чья позиция плодотворнее на все случаи, — для мира, познававшегося Пушкиным, была плодотворнее его позиция, а для мира, в котором жил Блок, — блоковская, с пушкинской он бы мало что там углядел. Разумеется, искусство тоже знает периоды подъема и упадка, но связь их с подъемом и упадком иных сторон жизни сложна и прямых параллелей нет. Порой период упадка общественного строя как раз и оказывается периодом высшего подъема его искусства. Во всяком случае, капиталистическое общество знает две художественные вершины — эпоху Возрождения и минувший век, в промежутках между ними великие художники предстают, по преимуществу, одинокими титанами.

Постижение мира модернизмом не включает в себе вектора. Впрочем, связь модернистского искусства с коммунистическим движе-

нием, по крайней мере в Италии, во Франции, а во многом и в России, так же, как враждебность к нему нацистов в Германии, явственны. Такова правда, и сколько ни объявляй происходившее недо-разумением, приходится все же считаться с тем, что было. Среди модернистов оказывались и сторонники грубой силы, как откровенно ради зла, так и в надежде творить ею добро, к последним в молодости близок был и Максим Горький — основатель литературы социалистического реализма. Лик модернизма, как и отобразившейся в нем действительности, неоднороден. Но зачем же пенять на зеркало?

Модернисты не выдумали культ силы, он существовал реально и независимо от них. Если кто из них на него надеялся, так и поныне на земле сотни миллионов людей, хотя и слыхом не слыхали о модернизме, верят в возможность одной силой изменить мир к лучшему. Если кто из них боялся культа силы, так ведь он и в самом деле оказался страшен.

Что касается моды, стремления обывателя к новизне любой ценой, и разрушения во имя этого подлинных художественных ценностей, то один ли модернизм в том повинен? К тому же, модернисты, в основном, декларировали свое стремление «сбросить Пушкина с корабля современности» а Пушкин оставался невредим. Деятели иных направлений бывали более последовательны. Увы, и во имя Возрождения, и во имя реализма, и в более поздние эпохи загублено великое множество художественных ценностей. Согласимся, что это везде и всюду скверно, как скверно всякое вообще физическое преследование своих идейных противников, ограничивающихся выражением своих идей. Впрочем, преследования эти всегда скрывают за собой неспособность к подлинной идейной борьбе. Физические победы, как легко догадаться, тут лишь мистифицированные образы идейных кризисов, идейных поражений.

Но дело не только в том, сколь многим мы обязаны модернизму. Ведь и модернизм не финал истории искусства, знания о мире и он не исчерпывает, поэтому и ему присущи кризисы, тупики, отступления перед иными, новыми или возрожденными в существенно обновленном виде художественными течениями, ростки которых сегодня достаточно разнообразны. Никакой беды в равнодушии к ценностям модернизма, равно как и любого другого течения, нет и, конечно же, никто не отнимает у М. Лифшица права оставаться не модернистом. Не скрою, что в сегодняшних исканиях и мое сочувствие больше принадлежит искусству, стремящемуся выйти за пределы, очерченные модернизмом. Так что, если говорить не об уже открытом, а об открываемом, я и сам не модернист, но не козыряю этим, сознавая, что последующее искусство не просто отбросит опыт модернизма, подобно тому, как прежде не просто отбрасывали чужой опыт,

Однако, истина этим не ограничивается. Об искусстве Древней Греции, то есть о самой начальной «классике», Марк однажды сказал, что для последующих поколений оно «сохраняет значение нормы и недостижимого образца». Слова эти не раз цитировались, в том числе и М. Лифшицем, в подтверждение бессмертия классического искусства. Стоит, между тем, задуматься, что они означают в приложении к новому искусству. Хотел ли Марк сказать, что никакие Шекспиров и

Толстые заведомо не в состоянии достигнуть художественного совершенства античности? Такое предположение, надо надеяться, и сам М. Лифшиц сочтет чрезмерным. Но, коль скоро новое искусство, согласно Марксу, ориентируется на нормы заведомо недостижимые, живет по законам, которые не может исполнить, по правилам, которые не в силах соблюдать, то и самое понимание классики как «недостижимого образца» поддерживается существованием сознательно уклоняющегося от этого образца текущего искусства, дышащего своим временем, то есть искусства авангардного. Во времена Маркса им был романтизм, в русле которого шли и собственные литературные опыты Маркса, а позднее, когда и романтизм классицизировался, им стал модернизм. Авангарднее искусство тем и обращает нас к особенностям конкретной реальности времени, что отличается от присутствующего в виде прежнего искусства недостижимого классического образца, запечатлевшего оставшееся непреходящим. Но и классика поэтому воспринимается как норма и идеал лишь благодаря существованию рядом с ней авангардного искусства. Потому-то и абсурдно, борясь за неприкосновенность классики, директивно упразднить авангардизм, — ведь именно он, при всех его декларативных призывах сбросить классику с парохода современности, нуждается в том, чтобы она оставалась неприкосновенной и своим присутствием озаряла смысл его атак. Только появление авангарда и делает классику классикой.

Когда же пора авангардизма истекает, — а похоже, что и сейчас она на исходе, — реальность конкретной жизни проступает уже не в противостояниях классике, а во вторжениях в нее, в панибратском обращении с ней, подчас даже в развенчании классической неприкосновенности. Величайший поэт классицизма Расин перекраивает Еврипида без особой почтительности, а позднее и с новой классикой, включающей в себя шедевры всех новых течений, обходятся без почтения, как с классиком Пушкиным обошлись Мусоргский и Чайковский. Покамест речь идет о выходе классического искусства за национальные границы, столь ощутимые в литературе, о переводах и переложениях, преобразование классики не слишком осознается, однако за этими пределами, в особенности при перенесении классических тем и сюжетов из одного искусства в другое, самое содержание того, что продолжает считаться классическим, ощутимо смещается. Попытки творить в классическом роде, дабы приблизить классику к современности, на деле упраздняют ее как неприкосновенный образец, и это подтверждается не только примерами Возрождения или классицизма, но и опытом неоклассического искусства, рождающегося в нашем веке наряду с открыто авангардистским, как бы в противовес ему.

Без атак авангардизма классика либо омертвляется, как это не раз происходило в самых разных академиях, либо перестает быть чтимой как неприкосновенность. Потому-то истинный почитатель классики терпим к авангардизму, хоть и глядит на него несколько свысока, а яростные гонители авангардизма на поверку глубоко чужды и той недостижимой классике, от имени которой глаголят, и, напротив, сводят ее содержание к своим сегодняшним нуждам.

М. Лифшицу не интересно различить внутри модернизма авангардистские и неоклассические тенденции и осмыслить их связь и их различие. Между тем всякое художественное течение понятно лишь в сопоставлении с тем, что было до него и есть рядом с ним. Даже кажущееся на первый взгляд пустым и не приносящим плодов нельзя объяснить злокозненными выдумками вредных элементов. Поскольку искусство существует не для одних лишь художников, самые кризисы его, самые переходы от противоречивого единства недостижимой классики с авангардизмом к осовремениванию классики и обратно, должны осознаваться не только художниками. Если ныне восприятие искусства опять склоняется к любованию «чистой красотой», не будем дивиться, что образцы бездуховного искусства являются в столь неожиданном виде, как поп-арт. Так что и консервная банка не так проста. Она, в некотором роде, шаг модернизма навстречу М. Лифшицу. Различие между мертвым эпигонским искусством, которое он почитает «меньшим злом», и консервной банкой невелико. Для сторонников поп-арта консервная банка тоже меньше зло, нежели искусство, полное дыхания жизни, порой, увы, впрямь зловонного.

Мы и здесь нуждаемся в демистификации происходящего. А она требует спокойного исследования. Пример Маркса не дал и не дает ответа на все вопросы, он лишь указывает на необходимость поисков. Стремясь к быстрой демистификации всего на свете, социология наговорила в прошлом такое количество вульгарностей, что сама стала на время именоваться не иначе как вульгарной. Вульгарная социология в исследование не очень вдавалась, выдавая истинный смысл явлений духовной жизни в готовом виде. Подлинные исследования, гораздо менее шумные, рядом с кричащей вульгарностью оставались часто незаметными. Все это известно, как известно и то, что в борьбе против вульгарной социологии М. Лифшицу сыграл некоторую роль. Он в самом деле способствовал временной реабилитации «Мира искусства» и кого-то еще. Так что пугать его Блоком и впрямь нет нужды, — в те поры, тем более сейчас, он и сам вполне мог заступиться за Блока.

Однако реабилитация названных имен обозначила такую борьбу с вульгарной социологией, после которой надолго не стало никакой социологии, ни вульгарной, ни какой-либо другой. Демистификация не углублялась, она просто снималась с повестки дня. Одновременно начались так называемые нарушения законности, и множество убежденных «сторонников известного мировоззрения» сложило головы. Не составит труда показать, что совпадение не было случайным. Никакая смена идей, — тут я вполне согласен с М. Лифшицем, — не напрасна. Видимо, следуя его логике, я должен винить его в соучастии. Не хочу поддаваться соблазну. Но факт остается фактом, реабилитация Добужинского и Нестерова вполне подошла для идеологического прикрытия самого жестокого насилия.

Поэтому стоит отдать себе отчет в том, что почти религиозная канонизация форм и приемов реализма XIX века, так же как некогда классицизма, не просто ошибка чрезмерно усердных сторонников истины, как уверяет М. Лифшиц, позволяющий себе даже бесстрашно намекать, что без гонений модернизм сам себя тотчас разоблачит, а канонизируемые истины, если их не навязывать, легче завоюют

сердца. Почему же, однако, не везде догадались ступить на этот разумный, казалось бы, путь свободного состязания художников? Да потому, что в истории, если иметь в виду не частные поступки отдельных, даже исторических личностей, а существенные, характерные явления общественной жизни, «ошибок» не бывает. То, что кажется отвлеченному уму всего лишь ошибкой, просчетом, на деле обычно — плод конкретного соотношения социальных сил. Отсюда, понятно, не следует, что рациональное мышление бесплодно, и нам дано лишь удивляться причудам судьбы, но все же явно необходимо совершенствовать свой рационализм, учиться не манипулировать видимостями, а демистифицировать их. Научная истина не поселяется навеки в построенном для нее храме, сколь бы он ни был красив. Да и религиозные храмы, хоть и нехотя, тоже перестраивают. Вот и в искусстве за истину выступают все новые люди, — когда-то романтики, позднее модернисты, и конца таким смутьянам, то дерзко отвергающим принятые нормы, то столь же дерзко возрождающим что-то прежде отвергнутое, не видать. Если вы захотите с ними покончить и навести, наконец, порядок, вы не только сочтете за малость и перестанете замечать насилие, ограждающее любезные вам истины, но не будете замечать, до чего изменились в таком ограждении сами эти истины.

Я вовсе не подвергаю сомнению искренность М.Лифшица, Он, видимо, не стремится к насилию сознательно. Он только твердо стоит на том, что в новом искусстве, в новом постижении мира надобности нет. Он не боится упустить что-то неведомое, что человечеству знать о себе необходимо. Но если вам наперед известно, что человечество должно о себе знать, то против насилия вы возражаете исключительно в силу личной доброты и мягкости характера. Если вы знаете наперед, что окажется верно, что неверно, что плодотворно, что неплодотворно, ваш спор с теми, кто командует и насильничает, заведомо бесплоден и для них вполне безопасен. Исходя из ваших же собственных суждений, они, естественно, пожелают сберечь хорошее и воспрепятствовать дурному, и трудно будет отказать им в логике. Если модернизм так плох, как учит М. Лифшиц, к чему тогда беречь Блока и Пикассо, Рильке и Модильяни, Прокофьева и Ван-Гога? Или беречь их надо лишь в той мере, в какой они не модернисты? Но ведь это точка зрения А. Дымшица, против которой М. Лифшиц сам возражает. Если он, однако, притом отвергает и открытое признание художественных ценностей модернизма, зачем же ему обижать хунвейбинов — неужели только за то, что ребята несколько хватили через край: переломали то, что надо было просто оплевать? Но обижает их М. Лифшиц, конечно, не зря. Хватая через край, они в известной мере обнажили позиции более дипломатичных единомышленников. Хунвейбины, правда, не теоретики, но на практике демистифицировали иные теории, в том числе и некоторые идеи М. Лифшица, за что им от него и досталось. Однако, идеи хунвейбинов, пусть они хоть десять тысяч раз называют себя «истинными марксистами- ленинцами», тоже мистификация, лишняя раз свидетельствующая, что марксов метод демистификации должен быть обращен и на те идеи, которые выступают как марксистские, «истинно» марксистские и даже на обственные идеи

Маркса. Он подавал блестящий пример, когда, слушая иных своих последователей, торопился сказать: «Имейте в виду, что я не марксист».

Трагедия, пережитая Китаем, а до того нами, не вдаваясь в ее экономическую и политическую подоплеку, это трагедия остановившегося знания. Это особенно ясно из того, что «культурную революцию» совершают учащиеся, переставшие учиться. Разумеется, высокообразованный М. Лифшиц не кажется, на первый взгляд, их единомышленником. Но только на первый взгляд, ибо дело вовсе не в том, какой запас знаний вы объявляете достаточным. Можно остановиться на блаженном Августине, на Фоме Аквинском и Аристотеле, на Вольтере, на Гегеле, на Марксе, на Ленине, на Эйнштейне и Планке, можно остановиться на кибернетике, бионике и семиотике, можно на традиционном реализме, можно даже на модернизме. Место, где вы остановитесь, составит лишь пейзаж. Существенно, что вы остановились и не хотите допустить, что в любую неведомую минуту, неведомые люди, неведомыми путями могут открыться вам нечто неведомое. Вам не страшно что-то упустить или проглядеть, — вы ведь все наперед знаете. Все остальное — подробности. Книги можно сжигать на кострах, можно не печатать, можно не читать, а можно даже и читать, но ни в одной не увидеть повода задуматься, — разница не так уж велика. Поэтому весьма утонченный и высокообразованный М. Лифшиц оказывается в одном лагере с хунвейбинами. Что бы он ни говорил против насилия, концепция, им выдвинутая, независимо от его воли, ведет к оправданию насилия.

Впрочем, отвечая оппонентам в статье «Осторожно — человечество» (Литературная газета, 15 февраля 1947), М. Лифшиц и сам проговаривается: "Если преступления совершаются во имя истины, добра и красоты, то перед нами глубокое противоречие и есть еще надежда на исправление». Короче говоря, благая цель в конце концов оправдывает любые средства. Это уже открытый иезуитизм. Отчего тогда пылкому стороннику «истины, добра и красоты» не взять грех на душу и не совершить все потребные для желанной цели преступления в надежде на то, что на детей грех не падет, зато счастливы детишки будут?

Но давно известно, что там, где «во имя истины, добра и красоты» свершаются преступления, не останется ни истины, ни добра, ни красоты. Отличие взглядов М. Лифшица от проповеди «дерзкого неразумия» лишь в том, что там действуют без стыда, здесь же в целлофановой упаковке. Но стоит ли тогда высокомерно говорить о «подъеме общественной роли средневековой религии», как о величайшем зле? Ведь религия тоже говорит о великой и человеколюбивой цели! У атеистических мифов нет преимуществ перед религиозными. Как мистифицированная система идей, религия может быть и прогрессивной и реакционной в такой же мере, как любая другая мистифицированная система идеи, обходящаяся без бога и без чудес. Атеизм, а лучше бы говорить — свободомыслие, плодотворен лишь там, где, отвергая искаженные версии действительности, вы хоть немного проясняете ее истинное содержание. Всякий другой атеизм

ничуть не лучше религии, он тоже своего рода религия, и чваниться ему нечем.

Когда М. Лифшиц зовет нас довериться его рожденным прекрасными побуждениями идеям, приходится заметить, что призывы такого рода, не сопряженные с выяснением реальной значимости идей в конкретных обстоятельствах, как раз и порождают недоверие ко всяким идеям вообще. За доверчивость человечество платило слишком дорого. Если мы сегодня хотим противостоять варварству, которое в самых разных углах планеты вдруг охватывает мир, тому культу силы, который выступает и под флагом модернизма и под флагом реализма, и под флагом безумия и под флагом здравого смысла, и под флагом религии, и, увы, из песни слова не выкинешь, даже под флагом «истинного марксизма-ленинизма», — у нас нет другого пути, кроме конкретного постижения всего, что идет нам навстречу, у нас нет другого пути, кроме демистификации всего, что мы видим вокруг.

Когда вам указывают на реальность китайского «марксизма» и, точь-в-точь, как М. Лифшиц о Бергсоне, говорят, что во всем виноват Маркс, мало отвечать, что Маркс хотел совсем не этого, хотя это чистая правда, как правда и то, что нечто другое имел в виду Бергсон. Пока мы не объясним, каким же все-таки образом под знаменем марксизма, вдали от тлетворного модернизма, под водительством героев борьбы Коммунистической партии Китая за освобождение китайского народа сложилась атмосфера, так разительно напоминающая Германию тридцать третьего года, мы не сможем дать человечеству никаких гарантий от тоталитарного режима, от фашизма, и рассуждения М. Лифшица о том, сколь вреден в этом отношении Пикассо, только сбивают умы с толку. Идеи, разумеется, весьма важны и цвет флага далеко не безразличен, но еще важнее стоящая за идеями реальность, еще важнее, какие руки держат флаг и, главное, зачем они его держат.

М. Лифшиц боится адского пламени модернизма. Я гораздо больше боюсь адского пламени хунвейбиновских костров, тем более, что одно пламя книжное, а другое жжет, и горит совсем уже близко. Ответы на вопросы, которые стоят перед человечеством, сложны, мы сыщем их не сразу, и опять они не окажутся годны на все случаи жизни. Понятно, что люди порой приходят в отчаяние. И все же самое роковое — пренебречь вопросами, быть довольным тем, что знаешь, — все равно, будет ли это несколько цитат из председателя Мао или воистину великая «Наука логики» старого Гегеля.

ПО ПОВОДУ НЕЗАМЕНИМОСТИ

Сборник работ безвременного ушедшего из жизни Эвальда Ильенкова появился, когда уже и автора предисловия Михаила Лившица нет в живых, но предисловие, как подобает сочинению философа, даже написанному по случаю, — сочинение философское. Проблема не нова, но актуальна: существуют ли незаменимые люди и кто они. Лившиц справедливо отнес к ним Ильенкова, и, конечно, невозможно не отнести к ним самого Лифшица, на что он сам намекнул. Но, и соглашаясь, что Ильенков с Лифшицем выделялись на нашем философическом фоне и покамест не заменены, трудно принять общие соображения, на которые для пущей доказательности оперся Лифшиц. Бесспорный житейский факт не подтверждает объясняющую его философию.

Для начала Лифшиц демонстративно высмеял старую формулу «незаменимых людей нет», но, посмеявшись и над уверенностью, что «каждая личность незаменима», изложил свою норму: «...поистине незаменимы люди, несущие в своей груди то, что делает каждого человека доступным повторению, то есть всеобщее начало». И сослался на то, что теорему, Пифагора нынче доказывает каждый школьник. Делая великое открытие, Пифагор и всякий, кто подобное совершил, конечно, проявляет свою незаменимость. Правда, иные открытия делали независимо друг от друга несколько человек разом, то есть, успешно заменяя друг друга. Выходит, не всегда верна формула Лифшица. Но еще трудней согласиться, что только так и проявляется незаменимость.

Говоря о незаменимости, конечно, имеют в виду нечто существенное. Для Лившица существенно лишь всеобщее, касающееся всех. «Ходячие фразы о неповторимости внутреннего мира каждой индивидуальности», «которая (по определению Ильенкова) кичится своей непохожестью на других в курьезных деталях», и Лифшицу смешны. Ленин писал, что «Всякое отдельное неполно входит в общее». Лифшиц пошел дальше и решил, что все существенное в отдельном, индивидуальном, единичном, полностью входит в общее и растворяется в нем. А что не входит, не растворяется, то и несущественно и, стало быть, заменимо.

Свидетелем он пригласил Пушкина, сказавшего о Татьяне:

Давно сердечное томленье
Теснило ей младую грудь;
Душа ждала... кого-нибудь
И дождалась...

Лифшицу «это "кого-нибудь" кажется странным по отношению к Татьяне, но странно это, в сущности, только с точки зрения мещанского вкуса... Ибо тот, кто любит людей, должен знать их земную природу и ждать от них доступного им».

Бедный Пушкин! Он-то написал «ждала... кого-нибудь», а Лифшиц прочел: «дождалась кого-нибудь». Но ведь тот, кого она дождалась,

отнюдь не «кто-нибудь», не толстый Пустяков, не Гвоздин, хозяин превосходный, владелец нищих мужиков, не уездный франтик Петушков и не двоюродный брат сочинителя Буянов, и даже не гусар Пыхтин, а герой романа! «Мое! сказал Евгений грозно», и покоряется этому в Татьяне не просто земная, «общая» и «родовая» природа созревшей девушки, а весь ее душевный опыт, вся ее жизнь, вся она как конкретное существо. Душевные стремления, понятно, тоже не вовсе отрезаны от «общего», которое, распространяется, однако, не обязательно на всех созревших девиц, но часто только на девиц определенного круга и даже лишь известного его слоя. «Общие» свойства у Татьяны есть ведь не только по части физиологической, они разнообразны, их много, и, образуя во внутреннем мире девушки самобытное сочетание, они влекут ее именно к Онегину, а не все равно к кому.

К тому же, Татьяна и Онегин, предстающие в рассуждении философа примерами единичного, на самом деле литературные типы, а «типическое» тоже означает «всеобщее», то есть Татьяна и Онегин реальны конкретных людей еще не исчерпывают. Тем более примечательно, что и для «типической» Татьяны замужество и разрешение физиологических проблем, на которое с победоносным смехом указал Лифшиц, не изменило отношения к Онегину, с которым по части «всеобщего» она продвинулась не далеко. «Я вас люблю (к чему лукавить?)» — говорит уже не созревшая девица, а замужняя петербургская дама. Выходит, Онегин все же для нее незаменим, и ничего тут не поделать.

Всякий человек окружен незаменимыми людьми. Никто не заменит родителей или детей, и хоть жену или мужа, если видеть в браке лишь «всеобщее», заменить вроде бы можно, на деле оказывается, что и тут возможность замены predetermined мерой реальности брака как вида личных, а не только детородных человеческих взаимоотношений. Невозможно заменить ни друзей, обретенных смолоду, ни сотрудников по сложной работе. Да и всякая вообще важная для человека связь с другим человеком почти всегда незаменима, и разрыв мучителен, даже если неизбежен. В этом смысл выражения «каждая личность незаменима», — незаменима для другой личности и преимущественно лишь в силу этого для народа и человечества.

Лифшица такая незаменимость не занимала, она казалась ему частной. Он писал: «В некотором смысле действительно каждая личность исключительна, как любая песчинка, в известном сочинении Лейбница, непохожая на другую песчинку, как маленькая горошина в большом мешке», странным образом упуская из виду, что между песчинками или горошинами никаких личных отношений нет, быть не может, да они им и не нужны. Между тем, коллектив или народ — отнюдь не мешок, набитый обособленными горошинами -людьми, схожими или несхожими. Коллектив или народ существуют как таковые лишь постольку, поскольку состоят из людей, меж которыми, хотя бы отчасти и опосредствованно, возникают личные отношения, не только физиологические.

Человек, вырванный из личных отношений, не имеющий душевного опыта жизни в семье или другом человеческом сообществе,

состоящем из людей, так или иначе близких ему персонально, потому так часто и оказывается негодяем и шкурником, что привык рассматривать других, как горошины или песчинки, как некую абстракцию всеобщего, тогда как себя, драгоценного, воспринимает вполне конкретно. И страшна тут не конкретность своего, но абстрагирование чужих «я», хоть нас то и дело уверяют в обратном.

Сколь бы справедливы ни были упреки литературоведения Наталье Николаевне Гончаровой, сколь бы убедительно ни доказывалась ее заурядность, сколь бы заманчивы ни были предположения, что, женись Пушкин на другой женщине, он ушел бы от трагической гибели, приходится все же считаться с тем, что Пушкин женился на этой женщине, и погиб, не желая терпеть даже легкой тени на ней, хоть многие и тогда уживались с теньями куда более густыми. Пушкин пожертвовал «заменимому» единичному своим незаменимым всеобщим, навсегда продемонстрировав, насколько «всеобщее» зависит от «единичного». Именно об этой зависимости догадывался Маркс, говоривший совсем по другому поводу, что поэтов нельзя судить как обыкновенных и даже необыкновенных людей, и надо предоставить им идти своим путем. Ныне зависимостью всеобщего от единичного пренебрегают, а ведь она сильна и в самых прозаических проекциях жизни, вплоть до уровня производительности труда.

Эвальд Ильенков тоже негодовал по поводу поощрения «максимально пестрого разнообразия в пустяках, в сугубо личных особенностях, никого, кроме их обладателя, не касающихся и не интересующих, имеющих примерно то же значение, что и неповторимость почерка или отпечатка пальцев». Он счел даже возможным объявить, что за такую «индивидуальность» и на такое «разнообразие» никто ведь и не покушается. Однако, вспомнив, должно быть, о регулярных покушениях, всем хорошо известных, добавил: «Подобную "неповторимость" станет искоренять разве что очень глупый, не понимающий своей выгоды конформист. Конформист поумнее и покультурнее станет ее, наоборот, поощрять, станет льстить ей, чтобы легче заманить индивида в царство конвейера и стандарта».

Ни Ильенков, ни Лившиц не нашли тому, что конформисты не внемлют их разумным, конечно, призывам к терпимости, другого объяснения, кроме глупости. Слов нет, нетерпимость ко всякой новации, ко всякому индивидуальному отклонению от стандарта недальновидна. Но ведь поощрение мнимой оригинальности в борьбе с подлинной ведет к успеху лишь там, где подлинная распространяется без особых помех, где запретом ее не остановишь, и надо придумывать способы оставить ее незамеченной. Не зря метод, предлагаемый Ильенковым, давно был взят на вооружение за пределами социалистического мира. Но там, где перекрыты пути любой и всякой оригинальности, мнимая, если ее допустить, легко становится каналом для подлинной, концентрирует стремление к ней, и конформисты прекрасно это сознавали, затеяв гонение, скажем, на узкие брюки. Не зря лишь в обстановке обновления общественного сознания было признано, что узкие брюки конформизму не помеха.

Не глупость, а предпочтение живых сегодняшних выгод надежде на завтрашние и общим интересам своего социального слоя и, тем

более, всего общества, где он господствует, толкает конформиста к нетерпимости. И если он очень даже страстно атакует мнимую «индивидуальность» и мнимое «разнообразие», не берясь различать, что тут мнимое, а что подлинное, причина тому вовсе не сам по себе недостаток культуры, в которой ему до Лифшица с Ильенковым, конечно, как до звезды небесной. Отличие подлинного от мнимого всерьез определяется отнюдь не легко опознаваемой культурной формой, а всякий раз новым жизненным содержанием, реальностью жизни, в этой форме предстающей, и тут глупый и невежественный практик конформизма быстрее умного и рафинированного философа, соображает, что ему нынче выгодно и подсказок не слушает.

Само собой, философ лучше видит неизбежные пагубные последствия нынешних инерционных действий, но современного конформиста последствия не занимают, он живет сегодняшним днем, без мысли о завтрашнем, по старому правилу о потопе, которого не страшится после себя. Ведь его персональный успех на деле не зависит от реального успеха хозяйства или культуры и определяется совсем другими факторами. Мало того, чем больше он преуспел, тем больше страшится динамичности всякого реального развития, тем больше дорожит стабильностью, возможности которой при нужде в техническом прогрессе не безграничны, и тем сильнее жаждет ее укрепить, вопреки всему и не останавливаясь ни перед чем. Глупо? Конечно, глупо! Но если, как вроде бы намеревались Ильенков и Лифшиц, следовать за Марксом, дело тут не в личной глупости того или иного конформиста, от природы часто вовсе и не дурака, а в классовой ограниченности его сознания. Вот почему пронизательность и дальновидность искренних и доброжелательных советчиков часто не приносила этим советчикам блага, и бедный Лифшиц «чувствовал себя вполне забытым где-то на дне».

Впрочем, здесь философ впадает в уничижение паче гордости. Будучи на год моложе Эвальда Ильенкова, узнавшего о существовании Лифшица лишь из ответа жившего в Будапеште Лукача на обращение к нему московских студентов-философов, я, обучаясь тогда же в том же университете на историческом факультете и ни к каким иностранцам, естественно, не обращаясь, подобно многим соученикам, хорошо знал имя Михаила Лифшица как составителя антологии «Марке и Энгельс об искусстве» и, подобно некоторым, как автора книги «Вопросы философии и искусства». Когда в 1947 году, — Лифшиц был тогда старшим научным сотрудником института философии Академии наук СССР, — случай включил меня в экскурсию этого института по двум залам Музея изобразительных искусств, где для избранных были выставлены шедевры Дрезденской галереи, я сознавал, что знакомлюсь с незаурядным человеком, что тотчас и стало подтверждаться его тонкими суждениями о старых картинах, покамест, дойдя до угла, где висел Дега и кто-то еще из французов, Михаил Александрович не сказал, махнув рукой: «Ну, это чепуха!» и не пошел прочь. Эти картины, как и остальные, Лифшицу прежде видеть не доводилось, но, легко опознав французов, он и не подумал, что неизвестные картины, может быть, опровергнут или в какой-то малости изменят сложившийся у него взгляд на новое французское искусство.

Так я впервые практически познакомился с философией, не оборачивающейся на реальность. Признаться, меня это потрясло в человеке, уже тогда державшемся как наследный принц теории Маркса.

Позднее Лифшиц, к счастью, снова получил возможность широко печататься и даже сказать, что он думает о временах «часто грандиозных, но далеко не всегда счастливых», когда считалось, что «нет незаменимых людей». Хоть эта формула показалась ему проистекающей «из особой, абстрактной версии марксизма, согласно которой личность является только продуктом определенных условий», сам он, как мы установили, исключил из нее, сочтя воистину незаменимыми, лишь тех немногих, в ком воплотилось всеобщее начало.

Но ведь точно так же думал и автор этой формулы! Если он тоже допускал незаменимость, то лишь свою собственную, как высшее тогда воплощение всеобщего. Не зря худшим из возможных идейных преступлений считалось покушение на его священную для всех жизнь, никогда на деле не имевшее места. Если Лифшиц и расходился тут с временным классиком марксизма, то лишь на практике, - кто полней запечатлел «всеобщее». Потому он до конца и сетовал лишь на не очень счастливый ход вещей, но не оспорил, ни грандиозности, ни справедливости, ведь «всеобщее» так или иначе себя выразило, да и Михаил Лифшиц, в конце концов, тоже, — стало быть, ничего непоправимого не стряслось.

Между тем, всеобщее, исключив из себя не вместившееся единичное, подобно русской литературе без Пушкина, при всей своей грандиозности не могло уже быть универсально всеобщим, оно опять становилось особенным и нуждалось в осознании своей новой особенности. Начало ему для русской литературы положил Чернышевский «Очерками гоголевского периода». Время, когда не стало незаменимых, кроме одного, людей, начавшееся в тридцатые годы, тоже было особенным, отличным от предшествующей послереволюционной эпохи, и особенными были возникавшие тогда разновидности марксизма. Михаил Лившиц, а позднее, в пятидесятые годы, и Эвальд Ильенков, — сказанное Лившицем об Ильенкове относится и к нему самому, — были, конечно, антиподами «нотариально заверенных марксистов, поглядывающих в сторону египетских горшков с мясом».

Но, рассуждая о марксистах, не стоит упускать и Маркса, мировоззрение которого выглядело не совсем одинаковым в формируемых теми и другими идеологических картинах. «Нотариально заверенные» последователи обходились с трудами Маркса, как с библией, из которой церковь давно умела выбирать подходящие случаю сентенции. Целостность миропонимания при этом, понятно, разламывалась, и, не говоря о злоупотреблениях, даже верные его суждения в новом контексте, требовавшем нового осознания, теряли убедительность, и ссылка на великого человека обращалась в ритуал. Такие люди, как Лифшиц и потом Ильенков, искренне жаждали восстановить целостность и верность понимания Маркса, реабилитировать его систему.

Но сам-то Маркс, в отличие от них, дорожил методом, а вовсе не системой, якобы избавляющей от необходимости всякий раз опять и опять оглядываться на реальность. Из опыта Гегеля он извлек, что такой системы быть не может, как не может быть вечного двигателя. Вот и не оставил ни «Науки логики», ни даже «Системы посюстороннего материализма», - его пафосом были антифилософия, антидогматизм, обращение к конкретной экономике и экономической истории как базису политики и культуры.

Марксисту заведомо трудней, чем гегельянцу, — ему подобает самостоятельность, а верность его суждений и действий проверяется не совпадением со священным писанием, а ходом истории, временем. Это, разумеется, не мешало и даже способствовало распространению марксизма, покуда не появились места у горшков с мясом, и характер распространения не переменялся. Тут и возник соблазн увенчать метод системой, и поддавшиеся соблазну, при всем своем чистосердечии, видели в Марксе «правильного», материалистического Гегеля и перелагали его принципы в гегелевском духе, то есть, подобно Лифшицу и Ильенкову, акцентируя примат общего перед единичным.

Вопреки Лифшицу, единичное по Марксу не «легко поддается статистическому учету», и в решающих параметрах вовсе не поддается, поскольку всё же представляет интерес не только в статистической сумме, не только слившимся в общее, а и по отдельности, как неперемное условие развития общего. Отсюда и проистекает в марксизме необходимость все нового повседневного оборота к реальности, в гегельянстве заведомо укладывающейся в заготовленную систему. А марксизм, - при добросовестном подходе, какой, как правило, ныне редок у его последователей, одержимых политикой, - в принципе не может восприниматься как некое «окончательное учение».

Лифшиц и Ильенков талантливо разработали образцы марксоподобного гегельянства и обеспечили себе успех у людей, склонных от нотариально заверенного марксизма шатнуться к религии, но испытывающих некоторое смущение перед явной несообразностью своих новых взглядов с тем, что они привыкли думать. В светской и, в сущности, атеистической религии гегельянства этой неловкости не возникало.

Мы не располагаем данными о том, был ли Эвальд Ильенков, уходя из жизни, удовлетворен таким успехом и до конца ли считал, что впрямь способствовал верному пониманию Маркса и, тем более, реальности. Михаил Лифшиц свою работу в этом направлении несомненно ценил высоко. Хоть они и завершили свои дни по-разному и в разном возрасте, но оба в славе и в силе. Однако, дело, ими затеянное, не чересчур преуспело. И нотариально заверенным единомышленникам, и новым проповедникам традиционных религий они были все же не слишком ко двору, хоть тем и другим шли навстречу, — и не по малодушию, а по природе гегельянства, как и любой претензии на монопольное и безраздельное обладание абсолютной истиной.

Незаурядность и незаменимость Лифшица и Ильенкова обусловилась не тем, что они обнаружили какие-то новые истины, установили нечто всеобщее, но, напротив, тем, что они тоже обозначили собой нечто особенное — неортодоксальную ортодоксальность. И хоть концы с концами так и не свели, самая их попытка оттеснить нотариальный марксизм, ориентируясь на классическое гегельянство, отвергнутое некогда Марксом, представит интерес для исследователя идейной жизни эпохи.

«КЛАССИКА И МЫ»

Под таким названием в конце декабря 1977 года в Москве, в Центральном доме литераторов, состоялось собрание. Оно именовалось дискуссией и в иных обстоятельствах могло ею стать, если бы не открывший ее доклад и дальнейшее ведение. Не то что тезисы группы готовых ораторов были новы. По отдельности их уже вводили в обиход. Не то, что они были крамольны. Запланированное мероприятие в ЦДЛ таким в те годы быть не могло, даже ради провокации. Правда, собрание не афишировали, а реакция аудитории выдавала организаторскую работу. Я узнал о собрании случайно, но, подивившись названию, туда пошел.

На деле, в форме дискуссии о художественных проблемах состоялось политическое мероприятие. Его целью была не дискуссия, а декларация. Ведущая группа ораторов вместе с искуственными оппонентами по частностям при двух или трех пробующихся реальных оппонентах, предлагала иначе толковать некоторые догматы. Советский империализм Ленин и Троцкий считали интернационализмом. Солдат афганской, последней советской войны еще называли воинами-интернационалистами. Защитникам классики империализм казался национальной добродетелью, родом патриотизма. Себя они, соответственно, называли патриотами и клеймили инородцев.

Взяв за точку опоры русскую классическую литературу, они противопоставили ее модернизму, как европейскому явлению, пагубному для художественности. Обходясь с историей культуры столь же вольно, как с историей общества, они забыли, что русские литература и искусство с XVIII века следовали европейским примерам даже там, где Россия являла в прошлом выдающиеся достижения, близкие европейским, но возникшие независимо. Забыли они и о том, что русские литература и искусство, сами, будучи в конце XIX и начале XX века европейскими, были среди родоначальников европейского модернизма, меж открытий которого были и русские, и в Европе у них были последователи, работавшие по их примеру, начиная с «потока сознания» Льва Толстого, драматургии Чехова, балетных инициатив Дягилева, многочисленных живописцев и режиссеров театра и кино, как до 1917 года, так и после. Передержки, выросшие из преднамеренной забывчивости, сами большого значения не имеют, но на них строили идеологию, близкую немецкому национал-социализму. Хоть она и отвечала практике советских коммунистов больше, чем их официальный «марксизм-ленинизм», не стыкуясь с ним терминологически, эта идеология в советской печати до перестройки излагалась лишь частично. А в перестройку даже опубликовали полную стенограмму собрания, хоть по памяти уже трудно установить, сколь она впрямь полна и достоверна.

После 1991 года в поисках новой идеологии, способной служить авторитарному государству, не хуже советской, идеи декабря 1977 широко использовались имперско-шовинистическими движениями,

слившимся помешать национальному самоопределению русского народа и формированию новой России, как демократического национального государства по типу европейских.

Конечно, я не мог тогда предвидеть ни событий 1985-1993 года, ни эха, вызванного собранием в Доме литераторов, но оно и тогда показалось мне событием. К тому же мои друзья в Ленинграде и в Москве, которым не довелось там присутствовать, настойчиво спрашивали о впечатлениях, и я их записал. О публикации, как сразу выяснилось, не могло быть речи, и я дал прочесть запись троим друзьям, сохранив четвертую копию.

Об империи и о национальном самосознании нынче много говорят и пишут. Стоит вспомнить впечатления, которые этот круг идей вызвал тогда. Поэтому я публикую старую запись без изменений.

Вы всё питаетесь не слишком достоверными слухами о собрании 21 декабря, а я там присутствовал, просидел шесть часов, и чувствую, что обязан хоть немного прояснить происходившее.

Итак, «Классика и мы»! «Мы», конечно, символическое. Золотусский потом заявит, что не желает быть в одном «мы» с Евтушенко, Ломинадзе – в одном «мы» с Эфросом. Для Палиевского, Куняева, Лобанова, Селезнева и Кожинова оно будет и буквальным, обозначающим именно их, вместе взятых, и расширительным – всех таких, как они. Но в символ вмещаемся и все мы, нынешние люди, поскольку имеем дело с классикой или, точнее, с тем, что ораторы так называли.

«Классика» здесь, однако, не просто символ. Место классического искусства в нашей жизни и без дискуссий небывало огромное. Ни в какой стране, ни в какую эпоху, давно умершие писатели, пусть сверхгениальные, не занимали в головах живых людей такого места, как у нас, не были так доступны, не пропагандировались так настойчиво. Но в тот вечер классику «защищали», словно ничего этого нет, словно литературная жизнь принадлежит лишь посетителям ЦДЛ. А миллионные тиражи великих отечественных писателей, хоть какие-то лакуны и остаются, – факт неоспоримый. И лишь осознав этот неоспоримый факт можно понять, в чем пафос Палиевского и его соратников. Не в открытые же двери они ломаются! Стало быть, важно не так их демонстративное «за» великую русскую литературу, которое никто не отвергает, а иные отстаивают еще активней, как их глубинное «против».

Сами они свое «против» обозначают довольно расплывчато. Палиевский именует антитезу классике авангардом. Но авангард, в который разом втиснуты Стравинский и Багрицкий, Тынянов и Самосуд, Мейерхольд и Трифонов, Маяковский и Эфрос, не образует хоть сколько-нибудь цельного течения, ни политического, ни художественного. Люди, зачисленные по ходу «дискуссии» в авангардисты, различаются даже своим отношением к классике, не говоря уже, что некоторые ныне и сами классики. Единственное, что их объединяет, это приверженность текущей жизни. Худо ли, хорошо ли, с большим или не с таким уж большим талантом, все названные и не названные «авангардисты», как, впрочем и сами классики, полагали,

что вчерашнего искусства, как и вчерашнего жаркого, сколь бы оно ни было аппетитно, нынешнему дню уже недостаточно. Величие Пушкина не побудило Гоголя, вполне это величие сознававшего, смиренно продолжать Пушкинский период литературы вместо того, чтобы начинать Гоголевский. Гоголь как раз и был первым русским авангардистом, и к его опыту не зря так часто обращается XX век. Новые «авангардисты» тоже говорили голосами своего дня, - голосов у каждого дня хватало, и они не были схожи. Здесь и зарыта собака, которую ораторы торопились зарыть поглубже. Слушать ли нам живые голоса своей эпохи и своей жизни, притом, что не все они равны, не все благозвучны и не все вечны, или ограничиться и в самом деле вечным и прекрасным, что открыл в себе вчерашний день, пренебрегая его неблагозвучностями? Вот в чем вопрос.

Золотусский и Роднянская вроде прямодушны: классика – воплощение культуры и нравственности, и по ней надлежит строить жизнь. Искусство для них – прообраз реальности. Мысль, что жизнь зависит еще от чего-то, сверх наших благих пожеланий, и само общественное сознание как-то зависит от общественного бытия, их не отягощает. Надо лишь прикинуть у аполлиническим источникам добра. Годится ли русская классика, чтобы служить иконостасом, не вцепятся ли Тургенев с Достоевским или Щедрин с Писаревым друг другу в глотки, верующих не занимает. Классика им дорога, как шедевр благообразия и благолепия. Палиевский смотрит дальше и не так жаждет лишней раз освятить литературный храм, как истребить «кружащих» вокруг него «чертей».

Мысль о классике, как опоре нравственности и порядка, не нова. Желтая окраска домов стиля ампир, завершившем классицизм в архитектуре, побудила Алексея Толстого писать:

Заметил я, что желтый этот цвет
Особенно льстит сердцу патриота;
Обмазать вохрой дом иль лазарет
Неодолима русского охота;
Начальство также в этом с давних лет
Благонамеренное видит что-то,
И вохрятся в губерниях сплеча
Палаты, храм, острог и каланча.

Далее поэт вспоминает:

Хорошим было тоном
Казарменному вкусу подражать,
И четверем или осьми колоннам
Вменялось в долг шеренгою торчать
Под неизбежным греческим фронтоном.
Во Франции такую благодать
Завел, в свой век воинственных плебеев,
Наполеон, - в России ж Аракчеев.

Защита классики на которую никто не посягает, издавна выдает мечту об Аракчееве. Нет нужды дополнительно ссылаться на особую

идеализацию Палиевским тридцатых годов, из которых не выкинешь ни первые, голодные, ни тридцать седьмой, ни даже на то, что самая «дискуссия» была затеяна 21 декабря. Фрондерство «защитников классики» – хронологическое, они жаждут остановить время, вернуться к минувшим временам, вот и сетуют, что тридцать седьмой год отошел и нет человека, родившегося 21 декабря.

Но литература – не архитектура, она не молчит и в натуральном виде на парадный фасад не годится. Русская литература тут особенно неудобна, ее классика – никак не классицизм, хоть ораторы и прикидываются, что не знают разницы меж тем и другим. Русская классика – литература романтическая и реалистическая, заглядывающая за фасад и озирающая задворки, да и на главной площади не упускающая знаменитую миргородскую лужу. Русская классика не всегда звала к бунту, не нужно ей это приписывать, но уж то, что ни один, - и впрямь ведь не один! – из великих писателей не желал быть в России лишь колонной, украшающей имперский фасад, отрицать невозможно. Свет, который они бросали на этот фасад и на все имперское здание не был одноцветным, но не был и облагораживающим. Да и личное их поведение не окрашено охрой: смиреннейший Жуковский был ходатаем за пострадавших, Алексей Толстой вступался за Чернышевского. Ни один великий русский писатель никогда публично не досадовал, что наказания другим писателям, чьи взгляды он отнюдь не одобрял, слишком слабы. Русская классика не была одноликой, не было единого мнения как спасти народ из крепостного ярма, но, что спасти надо, так или иначе понимали все. С какой стороны ни глядеть, в иконостас благообразия русская литература не годится.

И вот, благообразия ради, «защитники классики» оплетают ее цепью чудовищных переделок, искажений, фальсификаций. Виднее всего это в суждениях о театре, который они, к тому же, понимают еще хуже, чем литературу, – ничего не поделаешь, век специалистов! Палиевский все вообще искусство «авангарда» объявил искусством интерпретаторов. (С куда большим основанием это можно сказать как раз о классике: живопись Возрождения интерпретирует библейские и мифологические сюжеты, да и всякое искусство интерпретирует жизнь, и ничего худого тут нет.) Поскольку театр явно интерпретирует драматическую литературу, Палиевский, а за ним и Ломинадзе, требуют от режиссеров, – от Мейерхольда до Эфроса и Любимова и даже до Никиты Михалкова, - «100% Чехова»! Простая мысль, что Чехов написал пьесу, литературное сочинение, а сценическое воплощение его пьесы при самом скрупулезном сохранении каждой буквы текста может быть разнообразным, что театр говорит иным языком, нежели литература, и этим прибавляет ей нечто, иначе люди довольствовались бы чтением пьесы, а в театр бы не ходили, остается в пренебрежении. Одно искусство мыслится зеркальным подобием другого, как и все искусство – зеркальным подобием жизни. Ораторы делают вид, будто не понимают, что уже чтение вслух меняет текст, что прочесть можно по-разному. Если отвергать все, что театр к пьесе прибавляет, начнем с того, что Бизе «надругался» над прозой Мериме, в которой нет ни хабанеры, ни сегедильи, а Чайковский над прозой

Пушкина, у которого Лизавета Ивановна не утопилась в Зимней канавке, а вышла замуж за очень любезного молодого человека, и конца такой «борьбе» за верность автору нет.

Разумеется, различие искусств не избавляет от размышлений о мере соответствия пьесы и спектакля. Такие размышления правомерны. Но размышлять не означает воображать, что наше понимание «Вишневого сада» или понимание Ломинадзе заведомо соответствует чеховскому, а понимание Эфроса заведомо не соответствует. Все мы, и литературоведы, и режиссеры, интерпретаторы, и монополии на истину ни у кого нет. Признав, что всякое театральное воплощение так или иначе интерпретирует пьесу и желая понять какая из интерпретаций ближе к автору, мы сопоставляем известные нам и выясняется, что интерпретации Художественного театра, почитаемые классическими и противопоставляемые ныне «авангардистским», у Чехова вызвали решительные возражения. Он то и дело бросал: «Испортил мне пьесу Станиславский!» или «Я уверен, что Немирович и Алексеев ни разу внимательно не прочли моей пьесы» и т.п. И все же Чехов не только глумился над интерпретаторами, но продолжал писать для Художественного театра. В отличие от нынешних своих «защитников» Чехов занимался литературой, а не политиканством, был человеком цивилизованным, понимал, что раз уж пьеса при выходе на сцену все равно подвергается интерпретации, то обрести верную ей дано лишь в ходе многократных и разнообразных попыток, удачных и неудачных, в лучшем случае она станет верной отчасти, с одной какой-то стороны, а абсолютно верной, быть может, так никогда и не станет, если не случится чудо. Опыт Художественного театра оказался много удачнее опыта Александринского театра, и Чехов это ценил, хотя другое его не устраивало. Палиевского и Ломинадзе жизнь театра (и литературы) как процесс поисков истины не занимает. Они убеждены, что владеют истиной сразу и в полной мере, и палкой навязывают свое понимание всем. Где уж тут углядеть, что за истину они выдают то, что отнюдь не казалось истиной в последней инстанции автору, за права которого они ратуют. Еще непринужденней Кожин, без стеснения заявляющий, что Эфрос плох, поскольку жена Кожина, однажды, посмотрев в постановке Эфроса Островского, явилась домой в слезах. Проверять, ставил ли Эфрос Островского и нет ли у жены Кожина других поводов лить слезы, при такой убежденности нет нужды.

Не хочу обожествлять ни Эфроса, ни Любимова, ни Мейерхольда, ни – не посягательство ли это на классику? – даже Станиславского. У всех были взлеты и бывали падения. Но самый подход к режиссеру, как злоумышленнику, самое требование Ломинадзе «дайте классику без посредников», отрицающее театр, как таковой, на практике приводит, конечно, не к реальному упразднению театра, но уничтожает его как живое современное искусство, омертвляет его, обесмысливает и превращает в пустое развлечение, в шоу. Так новоявленные защитники классики, которая потому и классика, что бессмертна, все силы тратят на то, чтобы ее умертвить, обещая вместо жизни величественное надгробие.

Едва ли не каждое их слово, даже там, где они лишь повторяют общеизвестное, подкрашено ложью. Палиевский сожалеет, что сезоны Большого театра не открываются более «Иваном Сусаниным», и вспоминает предвоенный расцвет классической оперы. Правда, при постановке «Сусанина» в 1939 году либретто, на которое Глинка писал музыку, целиком заменили новым, сочиненным поэтом-акмеистом (не авангардистом ли?) Сергеем Городецким. Если даже не счесть это надругательством над великим композитором, почтительным отношением такое вроде бы не назовешь, но Палиевский называет. Этим парадоксы не ограничиваются. «Сусанин», как и весь расцвет классической оперы перед войной шел под руководством Самуила Абрамовича Самосуда, возглавившего оркестр Большого театра в 1936 году, сменив Николая Семеновича Голованова. Но другой «защитник классики» Ломинадзе, ни единым словом не вспоминая о последующем свободном обращении Самосуда с либретто «Ивана Сусанина», именует смену главного дирижера «самосудом» над Головановым и рассматривает ее как надругательство над классикой, воплощенной для него в самом имени Голованова. Между тем, Самосуд, за вычетом «Сусанина», одобренного Палиевским и не осужденного Ломинадзе, обращался с классикой вполне почтительно, а вот Голованов, как легко узнать, сняв с полки том Музыкальной энциклопедии, «стремясь к наиболее полному выявлению своего творческого замысла, нередко (особенно в первой половине деятельности) прибегал к смелым (иногда спорным) оркестровым «ретушам», меняя текст авторской партитуры». Вряд ли стоило энциклопедии лишать Голованова права на самобытное чтение музыки, но еще нелепей выдавать ретушь за почтение к классике. Но «защитникам классики» она дорога именно в ретушированном виде, вступают они за ретушеров и сами ретушируют.

Ретушируют все. Куняев обличает Багрицкого, написавшего:

Но если он скажет: «Солги», – солги.

Но если он скажет: «Убей», – убей.

Здесь, по Куняеву, Багрицкий противостоит Пушкину и традициям русской классики. Я, признаться, не люблю Багрицкого; хоть он, конечно, поэт, масштабы его, по-моему, преувеличены. Но зачем делать его хуже, чем он был, грубо фальсифицируя текст? Цитированные строки произносит не автор, а герой – Феликс Дзержинский, видение которого навещает больного поэта, а тот, кстати, при появлении гостя торопится ему сообщить о своем нездоровье. Но гость пришел «попросту потолковать», и цитированные строки – часть монолога, который гость произносит, «продолжая давнишний спор». Вот, оказывается, как! Багрицкий не только не провозгласил приписанную ему формулу, но спорил с ней и спорил давно, задолго до Куняева. И когда гость смолкает, что отмечено, дабы четко обозначить принадлежащую ему речь, и исчезает, поэт уходит «в клуб, где нынче доклад и кино, собрание рабкоровского кружка», уходит никак не намереваясь лгать или убивать, и никого к этому не призывая, уходит

впечатленный внутренней цельностью своего героя, но так и не уверовав в правильность его советов.

А вот в журнале «Москва» № 9 за 1976 год опубликовано другое стихотворение об истории и нравственности:

Вновь смута. Буйствует народ,
шумит, как море в непогоду,
но на престол вступает Петр
и не дает ему свободу,

чтоб выстроить Санкт-Петербург
и предъявить Россию миру,
чтоб Пушкин из дрожащих рук
Державина воспринял лиру.

Автор стихотворения Куняев не только солидарен со своим героем, который, право же, не жалостливей Дзержинского, но и позволяет себе утверждать, что, получи народ свободу, не было бы в России ни Державина, ни Пушкина. Чтобы обрести Пушкина, надо, по Куняеву, держать народ в узде. Пушкин и не подозревал, что будет объявлен оправданием российского рабства. Но в том и состоит по Палиевскому и Куняеву назначение классики. Затем и красят стены охрой.

Здесь с их пафоса слетает еще одна маска. «Защитники классики» щеголяли антисемитскими выпадами. Евтушенко даже цитировал в ответ Короленко, осуждавшего антисемитизм. Но, сдается, что юдофобство, пульсировавшее в зыбком теле «дискуссии», пусть «защитники классики» были в нем искренни, лишь маскировало более оригинальную позицию. Их мишенью было не так национальное достоинство народов, о которых они судили пренебрежительно, как русского народа, от имени которого они произносили свои речи. Что только не было сказано о величии России и русской классики! В заключительном слове Палиевский даже объявил, что «русская литература победит всех»! Будущее время тут не случайно. Ведь русская классика, – и Гоголь, и Достоевский, и Толстой, – уже «победила всех», если считать победой мировое признание. На монополию верховенства, и нереальную, и оскорбительную для других литератур, русские классики никак не претендовали. Их не тяготило соседство Гомера и Шекспира, Данте и Сервантеса, Гете и Стендаля.

Но по Палиевскому смысл победы именно в возвышении над другими. За его словами о русской культуре и русском народе витает идеализированный облик Российской империи, который еще Уваров очертил словами: «Православие, самодержавие и народность». До реальной русской культуры его времени и реальных русских крепостных мужиков с этой формулой не добраться и нет надобности добираться. Стало быть, можно и сегодня с легким сердцем оплевать Стравинского, едва ли не ярче всех в XX веке воплотившего русский дух, а заодно и Прокофьева, и Шостаковича, и Мейерхольда, который, даром что немец, принадлежал русскому театру, и Тынянова, который,

даром что еврей, принадлежал русской литературе. Можно счесть малостью, что великий русский писатель Булгаков не увидел свой труд напечатанным, – и ведь именно к возвращению такой золотой поры призывает Павлиевский. Можно из всего, что в XX веке сделано в России стоящего, оставить один лишь «Тихий Дон», провозгласив его зато «самым великим романом XX века», – опять «всех победит»! Но зачем выставлять на посмешище хорошую книгу, утверждая, что она заведомо лучше, чем «В поисках утраченного времени», чем «Улисс», чем «Процесс», чем «Прощай, оружие» или «По кому звонит колокол», чем «Доктор Фаустус», чем «Мастер и Маргарита» и другие прекрасные книги, о которых тоже нелепо говорить «это самый великий роман». Литература – не фигурное катание, и единоличные чемпионы ей ни к чему.

А для Палиевского вся суть в слове «самый», ибо его занимает не самобытность России, не ее равенство с другими, а ее верховенство. И если за верховенство надо платить самобытностью, реальным благоденствием реального народа, он готов платить, ведь плата идет за чужой счет, за счет народа, жаждущего не показного величия, а блага. Когда слышишь, как язык не дрогнув произносит: «Мандельштам вслед за Есениным», словно Мандельштам не был старше и не созрел раньше (и это в похвалах Куняева Мандельштаму, призванных «сбалансировать» поношение Багрицкого), может показаться, что ораторами движет лишь неодолимая национальная спесь. Но если это и национализм, то совершенно особого рода, прикрывающий национальным знаменем упразднение национального лица. Нет ничего национального в том, чтобы объявить главными чертами своего народа общие для всех, но только в высшем их развитии. Национальное – это свое, близкое и дорогое тому, кто вырос здесь, может быть, даже не вполне понятное тому, кто живет не то что за океаном, а на другом берегу реки. В национальном правомерно защитное чувство, но не любезное Палиевскому «победит всех». Противостояние этому «победит всех» становится теперь неременным отличием истинного защитника русской национальной культуры. Кто не отшатнулся, не отрекся от этого «победит всех», тот лжет, говоря о своей любви к России. Любовь и Россия нужны ему для вполне конкретных персональных надобностей. А прекрасной русской культуре никого не нужно «побеждать», но ей нужна возможность жить рядом с другими прекрасными культурами, не подчиняясь и не навязываясь им, не претендуя считаться лучше всех, однако, оставаясь не хуже других. Такая русская культура Палиевскому и его единомышленникам неинтересна, как неинтересно им, певцам годов, прошедших под девизом «жить стало лучше, жить стало веселей», реальное благополучие русского народа. Их интерес не литературный, не жизненный, а политический.

«Мы – третий Рим» - вот что сегодня означают слова «Классика и мы». Рим в такой формуле был необходим российским государям, он утверждал классичность имперской традиции. Античный Рим, чем дальше, тем меньше дорожил самобытностью, если, конечно, не иметь в виду самобытность легионов, тоже не беспредельную. В поздней империи самобытно-римский облик культуры был уже и вовсе

немыслим: видимость равенства в имперском гражданстве сохраняла за римлянами господство над другими народами, но открытое изъявление этого господства означало бы нескончаемые внутренние войны. И Рим говорил языком греческого искусства и еврейской религии, тоже почти утративших там национальные очертания и уже названных римскими. Рим делал это ради власти над миром. Традиция принесения живой национальной культуры в жертву национальному верховенству стала и впрямь «классической» и возобновлялась не однажды и в разных вариантах. В Третьей империи чужого не занимали, лишь твердили «всех победит!», и все равно под истошные вопли о величии Германии и стоны уничтожаемых народов, немецкая культура была пущена на поток и разграбление. При этом Гете и Бетховен оставались на пьедесталах и уже в силу этого как бы противостояли всяким там авангардистам, вроде Малера или Кафки. Но радио зажатого блокадой Ленинграда, не перестало играть Бетховена, и немецкие солдаты, ловя знакомые звуки, не понимали, на чьей стороне немецкий классик Бетховен. Вот о чем стоило бы подумать Палиевскому и его друзьям, прежде чем составлять из Пушкина и Льва Толстого зондер-команду.

Дискуссия «Классика и мы» не была дискуссией. Люди иных воззрений не догадывались, что литературный диспут выстроен как политический митинг. Возражая, они оставались в пределах литературы и искусства. Но ссылки на авангардистское «Горячее сердце» Станиславского или пример Маяковского повисали в воздухе. Не о том шла речь. Тем более бесплодны были призывы Эфроса, говорившего о мире и терпимости точно перво-христианин во рву со львами. Он вызывал щемящее сострадание, но львы не могут стать сторонниками мира, а условия, без которых искусству не выжить, их не занимают. Они говорили на политическом языке, и лишь на этом языке можно было бы им ответить.

Но здесь, помимо неподготовленности аудитории, часть которой к тому же составляла клака докладчиков, сработала точность замысла. Призывы Палиевского и его друзей не выходили за рамки легальности, которые в эту сторону очень широки, – нигде ведь не сказано, что не положено перечеркивать решения XX и XXII съездов, что не гоже воспевать Сталина и его методы, что не стоит, как бывало, глумиться над лучшим, что есть в современной культуре, или объявлять тридцать седьмой год благословенным. Палиевский, Куняев, Лобанов, Селезнев и Кожин широко пользовались отсутствием, – при гонениях на политическое инакомыслие, – хотя бы ограничений на пересмотр провозглашенной самой партией исправления ее политики, которые бы как-то уравновешивали неоспоримую свободу поношения личных и художественных достоинств, отчего сравнение тридцать седьмого года с семьдесят седьмым выходило у «защитников классики» в пользу первого.

Можно бы, конечно, возразить, и это была бы правда, что семьдесят седьмой год, при всех его несовершенствах, все же лучше и легче тридцать седьмого. Но возражающий стал бы немедленно «официальным» оратором и лишь подтвердил, что «защитники классики» - фронтеры, а они этого и хотели, твердо зная, что такая

«фронда» вполне безопасна. Если же оппонент захотел бы различить в семьдесят седьмом году, наряду с лучшим, и остающееся худым, продолжающее «классические» традиции, и тем прояснил бы, чего от «защитников классики» ждать, он сам проявил бы фрондерство, уже отнюдь не безопасное. Нигде ведь не сказано, что поныне может иметь место осужденное XX и XXII съездами. Живучими у нас признаются лишь пережитки капитализма. В таком фрондерстве, в отличие от «фрондерства» Палиевского, сейчас же принялись бы искать сомнительный подтекст. А с тридцатых годов известно: «кто ищет, тот всегда найдет!» И придется держать ответ. Положение сторон было не равным, и уже поэтому дискуссия не могла состояться. Палиевский с друзьями отлично это понимали и верили, что в стенах ЦДЛ им не ответят, потому и позволяли себе беспардонные передержки. Они беспрепятственно провозгласили свое, а иной цели, кроме как публично себя заявить, хоть и традиционной, но все же новой политической силой, у них и не было.

Цель достигнута. Не прошло и двух месяцев, как на встрече с читателями в какой-то библиотеке я услышал: «Вот официальный критик Феликс Кузнецов утверждает одно, а выдающиеся народные критики Вадим Кожинов и Михаил Лобанов говорят совсем не так». Пришлось вступить за Кожинова и Лобанова, выглядевших в устах читателя чуть не диссидентами, и разъяснить, что они не просто вольные литераторы, а тоже люди вполне официальные со служебными и общественными постами. Уже в ходе собрания Палиевский сетовал, что у видного борца с модернизмом М. Лифшица нет места, чтобы высказаться. Между тем, Мих.Лифшиц издает ныне книгу за книгой и регулярно выступает, не говоря о других изданиях, в журнале «Коммунист». Всем бы так не иметь места, чтобы высказывать свои сокровеннейшие убеждения!

Здесь торжествует самим же Палиевским ранее провозглашенный «парадокс гонимости». В статье «К понятию гения» он приписывал сознательное стремление стать гонимым чуть не каждому великому художнику XX века, объявляя гонимых псевдо-художниками, мастерами подделок (словно подделки в искусстве достояние одного XX века). А и сам Палиевский вынужден был признать, что такой «гений готов был действительно пойти на отчаянные лишения и даже мученичество». Но провозгласив «гонимость» приметой «гениальности» Палиевский поторопился приписать ее себе и своим друзьям, хоть ни он, ни они, ни на лишения, да еще отчаянные, ни, тем более, на мученичество, идти отнюдь не порывались и не отказывались от благ и преимуществ, предоставляемых им порядком, осуждаемым ими за недостаточную «классичность». Сама их гонимость – подделка. Сетовать на излишнюю мягкость, ненужную терпимость, непомерный либерализм или избыток свободы у нас никогда никому не возбранялось.

Ну, что ж, Татлин не так уж теперь страдает от того, что его бранит Мих. Лифшиц. Стравинский не станет хуже от того, что не нравится Палиевскому, Тынянов – от того, что не нравится Роднянской, и Эфрос от того, что не по вкусу Кожинову. Пусть говорят. Но, чтобы оголтелая и злая ложь не была принята за правду людьми, чистосердечно верящими всякому публичному слову и не всегда

имеющими досуг и желание заглянуть в энциклопедию, необходимо дать слово и другой точке зрения. Истина выясняется только в споре. Монопольная возможность нести вздор создает особый умственный климат, в котором легко случается непредвосхитимое, и смехотворные нелепости, сами по себе ничтожные, могут стать опасными для жизни.

Декламация на тему «Классика и мы» осталась бы заурядной малостью, если бы ее тезисы не только публично высказывались, но и публично подвергались критике. Если же обстоятельства этого не позволят, в один прекрасный день вместо Петра Палиевского обнаружится отечественный Йозеф Геббельс, и его первую публичную декларацию, мы, если уцелеем, вспомним как стыдное, но историческое событие.

В ЗАЩИТУ ЧАЦКОГО

Свою книгу о Грибоедове Александр Лебедев посвятил сопоставлению его судьбы и содержания его бессмертной комедии. Ни «Горе от ума», ни самая судьба ее автора, оказывается, поныне не поняты.

Чацкого привыкли считать положительным героем, а Молчалина его отрицательным антиподом. Но, по Лебедеву, Чацкий воплощает не столько прекрасные побуждения, сколько бесплодность их прямого изъяснения. Так и сказано: «Чацкий несостоятелен». От Репетилова он отличается разве что большей искренностью и оригинальностью, но тоже болтун, ни на что реальное не способный. Одновременно говорится: «Молчалин — ложная альтернатива Чацкому». Оба они оказывается, выставлены на посмешище, и безрассудная дерзость не лучше сметливого холуйства.

Зато положительным персонажем, пусть не комедии, но жизни, выступает, по Лебедеву, сам драматург: «Грибоедов после Сенатской решил на нечто такое, что потребовало от него совершенно исключительного и совершенно особенного мужества и героизма. Грибоедов попытался сотрудничать со своим главным врагом». Далее еще выразительнее: «Нужны были поистине феноменальные качества души для того, чтобы на следующий день после трагедии на Сенатской, когда перед твоими глазами еще качаются пять повешенных, оставаясь другом безжалостно репрессированных прекрасных людей, отринуть от себя все напрашивающиеся подозрения и проклятия и протянуть руку сотрудничества своим врагам и врагам самых дорогих тебе людей, и при этом знать, что ты почти наверняка не скоро будешь понят. Очень не скоро». Вот какие похвалы воздают Александру Сергеевичу Грибоедову. Его личное поведение с лихвой компенсирует Лебедеву отсутствие в комедии человека, готового не на донкихотство и не на лихоимство, а на компромисс.

Лебедев признается, что, говоря о компромиссе, испытывает «определенное внутреннее затруднение», и пишет: «мне явно приходится преодолевать некий нравственный барьер. Но я знаю, что и барьер этот и затруднение это — ложны. В компромиссе как таковом нет, конечно, ровным счетом ничего сакраментального. Оттенок сакраментальности внесен в понятие компромисса левосубъективистской, как известно, традицией в нашем общественном сознании»

Укажу сразу, я и сам убежден, что в подавляющем большинстве случаев развитие общества возможно лишь путем социального компромисса, который часто вообще единственный путь жизни, и не вижу нужды извинительно оправдывать готовность к компромиссу. В компромиссе ничего безнравственного, разумеется, нет. Но на сей раз думать об этом побуждает мера соответствия или, точней, несоответствия явления, которое обычно обозначают этим словом, и того, которое им обозначает Александр Лебедев.

Значения слов, обозначающих общие понятия, размыты. Именующие себя верующими во Христа, христианами, часто с

беспощадной твердостью вытравили гуманную суть проповеди Иисуса из Назарета. Именуящие себя учениками Маркса, марксистами, с беспощадной твердостью, в теории и на практике часто отказываются признать, что «...общество не может освободить себя, не освободив каждого отдельного человека». Нередко говорят об «истинном» христианстве, об «истинном» марксизме, и точно так же об «истинной» свободе, «истинном» равноправии, «истинном» сосуществовании. Но и слово «истинный» не очень помогает. Подчас явление, дополнительно им обозначаемое, еще дальше уходит от того, которое привыкли за этим словом предполагать. Не стоит считать ложным нравственный барьер, препятствующий подобным подменам, и через него прыгать.

Различия между словом, написанным на знамени, и стоящим за ним явлением побуждают людей все меньше и меньше доверять словам, а без слов им все труднее понимать друг друга. Чтобы добиться ясности, недостаточно, хоть и необходимо, опять и опять напоминать о словарном и историческом значении слов. Надо непременно прояснять явления, которые словами неправомерно обозначаются, и, в частности, разобраться, что же Лебедев имеет в виду, пользуясь прекрасным, хоть и непопулярным ныне, словом «компромисс», а он употребляет его довольно своеобразно. Оригинален уже и самый выбор в герои компромисса Александра Сергеевича Грибоедова.

Конечно, деятельность Грибоедова, особенно после Сенатской, представляет не только литературоведческий интерес. Лебедев переходит от литературы к истории, и смешно на это сетовать. Но история еще трудней, чем литература, поддается нравственной схематизации. Что было, то было. Факты и гипотезы в историческом исследовании не равноправны. Гипотезы не бесправны, но должны все же соотноситься с фактами, а факты с гипотезами не только не обязаны, но и не могут уже соотноситься. Определив жанр книги как «Факты и гипотезы», Лебедев пренебрегает фактами. Компромисс выступает у него единственной возможностью между безрассудством и холуйством. А палитра возможностей, и даже палитра российских реальностей, была куда шире.

В России жили не только Чацкие и Молчалины. Жили, кроме них, люди, искавшие делового компромисса с самодержавием, люди, капитулировавшие перед ним, люди, под давлением обстоятельств переходившие на его сторону, и даже прямые предатели освободительных идеалов, но и эти последние не обязательно становились Молчалинами. Лебедев мажет все промежуточные слои одним миром, отождествляя капитуляцию и даже переход, пусть вынужденный, в лагерь врага с компромиссом. Тем самым игнорируется смысл и плодотворность подлинного компромисса и самое его содержание расплывается.

Между тем, слово «компромисс» в русском языке означает «соглашение путем взаимной уступки», и соль тут во взаимности. Односторонняя уступка, а, тем самым, и капитуляция и, тем более, переход на сторону врага, - не только не компромиссы, но прямо ему противоположны, и именно от этой сути дела Лебедев отвлекается.

Александр Сергеевич Пушкин был готов к компромиссу уже при свидании с возвратившим его из ссылки царем. Сегодня легко выговаривать Пушкину за «хвалу свободную» палачу декабристов. Но, если держаться фактов, невозможно сказать, что в отношениях поэта и царя вовсе не было взаимности. Пушкин все же издавал журнал, напечатал, в конце концов, «Бориса Годунова», написал «Медного всадника». Разумеется, Николай всеми правдами и неправдами сокращал свою долю уступок, и не оттого ли Пушкин задохнулся, что стойкий компромисс на деле оказался невозможен? Но Пушкин, во всяком случае, не стал монаршим слугой и не капитулировал. Он сохранил свою, пусть относительную, независимость и пошел на смерть свободным и неподкупным. Вина Дантеса не смягчится, если признать, что Пушкиным владело отчаянье от невозможности хотя бы в рамках компромисса и дальше жить свободным и неподкупным. И не напрасно сочувствие Пушкину, — не Евгению, не Алеко, не Дубровскому, а именно их автору, веселому имени Пушкин.

Александр Сергеевич Грибоедов жил другой жизнью и умер другой смертью. И не зря любовь к Чацкому больше любви к Грибоедову. Конечно, и Грибоедова не стоит объявлять предателем, и Лебедев прав, когда утверждает, что скепсис владел им до Сенатской, хоть и признает, что «мудрое» решение пойти на службу к врагу пришло лишь после нее. Poleмика с Тыняновым была бы в деталях основательной, будь «Смерть Вазир-Мухтара» научным исследованием. А в романе Тынянов вправе приписать своему Грибоедову более резкий перелом в мыслях, и не потому лишь, что происшедшее на Сенатской так или иначе, даже и по Лебедеву, означало перелом в его судьбе, но еще более потому, что прежний личный скепсис и после Сенатской не освобождал от груза моральных обязательств не только перед лицами, но и перед делом. Тынянов ощущает неодолимую тяжесть этих обязательств для Грибоедова, а Лебедев отказ от них как раз и возводит в добродетель. Но в победу восстания Грибоедов, действительно, не верил.

Прибавим от себя, что сомнениями в ней дышит и сама комедия. Если даже Пушкин недоумевал, почему Чацкий держит свои умные речи перед московскими бабушками, то ведь Грибоедов адресовал его к ним как к матерям тех самых ста прапорщиков, которым не переделать российский государственный быт. Разделяя декабристскую критику сущего, Грибоедов не разделял их надежд, да и вообще единство в отрицании не залог единства в утверждении. Хоть Лебедев и преуменьшает присущий автору «Горя» критический декабризм, он прав, умеряя пыл Нечкиной, записавшей Грибоедова в полные декабристы.

Проблема, однако, не в том, чтобы сыскать гению подходящую партию. Резкая полемика Лебедева с Нечкиной о том, к какой партии отнести Грибоедова, заслоняет единообразие их партийного мышления. Сопоставляя мнение Пиксанова: «Ермолов был махровым шовинистом, империалистом, великодержавником. Грибоедов оказался несомненно под влиянием ермоловского захватнического империализма, и сама гибель дипломата-драматурга была обусловлена его беспощадной великодержавностью» с мнением

Нечкиной о Ермолове: «Лавирование породило немало противоречий в его поведении. Однако черты политической оппозиционности и вольнодумства все же складываются в облике Ермолова в такое прочное и ясное целое, что становится вполне понятно, почему этот человек мог быть зачислен декабристами в ряды "своих"», Лебедев замечает: «Какие разные точки зрения на деятельность и характер одного человека! А по сути дела на один тип государственного деятеля».

Но такие ли уж разные? Разве скорей не одинаково односторонние? Разве характеристика типа сводится к квалификации его как верноподданнического или вольнодумного, диссидентского, как самодержавного или декабристского? Разве нельзя быть одновременно шовинистом и вольнодумцем, империалистом и декабристом? Разве одни и те же стремления не могут искать выхода и на путях самодержавия и на путях декабризма?

Лебедев сперва рассуждает о том, что дружба с Булгариным не красит, и рассказывает, что Грибоедов подумывал, не порвать ли с этим позорным другом. А потом идут упреки Тынянову за формулу «Александр Сергеевич Грибоедов, друг изменника Фаддея Булгарина» и ссылка на Кюхельбекера, которому снится Грибоедов, с патетическим восклицанием: «Кто же снится ссыльному декабристу Кюхельбекеру? "Друг изменника Булгарина"? Нет. Ему снится другой Грибоедов. Ему снится его друг. Никакой Вазир-Мухтар Кюхельбекеру не снится».

Но снов, даже и самых достойных людей, все же не довольно, чтобы судить о реальности. Да и не один Грибоедов, еще и Рылеев дружил с Булгариным, а уж Рылеева никто не упрекнет в отступничестве, и стал он после Сенатской не полномочным министром, а висельником. Знак «Булгарин», как и знак «декабризм», еще не исчерпывает проблему, но и отмахиваться от той доли, которую они вносят в понимание многослойной ситуации, незачем.

Проблема Грибоедова не в том, считать ли его сперва декабристом, а потом ренегатом или, наоборот, наиболее дальновидным продолжателем декабризма. На мой-то взгляд, он не был ни тем, ни другим, ни третьим. Проблема в том, чтобы выяснить, кем он все-таки был и почему с одинаковой легкостью сотрудничал и с декабризмом, и с самодержавием, и с Кюхельбекером, и с Булгариным, и с Ермоловым, и с Паскевичем. А для этого придется не только указать на странный характер Грибоедова и на его дипломатичность, но обнаружить, что же все-таки было общего у этих, кажущихся столь разными, сторон. Эта общность не занимает ни Пиксанова, ни Нечкину, ни Лебедева. Все они расставляют исторических деятелей по готовым партийно-политическим клеточкам, и в таких расстановках Пиксанов грубее, но и точнее других. Возвращаться к теме стоит не затем, чтобы пересмотреть его оценки, но чтобы преодолеть ограниченные рамки заготовленных клеточек, которыми Пиксанов и другие довольствуются, ибо странность Грибоедова любопытна не только его биографам. Она проливает свет на корни бытующей примитивной трактовки многих политических противостояний, в котором нет ничего, кроме жупелов «реакции» и «революции».

Лебедев подчеркивает, что истовость службы Вазир-Мухтара «говорит о том, что Грибоедов хотел показать пример службы делу, а не лицам». Но гениальный поэт заведомо выше подозрений в карьеризме, они не интересны. А вот выяснить, какому он служил делу, необходимо. Лебедев от этого странным образом отвлекается, давая понять, что существует некое общее дело, которому, оказывается, можно служить независимо ни от чего. Вот и взглянем, что же это за дело и так ли уж от него независимы другие творящиеся одновременно дела и, возвращаясь к основному сюжету, способствует ли оно компромиссу.

Александр Романов и Михаил Сперанский, Николай Романов и Никита Муравьев, Павел Пестель и Александр Грибоедов несомненно были убеждены, что служат России и, действительно, все они служили ей одинаково искренне. Вот только Россия была дорога им разная, оттого и служба выходила разная, не только для них самих разная, но и для России. России служили Лунин и Чернышевский, которых губили от ее имени, России служили и Максим Петрович, и Павел Афанасьевич и Скалозуб, и Молчалин. Служащие лицам тоже ведь, в конечном счете, служат делу, есть и такое дело — служить определенному слою или даже классу лиц.

Крылатые слова о необходимости служить «делу, а не лицам» вовсе не призыв к чиновникам не брать взятку. В требовании, которое Чацкий предъявляет веку, это — сама собой разумеющаяся честность. Смысл же требования в том, чтобы не ограничиваться служением вышестоящему классу лиц, но раздвинуть рамки служения, раздвинуть понятие «Россия», которое, хоть это нигде, может быть, прямо в комедии и не обозначено, для Чацкого уже не государь и государство, но «умный, бодрый наш народ». Служить делу, а не лицам, в контексте «Горя от ума» означает служить не одним лишь Максимами Петровичам и Павлом Афанасьевичам, - не лишь отдельным лицам, а любому из составивших народ.

Сперанский, Муравьев и Пестель очень по-разному представляли себе такое служение, но все они так или иначе расширяли круг лиц, числимых людьми, а не просто рабочим скотом. Александр и Николай Романовы, по славной традиции российского самодержавия, заложенной еще Иваном IV, были, напротив, убеждены, что благополучие трона и есть высшее народное благо и ничего более всерьез не требуется. А Грибоедов? Как понимал проблему он?

Он служил по иностранной части, и это для Лебедева тоже повод придать его служению почти отвлеченный характер, — ведь не губернатором где-нибудь в Тамбове сидел и не русских мужиков порол, а расширял российские границы, покорял иные народы. Вот мы и добрались до ключевого вопроса, который Лебедева не занимает вовсе, — о связях внешнеполитических триумфов Российской империи с усугублением крепостного рабства русских мужиков.

Лебедев протестует даже и против самого слова «рабство». Он пишет: «Строго говоря, крепостной крестьянин в России в XIX веке не был, конечно, никаким рабом в изначальном, классическом значении этого слова. Рабство — институт дофеодальный, как известно». В подтверждение фигурального смысла слова «раб» в применении к

крепостному он ссылается даже на Чернышевского, сказавшего, что у нас «снизу доверху все рабы». Не входя в спор о Чернышевском, воспользовавшемся словом «раб» именно потому, что перед его глазами были крепостные мужики, и словами «снизу доверху» подчеркнувшему, что именно это рабское основание обрекает всех, держащихся на нем, на рабские повадки, остановимся на том, что «рабство — институт дофеодальный, как известно».

Поверхностное знакомство с прошлым и впрямь относит рабство к древности, к грекам и римлянам. У германцев и славян оно наблюдалось на заре их истории. Но нам нет нужды вдаваться в дискуссию о том, как долго на Руси существовали холопы. Крепостное право, крепостное рабство не из древности и не из Киева или Новгорода пришло. Декабристы знали не только то, что рабство, «как известно», всюду в мире теоретически исчезло с наступлением феодализма. Они хорошо знали, что кое-где, и в частности в нашей стране, оно практически родилось заново во время позднего феодализма как проявление феодальной реакции.

Если феодальная зависимость русских крестьян в XIII-XIV веках не слишком отличалась от зависимости английских или французских, не говоря уже с немецких, то XVI век — век великого перелома судьбы русского крестьянства. В то время как их английские и французские братья мирным или революционным путем расширяли свои свободы, русские крестьяне под пятой Ивана Васильевича и Алексея Михайловича, Петра и Екатерины II обретали добавочное ярмо. В XIX веке их продавали без семьи и без земли, на вывод, что никакими феодальными нормами не предусмотрено и ни в одной европейской стране к западу от Эльбы в такой форме, как в России, не практиковалось.

Состояние, известное в науке как «второе издание крепостного права», по-своему проявившееся в разных странах к востоку от Эльбы — и в Пруссии, и в Польше, — в России достигло особого, ни с чем не сравнимого уровня, и рабством его называли отнюдь не только фигурально. Оно впрямь было уже больше похоже на античное рабство, чем на феодальную крестьянскую зависимость. Разделяя мысль Чернышевского о том, что «все рабы», не будем забывать, что среди многочисленных фигуральных рабов большинство все же составляли рабы буквальные, почти в классическом значении этого слова, крепостные души, и нарушение Чичиковым закона состояло в том, что он, желая обмануть государство, скупал мертвых, в то время как продавать и закладывать принято было живых, и государство стояло на страже этого права. Продать живого человека за деньги или обменять на что-нибудь было самое разлюбленное дело. И если это не рабство, то что же тогда рабство?

Уже самое стремление Лебедева, как, впрочем, и ряда других нынешних исторических писателей и исследователей, закрыть глаза на эту особенность российских порядков, свести ее к обычному и повсеместному феодализму, затуманивает смысл всех совершаемых в такой атмосфере социальных поступков. Если нет рабства, а есть, «как известно», всего лишь обычная феодальная зависимость, нет и нужды задумываться о причинах российской особенности. Между тем,

переход от феодальной зависимости к крепостному рабству совершился как раз в ту пору, когда совершился и переход от национального русского государства к империи, от Руси к России, когда на смену собирателям русских земель — от Ивана Калиты до Ивана III — пришел собиратель нерусских земель Иван Грозный и его наследники. Крепостное рабство русских крестьян - плата за Российскую империю и прямое следствие ее возникновения. Всякий, кто укреплял империю, тем самым, хотел он того или не хотел, укреплял и ужесточал рабство русского крестьянина. Не случайно именно о России Энгельс сказал: «Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Сила, нужная ему для подавления другого народа, в конце концов, всегда обращается против него самого»¹. Не напрасно именно поражение империи в Крыму вынудило так или иначе положить рабству какой-то предел.

Мы, понятно, можем только гадать, сознавал ли старик Кутузов, какими окажутся для внутренней жизни последствия триумфального марша имперской армии в Париж, но его упорное нежелание выводить свои войска за национальные границы после разгрома Наполеона навсегда закрепило память о нем, как о подлинном и великом патриоте. В сотрудничестве с самодержавием в 1812 году у Кутузова была мера, которую он не хотел преступать. Он защищал самодержавие, покамест его защита совпадала с защитой России, но не далее того, — потому-то государственная граница и стала рубежом его борьбы против Бонапарта. Здесь же истоки декабристского движения.

Восстановим остальные опущенные Лебедевым исторические факты: в 1815 году завершился Венский конгресс, где Александр, при всех уловках Талейрана, ощущал себя освободителем Европы и, вопреки Кутузову, повелителем немалой ее части. В России он именно теперь и в связи с этим предоставляет Аракчееву безмерную власть, и тот вновь разворачивает строительство военных поселений. В 1816 году оно обретает уже не единичный, а массовый характер. И в том же 1816 году возникает «Союз спасения», первая декабристская организация. По мере ужесточения аракчеевского режима декабристские организации обретают все более деловой характер, в 1818 году организуется «Союз благоденствия», а в 1821-м — Южное и Северное общества, готовящиеся уже к конкретному антиправительственному перевороту. Декабристское движение возникает в ответ на нежелание трона пойти на компромисс с более дальновидной частью дворянства, привыкшего видеть в самодержавии выразителя и защитника своих интересов и, более того, от Петра до Александра привыкшего менять в своих интересах фигуры на троне.

До победы в Отечественной войне Александр как будто даже склонен придать такому компромиссу устойчивые и гибкие формы, создать какую-то представительную систему, пускай весьма ограниченную, на что, собственно, и направлены реформы Сперанского, стремившегося, правда, сбалансировать социальные

¹ Маркс и Энгельс, СС, т.18, стр.509

отношения иначе, нежели потом декабристы. Но победа избавляет Александра от необходимости искать реформистскую альтернативу лишь частично осуществленными реформами Сперанского, в 1812 году изгнанного. Победа создает видимость возможности с успехом и далее длить произвол неограниченной власти, воплощением которой и становится военно-бюрократическое правление чиновничьего аппарата и военных поселений. Николай лишь продолжал начатое братом, лишь обнажил итог крепостнических идей. Потому-то первый надлом в отношении к самодержавию возникает у дворянства до Сенатской, каким бы новое отношение ни стало, — декабристским, полудекабристским или служебно-исполнительным.

Грибоедов не только не одинок в формировании своих взглядов до Сенатской, но формирует их, при всем их своеобразии, параллельно Пушкину и Пестелю, Вяземскому и Муравьеву, Чаадаеву и Рылееву, и всему широкому спектру дворянского осознания тенденции абсолютизма к военно-бюрократическому ожесточению. Скепсис по поводу возможности изменить положение вооруженным восстанием, на который Лебедев указывает вполне резонно, еще ни в малейшей степени не свидетельствует о готовности не формально служить военно-бюрократической машине. В комедии симпатии к ней тоже что-то незаметны.

Однако после Сенатской и четырехмесячного следствия Грибоедов все же опять идет служить, и уже в новом качестве. Сочтем ли мы, что его взгляды переменялись, решим ли, что они остались прежними, поведение его явно переменялось, это факт неопровержимый, и никакими рассуждениями не заслонить того, что руку врагам он протянул не для компромисса, а для капитуляции. Его предсмертная служебная деятельность, включая подготовку Туркманчайского договора, была воплощением оголтелого российского империализма, стремившегося к расширению империи и покорению все новых народов. Даже столь умеренный исследователь, как В. Н. Орлов, обильно ссылающийся на козни англичан и на благотворность российских завоеваний для всех покоряемых наций и народностей, вынужден признать: «...персы видели в Грибоедове одного из главных виновников тех тягот, которые возложил на них мирный договор с Россией, предусматривавший выплату большой контрибуции».

Мы, разумеется, содрогаясь при мысли о гениальном поэте, погибшем от рук разъяренной толпы, но следует помнить, что никто в этой толпе и понятия не имел, что ее жертва — гениальный поэт, что не поэзия и не обличение царства Фамусовых были на сей раз причиной безжалостной расправы. Грибоедов погиб как верный слуга царя, и если вместе с Лебедевым счесть отступление на службу умным шагом, гибель придется считать горем от ума, а это выходит как-то очень уж обидно для замечательного ума Грибоедова, не обсуждая уже «феноменальных качеств души».

Лучшим примером компромисса Лебедеву кажется известная «Записка о Российской Закавказской компании» Грибоедова и Завелейского. Но «Записка» была недвусмысленно отвергнута властями, стало быть никакой реальной взаимности, никаких реальных уступок, которые компромисс предполагает не для себя, а для дела,

Грибоедов в обмен на свою службу и тут не получил. Но и сама по себе «Записка» предлагала не компромисс, а лишь более утонченную и более зловещую форму колониализма.

Лебедев все вертится вокруг того, что предложение не тотчас освобождать русских крепостных, привозимых в Грузию, а делать это через пятьдесят лет, — весьма умеренно, половинчато, и на этом основании объявляет его компромиссным. Но он странным образом уклоняется от квалификации сути предложения покупать в России крепостных крестьян на вывод в Закавказье. А ведь даже если бы русским крепостным свобода здесь предоставлялась немедленно, лишь с обязательством и далее проживать на Кавказе, этим ничуть не умалялся бы русификаторский, колониционный характер предлагаемой акции, призванной служить все более полной утрате народами Кавказа национальной самостоятельности. Оснований видеть в этой акции проявление «классического компромисса между абсолютной монархией и буржуазией» так же мало, как видеть проявление такого компромисса в заселении чужих земель испанцами в Мексике,

Говорить о компромиссе можно было бы, если бы деятельность Грибоедова хоть в самой малой степени способствовала облегчению участи русских крестьян в метрополии, в собственно русских землях, а, укрепляя империю, она такому облегчению, как было сказано, только препятствовала.

Лебедев восхваляет Грибоедова за то, что тот ради компромисса готов пожертвовать своей «нравственностью». Пожертвования личной нравственностью или даже только нравственным престижем как раз более всего и насаждают всеобщую безнравственность. Но Лебедев не только рекламирует безнравственное «служение добру», никогда до добра не доводившее и никому его не приносившее. Его вообще больше занимает статус Российской империи, чем статус русского крестьянина. Не зря он напирает на то, что Грибоедову, чтобы пожертвовать своей нравственностью, «требовалось мужество, которое Ю. Тынянов понять оказался не в состоянии».

Оставляя в стороне шовинистический подтекст упрека Тынянову, действительно проявившему полную неспособность признать укрепление крепостнической империи достойным делом, я думаю, что известное оправдание Грибоедова как раз в том, что поведение его после Сенатской объяснялось вовсе не мужеством, а слабодушием, и в том, что за свое слабодушие он заплатил жизнью. Избегни он страшной гибели, дослужись, как старинный князь П. А. Вяземский или новоиспеченный граф М. Н. Муравьев, до высших степеней и прояви свою верноподданность не в ущерб себе, а с выгодой для себя, квалификация его службы стала бы более отчетливой. Сейчас же окончательные приговоры неуместны, и не потому, что царская служба Грибоедова была невинной, а потому, что служил он лишь два с небольшим года, и новые повороты не были заказаны этому великому уму и таланту. Кто знает, быть может именно им гибель и помешала. А слово «мужество» в приложении к капитуляции характеризует не столько Александра Грибоедова, сколько Александра Лебедева.

Александр Грибоедов был слишком умен, чтобы не понимать, что самодержавие отказалось от компромисса еще до Сенатской, и именно поэтому сто прапорщиков обречены. Для Александра Лебедева, напротив, николаевская Россия была классической школой искусства компромисса. Трудно придумать формулу, более далекую от действительности. Николаевская Россия, да и вообще русское самодержавие, за слабыми исключениями в отдельные краткие периоды, было как раз образцом бескомпромиссности и, кстати будь сказано, этим себя и погубило. Даже делая уступки, оно норовило тут же их отобрать и тем подрывало всякое доверие к действительной взаимности уступок. Самодержавие признавало только одностороннюю капитуляцию других, и в повседневном российском сознании компромисс идентифицировался с капитуляцией, отчего и утратил в России великие возможности мирного регулирования меняющихся социальных отношений.

Лебедев тщательно выверяет, в какой мере какая из оппозиционных сил готова была к компромиссу, и этим определяет реалистичность ее позиции, но не хочет видеть, что компромисса не желала власть, не допускавшая и малейшего отступления от своих догм и appetитов, а без ее готовности к взаимности никакой компромисс не был реален. Только отдав себе отчет в твердокаменном упорстве власти, не желавшей существенных реформ, урезывавшей и откладывая на дальние сроки проведение даже и тех реформ, провозгласить которые вынудила угроза немедленного крушения, только осознав, что Николай I, в частности, отнюдь не искал компромисса, а, по бессмертному слову другого великого поэта, в отличие от Грибоедова служившего империи лишь солдатом по приговору, был «неудобозабываемым тормозом», мы поймем действительное отношение разных слоев оппозиции к подлинному компромиссу.

Бескомпромиссность произвола, подобной которой не знала ни одна страна, рождала у определенной части оппозиции ответную бескомпромиссность. На такой путь становились порой самые благородные, самые бескорыстные, самые самоотверженные души. Многие искренне верили, что крайние шаги возбудят массовую активность и, в конечном счете, приведут к демократии. К тому же никаких легальных способов обращения к народу не существовало, в чем и состоит коренное отличие тогдашних русских террористов от нынешних всемирных, как правило, имеющих возможность обратиться к народу, но пренебрегающих его мнением. Однако субъективные намерения и объективное содержание — не одно и то же. В любых запелляционных решениях за других, даже и в обходящихся без индивидуального террора, мерцает новое самодержавие, на службе которому бескорыстных героев, в случае их победы, неизбежно заменят двойники царских чиновников, и корысть возьмет свое. Не зря уже тогда рядом с высочайшим благородством обнаружилась и последняя степень безнравственности, обратившей волю к власти и бескомпромиссность против своих же товарищей.

Тень бескомпромиссности и беспощадности издавна витала над русским освободительным движением, что побуждало порой

призадумываться и самих его участников. Лебедев радостно цитирует Герцена: «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри. Как ни странно, но опыт показал, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы». Но Герцен предостерегает от дарования «излишней» свободы революционеров, а не самодержавие. Его-то не обвинишь в том, что оно хоть когда-нибудь допустило и самый махонький избыток свободы, наоборот, оно всегда поддерживало ее острый недостаток. А ведь и самодержавие, ссылаясь на зло от «излишнего», отказывало в необходимом, не давало ничего и только потуже натягивало вожжи, отсюда и росла ответная бескомпромиссность. Между тем, от непомерного радикализма предохраняет как раз вовремя обретенная необходимая свобода, за которую ратовал Герцен и о которой молчит Лебедев, словно бескомпромиссность самодержавия задним числом оправдана излишествами бескомпромиссной части его противников. Трудно согласиться с Лебедевым и тогда, когда он объявляет ультрарадикальные шаги донкихотством, — Дон Кихот ведь жертвовал собой, а не другими. Донкихотством между непримиримыми крайностями выглядит скорее стремление к подлинному компромиссу. Будем же помнить об этом, размышляя над предложенной Лебедевым дилеммой: «самогубительный протест или смирение с сущим, революционное донкихотство или приспособленчество».

Хоть Лебедев и объявил Молчалина «ложной альтернативой» Чацкому, свою дилемму он все же обозначает именами Чацкого и Молчалина. Но разве Молчалин «смирился с сущим», разве он даже «приспосабливался» к нему? Нет, сущее было его стихией, он жил им, он принимал его как естественное и благотворное для себя, он, конечно, приспособлялся к лицам, но не к «делу». Мы застаем его у подножья лестницы, но понимаем, как легко он поднимется, и уже другие будут с ним смиряться, к нему приспособляться. Грибоедов, разумеется, не стал Молчалиным, даже и вернувшись на царскую службу, но он, конечно, смирился с сущим и приспособлялся к Молчалиным, без этого не прослужить и дня. И поскольку Грибоедов пришел как раз к смирению с сущим, антитеза Лебедева скорее обозначается именами Чацкого и Грибоедова, которых Лебедев противопоставляет совсем в другом ракурсе, как революционного фразера и сторонника трезвого компромисса, что как раз бесосновательно, поскольку Грибоедов никакого реального компромисса не достиг, да и не слишком искал. Но Чацкому и впрямь свойственны самогубительный протест и донкихотство. Здесь Лебедев ближе к истине, и возражение вызывают главным образом его выводы.

Что говорить, куда как хорошо вступать в компромиссы с властью, отказавшейся от произвола, признающей, пусть не сразу и не в полной мере, людские права, и готовой их «по царской милости своей отдать из доброй воли»! Но Пушкин, который летом 1819 года еще напишет о надеждах на «рабство, падшее по манию царя», смеялся над такими надеждами в декабре 1818 года. Скепсис, как видим, одолевал и его. Как же быть, если власть не желает компромисса, если у человека (оставим в стороне Молчалиных), по лебедевской дилемме, есть выбор

лишь между капитуляцией и самоубийственным протестом, то есть выбора никакого нет? Прежде всего вспомним, что двоичная схема упускает другие возможности и, в частности, возможность самоуклонения, которой, хоть и по-разному и на разных этапах жизни, пользовались многие лучшие люди России, именуемые, впрочем, «лишними людьми».

Но Чацкий не совсем «лишний человек», и его донкихотство отличается от выхода из игры Ильи Ильича Обломова или даже Ивана Андреевича Крылова. Он не самоустраняется, а лезет на рожон, и, отправившись «искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок», найдя такой уголок, не успокоится, а, глядишь, начнет издавать «Колокол». Лебедеву кажется, что «Грибоедов пережил своего Чацкого», но это половина правды, ведь и Чацкий пережил своего Грибоедова. Грибоедов Чацким не стал, но Белинский, смеявшийся над Чацким, сам был Чацким и занимался самогубительным протестом. Точно так же и Герцен, и многие еще в России следовали путем говорения истины вслух, даже и московским бабушкам, и платили за такую малость своими жизнями. Я не возьмусь утверждать, что их путь всегда и во всем был разумен и плодотворен, но они все же заслужили не только презрительное хихиканье спешащих набраться мужества для безоговорочной капитуляции. Они вправе ожидать, что мы поймем, в чем состоял смысл их самогубительного протеста.

Строго говоря, наш величайший Чацкий уже дал ему объяснение, поставив эпиграфом к «Колоколу» пронзительные слова «Зову живых». На такой призыв откликнутся вроде бы лишь сочувствующие, но услышат его все, — и царь, и Фамусовы, и Молчалины, и люди капитулировавшие, и люди самоустранившиеся. Звучание голоса — не пустая малость, если даже первый русский великий поэт гордился тем, что дерзнул «истину царям с улыбкой говорить». Цари не хотели больше слушать истину и не включали говорящих ее, даже с положенной долей лести, в число сенаторов. Чацкий уже не Державин, а новый маркиз Поза, которого, однако, тоже не хотят уже слушать ни король, ни наследный принц, и он той же ценой говорит кому придется, уже не с улыбкой и не с учительским пафосом, а с отчаяньем и желчью. Но голос истины звучит.

О бескомпромиссности самодержавия лучше других сказал Тарас Шевченко в поэме «Кавказ», посвященной, кстати будь сказано, памяти русского офицера, погибшего от рук местных жителей в открытом бою:

Од молдаванина до фіна
На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує!

Самодержавие не просто отказывалось хоть в какой-то мере учесть реальность, пойти навстречу хоть каким-то нуждам попираемых социальных и национальных сил, — оно отрицало эти нужды, отрицало самое существование нежелательной реальности, запрещало даже упоминание о ней. Упомянуть, что под монаршим попечением хоть что-

то несовершенно, что насущные нужды видны кому-то, кроме монаршего промысла, означало посягнуть на абсолютность власти.

Право говорить само по себе было привилегией и монополией власти. За что Федор Достоевский был по суду приговорен к смерти, а из милости — к каторге? За чтение в узком кругу ходившего в списках письма Белинского Гоголю. Это не сразу укладывается в голове, — как же карать за практическое неповиновение властям, за бунт, наконец, за цареубийство, если за слово положена часто высшая и всегда садистически суровая кара? Но для абсолютной власти слово, сказанное вслух, равносильно цареубийству, ведь оно явочным порядком отнимает у царя его высшую привилегию — говорить за своих подданных. Если они начнут говорить за себя сами, и царь согласится, чтобы они говорили без подсказки, пусть даже на деле ничего больше не изменится, это уже будет известный компромисс. Не часто русская история даже и временно к нему приступала.

Самодержавие, пока хватало сил, пуще всего охраняло свое монопольное право говорить. Но именно здесь ценой самогубительного протеста можно было хоть на мгновение разорвать абсолютность власти. Бессильный изменить политические порядки или формы собственности, такой протест ценой жизни смельчака обнажал социальную несправедливость и тем самым разрывал монополию произвола, вынуждал его хоть к этому маленькому компромиссу. Власть могла наказать виновного, но не могла уже поймать вылетевшее слово. Ни в какой другой сфере вынудить власть к компромиссу в одиночку или небольшой группой невозможно.

Свободное выражение своих, даже не посягающих на основы, взглядов, — для абсолютной власти дерзкая крамола. Вот почему на умеренные суждения Чацкого о пресмыкательстве или о благе уединенных занятий Фамусов отвечает воплями: «Он карбонари!», «Он вольность хочет проповедать!», «Да он властей не признает!». Лебедев сам пишет, что Фамусов не зря «обвиняет своего собеседника в бунтовщичестве», но сетует на несостоятельность Чацкого.

В чем же все-таки его несостоятельность? В том, что его речи не изменили общественного порядка и по-прежнему «Молчалины блаженствуют на свете»? Но ведь и капитуляция Грибоедова не изменила и даже укрепила этот порядок. Оба они не сокрушили самодержавия, поскольку в одиночку такого не сделаешь. Оба они не вступили с властями в деловой компромисс, поскольку власти такого компромисса не желали. Но Чацкий все же сказал свое слово, его голос прозвучал и тем самым вынудил власти к какому-то компромиссу. Грибоедов тоже вынудил их к нему, но как автор «Горя», а не как полномочный министр и чрезвычайный посланник.

Чацкий отнюдь не герой «левосубъективистской» традиции, как уверяет Лебедев. Чацкий как раз носитель идеи компромисса, всегда начинавшегося с открытого разговора об общественных язвах. Никаких оснований зачислять его в ультралевые, приписывать ему терроризм и радикализм и даже называть его донкихотство революционным ни в тексте комедии, ни где-либо еще нет. Даже зачисляя Чацкого в декабристы, придется повторить, что и другие декабристы в большинстве своем искали компромисса с властями и вышли на

площадь только потому, что власть предпочла компромиссу военные поселения.

Чацкий — классический тип либерала. У Щедрина, кстати, он осмеивается как либерал, и там это понятно. Щедрин ратует за более радикальные действия. Но Лебедев-то противопоставляет либерализму не радикализм, а капитулянтство, да еще в такую, обыденную для России пору, когда, чтобы говорить, надо быть героем.

Вот самый занимательный парадокс крепостнического, феодально-реакционного порядка: на Западе революционером и бунтарем считался, и как таковой нередко жестоко преследовался, радикал, стремившийся к немедленным и резким переменам социального устройства, а в России в революционеры и бунтари попадал, и как таковой не менее жестоко преследовался, даже либерал, искавший всего лишь компромисса с властью, тот самый либерал, который на Западе часто и служил главной опорой власти, шедшей на компромисс. Популярная в XIX веке антитеза России и Запада и вообще-то была прежде всего антитезой бескомпромиссности и компромисса. Бескомпромиссность у нас присуща и самодержавию, и его крайним антагонистам, но и тут и там отмечена самобытно-национальными чертами. Искатели компромисса, напротив, за поучительными примерами обращаются на Запад, а, возвращаясь к бескомпромиссности, вчерашние западники опять ориентируются на национальные традиции, насаждая и западные усовершенствования испытанными приемами, подобно царю Петру, самолично стригшему боярам бороды и тем побуждавшему думать, что новые моды создают новую жизнь, в то время как они подпирали старую.

Не будем, конечно, преувеличивать возможности либерализма. Его критика Щедриным и позднее Лениным не потускнела. Но ведь эта критика была ответом на упорный отказ власти от реальных компромиссов, и свою убедительность она сохраняет там, где критическое слово уже звучит, но власть по-прежнему упорствует, не желая серьезных реформ, а либералы, довольствуясь возможностью говорить, за переменами на словах забывают об отсутствии перемен на деле. Но едва рождались робкие надежды на готовность власти к подлинному компромиссу, к уступкам и реформам, как самые серьезные из радикальных революционеров предпочитали компромиссные пути радикальным. Вспомним, что либеральный проект реформы К. Д. Кавелина напечатал Чернышевский.

Быть может, величайшая ложь о русской истории — изображение абсолютной власти носителем разума и воплощением терпимости, а всей оппозиции, не только Каховского или Каракозова, но и куда более умеренных людей — от Никиты Муравьева чуть ли не до Милюкова, не говоря уже о Мартове, — нетерпеливыми радикалами. На самом же деле самодержавие, злоупотребляя тяготением многих к компромиссу, надеясь всех обойти и стояло на своем, а сопротивляясь реальным мирным переменам, оно фактически поощряло крайние радикальные силы как в собственном, так и в противоположном лагере. Открыто звучащее слово Чацкого наперед проясняло эту ситуацию, а замалчивать ее и значило служить радикальным силам по обе стороны баррикады.

Санчо Панса смеется над непрактичностью Дон Кихота, но сознает, что от великого рыцаря есть и некая практическая польза, состоящая хотя бы в том, что люди лучше начинают понимать различие между добром и злом, понимать, что добросовестное служение злу в надежде, что оно само когда-нибудь начнет творить добро, — не лучший путь даже и в самые тяжкие времена. Лебедев, в отличие от Санчо, глумится над непрактичностью Чацкого, пренебрегая той практической пользой, которую несут его речи, когда никто другой никакой общественной пользы не приносит, если, понятно, не счесть, что само упрочение порядка, вскармливающего Максимов Петровичей и Павлов Афанасьевичей, все же полезно из национальных и личных соображений. Последняя точка зрения не нова, и странно лишь, что к ней приобщился автор книг о Чаадаеве, Чернышевском и Грамши. Но если изменился Александр Грибоедов, отчего не измениться Александру Лебедеву, тем более что обстоятельства меняются и в наши дни.

Готовность к капитуляции всегда поощряла бескомпромиссность и подрывала возможность компромисса, но ни происходящее с Лебедевым, ни происходившее с самим Грибоедовым, не властно упразднить восхищение Чацким. Русский читатель восхищается не его умом и не его деловитостью, — и о том, и о другом сказано множество едкого. А популярность смешного неудачника не слабеет. Хоть андерсеновский голый король продолжает гордо шествовать и после наивного детского возгласа, слова ребенка не пропали, они подтвердили услышавшим, что зрение их не обманывает. Александр Андреевич Чацкий и все последующие Чацкие приносили такую же пользу. Покуда власть неколебимо стоит на своем, подвиг Чацкого не бессмыслица, а прояснение действительной природы власти, неразличимой, когда «все молвить, бо благоденствую».

Российское самодержавие упорствовало в своей бескомпромиссности до конца, стреляя по людям, пришедшим с иконами просить о милости, и разгоняя думу, предложившую весьма умеренные реформы. Самодержавию казалось, что в бескомпромиссности залог его прочности и вечности. За эту бескомпромиссность, за уверенность в том, что все можно поправить насильем, что внешнеполитические успехи важнее подлинного внутреннего компромисса, оно поплатилось поражениями в трех важнейших войнах, которые потом вело. А неспособность империи, пренебрегающей компромиссом, к дальнейшему внешнему продвижению неизбежно привела ее к внутреннему развалу.

Никто не знает, что думал последний самодержец всероссийский перед расстрелом и не проклинал ли он тех, кто толкал его, слабого и маленького человека, на путь «твердости», но ныне, когда за эту твердость, погубившую в конечном счете десятки миллионов русских и столько же нерусских жизней, его причисляют к лику святых, самое время вступить за истинную святость первого героя русской литературы, своим примером разрывавшего безумие бескомпромиссности.

Испания гордится Дон Кихотом больше, чем Сервантесом. Придет время и нам понять, что Чацкий делает русской культуре больше чести,

чем даже великий Грибоедов. Одарённый литератор Лебедев потратил немало энергии и умения на развенчание Чацкого. Но труд его, при всех достоинствах стиля и справедливости частных соображении, остается бездоказательным для тех, кто помнит о непреклонной бескомпромиссности самодержавия. Они всегда с удовлетворением будут внимать свободному слову Чацкого и видеть в нем залог торжества разума, пусть и не приносящего наперед счастья его носителям. Когда наступит и наступит ли вообще это торжество, менее всего зависит от Александра Андреевича, ибо, повторяю, компромисс не заключить в одиночку, в одиночку лишь выбираешь — капитулировать тебе или нет.

Капитулируя под давлением обстоятельств или от недостатка сил, человек такого ума, как Грибоедов, по крайней мере не строит себе иллюзий. Он не раз повторял: «Послужу царю, чтобы было чем детей кормить!» Детей, как известно, у него не было, то есть он иронически признавался, что у него нет и обыденного, самого извинительного мотива для капитуляции.

Страстные доказательства полезности безоговорочной капитуляции и отождествление ее с компромиссом, который, по сути, ей противоположен, не редкость в русском быту, но в русской литературе в столь неприкрытой форме, пожалуй, не имеют прецедента. Книга Лебедева — новое слово и, чтобы сказать его сегодня, «нужны были поистине феноменальные качества души».

ПРИБАВЛЕНИЕ К НАПИСАННОМУ

Через два с половиной года после первой книги о Грибоедове А. Лебедев выпустил еще одну в издательстве «Детская литература». Она популярно излагает основные идеи первой. Прежние идеи, правда, не столько проясняются, сколько, напротив, затуманиваются. Возможно, не высказанные в печати впечатления все же дошли до автора и побудили тщательнее выбирать слова. Но смысл прежний.

Снова твердя о «несостоятельности» Чацкого, Лебедев теперь больше напирает на его молодость, имея в виду «незрелость». При этом он уверяет, что «вечный юноша не должен доживать до старости». А ведь непреходящее обаяние Чацкого поддерживается неразрешенностью общественной ситуации, с преодоления которой только и могут начаться иные социальные отношения. Если Писарев кажется Лебедеву новым Чацким, то оттого, что и на новом витке российской истории запущенные общественные проблемы все еще не были до конца решены, и юношеское нетерпение очередного Чацкого, естественно, росло.

Лебедев уверяет, что отмена крепостного права — не первое дело, поскольку и сам народ настроен консервативно и верит в царя-батюшку. Но ведь и народный консерватизм и вера в царя шли в немалой степени от памяти о прежней воле, от сознания, что дворянство — прямой оплот крепостничества — возникло позднее, чем царство, и, — ошибочно, конечно, — мыслилось крестьянами как нечто противостоящее царству, а не как его опора.

Лебедев повторяет: «После 14 декабря стало ясно... — духом рабства заражен сам народ. Крепостничество держалось не только принуждением сверху, но и темным сознанием самих масс». Но он странным образом забывает, что именно это темное сознание выплеснулось пугачевским бунтом. А безучастность к 14 декабря выразила лишь народное недоверие к любым побуждениям дворянства, в чем как раз и состояло горе от ума его дальновидной части, Чацкого, в частности, и вообще всех, кто понимал неизбежные последствия повседневной деятельности большинства своих братьев по классу, ни народу, ни им самим в длительной перспективе не сулившей добра. Но тем, что крестьянство не видело различия между дворянством в целом и его дальновидной частью, различие между консерватизмом крестьянства и консерватизмом верноподданной массы дворянства отнюдь не снимается: одни остаются крепостными, а другие — крепостниками.

В новой книге с прежним упорством проведена основная мысль старой: Грибоедов своей жизнью «дописал» «Горе от ума» и тем продемонстрировал реальную альтернативу «несостоятельному» Чацкому. Такой альтернативой Лебедеву по-прежнему кажется имперская деятельность Грибоедова по колонизации уже завоеванных и присоединению новых земель. Укрепление российской империи призвано заменить русскому народу свободу.

Настаивая на добродетельности службы Грибоедова самодержавию, Лебедев восклицает: «Отчего же так стойко держится мысль о какой-то исторической предопределенности гибели Грибоедова, о том, что он оказался чуть ли не игрушкой в руках исторической неотвратимости?» Здесь, действительно, нужна ясность. Физическая гибель Грибоедова, конечно, не была неотвратима. Он вполне мог уцелеть, как уцелели десятки царских сатрапов, неотвратимость проявляется лишь в том, что ставший царским сатрапом не может претендовать, чтобы его считали борцом за народную свободу. Позволительно вздыхать, сожалеть, даже по-человечески понимать Грибоедова, но уверять, что его карьера на царской службе куда прогрессивнее, чем «Горе от ума», — все-таки чересчур!

Разное можно говорить и о замечательном романе Тынянова. Но одного опровергнуть нельзя: Вазир-Мухтаром, персидским министром, Грибоедова сделал не Тынянов, а Николай Павлович и притом согласно желанию самого Грибоедова. Никакие рассуждения Лебедева опровергать это не могут. А Пушкин воспринимал свое камер-юнкерство как оскорбление, которое приходилось проглотить, вот никому и не приходится в голову писать о Пушкине роман «Смерть камер-юнкера».

Не лучше и заявление, что «...поражение Грибоедова на государственном поприще по своему внутреннему смыслу» является «продолжением победы автора «Горе от ума»». Если «невозможно представить торжествующего администратора николаевских времен — Грибоедова», то ведь тем более невозможно представить Николая облегчающим участь русских крестьян и колонизированных народов. В

чем же тогда смысл союза с самодержавием, на который «мужественно» пошел Грибоедов?

Лебедев сопоставляет Грибоедова с Хаджи-Муратом, но толстовский герой ощутил бесплодие своего выхода к завоевателям и был убит при попытке уйти от них, тогда как Грибоедов был убит за то, что был завоевателем, и к тому же неколебимо верным Николаю. «Неизмеримое нравственное и интеллектуальное превосходство Хаджи-Мурата над Николаем» Лебедев признает. Но ведь столь же бесспорно и превосходство Хаджи-Мурата над Вазир-Мухтаром.

Как последний аргумент против тех, кто не признает службу самодержавию украшающей Грибоедова, Лебедев бросает пушкинские слова: «Врете, подлецы: он мал и мерзок не так, как вы, — иначе». Для Лебедева «...жизнь гения... всегда — плод влечения свободного ума и высоких помыслов духа». Он и новую книжку назвал «Куда влечет тебя свободный ум». Но ведь Пушкин, говоря, «иди, куда влечет тебя свободный ум», имел в виду поэтическое творчество и сильно бы подивился, узнав, что его слова стали толковать как призыв к вседозволенности в практических действиях.

Короткая и триумфальная служба Грибоедова была, к несчастью, насильственно прервана, и у него не осталось возможности ни разорвать с империей, как Хаджи-Мурат, ни воздать ей своим пером, как Щедрин. Но и то, и другое он в известном смысле сделал наперед в «Горе от ума».

Произвольно толкуя «Горе» и представляя трагический тупик жизни обретенной дорогой, Лебедев уже в первой книге пытался подпереть авторитетом Грибоедова собственные рассуждения о пользе нравственной капитуляции. Оговорки и более сдержанный итог книги для юношества не мешают видеть, что автор по-прежнему стоит на своем.

СМЫСЛ ПРИТЧИ

Татьяна Глушкова сочинила притчу о Сальери¹. Ее Сальери — заведомо бездарный, никак не причастный к искусству рационалист, решивший «стать не собою», «стать художником, стать творцом». «Вопреки своим данным, своему рождению».

Зачем это ему понадобилось, остается, правда, не совсем ясным, то ли почетное место гения пленило славы ради, то ли сулит земные блага. Так или иначе, «рационалист незнаком с категорией совести» и убивает того, кто занимает почетное место по праву, убивает Моцарта. Главная черта глушковского Сальери — лживость, он обманщик. Прекрасно зная, что он не гений и не творец, он выдает себя за гения и творца.

Притча Глушковой, надо думать, будет иметь успех. Столь страстно выраженное сочувствие гению, ставшему жертвой бездарности, не может оставить читателя равнодушным. Странно, однако, что новая притча возведена к «Моцарту и Сальери» Пушкина. Не то чтобы Пушкина не беспокоили привлечшие внимание Глушковой отношения гения и чуждой искусству черни,— достаточно вспомнить известное стихотворение «Чернь», опубликованное в 1829 году, то есть за год до Болдина, где была написана трагедия. Но как раз в этой маленькой трагедии великого поэта волновало другое, и притча Глушковой просто пренебрегает этим другим, приписав Пушкину прямо противоположное тому, что он там сказал в действительности.

Прежде всего Глушкова отнимает у пушкинского Сальери гений, который признает за ним Моцарт, выставляя Моцарта не вполне, видимо, понимающим, что он говорит. Впрочем, на всякий случай она дополнительно поясняет, что слово «гений» в устах Моцарта означает просто «художник», а отнюдь не какую-то особую «степень» дарования. Но раз и по Глушковой «гений» — это «общее, естественное условие, заведомая предпосылка, без которой и попросту невозможно искусство», никуда не деться от того, что Моцарт за Сальери такую предпосылку признавал и явно не считал, что Сальери занят не своим делом. Ощущая это, Глушкова уверяет, что похвалы Моцарта не следует принимать чересчур всерьез, что он дал основание в них сомневаться! «Оба раза, когда он вроде бы восхищенно оценивает Сальери, его речь заканчивается коротеньким — но как не заметить его! — «Не правда ль?»».

Об этом «Не правда ль?» Глушкова писала чуть ранее: «...Гений и злодейство — Две вещи несовместные. Не правда ль?» — легко, бегло, едва ль не как «общее место» говорит Моцарт, вовсе не видя нужды доказывать эту самоочевидную для его действительности истину...» На странице 149 «Не правда ль?» истолковано как подтверждение самоочевидности истины, на стр. 151 — как «неуловимое словно бы отрицание адресованных Сальери похвал и, во всяком случае, сомнение в них». Даже если мы поверим лишь второму толкованию, стоит взглянуть, к чему же «оба раза» относится «Не правда ль?».

¹ Вопросы литературы, 1982, №4

И тут начинается удивительное — ни разу оно не относится к суждениям о гении Сальери. Один раз — к рассуждению о том, что, «Когда бы все так чувствовали силу Гармонии!», «тогда б не мог И мир существовать; никто б не стал Заботиться о нуждах низкой жизни. Все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных, счастливых праздных, Пренебрегающих презренной пользой, Единого прекрасного жрецов. Не правда ль?» Быть может, Моцарт не вполне уверен, что счастливых мало, быть может, сомневается, что «никто б не стал Заботиться о нуждах низкой жизни», но, во всяком случае, сомнений в гении Сальери тут явно нет.

Другой раз сакраментальное «Не правда ль?» и впрямь возникает неподалеку от слов о гении Сальери, но только и тут обращено не к ним: «Он же гений, Как ты да я, А гений и злодейство — Две вещи несовместные. Не правда ль?» Если тут и есть сомнение, то лишь в несовместности гения и злодейства. И ведь только что Глушкова препарировала именно эту цитату и доказывала, что в ней слова «Не правда ль?» служат свидетельством самоочевидности истины! Оба несовместимые толкования относятся к одному месту текста. Об одном и том же месте с одинаковым пылом сделаны два взаимоисключающих заявления. Пушкинским текстом Глушкова себя не связывает.

Доходит до смешного: когда Сальери говорит: «спеши Еще наполнить звуками мне душу», Глушкова взрывается: «Музыка Моцарта в этот миг для Сальери — просто звуки. Точно падающие гулкие капли воды. Не "гармония», не "песнь райская", а звуки!..» Но в самой же трагедии слово «звуки» в устах Сальери как раз и обозначает сокровенную плоть искусства; он восклицал, а Глушкова чуть ранее цитировала: «... Звуки умертвив, Музыку я разъял, как труп». Не будем уж вспоминать, что сам Пушкин писал о высокой страсти «для звуков жизни не щадить», писал: «звуки итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков». Притча Глушковой полна неточностей, полна, быть может, невольных гибридов неведения и страсти, имеющих целью представить Сальери псевдохудожником, а самую трагедию — приговором рационализму, якобы вскармливающему псевдохудожников.

Но Пушкин менее всего был противником рационализма, каким его рисует Глушкова. Общеизвестны и связь его с рациональностью XVIII века и глубокое понимание им рационального содержания романтизма, — о Ленском сказано: «Так он писал *темно и вяло*. (Что романтизмом мы зовем, Хоть романтизма тут нимало Не вижу я...)». Глушкова провозглашает врагом рационализма поэта, воскликнувшего «Да здравствуют музы, да здравствует разум!», написавшего «не будем клеветать разума человеческого».

Да и с рационализмом Сальери не так все просто. Уразумел ведь он в последних строках трагедии, что, убив Моцарта, он и себя лишил гения. И если даже столь нехитрый расчет не приходил ему в голову до убийства, трудно говорить о чрезмерной расчетливости убийцы: он явно не рассчитал, как потом Раскольников не рассчитал, что его жертвой окажется не только Алена Ивановна, но и Лизавета. Страстная вера Сальери в пленившую его убогую схему демонстрирует не только недостаток совести (тоже не из одного лишь чувства состоящей), но и

недостаток разума, непременно сознающего непревосхитимое многообразие жизни. Моцарт убит не потому, что Сальери — рационалист, а потому, что рационализм его примитивен и самонадеян.

Но Пушкин не напрасно сопоставил двух художников, пусть и не одинакового масштаба. Его занимало не различие талантов, их размеров или творческих методов, а различное отношение к искусству. «Гулякой праздным» Моцарт выглядит лишь в речах Сальери, но не в реальном действии трагедии. С. Бонди прекрасно показал, что Моцарт даже и злостные устремления Сальери понимает. Но Пушкину любопытно не просто столкновение, а корень несходства двух героев.

Ключевые слова Сальери «Что пользы, если Моцарт будет жив И новой высоты еще достигнет» для Глушковой лишь «пустые, притворные слова», равносильные рассуждению «что пользы жить, когда неизбежна смерть?». Но в этих словах истоки поведения Сальери, суть его понятий о жизни. Моцарт ведь тоже успел высказаться о пользе: «Нас мало избранных, счастливых праздных, Пренебрегающих презренной пользой, Единого прекрасного жрецов». А при этом о Реквиеме он сказал: «мне было б жаль расстаться С моей работой».

Как видим, искусство для Моцарта не забава, а работа, и, стало быть, смысл ее не сводится к приятности времяпровождения. Он в том, что к сделанному приобщаются другие люди, хоть сделанное при этом нередко и опошляется, — чтобы посмеяться по такому поводу, Моцарт и притащил старика, играющего «из Моцарта», — и все же сделанное живет.

Не то, чтобы пушкинский Моцарт был противником всякой вообще пользы. Он признает правомерность забот о том, чтоб «мог и мир существовать». Он лишь против той «презренной» пользы, которой втайне служит Сальери. Вроде бы очевидно: если Моцарт будет жив, сокровищница искусства пополнится, — вот и польза для всякого, кому дорого искусство! Но не такая польза занимает Сальери, он думает совсем о другой — о том, чтобы «его Остановить,— не то, мы все погибли, Мы все, жрецы, служители музыки, Не я один с моей глухою славой...». Сальери придает своей пользе видимость общей, хотя на самом деле она «полезна» лишь ему и таким, как он. Стремления Моцарта, напротив, выглядят личной прихотью, но от них как раз и рождается общая, общественная польза.

Сальери числит себя и себе подобных «жрецами музыки», «служителями музыки», а, выходит, не столько они музыке служат, сколько музыка им должна служить. И когда она от такого служения уклоняется и даже грозит им гибелью как музыкантам, они готовы посягнуть на саму музыку, на ее еще не рожденные прекрасные творения, готовы для блага жрецов посягнуть и на самого бога. Моцарт как раз и есть «служитель музыки», «единого прекрасного жрец», для которого перед лицом музыки соображения о грозящей гибели не слишком существенны.

Разумеется, распространенная уверенность, что, овладев техникой и знаниями, ничего не стоит стать художником, и довольно науки, чтобы получилось искусство, нелепа, хотя это и самая

вегетарианская разновидность сальеризма, во имя самоутверждения в искусстве идущего за пределами искусства на куда более роковые действия. Но исследователь все же обязан выяснить, что же побудило пушкинского Сальери напирать на то, что он алгеброй поверил гармонию. Во всяком случае, не отсутствие у него божественного дара — тут уж как-то больше полагаешься на свидетельство Моцарта, нежели на темперамент Глушковой. Но что же тогда? И у нас нет другого ключа к пониманию происходящего, кроме помянутого различия героев в их отношении к музыке. Моцарт дорожит музыкой в себе, Сальери — собой в музыке. Он потому и торопится опереться на «объективные» мерки, на «алгебру», что его любовь к музыке, которую нет нужды отрицать, не самодостаточна, и он ждет от нее еще и внемузыкальных утешений, хотя бы удовлетворения честолюбия. Увы, такие внемузыкальные страсти одолевают и несомненных музыкальных гениев, а не только, как уверяет Глушкова, бездарностей.

Сальери вовсе не просто обманщик, занявший чужое место, но отступник, предатель, а предают, как известно, только свои. Пушкин доводит предательство Сальери до крайности, до убийства, не затем, чтобы показать, как достается порой гениям от бездарностей, — оно и так слишком хорошо известно, но для демонстрации постоянно стоящего перед гением выбора — следовать ли своему призванию, или предпочесть другую, «презренную» пользу.

Когда тот или другой Сальери, указывая позднее на свои художественные заслуги, потребует себе венца и громко возгласит, что и его талант неподдельный, нет смысла возражать, но стоит напомнить, что он-то не сделал своим неподдельным талантом то, что мог, поскольку сам же свой талант «презренной пользы» ради и предал. Предал уже тем, что положился на испытанную алгебру больше, чем на сиюминутное, заново рождающееся ощущение гармонии.

Но не одним чувством влечется истинный гений к тому, чтобы, если надо, жертвовать собой для своего искусства. Он и вполне рационально сознает, что отступничество не проходит даром, оно тоже грозит гибелью, пусть не физической, но гибелью гения. Вот почему, «подобно религиозному проповеднику — хотя и в другом смысле, — и он также следует принципу "повиноваться больше богу, чем людям", — людям, к числу которых относится и он сам со своими человеческими потребностями и желаниями» (Маркс). Так жил и погиб пушкинский Моцарт, так жил и погиб Пушкин. Для обоих превыше всего была верность своему гению. Обоих и сгубило нежелание им поступиться.

Сальери решил по-иному, но и перед ним ведь был такой же выбор. Вот он и стал для Пушкина вопреки Глушковой «субъектом трагедии», а вовсе не внешней недоброй силой, заведомо обреченной совершить назначенное. Другой путь был и у Сальери. Он по нему какое-то время шел и даже «Тарара» сочинил». Но влечение к «презренной пользе» сбивало с пути, и он сбился, губя не только Моцарта, но и свой собственный гений.

Дело тут не просто в зависти. Она лишь первый пробел в самоотвержении. Не было бы беды, если бы из зависти Сальери, все больше отвлекаясь от «презренной» пользы, служил «единому

прекрасному», соперничая в этом даже и с Моцартом. Но ведь суть трагедии не в том, что Сальери завидует, а в том, что он убил, да еще убил именно Моцарта, то есть самое прекрасное воплощение музыки, любовь к которой как будто и была источником его зависти. Суть в том, что в соперничестве с Моцартом, в зависти к нему Сальери изменил своей любви, начисто забыл о самоотвержении как неперменном свойстве любви и стал искать опору за пределами искусства. Понятно, внехудожественная сила способна послужить художественной недостаточности тоже лишь за этими пределами, писать лучше она не поможет. Но мало того, в самом обращении художника к внехудожественным средствам самоутверждения за счет других заложена угроза уничтожения искусства. Сальеризм и состоит в готовности такими средствами пользоваться, пусть даже не всегда дело кончается прямым убийством.

Трагедия открывается словами Сальери: «Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет и выше». А ведь на сей раз правда, то есть справедливость, царил на небесах, но и на земле. И не потому, что уже самое дарование Моцарта впрямь ярче и больше дарования Сальери, а потому, что оба имели возможность предаться «вольному искусству». А другой справедливости для художника и быть не может.

Подобно тому как даже по религиозному учению от самого человека зависит, спасет ли он свою душу или обречет ее гореть в геенне огненной, от человека — понятно, при каком-то минимуме обстоятельств — зависит, чем живет его душа и в какой мере его душевная жизнь входит в его творения, если он стал художником.

Сальери требует от высшей силы не правды, которой уже располагает, а гарантий. Он готов ради них быть усердным и прилежным, готов учиться и трудиться — это ведь и Моцарту приходилось делать, — но хоть он и произносит слово «самоотвержение», ни разу не говорит Сальери в своих длинных монологах о готовности дольше, чем «два, три дня» служить музыке больше, чем самому себе «со своими человеческими потребностями и желаниями», да и самая его зависть отчасти показывает, что он к этому не готов. Он не столько упрекает высшую силу, сколько безуспешно надеется ее обойти, вступить с ней в выгодную для себя и несправедливую для других сделку.

Согласно Глушковой высшая сила уже раздала свои гарантии, и надлежит лишь покорно внимать тем, кому они выданы. Вина Сальери, на ее взгляд, не столько в том, что он вообще требует от высшей силы гарантий, сколько в том, что он требует выдавать эти гарантии по справедливости. (Мы видели, что он как раз добивается несправедливости.) Корень его греха, по Глушковой, в том, что он не желает смириться с божественным произволом в раздаче священных даров. И тут, забыв о прежних выпадах против рационализма, Глушкова взывает даже к науке, заявляя, что Сальери действует «вопреки врожденной, "генетической" доминанте, не предполагающей в нем "гения"». Вот его желание стать художником и «служит не выявлению лучшей природы этого человека (в предположении, что

истинное, доброе, "светлое" лежит изначально в природе всякого человека), но всестороннему насилию над природой».

Следует, видимо, понимать, что, займись Сальери общественно полезным трудом, не требующим «"генетических" доминант», не стремись он быть «тунеядцем», «доброе, светлое» тотчас бы в нем возобладало. Да и все зло мира, если думать так, проистекает, видимо, лишь оттого, что не всякий сверчок хочет знать свой шесток.

Но искусство как общественный институт потому и занимает столь огромное место в жизни, что потенциально в каждом человеке есть нечто от художника, есть способность в идеале воспринимать и, может быть, даже творить искусство. Не зря Возрождение свершилось, открыв границы искусства самым разным дарованиям, стесненным в феодальном мире.

Разумеется, нелепо думать, что все наделены художественным даром, что бытовые и общественные условия всем в одинаковой мере дают его развить хотя бы до уровня полноценного восприятия искусства, что всем людям, даже и максимально одаренным, одинаково достает внутренних сил и решимости отдаться своему дару, служить ему прежде всего. Разумеется, талант — редкость, потому-то для Пушкина и самоуничтожение таланта Сальери — предмет трагедии. Конечно, мы с особым благоговением думаем о тех, кто в полной мере дышит искусством. Но преклоняемся-то мы не перед обнаружившейся «генетической» доминантой», как выражается Глушкова, — сколько таких «доминант» пропало попусту! — а перед личным духовным величием этого именно человека, Моцарта или Пушкина. Не случайно Тютчев, сперва назвав убитого Пушкина «божественный фиал», в следующей же строфе написал: «Ты был богов орган живой. Но с кровью в жилах... знойной кровью», и именно эти строки запоминает каждый, кому дорог Пушкин.

А художник прежде всего — человек; если угодно, он и есть в наибольшей степени человек. Как говорил Блок: «Писатель — это человек по профессии». Объявить, что не каждому положена даже и попытка хотя бы отчасти стать художником, все равно, что объявить, что не каждый может, хотя бы отчасти, быть человеком, что ему природой предназначено быть лишь быдлом, рабочей скотиной. В конечном счете это означает, что человек не причастен к тому, каков он, и не отвечает за себя.

Пушкин не связывал личные деяния вне искусства и личные деяния в искусстве с предопределением. Глушкова же противопоставляет личным деяниям Сальери, не разделенным на сверхаемые в искусстве и вне его, предопределение, «изначальное бытие». И сообразно с этим она противопоставляет гению лишь бездарность, толпу и антидух, живописуя приметы последнего.

А ведь и самая несовместимость гения и злодейства, о которой думали пушкинский Моцарт и сам Пушкин, вовсе не означает, что одному от рождения предуказано быть гением, а другому — злодеем, она означает лишь, что за совершенное им злодейство гений платит собой, ужимаясь, как шагреневая кожа. Да и как людям опознавать, кому дар достался, а кому нет, где талант, а где бездарность, кто

Моцарт, а кто Сальери, если не по всей жизни и всем трудам человеческим?

Глушкова отличает своих по свойствам, «с которыми родится человек, которые, как проклятие, получил он при рождении вместе с своею кровью, своими нервами, своим мозгом». Она извлекает эти слова из рассмотрения Белинским пушкинской трагедии, хотя решительно отвергает общий его взгляд на различие меж Сальери и Моцартом, как меж талантом и гением, в контексте которого в словах Белинского нет того зловещего смысла, какой, вырвав из контекста, придала им Глушкова. Белинский куда внимательней к Пушкину. Недаром он рассуждает о двух половинах души Сальери и даже хвалит Пушкина за то, что тот находит в тайниках человеческой природы «такие странные, по-видимому, противоречия».

По Глушковой, противоречий и странностей в Сальери нет, он злодей по рождению и крови и другим быть не мог. Но как прикажет она тогда понимать известное признание Чехова, призывавшего выдавливать «из себя по каплям раба»?

Татьяна Глушкова пишет с предельной искренностью, договариваясь уже и до опознания антидуха по рождению и крови. Ну, что ж, искренность следует поощрять, и журнал «Вопросы литературы» правильно сделал, что отвел ее откровениям целых сорок страниц. Но и оставить эти откровения без ответа невозможно.

НЕПРЕДНАМЕРЕННОСТЬ ГЕНИЯ

Статья Непомнящего «Судьба одного стихотворения»¹ очень точна и хороша по тону. Одно лишь странное место: «Но он не был бы Пушкиным, русским поэтом, если бы в его действиях со "змеиной мудростью" не соседствовали высокий идеализм, широта и доверчивость, исключаящие всякое хитроумие, и апелляция прежде всего к человеческому в человеке — тот аристократизм духа, который всегда был свойствен лучшим представителям российской интеллигенции». Бесспорные по отношению к Пушкину слова, как обобщение, все-таки опровергаются разнообразием русской литературы. Но это частность. Главное — единый источник и единый смысл «Стансов» и «Друзьям» с одной стороны и «Во глубине сибирских руд» с другой доказаны неопровержимо. Жаль только, что упущено одно важное обстоятельство, отчасти объясняющее и восприятие тех и других стихов современниками и потомками. Непомнящий сам очень глубоко и мудро пишет, что «порой и творчество Пушкина и его жизненное поведение предстают блестяще задуманной в каждом своем ходе и мастерски разыгранной шахматной партией». Это, конечно, иллюзия. Но странно, что Непомнящий не заметил, что искренность иллюзии по поводу реформаторских замыслов Николая и возможного освобождения декабристов сама по себе не избавляла Пушкина от чувства неловкости. А он остро ощущал странность своего положения — возвращенного из ссылки и приближенного ко двору рядом с казнями и особенно каторгой десятков близких ему людей. Иначе трудно понять его фразу «Повешенные — повешены, но каторга и т.д. невыносима». Она была бы еще понятна, считай Пушкин, что каторга пожизненна и тогда можно допустить мысль о том, что лучше смерть, хотя естественное для себя это чувство в отношении к близкому человеку не так естественно, ведь смерть надежды не оставляет, а жизнь хоть какую-то. Тем более это странно в данном случае, поскольку Пушкин как раз надеялся на скорое освобождение друзей, — тут Непомнящий прав. Но неловкость перед живыми даже и для Пушкина больше неловкости перед повешенными, которые не видят его причастным к трону и которым нет нужды объяснить, что он искренне верит в благие перемены и считает своим долгом им способствовать. А живые видят все это и ждут объяснения. Оттого Пушкин излагает свою искреннюю веру столь форсировано, настаивая на ней, акцентируя свою доверчивость. И хотя он не кривит душой, иначе не было бы крушения веры и трагической развязки, сама форсированность, вполне ощутимая как в «Стансах» и «Друзьям», так и в послании в Сибирь, рождает известное недоверие и возбуждает подозрение в двуличности. Подозрение это неосновательно, тут я полностью согласен с Непомнящим, но ведь он сам же пишет, что неверно думать будто «чуть ли не каждый шаг его (Пушкина — П.К.), будь то в писании или в жизни», был «наперед

¹ Вопросы литературы, 1984 г., 6

просчитанный, заранее тактически предусмотренный, продиктованный определенной установкой». А, стало быть, и в стихах наряду с искренней иллюзией и надеждой есть непредусмотренное чувство неловкости, побуждающее быть чуть более настойчивым, чем хватает душевных сил в их прямом побуждении. И у великого поэта в стихах живет не только рационально в них вложенное, но и то, в чем он, может быть, и самому себе не признавался, но что его терзало. И это преодоление внутренней неловкости отзывалось в душах читателей — то перетолкованием сказанного, то недоверием, но, так или иначе, деформируя пушкинскую позицию. Таким образом, абсолютно точно, даже пронзительно вскрыв смысл, который Пушкин сознательно вложил в стихи, Непомнящий упустил то, что вошло в них произвольно, а на восприятии сказалось.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЧВА РОМАНТИЗМА

1

Непреходящий интерес к романтизму, к его поэтам и музыкантам, к преображенному им балету и родившейся с ним философии, не странен. Слишком многое, - и с каждым годом все больше, - если не в искусстве, то в размышлениях, схоже с искусством и размышлениями романтиков. Вера в два противоборствующих романтизма, прогрессивный и реакционный, связывавшаяся «с марксистским пониманием классовости искусства и ленинским учением о двух культурах в каждой национальной культуре» (1,27),¹ уже в СССР перестала быть непрременной, но социальное происхождение романтизма еще долго считалось неблагонадежным.

В книге, вышедшей в 1978 году, сказано: «Романтизм возник как антитеза Просвещению XVIII века, практически воплотившемуся в результатах и достижениях Великой французской буржуазной революции» (2,10). И далее: «Советскими исследователями романтизм рассматривается как идеологическое течение, противоположное просветительской идеологии (классицизму в литературе)» (2, 16). И еще четче: «Историческая реакционность романтизма заключается в том, что все романтики, - как консервативно-реакционные, так и прогрессивно-революционные, - отрицали роль и значение в истории человечества такой ее ступени, как буржуазное общество» (2,24).

Почему же столь могучее «антибуржуазное» движение возникло в ответ лишь на французскую, - не английскую, не нидерландскую, - буржуазную революцию, и к тому же расцвело не во Франции, а сперва в Германии? Никто из советских обличителей романтизма этим вопросом не занялся. А задавшись, они бы еще обнаружили, что в Англии «результаты и достижения» революции и сама она не только не были практическим воплощением Просвещения, но, наоборот, Просвещение пришло после свершившейся в XVII веке буржуазной революции и даже после второго поражения пытавшихся вернуть прежний порядок Стюартов, хотя буржуазному развитию, конечно, способствовало. Полагаясь на заведомо им известные всеобщие законы истории, современные классицисты закрывают глаза на очевидные различия в истории двух соседних стран.

Но недоумение не проходит и на территории, которую они себе отвели. «Противоположную романтизму просветительскую идеологию» они отождествили с «классицизмом в литературе». То есть, опорой прогресса объявлен классицизм, хоть на деле он не всегда бывал просветительским, да и возник до Просвещения. Классицизм, искусство регламента, сложился и расцвел как дитя абсолютизма, прежде всего, французского. Франция поныне выглядит страной

¹ Здесь и далее ссылки на цитируемую литературу даются в тексте в скобках: первая цифра указывает порядковый номер источника в списке цитированной литературы, напечатанном в конце статьи, вторая цифра – номер страницы.

классицизма, как Италия – страной Возрождения, а Германия – страной романтизма. Рациональность классицизма и его нормативов росли из рациональности абсолютизма и его нормативов. Классицизм, вероятно, первый художественный стиль, не только позднейшими исследователями, но самими его создателями мыслившийся как целостная система. В нем проявилось самосознание абсолютистского государства, не совпадавшего непосредственно с обществом и составлявшими общество людьми, но учреждавшего для них как бы разумный и выгодный всем порядок, ограничивающий всех, кроме тех, кто этот порядок устанавливает, беря себе привилегию распоряжаться за всех.

Считалось, что король и его люди думают об общих интересах, а прочие лишь о частных. Но человек, будь он сто раз король, и стоя у власти не перестает быть частным человеком, имеющим личные интересы, и, если власть его бесконтрольна, он воплощает общие интересы с наибольшей пользой для себя персонально, а это, даже если он король, лишь отчасти и не всегда полезно государству, которое он олицетворяет, не говоря об обществе. С другой стороны, индивидуальные дела частного человека, далекого от власти, влияют на жизнь за пределами его корыта и часто были бы как раз полезны обществу и даже государству, ставящему им препоны. Но абсолютная власть не боится пренебрегать обратной связью с подданными.

До абсолютизма долг перед государством, чуждый и даже перечаящий их личным стремлениям, так не обременял людей. И до XVII века, и не только во Франции, люди защищали общество, в котором жили, либо потому, что это прямо отвечало их нуждам, либо по обязанности, как зависимые крестьяне или вассалы, которым иначе тоже грозило ущемление. Абсолютизм, если не создал, то до крайности обнажил противоречие общественного и личного, долга и чувства, как раз и ставшее основным сюжетом классицизма.

Абсолютистское государство, убежденное, что лучше отдельного человека знает и обеспечивает его нужды, откровенно ему противостояло. Гарантировало оно, однако, лишь сосуществование разных, иначе уже кидавшихся друг на друга, общественных сил. Французская абсолютная монархия казалась уже не феодальной, но не была еще буржуазной. Именем и впрямь необходимого компромисса она отводила каждому положенное место, обретая для себя и своих служащих неограниченные права и требуя неограниченного подчинения, превосходящего даже феодальные обычаи.

Мера соотношения общественного и личного вышла из под власти отдельного человека. Важность этой меры и самого их соотношения потому и были осознаны, что абсолютистское государство и его чиновники постоянно зарывались и нарушали элементарную справедливость в свою пользу. Желая выглядеть автономным по отношению ко всем сословиям, государство продолжало, конечно, быть феодальным. Буржуазия оставалась в нем низшим сословием, жизнь которого и отображали низшие жанры, - иерархия жанров отвечала иерархии сословий. Но буржуазии ради компромисса надлежало лишь умерять претензии, а феодалам поступаться тем, чем они впрямь владели.

Абсолютная монархия резко трансформировала само феодальное сословие, - отношения в нем перестали быть, как прежде, личными. Личность короля разрослась до предмета божественного культа, личности подданных, соответственно, ужались. Самостоятельных некогда князей унижали, истребляли и растворяли в толпе новоиспеченных дворян. Они, быть может, еще стояли чуть выше на лестнице почета, но не в иерархии дворянской бюрократии, которая, оттеснив рыцарство, воплощала королевскую волю, выступавшую под псевдонимом разума. Певцом этой воли, этого «разума», этого подчинения силе, и был классицизм, а его идеализированный античный облик означал, что это порядок вечный и всеобщий.

Французский абсолютизм, отсрочивший открытые классовые сражения, классицизм преобразил в пленительный миф о мудрости и таланте власти, наладившей компромисс между людьми лучше, чем они сговорились бы сами. На деле, конечно, французский компромисс феодалов и буржуа, устроенный королями, не желавшими более созывать Генеральные Штаты, был никак не лучше, не прочней и не плодотворней английского компромисса, осуществленного парламентом, потому и продолжавшимся и после революции.

Зато столь блестящих образцов классицизма Англия не создала. Ее искусство в XVII веке дышало последними всплесками Возрождения или уже обретало черты барокко. У величайшего английского поэта XVII века Милтона тенденция к классицизму, правда, различима, она пробивается с революцией, дающей тому дополнительные причины, и все же не преобладает. Великого классицизма, художественной мощью сопоставимого с Расином или Пуссенем, нет и в других странах. Да и во Франции он вянет по мере того как абсолютный разум выявляет свою социальную неразумность.

Своекорыстие и неразумность абсолютной власти мало по малу осознавались. Тут и возникло могучее просветительское движение, решительно пересмотревшее укоренившиеся представления о том, что считать разумным. Многие просветители сохраняли феодальную веру в то, что разумное можно насадить силой. Но не они это изобрели. Большинство людей верило в конечное торжество насильно насаждаемого добра и, тем самым, в «просвещенный абсолютизм», не предлагавший даже и компромисса и лишь укреплявший порой феодальную реакцию наглядно полезными техническими новинками, изготовленными по чужеземным образцам на прежних началах, - у нас на крепостнических Демидовских заводах.

Карл III в Испании, Густав II в Швеции, Иосиф II в Австрии, Фридрих II в Пруссии, Екатерина II (да уже и Петр I) в России, не рискуя проводить последовательные реформы, демонстрировали, хоть и в разной мере, «благие намерения» и конечное их бессилие. Вольтер, проповедник просвещенного абсолютизма, стал виднейшей фигурой просветительского классицизма, вышедшего, в отличие от прежнего, далеко за пределы Франции. Германия тоже принесла ему обильную дань, хоть немецкие просветители, - и Лессинг, и веймарские классики, - противостояли жестким французским правилам. Но и обнаруживая, что надежды на просвещенность правителей невелики, они

продолжали на нее полагаться, и сам Гете был министром просвещенного правителя. Но просвещенные правители не смели решать коренные конфликты общества, и представление о том, что считать разумным снова менялось.

Новую убедительность старой вере в разум, утверждаемый силой, пытались придать искусство революционного классицизма, вдохновленное жаждой заменить абсолютную власть короля абсолютной властью поднявшего революцию народа. Эта вера опять росла и распространялась, и вверяясь ей, все больше людей, натерпевшихся от безрассудного и бессильного правления, скорее полагались на мудрого и всемогущего хозяина, чем на представительные институты, которых они не знали. И вскоре талантливый генерал стал первым консулом, а там и императором.

Искусство империи, следуя классицизму и его античным прообразам с белыми колоннами, создало еще один классический стиль – ампир, заполонивший вскорости на другом конце Европы другую империю, не только не рожденную революцией или Просвещением, но отвергшую даже попытку смягчить хотя бы самые ослепительные формы феодальной реакции, предпринятую более дальновидной частью дворян – победителей Наполеона. Их восстание произошло на площади, обстроенной домами в классическом стиле, одинаково подходившем и новой империи Бонапарта и старой империи Романовых.

Опыт классицизма побуждает иначе, чем принято, думать о стилистических проблемах. Целостность стиля определяется не единообразием формальных признаков, отвечающих теоретическому идеалу, и не прямой связью с конкретной социальной структурой. Стиль вырастает из типологии социального мышления. Преступая различия социальных структур, искусство схватывает не только пронизывающие каждую специфические противоречия, но и схожий характер их проявления и желанные современникам его «идеальные» способы, повторяющиеся в разных общественных укладах.

Романтизм восстал на классицизм не потому, что сам был «антибуржуазен», а тот, якобы, хотел буржуазных преобразований. Классицизм уверенно брали на вооружение и феодальные, и буржуазные, и последующие силы, и романтизм, дитя промышленного общества, тоже, так или иначе, всюду был в ходу. Отсюда не следует, что типология мышления асоциальна. Но тип социального мышления не ограничен одним конкретным укладом, поскольку в самых разных выступают схожие, а то и те же самые участники. Их типы мышления сами воздействуют на разные социальные ситуации, в которые они вовлечены, остаются следы. Классицизм, не только расиновский, но и просветительский и революционный, живет сословным идеалом силы, и ею дышит, даже атакуя феодального монарха.

Жозеф де Местр сказал: «Людовик XVIII сел на трон Наполеона». С тем же правом, хоть и в ином смысле, можно сказать, что Наполеон восстановил трон Людовика XVI, но проведя реформы, оставившие позади реформы Тюрго, нужду в которых уже король сознавал, хоть абсолютному монарху и не хватало сил и духа одолеть сопротивление правящего класса. Одолел его не так сам Наполеон, как за него

революция. Понимание ее причин, как и причин романтизма, предполагает понимание причин кризисов классицизма (и абсолютизма), его самокомпрометаций и бессильных волевых поз, названных ложно-классическими.

Классицизм, – в этом непреходящая ценность социальных прозрений расиновских трагедий, – обозначил целостность и системность общества и взаимозависимость его составляющих, но в позднейших усилиях он, – в этом его непреходящая ограниченность, – возвышая государство над обществом и людьми, готов пренебречь людьми, словно общество не из них состоит. Он мыслил людей, если не античными рабами или русскими крепостными, – ни того, ни другого, феодальная Франция не знала, – то все же зависимыми от феодала вилланами, и вместе с обществом не брал в толк, что и при такой зависимости, разумное развитие уже невозможно, надобна свобода от абсолютизма и его абсолютов, которые недостаточно революционно переименовать. Способности верховного разума, наперед знающего, как навести порядок, а с ним и классицизма, расиновского, просветительского или революционного, обнаружили тут свои пределы.

Их претензии на беспредельность вызывали сомнения еще до революции. Яснее других их выплеснул Руссо, не боявшийся разойтись с недавними друзьями по Энциклопедии и, как потом романтики, давший повод записать его в реакционеры. Передовые люди считали, что развитие наук и искусств приносит пользу, а он твердил обратное. Прогрессивнейшие из просветителей объяснили, что вера в бога мешает общественной справедливости, а он уверял, что без нее никак. Уже считалось очевидным, что лишь разум способен вершить добро, а он, хоть и признавал, что иные суждения порой не отвечают всеобщему интересу, настаивал на праве неправых держаться своих заблуждений, даже и мысли не допуская, что их надо, если не казнить, то как-то карать, чтобы в царстве разума другие не смели ошибаться.

Уже тогда знали, что превыше всего – интересы общества и народа, а он, одновременно со своим ровесником, англичанином Лоренсом Стерном, положив начало чувствительному стилю, сентиментализму, в котором поздней справедливо различали предвестье романтизма, едва ли не большую часть души и времени отдавал отдельному человеку, оговаривая его нужды и права не только в трактате «Об общественном договоре». Изображая себя во всем своем несовершенстве достойным всеобщего внимания, Руссо прокламировал бессмертной «Исповедью» аналогичное право каждого. И не забудем, что он был злейшим врагом богатства, винил в несчастьях людей частную собственность, и, хоть не настаивал на ее запрете, требовал резко ограничить дозволенные каждому ее размеры. Вырывая цитаты легко и Жан-Жаку приписать антибуржуазность. Да только буржуазная революция ставила его выше других просветителей. Им зачитывались и Робеспьер и Бонапарт. С ним соперничал разве что Вольтер, да и то, преимущественно, как критик былого, а провозвестник нового, – прежде всего, Руссо.

Легко сказать, что желанное ему будущее не сбылось. Ждать, чтобы идеалы философа воплощались буквально, как раз бы и

значило, как классицисты, счесть идеал прямой инструкцией разума, какую практикам надлежит исполнять, не озираясь на глупую реальность. Но потому и оказались «установленные «победой разума» общественные и политические учреждения... злой, вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей» (20,268), что эти обещания далеко не в такой мере воплотили разум, как казалось их расточавшим.

Разум проступает не в сочинении идеальных, а в понимании реальных общественных отношений, в ощущении степени необходимости и степени возможности желанных перемен и, главное, всей полноты их последствий. Когда этого нет, за долгожданной революцией неминуемо следует, если не формальная, то фактическая реставрация, отнимающая большую часть обещанного и даже декретированного революцией, казалось бы, навсегда. И хоть реставрацию проводит Бонапарт, герой Тулона, или иные участники революции, отнюдь не спешащие отречься от революционных знамен и ореола, их вчерашние товарищи и даже провозвестники революции или ее бывшие вожди уже слывут врагами нового порядка и чуть не самой революции, да они и впрямь не за то боролись. Их шлют на гильотину, их более не читают, а их «блестящие обещания» кажутся заведомым обманом, хоть были чистосердечны.

Теперь просветителей и следовавших им революционеров винят в чрезмерном рационализме, хотя новый порядок порой убивал не только их идеалы, но их самих. Бесстрашно споря с абсолютной монархией о том, что считать разумным, они, точь в точь, как она, думали, что разум выше реальности, тем более, что теперь это был уже их, а не королевский разум. Скорее их можно винить в недостатке разума, чем в избытке.

Гениальный Жан-Жак, умерший до революции, ощутил это прежде других. То тут, то там, он сетует на недостаток разума совсем не абстрактно, – сетует на недостаток разума у коллег просветителей и у себя самого. Нехватку разума он стремился преодолеть не уточнением философских критериев истины. Как социальный мыслитель Руссо прежде всего думал о способах в любой момент определить какие общественные действия будут разумны, и столпами разума для него оказались не отдельные выдающиеся умы, выступающие в интересах народа, а республика и народный суверенитет, незаменимый всеобщий хор народных голосов, вовсе не однозвучных. Его внимание к отдельной личности и одновременное признание высшего существа, то есть, ограниченности возможностей отдельного человеческого мозга, как раз помогало понять, что сочиненное разумным сейчас не обязательно верно навек, и нечего козырять мнимой, пусть даже коллективной, непогрешимостью.

В выражении «революционный демократ», которым Чернышевский впервые воспользовался, кажется, именно характеризую политические воззрения Руссо, важно не только прилагательное, но еще больше существительное. Демократия в понимании Руссо не «власть для народа», а «власть народа», за который не вправе решать даже и лучшая его часть, «элита», каковой, конечно, веками считало себя высшее сословие. Антиисторичность многих теоретических построений

Жан-Жака восполняет его тяга к демократичному общественному сознанию, постоянно себя корректирующему откровенностью и прямотой участников повседневной публичной полемики. В ходе нее предполагаемые в будущем преобразования не только то и дело практически сопоставляют с текущим движением и состоянием истории, но осмысливают критически.

Выдвинутый Руссо идеал – право несовершенного человека быть свободным и участвовать в решении всех дел общества, противостоявший сословному идеалу шестка, известного каждому сверчку, вопреки многим его собственным рассуждениям, отвечал тенденции к промышленному и буржуазному преобразению общества. Идеал этот, как известно, в полной мере не сбылся и после революции, да и потом сама буржуазия его со страху не раз урезала, не говоря о незавершенности ее противостояния феодализму, но смысл руссоистского идеала не поблек, да и прежде не исчерпывался фигурой мелкого деревенского буржуа, свободного на своем клочке земли от поборов.

Руссо, даже и обращаясь к предмету политической экономии, не слишком еще вдавался в выяснение взаимной зависимости производительных сил и производственных отношений. Уатт запатентовал паровую машину лишь через шесть лет после смерти мыслителя, а при его жизни промышленный переворот в полную меру еще не развернулся даже и в Англии. Но гражданин Женевы понял природу субъекта производственных отношений, понял, что без его реального участия в формировании этих отношений возможности развития невелики. Он понял, что, если руководить хозяйством страны теми методами, какими отец семейства руководит хозяйством у себя дома, нужно «чтобы дарования, сила и все способности отца возрастали пропорционально величине семьи и чтобы душа могущественного монарха относилась к душе обычного человека так, как размеры его владений относятся к достоянию одного частного лица» (23,109). Даже для относительно небольшой страны, как Франция, такая возможность разумного руководства хозяйством была, понятно, фантастической, не говоря уже о других последствиях культа могущественного самодержца-хозяина, который при таком хозяйствовании неминуемо возникает.

Революция вроде подхватила демократизм Руссо. Робеспьер считал себя учеником и исполнителем воли Жан-Жака, и так оно, если ограничиться желанной обоим социальной картиной, во многом и было. Но Робеспьер принял идеал Жан-Жака не как руссоист, а как классицист. Он видел в нем предначертание абсолютного разума и считал своим долгом это предначертание воплощать. Точь в точь как Людовик говорил: «Государство – это я», Робеспьер думал: «Революция – это я», тогда как Руссо так не только не думал, но всем написанным противостоял такому образу мыслей.

Поздней Наполеон, смолоду тоже увлекавшийся Руссо, хоть себе самому признался, что, насаждая новый классицизм, разрывает с учителем не только в эстетической сфере. Но и он не упустил случая, демонстративно посетив поместье, где философ скончался, поддержать всеобщую уверенность в верности императора взглядам

гражданина Женевы. Как искренний, так и лицемерный ученики упростили и сделали более плоским идеал учителя и уже этим ему изменили.

Но Руссо оставил потомкам не только неосуществленный идеал социального развития. Его влияние уже до революции и даже за пределами Франции заставило и самый разум подвергнуться испытанию на разумность. Руссо побудил и философию перейти от самоочевидности истин Декарта, предопределивших все позднейшие разновидности классицизма, к более строгим критериям.

Не то, что прежде разум себя не контролировал. Однако соответствие разума и реальности выяснялось лишь в самом общем смысле. «Я мыслю, следовательно, я существую» – говорил Декарт, уверенный, что, коль скоро мир вне нас реален, то и мысли наши должны соответствовать реальности мира, если, разумеется, мы мыслим правильно, то есть, логично. Внимание Декарта и, вообще, философии той поры сосредотачивалось на том, логично ли мы мыслим, поскольку логичность мысли по очевидности признавалась наперед соответствующей логичности реальности. Тот факт, что реальность многообразна, а логика всюду одна, считался естественным. Ему соответствовала не только абсолютная власть короля, но и абсолютная власть царя небесного.

Лишь Кант задумался, как быть с тем, что унитарная логика не всемогуща, и, для понимания конкретной реальности, знания общих законов недостаточно. Он понял ненадежность очевидности и недостаточность единой на все случаи логики. Основу его критической философии составила поэтому гносеология, не отменявшая логику, но выяснявшая ее действительные возможности.

Кант рассматривал логику как свойство мышления, априорно ему присущее. Разумеется, абсолютизированное представление об априорности знания – преграда подлинному знанию. Только Канту такое абсолютизирование вовсе не было свойственно, и не он придумал априорность. Он, напротив, стремился найти выход из распространенного в ту пору представления об априорном соответствии логики мышления и логики действительности. Ради этого он и различает в мышлении логическую форму, за которой признает априорность, и содержание, порождаемое реальностью. Оставив априорное лишь форме, он фактически расширил возможности постижения реальности. Да и самая эта априорность понималась Кантом главным образом как присутствующее в сознании мыслящего индивида наследство прежде сложившегося знания.

Кант разработал понятие «вещи в себе», не поддающейся логике. Разумеется, абсолютизирование «вещи в себе» ведет к агностицизму. Но Кант отнюдь не был агностиком, и не менее Декарта был убежден в реальности мира вне нас. Признание «вещи в себе» означало лишь, что унитарная логика не на все случаи годится, и желающим понимать мир во всем его многообразии надо это знать. Это, по существу, означало, что непостижимые привычной логикой «вещи» могут жить по иной логике, и надо их логику постигать. Таков был объективный и плодотворный вывод из открытия Канта, который человечество позднее и сделало.

Классицистское мышление абсолютизма, заданное европейцам единобожием и возводимыми к нему унитарными законами, не много места оставляло особенному и отдельному. Горькая ирония такого преломления религии в светском сознании выступила позднее, когда о реальности судили веруя в абсолютность разума, вещаемого так называемой марксистско-ленинской идеологией, обращенной в светскую религию. И бранили за религиозность совпадавших с религиозной традицией лишь тем, что признавали наличие в мире неведомого, неосвоенного и неосмысленного.

Имя Руссо ни разу не упомянуто ни в «Критике чистого разума», ни в «Критике практического разума», и лишь однажды в «Критике способности суждения», но все годы их писания портрет Руссо был единственным, висевшим над рабочим столом немецкого мыслителя. Книги Руссо были им прочитаны и продуманы еще в докритический период и стали близки. Человеческая личность, противопоставленная Жан-Жаком абсолютному разуму других просветителей, была и для Канта самой насущной «вещью в себе». И последовательней, чем Руссо, он противопоставлял абсолютному разуму, все за всех определявшему, решимость и мужество каждого человека, каждой одушевленной «вещи в себе», пользоваться своим рассудком, не подчиняясь чьему-то руководству.

Для Канта Просвещение не сводилось к просветительству, он, напротив, подчеркивал: «Люди сами в состоянии выбраться постепенно из невежества, если никто не стремится намеренно удержать их в этом невежестве» (11,34). Он убежден: «Для этого просвещения требуется только свобода и притом самая безобидная, а именно свобода во всех случаях публично пользоваться собственным разумом. Но вот я слышу голоса со всех сторон: не рассуждайте! Офицер говорит: не рассуждайте, а упражняйтесь! Советник министерства финансов: не рассуждайте, а платите! Духовное лицо: не рассуждайте, а верьте!» (11,29). Кант предлагает солдату, налогоплательщику и верующему рассуждать, как рассуждает ученый перед читающей публикой. Единственным применением собственного разума, которое недопустимо, Кант объявляет «такое, которое осуществляется человеком на доверенном ему гражданском посту или службе». Его Кант пронзительно называет «частное пользование разумом», указывая на обычное в сословном обществе использование государственной машины в частных интересах.

Уже опережая Руссо, Кант сознает, что «никакая эпоха не может обязаться и поклясться поставить следующую эпоху в такое положение, когда для нее было бы невозможно расширить свои (прежде всего настоятельно необходимые) познания, избавиться от ошибок и вообще двигаться вперед в просвещении» (11,81). Для Канта не существует безупречного на все времена порядка, а общественный идеал мыслится как развитие, формируемое публичным суждением всех людей.

Живший в провинциальном Кёнигсберге философ оказался дальновидней парижских мыслителей времен надвигавшейся революции не только в силу личной гениальности, но и того недооцениваемого обстоятельства, что во второй половине XVIII века

отсталая Германия обладала почвой для более глубокого понимания проблем грядущего общественного переворота.

Германия забеременела буржуазной революцией еще в начале XVI века. Но, начавшись могучим реформационным движением и великой Крестьянской войной, революция не совершилась. Дышавшие буржуазным воздухом города потом еще больше обособлялись, а малые монархи еще больше ужесточали в своих владениях феодальные порядки. Власть императора стала лишь номинальной, а после тридцатилетней войны даже и номинально не много значила. Земли, входившие в империю во времена Крестьянской войны и реформации разошлись по разным дорогам. Нидерланды, лишь в 1556 году из-за распада империи доставшиеся испанским Габсбургам, уже через десять лет начали национально-освободительную войну, обернувшуюся победоносной буржуазной революцией. В иных краях, особенно в Пруссии с ее юнкерским землевладением и подобным российскому, хоть и не столь полным, вторичным закрепощением крестьян, нарастала феодальная реакция.

И хотя во времена Канта прусский король Фридрих II поощрял терпимость, за что философ не раз воздал ему хвалу, Кант все же не думал, что распространение власти Фридриха на всю Германию означало бы для нее свободу. В Германии XVIII века не было единого порядка для всех, который достаточно было бы объявить неразумным и заменить другим, столь же всеобщим и обязательным. Желанные преобразования тут и в идеале не выглядели заменой «неразумного» на «разумное», ибо разум не мог стать исключительным достоянием власти, старой или новой.

Вот Кант и считал: «Посредством революции можно, пожалуй, добиться устранения личного деспотизма и угнетения со стороны корыстолюбцев или властолюбцев, но никогда нельзя посредством революции осуществить истинную реформу образа мыслей: новые предрассудки, так же как и старые, будут служить помочами для бездумной толпы» (11,29). Философ, как видим, не только не враждебен революции, но явно признает ее правомерность, однако признает и ограниченность ее возможностей в установлении «разумного» порядка. Еще за пять лет до того, как в Париже началась революция, Кант в своем Кёнигсберге видел опасность того, что не исполнится призвание каждого человека мыслить самостоятельно. Уже поэтому нелепо объяснять позднейшее немецкое упорство в призывании мыслить самостоятельно разочарованием во французской революции.

Кант ратовал за это призвание не только из гуманности и справедливости. Он писал: «Гражданскую свободу теперь... нельзя сколько-нибудь значительно нарушить, не нанеся ущерба всем отраслям хозяйства, особенно торговле, а тем самым не ослабляя сил государства во внешних делах.... Когда препятствуют гражданину строить свое благополучие выбранным им способом, совместимым со свободой других, то лишают жизнеспособности все производство и тем самым опять-таки уменьшают силы целого» (11,19).

Разумеется, здесь различим буржуазно-демократический идеал. Но различимо и нечто большее: признание связи «гражданских свобод» с «жизнеспособностью производства». А именно эта великая

мысль легла в основу Марксова понимания обратной зависимости производительных сил от производственных отношений, из которого росло и Марксово стремление к революции, чтобы устранить несоответствие. Потому Маркс и предполагал, что общество, идущее на смену буржуазному, не только ни в чем не урежет, но во всем расширит гражданские свободы, что смысл его возникновения видел в более мощном развитии производительных сил, возможном лишь тогда, когда каждый труженик имеет право, как минимум, публично рассуждать, чего Кант ждал уже от солдата, налогоплательщика и верующего, и на что не всегда имел право даже ученый перед читающей публикой.

Маркс называл философию Канта «немецкой теорией французской революции» (19,184). Он вполне сознавал преимущество немецкой теории перед французской реальностью, хотя немецкой реальности и во времена Маркса было куда как далеко до французской. Но как раз несовершенство реальности толкало совершенствовать теорию, чтобы не прельститься слишком простыми решениями. Сто лет спустя люди, именовавшие себя марксистами, объявили философию Канта и всю немецкую классическую философию и, тем более, немецкий романтизм, «аристократической реакцией на Великую французскую революцию», не смущаясь тем, что уж о Канте-то Маркс сказал нечто противоположное. Да и немецкую классическую философию, лишь отчасти (главным образом у Гегеля) классическую во французском смысле, и, тем более, немецкий романтизм, не свести к заграничной революции. Они, - что ни говори, - были немецкими.

Английское рабочее движение (с учетом тамошней политэкономии) и французские социалистические мечты Маркс рассматривал тоже с немецкой точки зрения, вобравшей не только опыт жизни, но и все ту же философию. Об этом написано много, но не вполне осознано, с чего это он отважился перечить Гегелю, классицизм которого и почти французскую абсолютизацию разума дополнительно укрепляла диалектика. А Маркс, отвергая разумность мира и абсолютистскую систему, атаковал Гегеля как романтик.

2

Через год после взятия Бастилии романтический поэт Фридрих Гёльдерлин, романтический философ Фридрих Шеллинг и тогда еще смотревший Шеллингу в рот его старший друг Георг Фридрих Гегель посадили в университетском городе Тюбингене дерево свободы. Не просто радовались неприятностям давних врагов Германии Бурбонов, как многие немецкие князьки, не просто оставались равнодушны к вестям из-за рубежа, но ликовали от ощущения революции. Симпатии к ней по началу видны и у таких, далеких вроде от нее людей, как Фридрих Шлегель, Людвиг Тик и даже Йозеф Гёррес.

Но начальный восторг все же улетучивается, и перемену трактуют как разочарование и отказ от прогрессивных устремлений, что едва ли, однако, справедливо. Отношение к революции менялось не столько от страха перед ее кровавым характером, который многие предвидели,

сколько от принесенного ею нового знания. Просветители, мыслившие в классических формах, ожидали, что революция механическим актом, устранив разлад «разумного миропорядка». А революция демонстрировала не только собственные свойства, но еще более свойства мира, от ее сильных средств ставшие рельефнее. Робеспьер страшил не так жестокостью самого по себе переворота, ломавшего вековой уклад, как различимой за переворотом диктатурой, утверждавшей навеки объявленное временным и преходящим.

Генрих Гейне, ценивший освободительный дух, который Наполеон принес в Германию, все же отметил: «Наполеон никогда не действовал ни вполне революционно, ни вполне контр-революционно, но всегда в духе обоих течений, обоих начал, обоих стремлений, которые объединились в нем» (4,90). Наполеон и впрямь уже не ломал старый порядок и не восстанавливал его, он формировал новый порядок по образу и подобию старого.

Под его властью невиданное прежде место заняли национальные проблемы. Ни восстание в Нидерландах, ни даже войны Кромвеля в Ирландии, не говоря уже о заморских британских завоеваниях, не вели к такому обострению национальных отношений в Европе, не придали национальным различиям такой социальной важности. Просвещение, подобно классицизму и, тем более, католическому христианству, было все же космополитично. Французская революционная империя колонизировала Европу, но под революционным знаменем ее делали французской. Угнетению подверглись даже народы, сперва ради этого освобожденные от феодальных пут.

Национальный характер угнетения придал национальный характер сопротивлению. Социальные отношения получали уже не традиционно идеологическое, обычно религиозное, оправдание, как бывало по преимуществу прежде. Сами формы повседневной реальности, порой даже несущественные, идеологизировались, наполняли случайные ситуации социальным смыслом. Романтики, быть может, и не сознавая того, противостояли колонизаторам, которым перед тем распахивали двери, как «братьям по классу», мечтая о порядке по образцу французского, но отнюдь не о подчинении французам. Здесь всего ощутимей поворот, свершившийся в немецком романтизме, особенно, если, не ограничиваясь сложными смещениями в иенском кругу, вспомнить поднявшихся следом гейдельбергских и берлинских романтиков.

Уже братья Шлегели, тяготея к универсализму, различали разнообразие мира и многообразие его культур и культурных ценностей. Интерес к Индии, пребывавшей, кстати, под британским владычеством, включение ее в классический круг, где прежде обитали лишь греки и римляне, да по христианской традиции еще евреи, шло параллельно осознанию самобытности немецкой культуры в ряду европейских, самобытности не умалявшейся, но, может быть, даже укреплявшейся своим провинциализмом. У Фридриха Шлегеля «существует особое понимание наций» (26,283). Если понимать культуру человечества по Шлегелю, своеобразие каждой нации - универсальности не помеха, а всякий раз подспорье, ибо взаимодействие складывается из многообразия, а не налаживается

под диктовку. Собственную природу нации романтики объясняют тоже еще социально-культурной, а не расовой близостью.

Брентано и Арним, братья Гримм, Гёррес, возбуждают интерес к немецкой литературе, существовавшей задолго до Лессинга и даже Лютера. Нелепо видеть в этом тягу к средневековью и желание повернуть историю вспять. Англичане, помнящие средневековье, где возникли их демократические институты, облегчившие потом переход к буржуазным порядкам, таких подозрений не вызывают. Вот и немцы в старинных балладах и сказках любовались отнюдь не феодальной зависимостью, но становлением личности. Пожалуй, заметней всего это у «последнего рыцаря романтизма» Йозефа Эйхендорфа, в облике путника, охотника, бродячего певца, выступающего свободным человеком. Для него, как и для гейдельбержцев, свободная личность вовсе не только французский тамбур-мажор, но уже и немецкий миннезингер. Если возобновить в памяти Крестьянскую войну и реформацию, таившие в себе несвершенную буржуазную революцию за четверть тысячелетия до свершения французской, прояснится жажда найти опору свободе дома, а не в чужеземных штыхах.

Конечно, романтизм не исчерпывается оборонительным, национально-освободительным пафосом немецкой старины. В нем, - едва ли не впервые в немецкой культуре, во всяком случае, впервые с такой яростью, - звучат и шовинистические, национально-высокомерные мотивы. Если Эйхендорф горд, что немцы не хуже других, то Клейст убежден, что они лучше, и в «Битве Арминия» берет патент на жестокость. Восстание германцев против римлян – модель восстания немцев против завоевателей-французов, но от мысли об освобождении пьеса неуловимо переносит к мысли о господстве. Закрывать на это глаза нет нужды, важно лишь не проглядеть, что и в шовинистических, как и в национально-освободительных течениях романтизма, подтолкнувшего Германию к единству, присутствовал буржуазный дух.

Английские и французские феодалы раньше и больше, чем немецкие, считались с возникавшей буржуазией и сотрудничали с ней в объединении своих стран задолго до того, как вызрел социальный конфликт. Немецкие феодалы имели в Пруссии лучшие возможности держаться на феодальной реакции, да еще могли расширять свою власть на восток. Берлин находился к Франкфурту, Кёльну или Бремену почти в таких же отношениях как Петербург к Новгороду или Пскову, разве что затянувшаяся раздробленность еще обостряла внутренние различия.

Любопытно, что Клейст, происходивший из старой прусской юнкерской семьи, мечтал об объединении Германии под властью австрийского императора, а не прусского короля. Сколько оговорок ни делай, как ни подчеркивай реакционные моменты, - тут Клейст и впрямь, видимо, первенствует среди великих немецких писателей, - даже без ссылок на явность буржуазных идеалов в его новелле «Михаэль Кольхаас», и его романтизм не свести к голосу прусской военщины.

Современному человеку, привычно атакующему буржуазность, сколь критично бы он к ней ни относился, стоит помнить, что

исторически именно буржуазность подтачивала и ломала еще большее зло – внеэкономическую зависимость и сословность. Когда, забывая об этом, приветствуют антибуржуазность, не разбираясь, какая она и за что сама ратует, в почете тотчас оказываются инквизиторы, мракобесы и обскуранты, заслуги которых в борьбе с буржуазностью неоспоримы. И умам, не желающим знать о путях феодальной реакции, Торквемада предстает куда более плодотворной фигурой, чем, скажем, Дидро. Современная российская печать полна подобными утверждениями, не всегда столь прямыми, но столь же нелепыми.

Романтики в этом противостоянии не на стороне Торквемады, к которому их облыжно приписывают. На деле они не только уточняли и углубляли просветителей, но, – хоть больше теориями, чем действиями, – следовали их важнейшим призывам и даже лозунгам революции. Великий клич «Свобода, равенство и братство!» врос в идеал романтизма. «Свобода!» - именно к ней зовет романтический культ независимой личности. «Братство!» – именно к нему зовет пробудившееся национальное сознание, изгоняющее колонизаторов. «Равенство!» - именно к нему зовет Шлегель: «От каждого следует требовать гениальности, правда не ожидая ее. Последователь Канта назвал бы это категорическим императивом гениальности» (26,280).

О равенстве, впрочем, современный социолог-марксист, указуя как раз на эти слова Шлегеля, пишет противоположное: «категорический императив гениальности обнаруживает свое подспудное элитарное содержание» (6,31). Элитарность по его мнению неизбежна, поскольку «обнаруживается, что в действительности оно (требование гениальности) выполняется очень немногими людьми», которые этим утверждают свое достоинство, якобы, в качестве избранных. Между тем, и Маркс понимал равенство не как уравнительство, но как равенство правовых и реальных возможностей делать то, на что ты способен, возможностей развиваться «каждому в ком сидит Рафаэль», вполне сознавая, что «Рафаэль» сидит не в каждом.

Можно и должно, конечно, сказать, что ни одна буржуазная революция не дала возможностей воистину равных, даже и в буржуазном смысле, что укрепляло элиту богачей. Но из того, что природа не создает людей одинаково одаренными, и не каждый, даже и в самых благоприятных условиях, способен выказать гений, никак не проистекает элитарный социальный порядок. Если Гомер, Архимед, Рафаэль, Шекспир, Ньютон, Моцарт, Гете, Лобачевский, Толстой и Эйнштейн занимают особые места в человечестве, их избранничество не определяет структуру общества, хоть отношение к ним его характеризует; страх перед социальным влиянием Толстых и Эйнштейнов формирует элиту их анафемствующих гонителей, выступающих в виде апостолов искусства и науки.

Даже беглый взгляд на романтическое движение обнаруживает в нем буржуазное начало. Романтизм – заведомая противоположность любой предустановленной системе, и самый термин «романтический» осмыслен, прежде всего, как противоположность классическому. Оттого-то предустановленной гармонии, наперед указующей место каждому явлению и каждой вещи, и претендующей на всеведение и

всезнайство, романтизм отвечает иронией, идущей от чувства неохватности куда более многообразного мира, чем кажется «классикам», и замечает мгновенные и парадоксальные связи между явлениями и вещами.

Важнейшая среди них - связь отдельной личности с миром, то есть, прежде всего, с остальными людьми, и как сообществом и как отдельными лицами. Связь эта, сообразная буржуазным, ценностным и сиюминутным отношениям, на практике часто эфемерна и зыбка; и, опять же сообразно буржуазному отчуждению человека, сообщество и люди по отдельности ему то и дело бывают чужды. Не зря человек отвергает обыденный мир, но запечатлевает его с небывалой прежде достоверностью, противопоставляя сатирической или просто безрадостной картине другие земли и времена. А и туда, подтверждая сущностную характеристику романтизма, как антитезы абсолютизму, влекут все те же идеалы, кажущиеся там осуществимыми и доступными.

Романтизм поднимает на щит идею развития, опять же вполне буржуазную, поскольку капитал, в отличие от феодальной власти, дорог владельцу не как сокровище, не неизблемостью, но способностью возрастать и приносить прибыль. Сообразно с этим и общественный порядок призван быть не столько недвижимо-гармоничным, круговым, сколько развивающимся, способным расти, а отсюда чуткость к новизне и усовершенствованиям. Фридрих фон Гарденберг взял псевдоним по имени, принадлежавшему его предкам, но самый этот псевдоним – «Новалис», и для немецкого уха звучит как обозначение нового. Новое уже не казалось лишь помехой обретенной гармонии, но стало залогом жизни.

Если в Англии и Франции буржуазные слои набирали силу и ощутимо обозначали себя в политической борьбе еще до промышленного переворота, лишь по-иному организуя производство, создавая, в частности, мануфактуры, то в Германии борьба буржуазии за власть совпала с началом машинного производства. Это, понятно, обеспечило более быстрый темп развития, но в то же время побудило пристальней взглянуть в нового друга - машину.

Едва ли не главный пафос романтизма состоял в том, что человек – не машина, и человеческое общество – не машина. Машина была явление новое, машинное общество – старое, его создал абсолютизм. Теперь в Германии они соединялись, действуя против человека, и романтизм защищал человека, доходя уже до модных ныне экологических идей. Буржуазный идеал «свободы, равенства и братства», обеспечивший своим земным воплощением предпринимательскую деятельность, частную собственность и личный доход, к ним однако не сводился. В нем подспудно присутствовали условия промышленного развития, надобные не только лично предпринимателю, но и самому производству, а значит и рабочему, и крестьянину и всем людям, не только при установлении буржуазной власти или под ней, но покамест существует промышленное производство.

Бюрократическая машина всегда и везде, и при лучших намерениях, так или иначе, тормозила развитие производства, если

вовсе не пресекала. Потому предприниматель, выбрасывавший машины на рынок, и не хотел, чтобы бюрократия была слишком действенна, - лишившись свободы маневра он лишался и выгоды, и, тем самым, стимула. Но его машины теснили йомена, некогда воевавшего под знаменами Кромвеля за революцию. Да и промышленный рабочий, когда его ставили к машине, ее сперва побаивался, видя в ней средство обесценить труд. Машина обращала в ничто вековой опыт крестьянина, виртуозность ремесленника, их личные качества. И рабочих, разрушавших машины, луддитов, в палате лордов защищал романтик Байрон.

В ту пору могло казаться, что за человеческое существо вступают лишь из гуманных побуждений. А оказалось, что и машина нуждается в гуманизме, в опыте людей, в их виртуозности, в их индивидуальностях, - не только, чтобы ее создать, но и чтобы ею пользоваться, чтобы работать на ней с максимальной производительностью. Оказалось, что машине нужны более свободные, чем прежде, люди, и потому она – заведомый враг машинного общества, вроде на нее похожего. Рабы, равно как феодально-зависимые труженики, работая на машине под надзором, не могли угнаться за свободными участниками производства, сознательно соблюдающими его строгую дисциплину.

Само собой, их соучастие было тоже вынужденным, но лишь экономически. Для рабочего возможность трудиться, прежде всего – право, для раба – лишь обязанность, право на труд ему ни к чему. Рабочему страшно потерять работу, раб боялся многого, но не безработицы. Конечно, положение раба было определеннее, но лишь защитник рабства скажет, что лучше. Свобода рабочего вне производственного процесса гарантировала его добросовестность на производстве, работой на котором он, в отличие от раба, дорожил. Потому предприниматель и был заинтересован в свободе не только для себя, но и для своих рабочих, даже если на практике ему то и дело хотелось натянуть узду.

Буржуазное хозяйство не сразу определилось в споре о взаимных преимуществах расширения свободы и ожесточения зависимости. Глупо закрывать глаза на многократные попытки буржуазной реакции опереться на внеэкономические методы, однако столь же глупо закрывать глаза на то, что промышленные достижения приходили, напротив, от расширения индивидуальной свободы и увеличения гарантий рабочему в пределах рентабельности производства. Невозможно отрицать, что победы рабочих в классовой борьбе вели скорей к подъему капиталистического производства, чем к его развалу. Эти успехи – плоды свободы, а за нее-то как раз и ратовал романтизм, даже не углубляясь еще в экономические отношения.

Нечто подобное происходило и с тяготением романтиков к христианству, в их понимании далеко не ортодоксальному, но ценившему способность бого-человека быть опорой личности, спасая ее от обращения в говорящую машину. Такой опорой, понятно, мог быть не только бог. Если одни атеисты торопились и человека объявить машиной, то другие не менее упорно защищали в нем человеческое, не отождествляя духовное с религиозным. Но это не

резон отрицать, что и религия могла быть и часто бывала опорой личности, пусть даже господствующая церковь одновременно служила машине абсолютизма.

Но если экономическая и даже религиозная мысль сами по себе касались романтиков лишь отчасти, то философия, в ту пору еще не именовавшаяся классической, задевала их всесторонне. Кант не был любимым философом романтиков, куда чаще они апеллировали к Фихте и еще чаще к Шеллингу, но круг их исканий был предначертан Кантом, сломавшим догматическую логику и проверявшим разум практическими критериями, достоверность которых он-то и начал по-настоящему выяснять. И борьба против романтизма, как явления, не случайно совпала с попыткой преодолеть критерии истины, данные Кантом.

Гегель не просто завершил развитие немецкой классической философии, он как бы отменил это развитие, опять объявив, что логика мысли соответствует логике реальности, для чего, используя открытия прямых предшественников, виртуозно обновил и усовершенствовал логику. Развитие при этом стало ее неременной принадлежностью, но, как в религии, вело к предуказанной цели, и это важнее даже того, что целью стало признание самой философии Гегеля венцом и концом развития логики и истории человечества.

Все, что шло в другую сторону, стало недостойно взора. Гегель, как никто, говорил о противоречиях жизни, о диалектическом процессе, умел угледеть сущность вещей, но, отказавшись от разработанного Кантом гносеологического самоконтроля, знать не хотел, что жизнь вольна предъявить совсем иные, чем предположенные в стройных логических триадах, варианты. Развитие и противоречие обратились в сугубо логические категории, и реальная жизнь, еще жестче, чем у Декарта, обязана была отвечать логике, а тем самым, историческое – логическому. История обратилась в лестницу, разных путей не стало. Воскрес абсолютизм духа. Не стало места неведомому и неизвестному, и романтические идеалы ничего не стоили, поскольку человеку ничто не светит, кроме надежды осознать собственную участь в предначертанной перспективе.

Если Гегель и романтики даже критиковали что-то одно, почти всегда выяснялась противоположность их симпатий. Романтики бранили современный им капитализм за недостаточное развитие индивидуального начала, то есть за неполное соответствие буржуазному, а, тем самым, и более дальнему гуманистическому идеалу, уводящему от бесчеловечной сплошь и рядом обыденности. Гегель, некогда симпатизировавший революции, тоже критиковал капитализм, но уже, напротив, за чрезмерность претензий, за нежелание довольствоваться пространством, отведенным прусской монархией. Антибуржуазность Гегеля, если продолжать сопоставление с Торквемадой, понятно, отнюдь не кровавая, но и он стоял за абсолютную и всеведущую власть, за держащий буржуазию в узде феодальный порядок, разумеется, более разумный и терпимый, чем на деле.

В стычках с современным ему романтизмом Гегель расширил понятие романтического, - начал с Христа, вставив туда и

средневековье, и Шекспира, и Гете и Шиллера. И все затем, чтобы объявить современный романтизм финалом и упадком искусства, пришедшего на смену античному, классическому. Особенно ненавистна Гегелю романтическая ирония, - он понимал, что она прокалывает надутые унитарные системы и выявляет важные связи, системой не предусмотренные или числящиеся в ней несущественными. А для Гегеля стройность и единообразие системы превыше всего.

Чтобы после буржуазных революций и промышленного переворота соорудить абсолютную унитарную систему, вмещающую не только нынешнее, но и будущее многообразие мира, нужен были поистине титанический ум. Гегель и был титаном, разбросавшим в своих сочинениях множество гениальных догадок. А не догадался лишь о том, что о жизни невозможно всё узнать наперед, невозможно узнать даже только всё самое главное, и потому бессмысленно довольствоваться подчинением и подлаживанием к «окончательному» знанию, сочтя за него нынешний уровень.

Это ведь Гегелю Маркс перечит своим девизом: «Подвергай все сомнению!» А Гегель учил: «Юноши считают несчастьем, что существует вообще семья, гражданское общество, государство, законы, профессиональные занятия и т.д., так как субстанциальные жизненные отношения с их ограничениями жестоко противодействуют их идеалам и бесконечному праву сердца. Надо пробить брешь в этом порядке вещей, исправить мир или по крайней мере вопреки ему создать себе на земле небесный уголок, пуститься в поиски подходящей девушки, найти ее и добыть, отвоевать ее наперекор злым родственникам или другим неблагоприятным обстоятельствам. Но эта борьба, эти сражения являются в современном мире лишь годами ученичества, воспитанием индивида при соприкосновении с наличной действительностью и только тогда становятся осмысленными. Ибо учение это кончается тем, что субъект обламывает себе рога, вплетается со своими желаниями и мнениями в существующие отношения и разумность этого мира, в его сцепления вещей, и приобретает себе в нем соответствующее местечко. Сколько бы тот или иной человек в свое время ни ссорился с миром, сколько бы его ни бросало из стороны в сторону, он в конце концов все же по большей части получает свою девушку и какую-нибудь службу, женится и делается таким же филистером как все другие. Жена будет заниматься домашним хозяйством, не преминут появиться дети, женщина, предмет его благоговения, которая недавно была единственным ангелом, будет вести себя приблизительно так, как и все прочие. Служба заставит работать и будет доставлять огорчения, брак создаст домашний крест; таким образом ему выпадет на долю ощутить всю ту горечь похмелья, что и другим» (3,154).

Так историзм Гегеля оборачивается неподвижностью. Романтический порыв кажется философу лишь бурей в стакане воды, конфликтом отцов и детей, в котором дети мало чем отличаются от отцов и лишь повторяют пройденное, лишь занимают отцовские места, а ничего не меняется. История по Гегелю определяется не людьми, и оттого историзм обретает вне-человеческий и, тем самым, бесчеловечный характер.

Уверяют, что восхваление прусского государства попало на вершину гегелевской мудрости случайно, чуть ли не как дань житейскому реализму. На деле же и эта вершина и вся философия Гегеля – плод крушения надежд на мгновенное преобразование феодального мира. Вот и пришлось тратить свой гений на поиски более скромных упований, способных сбыться и без радикальных перемен, какие манили смолоду. Собственный опыт и опыт своей страны философ счел всеобщим. Такое бывает нередко. Самобытность и даже некое консервативное величие Гегеля – в желании укрепить реакцию открытиями и завоеваниями революции. По обычаю феодальной реакции он верил в способность бюрократического разума перескочить реальность, держа ее в уме, без того, чтобы люди практически ее испытали, прошли через нее и закалились в ее горниле. А без этого и самый гуманный, установленный по обстоятельствам порядок будет смят и обращен в свою противоположность. Смысл пан-логической гегелевской борьбы против романтического искусства и романтических начал философии состоял в защите вне-человеческой абсолютистской системы, в низведении человека до положения несмышленища, и никаким справедливым указанием на алогизм романтических суждений этого не заслонить, тем более, что логика романтиков, в отличие от гегелевской, и сама предполагает повседневные уточнения.

Проницательней кого-либо сущность гегелевского понятия о месте человека изложил Маркс: «Гегель исходит из государства и превращает человека в субъективированное государство. Демократия исходит из человека и превращает государство в объективированного человека... В демократии не человек существует для закона, а закон для человека; законом является здесь человеческое бытие, между тем как в других формах государственного строя человек есть определяемое законом бытие» (18,252).

Романтики сознавали противоречивость происходящего в его конкретности, не только как абстрактную борьбу разных сил, при которой по Гегелю дети повторяют пути отцов и благополучно занимают их места, а как беспощадную борьбу, в которой «для общего блага» могут замучить вполне конкретного «ребеночка», и не как у Достоевского, одного маленького, а тысячи и миллионы разных возрастов. Романтики смотрели этому в лицо, это не затушевывали, и хотя, как потом и Маркс, не очень надеялись спасти «отдельных индивидов» сентиментальными сетованиями и назидательными рассуждениями, в большинстве не соглашались приносить людей в жертву роду человеческому, то есть другим людям, и в своих утопиях мечтали о мире обходящемся без этого. По крайней мере отдающем себе отчет, что от судьбы каждого из людей зависит судьба всех людей. Немецкий романтизм не только предлагал буржуазные идеалы, он различал за ними общечеловеческие. Видя, что реальность водит за нос, романтики пристальней в нее вглядывались.

Здесь существенен не только немецкий опыт, но и опыт стран, где буржуазные революции прошли до возникновения там романтизма. Там объектом наблюдения романтиков стал буржуазный строй, утвердившийся, при всех своих преимуществах, во всем начальном

несовершенстве. Буржуазный строй не принес равных благ всем людям, как ждали от присущей ему свободы. Но не случайно классовая борьба была открыта именно романтическими историками. Выяснилось, что после революций свобода и сам буржуазный порядок не вполне еще возобладали, и буржуазия действует разом и в союзе и в борьбе с сословиями правившими прежде. Так было не только в Англии с ее традициями социального компромисса, но и в куда более рациональной Франции, где буржуазия пришлось укреплять свои позиции уже в 1830 году.

Французские писатели-романтики Стендаль и Бальзак потом числились реалистами. Что говорить, подлинный художник в известном смысле всегда реалист. Реалистами по-праву называют и Шекспира, и Сервантеса, и Гете, что не снимает принадлежности Шекспира и Сервантеса к Возрождению и барокко, Гете – к веймарскому классицизму, а Стендаля и Бальзака – к романтизму.

Романы Стендаля расширяют романтический круг. Наполеон, действовавший на большинство немецких романтиков как красная тряпка на быка, после крушения сам оказался романтической фигурой, нашедшей понимание у многих романтических поэтов, начиная с Байрона. Стендаль в «Красном и черном» едва ли не раньше и глубже всех анализирует героя наполеоновского типа, обреченного на поражение. «Человеческая комедия» Бальзака полна наполеонят, с романтической страстью утверждающих свои права и претензии. Их давят прежде победившие Наполеоны финансового мира, прообразом которых долгие годы был барон Ротшильд. Но романтическую природу бальзаковских искателей счастья это умаляет так же мало, как присутствие наполеоновских войск в Германии – романтическую природу героев Клейста. Это противостояние ее, напротив, укрепляет и, более того, романтический дух обнаруживается даже у вчерашних триумфаторов, когда, на них, на Гобсека или папашу Горио, глядят, как на Бонапарта, ретроспективно.

К 1848 году неполнота осуществления обещанного просветителями идеала стала очевидна, и можно было ждать, что общество увлекут иные, как раз тогда прокламированные. К тому же, буржуазно-демократические революции терпели поражения. Но итогом 1848 все же оказалось расширение возможностей буржуазного развития, отступление финансовой буржуазии перед промышленной, сокращение влияния земельной аристократии, защита имущественных прав крестьянства, – то есть, подавленная революция на деле отчасти победила, и все это вместе повело во второй половине века к стабилизации буржуазного порядка и, тем самым, к увяданию романтического движения. Романтическая критика буржуазной реальности притихла, романтическая защита ее идеалов сникла. Казалось, романтизму – конец.

Но он не исчез. В потоке художественной жизни все больше дорожили пробившейся уже у романтиков тенденцией к натуральности, порой даже без идеальных устремлений. И все же романтизм пробивался у многих незаурядных авторов, даже у Флобера. Он как бы остался постоянно действующим в промышленном обществе. Стремление к нему переступало социальные и

национальные границы, подтверждая, что, подобно классицизму, романтизм уже не столько традиционный стиль, сколько духовное течение.

Существенней, чем несовместимые подчас стилистические приметы, его неперемный признак – неудовлетворение сущим, острое ощущение нужды в иной, чем окружающая, жизни. У романтика могло и не быть надежд на иную жизнь, и тогда лились слезы о несвершенности и скорбь, забытая ныне мировая скорбь. Надежды могли быть невелики, смутны, туманны, могли порой казаться реальными, – почти у каждого романтического писателя, живописца, музыканта бывали разные состояния в разные времена. Так или иначе, сущий мир он озирает критически, – не критический реализм, а критический романтизм первым исследовал мир, в котором невозможно жить. Не только «Критика способности суждения» и «Критика политической экономии» выявили несообразность жизни с человеческими возможностями и необходимым, чтобы их реализовать, но и критика человеческих отношений, охватившая литературу и искусство.

Потому романтизм и изображает окружающий мир, как правило, иронически или сатирически, а если обнаруживает в нем нечто благое, сообразное с идеалом, – это непременно исключение из правила, оазис в пустыне, почти всегда тоже обреченный быть занесенным песком. Романтики особо пристально глядят на любые нарушения системы, особенно на преступления. Гофман и Эдгар По открывают детективный жанр. И в раскрытии преступлений у них тоже преуспевает не могучая государственная полиция, а частное лицо. И позднее частный детектив, Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро и даже старушка мисс Марпл, – пронизательней Скотланд Ярда и любой полиции мира, поскольку не принадлежат системе, думающей по заданным стандартам.

Романтик ищет желанное не в одних случайностях обыденного или тайниках души, но и, – куда надежней, – там, где нас нет, в экзотическом мире, в истории, в утопии, в фантастике, в религии. Социальный мыслитель, ищущий там, обнажает свою романтическую натуру. Конечно, к истории и религии постоянно обращались и классики, ими жили сюжеты Корнелия или Расина. Однако там история или религия были залогом абсолютности. Романтики ощутили скоротечность времени: **история**, обольщает идеализированными картинками былого, – то есть, тем, что было иным, и прошло, **экзотика**, подтверждает отмеченное Шлегелем многообразие мира, – то есть, то, что покамест цело и вот-вот исчезнет, **утопия**, **фантастика**, и **религия** – обращают к тому, что возможно лишь в мире вымысла или за гробом, где легче проверить модель мысли и чувства и, кажется, легче было бы одолеть нынешние трудности.

В романтической неудовлетворенности жив дух бегущего времени, – бегущего в промышленном обществе не только в лучшую, «прогрессивную» сторону, но все равно бегущего. Это велит романтику, сопрягая неудовлетворенность и пожелания с переменами, свершающимися независимо от него и тоже не навсегда, ловить картины жизни, при этом проясняющиеся, а не просто изрекать верные на все случаи сентенции для антологии «В мире мудрых

мыслей». Открытия романтиков, даже выглядящие непреходящими, даже оброненные в фантастические обстоятельства, пронизаны текучей сиюминутностью, текущим днем. Для классицизма запечатленный день – дань вечности, для романтизма – мост из прошлого в будущее.

Романтизм опознается и по аспектам рассмотрения жизни. Судьба личности, судьба народа, судьба универсума всегда в поле его зрения. Он может по-разному сообразовать их друг с другом, но они всегда перед ним, как вопросы, требующие ответа и притом цельного, их судьбы связующего. Вроде и тут романтики не первые, - разве универсум не занимал средневековых философов и художников, разве личность не захватывала живописцев Возрождения и гуманистов? Разумеется, разумеется, и все же там и то и другое, главным образом, само по себе, обособленное. В средневековом сознании первенствует общее, великое искусство Возрождения восстановило значимость отдельного, но не поддавалось логике, проложившей путь классицизму.

Романтизм первым осмыслил связь личности с миром, в котором она живет, как существенную не только для мыслящего тростника, для личности, но и для мира, - как связь не только прямую, но и обратную. Ощущение ее в романтизме обострилось и тем, что романтики разглядели меж личностью и миром народ, тоже с двусторонними отношениями к тому и к другому. Они углядели, что народ острее универсума ощущает влияние составляющих его личностей, и сильнее чем отдельная личность, влияет на иные народы и остальной мир. Отсюда и осознание природы иных человеческих сообществ, - от гигантских объединений единоверцев и единомышленников до одной семьи. Картины отдельных, особенных и общих судеб пестры, их пестротой можно обосновывать разные пасьянсы, и все же если уму или сердцу героев и авторов картин внятно сопряжение взаимодействующих судеб, не просто подчиняющих или приносящих в жертву друг друга, они – романтики.

Романтизм возник как движение в защиту человека, в защиту новой, открывшейся ему в промышленном обществе, роли. Это, понятно не значит, что правда всегда, везде и всецело на стороне романтиков, ранних или позднейших. Нередко в борьбе против явных несправедливостей справедливые порывы влекли и романтиков к несправедливостям, в свою очередь порождавшим на другой стороне не менее романтические и не более справедливые намерения и действия. И персонально-эгоистические и национально-эгоистические пережесты возникали в романтическом движении неоднократно, но они-то как раз и нарушали и разрушали романтический универсализм, преобразовали его в обновленную классическую унитарность.

Социальную и межнациональную взаимозависимость, подымающуюся над открытыми ими же социальными и национальными противоречиями, романтики понимали не как плод предустановленности, божественной, гегельянской или марксистской, но как преодоление монополистического сознания, как вечно возобновляющийся компромисс, не монархом декретируемый, а людьми достигаемый. Примечательно, что немецкие романтики в пору наполеоновских захватов и господства французского языка (в этом,

пренебрегая социальным, революционной империи служили и эмигранты-роялисты) сделали перевод важнейшим жанром литературы, - именно они стали активно переводить Шекспира, - и этим противостояли схватке шовинизмов, наступательного, французского, с оборонительным, немецким.

Романтический идеал, в отличие от заданных сверху, универсален, но не унитарен, он предполагает правомерность особенного и даже отдельного не только по форме, но и по сущности, не только в абстрактно-логической картине, но и в реальной действительности, не только в теории, но и на практике, иначе, как в империи Бонапарта, романтизм заменяют стилем ампир. Романтизм возвращается к теории познания, к выяснению, знаем ли мы и можем ли, в принципе, знать всё наперед. Но горизонт гносеологии общества – умы и души образующих его людей, и невозможно хоть что-нибудь достоверно знать об обществе, если не вникать в их слова, пусть и неточные, а уповать на свою безупречность, красоту идеала и благие намерения кумира.

Не раз и не два человечество, и отдельная страна, и отдельный общественный класс, и группа людей, и отдельные люди, не думая о плодах самообольщения, натыкались потом на романтические всплески, не воспринимавшие уже здравых доводов, если те срастались с догмами, мешавшими более глубокому знанию жизни и ее совершенствованию для всех.

Промышленное общество, в отличие от прежних сословных, создав машину, создало предпосылки большей социальной справедливости, в зависимости от меры которой оказалась и сама эффективность машины. Пока в поступательном «прогрессивном» развитии равновесие того и другого росло и поддерживалось, романтизм, ощущая подвижность отношений человека и мира, вроде увядал. В середине XIX века Западная Европа обратилась к позитивизму и уверовала в благие эволюции. Но развивавшийся мир уже не сводился к Западной Европе.

3

Русская литература XIX века вдруг заняла исключительное место в умах европейцев, до того достаточно равнодушных к великим памятникам русской художественной культуры, - и к иконописи, и к деревянной церковной архитектуре, и даже к таким поэтическим гениям XVIII века, как Державин и Крылов. Всемирный успех она завоевала, прежде всего, своим романтизмом. Но и виднейшие отечественные исследователи не опознают романтизм за пределами первой трети века. Из великих романтиками признаны Жуковский, Баратынский да Лермонтов. А Пушкин – не далее «Цыган», Тютчев – лишь ранний, Гоголь – лишь с «Вечерами на хуторе близ Диканьки»!

Между тем, величие русской литературы видней всего в продленности ее романтизма. Не только весь Пушкин, не только весь Тютчев, не только весь Гоголь, но и Гончаров, и Тургенев, и Фет, и Некрасов, и Достоевский, и Островский, и Лесков, и во многом Лев Толстой, - писатели романтические, в силу российских обстоятельств

и, конечно, природы собственного гения, входившие в романтическую стихию глубже, чем их современники в других странах. Их поэтика и проблемы велят считать их романтиками, отличают от такого, скажем, объективного писателя, как Чехов, изображавший жизнь «в формах самой жизни», а свое отношение к ней – «без того, чтобы на это особо указывалось». Чехова можно назвать реалистом и в узком смысле, а перечисленных преимущественно в широком.

Русский романтизм еще меньше, чем немецкий, был ответом на французскую революцию. России было тогда еще далеко не то что до революции, но и до буржуазных начал, поощрявших романтизм в Германии. Немецкая и русская истории, во многом схожие, здесь не совпадают.

Казалось бы сходство просвещенного абсолютизма Фридриха II (правил с 1740 по 1786) и Екатерины II (правила с 1762 по 1796) удивительно. Оба монарха дружат с Вольтером и другими просветителями, оба раздвигают свои границы и поощряют военное дело, - Фридрих и сам талантливый полководец, при Екатерине блистают Румянцев, Потемкин, Суворов, Ушаков. После напряженных Елизаветинских времен отношения двух стран налаживаются и, вместе с Австрией, они делят Польшу на троих. И тут, и там, просвещенный абсолютизм поощряет помещичье землевладение, и тут, и там, сооружают роскошные дворцы. Но окна дворцов все же смотрят в разные стороны.

Фридрих еще не объединяет Германию, лишь стремится, - и это ему удастся, - сделать Пруссию, а не императорскую Австрию, как до сих пор, центром объединительного притяжения. Он считается с тем, что Германия раздроблена не только политически, что социальные структуры разных княжеств не единообразны. Поэтому вроде бы жесткий прусский король, в отличие от предшественников, да и преемников, дальновидно терпим. Кант при нем, как мы помним, не страдал от государственных помех, - они начнутся после смерти Фридриха, А Екатерина без раздумья расправляется с Новиковым и Радищевым.

Россия не только едина и неделима, она – колониальная империя, и царица мыслит о приращении и укреплении. Укреплении, прежде всего, внутреннем: с 1765-1767 годов, когда Пугачев еще верноподданно воевал против турок, крепостным, под страхом кнута и каторжных работ, перекрыли единственный до того доступный русскому человеку легальный путь к спасению – обращение на высочайшее имя. Отношения с господами были никак не экономическими. Но само крепостническое хозяйство, и, тем более, наемное и индивидуальное производство, как сельско-хозяйственное, так и промышленное, все больше становилось товарным, что и наращивало эксплуатацию бесплатного труда, уже не ограниченную «емкостью желудка феодала».

Пагубность для страны феодальной реакции, которую Грозный завел, а Петр вооружил научно-техническими достижениями Запада, ко времени Екатерины была очевидна, отставание от промышленных держав бросалось в глаза, и все же просвещенная государыня не

перешла к экономическим методам хозяйствования. Страна жила по данной Иваном и выправленной Петром схеме.

Если французский король возвысился, перестроив феодальную систему, чтобы успокоить буржуазию, уже сильную, но еще не способную оттеснить феодалов, то русский царь, подминая своих, более слабых, чем французские, феодалов, довольных уже нерушимостью крепостного права, подсек этой нерушимостью возникновение буржуазии, - царям ради собственной корысти даже приходилось в известных пределах ее насаждать. Некая разумность французского абсолютизма состояла в хотя бы временном компромиссном уходе от напряженной социальной ситуации. А разумность российского, не шедшего дальше государственных интересов, понималась лишь как торжество бескомпромиссной власти и внешнеполитических амбиций.

Во Франции абсолютная власть до поры держалась равновесием социальных сил. Когда поддерживать его стало невозможно, социальная эволюция оскудела, - началась революция. В России власть, утвердившая крепостное рабство, ощущала себя независимой от реальных социальных сил и подавляла претендовавших в абсолютистской системе на какие-то гарантированные права, - и аристократию, и буржуазию и, прежде всего, крестьянство. Менее всего она думала о равновесии, за разумные считая лишь собственные интересы да нужды своей прямой опоры - служилого класса. Взяв на вооружение просветительство, создававшее ореол разумности, власть оправдывала ожесточение феодальных зависимостей до крепостничества. Но духовное оправдание и художественное выражение русского абсолютизма оказались не просты. Пора его становления, хоть и короче двухсотпятидесятилетнего монгольского владычества, соперничает с ним по глубине духовных разломов.

Самым существенным был церковный раскол, сопряженный с преобразованием России из независимого национального государства, каким она стала при Иване III, в империю, которой ее провозгласил Петр, но сделал еще Грозный. Великие достижения национального искусства средневековой Руси империи оказались не надобны, не случайно самый ценный литературный памятник той поры, Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, - из среды раскольников. Фрески Рублева тогда замазывали, его иконы, как знаменитая Троица, пропадали. Имперская Россия демонстрировала упадок национального искусства и при Петре следовала европейским образцам. Следуя им, искусство далеко не сразу вернулось к уровню, достигнутому в средневековье.

Вот и заемный русский классицизм просветительского толка был по началу художественно слаб, отвечал желаниям власти, но не вкусам людей. Силу он обрел лишь когда заведенный Петром новый служилый класс, дворянство, ощутил себя господином положения, - тут и явился его гениальный певец Державин. Но тут и переломилось просветительство, надвигающийся кризис ощутили Фонвизин, Новиков, Радищев, потом Крылов. А вскоре из близкого к ним круга выдвинулся отец русского сентиментализма Карамзин.

Столь яркая плеяда литераторов, – а в живописи работают Рокотов, Левицкий, Боровиковский, а в музыке – Хандошкин, Бортнянский, Фомин, – возникла не случайно. Известный круг аристократии ощущал неладное, да и Пугачев не прошел незамеченным, хоть большинство дворян по-прежнему свято верило в разумность налаженной Екатериной их вольной жизни. Но наверху уже говорили о смягчении крепостничества и сословном представительстве, понятно не для крепостных.

«Дней Александровых прекрасное начало» рождало надежды. Именно тогда Жуковский выступает как первый великий русский романтический поэт. Но недаром он – по преимуществу переводчик. Потребности России в романтизме еще удовлетворялись открытым в Германии и Англии, своими покамест были лишь оттенки. Написав в 1812 году, как мог бы немецкий романтик, стихотворение «Певец во стане русских воинов», получившее необыкновенную популярность, Жуковский и не подозревал, что воспетые события как раз и кладут конец подражательной поре русского романтизма.

Нашествие Наполеона подняло в России, как и в немецких княжествах, вихрь романтического национального самосознания. Но его социальные итоги у нас иные. В немецких землях, дольше и унижительней терпевших французский гнет, но ощутившей проникшихся дома буржуазными началами, даже и абсолютные правители ощущали нужду, хотя бы ради самосохранения, уступить хоть что-то собственному народу. Даже в Пруссии реформы Штейна – Гарденберга устранили сохранявшуюся феодальной реакцией личную зависимость крестьянина, и подтолкнули капиталистическое развитие, пусть и «по прусскому пути». Хоть Германия, изгнав Наполеона и не объединилась, и осталась под феодальной властью, отрицать изменение ее социальной структуры в первую четверть века, во времена романтизма, невозможно.

В России, напротив, после победы людям, желавшим аналогичных немецким реформ, пришлось поднять мятеж. Победа успокоила власть и побудила не только отказаться от реформ, но и ожесточить феодальные порядки. Если в немецком романтическом сознании независимость народа и самостоятельность личности сплетались и укрепляли друг друга, то в послевоенной России создалось парадоксальное для романтизма положение: государство, представлявшее народ, вроде укреплялось, а людей, составлявших народ, гнали в военные поселения и выводили на торги.

Британская империя буржуазного предпринимательства, покоряя индусов и африканцев, в какой-то мере облегчала положение большинства англичан, а Российская империя феодальной мощи, чтобы покорять инородцев, отягощала угнетение собственного народа, и значительной его части было немногим лучше, чем порабощенным. Одни русские, подобно англичанам, получали от захватов ощутимые выгоды, но другие, в отличие от англичан, ощущали, что гнет растет. Поэтому в России понятия «народ» и «народность» обрели отчасти иной смысл, чем в Германии и Англии.

Белинский видел, что понятие «народность», для Пушкина общенациональное, неправомерно сводят к понятию

«простонародность». В конце века Чехову пришлось пояснить: «Все мы – народ, и все лучшее, что мы делаем, – есть дело народное». Однако то не просто была ошибка, – сведение народности к простонародности противостояло официальному понятию о народе, никак не предполагавшему в нем романтических проявлений личности. А понимание народности, как простонародности, как бы признавало и в простонародном личное, и в крепостном мужике – человека.

Русской литературе и, вообще, русскому искусству тех лет присущ особый акцент на личности обыкновенного человека. Немецкие романтики тоже были внимательны к человеку обыкновенному, а не только, как, скажем, Байрон, к незаурядному. Но у немецких романтиков право простого человека на собственное лицо не противостояло единству немецкого народа, это единство и сознавалось как многообразие входящих в него лиц, равно как королевств и княжеств. А русским романтикам приходилось особо подчеркивать своеобразие отдельного лица, поскольку оно-то как раз и отрицалось всеобщим единением в православии, самодержавии и официальной народности.

В России человек публично говорил как бы не своим, но верноподданным голосом, словно другого у него и не было, словно единственным свойством народа была верноподданность. Потому-то многие русские романтики, и Пушкин – первый, начав с байронической героизации, переходят, по слову Пушкина, к «истинному романтизму», к поискам истинного лица обыкновенного человека. Переход от романтических поэм к «Онегину» – вовсе не отказ от романтизма. Поэту и «Онегин», не менее, чем байроновский «Дон-Жуан», казался сочинением романтическим, но в более истинном смысле. Трудно согласиться с Б.В.Томашевским, считавшим, что Пушкин писал об «истинном романтизме» лишь потому, что не было еще термина «реализм» (25,605-613). Пушкин мог, считай он это нужным, употребить какой-то иной, пусть не нынешний, термин, а не пользоваться прежним, да еще подчеркивая, что употребляет его точнее.

Известное пушкинское понятие о драме: «судьба человеческая, судьба народная» как раз в истинном смысле романтично. Оно означает не просто параллельность судеб человека и народа, но их взаимодействие и, в частности, трагическое противостояние судьбы царя Бориса и судьбы народа, которым он правит. Борис – умелый правитель, он знает нужды державы, и народ сперва хочет его воцарения, да он ведь и правил страной при Федоре. Но Борис идет к власти, совершив для этого преступление, и народ от него отворачивается, пусть безмолвствуя, пусть лишь не молясь за царя-Ирода. А Борис «всего-навсего» зарезал «одного маленького ребеночка». И дело не в том, что по Достоевскому, про Пушкина помнившему, тоже такого делать нельзя даже для счастья всего человечества, а в том, что такое не приносит человечеству счастья, и уже в пушкинской трагедии сознание этого присутствует. Судьбы человеческие, судьба царевича Димитрия или царя Бориса, оказались мерилем и приметой судьбы народной, поскольку народ состоит из людей, из Дмитриев и Борисов, пусть не царевичей и не царей, но тоже

вершителей своих и чужих судеб. Вот поэт и счел свою трагедию «истинно романтической».

Тот же романтический интерес к отдельному человеку и в «Медном всаднике». Государство, убивающее человека, при всем величии своего здания, выглядит слабым. Классическая и гегельянская традиции, хоть порой и жалели обреченного индивида, утешали его тем, что на его костях воздвигают общее счастье. Русский романтизм более всего противостоял таким заверениям. Опыт просвещенного произвола, под знаком которого Россия жила с XVI века, был осознан русской литературой, как никакой другой, ибо ни один европейский народ, даже немцы, даже поляки, в такой мере не испытал губительные последствия подобного опыта на самом себе.

Русские романтики по примеру западно-европейских и даже еще усердней, вглядывались в реальность, но это еще не делало их реалистами в узком смысле слова. Реальность шла в их творчество из рухнувшей романтической мечты, что и давало позднейшим исследователям поводы говорить о противоречивости величайших русских гениев, Гоголя, Достоевского, Толстого, противопоставлять «Ревизора» «Выбранным местам», «Преступление и наказание» «Бесам», начало «Воскресения» его концу, оставляя достойным внимания лишь «Избранное». Между тем, и Гоголь, и Достоевский, и Толстой предстают гениально-целостными художниками, если понять, что они смотрели на мир не взглядом независимого естествоиспытателя, как позднее Чехов, а сквозь призму романтической утопии, так или иначе присутствующей в их самых реалистических картинах. Противоречивы были не так художники, как действительность, в которой они жили. Не говорим же мы о противоречивости Ньютона, одновременно открывавшего законы механики и толковавшего «Апокалипсис», понимаем, что это не особенность личности, а черта эпохи.

Речь, понятно, не о том, чтобы принять за истину религиозные наставления Гоголя или разделить страсть Достоевского к водружению креста на святой Софии, но о том, что истина, особенно в искусстве, не дожидается вполне адекватных себе обозначений, но запечатлевается в тех понятиях и образах, какие владеют умами в пору ее осознания. В аракеевско-николаевской империи с римскими фасадами и рынками рабов, чуткая душа естественно тянулась к образу освободителя рабов реальной Римской империи, висевшему в каждой церкви. Не нужно быть христианином, чтобы понять правомерность наложения этой парадигмы на российскую действительность, которое нередко вело к ощущению художником аналогичной миссии в себе.

Гоголь, Достоевский и Толстой ощущали в себе нечто общее с Иисусом из Назарета, – желание спасти людей, прежде всего русских, страдания которых под крепостным ярмом им были заметней, то есть, исполнить назначение более значительное, чем достоверно запечатлеть окружающую действительность, отведенное им позднейшим литературоведением. В этом отношении не существенно, был ли Иисус и впрямь сыном божьим и спасителем человечества, или только первоучителем еврейских сектантов или, вообще, фигурой мифологической. Существенно, что он жил в умах Гоголя, Достоевского

и Толстого, рождая там трагические картины, соотносимые с российской былью.

Общим местом стало указание на то, что у Гоголя мертвые души – не только товар, но и его продавцы и покупатели. Однако, не все современные читатели помнят, что для христианина душа бессмертна, так сказать, по определению. И квалификация души, как «мертвой», на фоне изобилия в церковно-классической картине бытия бессмертных душ, которым и в самой их низости не грозит утрата права на бессмертие, – романтическая ересь. Гоголь тут не просто критикует нравы крепостнического захолустья, он сопоставляет их с ортодоксальным миром, обеспечивающим бессмертие души, но не глядящим на земной ужас жизни.

Гоголь не стыдился утопических картин, и его положительный герой инородец Костанжогло столь же худосочен и маловероятен, как в жизни, а мог быть списан с владельца какой-нибудь процветающей экономии, где и мужикам не худо, какую можно бы, конечно, в порядке исключения, в огромной России сыскать. Упреки Гоголю в недостоверности Костанжогло незримо подразумевают, что сто лет спустя, писатели, заявлявшие себя реалистами, так именно и поступали. А Гоголь изобразил Костанжогло не менее жизненно, чем Ноздрева, просто жизнь такова: утопия изображена как утопия, как благое пожелание, и у писателя, полного метафор, это не удивительно.

Понимание социального смысла романтической литературы предполагает не одно сопоставление запечатленного с тогдашней реальностью, но и сопоставление друг с другом разных утопических идеалов, в свете которых реальность отображали. Спор славянофилов и западников понятен лишь как спор двух утопий, выросших из общего недовольства сущим, – как спор идеализации былой России с идеализацией современной Европы. Ни то, ни другое, не было вздором, но не могло стать программой.

Можно упрекнуть славянофилов в идеализации общины, не защитившей мужика от крепостного права, напомнить, что она вовсе и не была российской особенностью, но у других народов без крепостного права исчезла быстрее. Можно их упрекать в возведении российского европеизма к Петру, хотя уже любезное им Крещение Руси было западническим актом – христианская церковь не была еще тогда разделена, да и до Крещения Киевская и Новгородская Русь не так уж сильно отличались от восточно-германских государств и городов. Можно упрекать их в нелогичности, когда, проклиная Европу и буржуазность, они ратовали за денежное хозяйство и банковское дело. Можно даже сказать, что славянофилы сами были западники не меньше, чем именовавшиеся западниками: Петр Киреевский по примеру Арнима и Brentано собирал русские народные песни, а влияние Шеллинга на славянофилов никто и не оспаривает.

Но важны не эти упреки и сходства, как и не старая истина, что славянофильская утопия отражала взгляды либеральных помещиков, жаждавших сохранить экономические позиции. Важно, что ради этого славянофилы обратили к российской жизни именно романтические пожелания, ими пытаясь связать разорванные в Российской империи

национальную независимость и самостоятельность личности, вплоть до отмены крепостного права. И в этом отношении их идеализация старой Руси, где заведенного феодальной реакцией крепостного права, как и в Европе не было, а была лишь феодальная зависимость, – не такая уж глупость; за ней встает сослагательная картина иного поворота, возможного в прошлом, а им казалось, и в настоящем.

Совершенно так же можно и западников упрекать в слепоте, мешавшей различить социальные проблемы перехода к буржуазному развитию и указать на другие их заблуждения. Но важнее, что и западническая утопия не была лишь корыстной выдумкой либералов, а тоже обращала к российской жизни романтические пожелания, по которым следовало не только отменить крепостное право, но повседневно поддерживать представительной системой связь личной и национальной суверенности, – для этого казались допустимы и революционные анти-абсолютистские преобразования. В этом отношении идеализация современной Европы тоже была не глупостью, а ссылкой на опыт разрешения подобных российским социальных ситуаций, который мог быть для России плодотворен и в давние времена и в нынешние.

Позднейшие исследователи, словно продолжая споры славянофилов и западников, часто упускали из виду их сходство, свойственный тем и другим либерализм, и, главное, общее противостояние куда более могучему, кондовому консервативному дворянству, не искавшему самосохранения, задавившему реформаторство и сделавшему неизбежными позднейшие катаклизмы. Лишь понимая общность двух утопий, можно оценить их соотношение и смысл.

В интересной нам связи примечательно, что западничество быстрее преодолеvalo романтизм. Яркий западник Тургенев, обретший славу романтическими «Записками охотника», выдвинувшими на авансцену общественного внимания личность крепостного крестьянина, постепенно переходит к «объективному» письму. Конечно, в «Дворянском гнезде» и даже в «Отцах и детях» романтик еще различим, но уже здесь, а в позднейших сочинениях еще больше, писатель склоняется к вроде незаинтересованному изображению, к реализму в узком смысле. Но как раз это время - пора ослабления его таланта, не ощутившего, что русский читатель даже и после юридической отмены крепостного права, в большинстве не готов к объективному осознанию собственной реальности и продолжает мыслить о ней в романтических категориях. Об этом говорят и распри Тургенева с Достоевским и даже Толстым. Неприязнь Достоевского к Тургеневу тоже поддерживалась убеждением первого в мелочности и поверхностности далеко отошедшего от «Дворянского гнезда» тургеневского реализма.

Сам Достоевский, напротив, до конца был романтическим писателем. Но при всех страстных выступлениях в защиту личности, писатель сам опасался ее свободы. Ничем не ограниченный Наполеон, он же Ротшильд, воплощенный в Раскольникове идет на преступление. Но его преступление не ограничивается, как у Жюльена Сореля, замышленным, а доходит до непреднамеренного убийства

Лизаветы. Непредусмотренная жертва очерчивает границу личной свободы свободой другой личности, убийцей, так сказать, не учтенной. Другой человек, убитый или брошенный на произвол судьбы, оскорбленный и униженный не из каких-то, пусть самых низких и подлых побуждений, а именно что без умысла, - непреходящий герой Достоевского, и голос его важен. Оттого и первенствует Настасья Филипповна, а не Аглая. И недаром слова «Смирись, гордый человек!» обращены к Алеко, который «для себя лишь хочет воли».

Открытый и исследованный М.М.Бахтиным полифонизм Достоевского – не только стилистический прием. В нем и критерий индивидуальной свободы и самая наглядная форма ее проявления. Затем и нужны разные голоса с равным правом звучать, что в их стычке проступает демократическое сознание. Но создатель художественного аналога демократии, – а не только диалектики одинокой души, - реальных путей к демократическому полифонизму, за который теоретически ратовал еще Руссо, в российской жизни не видел, а мысль о переходе через торжествующую в Европе буржуазность даже и к всеобщему счастью была ему ненавистна.

Но, уверяя себя и других, что Европа вот-вот – в ближайшее десятилетие, погибнет, и погибнет именно от пролетариев, русский писатель неожиданно объявил: «в Европе называющие себя демократами всегда стоят за народ, по крайней мере на него опираются, а наш демократ зачастую аристократ и в конце концов всегда почти служит в руку всему тому, что подавляет народную силу и кончает господчиной. О, я ведь не утверждаю, что они враги народа сознательно, но в бессознательности-то и трагедия» (9, 153).

Как полифонист, Достоевский не только не был союзником, но был противником тех, кто, говоря о демократии, вел к новой господчине. Оно и понятно: требование Нечаева, казнить вышедших из революционного общества, пусть они на прежних друзей не доносили (обычно заговорщики довольствовались казнями доносчиков), никак не совместить с полифонизмом.

После каторги Достоевский уповал на государственную православную церковь. Критики его общественной позиции давно и трезво указывали, что тысячелетнее православие в России не только не противостояло, но помогало установлению крепостного права, и отнюдь не церковь была инициатором его отмены. Однако, Достоевский связывал свои надежды не столько все же с реальной церковью, для которой и сам оставался не в меру своевольным, сколько с идеальной церковью, которой, подобно августинову Граду божьему, приписаны свойства царствия небесного.

Земная церковь Достоевского сугубо утопична. Он не довольствовался традиционной христианской верой, сулящей праведникам и раскаявшимся грешникам спасение после смерти, а покамест признающей земную реальность и даже разум, лишь бы не посягал на бога. В таком подходе у католицизма, особенно упорядоченного Фомой, были явные преимущества перед православием, после Петра Первого и вовсе не смевшим перечить государству, что возбуждало в писателе особую ненависть к не столь наглядно покорному мирской власти католицизму. Но и в православии

Достоевского прельщала не так реальность церковной жизни, как иллюзия обладания «правильной» истиной. Сама идея небесного царства на земле, идея церковного государства с государственной церковью, шла в русле прежних фурийских соблазнов. Старые и новые идеалы писателя были типологически однородны.

Он верил, что романтических целей – свободы личности, независимости народа и универсальности, именуемой христианской, можно достигнуть лишь на не запятнанных гнусностью путях. В речи о Пушкине он провозгласил: «Для настоящего русского Европа и удел всего великого Арийского племени так же дорог, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечем приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей» (9,147).

Томас Манн в этой связи даже заметил: «я почти уверен, что идея о призвании русской нации к всечеловеческому предстательству....тоже своего рода «заимствование», что она немецкого происхождения и принадлежит Шиллеру» (17, 594), и привел строки из стихотворения «Немецкое величие»: «Нет, не в том величье немцев, чтоб врагов разить мечем». Примечательно тут, впрочем, не заимствование, вполне вероятное при общеизвестной любви Достоевского к Шиллеру, хоть в данном случае и не доказанное, а видимость аналогии, обманувшая даже Томаса Манна.

Уверенность, что народы подобны узким специалистам, и в каждую эпоху носителем всеобщих ценностей выступает какой-то один – евреи в Палестине с религией или греки в Афинах с философией, испанцы с географическими открытиями, англичане с машиной или французы со свободой, и, наконец, немцы, по Шиллеру, с высотами духа или русские, по Достоевскому, с даром объединять всех и стать братьями всех людей, далека не только от истины¹, но и от романтического понимания универсальности. Достоевский явно размышлял, как ее понимать, почему и решил присвоить одному народу всеобщую миссию универсальности, хотя, казалось бы, братство даже и двух человек, не то что народов, возможно лишь тогда, когда оба его ощущают и хотят, а не тогда, когда один, обладая особым талантом братства, внедряет его против воли другого. Подхватив идею универсальности, Достоевский ее перетолковал, напоминая не столько Шиллера, сколько Клейста.

Не Шиллер, а Клейст вспоминается и тогда, когда читаешь у Достоевского: «видно и война необходима для чего-нибудь,

¹Даже и признавая особую роль древних культур евреев, греков и римлян в общеевропейской, нелепо объявлять овладение ими обязательным для перехода индусов, китайцев или японцев к современной цивилизации. А в новое время счесть носителем всеобщности один какой-то народ, значило бы обеднить и те национальные культуры, которые вынуждены будут ориентироваться на «избранную», и, не в меньшей степени, «избранную», которая, становясь «всеобщей», теряет самобытность и возможности собственно-национального развития, как русская в СССР. Уже ровесник Достоевского Энгельс отмечал, что время избранных народов прошло.

целительна, облегчает человечество. Это возмутительно, если подумать отвлеченно, но на практике выходит, кажется, так, и именно потому, что для зараженного организма и такое благое дело как мир, обращается во вред». Он рассуждал даже так: «скорее мир, долгий мир зверит и ожесточает человека, а не война. Долгий мир всегда родит жестокость, трусость и грубый, ожирелый эгоизм, а главное - умственный застой. В долгий мир жиреют лишь одни палачи и эксплуататоры народов. Налажено, что мир родит богатство – но ведь лишь десятой доли людей, а эта десятая доля, заразившись болезнями богатства, сама передает заразу и остальным девяти десятым, хоть и без богатства. Заражается же она развратом и цинизмом» (8, 101-103).

Воинственные рассуждения писателя, понятно, менее всего отвечали чувствам народа, говорящего «худой мир лучше доброй ссоры». Подобные сентенции полезны именно той одной десятой, которая привыкла и всегда надеется в самых страшных катаклизмах уберечь свое, тогда как девять десятых лишатся и последних средств к существованию. Тут невольно вспоминается фельдегерь, о котором сам же Достоевский заметил: «Ему вся Россия представлялась лишь в его начальстве, а все, что кроме начальства, почти недостойно было существовать» (9,156). Едва ли Достоевский сам этого не замечал, но провозгласив особенным качеством, которое по своей природе бывает только общим, он, логически рассуждая, счел особенными и другие подобные качества. Поэтому на турок, владевших Константинополем, в его рациональных построениях уже не распространялось убеждение, что маленького ребеночка нельзя резать даже для счастья всего человечества. Турок, по Достоевскому, можно резать так же просто, как французов, по Клейсту, не проповедовавшему, правда, что резать людей не гоже.

Но взятие Константинополя не обошлось бы, конечно, жизнями одних турок; раз уж они не носители братства и сопротивляются, не пускают к себе абсолютное добро. Пришлось бы и многим носителям братства тоже, – и даже не за счастье человечества, а лишь за крест на святой Софии, – заплатить собственными жизнями. Самоценность каждой личности, таким образом, не была, как выясняется, для писателя непременным условием самоценности народа, и понятие «народ» он трактовал как почти отдельное от образующих его личностей, поскольку был реалистом не в современном, а в средневековом религиозном смысле, и общие понятия воспринимал как реальности.

Сам он однажды подметил: «Кто слишком любит человечество вообще, тот большей частью мало способен любить человека в частности» (7,254). Эту справедливую мысль можно продолжить: кто слишком любит народ вообще, тот большей частью мало способен любить по-отдельности людей, из которых народ состоит. Но понять лишь это – недостаточно. Важно еще понять, что утопические построения, независимо от воли авторов, говорят нередко иное, чем сам по себе текст их утопии.

Различая еще подпольную тогда полифонию, Достоевский избирал утопические пути ее гармонизации. Он был страстной

романтической натурой, жаждавшей дать людям счастье, сперва по фурыеристскому, а после по имперско-церковному образцу. И поскольку образцы, по существу, не слишком различались, а спросить людей, не предпочитают ли они что-то третье, отличное от обоих идеальных, классически-абсолютистских царств, то есть, наяву осуществить общественную полифонию, под властью самодержавия было невозможно, писатель, если не как Нечаев, то как нечаевец, в статьях и на страницах «Дневника» рисковал решать за других. Его решения, как и решения тех, кто под иными знаменами шел к той же «господчине», могут представляться наивными, жестокими или бесплодными. Но они не могут заглушить и ослабить полифонию прозы Достоевского, глубинным типологическим зрением различившей родство деспотического режима и иных его решительных противников, родство Аракчеева и Шигалева, и этим более всего выявившей свой романтический и демократический смысл.

Лев Толстой последовательней защищал частного человека и, к тому же, сообразно принципам романтического письма, еще особо указывал, как надлежит изображенное понимать, хотя, казалось бы, в мастерстве изображения словом не знал равных. Начав анализ возможностей личности с аналитической автобиографии, Толстой в 1863 году, когда вступали в силу положения реформы, принимается за «Войну и мир». И, как свойственно романтикам, исследование истории означает исследование корней актуальной ситуации, – именно исход войны с Наполеоном предопределил замедленность решения социальных проблем, как завершила победа, не столь грозных.

Толстой еще не смотрит на эти проблемы с той мужицкой точки зрения, к которой придет позднее, но при выяснении связи личных и национальных нужд мужицкое понимание вещей его уже занимает. Вовсе не идеализированно изображенный крестьянин 1812 года Платон Каратаев, уже не опознаваемый в крестьянине шестидесятых годов, и сам обще-патриотический склад сочинения, рассеивает тревожные мысли о будущем, терзавшие в 1863 и людей более консервативных, чем Толстой. Рисуя правдивые, но вырванные из крепостнического контекста, картины дворянской жизни, как истинно человеческой, Толстой создал романтическую безрелигиозную утопию, внушавшую надежду, что копившиеся веками и вышедшие с реформой на поверхность социальные антагонизмы благополучно разрешатся. Его оптимизм сильнее богучаровского бунта или противостояния Петра Безухова, в котором угадывается декабрист, Николаю Ростову. Николай Ростов, а точнее Николай Романов, и впрямь оказался – декабристов, и «Война и мир» придала убедительность романтической иллюзии, что российское дворянство устоит.

Но безрелигиозная утопия нагляднее религиозной натывается на социальную реальность и быстрее обнаруживает свое бессилие. Уже в конце шестидесятых годов оптимизм Толстого рассеивается, а выход из кризиса оборачивается частичным отходом от романтизма. «Анна Каренина» остается, видимо, наиболее реалистическим сочинением Толстого, а, может быть, всей русской литературы той и не только той поры. Однако и там есть романтические тенденции. Утопизм не вовсе

покидает писателя, но препоручается личной нравственности героя, в частности, обращению Левина к крестьянскому труду.

При всей противоположности судеб несчастной Анны и вроде бы счастливого Левина, оба живут не обществом, а семьей, чем и отличаются от героев «Войны и мира», где критические стрелы в петербургский салон не отменяли ни социальной общности, ни веры в положительные общественные начала. Толстой и сам не брался определить в немногих словах итог и смысл «Анны Карениной». Однако, после нее писатель опять поворачивает к романтизму, теперь уже религиозному.

В противоположность художнику идей, Достоевскому, совместившему социалистический принцип с ортодоксальным православием, художник чувств и поступков, Толстой, так поступить не мог. Отвергая социализм, он столь же твердо отверг и православие, став российским Лютером, создателем новой евангелической церкви, как бы возвращающей к идеалам раннего христианства с его вниманием к человеку в противовес имперско-канонической церковности. Все его позднейшие сочинения – и «Смерть Ивана Ильича», и «Крейцерова соната», и «Воскресение», и «Хаджи-Мурат», явно или тайно пронизаны новой религией внесловного человека, и уже поэтому носят романтический характер. Наивно считать, что лишь финал «Воскресенья» апеллирует к Евангелию, – уже и начало, ставит в центр событий проститутку, блудницу, следуя примеру Евангелия, Толстой пишет роман о Марии Магдалине, и самый его суд над судьями, среди которых и совратитель Нехлюдов, – иллюстрация заповеди: «не судите, да не судимы будете».

Но утопия Толстого не сводится к догматам толстовства, потому и оказавшегося беднее основателя, что тот был не просто вероучителем, а великим художником, мирозерцание которого вмещает не только абстракцию личности, но и конкретные лица, рожденные его воображением. Религиозной утопии было бы, возможно, недостаточно, чтобы, вопреки хрестоматийной славе реалиста, счесть Толстого романтиком. Но люди, не вмещающиеся в систему, не менее важная часть его образа мыслей, чем заповеди и поучения.

Хаджи-Мурат против воли вовлечен в схватку меж покорителями Кавказа и горцами, объявившими им газават, священную войну. Ни на той, ни на другой стороне ему нет места, и тут, и там своя абсолютистская система, и та, и другая рады им воспользоваться, но обе ущемляют, а его побуждения и поступки ни той, ни другой непонятны, – их толкуют в свете готовых установок, – и спасения нет.

Уже само обращение к отечественной истории и к судьбе человека, защищающегося разом от двух борющихся меж собой систем, делает повесть романтической. А впервые герой приходит на ум писателю еще при взгляде на «репей того сорта, который у нас называют «татаринном», – сорняк, который на пашне уничтожают, а при косьбе скашивают, и, если уж ненароком скошен, выкидывают, чтобы не колол рук». Толстой вспоминает Хаджи-Мурата по энергии переломанного растения, не желающего сдаваться. Но соотносится не только упорство, – и для Шамиля, и для Николая, и для покорения Кавказа, и для священной войны, Хаджи-Мурат – сорняк, отщепенец,

лишний, временный человек, а для Толстого именно он - нормальный человек, а ненормальны системы, в которых нет места частному человеку, и его легко сделать сорняком, отщепенцем, и этим погубить. Явное предпочтение человека системе тоже выдает в Толстом романтика.

Как новый протестант и как романтик, Толстой отвергал социальную структуру современного ему общества, и объективный смысл этого отвержения, - что было еще до революции признано Лениным, - отвечал понятиям и целям «крестьянской буржуазной революции». При освобождении от помещичьей власти, в своих интересах поддерживавшей прежде устои крестьянской жизни, крестьянин не получил земли, то есть не обрел иной опоры для сохранения и совершенствования векового уклада, теперь обреченного, – хорош он был или дурен, – на расточение, и потому ненавидел помещика-землевладельца даже больше, чем прежнего помещика-рабовладельца, хоть, по опыту реформы, еще надеялся на мирное перераспределение земли.

Руссоистский идеал буржуазных преобразований в интересах большинства населения, то есть крестьянства, ни достаточно дальновидных реформаторов из правящего слоя, ни достаточно пронизательных революционеров из пореформенной деревни, в России не обрел. На этой почве и возникла романтическая утопия Толстого о мирном преображении, о добровольном отказе помещика от земли.

Хоть она и была обоснованной утопией Достоевского и больше отвечала насущным нуждам русского и покоренных народов, влиятельные помещики и, прежде всего, «владелец земли русской» и окружавшая его публика, ни о чем подобном слышать не хотели. Еще при жизни Толстого они разогнали Думу, предложившую земельную реформу, и его утопия так и осталась утопией. Она завершила великую волну русского романтизма, великую волну надежды.

Важно лишь не забыть, что могучий романтический импульс и в России дал себя знать не только в литературе и не только обнажением социального пафоса. Порой пафос этот как бы и вовсе отсутствовал, что даже навлекало осуждение современников. Балет, к примеру, был ядовито высмеян Толстым, а еще раньше Некрасовым и Щедриным. Однако, если Россия стала в последней трети XIX века центром хореографии, то не только от щедрот богатейшей императорской фамилии, но куда больше от затянувшегося романтизма. Это он наполнял балеты неудовлетворенностью сущим, углубляя их душевное содержание. Картина теней в «Баядерке» или слет лебедей в «Лебедином озере» дышат осознанием трагичности личной судьбы. Расширилась палитра характерных танцев, как разнообразных национальных ликов. Мариус Петипа обогатил классический кордебалет, прежде унисонный, изобилием ансамблей и, соотнося движения общего, группового и индивидуального, классического и характерного танца, создал на балетной сцене как бы картину универсума.

Танец, ставший главной опорой хореографии, по связи с античными скульптурными прообразами принято именовать

классическим, однако балет, в котором он полнее всего проявил свои художественные возможности, вовсе не был классическим. Этот балет, называемый часто также академическим, все больше углубляясь на русской сцене, – в особенности в сотрудничестве с великим романтиком Чайковским, – в психологическую реальность, тем и был велик, что сберег и развил драгоценные открытия романтизма, позднее опять понадобившиеся всему миру. Не упустим же из виду, что его величие росло, хоть и по иному, но на той же почве, что и величие по видимости противостоявшей ему русской литературы, на почве растрившей романтизм.

Поколение писателей, выросших после реформы, поколение Чехова и Бунина, опираясь на реалистические образцы, показанные Тургеневым и Толстым, положило начало русскому реализму. Подлинная жизнь, выступавшая в их сочинениях во всем своем противоречивом многообразии, без утопических и разъяснительных подсветок, дала даже повод о них, особенно о Чехове, говорить, как о людях «без мировоззрения». На деле они лишь отказались от присущей романтикам указующей прицельности.

Но хоть русские романтики и не преуспели в прямом воздействии на жизнь, к которому стремились, они с невиданной до того силой ощутили противоборство человека и всеобъемлющей насильственной системы, невыносимое для промышленного общества. А поскольку и Европу буржуазный порядок к началу XX века не привел к всеобщей и полной демократии, великие русские романтики, более всего Достоевский и Толстой, но и Гоголь, стали неожиданным подарком европейскому читателю, узревшему на российском примере, чем грозит нехватка и, тем более, отсутствие демократии, как деформируется без нее человек и сколь драгоценны человеческие качества, ее сберегающие.

4

Бытует мнение, что всякий художественный стиль отвечает определенному периоду гражданской истории, и новый стиль говорит о наступлении нового периода, числимого более прогрессивным. За рухнувшей античностью мало по малу складывается романский стиль, потом готика, потом Возрождение. Но уже барокко, споры о котором не стихают, нарушает стройную картину: придя на смену Возрождению, оно долго терпит его рядом, а потом само живет бок о бок с классицизмом, чуть не переживая его. Но романтизм не только слишком рано рождается и слишком поздно умирает, – он, и вроде скончавшись, то и дело воскресает, врывается в другие стили, трансформирует их. Он побуждает по-иному взглянуть на самое понятие о стиле, четко, казалось бы, разработанное классицизмом.

На вопрос, как внести в науку о литературе и в литературную критику точность и доказательность, Д.Лихачев отвечает: «доказательность заключена в наших обращениях к истории» (16,209), и он прав. А история художественного творения начинается с его выхода к публике. Жизнь сочинения проясняет его не меньше, а

может, и больше, чем его происхождение, его предыстория, и даже начальная недоступность читателю.

Писатель предчувствует будущее, предстоящие в нем ситуации, - когда его догадка сбывается, написанное становится доходчивой. Отсюда – вхождение или возврат в круг чтения упущенного современникам или забытого непосредственными потомками. Так вышло не только с античными авторами, но и с Шекспиром. Типологическая схожесть коллизий, возникающих в далеких по конкретному содержанию исторических обстоятельствах, создает предпосылки вечных художественных возрождений. Великое Возрождение – самое известное, но не единственное. А романтизм, вместе со своим антагонистом классицизмом, сделал возрождение непременным свойством культуры.

Отсюда и нужда в ином подходе к стилистическим проблемам. Поныне возникают все новые и новые художественные манеры и течения, объединенные общностью миропонимания и близостью вкусов. Однако, при всем своем своеобразии, они типологически тяготеют либо к классицистской нормативной традиции, либо к вольной, романтической, и классицизм с романтизмом продолжают жить не только в начальных обличьях, но и во все новых и новых. Прежние классицистские или романтические шедевры нередко вырастают в иную художественную традицию, нежели та, в которой возникли.

Тянущийся к классицизму Мандельштам пропитан романтическими мотивами, проявившимися, однако, не в личном противостоянии толпе, а в обостренном чувстве общей с другими трагической участи заурядного человека. Мандельштам не раз тянулся к художественному возрождению, иначе осмыслявшему возрождаемое, убежденный, что «снова скальд чужую песню сложит и как свою ее произнесет». И совершенно так же, в противовес ему и задолго до него, романтические песни перелагались на классические мотивы.

Многосложность переплетения накопленного, – не избавляя от нужды разбираться, что в какой традиции развивали, – идет от неоднозначных противостояний системы и человека, от того, что переход от сословного общества к промышленному, столкнувший классицизм и романтизм, совершился не вдруг, не исчерпывающе. Далеко не везде сословный уклад был преодолен, а сверх того, в промышленном обществе производство, в силу немислимой прежде специализации, нельзя уже было произвольно опрокидывать, чтобы «последние стали первыми», как вождь рабов – новым рабовладельцем, а вождь восставших крестьян – новым феодальным монархом. С этой автономной самоценностью производства пришло, в конце концов, считаться даже в ходе социальной борьбы, иначе производство сокращалось, прекращалось и уничтожалось. Способность наличного производства удовлетворить социальные нужды, равно как и способность социального устройства удовлетворить нужды производства, обрели в социальных конфликтах непредвиденное значение.

Когда, подобно церкви, производство, отделилось от государства, с которым в сословном внеэкономическом мире было нераздельно, его

влияние на общественную жизнь стало даже сильнее, но не столь линейно и наглядно. Уже на заре промышленного общества индивидуальный вклад труженика эффективней там, где труд добровольен, пусть и вынужден, конечно, экономическими обстоятельствами. Затем и понадобилась свобода продавать силу и ловкость рук тому, кто платит больше, что с ней открылся и пролетарию и предпринимателю простор для соперничества не только друг с другом, но и одному с другими пролетариями, а второму с другими предпринимателями. Но в полной мере это было понято гораздо позднее.

После промышленного переворота буржуазия полагалась на относительно стабильный парк машин и нищету рабочих. Она долго держалась, а где и ныне держится, за «простые» отношения работодателя и рабочего, надеясь на преобладание и в будущем неквалифицированного труда. Владевшему машиной капиталисту нанятый рабочий мог казаться ее легко заменимым придатком. В такое производство любой желающий мог быстро включиться, а желающие были в избытке, и это вводило в тень основополагающий принцип, по которому рабочий продавая свою рабочую силу работодателю, выступает как его экономический партнер. Сперва он был им лишь отчасти, уже избыток предложения рабочей силы позволял снижать ее цену до минимума и даже ниже его. По Марксу удерживалась все большая прибавочная ценность (стоимость), что, по его логике, неизбежно вело к абсолютному обнищанию рабочего класса, в развитых странах так, однако, и не наступившему.

Но такая коллизия долго выглядела окончательной. Новых господ, недавно симпатизировавших романтикам, опять влекла классическая традиция. Рядом с притихшим романтизмом не возникли, правда, новые Расин и Пуссен. Но традиции в обиходе служили и подражания, и эклектика, и салон, тогда изобиловавшие. Покуда буржуазия мечтала о сословной солидарности, плохо совмещавшейся с ее конкурентным производством, рабочие обретали надежду совладать с буржуазной системой совместными организованными действиями. В странах победившего капитализма, в Нидерландах, Англии, Франции, США, это вело к открытым классовым противостояниям.

Но там, где буржуазные отношения не возобладали, где феодальная, дворянская власть их лишь терпела, где сама первичная система отношений буржуа с нищим рабочим воспринималась как схожая с феодальной зависимостью, там одновременно еще усугублявшейся, выходило сложней. Во второй половине XIX века Германия, зашедшая в развитии буржуазных отношений дальше других не буржуазных стран, но остававшаяся раздробленной и подчинявшейся феодальным порядкам, продемонстрировала примечательный пример. С середины века значение немецкой литературы, еще недавно, от Лессинга до Гейне – одной из самых видных, а еще больше музыки, от Баха до Шумана – едва ли не самой видной, стало скромней, зато Германия выдвинула тогда двух гениальных социальных мыслителей – сперва Маркса, а через четверть века Ницше, предложивших противоположные, но одинаково

антибуржуазные, социальные утопии, обозначившие новую волну романтизма.

Многочисленные юношеские стихи Маркса наглядно свидетельствуют о влиянии романтизма. Оно уже в молодости было опорой его критической оценки многого у Гегеля, особенно, трактовки им положения и прав отдельного лица. Молодой Маркс настаивал на приложимости романтических понятий к каждой, без исключения, личности. Значимость отдельного человека для судеб вселенной доросла у него до известной формулы «Коммунистического манифеста»: «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех», прямо говорящей, что если свободного развития лишен хоть один, его, тем самым, лишены все.

После поражения революции 1948 года, Маркс нередко возвращался к Гегелю, то подобно ему отождествляя историческое и логическое, то с ним споря. Так или иначе, он гегелевскую унитарную систему не принял, но и свою в противовес ей не создал. Вопреки всем проповедникам марксизма у Маркса нет унитарной системы миропонимания. Само негативное употребление им слова «метафизика», прежде синонимичного слову «философия», выдает отрицание им системы, претендующей на всеведение и вседозволенность. Само противопоставление гегелевской «системе» его «метода» выдает романтика. А в зрелые годы Маркс отвергал и самый гегелевский метод, диалектику, призывая поставить его с головы на ноги, то есть постигать противоречия реальности, а не подгонять изображение реальности под противоречия логических построений. Далеко не все ему тут удалось, и можно спорить почему. Но одолевать гегелевские схемы он учился не так у английских политэкономов и французских социалистов, как, еще раньше, у Канта и романтиков. Его главное сочинение – «Капитал» не зря имеет подзаголовок по образцу кантовских – «Критика политической экономии», а его теория своей популярностью во многом обязана романтической традиции.

В СССР отношение Маркса к романтизму изображали сугубо негативным. Согласно предисловию к сборнику русских романтических трактатов «Романтики по его словам утверждали, что «развитие всего человеческого рода должно быть задержано ради обеспечения блага отдельных индивидов» (10,12). Сперва и не поймешь, ради каких же индивидов Новалис и Шлегель жаждали задержать развитие рода человеческого? Но, оказывается, ничего подобного о немецких романтических писателях Маркс вообще не писал, а писал, - притом нечто иное, - о французском экономисте Сисмонди, и трудно понять почему сказанное конкретно о Сисмонди, хоть его и числят представителем «экономического романтизма», защищающим мелкую буржуазию от крупной, можно прилагать к Гофману и Эйхендорфу и считать общим свойством литературного и философского романтизма.

Но и о Сисмонди Маркс говорит не совсем то, что в пересказе. Сисмонди спорил с Рикардо, считавшим капиталистический способ производства самым выгодным для производства вообще, и Маркс в предварительном, еще не подготовленном для печати наброске предполагал ответить, что «Рикардо вполне прав для своей эпохи. Он

хочет производства для производства, и он прав». И тут же пояснил: «производство для производства есть не что иное как развитие производительных сил человечества, т.е. развитие богатства человеческой природы как самоцель. Если противопоставить этой цели благо отдельных индивидов, как делал Сисмонди, то это значит утверждать, что развитие всего рода человеческого должно быть задержано ради обеспечения блага отдельных индивидов» (21,123).

Выясняется, во-первых, что и Сисмонди думал о благе не каких-то избранных лиц, а, напротив, простых людей, становящихся жертвами капитализма, а во-вторых, и возражая ему, Маркс не говорит, будто Сисмонди утверждает, что «развитие всего рода человеческого должно быть задержано». Он лишь указывает, что, по своему объективному смыслу защита людей от развития капитализма, которое и Маркс здесь понимает как развитие человеческого рода, его развитие задерживает, отнюдь не вина Сисмонди в личном намерении его задержать.

Сам Маркс полагает, что ущерб отдельным индивидам удастся преодолеть лишь по мере «развития способностей рода «человек» и, в частности, по мере развития капитализма. Однако он говорит, что принесение индивида в жертву даже и всему роду человеческому есть проявление глубокого антагонизма, и в этом пункте, – о чем исследователь русского романтизма умалчивает, – прямо становится на сторону Сисмонди, хоть и оговорив, что «Сисмонди прав лишь против таких экономистов, которые затушевывают этот антагонизм, отрицают его». А в их числе ныне оказались и философы, называющие себя марксистами.

За множеством искажающих трактовок различимо общее стремление советского марксизма, если можно его так называть, все-таки создать непротиворечивую систему взглядов. Между тем, и достижения предложенного Марксом материалистического понимания истории, и провалы его прогнозов коммунизма, несостоятельных даже без тех извращений, которыми их потом пополнили, понятны лишь в свете тех внутренних противоречий, которые Маркс так и не преодолел. Глубже других осознав ложность гегелевских построений и часто с успехом выявляя разлады реальности и логики, он, сохранив гегелевское отношение к теории познания, игнорировал известные ему кантовские принципы. Обращаясь к реалиям, но глядя на них, как гегельянец, без гносеологического самоконтроля, он порой оказывался от них даже дальше, чем Гегель в прозрениях.

Единство и борьбу противоположностей, как важнейший, по Гегелю, закон развития, Маркс проницательно приложил к современной ему классовой борьбе и, в частности, к борьбе рабочих, еще начинавших тогда отстаивать само свое право на социальные гарантии. Но отвлекся от того, что буржуазия и рабочие пребывают не только в борьбе, но и в единстве осуществляемого вместе производства. И в результате утверждал, что классовая борьба приведет к победе одной из противоположностей и ее дальнейшему процветанию без другой. А по Гегелю все-таки мир не избавляется от противоречий, и, завершение борьбы буржуа и пролетариев ведет не к торжеству одной стороны, а к распаду прежнего единства, и

дальнейшему производству приходится опираться на другое единство, в котором опять идет борьба, но другая.

Отсутствие гносеологического самоконтроля вело и к иным догмам. Единственным источником ценности Маркс считал физический труд, хотя, наряду с ним ценности создает и умственный труд и, разумеется, их дарит людям природа. Но Маркс трижды переписал, да так и не дописал, знаменитую главу «Капитала» о земельной ренте, понимая, что различия в урожае на разных участках земли невозможно объяснить лишь разницей в приложенном к ним физическом труде, что они различаются плодородностью, не говоря уже о климате и тому подобном. А из веры, что лишь физический труд создает ценности и выросла вера в мессианскую роль рабочего класса, противопоставившая его всему остальному обществу и приведшая к идее его диктатуры со всеми вытекавшими последствиями. Искажения Маркса, которые допускал Ленин и другие коммунисты, отчасти вызваны недоговоренностью ряда важных суждений Маркса.

Нам здесь интересно, что Маркс в своих просчетах выступал как романтик, влекомый порывом переделать мир, сделать его справедливее, а догмы, к которым он приходил, плоды не романтической, а скорее недостаточно романтической позиции, недостаточной романтической чуткости к реальности, а теоретически – пренебрежения теорией познания. Возможно, тут проявились и некие общие ограничения романтизма. Атакуя систему романтик подспудно и сам тяготеет к системе, держась не вполне определившихся понятий о должном, а продолжатели эти понятия ужесточают, вот и трудно совсем оторвать Маркса от того, к чему советские марксисты пришли.

Еще больше приверженности системе в той же Германии в следующем поколении демонстрирует Ницше, человек совсем других, но тоже романтических взглядов. Стиль его письма, скорее художественный, чем научный, уже этим претендует на романтичность, и современники, а нередко и потомки, считали Ницше романтиком. Но и он вырос на социальной почве.

В годы правления объединившего Германию Бисмарка (1871-1890), целиком совпавшие с годами активности Ницше (1872-1889), тамшнее развитие капитализма, отчасти напоминая позднейшее его развитие в России, все еще не сменило феодальную власть на буржуазную, но установилась некая разновидность «просвещенного абсолютизма», в которой феодальные правители, сохраняя власть, открыли большой простор предпринимательству.

После того как немецкая буржуазия в 1848 году, в очередной раз упустив возможность взять власть, не сумела опереться на демократические государственные институты, абсолютизм уже не мог, как мог еще при Фридрихе II, дружившем с просветителями, всерьез думать, что неторопливо решает задачи, которые буржуазия бессильна решить радикально. Властвовавшее немецкое дворянство, прежде всего прусское, жаждавшее укрепиться на будущее, нуждалось в осмыслении своего аристократического радикализма, и его-то с редким талантом и небывалой откровенностью изъяснил Ницше.

Филолог-классик, он в первой же своей работе «Рождение трагедии из духа музыки» свежо и самобытно исследовал античную

культуру. Он отверг, в частности, распространенное прежде представление об античном мире как гармоническом, заговорил о его противоречиях, о противостоянии пластического и разумного Аполлона и музыкального и эмоционального Диониса, проницательно угадывая существенные черты античной реальности. Восхваление дионисийства, отрицание всеобщей нормативности гармонии и разума, придали Ницше облик иррационалиста, а, тем самым, опять как бы и романтика. Но за иррациональностью его суждений различим конкретный и рациональный смысл.

На заре феодализма теоретическая рациональность социального устройства состояла в том, что не только угнетенные, но и правящие сословия выполняли определенные социальные функции. Феодал был рыцарем, он воевал, защищая кормивших и одевавших его крестьян от других феодалов или кочевников. С годами такая рациональность практически выветривалась, рыцари все больше паразитировали, воевать за них приходилось другим, то наемникам, то уже самим крестьянам. Их роль в производстве тоже была почти целиком паразитической. Они тормовзили хозяйство даже там, где феодальная реакция не закрепостила зависимых крестьян вторично, а где это произошло, то есть к востоку от Эльбы, в Пруссии, социальное развитие повернуло вспять. В ходе войны с Наполеоном Пруссии все же пришлось отменить крепостное право, даже не столь суровое, как в России. Но дворянство требовало от прочих сословий покорности, чтобы удержать власть.

И рациональность радикально изменилась. Если сперва это было нечто рациональное для общества, как целого, если еще французский абсолютизм хранил видимость социальной гармонии, хотя на деле, конечно, уже и тогда правящий класс защищал и продлевал свои привилегии, то в XVIII веке противостояние сословий и отсутствие «всеобщей» рациональности стали очевидны.

Социальные отношения той поры нынешние исследователи зачастую именуют «феодально-буржуазными порядками», ставя в заслугу или в вину даже Канту и Шиллеру то смелость, то робость в сокрушении разом и феодальных и буржуазных отношений, закрывая глаза на то, что уж тогда-то, -- французский пример - наглядное доказательство, -- феодальность и буржуазность были антиподами и противостояли друг другу, а свержение феодализма, -- как во Франции, -- означало победу буржуазного строя. А в Германии феодализм, хоть и шел на просвещенные уступки, вовсе не сдавался, тем паче, что и буржуазия не так напирала.

В XIX феодальное сознание приходит к откровенно классовому пониманию рациональности, и представление об избранном классе, которому все прочие должны служить и угождать, даже укрепляется. Избранный класс пытается продлить жизнь нежизнеспособной системе, в которой господствует, прежде всего, конечно, силовым нажимом, что до поры и впрямь возможно, хоть в конечном счете для него же пагубно. Но кроме оружия и решимости, хотя бы собственным бойцам, нужны аргументы, дающие новой феодальной реакции право насильничать и, тем самым, покамест править. А лучший довод, конечно, извечность такого порядка, каковую Ницше и провозгласил.

Вклад мыслителя в изучение античности не остался сугубо научным, но проложил путь приложению норм античности к новому времени, то есть, к утверждению незыблемости внеэкономических сословных отношений, так или иначе подобных существовавшим в античности. Социальная структура античного мира, где свободные люди владели рабами, казалась Ницше наиболее плодотворной и для промышленного общества: «Мы думаем о необходимости новых порядков и нового рабства, ибо для всякого укрепления и возвышения человеческого типа надобен и новый тип рабства» (22, 439).

Свободными людьми по Ницше должны выступать «господа земли», на современном социальном языке – дворянство. Именно в нем философ хочет видеть «волю к власти», из его рядов должны выходить «сверхчеловеки», воспаряющие над презренным людским стадом. Отсюда и его антибуржуазные речи, – ведь победоносный английский или французский капитализм утвердил демократические институты, которых так боялись власть имущие в Германии. Отсюда и его антихристианство, – ведь христианство, пусть достаточно абстрактно, все же удержало исходное понятие о равноправии людей, тогда как социальная теория Ницше проповедовала утверждаемое силой неравноправие. И то, что доводы философа выглядят иррациональными и вроде романтическими, не должно заслонить их в самом точном смысле слова «классическое» содержание, - они хотят незыблемости социальных отношений.

Не зря, отвергая романтический пессимизм Шопенгауэра, Ницше оговаривал, что «может быть, есть совсем другой пессимизм, пессимизм классический... только это слово «классический» противно моим ушам, оно слишком истаскано, опошлено и стало неузнаваемым» (22, 428). Словом «классический» он и впрямь не злоупотреблял, но его система играла ту же социальную роль, что в свое время классицизм, разве что в более резкой манере. Она была как бы по форме романтической и по существу классической, в отличие от Маркса, классические побуждения которого, досказали уже его последователи.

Ницше явился пророком порядка не капиталистического, хоть и позволявшего капитализму жить в узде, и он критиковал Бисмарка, этот порядок практически создавшего, потому, что узда не была, на взгляд философа, натянута достаточно сильно. Реальный политик, - а Бисмарк был реалист, – как бы ему ни хотелось другого, сознает, что промышленное общество уже не даст воплотить идеальную картину силового, внеэкономического царства, губительного для страны и для промышленности. А философу, идеологу, ничто не мешает, отвлекшись от реальности, помечтать о таком царстве и даже надеяться, что его учредит старое дворянство. По иронии истории позднее как раз из аристократических фамилий вышли многие борцы против плебея Гитлера, по-своему, хоть, конечно, совсем не так, как виделось Ницше, воплощавшего его мечту. Да и не стоит искать в обезумевше-традиционной мечте корни преступно-новаторской практики, хоть без влияния не обошлось.

Когда дипломатические маневры Бисмарка уступили место вере Вильгельма II в военную силу, как способ разрешения экономических

проблем, социально более развитые страны разбили Германию в Первой мировой войне. Из ее противников лишь Россия, еще сильней отстававшая, тоже не выдержала четырехлетней бойни. В 1917 году там произошли две революции подряд, но коммунисты разогнали Учредительное собрание и узурпировали власть. В Германии созванное после Ноябрьской революции 1918 года Учредительное национальное собрание никто не разогнал и оно провозгласило буржуазно-демократическую республику. Но одиннадцать лет спустя разразился мировой экономический кризис, и уцелевшие сторонники внеэкономических действий взяли верх и веймарскую буржуазную демократию ликвидировали.

Однако новый тоталитарный абсолютизм, в отличие от бисмаркского и даже от неосуществленного ницшеанского, не был уже всего лишь очередным, пусть самым чудовищным, проявлением феодальной реакции. Его подпирала не веками складывавшаяся потомственная сословная элита, а новая, принадлежность к которой определялась местом в национал-социалистическом государстве и партии. На смену старому дворянству, «господам земли», державшимся за происхождение, поднялось новое «дворянство», державшееся за должностное положение. Уже одно это придало новому порядку особенный характер.

Немецкие коммунисты во главе с Тельманом на выборах в рейхстаг в 1932 собрали 14.32% голосов в июле и 16.86% в ноябре, а национал-социалисты в июле 37.27% и в ноябре 33.09%. Социал-демократы вместе с Партией центра собрали соответственно в июле 34.07% и в ноябре 32.76%. То есть, вступи коммунисты с ними в коалицию, она практически имела бы половину голосов и явный перевес над нацистами. Но коммунисты не только с партией Центра, а даже с социал-демократами вместе выступать не хотели. А в сумме с голосами нацистов голоса коммунистов тоже составляли половину, то есть половина избирателей хотела тоталитарного режима, пусть и разных толков. Увидев это президент и назначил в январе 1933 Гитлера рейхсканцлером, который уже и создал условия для того, чтобы в конце концов нацисты получили на выборах большинство. А в соседней России, развивавшейся по схожей схеме, еще раньше победили коммунисты, перенявшие не преуспевший на родине марксизм. Но и они в своей последующей практике от него уходили почти так же далеко как немецкие нацисты от Ницше.

5

Новый тип социального устройства, возникший после Первой мировой войны сперва в России, потом в Италии, затем в Германии, долго не сознавался, да и не вполне еще осознан, как единый тоталитарный общественный строй. Устроители напирала на различия деталей воплощений, на разные самоназвания: в России – социализм (первая фаза коммунизма), в Италии - фашизм, в Германии – национал-социализм. А в ходе Второй мировой и после нее подобные режимы возникали не только при нацистском или советском завоевании, но и без них, с другими, даже религиозными, знаменами, и

в Азии, и в Латинской Америке, и в Африке. О тоталитаризме писали много, но принципиальная его новизна, кроме как в известных работах Ханны Арендт, не очень исследовалась. Новый порядок описывали старыми формулами, не обнажающими его природу. А при романтичности и искренности многих его первоначальных сторонников, это – новый феодализм, но не дробленный, а сразу централизованный, новый абсолютизм. На его социальной почве, и нацистское, и советское искусство, потянулись к классической традиции.

«Свободной конкуренции соответствует демократия. Монополии соответствует политическая реакция» (12,93), – четко понимал Ленин, создавший потом первое в мире монопольное государство нового абсолютизма. Едва ли он забыл, что писал прежде. Но преобладание демократии или политической реакции, свободной конкуренции или монополии, зависит не от воли вождей, а от того, как и в каких обстоятельствах пересекаются в обществе социальные отношения разного типа, феодальные, буржуазные и тоталитарные (ново-феодальные). Опора романтической традиции – свободная конкуренция, а классической – монополия установления норм. Романтик, строящий монополию, – самоубийца, нередко того не сознающий, и судьбы старых большевиков – тому яркий пример.

Первую мировую войну часто рассматривают как схватку старых буржуазных государств с опоздавшими к разделу мира и наперстывающими упущенное. Опираясь лишь изменениями долей крупных стран в мировом промышленном производстве, можно впрямь решить, что дело в чисто хозяйственной гонке. Но существенны не сами по себе цифры, а способы, которыми их добились, и цена, за них заплаченная.

Старые капиталистические страны, знавшие буржуазные революции, хоть уже и отставали от «молодой» Германии, все же, опираясь на большую устойчивость буржуазных норм и свободной конкуренции, лучше преодолели кризисы, - они победили в Первой мировой войне и успешней сгладили социальные конфликты. Последовательное соблюдение буржуазных норм укрепило там статус рабочего, как экономического партнера работодателя, и, тем самым, буржуазные отношения. Сыграла, конечно, роль и готовность либерально-реформистских кругов буржуазии сотрудничать с искавшими соглашения профсоюзами. Но успех определяли не просто добрая воля и политическая ловкость тех и других, а прежде всего то, что в условиях свободной конкуренции и роста технической вооруженности росло значение квалифицированного труда, что неизбежно вело к росту цены на квалифицированную рабочую силу, становящуюся опорой производства. Даже при массовой безработице, когда чуть не целые отрасли поражал кризис, уровень заработной платы в других уже не снижался, а нужду в хороших рабочих удовлетворить не просто, - нужны выучка и подготовка.

Потому буржуазные государства от сугубо сословного образования часто переходят в XX веке к всеобщему обучению, к бесплатному для успевающих учению в университетах и расширению возможностей культурного и научно-технического совершенствования

личности. Чтобы возобладали призывы к самоуничтожению свободной конкуренции и учреждению всеобщей монополии, нужны действенные причины. Сила или слабость тенденции к тоталитаризму зависят не просто от тактической ловкости и опыта правящих сил, как уверяла советская пропаганда, а прежде всего от привычки к развитым буржуазным нормам или напротив, к внеэкономическим отношениям.

Существенно и то, что «запоздавшие» шли к успеху по-разному. США, изначально не знавшие настоящего феодализма, да еще страшивавшие его, как колониальное клеймо, и в ходе английской революции, и в ходе борьбы за независимость, и в ходе гражданской войны, разворачивали промышленность на буржуазных началах, не слишком ограниченных даже остатками южного рабства. А Германия, напротив, форсировала хозяйство под грузом феодальных пережитков в сознании и в государственном устройстве, и предпринимательство там нередко опиралось на поддержку феодального государства. В результате «гонка» укрепляла в США буржуазные отношения, а в Германии привычку буржуазии к государственному содействию.

Уже в Первой мировой войне состязались не так «ушедшие вперед» и «догоняющие», как пережившие так или иначе буржуазную революцию и не прошедшие сквозь нее. Еще важнее это различие оказалось после войны. Жестокий кризис, сотрясавший мир с начала XX века, названный всеобщим кризисом капитализма, был на деле кризисом неразвитости капитализма. Охватив одни страны, он проникал в другие, бывшие еще во власти сословных отношений. Но далеко не везде капитализм осваивал собственные возможности и благоприятствующие им факторы, – их пришлось осваивать и осознавать уже в поисках выхода из кризиса. На почве недоразвитости капитализма, а вовсе не его развития, и возник новый тоталитарный абсолютизм.

Он устанавливался в странах, не перепаханных победоносной буржуазной революцией, не вобравших буржуазные отношения в плоть и кровь. Буржуазная революция – не формальный акт, она не сводится к революционному вихрю и казни или изгнанию феодального монарха, она лишь постепенно внедряется в повседневную жизнь и сознание. Формально в 1918 году в Германии прошла буржуазно-демократическая революция, но Веймарской республикой правили либо робкие либералы, либо самоуверенные консерваторы, и буржуазные отношения ни в сознании, ни на практике не возобладали. Да и в Англии от казни короля до «Славной революции», когда буржуазные отношения вполне утвердились, прошло сорок лет. Незавершенность, несвершенность буржуазной революции и стала в Германии почвой нового абсолютизма.

Еще наглядней то же самое сказалась на России, где суровое крепостное право было отменено лишь в 1861 году, тогда как в Пруссии более мягкое уже в 1805, а первая, неудавшаяся, буржуазная революция в России произошла лишь в 1905 году, тогда как в Германии еще в 1848. Россией до 1917 года правили не «помещики и капиталисты», как уверяла советская пропаганда, а феодальная власть, которой даже такие, способные стать русскими Бисмарками люди, как Витте или Столыпин, готовые, удерживая самодержавие,

все же провести некоторые реформы, способствующие более глубокому развитию капитализма, были нежелательны. Страна лишь поверхностно пользовалась некоторыми буржуазными нормами, они так и не стали неотъемлемой частью сознания масс, как в Англии или Франции. Либеральные понятия об обществе владели очень небольшой частью жителей, тогда как остальные держались либо старых феодальных идеалов, либо революционных, но не столько буржуазных, сколько влекущих к пугачевщине. Не случайно Веймарская республика в Германии продержалась 14 лет, и пала не без влияния мирового кризиса, а временная демократия в России - лишь восемь месяцев, и пала под ударами большевиков, шедших к новому абсолютизму.

Социальную сущность нового строя нередко сводят к происхождению, к тому, какие социальные силы его установили, хоть суть всякого общественного порядка, наоборот, проясняется тем, какие новые социальные силы и отношения, до того небывалые, он вывел на сцену. Новый тоталитарный абсолютизм не тождественен, при всем сходстве и преемственности, феодальному абсолютизму. В нем явилось и невиданное, и неслыханное.

Часто говорят, что фашизм и национал-социализм – движения мелкой буржуазии. По началу вроде так, и отсюда романтические мотивы фразеологии первых лет и тяготение иных неоромантических художников к обещаниям радикально изменить мир. Однако, тоталитарный переворот, как социальный процесс, характерен как раз изменением положения мелкой буржуазии в обществе, утратой ею сколько-нибудь существенной роли в принятии решений. То обстоятельство, что среди национал-социалистических функционеров были выходцы из мелкобуржуазных слоев, ничего не меняет, - они именно вышли из своего социального слоя и уже его не представляли, а, напротив, попирали его интересы, как часто в истории бывало. Общественный класс, совершающий социальный переворот, далеко не всегда определяет возникающий общественный порядок. Мелкая буржуазия и, в частности, освобожденное от феодальных пут крестьянство, были главной движущей силой английской и французской революций, но они и там не чересчур влияли на послереволюционную жизнь. Даже при том, что добились, явных преимуществ в сравнении с феодальным порядком.

В так называемых «запоздалых» или «развивающихся» странах мелкую буржуазию гнетут не только феодальные стеснения, но уже и давление капиталистических концернов, порой даже иностранных. Поэтому движения мелкой буржуазии нередко носят радикальный, как антифеодальный, так и антикапиталистический характер, отчего и строители нового абсолютизма, бывали весьма радикальны. Но мелкой буржуазии не выстоять в экономическом состязании. Она надеялась, что государство осадит и феодальный произвол и давление могучих концернов, и принимала приход своих вождей к власти за классовую победу. Но в Германии довольно быстро, – в других странах аналогичные процессы по разным причинам затянулись, – выяснилось, что «представители революционной мелкой буржуазии» вошли в ряды некоего нового, внеэкономически

овладевшего государством общественного класса, «нового дворянства», менее всего обеспокоенного заботами мелкой буржуазии. А те ее элементы в национал-социалистическом и фашистском движениях, которые настаивали на прежних пожеланиях, подавлялись и даже физически уничтожались, как видные лидеры штурмовиков в Германии или «старые рубахи» в Италии. Схожее и в СССР, и в Китае, делали коммунисты. Уничтожение сил, ведущих новый абсолютизм к власти, а с ними и романтических начал, – его неперенное свойство

Оно не случайно. Новый абсолютизм, в отличие от старого, не просто поручал «дворянству мантии», вобрав отдельных его представителей в правящий класс, выполнять свою волю бюрократическим путем, не просто доверял очередному претенденту в Бонапарти крепить существующий порядок, смиряя недовольных силой. Государство нового абсолютизма – уже не просто аппарат, используемый то одной, то другой частью господствующих сил. Оно там накрепко захвачено особым, монополюно владеющим властью классом, отождествившим себя с государством.

В его руках государство уже не просто осуществляет административные функции, обеспечивающие классовое господство, но подчиняет себе буквально всё происходящее в обществе, и прежде всего берет на себя внеэкономическое руководство объединяемым, таким образом, хозяйством. В Германии уже по закону от 27 февраля 1934 года все предпринимательские союзы переходят в подчинение Министерству экономики и возглавляются «фюрером германского хозяйства». Владелец предприятия провозглашается, соответственно, фюрером предприятия, а коллектив рабочих и служащих – дружиной фюрера. Осуществляется то, что провозгласил еще Муссолини: «все будет в государстве и ничего вне государства» (14, 112). Новый абсолютизм, следуя этому принципу, берет крупные предприятия на поводок. В СССР это совершилось еще полней, - упразднили частную собственность, и государство объявили монополюным собственником всего и вся с номинальной оговоркой, что земля и сельскохозяйственные угодья переданы в распоряжение псевдо-кооперативов – колхозов, беспрекословно покорных государству.

Гипертрофия государства, прежде всего, в хозяйстве, но и в остальных сферах жизни, - первая примета всех видов тоталитаризма: фашизма, коммунизма, социализма, национал-социализма, исламского социализма и прочих ново-абсолютистских порядков. Она складывается в ходе борьбы с плюралистическим буржуазным порядком, ведущейся сперва даже затем, чтобы избыть его реальные несовершенства. Но их хотят избыть не опираясь на свойства, составляющие его силу, то есть, ценностные отношения и социальные гарантии, а напротив, их отвергая, отвергая плюрализм, присущий и частной собственности, и конкурентности производства, и рынку, и свободе труда от внеэкономического принуждения. Надежда «догнать и перегнать» там ищет опору в отказе от повседневной классовой борьбы, в стойком единении всех сил и граждан ради «общей цели» «нового дворянства», взнуздавшего государство и толкающего всех к единству.

Название «фашизм» происходит от итальянского *fascio*, означающего «пучок», «единение». В СССР постоянно провозглашалось «единство советского народа» и главный лозунг гласил: «народ и партия едины». Столь же рьяно требовали единства в нацистской Германии. В СССР сперва говорили о социальном единстве, лишь позднее, после войны, подпирали его национальными мотивами, в Италии национальные мотивы возобладали быстрее, в Германии – единство изначально мыслилось как национальное и даже расовое. В других странах уже в наши дни возникают религиозные его оправдания. Одни заединческие движения используют крайне «правую» фразеологию, – и охотно ссылаются на Ницше, другие – крайне «левую», и цитируют Маркса. Но под каким бы флагом заединщина ни насаждалась, ее суть – в нежелании признать разнообразие форм труда и существования, и, соответственно, социальную дробность, классовое расслоение общества, как непреложный закон, и специфические нужды разных частей общества и разных людей, из чего и вытекает необходимость демократии, как социального компромисса, учитывающего эти нужды. Потому там и отвергается демократия, и не терпят никакой оппозиции, и даже член правящей партии, заколебавшийся хоть в одном пункте единой политики, из нее вылетает, как враг народа. Бесправие отдельной личности – вторая примета нового абсолютизма.

А даже традиционный феодализм, держась внеэкономическим принуждением, все же оставлял хозяйству автономность, и отдельные феодалы в абсолютной монархии распоряжались в своих поместьях по собственному усмотрению. Новый абсолютизм овладевая крупным общественным производством, подменяет рыночные хозяйственные связи директивным регулированием. В отличие от традиционного феодализма новый, таким образом, не предоставляет каждому умножать свое достояние, а, напротив, удерживая все созданное совокупным целым, повседневно распределяет общие доходы среди правящего класса, сообразно позиции каждого большого или малого фюрера в общегосударственной системе.

На практике, поскольку значительной частью концернов в Италии и Германии продолжали управлять их прежние владельцы, они, так или иначе имели прямые доходы, да и управители национализированных предприятий в СССР что-то прихватывали, – в разных странах и регионах по-разному, но отступление от идеала не слишком меняло дело, хоть и поддерживало в избранном классе фюреров, в «новом дворянстве», куда и промышленные фюреры вращались, внутреннюю слоистость, подтачивавшую единство.

«Новое дворянство», отнюдь не исчерпывающееся бюрократией, было и создателем нового абсолютизма и его созданием, его лицом. Его наличие – третья примета нового абсолютизма, оно образовывало вертикаль фюрерства, руководило хозяйством и жизнью и, тем самым, новое дворянство фактически совокупно, всем классом владело собственностью, числимой государственной, и, даже не всюду полностью вытеснив частную собственность, государственная уже и в тенденции, и на практике, брала над частной верх. Даже в Италии, где концентрация производства и, тем самым, совокупная классовая

собственность были не столь сильны, как в Германии, на взгляд Тольятти, переход «к насаждению идеи о создании новой системы, изображаемой уже не как организованный капитализм, а как организуемая и управляемая экономика, порывающая с капитализмом, опирается на объективную основу» (24,176). Совокупным владением нового дворянства фактически оказывается не только собственность, объявленная государственной и изображаемая всенародной, но и вся новая система классово рациональности изображавшаяся всеобщерациональной, отвечающей общенародным интересам, а служившая, прежде всего, интересам «нового дворянства».

«Новое дворянство», класс фюреров, или, как звали его в СССР, «номенклатура», влекут новый абсолютизм к шовинизму. «Новое дворянство» не смеет себя признать совокупным владельцем национальных богатств, и номинально числит таковым народ, а поскольку долговременное условие нового абсолютизма состоит в военном, политическом и экономическом покорении и подавлении других народов, народ, первым выдвигающий новый избранный класс, более или менее откровенно признается тоже избранным. Но известные преимущества и его не спасают от насилия. В СССР, при том, что процент безвинно погубленных среди национальных меньшинств бывал и выше, чем среди русских, русских в стране было больше всех, и погибло больше всех. При Гитлере около одного процента немцев – чуть меньше миллиона – сидело в лагерях. По сравнению с поляками, которых погибло семь миллионов, не говоря о евреях и цыганах, уничтожавшихся поголовно, это немного. Но если вспомнить о прессе страха, давившем, таким образом, и на «избранный народ», станет ясно, что «национальная избранность» – лишь маска новой социальной избранности, нового избранного класса. И понимание природы этого нового класса – основа понимания природы нового абсолютизма.

Говорят, тоталитаризм порожден государственно-монополистическим капиталом. Бывает и так. Но ограничиться этим, значило бы замалчивать собственную роль «нового дворянства». К тому же, в США было больше концернов, чем в Германии. Влиять на государство они и там не прочь. Но их сила, а потому отчасти и мера влияния, определяются там прежде всего предпринимательской деятельностью на свободном рынке в условиях конкуренции, а не просто услужением государству и сращиванием с ним. Крупные монополии всюду достаточно часто стараются привести к власти своих людей, дабы использовать ее в своих целях, но им приходится это делать в ходе открытых избирательных кампаний, а они – тоже форма конкуренции.

А в Германии, как и в Италии, дело обстояло как раз наоборот, концерны не столько боролись друг с другом на собственно капиталистических началах за выход к власти, чтобы урвать кусок пожирней, как это нередко имеет место в США, сколько с той же целью срачивались с властью, создавая с ней как бы единую и постоянную монополию, в которой они, разумеется, продолжали бороться меж собой, но уже, главным образом, внеэкономическими средствами.

И главное – внутри такой всеобщей государственной монополии резко сокращалось и даже вовсе пропадало влияние собственно капиталистической конкуренции на отношения монопольного производителя с покупателями или работодателя с рабочими, а последнее неизбежно вело к наращиванию элементов подневольного труда. Гитлер, похвалявшийся тем, что уничтожил безработицу, на деле обрек немецких рабочих, не говоря о покоренных странах, на рабский труд. В СССР подневольный труд в лагерях тоже был важен, но и там труд вне зоны монополия оплачивала ниже, чем аналогичный труд в буржуазном мире. Да и самое понятие меновой стоимости в условиях практически монопольного хозяйства теряло свое содержание, и хозяйство фактически переставало быть экономическим.

Победа монопольности над состязательностью в промышленном обществе с железной необходимостью всюду и везде ведет к торможению и загниванию хозяйства, которое приходится поддерживать непропорциональными затратами ресурсов – природных и человеческих. Как это ни парадоксально, даже гигантские концерны сохраняют силу и экономическое влияние лишь в какой-то мере терпя состязание внутри себя и участвуя в нем вовне. Как только реальная состязательность уходит, хозяйственная природа монополии меняется, пропадают прежние стимулы развития.

Конечно, немецкие концерны сами далеко зашли навстречу такой системе, – и потому, что им недоставало сил для конкурентной борьбы, особенно во время кризиса, и потому, что, развившись прежде буржуазной революции, они привыкли к внеэкономической поддержке государства. Расчет был, конечно, на то, чтобы, опираясь на «новое дворянство», поправить дела, а там, может быть, даже от него избавиться. Но этим не отменяется тот факт, что сложившаяся с помощью концернов или без нее система единой сверхмонополии, построенной сверху донизу на принципе фюрерства, создала новый хозяйственный, а тем самым, и социальный порядок.

Для его понимания стоит помнить, что даже симпатизировавший итальянским фашистам папа Пий XI в известной энциклике «Сороковой год...» счел нужным признаться: « Мы все же должны сказать: кое-кто опасается, что государство подменяет собой свободную инициативу, вместо того, чтобы ограничиться необходимой помощью и поддержкой» (24,192). То есть уже в 1931 году в Италии был признан некоторый просчет! А в наши дни очевидно, что любая отдельная капиталистическая монополия, ратующая за создание вертикальной сверх-монополии, роет себе могилу.

Придя к власти, «новое дворянство» как раз и стало создавать единую сверх-монополию, в которой прежним монополиям место покамест оставляли, но уже подчиненное. И если в Италии в роковой час еще смогли устранить Муссолини, то устранить Гитлера немецкие концерны, как и немецкие генералы, уже не смогли, а перед лицом наступавшей советской армии им это было еще нужней. И зашли они в союз с «новым дворянством» так далеко, конечно, потому, что собственная природа немецких концернов была, как это ни

парадоксально, недостаточно капиталистической и, даже больше, чем в Италии, несла на себе печать феодального прошлого¹.

Еще в 1935 году Тольятти показал какую помощь фашистское государство оказывает концернам: «Государство не дает предписаний такого рода: не производите больше обуви, поскольку на нее не найдется покупателей, ее нельзя продать. Своим вмешательством государство стремится обеспечить такое положение, чтобы после пуска новых предприятий обувь, производимая крупными капиталистами, была оплачена крупными банками» (24, 179). Но банки, в том числе государственные, – не бездонная бочка. Где же государству брать средства, чтобы до бесконечности компенсировать такой, не регулируемый реальными стоимостными отношениями, способ хозяйствования?

Внеэкономическое хозяйствование внутри страны ведет к внеэкономическим действиям вовне, то есть к войне. Возможно, это обнаружилось бы не так скоро, будь Германия побольше или не потеряй она колоний, - может быть, «новое дворянство» подольше бы продержалось эксплуатацией собственных подданных и растратой собственного сырья, как в СССР. Но все равно, внеэкономические методы и замена конкурентной ценностной борьбы внеценностной государственной командой подрывали основы технического прогресса даже в тех областях, где Германия прежде лидировала, как в исследовании ядерной энергии, и предел внеэкономических внутренних возможностей обозначался все отчетливей. К тому же война манила надеждой: и уничтожить или подчинить конкурентов, перехватив их достижения, и обрести беспредельный источник внеэкономического, рабского труда – заключенных, военнопленных и насильно угнанных иностранцев. В самой природе нового абсолютизма заложена тенденция к войне, еще в тридцатые годы обозначенная крылатой фразой: «фашизм – это война!» Но поражение в войне тем и было вызвано, что, и мобилизовав все силы, Германия не могла преодолеть плоды заединщины и тоталитарного хозяйства, как полвека спустя их, даже без большой войны, не смог преодолеть Советский Союз.

Немецкий национал-социализм, если и не самая наглядная, – тут первенство за СССР, – то все же самая откровенная форма нового

¹ Отсюда, понятно, не следует, что в странах победившего капитализма, вообще, не может установиться новый абсолютизм. Речь лишь о том, что в таких странах меньше внутренних стимулов к тому. Ослабление их зарубежных экономических позиций, - в середине века настолько укрепившихся, что Англия и Франция смогли отказаться от подавляющего большинства своих внеэкономических колониальных владений, - конечно, может оказать столь мощное тормозящее воздействие на их внутреннюю экономику, что и там проявятся силовые тенденции. Если до этого дойдет, важно не забывать, что в Германии первичны были как раз внутренние импульсы, а даже поражение в Первой мировой войне было дополнительным, не случайно национал-социалисты пришли к власти не сразу после войны, как большевики, а только в 1933.

абсолютизма. И раньше и позднее возникали иные его формы в разной степени осуществлявшие принцип единой государственной сверх-монополии, – от Италии, где концерны так до конца и не растворились, до – уже в наши дни – Ливии, где монополия на продажу дорожающей нефти обеспечила финансовые резервы на неопределенный срок.

Однако, при всем разнообразии форм, любая из них приходит к безоглядному деспотизму и произволу, к абсолютизации государственной власти, которая, обеспечивая благополучие «нового дворянства», тяжким грузом ложится на плечи подчинившихся народов, не исключая «избранного», из которого это «новое дворянство» по преимуществу вышло. Абсолютизированное государство, подавляя и уничтожая потенциальные возможности людей, само себя стреноживает и, даже в чем-то набирая силу, в конечном счете, деградирует. Задолго до рождения нового абсолютизма романтик Фридрих Шлегель писал, как о нем: «Абсолютный деспотизм – даже не мнимое государство, это антигосударство. Это несравненно большее политическое зло, чем даже анархия» (13,51).

Идейное оформление нового абсолютизма тоже весьма разнообразно. В наши дни ему служит даже ортодоксальный ислам. Да и между национал-социализмом и фашизмом, лидер которого долгие годы был одним из вождей итальянской социалистической партии, оставались ощутимые теоретические расхождения. Но все разновидности объединены монополистическим внеэкономическим хозяйствованием и вырастающей из него монопольностью суждения слетающего с уст соответствующего фюрера и, в силу этого, единственно верного. Разные новые абсолютизмы вроде говорят разное и разным иконам молятся, часто они непримиримы меж собой, но внутри любого – суждения своих фюреров, вещаемые от имени государства и народа, равно как осуждения чужих, непререкаемы, и это знак идейного единства самых разных абсолютизмов, при всем различии слов, которыми эта общая и единая для всех идея высказана.

За пестрым разнообразием вариантов, важно не упустить основные, общие для всех категории фактического устройства нового абсолютизма. Это сверх-монополия гипертрофированного государства, приоритет нового дворянства и бесправие личности. Вероятно, именно поэтому идеологи любой его разновидности, в том числе марксистской, забывают что Маркс от будущего требовал, чтобы каждый в ком сидит Рафаэль, имел возможность развиваться», а государства не стало вовсе.

В новом абсолютизме, напротив, не то что народу, но даже испытанным сторонникам режима, низам избранного класса, отведена чисто исполнительская роль, хоть и с завышенным вознаграждением. Классовая внеэкономическая диктатура, опирающаяся на совокупное владение избранного класса государственной собственностью, предполагает и подчинение этого класса увенчивающему его вертикаль диктатору.

Еще в 1935 году Тольятти заметил: «фашистская партия перестает быть партией, в ней нет больше места дискуссии... Когда

совершается тот или иной поворот в политике фашистской партии, члены ее узнают об этом из газет, как все другие граждане. В определении ее политики они не принимают никакого участия. Исчезает всякая форма внутрипартийной демократии. Партия организуется по бюрократическому принципу – сверху» (24, 69). И далее подчеркнул: «избыток бюрократизма, а также чисто показной монолитизм, который сушит ее на корню, лишают ее политическую линию необходимой гибкости, позволяющей приспособиться к требованиям всех слоев» (24,80).

Впрочем, «новое дворянство», взяв власть, и не стремится приспособиться, оно ждет, что приспособляться будут к нему, поскольку считается с реальностью, откуда реальность не схватит за горло, оно не хочет и диктует свои установки, свою классовую рациональность, как верх всеобщей мудрости, не подлежащей обсуждению.

Очевидные провалы и преступления часто объявляют следствием ошибок, неловкости, неопытности, даже проявлением безумия, иррациональности, тяжелого характера диктатора. Провалы и преступления национал-социалистов нынче уже можно квалифицировать политически, и потому, что они, хотя бы задним числом, вызвали внутренний протест против национал-социализма даже у сперва равнодушных, и потому, что нацистская Германия разгромлена. А в России, оставшейся урезанным Советским Союзом, если говорят, то лишь о прежних ошибках.

Но нелепо рассматривать явные преступления, к тому же, вполне сообразные природе совершавшего их социального порядка, как его ошибки. Однако, недостаточно рассматривать их и лишь как преступления. Советский публицист Эрнст Генри как-то заметил: «Нельзя переходить к фашистской или военно-авторитарной диктатуре, не создавая новый тип государственного деятеля: тип политика-преступника» (5,150). Осуществить новый абсолютизм в его фашистском, нацистском, советском или другом виде и впрямь можно лишь простясь с прежними понятиями права и морали, веруя в личную непогрешимость и абсолютность своих представлений об обществе и об истине. Неправовая, аморальная деятельность там не просто допускалась «на время», «в порядке исключения», «в критических обстоятельствах», с открытым признанием ее аморальности и противоправности, а делалась нормой. Классовая рациональность «нового дворянства» требует направления всей духовной жизни в русло таких новых норм. Нормативная идеология и, в частности, «образцовое» искусство, утверждают рациональность избранного класса, мораль избранного класса, понятие избранного класса о праве, как всеобщую норму. Для не принадлежащих к правящему классу это обернулось полным бесправием, но такие превращения общественных понятий преступны не только на практике, а уже как способ деформации сознания, и массового, и индивидуального, и констатировать их преступность – недостаточно.

Абсолютизм французских королей рассматривают обычно как компромисс дворянства с буржуазией, обусловленный как

неспособностью дворянства осадить буржуазию, так и неспособностью буржуазии скинуть дворянство, отчего ей и приходится терпеть множество ограничений, утешаясь отменой некоторых. То не был компромисс равных, власть оставалась в руках дворянства, владевшего землей, и была по-прежнему внеэкономической, и классовая рациональность преобладала над всеобщей, хоть и не до конца абсолютизировалась. Но присущая тому абсолютизму компромиссность как раз и позволяла искусству классицизма вглядываться в реальные противоречия времени, пусть даже разрешая их в господствующем духе. Чему-чему, а компромиссности новый абсолютизм чужд. Поэтому явно тяготея к классицизму, пытаясь создать подобное ему искусство, он, вопреки поддержке и стимулированию государством, достигает немногого. Но при нем – особенно это заметно на советском примере, более длительном, чем другие, в той мере, в какой художественное творчество вообще возможно, имеют успех романтические сочинения, как сперва, толкавшие надеяться на новый абсолютизм, так и потом, обнажившие его бесплодность и несостоятельность.

6

Новый абсолютизм – не единственный результат социального брожения, охватившего мир с середины XIX века и обострившегося в XX. Не менее существенны усилия стран, переживших буржуазные революции, продвинуть свои завоевания дальше, включить всех участников производства, все свое население в ценностные отношения. К этому ведет регламентация социальных гарантий, заменивших прежнюю благотворительность, известную еще феодальному миру. Гарантии, выводящие отношения участников производства за пределы срока найма, опираясь на учет вклада каждого в производство, изменили прежние отношения. Перемены пришли, однако, не только от самой по себе борьбы рабочих, но и от важных сдвигов в производстве, отчасти от возросшего значения в нем ценности сырья, но особенно, от роста ценностей, создаваемых умственным трудом овеществляемым в машине, роль которой после промышленного переворота неуклонно росла.

Суждение Маркса о присвоении капиталистом прибавочной ценности (стоимости), создаваемой рабочим в неоплачиваемое время, трудно оспорить пока речь идет о ручном труде батрака или подсобника, вкладывающего в работу лишь свою физическую силу. Но чуть он стал к машине, поднимающей производительность его труда и создающей товары, которые руками не создать, время труда, вопреки Марксу, уже не соответствует количеству рабочей силы, затраченной на произведенный продукт.

Сперва показывало приблизительно. Станки ставили надолго, деньги на них пошедшие Маркс не зря зовет постоянным капиталом, доля долго стоящей машины и вложенного в нее умственного труда в конечном продукте сперва невелика, прибавочную ценность по-прежнему создает, главным образом, идущий на оплату рабочих переменный капитал. Но во второй половине XX века положение

меняется, идет научно-техническая революция, а с ней – второй промышленный переворот. Машины то и дело обновляются, и вклад умственного труда растет. А с ним растет и заработная плата современного рабочего. При более коротком рабочем дне, она много выше, – и абсолютно, и относительно, – зарплаты рабочего времен Маркса за длинный рабочий день, а не то что рабочий тяжелее работает. Вопреки Марксу, не только физический, но и умственный труд, по крайней мере овеществленный в машине, тоже участвует в создании ценности, и соотношение вкладов того и другого подвижно. Наступает момент, когда предприниматель, получая прибавочную стоимость за счет умственного труда, может оплатить рабочему его рабочую силу даже с превышением, оплатить не только то время, когда его труд окупал его зарплату, но оплатить все рабочее время, поднять зарплату. Там, где до этого доходит, рабочий и предприниматель впрямь превращаются в партнеров.

Так еще не было при Марксе, да и ныне не на всех предприятиях, не во всех странах оно так. Даже там, где оно так, предприниматель и рабочие продолжают борьбу за раздел в своих интересах прибылей от принесенного им овеществленным умственным трудом. Но и во времена Маркса и поздней такая тенденция преобладающая и сознавалась. Не успев выбраться из противоречий феодальных и буржуазных норм, люди столкнулись с противоречиями самого буржуазного развития, не сводящимися к борьбе труда и капитала.

XX век наткнулся на сгустки разных противоречий. Мир уже не разделен меж несколькими империями, на земле все больше независимых стран, ныне чуть не двести. А порядки везде разные. В одних еще чуть не первобытно-общинный строй, в других феодализм, в третьих – новый абсолютизм, четвертые – переходят к капитализму, в пятых – либеральная демократия. У всех сложности, из которых ищут выход, и тоже на разных путях.

Ощущая все эти противоречивые тенденции, общество и в буржуазных странах, и в странах где буржуазность лишь нарастала и отчасти даже там, где только предчувствовалось ее нарастание, испытывало брожение, не сводившееся к умствованию, к спорам о Марксе или Ницше, о рождающемся позитивизме и позднейших философиях. Это брожение, прежде всего выплескивалось в искусстве, пытавшемся ухватить дыхание времени. Искусство было романтическим уже тем, что меняло представления о соответствии реальности и дерзко обновляло выразительные средства. Как отвергающее традиции оно было сочтено «левым» и по началу между левым искусством и левой политикой перекидывались мостки. Но левые движения перерастали в новый абсолютизм, а он почти сразу отверг новое искусство, считавшееся современным и звавшееся модернистским.

Оно началось задолго до него, еще в ту пору, когда, перемахнув за середину XIX века буржуазный порядок как бы стабилизировался, стал как бы позитивным началом, готовым совершенствоваться, признающим свои слабости, но уповающим на силу своих стимулов, тяготеющим к позитивизму, а в искусстве к реализму, к которому,

впрочем, часто относили сочинения поздних романтиков, уже изображавших жизнь, как говорили, «в формах самой жизни». Новое искусство ломало эти формы, несло брожение и смуту.

Модернизм, если объединять все пестрое разнообразие включаемых в него манер, правомерно, можно с некоторой натяжкой определить как стиль, взорвавший жизнеподобие художественных форм. Парадокс, однако, в том, что именно модернизм, акцентируя важное ему, часто демонстрировал особую точность восприятия важнейших примет реальности. Его появление связано с художественным кризисом, с разладом внешне-жизнеподобных форм и новой жизни. Именно в погоне за реальностью, за ее существом, и начались деформации, призванные постичь жизнь сверх жизнеподобия, а потом и оставляя от него лишь некий экспрессивный минимум, суть вещей. Здесь нет нужды входить в противоречивое развитие искусства с последней трети XIX века и выяснять, что именно из прежде неведомого, в каких случаях и кому, удалось ухватить, какие там, как в любом художественном направлении, происходили утраты, и в какой мере открытия и утраты искусства отвечали открытиям и утратам жизни и прояснили их. Модернизм, как всякое художественное течение, стал реализмом своего времени, и, как всякий реализм - частичным, неполным, и опять же, как всякий, не дарующим способностей стать подлинным художником без личной одаренности и душевного участия. А, как опять же во всяком направлении, бездарных и мало одаренных и там было больше, чем ярких талантов.

В интересующей нас связи важнее, однако, другое. Преобладание в модернизме, по самой его неканонической сущности, романтических начал, допускавших самые разные, в том числе неоклассические, приемы, обусловило широкое его разнообразие не только в художественных манерах, но и в отношении к искусству вообще и, в частности, к искусству прежних лет. Среди модернистов бывали люди, решительно отвергавшие прежнее искусство и всерьез предлагавшие спалить Лувр. Иные повторяли подобные предложения для эпатажа, иные полагали, что существование Лувра, полного «мертвечины», даст новому искусству выигрышный фон, иные сами были не прочь попасть в Лувр и другие солидные музеи, куда крупнейшие из модернистов и попали.

Уже эта пестрота мнений свидетельствует, что в самом по себе модернизме, в самом по себе осмысленном акценте на деформацию, изобретенном, кстати, не модернизмом, а свойственным, не забираясь в совсем уже дальние времена и экзотические культуры, и готике, и барокко и даже старому романтизму, проявляется отнюдь не страсть к разрушению. Такие тенденции, наблюдаемые у приверженцев самых разных художественных взглядов, всегда нуждаются в конкретных объяснениях.

Но виднейший советский теоретик искусства Мих. Лифшиц, не утруждаясь поисками объяснений и не оглядываясь на тех, кто впрямь губил великие художественные ценности в прежние века, когда и модернизма-то не было, создает обобщение, по которому вандализм проистекает из самой по себе склонности к деформации установившихся художественных форм, и, выходит, в нем, – Мих.

Лифшиц допускал, что не сознавая того, – повинны все вообще, модернисты. Стало быть, если нацистские или советские критики их обижали, – а и те, и другие, не стеснялись, – сами виноваты, сами тому способствовали.

Мих. Лифшиц даже объявил классические идеалы несовместимыми с абсолютистской тиранией, хотя история насыщена примерами их сожительства, и отрицал всем известную эволюцию поощряемого при тоталитаризме искусства к неоклассицизму. Он особо напирал на то, что полотна ориентировавшейся на классические формы итальянской группы «Новоченто», проводившей фашистские идеи и формировавшей официальный стиль, не имели, якобы, ничего общего с подлинной академической традицией, и это должно быть ясно «для всякого сколько-нибудь развитого в эстетическом смысле человека» (15,232). Но такому человеку должно быть еще ясней, что полотна Караччи или Гвидо Рени и даже картины великого Пуссена еще меньше имеют общего с античным искусством, на которое равняются, что и понятно, если различать происхождение и сущность.

Разумеется, новый «классический» стиль широко использовал открытые современным ему искусством приемы, включая их, однако, в иную систему, используя для других целей. Классическая традиция не сводится к повтору определенных ходов, да и самое сходство изображения с натурой и прежде бывало в ней достаточно условным. Важно, что на фундаменте этого сходства и этих приемов заводят каноническую нормативную систему, важен поворот к новой нормативности от прежней вольности, которая, понятно, тоже далеко не всегда плодит шедевры. Поклоняться всему модернистскому столь же нелепо, как всему классическому, но великие и в подлинном смысле реалистические творения разной стилистической природы возникают и там, и тут.

Тоталитарный абсолютизм преследует те или иные художественные течения не потому, что есть нечто идейно чуждое в их приемах. Иные их пользователи готовы даже искренне служить утвердившемуся у власти тоталитаризму. Но ему противоречит сама по себе свободная ненормативность формы, в которой угадывается возможность ненормативного содержания. Потому-то, кстати, мертвому автору такую ненормативность прощают легче, чем живому.

Мих. Лифшиц и сам, – убежденный сторонник единой и обязательной для всех времен и народов художественной нормы. Он пишет: «Наука не может существовать без общих объективных критериев. Сколько ни декламируй о равенстве всех эпох и стилей, для того, чтобы совершить простую операцию, а именно – включить известный факт в число памятников искусства, подлежащих искусствоведению (а не археологии), нужно иметь общее мерило художественно-прекрасного или, по крайней мере, художественно-выразительного! В противном случае каждая мусорная куча, оставленная вымершей цивилизацией, будет иметь право на занесение ее в число сокровищ искусства рядом с афинским Акрополем» (15,264).

Наличие единого критерия не доказывается, выводится не из обозрения искусства и обнаружения стабильности его оценок, а из поребостей научного искусствоведения. Но искусствоведению, считающему искусство – простым зеркалом действительности, стоит искать критерии совершенства не в измышлении общих для всех времен и народов норм, а в различении меры глубины конкретных соответствий отображения отображенному и значимости самого отображенного явления, самого круга отображения. А поскольку жизнь не единообразна, то и меру ее соответствия отображению опознают не по единым шаблонам.

Пушкин велик не потому, что подобен Шекспиру, а Шекспир не потому, что подобен Гомеру, - все трое велики потому, что зорко и глубоко видели и понимали, прежде всего ту жизнь, которой жили, и адекватно запечатлели свое видение и понимание, а, тем самым, и жизнь в ее полноте. Мэру глубины и адекватности, схваченных ими, то есть меру подлинности, входящей в художественное произведение, можно бы, конечно, научись мы ее везде и всюду измерять, рассматривать как некий аналог понятию ценности (стоимости), присущей товару в рыночном бытии. Но такой критерий не сложился, цены на рынке предметов искусства зависят не только от меры искусства, а подлинно-художественный «рынок» нуждается, видимо, в более тонких показателях, чем финансовые, и измерять искусство единичными образцовыми художественными нормами для удобства искусствоведения, – все равно, что мерить хозяйственную жизнь не реальными деньгами, а навязанными ей произвольными показателями, условными единицами. Ничего кроме извращения понятий и инфляции, ни в хозяйственной, ни в художественной жизни, в результате не получается.

Акрополь, тоже принадлежащий вымершей, хоть и воскрешаемой потомками цивилизации, мы не путаем с «каждой мусорной кучей» потому, что он и для современников не был мусорной куча, и сопоставлять с ним надо не мусорные кучи, а памятники других цивилизаций, выразившие эти цивилизации столь же полно и столь же им дорогие, – храмы Карнака или Луксора, ворота богини Иштар, Персеполь, Колизей, храм Неба в Пекине и храм Лингараджа в Бхубанесваре, не говоря о Реймском соборе или Кихах. Можно, впрочем, и в мусорной куче найти жемчуга, но тогда придется особо доказать их ценность.

Греки создали поразительные памятники и, вероятно, острее других постигали изобразительную сторону жизни, ее видеоряд. Но объять, что никто, нигде ни в чем не достигал и не достигнет сопоставимых высот, – тем более, что существуют не только изобразительные искусства, можно лишь утратить чувство реальности. Это не значит, что у всех до одного народов есть одинаково великое искусство. Великое не распределено равномерно. Но и не сосредоточено в одном месте. Добросовестно ли выводить национал-социализм из утверждения, что все культуры равны, – пусть даже твердящие это путают равенство с равноправием, – когда национал-социализм, напротив, стоит на том, что вся истина и, вообще, все

великое, в том числе искусство, всегда в руках избранной высшей расы, в руках творцов национал-социализма?

Споры о том, которая из рас на самом деле высшая, расизм не ущемляют. Пора признать, что ни высших рас, ни избранных народов, ни особо умудренных сословий, ни наследственных обладателей истины, ни природных учителей человечества, нет и быть не может. И хоть вклады разных народов в нашу культуру, конечно, не равновелики, и греки внесли в нее больше, чем инки, – это так и потому, что культура нынешней Европы опиралась именно на греков, а не на инков или, скажем, китайцев, – но сокровищница все равно общая. И черпают из нее на равных правах и по своему усмотрению; тут ничего не предпишешь не то что целым народам, но и отдельным людям, давно получившим право переходить из одной веры в другую или быть атеистами.

Новый абсолютизм отверг не только это право, но самое право на существование различных вер и, пуще всего, неверия в канонические догмы. Как единственно допустимый образ мыслей он насаждает свою классовую рациональность, требуя, чтобы мысли господствующего класса были уже не только господствующими, но единственно допустимыми.

А даже рациональность классицизма XVII века, первой утвердившаяся как принцип, провозглашала истины достаточно умеренные, – и по степени их соответствия реальности, и по мере их рациональности. Уже представление будто космос и атом построены по единообразной рациональной схеме, зная которую, постигаешь реальность логически, оказалось несостоятельным.

Как ни продвинулось с тех пор наше мышление и как оно ни продвинется в дальнейшем, факты остаются и навеки останутся, по слову великого Павлова, «воздухом ученого» и, тем более, художника. Научное понятие о рациональности чуждо вере в откровение, не только божественное, но и человеческое; оно несовместимо с особыми правами патентованных носителей истины, идеологов. Утверждение классовых интересов в качестве рациональных не имеет ничего общего с научной рациональностью.

Истинность не сводится к объективности. Объективность разумеется, ей необходима, но недостаточна. «Истине» еще нужны жесткие гносеологические испытания. А классическая традиция, разорванная было Кантом, но возрожденная Гегелем и Марксом, от таких испытаний уклоняется, довольствуясь логической или, чаще, псевдологической сообразностью с так или иначе признаваемым практикой. Об этом и велись великие споры XX века.

Не менее важно и другое: никакая истина, проверенная и доказанная логически и экспериментально, не является исчерпывающей. Поэтому научная рациональность не боится испытаний, но идет им навстречу, всегда готовая в открытом споре опровергнуть зрящие и принять хоть сколько-нибудь основательные упреки в недостаточности. Где начинается непогрешимость, кончается рациональность, а новый абсолютизм провозглашает свою классовую рациональность непогрешимой. Разумеется, в итоге терпят урон и сами классовые интересы, рядовыми избранного класса зачастую

мыслящиеся как простая возможность поживиться на общий счет. Но цена, заплаченная человечеством, и Германией, в частности, за двенадцатилетнее благополучие фюреров, была чересчур высока, чтобы, хоть с опозданием, не осознать плоды рациональности для одного, пренебрегающей прочими.

Говорят, «истина рождается в споре», но, поскольку знание о мире столь же неисчерпаемо, как сам этот мир, она не родится раз и навсегда, а постоянно уточняет свои детали, а то и доводы, и вернее говорить: «истина живет в споре», ибо она умирает, едва спор о ней становится невозможным, – как упорно ни повторяют ее ритуалы, с ней уже не считаются. Романтизм открыл пути к более глубокой рациональности именно тем, что отверг непогрешимость системы в принципе, а не просто отверг одну нагрешившую систему. Он противопоставил классической традиции голос реальности, истинность которого проверялась не соответствием известному, как прежде, а спором о, казалось бы, известном. Разумеется, уровень спора зависит от качества контр-доводов, – несостоятельность одних в порядке обучения объяснит учитель в начальной школе, но другие, предлагаемые Гауссом или Лобачевским, изменяют науку.

Так или иначе, нужда во множественности сигналов реальности для ее рационального постижения ныне начинает сознаваться, хоть порой и сводится к пропаганде плюрализма суждений, как конечной цели, словно любое суждение не только истинно, но исчерпывает истину, хоть они не исчерпывают ее даже и все вместе. Плюрализм суждений, невозможный в новом абсолютизме, – лишь обязательное условие искусства и науки, которым необходимость спора об истине и ее критериях отнюдь не снимается. Любая непогрешимая классическая система душит плюрализм опытов и суждений, как возможность иного миропонимания, и его романтическая защита более чем естественна, это самозащита искусства и науки, самозащита сознания. Но здесь начало, а не конец романтизма. Конца у романтического взгляда на реальность нет и не может быть, поскольку не может быть окончательного знания по всем вопросам. На то и плюрализм, чтобы в его атмосфере уточнять и отстаивать истину, не просто диктуя «под запись» доводы, но опровергая контр-доводы, проясняя свой взгляд, если, конечно, таковой имеется. Классическая система тем отчасти и манит, что освобождает от нужды иметь свой взгляд, важно лишь иметь в виду, по слову поэта, «дух последних указаний».

Здесь более всего и проявляется социальная природа романтизма, живущего состязанием и ради него предполагающего равноправие людей в духовном, а стало быть и в экономическом, а стало быть и в правовом статусе, никому при этом не обеспечивающем непогрешимости. Он предполагает за каждым человеком не только право взять свой кусок хлеба и свою миску похлебки, то есть право на социальные гарантии, но и право, – именно право, а не обязанность, – предложить и подарить, отдать другим людям все, что каждый считает полезным и необходимым для остальных. И то бесспорное обстоятельство, что другие люди, само собой, имеют такое же точно право не принимать предложений и даров и проходить мимо них, никак не ослабляет права снова и снова предлагать свое или, как минимум,

навсегда оставить свои предложения и дары доступными другим. Признать правомерным иное, означало бы согласиться, что уничтожающие то, что кажется им бредом какого-то одиночки, - как его там? Коперник? Эйнштейн? – обладают непогрешимым знанием исчерпывающей истины на все времена. Вера в правомерность подобного утверждения истины весьма широко распространена и остается исторической опорой нового классицизма.

Без этого нового классицизма, как его ни зови и откуда бы он ни прорастал, новому абсолютизму не обойтись, и тут фюреры действуют порой даже вопреки первоначальным желаниям и личным вкусам. Вот и противостояние новому абсолютизму ищет опору в романтической традиции, – и в модернистских ее проявлениях, и в возрождении старинных и в подражании старинным.

Взывая к национальной избранности новый абсолютизм вынужден избегать разрушения подлинных ценностей национальной культуры, – хоть какую-то их часть приходится оставлять. В созданном при национал-социализме искусстве преобладала художественная ничтожность, но немецкий читатель мог читать и Гете, и Шиллера, и Гофмана, и Эйхендорфа и других прекрасных писателей, выступавших под общим именем «классиков», благо, слово это многозначно. Да и у нас подают писателей самого разного, в том числе, как известно, и романтического стиля, как «классиков», эксплуатируя их славу и глуша реальность их книг. Но заглушить искусство, пока оно доступно, не просто.

В Германии великие писатели и, в особенности, романтики, были опорой многих людей, не сочувствовавших национал-социализму, но не имевших в условиях тоталитарного государства ни сил, ни возможностей действительно ему противостоять. Понятно, ни Гете, ни даже Шиллер, не стали пушками, палившими по новой имперской канцелярии, но они помогли тысячам людей выстоять духовно. Великое гуманистическое наследие немецкой культуры не вовсе испарилось, именно оно удержало многих немцев от того, чтобы стать убежденными сторонниками национал-социализма даже там, где по объективному смыслу они оказывались его подневольными соучастниками.

В общих рассуждениях романтизм нередко выглядит частным случаем романтики, некоей смесью восторженности и безрассудства, присущей как бы всем временам, Его готовы обнаружить и в средневековье и в Возрождении, хотя его рождение достаточно точно датируется концом XVIII – началом XIX века. Упущение не только хронологическое! В отвлечении от конкретной социальной почвы свойства романтизма кажутся незначительными и, среди прочего, исчезает из вида его противостояние нормативности классицизма.

В абстрактном виде «романтизм вообще» охотнее противопоставляют «рационализму вообще». Но романтизму, уже по его историческому, диахроническому мышлению, рационализм, застывший в синхроничном подходе к реальности, представляется теряющим рациональность, и романтизм против него, и против классицизма в целом, восстает по-преимуществу как раз ради возвращения к рациональности, только уже не столь простой, как

казалось прежде. А внеисторический классицизм, напротив, упорно держится за псевдорациональные схемы, отвлекаясь от лезущей в глаза реальности.

Романтическая традиция – напоминание о разнообразии и многослойности жизни. При романтическом, антинормативном восприятии о шовинистическом пафосе Клейста, росшем из оборонительного порыва, позднему читателю приходилось задумываться и решать, в какой мере он был оправдан при наступлении и даже контр-наступлении. Приходилось и нам думать о мере правоты того, кто, подобно Клейсту, на вторжение Наполеона отвечавшему ненавистью ко всем французам, на нападение гитлеровцев отвечал призывом: «Убей немца!» вместо: «Убей завоевателя! Убей оккупанта!». Такие размышления расширяют представления о жизни и находят отклик в сердцах, уставших от холодных псевдоклассических построений. Новый абсолютизм вызывает на себя огонь романтической традиции в ее многообразии. Вот он и стремится ее наперед затоптать, развенчивая и высмеивая самую фигуру свободного художника.

При тоталитарном режиме такой фигуре вроде и нет места, оттого и его сторонники, и противники делили там литературу и искусство на официальную и неофициальную части. Но и при самой жесткой цензуре они составляли единое целое, обозначая лишь полюса. Иные полюса подчас доходили с многолетними опозданиями или из-за рубежа, но частично пробивались и в отечественных публикациях, за вычетом, может быть кратких периодов особого ожесточения, как в СССР между 1949 и 1953 годами. Опять же доступ к музыке или даже драматическому театру был все же легче, чем к литературе или живописи, но и они не до конца оказывались, хоть на одоление несвободы часто шли силы, потом недостававшие художественному уровню. И все же к нему, порой весьма высокому, вел романтизм.

Советский новый абсолютизм обретший адекватную административно-политическую форму в начале тридцатых тогда же административно пресек модернизм, отрубив отечественную художественную жизнь от общей, продолжавшейся на Западе, выплескивая там все новые проблемы, но все значительное, что с тех пор возникало у нас носило так или иначе романтический характер. К нему тяготела совсем вроде разная поэзия Пастернака, и Мандельштама, им дышали Леонид Мартынов и Борис Слуцкий, он питал Иосифа Бродского и Олега Чухонцева. Так же и проза, при всем различии талантов Зощенко, Платонова и Булгакова была у них романтической, к романтизму тяготели и повести Трифонова, и Венедикт Ерофеев и Людмила Петрушевская. Из романтизма росла музыка Прокофьева или Шостаковича, и театр Любимова или Эфроса, и балеты Якобсона или Григоровича.

Конечно судьбы художников, – а названы лишь немногие из возможных, – были очень разными, тем более, что времена, ситуации и обстоятельства искусств, в которых они работали, сильно различались. Но противостояние было хребтом художественности. А чуть явилась иллюзия, что новый абсолютизм прошел, та художественная жизнь и оборвалась.

Если паровая машина, заменив мускульную силу, помогла интенсивней использовать умения и навыки рабочего и подняла их ценность, то компьютер, взяв на себя рутинную умственную деятельность и выведя человека из положения придатка машины, создал предпосылки для подъема производительности умственного труда.

Сразу, однако, обозначилось противоречие: создание компьютеров, их производство и программирование, требуют работников все более высокой квалификации, но текущее подсобное обслуживание роботов, растущих на компьютерах, может осуществляться при достаточно низкой квалификации, и возрождает веру в возможность преобладания неквалифицированного труда на привилегированной технической базе.

Это, конечно, лишь временная иллюзия, но крепко засевшая в недалеких умах, возомнивших, что развитие техники освободит человека от производственных задач, общественные отношения перестанут зависеть от производственных, и можно будет, наконец, повышая техническую вооруженность, не наткнуться на опасные социальные последствия. На деле компьютер как раз повышает роль человека и значимость его вклада в производство и, соответственно, требует от каждого совершенствования, не исключая социальной активности.

Но и вековая мечта препоручить управление страной и даже миром единой, запрограммированной с классовой рациональностью, мыслящей машине, не умирает, а надеется на компьютер. Новый абсолютизм уже рядится новейшим электронным социальным устройством, облачаясь в чисто технологические и даже логико-математические одежды, на деле крепя все тот же тоталитарный абсолютизм, все то же пренебрежение реальностью, все те же интересы избранного класса, разве что включившего слой господ пообразованней.

Жива иллюзия, будто второй промышленный переворот, вооружив внеэкономическую систему компьютером, способным с классической точностью углядеть все свершающееся в дублируемой им реальности, все просчитать и скоординировать наперед, избавляет от социальных проблем. Счетные возможности впрямь возросли, да реальность без остатка в компьютер не укладывается по той явной причине, что ни мы, ни компьютер сам по себе, не знаем и никогда не будем знать абсолютно всё, и, чем больше наши знания обогатятся, тем больше будет и окружающий нас океан незнания, понятно, уже совсем другого, но по-прежнему таящего неведомые возможности и опасности.

Компьютер ставит внеэкономическую систему перед острым испытанием реальностью, мстя просчетами за недостаточность и недостоверность поставляемой ему информации, и эти просчеты

покруче просчетов самых неразумных фюреров, все же смекавших, что дело их кончено, когда из бункера, где они прятались, уже не было выхода и оставалось выбирать – принять яд или ждать Нюренберга. Единый всеобщий компьютер суда людского не боится, с собой не кончает, и тем еще опасней.

Но и без таких катаклизмов ему не сработаться с внеэкономической системой уже потому, что вне ценностных отношений, по одним натуральным данным, мало что можно, даже приблизительно, просчитать, поскольку реальные экономические критерии хозяйственных процессов оставлены вне поля зрения. Да при новом абсолютизме, безразличном к повседневности, то есть к позициям иных сословий и классов, и считать-то не к чему, – заданная программа, то бишь, приказ, заведомо важнее подсчета, еще и неспособного и неправомочного пересмотреть или отменить программу.

Когда ущерб от логичности электронной машины уже грозит хозяйству, возникает нужда во вмешательстве человеческих внешних сил, но неисчислимость необходимых вмешательств в неразрешимые для машины конкретные проблемы, делает и человеческое вмешательство неэффективным, а, главное, подтверждает тщетность надежд на автоматическое, внечеловеческое и внеценностное регулирование общественного производства и общественной жизни.

Уже давние размышления романтиков об автоматах показали, что человек в сравнении с машиной обладает не только недостатками. С открытием компьютера еще наглядней, что не быть машиной – тоже своего рода гносеологическое преимущество, если, конечно, мир не создан по единой, до конца его исчерпывающей логике и не открыт во всех мельчайших деталях, позволяя заведомо знать непредвосхитимое. Как приемник и даже источник непредвосхитимого человек обретает в машинном мире дополнительную ценность. Продвижение границ знания в космос и рост числа роботов в промышленности расширяют сферы непредвосхитимого и, тем самым, сокращают, а не увеличивают возможность плодотворных внеэкономических действий. Обратные иллюзии живут, но стоят все дороже.

Иллюзии питаются не только могуществом мыслящих машин, но и тем, что понятия «экономика» и «хозяйство» часто отождествляются, хоть практически от начальной языковой тождественности смысла далеко ушли. И все же экономику, то есть систему ценностных хозяйственных отношений, еще не всегда отличают от других форм хозяйствования, от внеценностных отношений и действий. На относительно короткой исторической дистанции последние порой даже эффективнее, – расплачиваться за них придется потом в течение долгих лет другим людям. Говорят, что так ведут хозяйство для блага потомков, а на деле правящий класс благоденствует за счет потомков всех других классов. Там, где за революционным внеэкономическим рывком возрождают экономические отношения, порой и впрямь начинается более успешное развитие. Но надежда на стабильные

длительные внеэкономические отношения, с компьютером или без него, развитие тормозит.

Да и экономические отношения сами по себе не гарантия от нового абсолютизма другого происхождения. Уже с начала XX века чисто экономическим путем шла концентрация производства, часто служившая техническому развитию, но столь же часто уже тогда плодившая корпорации, претендующие в той или иной сфере на монополию, и XX век создал их во множестве. Эти корпорации, уже по своей монополистической природе тяготеющие к внеэкономическим действиям, тоже льстятся мыслью, опираясь на мощь компьютера, взять верх над конкурентами в других сферах и монополизировать большую часть или даже все хозяйство страны. Ее судьбу решает защита экономических свобод, возможная там, где существуют политические, защита которых – предварительное условие. Но еще важней, что компьютер способен служить созданию независимых научных институтов, выносящих свои разработки на рынок, подрывая промышленный монополизм.

Компьютер не виноват в действиях людей, которым, обретя его, надлежит совершенствоваться не только владение усложняющейся аппаратурой, но и человеческую способность заглядывать за край, обозначенный уровнем техники, а это требует не нового луддизма, а более глубокого постижения тех форм жизни, в которых компьютер плодотворен, и понимания, чего от него можно ждать, а что людям в любых условиях придется делать самим.

Машина не может создать художественное произведение вовсе не потому, что неспособна соединять звуки, располагать на холсте краски или грамотно строить фразы. Ее музыкально-технические возможности предъявлены, и можно допустить возможность прогресса в ее овладении техникой живописи и, может быть, даже техникой словесного искусства. Но никогда ей не овладеть чувством жизни, поскольку она не живет, в жизни не участвует. Ведь и человек обладает чувством жизни лишь в той мере, в какой душевно участвует в жизни. Это ощущение жизни и формирует его реакции на происходящее, как форму обратной связи, каким является художественное творчество, а машине от себя и о себе сказать нечего, вот она и не может быть автором. Но стать помощником автора, помощником художника, облегчить ему сложные технические процессы, в которых протекает творчество, машина, конечно, может. Никого ведь не смущает, что фильм снят кинокамерой. Машина не может творить искусство сама или под приглядом технического персонала, но художнику она может служить и пером и кистью.

Совершенно так же машина не может облегчить руководство хозяйством там, где хозяйство к этому не приспособлено, то есть, не дает машине реальных критериев своего состояния. Но получая информацию о ценности (стоимости) и ее переменах, машина может оказать помощь в постижении текущих хозяйственных процессов, независимо свершающихся на экономических началах. И тогда она способна не только вести к новому абсолютизму, но и действенно его предотвращать.

Самый наглядный вызов всеобщей и единой, запрограммированной избранным классом государственной машине бросает персональный компьютер, вооруживший каждого тем, что избранный класс стремится оставить своей привилегией, – знанием и инициативой в его обогащении и использовании. Персональный компьютер, как необходимый элемент современного технического развития, подверг новый абсолютизм испытанию, побуждая его искать пути к компромиссу с реальностью и, тем самым, с теми, кто прежде был для избранного класса лишь рабочим скотом, то есть побуждает так или иначе умерить исключительное положение «нового дворянства». Персональный компьютер не противостоит личности, как отчуждающий ее государственный, но становится ее опорой в машинный век.

Феодальное общество походило на феодальную вотчину с господским полем, крестьянскими наделами и зависимостью их держателей от господина, отнимавшего время и силы на обработку господского поля. Капиталистическое общество подобно рынку, вынуждающему оплачивать рабочую силу по рыночной цене; там, ради дохода, стараются тратить меньше рабочей силы на то же качество и количество товара, что и толкает развивать технику. Новый абсолютизм подобен государственной монополии, не озирающейся на рынок и не оплачивающей рабочую силу по ее ценности, то есть, кормящей «новое дворянство» за счет недоплат, даже больших, чем при начальном капитализме. Общество, положившееся на компьютер, то есть на рост в производстве доли умственного труда, уподобляется научной лаборатории, где идеи приходят в головы не одним администраторам, но успех администрации зависит от того, с какой свободой и откровенностью предлагаются идеи, – это непереносимое условие научной жизни. Замена феодальной вотчины рынком, рынка государственной монополией, а ее научной лабораторией, была не эволюцией, а борьбой, – а когда старый порядок упирался, даже революционной, – и едва ли новый абсолютизм легко смирится с персональным компьютером и не возьмет серверы под контроль. Надежда тут лишь на то, что плоды таких силовых действий будут подобны плодам сталинских запретов генетики и кибернетики.

«Компьютерное» общество не меньше, чем в дисциплине людей производства, заинтересовано в их самодеятельности; ему более, чем другим, важны мораль, право и другие «надстроечные» структуры. Общественная жизнь и общественные идеалы, предполагающие «простых» неквалифицированных и на всех уровнях производства слепо покорных людей, явно тормозят развитие. Всеобщий рост квалификации и нарастание импровизационных моментов в труде требуют все большей самостоятельности личности, и уже это влечет к романтической традиции. «Компьютерное» общество возвращает романтизм в жизнь не только «от противного», как новый абсолютизм, но нуждаясь в нем.

Романтическое понятие о личности за два без малого века углубило и расширило свое содержание, Сократилась дистанция меж представлением о «простом» человеке и об «исключительном», каковым прежде выступал поэт или художник, но меняется не так «исключительный» человек, как «простой». Персональный компьютер

укрепляет эти перемены. Понятно, и раньше исключительная личность романтизма обнажала потенции всякой, однако при опоре на неквалифицированную силу, даже если бы в «исключительные» продвигались лишь по дарованиям, только люди верхнего слоя могли проявить себя в предполагаемой романтизмом безмерности. Возросшая потребность в квалифицированных кадрах и все более высокие требования к ним, включая и добросовестность, делают необходимым все более широкое их участие в общих решениях, все большее их влияние на верхний слой, все более широкое вхождение в него, толкая к все более глубоким социальным компромиссам.

Войдя в широкий обиход с XV века, а в Италии и раньше, буржуазные отношения достаточно долго были делом предпринимателей, крупных и мелких. Демократия не сразу была осознана как их социальное соответствие. Уже Возрождение пристально вглядывалось в каждую личность, но с особой остротой с конца XVIII века роль личности прояснял романтизм. К началу XIX века создавалось, что буржуазные отношения – не односторонние, и могут быть крепки лишь если все участники производства хотя бы отчасти – партнеры. Почти сто лет спустя эта внутренняя перестройка буржуазного общества мало по малу стала осуществляться и начался новый этап его истории, явленный социальными государствами Запада.

Тут и обострилась, во многом питаемая компьютером, нужда в осознании того места в буржуазных отношениях, которое на производстве все больше занимает умственный труд, все более индивидуализируясь и одновременно становясь все более массовым. Прошло время, когда общество сводилось к отношениям буржуа и рабочего. Объявились «третьи лишние», умственные пролетарии, в двоичную систему счисления не вмещающиеся. Их не вполне страхуют обычные социальные гарантии. Будучи ключевыми фигурами промышленного развития, они, в отличие от современных рабочих, все еще не партнеры предпринимателя, лишь наемники. Поскольку умственный труд производителен не так в непосредственном, как в овеществленном, вложенном в машину, качестве, очевидна необходимость менять систему его оплаты, переходя, хотя бы отчасти, сообразно с его индивидуальным характером, на авторский гонорар, то есть выплату известной доли дохода от каждого товара, на который машина переносит умственный вклад своего создателя. Переход к такой системе не прост и порождает неясности и противоречия в производственных и общественных отношениях. Но только их разрешение позволит буржуазному обществу, после новой перестройки, перейти к следующей ступени своего развития.

Этот переход дополнительно осложняется возрастанием в производстве роли природных ресурсов, прежде всего, энергетических. Оно вовлекает в промышленный круговорот неразвитые страны, обладающие запасами сырья, и, в обмен на дары природы, приобретающие промышленное оборудование и тоже становящиеся производителями, однако, не на современных зрелых началах с социальными гарантиями, а на уровне первичной буржуазности, а то и подневольного труда. Избыток дорогого сырья и рабочих рук

позволяет им и при низкой производительности труда быть конкурентами развитой промышленности. А внутренняя социальная ситуация там нередко поощряет к установлению нового абсолютизма, жаждущего подчинять других.

Новый абсолютизм расширяется в странах Азии, особенно мусульманских, Латинской Америки и даже Африки, прежде колониальных. Там ярче прежнего проступило важное отличие нового абсолютизма от европейских примеров. Европа, еще только вводя буржуазные порядки, пережила глубокое и серьезное преобразование, главными этапами которого были Реформация и Просвещение. Италия и Россия, хоть Реформации не пережили, как европейские христианские страны восприняли многие ее открытия в светской форме, а Просвещение переняли у более развитых стран. Их население, не говоря о Германии, самостоятельно прошедшей и Реформацию и Просвещение, в немалой мере было готово к восприятию правовые отношения, как норму. И если где, как в России, случилось иначе, то благодаря стихийному единству прогрессивного радикализма, беременного новым абсолютизмом, и фундаменталистской реакции, дружно противившихся либерализму и демократии.

Так сегодня обстоит дело и в мусульманских странах, внутри которых соперничают силовые организации как фундаменталистского, так и радикально-социалистического толка, тоже чуждые европейским традициям. Они отвергают не только либерально-демократические перемены, но и опыт Реформации. Сама неприемлемость для большинства из них светского характера государства и равноправия женщин делает там новый абсолютизм практически неизбежным и опасным не только для местных жителей.

Террористическая атака, понятно, сдерживает социальные преобразования и в странах Запада, как сдерживала их в свое время угроза Первой и Второй мировых войн. А попадающие в зоны нового абсолютизма западные товары, эстрадную ли песенку или компьютерную программу, там безвозмездно тиражируют, не считаясь с авторскими правами. Споры о них бесконечны, и кажутся чисто торговыми, но они задают актуальный вопрос – как развитым странам не стать жертвой собственной погони за прибылью, то есть все той же торговли веревкой, на которой еще Ленин обещал повесить буржуазию.

На реальную опасность Запад отвечает, не вглядываясь в ее суть и не находя убедительных ответов. Реальный грех колониальных держав перед полвека назад освободившимися был не в том, что из колоний вывозили сырье, местным жителям до того, вообще, ничего не дававшее, да этот грех часто и признается. Но не осознан грех того, что, уходя из колоний, там не оставляли экономических структур, позволяющих местным жителям своими силами беречься от внеэкономического хозяйствования. Антиреформационное, антипросветительское сознание там отчасти вызвано общим характером жизни, не побуждавшей к реальному просвещению, да и трудностью его получения.

Но Запад, рассматривая очаги опасности как целостные, не взял во внимание даже того, что устранение тоталитарного диктатора в

Ираке, требует признания отдельных прав каждой из трех национально-религиозных общин. Он не различает в исламе реформаторские и консервативные силы. А реформаторские движения там задавлены охотниками до нового абсолютизма. Ну что бы Западу хоть одну страну, тяготеющую к религиозному реформаторству и выходу из средневековья, поддержать, чтобы ее пример показал плодотворные последствия остальным. Но нет, даже Турция, еще Мустафой Кемалем продвинутая к религиозной свободе, не находит поддержки Запада в стремлении эту свободу защитить, и обращение с ней толкает подозревать у Запада религиозную предвзятость, хотя имеет место лишь корыстное предпочтение реакционеров, располагающих нефтью.

А борьба народов за освобождение, за религиозные реформы, за просвещение, там где она возникает, идет под знаменем романтизма. В Латинской Америке или Азии воскресают художественные приметы немецких романтиков, первыми выступивших под этими знаменами за национальную независимость. Романтическая традиция служит и здесь не просто освобождению от иноземного ига, которого и подданные феодальных царств не желали, и не только промышленному состязанию с вчерашней метрополией и экономизации национального хозяйства, освобождающей от внеэкономических стеснений со стороны метрополии. Бывшие колонии вели освободительную борьбу за овладение нормами, созданными метрополией для себя, чтобы жить не подчиняясь рабским нормам, им навязывавшимся. Но империи, то не поступаются «целостностью» и не отпускают, то отпускают, но жить, как они, не помогают, и в итоге, освободившиеся страны остаются несвободными и уже сами урезают свою свободу, впадая в новый абсолютизм.

Долгая внеэкономическая жизнь сводит состязательный процесс на нет и тормозит развитие, даже способствуя ему внеэкономически. Противясь внутренней состязательности новый абсолютизм губит самостоятельность, закрепляет отставание от бывшей метрополии. Рынок, как арена ценностного состязания, ему ненавистен. А состязание пришло в романтическое сознание из средневековых поединков. В экономическом мире переход к ним доступен, они там, и без пистолетов Лепаж, повседневны. Поединок идет и с самим собой, – он в желании больше знать, лучше понимать, квалифицированной работать. Романтический герой, споря с системой, спрашивает с себя, а классический, почитая систему или только терпя ее, требует от нее.

Романтик хочет, чтобы система не мешала состязанию с другими, классик хочет, чтобы она заменила состязание, чтобы место в ней занимать по знатности рода, по услугам высоким персонам, по знакомству и, – лишь в виде исключения и непрочно, – по своим подвигам и достоинствам. Оно и понятно: в экономическом мире качество товаров и труда, берущих верх в состязании, определяет независимая от соперников стихия спроса и предложения, а во внеэкономическом – самое понятие качества определяется не стихией, а высшей волей, царем или церковью, и оттого не слишком объективно.

Экономическое хозяйство живет рынком, внеэкономическое - контролем за соблюдением норм труда и потребления, тем менее эффективным, чем оно более развито технически. Внеэкономический мир, не приняв за основополагающее понятие о ценности, иной единой хозяйственной меры не выработал, вот и мерит на глазок, судит по своей воле и бережет свою монопольность. Выйти из несознаваемого тупика можно лишь признав независимые от себя и заинтересованных лиц объективные критерии, а это не для «нового дворянства», властного над определением критериев.

В новом абсолютизме автономность сведена к нраву местного паши. В экономическом мире она – канал обратной связи, существенной даже внутри предприятия. А романтический универсализм исходит из наличия автономий, не замкнутых в себе, но соперничающих и сотрудничающих. Начав с защиты личности от директивных абсолютов классической системы, романтизм защищает универсализм взаимности автономных групп и автономных народов.

Убивая случайных людей террористы не оспаривают классические принципы, а навязывают свою систему, отказывая другим в праве жить иначе. Сколько бы они сами, их сторонники и противники, ни твердили, что убивают ради свободы личности, которую своей стрельбой и взрывами они, якобы, и проявляют, утверждая право каждого использовать достижения современной техники, чтобы принести свободу всем, они-то и ограничивают свободу других еще до того, как входят в государственные службы безопасности.

Убийство случайного прохожего в знак протеста против чего-то, никак к этому прохожему не относящегося, - не только отрицает ценность человеческой жизни, но и декларирует право «носителей истины» попирать всех и каждого. Парадоксально, что человечество, знакомое с фразеологией немецких национал-социалистов и русских большевиков, не опознало в Майнхоф и Баадере, в красных бригадах и других подобных организациях поборников нового абсолютизма, новых Гитлера и Сталина! Показательна не только фразеология, «левая» или «правая», а претензия монополизировать истину и, тем самым, власть, вплоть до утверждения права «прогрессивного» левого или «здорового» правого меньшинства брать власть силой даже там, где можно отстаивать свои взгляды в честном состязании избирателей.¹

¹ Решительно отвергая террористические методы русских народников, фактически укреплявших реакционные силы, против которых они выступали, - что велит глубже, чем до сих пор, исследовать социальную природу этого движения, отнюдь не однородного, - следует все же помнить об их принципиальных отличиях от современных террористов, которых с ними отождествляют. Народники, во-первых, не имели возможности легально бороться за свои политические цели, - средства массовой информации контролировались государством, а представительная система с избирательным процессом отсутствовала. А, во-вторых, террор народников, как правило, направлялся против представителей государства, то есть внеэкономической самодержавной власти, без нападений на не причастных к ней лиц.

А даже Маркс, убежденный в необходимости революционного насилия для установления демократического порядка вместо старого, поддерживаемого насилием, считал, что в Англии и США переход от капитализма к коммунизму может быть ненасильственным, без революции, поскольку существующие там демократические институты позволяют большинству утвердить свою волю. Но нынешним террористам не интересно мнение большинства.

Романтические понятия об укладе жизни от классических отличаются тем, что романтический уклад открыт неведомому и компромиссам с реальностью, ему чужд заведомый иерархизм. Для романтика – уклад жизни – не свод законов, а способ подвижного взаимодействия. Он не установлен, а складывается, и смысл его не в наперед предписанных извне правилах, а всякий раз заново подлежит исследованию и теоретическому осмыслению. Этим своим подвижным пониманием универсальности романтизм более всего и отвечает ценностно-экономическому хозяйствованию и персональному компьютеру, как орудию труда.

Восставший против воздвигнутых еще сословным обществом оборонительных валов классической нормативности, романтизм сохраняется лишь при либерализме, демократии, и состязательности, – и промышленный мир только и может совершенствоваться, стоя на этих трех китах.

Это, понятно, не значит, что любая сила, взяв романтическое знамя, всерьез будет отстаивать подразумеваемые им лозунги. Лицемерие не чурается никаких масок. А кто опасается состязаний, обойдется и без демократии, и правом на автономность воспользуется для выхода из состязания, не исключая и сохранения абсолютистской системы. Но сохранить ее значило бы обречь на гибель общество и людей. Оттого романтизм все чаще и становится предметом обсуждения, тем более, что новейшие технические открытия и непосредственно побуждают к пересмотру многих традиционных, чуть не с первобытности усвоенных понятий, действенных еще во Второй мировой войне.

Противостояние СССР, Соединенным Штатам и Западной Европе, при сползавшем в советскую сторону нейтральном третьем мире, ныне сменено противостоянием Западу нового абсолютизма Азии, Латинской Америки и Африки, при сочувствии им клонящихся к прежнему России и Китая. Это все то же противостояние нового абсолютизма и либерально-демократического развития. А говорят, в холодной войне победил Запад.

В итоге неразрешаемости, как этого противостояния, так и внутренних социальных проблем, ныне господствует духовная смута, лишившая смысла прежние понятия, вплоть до политических. Уже неясно, что считать «правым» и что «левым», исторические смыслы

обоих сменились на почти противоположные. От смуты и художественный кризис.

Модернизм почти незаметно перерос в постмодернизм, как пародийную противоположность, пародирующую, впрочем, и все предшествующее искусство. Смута современной жизни там присутствует, но скорее комментируя былое, чем становясь новым. Постмодернизм, как будто отвечая спросу на романтическую иронию, пренебрегает спросом на разрешение социальных проблем, не только признания авторских прав или на реформации ислама, подобной прошедшей полтысячелетия назад реформации христианства. И в то, и в другое, впрямь плохо покамест верится, оттого и романтизм – ныне больше доброе пожелание, чем конкретные сочинения. По крайней мере, в России, еще слишком сильна, хоть порой и перевернута, печать предшествующей эпохи, чтобы начинать новый отсчет. Оттого и в искусстве романтизм замещается постмодернизмом, порой изящно, как Тимур Кибиров, пародируя былые времена, но в итоге пародирующим не отдельные явления жизни и произведения искусства, а жизнь и искусство, как таковые, тем самым, отвергая их, и этим отрекаясь от какого-либо смысла не только в собственном существовании, но и в жизни и в искусстве. Вот он в больших дозах и скучен.

Но необходимое изменение структуры производства не только вновь толкает к романтической традиции, а предрекает еще и расширение ее действия, отчего теоретическая демократичность романтизма, которой исключительные герои как бы даже и противоречили, тянется к практической, терпящей все меньше ограничений, поскольку все больше фигур претендует на исключительность, все больше, по Шлегелю, предполагаемых гениев, пусть не столь больших. Требование всеобщей демократии, то есть всеобъемлющего компромисса, при этом уже не благое гуманистическое пожелание, а насущное условие экономического хозяйствования. Современному человеку важно видеть романтических героев обыденными, ощутить повседневность казавшихся прежде необычайными ситуаций, в которых те оказывались, и из их опыта перенимать тягу к личному участию в определении собственной судьбы.

Романтизм не сводится к протесту, он создает положительную программу. Есть различие меж готовыми ради новой системы в самом деле, а не для красного словца, спалить Лувр или сбросить Пушкина с парохода современности, и теми, кто, даже говоря такое, идет своим путем, храня и возрождая давние, возникающие и могущие возникнуть культурные ценности, но и с ними состязаясь в своем универсализме. Первые, как ни парадоксально,- готовят новый классицизм, вторые – остаются романтиками.

Новой классической системе уже не нужен Буало, она вырастет из «Пощечины общественному вкусу» или любой другой декларации, канонизирующей какие-то, все равно какие, художественные нормы. Романтическая традиция тем и противостоит классической, что не спешит канонизировать свои удачи, наперед признавая за другими

место в универсуме. Она их критикует, обличает, но не запрещает, не изымает, не уничтожает, не лишает выхода к людям.

Велик соблазн жить и действовать по преподанному примеру. Отчасти затем искусство и прозревает реальность. Но классицизм, искусство образцов, затем и возникший и достигший в этом предела, вторя уже запечатленной прежним искусством реальности, все более отворачивается от реальности реальной, новой или прежде не различенной, и в итоге поворачивается к реальности спиной. Романтизм же, никакими образцами не связанный, так или иначе дышит реальностью, даже если в чем-то ее деформирует или преобразует, чтобы лучше разглядеть. Не зря так часто к реализму в узком смысле, конкретному направлению XIX века, относят многие романтические сочинения, и самый реализм выводят из романтизма, очень уж нечетко обозначая границу.

Разумеется, случались и в классицизме, и в романтизме, случаются в новом классицизме, и в новом романтизме, художественные успехи и неудачи, но если при неудаче нового романтика обсуждают меру его отхода от жизни, то неудачу нового классика ищут в несоответствии образцам, а выходя за пределы заданных образцов даже с блестящей работой полной жизни, он репутацию классика тут же теряет.

Русский романтизм родился в стычке с распоясавшейся в абсолютистском упорстве феодальной реакцией, не желавшей ничем поступать даже ради продления жизни своих детей в родной стране. Уже Пушкин и Гоголь не выдержали этой атмосферы, Они противостояли николаевской реакции и погибли от нее, хоть вспоминать это нынче не принято. За неувядаемость сделанного их давно числят классиками русской и мировой литературы. Играя словами, твердят, что, как классики, они, подобно французским классицистам, – за абсолютизм. А они российский крепостнический абсолютизм не обеляли, и выдавать их за певцов николаевского порядка – дело пустое и бессовестное.

Сопротивляясь произволу абсолютизма, русские романтики, и до 1917 года и после, острее других ощутили, что единственное спасение людей в том, чтобы быть людьми, самостоятельными, свободными и совестливыми, а не рабами крепостной системы, уклоняющимися от самостоятельности, остерегающимися свободы и отдающими совесть в заклад непогрешимым владельцам готовых истин. Между тем, лишь на первый взгляд нежданно, подхватив традиции сословного общества, возник новый абсолютизм, и людей стали разгонять по загонам, при графе Аракчееве именовавшимся военными поселениями, а в наши дни – лагерями. Не зря граф был великим поклонником классического стиля ампир, не зря этот стиль возлюбили в советские времена. В желтых домах с белыми колоннами чувство стиля велит поддакивать. Романтикам это плохо удавалось, зато именно с ними связываются те, не слишком, конечно, обильные надежды, которые у человечества еще остаются

Цитированная литература

1. Ванслов В.В. Эстетика романтизма, М. 1966
2. Габитова Р.М. Философия немецкого романизма, М. 1978
3. Гегель Г.Ф. Сочинения, т. 13, М.1940,
4. Гейне Г. Сочинения, т 4, Л. 1957,
5. Генри Э. Заметки по истории современности, М.1970,
6. Давыдов Ю.Н. Искусство и элита, М. 1966,
7. Достоевский Ф.М. Сочинения, т.21, Л. 1980,
8. " ---- " т. 25, Л. 1983,
9. " ---- " т. 26, Л. 1984,
10. Каменский З.А. Вступительная статья к сборнику
«Русские эстетические трактаты» т.2, М. 1974,
11. Кант И. Сочинения, т 6, М. 1966,
12. Ленин В.И. Сочинения, изд. пятое, т.30,
13. «Литературные манифесты западно-европейских
романтиков», М.1980,
14. Лопухов Б. История фашистского режима в Италии, М.
15. Лифшиц Мих. Искусство и современный мир, М. 1973,
16. Лихачев Д.С..Литература-реальность-литература,Л. 1981,
17. Манн Т. Сочинения, т. 10, М. 1961,
18. Маркс и Энгельс, Сочинения, изд. второе, т. 1,
19. " ---- " т. 3,
20. " ---- " т. 20,
21. " ---- " т. 26, ч. 2,
22. Ницше Ф. Веселая наука, М. 1901,
23. Руссо Ж-Ж. Трактаты, М. 1969,
24. Тольятти П. Лекции о фашизме, М. 1971,
25. Томашевский Б.В. Пушкин, книга первая, М-Л. 1956,
26. Шлегель Ф. Эстетика, философия, критика, т.1 М. 1983,

РОМАНТИЗМ И ЕГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Жизнь Н. Я. Берковского завершалась книгой о немецком романтизме, то есть о том, с чего когда-то начиналась его работа ученого, писателя, мыслителя. К этой книге тянутся и нити от остальных пристрастий автора — музыки, живописи, театра, Сервантеса, Шекспира, Пушкина. Привязанность к немецкому романтизму — не простая дань величию его творцов. Младших романтиков Берковский даже уличает в провинциальности и полагает, что любовью немцев они и обязаны этой провинциальности. Упрек не беспочвенный: ни Арним, ни Brentано, ни Тик, ни даже Новалис по-настоящему не прижились там, где не читают по-немецки. Черты провинциализма обнаруживаются и у старших романтиков, за вычетом разве что Гельдерлина, и то не до конца успешно скрывающего их под античными покровами. Но эта провинциальность как раз и была почвой, на которой росло вселенское понимание вещей. Осознание провинциальности побуждало осмыслить свое место не просто в семье, в племени, в народе, в государстве, а непременно в целом мире, и, тем самым, целый мир.

Понимая романтизм как немецкий ответ на французскую революцию, автор подчеркивает, что и сам романтизм был революцией в культуре. Берковскому чуждо стремление судить былое во всеоружии нынешней умудренности и корить великих покойников за несоответствия с очевидными для нас идеалами. Пафос его, напротив, в восстановлении заявочных столбов и признании огромного положительного вклада романтиков в нынешнюю культуру и мировосприятие.

Главный интерес автора простирается до 1799 года, за которым в романтизме зреют религиозные повороты. Припомнив, что девяносто девятый — год провозглашения консульства, начало абсолютной власти Бонапарта, не признать этот рубеж невозможно. В ту пору младшему из героев книги Берковского — Арниму — было восемнадцать лет, Гельдерлину шло к тридцати, Новалис, равно как и Фридрих Шлегель, приближался к тому же, а старший Шлегель, Август, за тридцать даже перевалил. Простое сопоставление дат показывает, что романтизм родился не из разочарований, а из надежд. Романтический дух был духом обновления. Берковский пишет: «Романтики не доверяли ничему, что отстоялось, уплотнялось, сложилось, принуждало и повелевало».

Здесь выясняется, что романтиков отличает от просветителей не страх перед переменами, но, главным образом, сознание, что не так все просто, как просветителям казалось. Недаром революция была французской и протекала со свойственным французской культуре рационализмом, а романтизм отвечал «из Германии туманной».

Едва ли не первым Берковский проясняет, в чем состояла и чем влекла немецкая «туманность». Он вспоминает слова Фридриха Шлегеля: «Хаос есть та запутанность, из которой может возникнуть мир». Античное представление об изначальном хаосе романтики воскрешали не космогонии ради. Они поняли, что хаос не только

позади, но со всех сторон; в нем проступали иные возможности мира, нежели те, которые были очевидны: в нем проступали живое течение и непредустановленность. Роль человека в хаосе — активная и созидательная, в завершенном и совершенном творении человеку места не остается. Тот же Шлегель писал и так: «Необходима не только система с широким охватом, необходимо еще чутье к хаосу, что остается за ее пределами...»

Берковский дорожит принципиальным антидогматизмом романтиков, их уважением к реальности, и романтическое происхождение реализма перестает выглядеть неприличным родством, которое из лучших побуждений станут замалчивать позднейшие историки литературы. Тяготение к новизне, породившее представление о художественном новаторстве как неотъемлемом свойстве искусства, у самих романтиков в гораздо большей мере распалялось погоней за жизнью с ее многообразием и постижением того, что она на самом деле собой представляет.

Желание знать все как есть подталкивало не только натурфилософию, не только литературу, но возбуждало и совсем новое отношение к общественным институтам. Берковский, конечно, не пропустил афоризм Новалиса: «Привлекательность республиканского строя та, что все получает в нем большую свободу выражения: добродетель и порок, добрые нравы и беспорядочность, ум и глупость, талант и неспособность выступают гораздо резче...» Первенствует не побуждение навести порядок, а жажда уловить реальные свойства мира.

В этой связи уместно сказать о стиле автора. Своеобразие его не только в особенном чувстве слова — свойстве у исследователя литературы достаточно редком. Уникален и самый метод исследования, включающий в себя, по романтическому образцу, истолкование не только сущего, но и возможных его вариантов и преломлений. В книге много пересказов неизвестных читателю романтических сочинений. Пересказы, как правило, искусны, емки и тонки. Не читавший эти полузабытые опусы получит о них ясное представление. Однако читавший обогатится еще более, ибо Берковский пишет как бы параллельно оригиналу, ставит вопросы, там не поставленные, досказывает там не сказанное. Внимание сосредоточено не столько на очевидном, сколько, минуя его, на подспудном. И блестящие страницы, посвященные в книге подтексту, показывают, что такая направленность выношена и обдумана.

Берковский решительно отвергает понимание подтекста как метафоры, иносказания или авторской уловки. Подтекст для него — голос реальных человеческих отношений, не вмещающихся в кодифицированные нормы, без которых людям тоже не обойтись. Свое толкование подтекста Берковский укрепляет ссылками на Станиславского и Вахтангова. Это относится не только к Клейсту и драматургии. Такое понимание подтекста пронизывает всю книгу Берковского. Источником тому были не только опыты великих мастеров русской сцены, но, прежде всего, труды Карла Маркса, его метод подхода к явлениям, усвоенный Берковским в контексте немецкой

духовной действительности, в котором этот метод возникал и складывался.

Маркс как-то заметил: «В человеческой истории происходит то же, что в палеонтологии. Даже самые выдающиеся умы принципиально, вследствие какой-то слепоты суждения, не замечают вещей, находящихся у них под самым носом»¹. Целью собственных исследований Маркса было преодоление такой слепоты и демистификация фетишизированных трафаретов бытия и сознания. Берковский — один из тех, кто органически воспринял такую направленность мысли, кстати сказать, не вовсе оторванную от романтического движения.

Стремление прочесть невысказанное идет у него от желания понять целое. Одно из самых пронзительных открытий Берковского — истолкование романтической иронии как выражения тоски по целостному восприятию мира. «Она против "фактов" в их обособленности, против плоскостного рассмотрения мира, и она же против вдохновенных и бессильных жестов, против энтузиазма, не способного для себя завоевать какое-то место в конкретной практике людей», — сказано в книге. В ней нет ни бессильного энтузиазма, ни обособленных фактов. Поэтому так существенно — не довольствоваться при чтении попутными прозрениями, которыми книга усыпана, но держать в уме сказанное по соседству и всю описываемую картину. Тогда даже и спорные толкования, без которых насквозь оригинальному сочинению не обойтись, окажутся важны, как сгустки мысли, опередившей вызвавший ее к жизни сюжет.

Вряд ли, к примеру, можно согласиться с тем, что в «Лорелее» Клеменса Брентано «хотят пира для себя с приправой чужого горя». Пира хотят, но о приправе не думают, не отдают себе наперед отчета в ее сладости, даже если ощущают на таком пиру такую сладость. Но для Берковского безучастность к чужой душе — уже насильничество, уже готовность к сознательному сладострастному поруганию. Побуждения как бы чуть форсированы и угадываются в последствиях глазами жертвы.

Русский романтизм поминается в книге лишь изредка. Но читателю Жуковского, Баратынского, Тютчева, Гоголя, Фета, Достоевского, Александра Блока она поможет лучше их понимать. С другой стороны, успех в постижении немецких романтиков здесь во многом обусловлен опытом русской литературы, тончайшим знатком которой был автор.

Дело не во влияниях. Берковский не раз предостерегает от преувеличения их роли и настаивает на сходстве культур, в особенности складывавшихся в похожих обстоятельствах. Пожалуй, и впрямь не сыскать двух разноязычных культур, сошедшихся ближе, чем русская и немецкая. Корни тому — в затяжном характере русского и немецкого феодализма и его последствий. Книга Берковского вся пронизана ощущением этой общности. И жаль, что он отвлекается от

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 32, стр. 43.

нее, обращаясь к охватившему второе поколение романтиков пафосу национальной самозащиты.

Берковский безоговорочно прав, когда пишет, что в «Битве Арминия» Клейста этот пафос перерастает в пафос убийства, и тонко подмечает, что здесь «сочетается безмерная ненависть к чужому народу с малой любовью к собственному». Но ведь романтический патриотизм не сводится к воинственной жестокости, временами охватывавшей Клейста или других, менее видных авторов. Куда чаще он носит оборонительный характер. Да оно и понятно: ведь инициатива в переходе немецкого романтизма от вселенских идей к национальным принадлежала французским штыкам, которые, что ни говори, дохнув свободой на приграничный Рейн, а потом переправившись через него, создали не вселенское братство, но французскую империю Наполеона Первого, а он, покуда она росла, все меньше помышлял о революционных преобразованиях — в России и думать об них забыл.

Вина за национализм поработченных — подчас, разумеется, неприглядный — лежит все-таки в первую голову на поработителех, даже если они по инерции повторяют великий лозунг «Свобода, равенство и братство» и движутся под прежде революционным трехцветным знаменем. Справедливо предостерегая угнетенных от крайностей националистической слепоты, опасно отвлекаться от ярма, которое на них надето и тянет голову вниз, ограничивая горизонт. Немцы и сами в роли поработителей выступали нередко — память об этом достаточно свежа, — и на них справедливо обрушивались национально-освободительные порывы, но как раз в дни Наполеона немцы были поработчены, и гнет был унижительным и тяжким. Берковский, конечно, прекрасно это знал, но свойство его мысли — провидеть плоды уже в семени, в рассаде — иногда оставляло в стороне иные обстоятельства, уродовавшие эти плоды. Впрочем, никакая книга не исчерпывает все проблемы и все аспекты исследуемой темы. Берковский говорит о самых существенных и наименее очевидных, что и побуждает вчитываться в им написанное.

Во вступительной статье А. Аникст пишет о Берковском: «Человек богато одаренный, он предпочитает монологу диалог. Его собственные работы часто были такими диалогами, спорами против неназываемых оппонентов». Вторая фраза — бесспорна, но при том условии, что в диалоге мы будем видеть обмен не репликами, а монологами. По природе своего таланта Берковский был человек монологический. Он умел долго слушать, если ему было интересно, и сердился, когда говорящего перебивали вопросами или возражениями, мешая сказать свое, как хотелось. Сам он тоже долго говорил и не любил, чтобы его перебивали, пока он не сказал все, что считал нужным. Потом он опять готов был слушать.

Беседа с Берковским никогда не становилась совместным думаньем, где один подхватывает мысль другого и бросает ответный мяч. Если уж это была не лекция, а беседа, она должна была быть воистину обменом, и если хотелось не только слушать, надо было иметь что сказать. В этом смысле А. Аникст очень прав, вспомнив слово «диалог». Если Наум Яковлевич замечал, что о предмете беседы вы до того не думали и лишь пытаетесь поддержать разговор,

что-то соображая на ходу, ему становилось скучно, и он либо милостиво объяснял напоследок, в чем состоит проблема, либо сразу замолкал. С ним не стоило заговаривать о том, что вам не слишком интересно, он тотчас это ощущал и не торопился открываться. Но если он замечал, что вы и сами задумывались о том, что его занимает, и что-то, хоть самую малость, способны выложить свое, пусть не бог весть как оригинальное, но самостоятельно добытое, вы оказывались бесконечно вознаграждены.

Всю жизнь Берковский готов был уточнять свои суждения, заново их проверить и продумывать, выслушивать новые возражения и никогда не считал такую работу напрасной. Поэтому он умел слушать, поэтому необычайно медленно читал, — ведь с каждой фразой он вовлекался в уже однажды решенное и опять переворачивал ворох соображений, как будто бы уже отвергнутых. Мыслитель по всему складу, он более всего чурался окостенения мысли. Подчас он готов был отвергнуть доказанную, но уже мертвую и бесплодную истину ради куда более зыбкой, но плодотворной.

Научное наследство его составляют не только открытия, хотя их много, не только систематизация, хотя рецензируемая книга ее весьма продвигает. Для тех, кто его знал, Берковский был человеком уникальным, незаменимым, он обладал свойствами крупного таланта и, быть может, главным из них — непрерывностью и неиссякаемостью духовной жизни. Трудно различить, что было для него служебным долгом и что прихотью. Уже тяжело больной, он не в силах был отказаться от лекций в педагогическом институте и, отправляясь читать о великих творениях, которые знал чуть не наизусть, заново их перечитывал. Просто пересказать то, что он думал год или сорок лет назад, он не мог, — связь науки, литературы и жизни не была для него пустым словом и не сводилась к подбору новых трафаретов. В работах Берковского важны даты: иные свои суждения он отбрасывал, не хотел печатать труды, дописав которые, обнаруживал, что стал думать иначе. Но именно потому, что движение его мысли всегда и во всем было чистосердечным, оно не пропадало и отвергнутое входило в последующие работы в «снятом», иначе осмысленном виде.

Берковский не оставил ни школы, ни учеников, ни даже прямых последователей. Он оставил, однако, немалое число почитателей, и теперь, когда основные его труды вышли в свет и переведены на иностранные языки, число таких почитателей и дальше будет расти, и по ним мы поймем, какое место занимал в советской культуре Наум Яковлевич Берковский.

ПАМЯТИ Н.Я.БЕРКОВСКОГО
(выступление на вечере 11 апреля 1986 г.)

Вспоминать Наума Яковлевича – означает вспоминать разговоры, а разговоры невозможно помнить целиком, только обрывки да собственные суждения по их поводу. И все же я рискну. Мне повезло: я познакомился с Наумом Яковлевичем внезапно, но сразу получил возможность общаться с ним много и подолгу. Гослит затеял тогда новое собрание Гейне, и прослышав про это, я принес туда переведенное для себя задолго до того «Северное море». Тогда еще не было принято отклонять рукописи, не читая, и два экземпляра моей отдала двум ленинградским членам редколлегии, – Науму Яковлевичу, который был при этом редактором первого тома, и В.М.Жирмунскому. Виктор Максимович написал рецензию, где в первой строке было сказано, что перевод можно печатать, а дальше шли четыре страницы очень конкретных замечаний. Наум Яковлевич, с которым меня тогда же познакомили в издательстве, ничего не написал, но сказал: «Я напечатаю ваш перевод, только вы ко мне зайдите, надо его просмотреть». И я стал ходить на Коломенскую.

Было лето, не помню 55го или еще 54 года. В квартире обычно никого не было. Мы пили чай, и Наум Яковлевич сам обращался с чайником. Я приходил часа в четыре-пять, а уходил в двенадцать. Наума Яковлевича интересовало в переводе совсем не то, что Виктора Максимовича. Хоть оба редактора сделали немало полезных замечаний, они совпали только два или три раза, – там, где я ошибся в понимании текста. Наума Яковлевича больше всего занимала естественность интонации. Он заставлял меня читать перевод вслух, сам смотрел в немецкую книжку, и чуть я сбивался, говорил: «Вот видите!», и это место надо было поправлять. Мы прочитывали три-четыре стихотворения, и Наум Яковлевич говорил: «Остальное в следующий раз!» И возникали другие темы.

Часто я рассказывал ему о спектаклях Художественного театра, которых он не видел, а я тогда еще хорошо помнил, – сейчас уже не помню. Рассказывал, например, как Андровская играла Раневскую, подробно пересказывал, как она двигалась, куда поворачивалась, где делала паузы. А когда я кончил, Наум Яковлевич сказал: «Она не скрывала, что лучшее в ее жизни – Париж». Меня тогда это поразило. Ведь это я ему все рассказал, так именно я и чувствовал, но мне эта простая формула не приходила в голову, а Наум Яковлевич обладал глубинным зрением, он сразу глядел в подспудное.

Говорили и о другом. Он не раз убеждал меня: «Вам нужно взять литературное имя, это у вас первая большая публикация, (До того я напечатал очень немного. П.К.), – а ваша фамилия не выглядит». Я уклонялся, отнекивался, а он, хоть и не грубо, на меня давил. Однажды я не выдержал и сказал: «Вы что же думаете, что во время очередной кампании она будет лучше выглядеть в скобках?» Наум Яковлевич улыбнулся и сказал: «Не будет». Больше он к этой теме не возвращался.

Глас народа, если можно в данном случае так выразиться, вообще, для него значил много. Когда уже поздней я увлекся

Эйхендорфом, переводил его и задумал сделать книгу его стихов, он часто мне говорил: «Ваш Эйхендорф – консерватор, ничего хорошего в нем нет». Я спорил, показывал ему стихи, а он отвечал: «Ну, что же, лирик. Переводите лучше Мёрике, он тоньше». Однажды, – и он и я жили тогда в Комарове, – представилась возможность показать ему сразу несколько тематических антологий, – немцы издают такие, где стихи расположены не по поэтам, а по темам, а поэты указаны в конце, в специальном регистре, с перечислением стихов каждого. У меня оказалось сразу несколько таких антологий, изданных в обеих Германиях, и я показал ему, что Эйхендорф, по числу стихов обычно занимает если не всегда первое место, то одно из первых. Значит немцы его читают. И он перестал меня разубеждать и ругать Эйхендорфа, хоть и не стал к нему относиться лучше.

Еще во время издания Гейне, только уже, кажется, не первого тома, в Гослите собрались печатать его книгу, и я спрашивал его, что в нее войдет. «Не знаю, – ответил Наум Яковлевич, – ничего нет». Я удивился и спросил: «Но, наверное, у Вас есть неизданное?» «Написано много» - сказал он и указал на две огромные стопки папок, лежавших у стены, высотой более метра каждая, – «но я не хочу это печатать.. Я теперь думаю иначе». И так бывало не раз. Когда я спросил его про книгу о Гейне, которую он долго писал, даже, кажется, по договору, он ответил: «Я не буду ее дописывать. Выяснилось, что я не люблю Гейне».

Меня такое поражало. У нас ведь вообще опубликовать что-нибудь стоящее почти невыносимо, и не только из-за политики, – цензура тут не главное зло. А тогда возможности публикации расширились, и, хоть до Булгакова и Бахтина еще не дошло, люди извлекали выношенное, и публиковали и радовались этому. Признаться, за них радовался и я. Позавчера, когда по телевизору показывали беседу Л.М.Леонова с читателями в МГУ, снятую, как было сказано в 1979 году и показанную, как тоже было сказано, в первый раз, я, хоть и не ценю этого писателя и со многим, им сказанным, решительно не согласен, радовался, что запись все же была показана. И помня о нынешнем вечере думал о Науме Яковлевиче, как бы он реагировал, если бы его беседу с читателями обнародовали семь лет спустя, в другую эпоху?

Я много размышлял о переменах, которые происходили в Науме Яковлевиче, и мне кажется, что по сути дела он был более цельным человеком, чем может показаться. Неверно судить о Берковском только по работам последних лет. Я-то как раз считаю, что надо публиковать все им написанное, и, в частности, переиздать «Текущую литературу» и напечатанные в те годы статьи. Его идеалом смолоду был свободный человек, для него важнейшим в жизни был семнадцатый год. Не только за рубежом, но и у нас этому году нынче противопоставляют другие ценности, и клянут не только его Октябрь, но еще больше его Февраль. И впрямь ведь это тогда нарушился порядок. А многие наши сограждане больше всего хотят именно порядка. Но Наум Яковлевич не был человеком порядка, он был человеком свободы. И если уж здесь поминали Константина Леонтьева, я вынужден назвать имя мыслителя, оказавшего на Наума

Яковлевича несравненно большее влияние. Это Карл Маркс. Понятно, влиял на Берковского не начетнический марксизм, сторонником которого себя готов объявить кто угодно, думая при этом совсем по-иному. Наум Яковлевич воспринимал Маркса в духе романтической традиции, из которой тот в самом деле вырос. Однажды он меня спросил: «Вы читали стихи Маркса?» Я признался, что не читал. «Я читал, – продолжал он, – Слабые эпигонские стишки. Но без них Маркс не стал бы тем, чем стал». Науму Яковлевичу было дорого, что Маркс демистифицировал фетишизм общественного мышления, не только товарный фетишизм, но и многие укоренившиеся понятия, открывая их действительное значение. Наум Яковлевич делал то же самое. Ощущая, что путь к его идеалу, которому он остался верен навсегда, оказался не так прост, он искал ему в менявшемся мире новые опоры. Можно спорить, в какой мере эти опоры были основательны, но он был обращен лицом к реальности, не укладывавшейся в заготовленные схемы.

Чувство, охватывающее сегодня при чтении Берковского, это чувство реальности. Конечно, он заслужил все значки, какими был отмечен, как ученый литературовед, как профессор. Заслужил, быть может, даже больше, чем получил. Но истинное его величие выходит за пределы литературоведения. Георгий Михайлович Фридлендер справедливо сказал, что рядом с Берковским появлялись другие талантливые ученые и вспомнил В.Р.Гриба, действительно очень одаренного и рано умершего. Но все же Гриб занимался Лессингом, а Берковский – романтизмом, то есть самым насущным и важным для нас на протяжении всей нашей жизни, - раздумьями о свободе и реальности. И когда мы вглядываемся ныне в реальность, не вмещающуюся в схемы, написанное Берковским особенно драгоценно.

II

ДЕРЕВЕНСКИЙ ЧЕЛОВЕК

1

Будущий историк русской литературы, надо думать, подивится, что в годы покорения космоса круг серьезного чтения составляли по преимуществу книги о деревне. Колхоз стал городским жителям интересней жизни завода или больницы. Дело, возможно в том, что там, в деревне, практически совершился самый крутой советский социальный поворот, непосредственно задевший большинство жителей, – коллективизация. А возможно и в том, что в этой связи люди острее ощутили коренную проблему своего существования, сочли ее важней, чем социальный строй или международное положение. Вдруг вспомнили, что мы стоим лицом к лицу с природой, от которой наша жизнь зависит в первую голову.

«Человек живет природой. Это значит, что природа есть его тело, с которым человек должен оставаться в процессе постоянного общения, чтобы не умереть»¹, — писал Маркс сто лет назад. Ленин в этой связи в 1901 году писал: «Заместить силы природы человеческим трудом, вообще говоря, так же невозможно, как нельзя заменить аршины пудами. И в индустрии и в земледелии человек может только пользоваться действием сил природы, если он познал их действие, и облегчать себе это пользование посредством машин, орудий и т.п.»² Тоже правильно.

Остается, конечно, понять, как человеку, учитывая это, строить отношения с природой, как вести сельское хозяйство, где они особенно непосредственны. Еще при феодализме различия в положении русского крепостного и французского крестьянина, отягощенного лишь поземельной и судебной зависимостью, были ощутимы. Поныне ощутимы и способы, какими в революцию и после нее решали аграрный вопрос. И заимствование Декрета о земле из эсеровской программы, передававшей землю крестьянам лишь в пользование, но не в собственность. И введение в 1918 году продразверстки. И методы коллективизации сельского хозяйства. Невозможно отвлечься от чувств и сознания людей, работающих на земле, их понимания происходящего. Литература их ощущала и вновь к ним обращается.

Шолоховский Кондрат Майданников досадовал, что «народ никак не может отрешиться от единоличности». «Как на ночь метать коням, так их черт несет... Приходят: “А моему гнедому положил сенца? А буланому постелил? Кобылка моя тут целая?” А куда же, к примеру, его кобыленка денется?» Но Кондрат и сам знает, что очень даже денется, и тут же рассказывает Давыдову, что меж коней «один есть чертяка,

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений, стр.563

² В. И. Ленин, Аграрный вопрос и «критики» Маркса, СС т. 5, стр. 113

никак не ложится. Всю ночь, говорят, простаивает». Прежний-то хозяин небось знал, что с лошадьёю и как с ней совладать.

Да и сам Кондрат в конце первой книги признается Нагульнову: «По своим быкам хвораю душой и жалко мне их... Не такой за ними догляд, как надо бы... Конишке Акимка Бесхлебнов на волочбе шею потер хомутом, поглядел я — и сутки через это не жрал... Можно ли на малую лошадь здоровый хомут надевать». Решительный Макар, хотя и соглашается, что хомуты надо бы подогнать, в боли Кондрата, как и Давыдов в боли других крестьян, усматривает одни лишь страдания «об собственности», и объясняет, что «в партию надо иттить так, чтобы был ты наскрозь чистый и оперенный одной думкой: достигнуть мировой революции».

Но разве Кондрат и другие казаки забыли, что кони и быки им уже не принадлежат и принадлежать не будут? Отлично они это поняли и не ради прежней своей собственности торчат у конюшни, а оттого большей частью, что лучше знают про своего коня и своего быка, что тем надобно, чем даже и самый добросовестный дежурный. А разве на колхозной ферме хорошая доярка или скотница, ходящая за скотом, который никогда ей не принадлежал, не знает до тонкостей норov каждой коровы и не болеет за нее больше, чем за чужую, из соседнего хозяйства, туда случайно попавшую? Разве толковый земледелец не знает особенностей каждого поля уже почти интуитивно, не примечает, где что оно лучше родит, да и как его пахать лучше, не помнит вслепую, где на нем бугор, а где овражек?

Нутряное постижение единичности всего, что может вдруг явиться в хождении за скотом или возделывании земли, не след пристрастия к единоличности хозяйства, оно и коллективному хозяйству не менее надобно. Отождествить конкретность крестьянского мышления, сложившуюся в повседневных отношениях со стихией, с единичностью, значило бы отобрать у коллективного хозяйства эту конкретность, и тогда оно само собой сведется к широким мероприятиям и обобщенным рекомендациям, то есть, попросту, упразднится, как хозяйство.

Не надо, понятно, и абсолютизировать это повседневное соприкосновение с непредвосхитимыми шутками природы. Крестьянин живет традицией, опытом дедов и прадедов, твердо знавших, что на одной земле надо надеяться на луга да на скот, на другой пшеницу сеять, а где и ремесло подходящее сыскать, не родит земля, да и только. В пристрастии к тому, как жили отцы, сказывается не один лишь консерватизм деревни, но и память о цене опыта. И чуть память эта обрывается, наша зависимость от природы многократно возрастает.

2

Современной литературе о деревне повезло, что тридцатью годами раньше была написана «Поднятая целина». Разумеется, время решительно преобразило восприятие многого в той поре, акценты событий сдвинулись, некоторые актуальные прежде вопросы решились и потеряли остроту. Все это не могло не отобразиться в нынешней

деревенской прозе. Удивляться стоит не этому, а скорее тому, что фиксируя начальный этап сдвига крестьянской жизни, Шолохов наперед думал о многом, ставшем потом в центр внимания. Впрочем, и не делай он этого, запечатленная по горячим следам картина все равно осталась бы исходным пунктом, с которого невольно начинается мысль о движении деревни в эти тридцать лет.

«Поднятая целина» не стремится к психологическим открытиям «Тихого Дона». Здесь нет ни одной фигуры, хотя бы отдаленно подобной Григорию Мелехову, о трагической судьбе которого по сей день не устают спорить. Напротив, социальная типология тут предельно обнажена. Открывающаяся читателю вереница людей подобна срезу социальных отношений деревни в пору великого перелома. Здесь и белые офицеры Половцев и Лятевский, и кулаки Фрол Дамасков в Тит Бородин — один старого, другой нового, послереволюционного образца, тут и зазря раскулаченной Гаев и недораскулаченный Островнов, и не хотящие колхоза середняки, удержавшиеся однако от вооруженного выступления против власти, вроде Никиты Хопрова, и вошедший в колхоз без всякого к тому стремления Атаманчуков, и вошедший всем сердцем Кондрат Майданников, в бедняк Любишкин, и рабочий-двадцатипятилетний Давыдов, и одержимый идеей повсеместного обобществления и уравнивания Макар Нагульнов. Все они приметны больше политической позицией, чем особенностями характера. Но в этом многообразии позиций как раз и запечатлена бурная эпоха коллективизации, ставшая не только окончанием первого этапа жизни советской деревни, числимого от Декрета о земле, но и началом второго, о смысле которого и задумалась нынешняя литература.

Задуматься было от чего уже в послевоенные годы, когда результаты колхозного движения стали очерчиваться все резче. Картина жизни деревни преобразилась. И слухом не слышать о белых офицерах. Сгинули в Сибири или в Казахстане высланные кулаки. Привычными стали фантастические для Гремячего Лога фигуры тракториста, комбайнера, механизатора. Несказанно возросла роль райкома партии, в романе представленного «хромающим на правую ножку» секретарем Корчжинским да заворгом Хомутовым, вяло тормозящими коллективизацию и, в конце концов, снятыми со своих постов. Пафос обобществления, пафос создания колхоза прежде направленный острием против кулачества, побудивший Шолохова осудить Андрея Разметнова за жалостливость к детишкам и устами Давыдова призвать к беспощадной твердости, в которой виделось спасение от всех бед, тоже не мог не преобразиться.

Оказалось, что объединение индивидуальных усилий в борьбе с природой, хотя и укрепило человека, вовсе не избавило от необходимости считаться с законами и причудами природы. В «Поднятой целине» о них дано вспомнить только тайному врагу — Островнову: «Вы хотите, — говорит он, — круглую лету сеять, да чтобы всходило? В книжках прописано будто бы в Египте два раза в год сеют и урожай снимают, а Гремячий Лог вам, товарищ Давыдов, не Египта, тут надо дюже строго сроки сева выдерживать». Но Давыдов, не левый загибщик Макар Нагульнов, а трезвый пролетарий Семен

Давыдов, сердится: «Ну что ты тут оппортунизм разводишь?... У нас должна взойти! И если нам потребуется, два раза будем сымать урожай. Наша земля, нам принадлежащая: что захочем, то из нее и выжмем, факт.»

На эту его убежденность, тонко подмеченную Шолоховым, не слишком обращала внимание позднейшая критика. Если вспомнить слова Маркса о грубом спиритуализме, который бюрократия обнаруживает в «в том, что хочет *все сотворить*, т.е. что она возводит *волю* в *causa prima*, ибо ее существование находит свое выражение лишь в деятельности»¹, невольно подумаешь, что Семен Давыдов и был первым в нашей литературе деревенским бюрократом и родоначальником волевого руководства.

Но вывод этот был бы справедлив лишь если бы мы стали судить Давыдова как теоретика и философа. Однако, что бы он там ни говорил, в своей практической деятельности он вовсе не все хочет сотворить, а покамест только то, что можно сотворить, что и в самом деле в значительной мере зависит от человеческой воли. Когда Давыдов распекает крестьян за то, что те плохо пашут, он тут же дает прямое доказательство реальности своих пожеланий: берется за плуг и у всех на глазах, без обмана, пашет десятину с гаком. Его воля направлена на осуществление возможного, — не стоит сейчас разбирать все ли из этого возможного было в конечном счете плодотворно. Направленность воли еще проверяется собственным опытом, собственными руками и спиной, и потому мысль об обвинении Давыдова в бюрократизме и волевом руководстве мы сразу отменяем.

Но едва лишь уверенность в возможности выжать из земли «что захочем» толкает, сперва даже незаметно, переступить грань реального, тотчас же рождается Виктор Семенович Борзов.

3

В работе «К критике гегелевской философии права» Маркс писал: «Бюрократия есть мнимое государство, наряду с реальным государством, она есть спиритуализм государства. Всякая вещь поэтому приобретает двойственное значение: реальное и бюрократическое, равно как и знание (а также и воля) становится двойственным — реальным и бюрократическим. Но реальная сущность рассматривается бюрократией сквозь призму бюрократической сущности... Всеобщий дух бюрократии есть *тайна*, таинство. Соблюдение этого таинства обеспечивается в ее собственной среде ее иерархической организацией, а по отношению к внешнему миру — ее замкнутым корпоративным характером. Открытый дух государства, а также и государственное мышление представляются поэтому бюрократии *предательством* по отношению к ее тайне. *Авторитет* есть поэтому принцип ее знания, и обоготворение авторитета есть ее *образ мыслей*. Но в ее собственной среде *спиритуализм*

¹/ К.Маркс и Ф.Энгельс, СС, т.1, стр 273

превращается в *грубый материализм*, в материализм слепого подчинения, веры в авторитет, в *механизм* твердо установленных формальных действий, готовых принципов, воззрений, традиций. Что касается отдельного бюрократа, то государственная цель превращается в его личную цель, в *погоню за чинами*, в *делание карьеры*... *Действительная* наука представляется бюрократу бессодержательной, как действительная жизнь мертвой, ибо это мнимое знание и эта мнимая жизнь принимаются им за самую сущность. Бюрократ должен поэтому относиться по-иезуитски к действительному государству, будет ли это иезуитство сознательным или бессознательным. Но имея своей противоположностью знание, это иезуитство должно также достигнуть самосознания и стать намеренным иезуитством».¹

Зачитай мы эту страницу Виктору Семеновичу, он несказанно оскорбится и не преминет напомнить, что просиживал в своем кабинете ночи напролет, положил там немало сил и даже потерял здоровье. Речь его букет вполне искренней, ведь даже и намеренное иезуитство в отношении подлинных интересов государства не обязательно доходит до осознания пагубности своей деятельности. Постигание ее противоположности реальным интересам государства имеет свой предел. Самый закоренелый бюрократ отлично все же себе представляет, что при действительном потрясении реального государства и ему не поздоровится. Поэтому, сохраняя за собой, в соответствии с классическим описанием Маркса, право и на личную карьеру и на пренебрежение очевидными государственными нуждами, он все-таки полагает себя полезным государству. И это не от глупости, в которой обвиняет Борзова честный Мартынов, а оттого, что мысль вращается лишь сообразно с «механизмом твердо установленных формальных действий».

Борзов начинает у Овечкина с того, что вместо седьмой группы урожайности дает трем крепким колхозам девятую. Он в самом деле считает действительную науку, установившую эти группы, бессодержательной. Но что же ему, с другой стороны, делать, если он жаждет немедленного и вполне удовлетворительного ответа природы на свои достаточно произвольные притязания? Он спрашивает у толкующих про справедливость Мартынова и Руденко: «Где хлеб? Такой хлеб, чтоб сейчас в эту минуту можно было грузить на машины и везти на элеватор?» Ничего вразумительного ни Руденко, ни даже Мартынов ответить не могут. Мартынов предлагает строить навесы и сушить уже скошенное, — «машину по грязи работать не уговоришь, а человека можно». Но против этого и Борзов не возражает. Да и как возражать, — это ведь его, борзовское, убеждение, что человека на все уговорить можно.

Спор между Борзовым и Мартыновым идет главным образом о пользе разнообразных мероприятий, и тут, ясно, любимец автора Мартынов судит куда более здраво. Он даже выходит за пределы

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, т. I, стр. 272.

«этой минуты», понимая, что «не одним днем живем», и рассуждает о заблаговременных шагах, которые должны бы помочь отстающим колхозам, а оказавшись на посту первого секретаря еще и пытается осуществить свои смелые замыслы. Он переполнен идеями, и насколько его идеи богаче и разнообразнее тупого борзовского «взять с них хлеб!» Мартынов задумывается и о путях активизации крестьянского труда, он взывает и к совести и к материальному интересу. Он и к народу прислушивается, — вспомним беседу его с трактористами Семидубовской МТС. Вот уж о ком они не скажут: «народа чуждался, не думал как сделать, чтобы народу было лучше, о своей лишь шкуре думал». И Глотову, посмеивающемуся над его беседой с трактористами, он убежденно отвечает: «Не в наших правах изменять законы, издавать новые указы, да. Но мы обязаны доводить до сведения наших руководителей все, что слышим в народе, думы народа».

Здесь-то и выясняется истинная забота Мартынова, — она в том, чтобы на место злой воли Борзова поставить добрую, и провести эту добрую волю по всем этажам государственной структуры. Намерение, что и говорить, похвальное, и симпатии наши всецело на стороне Мартынова. Одно только настораживает: ужели дело лишь за принимающими решения, ужели достаточно довести до сведения руководителей думы народа, а руководителям принять эти думы за руководство к действию, чтобы картина жизни изменилась?

Объясняя все окружающее зло злой волей Борзова, Мартынов убежден, что добро возобладает вместе с доброй волей. Универсальность воли как средства достижения целей, у него сомнений не вызывает. Он мыслит в полном соответствии с обычной нашей манерой приписывать вину, как, впрочем, и почет, за все происшедшее руководителю. Даже обращаясь к объективным условиям, он видит лишь хозяйственные и организационные нормы, установленные тем же руководителем или — Мартынов не трус, — вышестоящим. Мысль о том, что никакому руководителю, будь он семи пядей во лбу и самых честных намерений, не под силу заместить собой множественно мышление народа, его многообразную активность в отношениях с природой, Мартынову просто не приходит в голову.

Внимательно слушая стародубовских трактористов и так высоко вознося их думы, Мартынов и не помышляет об их самостоятельности, о том, чтобы проблемы сельской жизни они решали сами. Он остается в рамках бюрократического мышления. «Бюрократия есть круг, из которого никто не может выскочить. Ее иерархия есть *иерархия знания*. Верхни полагаются на низшие круги во всем, что касается знания частных; низшие же круги доверяют верхам во всем, что касается понимания всеобщего, и, таким образом, они взаимно вводят друг друга в заблуждение»¹ — писал Маркс. Мартынов убежден в возможности развеять заблуждения простым увеличением потока информации. Ему невдомек, что подлинное преодоление заблуждений, как наверху, так и внизу, возможно лишь при отказе от волюнтаризма,

¹ К.Маркс и Ф.Энгельс, СС, т.1, стр.271

на который он по-прежнему возлагает надежды, силясь его лишь вернее направить.

Полагая своим долгом довести думы народа до руководителей, Мартынов не слишком считается с тем, как отражаются эти думы на собственной деятельности народа. Когда же это становится очевидным, когда тракторист Ершов, понимая сложившиеся в районе порядки, перестает верить в прок от хорошей пахоты и пашет плохо, Мартынов не только вспоминает об упущениях по части его материальной заинтересованности, не только взывает к совести, но и грозит ему наказанием. Он готов добиваться нравственности силой.

Но разве не так же точно поступал Борзов, пусть его представления о нравственности были иными? Вот и выходит, что консерватор Борзов и либерал Мартынов в одинаковой мере чужды любопытства к подлинным пружинам жизни. Разница лишь в том, что для Борзова во всех бедах виновен потерявший совесть народ, а смелый Мартынов винит в них еще и правительство, не учитывающее, дескать, материальных интересов трудящихся. Но, полно, так ли уж нет у народа совести, так ли уж пренебрегает правительство материальным интересом? И, главное, тут ли источник бед, которые очевидны для Мартынова и даже для Борзова?

4

Уж тетку-то Матрену никто не обвинит в том, что она потеряла совесть. Она сама и есть совесть, чистая совесть без подвоха. Она сохранила живую душу вопреки всему окружающему укладу, подтвердив этим, в который уже раз, что духовная жизнь не простое производное стечения обстоятельств, что естество личности как и естество природы» лишь до известней степени подвластно простирающейся на нее воле.

Тетке Матрене не надобен материальный стимул, чтобы сохранить облик человеческий. Как раз напротив, оставаясь человеком, она легко и свободно, с некоторым даже презрением, больше, правда, авторским, чем собственным, таким стимулом пренебрегает. «Что может быть легче, — выкармливать жадного поросенка, ничего в мире не признающего, кроме еды. Трижды в день варить ему, жить для него — и потом зарезать и иметь сало. А она не имела...»

Тетка Матрена, как она изображена Солженицыным, конечно, — прямой вызов Виктору Семеновичу Борзову. Вызов заключен, впрочем, не в самом по себе изображении ее бедственного положения, неприятном, как сор, вынесенный из избы. С этим Борзов, в конце концов, даже бы и примирился. Гораздо противнее ему совестливость и человеческая натура «простой бабы», — все расчеты Борзова в глубине его души опираются на то, что этого нет и быть не может. Недоверие Борзова к людям формирует и соответствующее представление о них, как фундамент самооправдания. Если же тетка Матрена такова, как она есть, по какому праву Борзову ею командовать и учить ее самоотверженному труду и жертвенности?

Виктор Семенович слышать не захочет о Матрене, упоминание о ней — самый болезненный для него укол. Однако, духовной своей

жизнью всецело противостоящая Борзову, Матрена в практической своей деятельности, как это ни парадоксально, в одном отношении вполне отвечает его идеалу. Когда жена председателя, «женщина городская, решительная, коротким серым полупальто и грозным взглядом как бы военная», не здороваясь входила в избу и отдельно говорила: «Товарищ Григорьева! Надо будет помочь колхозу! Надо будет завтра ехать навоз вывозить», лицо Матрены складывалось в извиняющуюся полуулыбку — как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу. Ну что же, — тянула она, — я больна, конечно. И к делу вашему теперь не присоединена». — И тут же спешно исправлялась: «К какому часу приходит-то?» Ее готовность работать без мысли о себе вполне обдумана. Вечером Матрена размышляет: «Да чего говорить, Игнатич? Помочь надо, конечно, — без навозу им какой урожай?» Нет и мысли, что урожай *им*, а не *ей*, — она откликается на любой зов о помощи. Чего уж лучше для похожего, должно быть, на Борзова председателя!

Но есть великая правда в том, что Солженицын изображает самоотверженно бескорыстную, безукоризненно честную, истинную праведницу Матрену всегда помощницей, всегда пособницей, — тут сохранишь и праведность, и кротость и безответность. Долг другим людям тут определяется пределами собственной нравственности. Не от Матрены же в самом деле зависит, есть ли в хозяйстве вилы да лопаты!

Матрену невозможно представить на месте, мало-мальски связанном с каким-то самостоятельным решением общих задач, месте, где не только ее натруженная спина, но и ее совесть должна была бы определять жизнь деревни. Если бы там ее праведность не померкла, она побудила бы выйти за пределы личной готовности помогать, где позовут. Тотчас оказалось бы, что праведность вовсе не всегда велит безропотно исполнять приказы председателевой жены. Почему же считать добродетелью их безропотное исполнение на месте «обыкновенного» человека? Ведь Матрена, с ее подлинной духовной жизнью, по мысли автора как будто бы противостоит бездуховному лейтенанту Зотову, из аккуратности и исполнительности ставшему убийцей.

И жена председателя, и все бабы в округе нещадно эксплуатируют Матрену, и, однако, самым дорогим и сильным в ней они пренебрегают. Святая душа оказывается надобной только на то, чтобы впрягаться в плуг и копать чужую картошку. Душевной чистоте отводится лишь душа, как будто у внешнего мира нет в этой чистоте нужды. Вот он и раздавил и уничтожил свою праведницу. Великое, казалось бы, неразумие, — кого же теперь будут бабы брать в помощь, кто же пойдет вывозить навоз? Но неразумие еще явственнее было при жизни Матрены, когда ее праведность шла лишь на мелкие надобности, как будто не была она самой насущной необходимостью нашего коллективного общения с природой, не долго способного держаться на уловках надежных в общении людей между собой.

Вышло по Борзову: праведница погибла, люди без совести, вроде Фаддея, — а «перебрав тальновских я понял, что Фаддей был в

деревне такой не один» — уцелели. Хотя Солженицын и прав, хотя и поныне без праведника «не стоит село, ни город, ни вся земля наша», надежда на праведность со смертью Матрены явно ослабевает и вперед все увереннее выходит материальный интерес.

5

Не только Матрена погибла при столкновении с поездом. Горница ее, ради которой все и затеяли, тоже не уцелела. «Всю пятницу, субботу и воскресенье — от конца следствия и до похорон — на переезде днем и ночью шел ремонт пути. Ремонтники мерзли и для обогрева, а ночью и для света, раскладывали костры из даровых досок и бревен со вторых саней, рассыпанных близ переезда». Лишь остатки бревен удалось Фаддею свезти к себе во двор. Выгода от его звериного упорства, купленная не только матрениной жизнью, но и жизнью собственного его сына, оказалась невелика. А Фаддей ли не понимал материального интереса!

Солженицын не только утверждает в своем рассказе величие человеческой души. Антиподом этого величия у него оказывается тот самый материальный интерес, на который полагается овечкинский Мартынов. Матренино равнодушие к выгоде до известной степени обусловлено наличием у нее некоторого минимума, удерживающего от голодной смерти.

Иван Денисович Шухов, сохраняющий нравственную твердость не хуже Матрены, не пренебрегает, однако, и тем, чтобы лишнюю кашу «закосить» и тем, чтобы за столь же скромное вознаграждение постоять в очереди за чужой посылкой. Может быть, в условиях совсем уже нечеловеческих, в которых сама жизнь под угрозой, нравственная строгость автора несколько ослабевает? Может, и не без этого. Но Иван Денисович вовсе не нуждается ни в авторском, ни в нашем снисхождении. Напротив, в его великолепном чувстве реальности, в твердом ощущении не только почвы под ногами, но своего права стоять на ней, полнее всего выступает его истинное величие.

Кто-то из критиков попрекал Солженицына тем, что его герой не борется с несправедливостью и покорно принимает все беды, свалившиеся ему на голову. Между тем, Иван Денисович — единственный среди героев первого плана повести, кто действительно борется — он борется за жизнь, которой его хотят лишить, и притом самыми разумными в тех условиях средствами. Шухов чем-то очень сродни Матрене, как и Алешке-баптисту. Он даже в чем-то кроток, как они, но кротость его не бесконечна и не беспредельна. Нравственность не обволакивает его абстрактно-всеобщими императивами. Безмерно дорожа ею, он не забывает ни о своей борьбе, ни о своем достоинстве. Шухов не просто нравственный идеал, он в полной мере личность. И это возвышает его над Матреной и Алешкой.

Скажут, что не один Шухов сохранил себя в лагере. Сохранил себя и Цезарь, продолжающий интересоваться «Вечеркой» и премьерами Завадского. Сохранил себя и Буйновский, напоминающий лагерному начальству о пределах его произвола. Чем же Шухов так возвысился, что рядом с ним они столь малы? Нет ли тут нарочитости, нет ли тут

уже навязшего в зубах противопоставления сильного народного героя хлипкому и жалкому интеллигенту? Скажем правду, основания так думать есть. Буйновский и особенно Цезарь написаны с недоброй усмешкой. Но стремление к правде здесь поднимает писателя над его симпатиями и антипатиями. Единственный, кто, пожалуй, даже превосходит Шухова в стойкости, — старик, подстилающий под хлеб чистый лоскуток, конечно, тоже интеллигент. Сила художника оберегает Солженицына от создания схем, возможно, милых его сердцу. Сравним ли мы наивную стойкость Буйновского с мудрой стойкостью Шухова, знающего, куда он попал и не надеющегося опрокинуть ложь и произвол одним усилием? Сравним ли мы с ней стойкость Цезаря, постоянно ощущающего помощь своих родных и опирающегося на нее? Шухов — единственный, кто отстаивает свое право на жизнь без чужой помощи, да еще помогает другим.

Но, может быть, все эти материальные формы борьбы допустимы лишь в невероятных условиях лагеря, а на свободе, где смерть не грозит ежечасно, нравственно пребывать лишь в духовных сферах? Здесь возникает проблема нравственного предела личного материального интереса, и очень уж хочется согласиться с автором, что едва выходя за грань самого необходимого, материальный интерес действительно пропитывается не слишком ароматным духом.

Но повременим, покамест, переступить эту грань. Заметим лучше, что и в ее пределах наше нравственное чувство не вполне спокойно. Ломтик колбасы, попадающий на верхние нары, хоть он и отработан Иваном Денисовичем, хоть он и не предлог корить за скупость Цезаря, по лагерному счету расплачивающегося достаточно щедро, вызывает чувство нестерпимой горечи, питаемое больше всего тем, что с Буйновским, который никаких услуг ему не оказывал, Цезарь тут же, на глазах Шухова, делится не бесконечными своими припасами. Отношения Цезаря с Буйновским — равные, отношения Цезаря с Шуховым — неравные. Сами они в этом не так уж повинны. Оставаясь на стороне Ивана Денисовича, было бы чистейшим ригоризмом осуждать Цезаря за то, что его не прельстила надежда уподобиться Христу и накормить пятью хлебами и двумя рыбами тысячи голодных. Не слишком частой бывает в таких условиях и естественная человечность, побуждающая делиться с соседом по нарам, к тому же более близким и по кругу привычных духовных склонностей. И все-таки примириться с этой ужасающей отдельностью людских судеб даже там, где их настигла, казалось бы, общая беда, невозможно.

Не в этой ли отдельности благополучия, в его неравенстве, в резком контрасте его с окружающими бедствиями, подлинная причина нравственного протеста, вырастающего за пределами, очерченными Солженицыным? Но, как видим, зерна такого протеста зреют даже и в этих пределах, даже там где материальное неравенство само в известной мере объяснимо причинами духовного свойства, хотя и не раскрытыми писателем. Если Цезарь получает из дому посылки, то только оттого, что у его близких, оставшихся на воле, хватает не только денег, — в то, как они достаются, Солженицын не входит, — но и духа, чтобы не бросить его, не отречься от него, помнить о нем, помогать ему. Буйновский тоже вполне мог бы рассчитывать на такую помощь, а

ее не было. Неравенство в условиях лагеря порой имело истоком духовные качества оставшихся на свободе.

Но на свободе, где человек, как правило, стоит на своих ногах, имущественное неравенство, не до конца объяснимое различиями в мере вклада в общественное производство и духовной ценности труда, не может не вызвать беспокойства, в особенности там, где стремление к достатку безжалостно растаптывает стоящие на дороге чужие судьбы. Правильная оценка материального интереса коренится, видимо, все же не столько в мере его необходимости, сколько в том воздействии, которое он оказывает на чужую участь.

Такой ли уж роскошью была старая горница для Киры, дочери Фаддея, приемной дочери Матрены? И в самом же деле была она нужна. А ведь нет оправдания уже тому, что Фаддей стал ее ломать, не дождавшись Матрениной смерти, не говоря уже о том, что, хоть и сам не желая, этим ее смерть ускорил. Забота о своем достатке, хочешь ты того шли не хочешь, неизбежно переходит в попиране чужой жизни, — эта простая истина важнее всего в рассказе Солженицына. Но разве подобная жестокость проявляется лишь при стремлении к излишку? Разве не столь же и даже еще более она очевидна при поисках самого насущного? Как же преодолеть эту повседневную, бытовую жестокость, — только ли отказом от насущно необходимого для жизни, только ли нравственной проповедью и примером личной праведности, важность которых преуменьшать не следует? Или все-таки еще и установлением надежной альтернативы попиранью ближних, то есть предоставлением каждому реальной возможности существовать своим трудом?

6

Овечкинскому деду Андроничу преодоление всех трудностей деревни видится в преобразовании колхозов в совхозы, и он довольно откровенно объясняет: «Так там лучше, товарищ Мартынов. Твердая зарплата.» К тому же «в совхозе от плохого директора вреда народу все же меньше, чем в колхозе от плохого председателя. Там, что бы ни было, рабочий свою зарплату получит. Сделал столько-то, получай столько-то денег...»

Что это, собственно, значит — «что бы ни было»? Не о стихийных же катастрофах толкует старик, а о неразумном ведении хозяйства. Совхоз влечет его справедливостью, состоящей в том, что, не принимая участия в руководстве совхозом, рабочий не несет и чрезмерной ответственности за результаты этого руководства. В колхозе — старик Андронич отлично это знает — тоже решает председатель. Но крестьянин полной мерой платится за его решения. Старик Андронич хочет, чтобы его хлеб зависел от него самого, от его честности, его готовности трудиться, его решений, принятых на своем рабочем месте, не только от решений плохого председателя, его, Андронича, представляющего лишь номинально. Он ищет справедливости в знакомых ему условиях, как они сложились.

Мартынова, однако, проблема разделения ответственности в соответствии с реальным влиянием на хозяйство не увлекает. Он ограничивается благими пожеланиями вроде того, что «надо, чтобы не

было ни плохих директоров, ни плохих председателей». Да еще рассуждает о том, что колхозный строй, общественное владение артельным имуществом по душе и сейчас большинству крестьян, о том, что «всего за такой малый срок не сделать, и к новым формам в сельском хозяйстве, к единому государственному сектору, мы придем через изобилие».

Что по душе колхознику — об этом можно бы и поспорить. Проводившееся одно время преобразование колхозов в совхозы, не вдаваясь покуда в его смысл и целесообразность, во всяком случае не встретило возражений крестьянства, доверяющего государству и его реальным законам о труде не меньше, чем примерному уставу сельскохозяйственной артели. Важно, однако, другое. Возражения Мартынова Андроничу так неубедительны вовсе не потому, что старик прав, а потому, что Мартынов в глубине души и сам считает совхоз более высокой формой хозяйства. Совхоз, — единый государственный сектор, — в его глазах озарен лучами совершенства, и переход к нему представляется венцом творенья, светлым и прекрасным будущим, о котором покамест, — хотя он и не умеет объяснить почему, — не может быть и речи. В тайниках сердца Мартынов с Андроничем согласен. Идеал трудового коллектива для него — завод, фабрика, государственное хозяйство. Колхоз, который Мартынов честно стремится укрепить, кажется ему все же, хоть и по иным, может быть, нежели деду Андроничу, причинам, не вполне совершенным институтом. Он и в мысль не берет, что колхоз не только дань отсталым настроениям вчерашнего единоличника, что у такой формы хозяйства могут быть даже и преимущества не только перед единоличностью, но даже и перед совхозом, преимущества в том самом состязании с природой, которым живет сельское хозяйство.

Преимущества эти, упущенные из виду и Андроничем и Мартыновым главным образом потому, что под водительством Борзова они были упущены и жизнью, заключаются в сохранении колхозом множественной активности коллектива его хозяев. В самой структуре колхоза заключена возможность создания условий, которые Маркс считал необходимыми для упразднения бюрократизма: «Упразднение бюрократии возможно лишь при том условии, что всеобщий интерес становится особым интересом *в действительности*, а не только — как у Гегеля — в мысли, *в абстракции*; это, в свою очередь, возможно лишь при том условии, что особый интерес становится в действительности *всеобщим*»¹.

В колхозе всякое его начинание действительно должно стать предметом общего интереса. Лишь при этом он выявит свои преимущества над однозначной волей в использовании многообразных качеств природы. А совхоз с самого начала держится однозначной волей, он даже как правило целенаправлен по производственному профилю — зерновому, птицеводческому, овощеводческому и мало ли какому еще. А раз успех совхоза определяется в основном общими

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, т. I, стр. 273.

мероприятиями и зависит по преимуществу от исполнения руководящей воли, в нем приходится гарантировать и заработную плату. Колхоз же потому и не предполагал такой гарантии, что в теории ждал от своих членов не только простого исполнения, по принципу деда Андронича: сделал — получай! В колхозе предполагалась зависимость плодов крестьянского труда от общего, а не только от председателя, разумеется.

Представление о совхозе как идеальном, а не просто одном из возможных видов социалистического сельского хозяйства, стало формой идеализации волевого начала, так или иначе навязываемого уже и колхозу. А отсюда пошел и самый взгляд на колхоз как на форму перехода к совхозу. В этих мыслях, не всегда высказываемых прямо, но очень твердо живущих в умах и Борзова и Мартынова, пробивается очевидное стремление пойти «дальше» ленинской теории строительства социализма в деревне, предполагавшей общественное хозяйство в самых разнообразных видах, отнюдь не стремящихся к идеалу государственного хозяйства.

Пусть даже не осуществляемые в чистом виде, такие воззрения вольно или невольно плодили недоверие к общественным формам хозяйства и, хотя уже совсем с другой стороны, подрывали корни колхозного производства. Всеобщее превращение колхозов в совхозы диктовалось верой в беспредельные возможности волевого руководства и стремлением убрать с его пути все препятствия. Отсутствие гарантированной оплаты и материального интереса стало одним из таких препятствий, поскольку на совесть и привычку крестьянина к добросовестному труду можно было рассчитывать лишь до той поры, пока не выяснялась их бесплодность для самого крестьянина. Тогда-то как пружина добросовестности и возбуждался материальный интерес. Он отлично уживался с прежним волевым руководством и даже до известного предела его укреплял. Вот что порой означал *переход* к новому, будто бы более высокому виду общественного хозяйства.

Но разве еще Ленин не писал о сложностях перехода к общественному хозяйству? Верно, и писал, и говорил: «у них (у крестьян — П. К.) осталось предубеждение против крупного хозяйства. Крестьянин думает: "Если крупное хозяйство, значит, я опять батрак"». Поэтому-то Ленин не только думал о создании такого крупного хозяйства, в котором крестьянин и в самом деле не был бы батраком, но призывал и «к тому, чтобы учесть особенные условия жизни крестьянина, к тому, чтобы учиться у крестьянина способам переход к лучшему строю и *не сметь командовать*».¹

Но где же обнаружил Мартынов у Ленина указание на то, что строй, к которому деревня будет в конечном счете переходить, представит систему государственных хозяйств? При самом внимательном чтении ни в сочинениях Ленина, ни в решениях партии по сельскому хозяйству, принятых при его жизни, такой перспективы не обнаружить. Да и Сталин в двух статьях о перегибах при

¹ Ленин, СС, т 38, стр. 200-201

коллективизации и даже на XVII съезде партии говорил еще о том, что высшей формой колхозного движения является коммуна, что артель в отделенном будущем перерастет в коммуна, ни словом не упоминая о совхозе. Ленин же сразу после революции говорит лишь об общественной обработке земли, имеющей место и в государственном хозяйстве, и в коммуне и в артели. К концу жизни он окончательно уточняет свое представление о будущем, которое предстоит деревне: «строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства, при классовой победе пролетариата над буржуазией — это и есть строй социализма»¹. Вот к этому строю и надлежало переходить русской деревне, лишь об этом переходе, казалось бы, и думал Ленин.

Переход же от строя цивилизованных кооператоров к «строю единого госсектора», в теории откладываемый на неопределенный срок, а на практике почти осуществленный Борзовым в своем районе в виде волевого руководства колхозами, и укрепляемый Мартыновым с помощью материального интереса, диктовался не ленинской теорией, а практикой, которая не слишком оглядывалась на теорию. Как же надобен был вдумчивый писатель, который, обратившись к этой практике, отыскал бы в ней корни сбывшегося уклада, явно противостоящего теории колхозного строя.

7

Такое исследование и проделал Сергей Залыгин. Его повесть «На Иртыше» критика с тайным одобрением или открытым осуждением почти единодушно противопоставляла «Поднятой целине» Шолохова. Противопоставление тем более парадоксальное, что стиль, общий склад и самая художественная направленность письма Залыгина сложились под несомненным влиянием Шолохова. Но не только художественная манера, а и позиция Залыгина не слишком отличается от шолоховской. Пафос и того и другого в утверждении коллективного общественного хозяйства как единственно разумного для крестьянина. Правда, у Залыгина более драматический характер приобретают последствия известных перегибов в коллективизации. Однако, открытие этих перегибов не заслуга Залыгина, — о них говорил и Шолохов, и если бы Залыгин ограничился повторением давно известного, повесть едва ли бы привлекла такое внимание.

Оно вызвано другим. Отстаивая, вместе с Шолоховым, общественное хозяйство деревни, Залыгин — и в этом его заслуга — различает противников колхоза не только среди кулаков и кулацких подголосков вроде Александра Ударцева, поджегшего амбар с колхозным зерном. Вооруженный опытом минувших лет, Залыгин видит и другую, совсем другую опасность. В давно осужденных перегибах он просматривает смысл, логику и последовательность этой опасности. Первоначальный этап строительства колхозов он изучает в свете всего движения деревни за протекшие годы. Оттого-то картина, им

¹ Ленин, СС, т.45, стр.373

воссозданная, не скрывает реальных противоречий и не сбивается на то, чтобы свалить все дурное на благонамеренные излишества, ошибки или даже злоупотребления каких-то дурных, злых или жестоких людей. Залыгин изображает жизнь, проясняя смысл происходящего.

Он начинает повествование, когда колхоз в Крутых Луках уже создан и Степан Чаузов в него уже вступил. Вступил, правда, понуждаемый косвенным принуждением, за которое Ленин предлагал подвергать употребляющих его представителей Советской власти строжайшей ответственности и отстранению от работы в деревне: выполнив твердое задание, Чаузов немедленно получил второе и, понятно, призадумался, не дожدهшься ли еще и третьего, если не вступишь в колхоз. Однако, вступил всерьез, и всерьез решил жить новому. Недаром председатель Павел Печура именно о Степане думает как о будущем руководителе колхоза. Стал ли бы Степан руководителем, даже и в других условиях, трудно гадать, но уж свою преданность колхозному делу он выказывает с самого начала повести, первым бросаясь в огонь спасать колхозное добро.

Залыгину, впрочем, интересен не сам по себе процесс создания колхоза, с перегибами или без них. Ему важно выяснить, отчего честному, разумному, работающему Степану Чаузову, по общему мнению призванному быть опорой колхоза, не нашлось в колхозе места. Скажут: случайность, — сгоряча свалил в яр дом кулака, потом, отчасти сознавая свою горячность, пожалел жену этого кулака. Стали расследовать одно, — обнаружилось другое. Усомнились в Степане. Надо было доказать свою преданность, — сдать еще хлеба, а он не сдал, заупрямился. Вот сам себя и погубил.

Можно, конечно, предположить, что, не заупрямься Степан, и беды бы не было. Но ведь не попусту он упрямился, — еще перед тем сообразил, что даже и припрятанных запасов на всех явившихся теперь в доме едоков хватит едва-едва. Стало быть, «глупое» его упрямство было попросту утверждением права крестьянина, выполнившего в один год два твердых задания по хлебу, самому есть досыта, не более того. Тридцатые годы — не время военного коммунизма, когда оправданы были материальные лишения, справедливо падавшие на всех, в том числе и на крестьянина. Время то миновало, советская власть укрепилась, отчего же Степану отдавать то, что никак не является лишком?

Понятно, можно бы и схитрить, можно бы и необходимое отдать, поголодать, да уцелеть. Но человек, способный все это своевременно сообразить, надо думать, стал бы хитрить не только для спасения жизни. Это был бы совсем иного склада человек, — где употребляющий хитрость своей корысти ради, а где и на то, чтобы отстоять интересы колхоза, — тут о чем-то умолчав перед начальством, там прикинувшись дураком, там приняв на себя вину и выговор, — все ради того, чтобы потихоньку сделать нужное по сути вещей, но не предусмотренное указаниями дело, и так исхитрившись, уже и приказы начальства исполнить, заслужив себе прощение, если даже не одобрение. Но чтобы такой характер сложился, нужно было еще погодить, да и, к тому же, хоть его благородной хитрости мы во многом обвязаны тем, что есть еще у нас хоть сколько-нибудь хлеба,

за прямодушным Степаном ему в споре с землей все одно не поспеть. У Чаузова весь его интерес и сосредоточивался на самом деле, на самой работе, а у такого хитреца ум по преимуществу тратится на поиски лучшего способа извернуться. Нет, не мог Степан схитрить, а если бы схитрил, был бы это уже не Степан Чаузов.

Можно предположить, что и Степану не так бы тяжело пришлось, окажись на месте товарища Корякина и Мити кто другой, более дальновидный и разумный. Вот ведь говорят, что и судьба Григория Мелехова, а Степан ему сродни, могла бы быть иной, попадись ему более зрелое руководство. Но у Залыгина Ю-рист возражает против наказания Чаузова, Печура тоже вступает за него, да и Митя понимает, что Чаузов — «кулак не настоящий». Большинство руководителей в Крутых Луках не сомневается в преданности Чаузова колхозу и советской власти, тверд тут только товарищ Корякин, и, однако, судьба Чаузова решена.

Залыгин понимает, что беда не в злой воле тех, кто его погубил. Не о себе они думали. «Нет, не было в Печуре в Павле корысти. Не было ни на столько.» Трудно заподозрить в корысти и Ю-риста, вступившего в партию еще до революции, узнавшего царскую ссылку и пусть несколько прямолинейного в тракторке происходящего, мыслящего готовыми формулами, не сумевшего понять, как же это Степан дом свалил, а Ольгу с ребятишками пожалел, — однако же несомненно бескорыстно преданного идее. И Митя не лжет, когда говорит: «Я ничего не боюсь — что меня кулак убьет или еще хуже советская власть за кулака нечаянно примет и за болото сошлет. Лес рубят — щепки летят... Я честно служу делу». И настолько честно он ему служит, что не доверяет даже и самому себе в убеждении, что Чаузов кулак не настоящий. Он видит себя лишь исполнителем вне его рождающейся воли, а справедливость того, что делает, измеряет лишь собственным бескорытием. И когда Клавдия бросает ему: «Честное-то правдой дается, а не разбоем», он не без высокомерия отвечает: «Разбой — это, Клавдия Петровна, для себя, для личного обогащения. А здесь — борьба за светлое будущее». Вот оно, живое воплощение абстрактного гуманизма: во имя светлого будущего всего человечества Митя не дрогнув, уничтожит по отдельности всех людей на свете. Но ни искренность его, ни добрые намерения не подлежат сомнению. Да и товарищ Корякин не заслуживает подозрения в своекорыстии. Происшедшее со Степаном, как и с Григорием Мелеховым, не следствие случайной ошибки, будь так, их судьбы не были бы столь примечательны.

Незадолго перед случившимся в Крутых Луках Сталин говорил: «Хорош ли будет у нас низовой советский аппарат или плох, наше продвижение вперед, наше наступление будет сокращать капиталистические элементы и вытеснять их, а они, умирающие классы, будут сопротивляться несмотря ни на что. Вот в чем социальная основа обострения классовой борьбы».¹ Теория

¹ И. Сталин. Вопросы ленинизма, 1939, стр. 231.

обострения классово́й борьбы по мере побед социализма, выдвинутая Сталиным, была, как известно, подвергнута в последние годы критике. Однако, как бы то ни было, Сталин был прав, считая, что качество аппарата не меняет существа проводимой им политики.

У Залыгина Фофан думает, что «мужик — он политикой не занимается... Он испокон века жизнью занимается. Землю пашет, скотину пасет, ребятишек родит. Политика ему все одно какая, ему жизнь надобна — урожай, приплод...». Но дальновидный Нечай замечает: «Да ить как сказать... — урожаю-то ему, мужику, недоставало, приплоду тоже, он и надумал политику припречь...»

Размышляя о будущей жизни, Нечай, точь-в-точь овечкинский Андронич, готов отречься от собственности и «жить по гудку», «на жаловании» и «в казенной квартире». Он только просит: «Ты сперва отбери от меня мою собственность, а после гуди в любое время, командавай налево, направо, кругом марш! Мне без ее, без собственности, любую фигуру выполнять будет запросто, ровно солдату без скатки». Степан тоже признается: «Разделили меня напополам: одну половину колхозу, другую, куда меньше первой, самому мне оставили, но я эту меньшую, все одно больше чую». В нынешней жизни он явно сознает за собой не одну только обязанность исполнения, но и право что-то решать: «Ежели ты мне индивидуальный двор оставил с бабой, с ребятишками, то и я, хоть какой, а хозяин в ем».

Это свое хозяйское право крутолучинские мужики хотят простереть не только на собственные дворы, но и на самый колхоз. Создателю и первому его председателю Павлу Печуре кажется, что «зачнем пахать-сеять, тогда уже, конечно, сами по себе станем. Может и вызовут на заседание в месяц, а то и во все лето раз. А в остальном — не им же судить, в какую землю и кого нам сеять, каких коней в плуги запрягать, а которых в бороны. На то у нас хотя бы и Фофан есть Ягодка, чтобы правильно в хозяйстве рассудить. И другие.»

Степан, в точности подтверждая ленинские слова об опасениях крестьянина, плохо верит в столь радужное житье: «Тебе распоряжаться, а мне сполнять, и весь тут закон». Нечай идет еще дальше: «Ты, значит, будешь думать, — говорит он Фофану, — а я сполнять. Год-другой минул — из тебя уже какой-никакой начальник вылутился, ты командовать в привычку взял, а я как тот поросенок с рогулькой на шее — в одну дырку мне рогулька ходу не дает, в другую и не думай, ходи, где позволено.» Когда же Фофан успокаивает его, уверяя, что через год они переменятся, Нечай не поддается: «Это нонче тебе запросто сказать. А через годок-то тебе командовать шибко поглянется и ты мне объяснишь уже по-другому. Скажешь: "Я команду знаю, изучил, а тебе, Нечай, в этом деле сызнова учиться надобно, и один бог знает, что с твоего ученья получится. Когда кажный год председатели да заместители будут у нас ученик да ученики — это колхозу страшно во вред!" Вот как ты правильно скажешь...». И сам же признается: «Я тебя начальника ругаю, а поставь меня на твое место, я, может, во сто крат хуже буду. И даже очень просто. Ты — смиренный, а я портфелью-то не просто так помахивать буду, а по башкам колотить, сознательность вколачивать. Я, брат, тебя ни

бояться, ни совеститься не буду! Надо мной тоже будет начальник, тот с меня спросит, чтобы я его приказ исполнил. Исполню — вот и буду перед им куда как хорош, а ежели тебя раз-другой портфелью шибану — это от него же мне и простится».

Картина, которая рисуется Нечаю, предусматривает полное его отстранение от влияния на ход дел в хозяйстве. Нечай на словах, как и Андроныч, согласен на такой порядок, лишь бы квартира казенная да жалованье. Но если Андроныч, устав жить в колхозе с пустым трудоднем, согласен так жить уже всерьез, то согласие Нечая еще полемический прием опытного спорщика. Оно лишь означает, что покуда деревенский человек остается земледельцем, — в колхозе или вне колхоза, — чтобы хозяйство не развалилось, ему необходима самостоятельность решений.

Фофан убежден: «Ежели мужик Степан Чаузов без наряда не смекнет, что нонче делать надобно, тогда правда что весь крутолучинский колхоз седни же в могилу закопать и в самый раз получится.» Так же думает и Павел Печура: «Ты понятие за колхоз имей, ты почуй — голова-то на тебе — не за себя только ее носить, а и за других тоже. Ты не об том сейчас думай: хорошо ли это либо плохо — колхоз, а — об том, как в ем лучше исделать в колхозе.» Да и сам Степан, размышляя об обилии учителей, явившихся теперь у мужика, надеется все на ту же мужицкую самостоятельность. Вот только «дайте мужикам подумать, Дайте им самосаду накуриться, не тревожьте их, не мешайте — они тоже для чего-то жизнь живут, головы на себе таскают. Они в колхоз вошли, они и уладят в колхозе как-никак дело». Это-то его нутряное убеждение и напарывается на железную волю товарища Корякина, превращающую события в Крутых Луках из происшествия в трагедию.

8

«Дайте мужикам подумать!» Справедливость требует сказать, что Залыгин не первый, кто на этом настаивает. За сто лет до него в брошюре «Крестьянский вопрос» Энгельс писал: «Мы решительно стоим на стороне мелкого крестьянина; мы будем делать все возможное, чтобы ему было сноснее жить; чтобы облегчить ему переход к товариществу, в случае, если он на это решится; в том же случае, если он еще не будет в состоянии принять это решение, мы постараемся предоставить ему возможно больше времени *подумать* об этом на своем клочке».¹ Как же ни Ю-рист, ни Митя, ни товарищ Корякин не вспомнили об этом?

Они бы, может, и вспомнили, но именно об этих словах Энгельса Сталин сказал: «Чем объяснить такую с первого взгляда преувеличенную осмотрительность Энгельса? Из чего исходил он при этом? Очевидно, что он исходил из наличия частной собственности на землю, из того факта, что у крестьянина имеется "свой клочок" земли, с которым ему, крестьянину, трудно будет расстаться. Таково

¹ Маркс и Энгельс, СС, т. 12, стр. 152

крестьянство на Западе. Таково крестьянство в капиталистических странах, где существует частная собственность на землю. Понятно, что тут нужна большая осмотрительность. Можно ли сказать, что у нас в СССР имеется такое положение? Нет, этого нельзя сказать».¹ Как видим, ход рассуждения ясно давал понять, что, выходит, у нас преувеличенная осмотрительность не нужна.

Так было сказано в самом конце декабря 1929 года, а уже в начале марта Сталину пришлось выступить со статьей «Головокружение от успехов», призывающей к преодолению перегибов — рядовые работники слишком хорошо усвоили, что преувеличенная осмотрительность не нужна. А Энгельс призывал к осмотрительности вовсе не из-за частной собственности на землю, — это лишь предположение Сталина, ничем не обоснованное, само понадобившееся, чтобы обосновать отказ от излишней осмотрительности.

И не только с пожелавшим самостоятельности единоличником обходились так. Тогда же вызревало и пренебрежение к самостоятельности колхоза. Сталин видел колхоз, как форму организации, «правда, социалистическую, но все же форму организации», и говорил о том, что «колхозы, как форма организации, не только не гарантированы от проникновения антисоветских элементов, но представляют даже на первое время некоторые удобства для временного использования их контрреволюционерами».²

Он тут же разъяснял, как искать в колхозе этих контрреволюционеров: «Ищут кулака, каким мы его знаем из плакатов. Но таких кулаков давно уже нет на поверхности. Нынешние кулаки и подкулачники, нынешние антисоветские элементы в деревне — это большей частью люди "тихие", "сладенькие", почти "святые". Их не нужно искать далеко от колхоза, они сидят в самом колхозе и занимают там должности кладовщиков, завхозов, счетоводов, секретарей и т.д. Они никогда не скажут — "долгой колхозы". Они "за" колхозы. Но они ведут в колхозах такую саботажническую и вредительскую работу, что колхозам от них не поздоровится. Они никогда не скажут — "долгой хлебозаготовки". Они "за" хлебозаготовки, они "только" пускаются в демагогию и требуют, чтобы колхоз образовал фонд для животноводства, втрое больший по размерам, чем это требуется для дела, чтобы колхоз образовал страховой фонд, втрое больший по размерам, чем это требуется для дела, чтобы колхоз выдавал на общественное питание от 6 до 10 фунтов хлеба в день на работника и т.д. Понятно, что после таких "фондов" и выдач на общественное питание, после такой жульнической демагогии хозяйственная мощь колхоза должна быть подорвана и для хлебозаготовок не останется места».³

Невозможно уразуметь, каким образом создание в колхозе своих фондов, да еще в увеличенных размерах, подорвет его хозяйственную

¹ И.Сталин, Вопросы ленинизма, 1939, стр. 282

² Там же, стр.405

³ И.Сталин, Вопросы ленинизма, 1939, стр. 406

мощь. Трудно судить и о том, были ли размеры этих фондов больше «необходимого для дела», поскольку цифр оратор не приводит. Но понять, что такое 6-10 фунтов в день на работника, очень даже можно. Будем считать, что у работника жена и трое детей — пять ртов в семье, хотя зачастую, если живы старики, их больше. Если давать работнику по 8 фунтов хлеба, он получит на едока по 640 граммов — норму военной карточной системы. И эта-то норма представляется вредительски завышенной! А ведь даже и на одного работающего в поле человека эти 8 фунтов, в особенности, когда другой еды нет, всего лишь необходимое, чтобы работать в полную силу.

Речь идет уже не о собственном хлебе, который отказался сдать Степан Чаузов. Речь идет о колхозных фондах, о мало-мальски необходимом питании крестьянина, — и вот оказывается, интерес к собственным нуждам колхоза, или вошедших в него крестьян, и вообще к чему-либо, кроме хлебозаготовок, избличает кулака, создавшего колхоз для большего удобства контрреволюционных действий! Где уж тут было искать действительного кулака, который порой, действительно, проникал в колхоз для того, чтобы в самом деле разрушить его хозяйство, лишит колхоз необходимых фондов и оживить в душе крестьянина пугавшую его мысль: «Если крупное хозяйство, значит, я опять батрак».

Читавший Сталина товарищ Корякин отлично понимал, что Степану Чаузову никогда накрепко не объяснишь, что увеличением общественных фондов можно разрушить хозяйство колхоза, а хлеба крестьянину надо выдавать самую малость, не более, чем в городе по карточкам. Он и подумал: «Всю жизнь за ним следить и его останавливать невозможно». Степан это понимает и сам: «Ну, отдал бы я вчерась зерно, а дальше что? На другом бы на чем не уступил, не так сказал бы. И в аккурат — то же на то и вышло бы...».

Не за то Степан страдает, что стал валить дом Ударцева, хотя это и было преступление, карать за которое даже и следовало, хотя, пожалуй, и не так жестоко, учитывая, что было оно совершено совместно с другими, возбуждено поджогом общественного добра и покушением на жизнь, и все же обошлось без кровопролития. Он страдает и не за то, что приютил Ольгу Ударцеву, — хотя такая человечность и бросает уже на него тень. Больше всего он страдает за свою самостоятельность, за то, что чувствует себя человеком, а не только участником хлебозаготовок.

Как это ни покажется странным, больше всего его порочит отвага, с которой он бросился спасать колхозное добро. «Нынче Чаузов Степан шел пожар тушить, а завтра он пойдет колхоз рушить и некоторые мужики его на этот случай берегут», — говорит товарищ Корякин, и в некотором смысле он прав. Чаузов всегда отстаивал бы колхоз как форму крестьянской самостоятельности. Он отстаивал бы этим подлинными интересами государства, нуждающегося в укреплении колхозов. Но в том-то все и дело, что «действительная цель государства... представляется бюрократии *противогосударственной*

целью».¹ Для Корякина самостоятельность и человечность Степана — лишь повод подозревать в нем врага колхоза, ведь колхоз, по его понятиям, должен безропотно исполнять любое предписание. Для Чаузова колхоз — место, где крестьянин должен быть человеком.

Эта мысль о надобности быть человеком проходит сквозь всю повесть. Фофанов говорит: «Вот и будь человеком, сознательно в общий котел зарабатывай, не только что за себя - за всех думай, и колхоз будет не понарошке». «Опомнитесь, батя, человека убиваете! Человека!», — кричит Ольга поднявшему ломик свекру. «А ну, вытаскивай всех живых отседева!», — приказывает Степан, прежде чем валить ударцевский дом. «Я ведь за человека замуж шла», — напоминает Клавдия, умоляя Степана не выгонять Ольгу. «Люди ведь мы. Интересно, как человек на твоём бы месте сделал», — говорит Степан Ю-ристу, осуждающему его за то, что приютил Ольгу. И когда Митя объясняет Клавдии, что она, «поскольку происходит из совсем другой классовой прослойки», могла, бы «заявление подать», то есть отречься от мужа и этой ценой остаться в Крутых Луках даже и с детьми, она не сразу понимает, что говорит уполномоченный. Но едва поняв, находит слова: «Кутенок ты разнесчастный! А я-то за тобой ходила, на стол тебе подавала, портки твои штопала, и все зря. Неужто зря? Души в тебе ничуть не прибавилось?».

Многие, конечно, осудят как пережиток эту надобность круталучиноких мужиков иметь душу, быть людьми. Но только ли от чувства достоинства, укрепившегося после революции, от естественного стремления к духовным и нравственным ценностям, которое и само по себе уважительно, идет эта надобность? Или, сверх всего, живет еще в мужиках ясное сознание того, что вырастить хлеб, отстоять его у природы, может только человек, только человек с душой, чуткой и восприимчивой. Робкий Павел Печура, пытаясь выручить Степана, об этом как раз и говорит: «Вон видишь как — не дал зерна, а сам-то, может, и больше значит для колхоза, чем зерно его?» В прозрении незадачливого председателя содержится исчерпывающее объяснение всех трудностей, которые с тех пор испытывает наше сельское хозяйство. Человек, который сеет хлеб, значит больше, чем хлеб, который он на этот раз собрал.

9

Ленинский кооперативный план вроде бы предполагал объединение крестьян прежде всего ради самих крестьян. «Мелким хозяйствам из нужды не выйти», — писал Ленин. Коллективное хозяйство естественно должно было и давать хлеб городу, отчасти в виде твердого продовольственного налога, но, главным образом, на началах товарного обмена, — получая из города нужное деревне, а нужда ее в городских товарах с развитием все бы возрастала. «Культурная работа для крестьян» — имелась в виду прежде всего

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, т. I, стр. 271.

культура экономических отношений — представлялась Ленину одной из двух основных задач эпохи. (Первой была «переделка нашего аппарата, который ровно никуда не годится и который принят нами целиком от прежней эпохи».¹) Ленин перед смертью говорил, что центр тяжести партийной работы переносился во внутренние экономические отношения. Когда читаешь статью «О кооперации» ленинский план строительства социализма выглядит планом экономическим. Возможно, возникли бы коллективные хозяйства при НЭПе, их эволюционное развитие впрямь поднимало бы деревню. Но сам же Ленин в то же самое время хотел скорейшей ликвидации НЭПа, утверждая, что в отступлении перед ним советская власть зашла достаточно далеко. Но пока НЭП удерживали — еще семь лет после ленинских призывов — колхозы в массовом порядке не возникали, не много было желающих, их начали активно создавать при ликвидации НЭПа.

Оба пожелания Ленина были, хоть и не сразу, выполнены, и практика показала, что жизнь коллективного хозяйства отнюдь не стала экономической, оно не продавало собранные урожаи, поскольку никакого рыночного обмена не стало, а сдавало их государству и, странным образом, всегда было у него в долгу, отчего и трудодень становился пустым. Работа на колхозном поле фактически не оплачивалась, а чтобы колхозникам не помереть, им отводили приусадебные участки, работой на которых они поддерживали свое существование. Если капиталист удерживал у рабочего прибавочную ценность (стоимость), оплачивая его труд не полностью, то советская власть труд крестьянина не оплачивала вовсе, вынуждая его к прибавочному труду на себя. Вот и не удивительно, что Твардовский в поэме «Страна Муравия», написанной в 1936 году во славу коллективизации, вдруг роняет: «Кабы жалованье, что ли, положили мужикам!» Это, понятно, голос оппонировавший автору, но всплывавший в сознании при виде бесплатного труда на господском колхозном, а на деле государственном, поле. Трудно допустить, что гениальный ум Ленина не догадывался, что таким и будет результат его грандиозного плана создания коллективных хозяйств при ликвидации НЭПа и рыночных отношений. Но он стремился подавить буржуазную революцию, происшедшую в деревне в Октябре 1917 года, ценой которой большевики и захватили власть. Сталин ее подавил.

Вот верх и взяла внеэкономическая, тенденция, усматривавшая в коллективизации лишь средство более быстрого и надежного выполнения хлебозаготовок. Можно ее оправдывать тем, что в значительней степени благодаря внеэкономическому ведению хозяйства удалось относительно быстро создать крупные индустриальные предприятия. Можно, впрочем, и заметить что развитие промышленности было бы более успешным на экономических началах. Но так или иначе, в деревне внеэкономическая система хозяйства себя очень быстро исчерпала. Поставляя на первых порах

¹ Ленин, СС, т.45. стр.376

хлеб, она выталкивала, вытесняла, а где и деморализовала деревенского человека.

На первом съезде колхозников-ударников, состоявшемся в 1933 году, Сталин говорил: «Те трудности, которые стоят перед вами, не стоят даже того, чтобы серьезно разговаривать о них». Но разговаривать пришлось уже в следующем году на XVII съезде партии, где Сталин сам отметил медленный рост земледелия и отставание животноводства от дореволюционного уровня. С тех пор разговоры эти, которые «не стоило вести серьезно», не умолкали, с особой силой возобновившись в 1953 году, когда были сделаны известные шаги к возрождению экономической жизни деревни и ее экономических отношений с городом.

Но первые эти шаги не только не были сразу продолжены, но во многих случаях вновь сменялись внеэкономическими, волевыми методами, сплошь и рядом создавая причудливые симбиозы чисто волевого воздействия и чисто материальной заинтересованности, которые не только не исправляли бедственное положение деревни, но еще больше запутывали.

А экономическая жизнь — это не просто возбуждение материальных стимулов. Сами по себе, тем более при волевом регулировании своей направленности, они никак не гарантируют целесообразное хозяйствование. Нормальная экономическая жизнь предполагает самостоятельность сознательного человека, готового и способного по доброй воле соблюдать ее нормы. А в ряду этих норм, понимаемых достаточно широко, оказываются и нравственность, и индивидуальная активность, и самодисциплина, и чувство независимости, и преданность обществу, и забота о своих детях, и человеческое достоинство, и уважение к другим, — словом, все те качества, которые были или вполне могли развиваться в Степане Чаузове, и без которых материальный интерес устремляется отнюдь не только в желанную сторону, но и в такие, где его должна пресекать милиция.

Материальный интерес, взятый сам по себе, хотя и дает возможность активизировать усилия воли, не делает их более плодотворными, покуда волевое усилие не соразмеряет свои возможности с реальной природой. Лучше всех девиз внеэкономического воздействия «Мы все можем! Нам все нипочем!» сформулировал Сталин, когда, в минуту грозной опасности, жизнь вынуждала его осудить такие настроения. Но, как трезвый политик, он тогда же заметил, что «нет оснований утверждать, что они не будут усиливаться».¹ Они и в самом деле усиливались всюду, где хозяйство оставалось без подлинного и в достаточной мере устойчивого экономического механизма, где оно не отстояло хотя бы некоторой своей самостоятельности, при которой повседневный взор его участников, а не только спорадические проверки извне, выясняет смысл и целесообразность общей деятельности. Такую возможность как раз и мог бы дать подлинный колхоз. Слово это прочно вошло в

¹ И. Сталин, Вопросы ленинизма, 1939, стр. 300

быт, и мы не даем себе труда помнить, что возникло оно как сокращение слов «коллективное хозяйство», — коллективное не только в труде, но и в решении своих дел, и в доброй воле не по принуждению действовать сообща.

Теория обострения классовой борьбы по мере утверждения социализма, выдвинутая Сталиным, была не чем иным, как теоретическим выражением понимания социализма, как внеэкономического принуждения. Оно оформилось в таком именно виде не только потому, что у Маркса ему невозможно сыскать какое-либо основание, и хозяйственные мероприятия, не укладывающиеся в рамки марксистской экономической теории, выступали как чисто политические. Внеэкономическое воздействие на хозяйство и в самом деле, даже без специального злого умысла, побуждало видеть в каждом, кто ему сопротивлялся, — врага. И чем дальше шло внеэкономическое волевое воздействие, тем неизбежнее, хотели люди того или не хотели, ему сопротивлялись. Зачастую они даже не сознавали своего сопротивления руководящей воле, они его тем более не желали, но природа сопротивлялась и подтверждала, что человек от нее по-прежнему зависит. Порой сказывалось и отсутствие у человека достаточной самостоятельности, чтобы совладать с природой там, где это было бы возможно. Трагедия состояла не просто в том, что правящая воля была злой, а цели дурными — воля могла быть и доброй, а цели высокими, однако, стремление достигнуть желанных целей внеэкономическим путем, непосредственным волевым воздействием, неизбежно тормозилось прямым или косвенным сопротивлением природы и обращалось в свою противоположность. Деревенский человек больше всех других зависит от природы. Он же больше всех подвергался внеэкономическому воздействию. Оттого-то в деревне сущность и последствия подмены экономической жизни волевыми действиями стали наиболее очевидны обществу.

Вот горожане и принялись жадно читать деревенскую прозу.

18.VII.1965

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЧЕРАШНЕЙ ГАЗЕТЫ

В конце книжки, составленной Анатолием Аграновским из статей, опубликованных им в «Известиях»¹, кратко сообщается о последствиях каждой. Легко убедиться, что автор работает не зря. Государственные комитеты, министры и даже Верховные суды принимают необходимые меры, отмеченные недостатки устраняются, и если нетерпеливый читатель начнет с эпилога, ему покажется, что читать книгу уже нет смысла. Мы вообще торопимся забыть вчерашнюю газету. К чему она, когда принесли новую, пахнущую свежей краской? Но если вычеркнуть вчерашние подвиги и вчерашние промахи, мы перестанем понимать происходящее.

Для А. Аграновского вчера, сегодня и завтра не разобщены. Он рассказывает, как преследовали учителя Топорова, знакомого крестьян глухой деревни с Гейне и Ибсенем. Он рассказывает о конструкторах-добровольцах, которые сделали счетно-электронную машину лучше той, что была изготовлена в установленном месте, по плану и по заказу. И то и другое не новость. Об одном скажут «пережиток прошлого», о другом — «зримые черты коммунизма». Аграновский не развешивает этикетки: жизнь занимает его не как собрание характерных черт, а как процесс.

Статьи по преимуществу написаны об оплошностях, ошибках, даже преступлениях. Но книжка Аграновского на редкость бодр и исполнена уверенности в завтрашнем дне. И не потому вовсе она оптимистична, что автор доказывает, будто с недостатками покончено раз и навсегда, а потому, что причины этих недостатков он ищет не в чем-то дурном характере и не в чьей-то злой воле. Сколько говорено о вреде «волевого» руководства, сколько «волевых» руководителей изблещено нашей прессой! Аграновский едва ли не проходит мимо этой популярной темы. Он лишь вскользь замечает: «Нужда в волевом нажиме является тогда, когда нет других аргументов». И он задумывается о том, почему их нет.

Давно известно, что недостатки — продолжение достоинств. Аграновский учитывает это обстоятельство. Все еще существует обычай возводить причины всего дурного, что нам встречается, к давним временам. При этом, однако, упускают из вида, что отдавать в настоящем столь большую долю власти давно прошедшему означает преуменьшать реальную значимость и силу нового, нынешнего. Аграновский, напротив, понимает, что недостатки не просто продолжают жить, но рождаются — как обратная сторона чего-то хорошего и нового, как противоречия именно новой действительности, противоречия развития.

Сегодня даже буржуазная печать говорит об успехах нашего общества, о том, что аграрная страна стала индустриальной, о том, как выросло в сравнении с 1913 годом производство стали, тракторов и радиоприемников. Говорит об этом и Аграновский, но идет дальше. Он

¹ Анатолий Аграновский. Суть дела. Политиздат. 1968.

догадывается, что самый большой успех страны состоит в росте требований, которые она предъявила сегодня и предъявит завтра своим людям.

Не только тому, как принимать в вузы, учит опыт Ивана Ивановича Краковского, ректора Горьковского института инженеров водного транспорта. Вместо того, чтобы ужесточать старую систему приема, выдвигая все новые и новые критерии, Краковский предложил новый способ отбора. Он стал допускать на занятия не набравших при поступлении нужной суммы баллов, сделал их «кандидатами» в студенты и при успехах переводил в «действительные» студенты на места отчисленных за неуспеваемость. Аграновский подробно рассказывает о поднявшихся вокруг спорах, и проблема произвольно выходит из вузовских рамок.

Чтобы использовать возможности, которые человечеству открыла научно-техническая революция, необходимо максимальное число одаренных людей. Их не хватает. Америка обворовывает Европу, до сей поры сохраняющую здесь преимущества — плоды вековой культуры. У нас принципы отбора способных людей — не только для учения, но еще больше для работы после учения — вырастают в государственную проблему. За любым из очерков Аграновского проглядывает столкновение таланта и бездарности, компетентности и невежества.

Везде, на всех постах и должностях, нужны люди, просто-напросто хорошо умеющие делать свое дело. Аграновский пишет об этом: «Надоели дилетанты. Полуспецы, недомастера, любители в том единственном, прямом своем деле, за которое получают зарплату. Как-то, я бы сказал, многовато развелось их — людей, которые не умеют. От дилетанта-водопроводчика, после которого обязательно текут краны, до дилетанта-руководителя, который портит дело, так сказать, в более крупном масштабе».

Но состязание компетентности и дилетантизма, какие бы обороты ни принимал подчас их бой, все же, надо надеяться, завершится победой таланта, ума и знания. Их моральной победой явилось уже само по себе решение партии о переходе на новую систему хозяйствования. Причины медлительности в осуществлении ряда решений сентябрьского (1965 года) Пленума ЦК КПСС, о которой недавно писал в «Правде» председатель Госплана СССР Н. Байбаков, показались Аграновскому существенными. Он показывает, что во имя полного осуществления реформы нужно, «чтобы каждый ощутил себя хозяином дела, чтобы инициатива была разбужена во всех тружениках». И далее: «Наивно представление, что человек может быть активен у станка и пассивен в гражданской жизни — так сказать, новатор в цехе и обыватель в быту. Еще Н. Г. Чернышевский в 1859 году писал: "Как вы хотите, чтобы оказывал энергию в производстве человек, который приучен не оказывать энергии в защите своей личности от притеснений? Привычка не может быть ограничиваема какими-нибудь частными сферами: она охватывает все стороны жизни. Нельзя выдрессировать человека так, чтобы он умел, например, быть энергичным на ниве и безответным в приказной избе"».

Многие нынче пишут, и верно пишут, о необходимости развития общественной мысли, широкой гласности и т. п. Аграновский и здесь не ограничивается само собой разумеющимся. Он сосредоточивается на демонстрации связи между расширением социалистической демократии и повседневными потребностями народного хозяйства, умением лучше сеять хлеб, варить сталь и строить самолеты. Плодотворность такого подхода многократно подтверждена и в прошлом и в настоящем. Конечно, формы поддержания соответствия между потребностями экономики и возможностями общественной жизни с течением времени меняются. Однако и в наших условиях требования экономики к формам общественной жизни составляют суть дела.

Книжка Анатолия Аграновского в конечном счете — именно об этом.

РЕШЕНИЯ, ОТ КОТОРЫХ НЕ УЙТИ

Мы без труда обнаружим в советской литературе книги, близкие этому роману. О классовой борьбе в пору коренных социальных преобразований написано немало. О борьбе против фашистского нашествия тоже. Но никогда, пожалуй, темы эти не переплетались так тесно. Здесь, впрочем, нет еще заслуги писателя — за него поработала жизнь. Советскую власть в Литве установили в 1940 году, а в 1941 началась немецкая оккупация; все, что в России могло быть понято за десятилетия, литовцам приходилось осмыслить за год-два. Понятно, что процесс этот нередко бывал драматическим, полным самых острых противоречий. Достоинство книги Авижюса в том, что он исследует эти противоречия без страха, не сглаживая рубцы реальности, и доходит до корней. Роман, написанный о литовцах и для литовцев, в чем-то самом главном оказывается близким и русскому, и украинскому, и всякому другому читателю, всерьез размышляющему о судьбах своего народа и о социальной справедливости.

Самый характер письма, традиционно-обстоятельного, любующегося крестьянским укладом, — тоже не новость для нашей, особенно так называемой «деревенской», литературы. Но и тут литовская действительность расширяет поле зрения. У горожанина, изображаемого Авижюсом, связи с деревней еще не разорваны. Здесь приходится разбираться в различиях и противоречиях общественных групп. Авижюс делает это.

Как быть небольшому народу, попавшему под гусеницы нацистских танков? Ответ элементарен — надо выстоять! Но каким же все-таки образом? Герои Авижюса, кто всерьез, а кто для самооправдания, рассуждают о национальных интересах, но единства среди них нет. Перед нами широкая палитра взглядов — от фашиста Адомаса до коммуниста Марюса. В центре внимания автора — те, кто поначалу видит спасение малого народа (и собственное спасение также) в возможности уклониться от гигантской схватки, охватившей планету.

Но Авижюс недаром традиционалист. Наделив каждого героя реальным психологическим обликом, он именно тут ищет ответ на события, с которыми героев сталкивает. Верность народу начинается в романе с верности самому себе, а социальные позиции зачастую рождаются на почве сызмальства усвоенных или, напротив, плохо усвоенных нравственных понятий. Когда крестьянин Кяршис, помышляющий, казалось, лишь о личном обогащении и совершенно равнодушный к бушующей кругом буре, обнаруживает у себя на сеновале скрывающегося от немцев коммуниста Марюса (к тому же — первую любовь своей жены), он рискует собой, чтобы спасти его.

Национальная проблема занимает Авижюса не столько во внешних, сколько во внутренних ракурсах. Описывая зверства нацистов на захваченной территории, автор романа прежде всего исследует реакцию литовцев на происходящее. Раскол здесь обозначающийся, существен для всего повествования. Учитель Гедиминас Джюгас, вспоминая, что среди убийц были и ученики его гимназии, стыдится заговорить с ненадолго уцелевшей жертвой, —

«ведь говорить пришлось бы на том же языке, который вчера вместе с выстрелами звучал в Ольшанике».

Судьба Гедиминаса еще нагляднее, чем судьба Кяршиса, демонстрирует тщетность уклонения от роковых вопросов времени. В духовной жизни не остается даже той иллюзии, что стоишь вне схватки, которая может держаться у крестьянина до очередной конфискации оккупантами выращенного хлеба. Отстраненный в сороковом году от преподавания за чрезмерную погруженность в литовскую историю, Гедиминас оказывается отброшенным во вражеский лагерь. Но здесь, среди нацистских преступников, ему нет места. Он ищет щель, где можно укрыться. Писатель прослеживает путь Гедиминаса до минуты, когда тот, наконец, понимает, что обступающие его вопросы решаются не созерцанием, а борьбой. Мы не знаем, как сложится судьба героя. Можно предполагать, что автор вернется к нему в последующих томах. И все же история, рассказанная в книге, окончена. Причастность к эпохе и значимость каждого собственного поступка доведены до наглядности. Но есть в романе и нечто большее.

Авижюс менее всего публицист в общепринятом смысле. Но его галерея портретов, перерастающая в портрет общества, толкает мысль к прямым выводам. Для малого, как и для большого народа, единственной реальной опорой национального существования остается прямое участие в решении своих социальных проблем. Вот о чем, в конечном счете, пишет Йонас Авижюс.

И хотя этот вывод, разумеется, не нов, в теоретическом выражении традиционен, добытый писателем как бы заново, из конкретной жизни, он оказывается свежим, живым и обеспечит роману успех у большого круга читателей.

ЗА КОГО ЧОНКИН?

Посреди повествования Владимир Войнович предостерегает: «Данная книга не является строго научной, и пользоваться ею как историческим источником следует с некоторой осторожностью». Предостережение полезное не только для «Жизни и необычайных приключений солдата Ивана Чонкина». Исторические источники, вообще требуют осмотрительности в обращении. Не одни сатирики выдумывают людей и события, каких не встретишь в специальных трудах, — сама жизнь, величайший художник всех времен и народов, сочиняет подчас такое, что ни в каком сне не приснится. А люди, пытаясь понять происшедшее, зачастую лишь раскладывают его по готовым полочкам, оставляя многие полочки в тени. Вот и в наши дни, когда о казнях тридцатых годов говорят открыто и с осуждением, никто не припоминает, что великий вождь, это дело наладивший, именно тогда провозгласил: «Жить стало лучше, жить стало веселей!».

Никто, кроме поэта, жизнью заплатившего за дерзновенные слова «что ни казнь у него — то малина», — так доселе и не взгляделся в веселье, в непрменный оптимизм вершивших невероятное. А проглядев это веселье, заслоненное его печальными плодами, нынче подыскивают в оправдание происшедшему серьезные слова «неизбежность», «трудные обстоятельства», «самодержавные традиции», «капиталистическое окружение» и всерьез утверждают, что, находясь в здравом уме и твердой памяти, можно было верить, что творцы и защитники веками назревавшей в стране революции чуть не поголовно являлись диверсантами и шпионами иностранных держав.

Вовсе не общество «Память» придумало, что все беды от злых заговорщиков с инородческими фамилиями. Оно лишь вторит великому Сталину, веселившемуся, расстреливая мнимых шпионов и диверсантов, а заодно миллионы прочих граждан. Вспоминая трагические страницы истории, мы обходим это веселье, а без него не понять что к чему.

Между тем веселье, вскармливаемое горем, кругом умножавшимся, обнажало гротескный характер происходившего, и в противовес такому веселью как раз и рождается почва для сатиры, отнюдь не всегда и не везде наличествующая, ибо сатира — вовсе не высмеивание порока, а исследование его природы, побуждающее смеяться над неожиданным несоответствием истины привычным понятиям. Сатира растет не из желания обратить трагическое в смешную сторону, а как ответ жертв трагедии весельчакам. Вот почему сатирики, в противовес весельчакам, люди, как правило, не веселые. Ведь именно им жизнь открывается цельной, и читатели сатиры смеются сквозь слезы.

Сатира Войновича, его прославившая и переведенная более чем на тридцать языков, обращена к временам войны. Сатира — запредельное бесстрашие реализма, а никогда, вероятно, наша реальность не становилась столь страшным гротеском, как в те годы. Даже голодными последствиями учиненного им раскрестьяничания Сталин еще весело пренебрегал. Покупка хлеба за рубежом стала возможна лишь после его кончины, поскольку Хрущев признал, что

люди все же должны есть не только в столицах и курортных городах. Даже в этой народной трагедии дистанция между действиями и последствиями была для высоко стоящих относительно растяжима. На войне плоды безответственного оптимизма («...малой кровью на чужой территории») тотчас становились ощутимы не только рядовым, а отношения с реальностью — предельно наглядны. Предмет сатиры тут, понятно, не война с ее неисчислимыми бедами, а образ жизни, при котором с песней «Если завтра война... будь сегодня к походу готов» и приоритетами всему, что вроде бы этому служит, реальную войну встречают к ней не готовыми — и не просто потому, что никому не веривший Сталин словно Красная шапочка поверил нацистскому волку.

Солдата Чонкина поставили охранять неисправный самолет, совершивший вынужденную посадку у деревни Красное. Командование не предполагало, что один солдат не сможет двадцать четыре часа в сутки непрерывно стоять на посту. А когда началась война, о нем не вспомнили. Таких пренебрежений реальностью и здравым смыслом, предусмотренным даже уставом строевой службы, не говоря о гражданских законах, допускатось полным полно. Между тем деревенский парень Ваня Чонкин только реальность и брал в расчет и, предоставленный самому себе, естественно, расположился в ближайшем к самолету доме одинокой почтальонши Нюры Беляшовой.

Но ее сосед, кладовщик Кузьма Гладышев, жил мечтой о гибриде картофеля с томатом, приносящем и помидоры и картошку разом. Нюрина корова, ненароком забредя к нему в огород, погубила гибридные растения, и Гладышев, по бытовавшему трафарету сочтя это кознями Чонкина, обращается в соответствующее Учреждение, тут же выславшее команду для ареста врага народа. Но Чонкин помнил, что он на посту, и, поскольку никто из имеющих право его сменить так и не появился, в одиночку арестовал пришедших арестовывать его. Потом один из них бежал, пошли слухи об орудующей в Красном банде Чонкина, и против нее вышел полк. Солдат, стоявший на часах, храбро сражался и с целым полком. Однако генерал, сперва опознавший советского солдата и восхитившийся его высоким сознанием воинского долга, без сопротивления отдал героя в руки нацелившегося на него Учреждения.

Развиваясь, эта нехитрая фабула проясняет отношения многочисленных персонажей, вплоть до Берии и самого Сталина, с реальностью. Нюра, когда у нее не берут передачу для арестованного Чонкина, обивает пороги, ссылаясь на свою близость с ним и беременность, долженствующие, по ее понятиям, перевесить отсутствие свидетельства о браке. Но, вопреки тому, что до 1944 года фактический брак у нас в стране не отличался перед законом от юридического, ей толкуют, что это не та реальность, которую следует признавать, не то и будущему ребенку не сдобровать.

Сидящие в кабинетах на реальность не оглядываются, даже не вполне ее сознают. Только прокурор Евпраксеин терзается несоответствием своих служебных речей и личных мыслей. Остальные знают лишь установку (она побуждает исключать из партии председателя колхоза, ради спасения урожая прекратившего в дурную погоду работы) да еще сопряженный с ней личный интерес. Он-то и

есть главная движущая сила, отчего к любой перемене установки эти люди наперед готовы, и глава местного Учреждения капитан Миляга, по оплошности приняв войска, до которых он, удрав от Чонкина, добрался, за германские, старательно вопит: «Ес лебе геноссе Гитлер!» и торопится рассказать о том ущербе, который нанес Советской стране, расстреливая без разбора и коммунистов, и беспартийных.

Все события так или иначе спроецированы на главную коллизию. Чонкин, любящий Родину и готовый за нее умереть, находится в постоянном противодействии с Учреждением и прочей администрацией, исходящими из другой, чем он, системы ценностей, и все героически совершаемое для блага народа неумолимо ведет к тому, что героя объявляют врагом народа, поскольку таковым наперед сочтен всякий, так или иначе уклоняющийся от беспрекословного повиновения произволу администрации и ее самым нелепым установкам.

Коллизия Войновича неожиданно совпадает с коллизией Владимира Дудинцева в романе «Белые одежды». Там тоже сделать что-то для отечества можно лишь втайне от лиц, провозглашенных свыше выразителями воли отечества, и вопреки им. Дудинцев верит, что конечная победа добра в такой ситуации зависит лишь от способностей и усердия сторонников добра. Он наделяет своего Федора Дежкина, вслух послушно повторяющего бред академика Рядно, а втихомолку оберегающего картофель, выведенный талантливым генетиком, чертами тоже героическими. Личный нравственный подвиг под личиной безнравственности на его взгляд способен превозмочь любые общественные условия, и дело лишь за самоотверженностью. Жизнь, к сожалению, продемонстрировала обратное: никакие отдельные подвиги выдающихся ученых, впрямь имевшие место и достойные восхищения, не спасли нашу науку от упадка, преодолеть который и в переменившихся условиях непросто. У Войновича личное мужество Чонкина и его беззаветная преданность долгу, увы, пропадают зазря, поскольку сражаться ему приходится отнюдь не с завоевателем, уже топчущим родную землю. Он-то все равно защищает советскую власть, но от тех, кто эту власть олицетворяет, и, как честный человек, не меняющий личин, естественно, терпит поражение. Установленному Сталиным порядку, ставшему объектом сатиры Войновича, и прежде, и ныне, и противники и сторонники социализма подыскивали определения и эпитеты. Владимир Войнович едва ли не первым вслух назвал этот порядок антисоветским, и, думается, это эпитет точный.

Увы, уже первая книга «Чонкина», готовая в начале семидесятых, не была у нас напечатана. Антисоветскими были тогда объявлены писания самого Войновича. Ему настоятельно посоветовали покинуть родину, что он, после некоторого сопротивления, в конце 1980 года и сделал, а вскоре был лишен советского гражданства.

Было бы наивно рассуждать о том, что это несправедливо по отношению к честному, яркому и самобытному таланту, прибавившему славы современной русской литературе, и перечислять личные и художественные достоинства Владимира Войновича, — я ведь не на

Государственную премию его выставляю. Важнее отметить, что среди советских граждан и без Войновича остались люди, не так, как положено, думающие о том или другом и даже допускающие ошибки, приносящие обществу больше неприятностей, чем само по себе звучание неприятной правды.

В «Чонкине» Войнович пишет о «свойственной человеку привычке направлять свой гнев на тех, кто говорит неприятную правду, как будто, если не говорить, сама правда от этого станет лучше». И поскольку в обозримом будущем едва ли удастся добиться того, чтобы народ состоял лишь из архангелов, ангелов, святых и блаженных, вряд ли стоит этой заведомо утопической цели с таким усердием добиваться, тем более что усердие к ней не приближает, а, как показала жизнь, стремительно отдаляет. С заблуждающимися согражданами полезнее открыто спорить, объясняя им и их единоверцам, в чем состоит заблуждение. И не забывать, что никто из нас не владеет истиной в последней инстанции, так что весьма существенные ее элементы могут оказаться как раз у тех, кого сперва сочли заблуждающимися. Гласность необходима для выяснения истины, а не просто для приличия.

В искусстве заведомое деление на всегда знающих истину и совершающих лишь ошибки опасно, поскольку подлинный художник в своих работах обычно ближе к истине, чем в своих внешнехудожественных суждениях. Ленинские статьи о Толстом вроде бы растолковали это с предельной ясностью, но их все еще выдают за охранную грамоту графу Льву Николаевичу лично, а не искусству и художественной литературе в целом.

Политические противники СССР, в своих видах облыжно разделившие советскую литературу на «официальную» и «неофициальную», сделали это с советской подачи. Да у нас и разрядов напридумали побольше. Литература, опубликованная на родине, отнюдь не вся признавалась официальной, а бдительно делилась на полноценную, как «Белая береза» и «Кавалер Золотой Звезды», и неполноценную, как «За правое дело» и даже «Молодая гвардия». Сверх того была еще литература, опубликованная прежде, которую надлежало запомнить, словно ее и не бывало. И еще литература неопубликованная, оставшаяся в рукописях, которые, как неизвестный роман Бабеля, оказывается, отлично горят. И еще литература, опубликованная «там» после революции. И еще -- «там» после войны. И еще — «там» в годы застоя. А все это, между тем, единая русская литература. И соответственно единая украинская, единая литовская, единая армянская и т.п.

Чуткому читателю видно, что Виктор Астафьев читал Солженицына и после его изгнания, а Андрей Битов — Набокова и до его признания, — ни тот, ни другой своих отличий от читаемых авторов от этого не утратил. Вот и пора бы единство национальной литературы признать и на нее, как целое, обратить анализ объективной критики, не боящейся ни высоко оценить живущего за рубежом или печатающегося лишь там русского писателя, ни поспорить с ним.

Отчасти по привычке давних лет, отчасти этой привычкой напуганная, наша критика от открытого разговора о русской литературе

и русской мысли как многослойном и противоречивом, но едином явлении, все еще уклоняется, отыскивая для этого порой самые благородные основания. В «Новом мире» №8 за 1988 год Алла Латынина пишет: «...прежде, чем полемизировать с кем-либо, надо предоставить ему возможность изложить свои взгляды публично. По-моему, тут азбука демократической печати». По-моему, тоже. Однако обращение к азбуке демократии понадобилось Алле Латыниной, чтобы лишить нас права говорить об обществе «Память»: «...спорим с мнениями, печатью не высказанными, с пересказами, со слухами».

Но, помилуй бог, «Память» провела не один уличный митинг, ее представители выступают в таких заметных местах, как Ленинградский университет, она распространяет листовки и магнитные записи речей своих лидеров. Так неужто обо всем этом помалкивать, покуда для деклараций «Памяти» не предоставит страницы «Правда» или сам «Новый мир», что, кстати, вполне в его власти? Но только не в качестве предварительного условия для обсуждения уже провозглашенного «Памятью» публично! Кто выступил публично, пусть и не столь гигантским тиражом, как у «Нового мира», кого можно было слушать хоть в Румянцевском саду, рядом с Академией художеств, не вправе сетовать на публичность ответов. И совсем уж ничего не остается от азбуки демократии в уподоблении осуждающих ныне «Память» осуждавшим впрямь не читанный ими роман Пастернака, который в садах публично не читали, на магнитные ленты не записывали, да и в самиздате он стал ходить уже после скандала.

О русских книгах, изданных за рубежом, нашей критике надо открыто говорить и не отделять их от изданных дома. А для соблюдения азбуки демократической печати достаточно, чтобы все русские книги, независимо от места их издания, кроме, видимо, призывающих к насильственному свержению существующего строя и другим видам насилия, стали доступны любопытствующему читателю, встав на полки крупных публичных библиотек и, может быть, на прилавки магазинов, торгующих зарубежной книгой.

А когда мы убедимся, что русская литература, где бы и когда бы она ни создавалась, представляет собой некое единство, как раз и обнаружится, сколь она — и вовсе не по специфичности судеб авторов, по которым ее делили досель, — разнообразна. Окажется, что во всех ее географически разобщенных регионах жива тяга и к большевистским идеалам, и к народническим, и к демократическим, и к диктаторским, и к республиканским, и к монархическим, и к либеральным, и к черносотенным, тяга и к свободомыслию и к единомыслию, опять же дробящемуся на единомыслие религиозное, по числу религий, и единомыслие атеистическое. Не видя пестроты национального сознания, не говоря уже о многонациональном, не разглядеть реальность жизни и перспективы ее бескровного преобразования, перестройки.

А при виде спектра современной русской литературы выясняется, что «Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина» и другие книги, написанные той же рукой, — едва ли не самые яркие сегодня проявления российской демократической традиции, которая, что бы ни твердили глашатаи авторитарности, тоже издавна

существовала, хоть в нашем отечестве и не брала верх надолго. Автор этих книг авторитарности не хочет никакой, под каким бы стягом и по какую бы сторону баррикад или государственных границ она ни выступала.

Давно сказано: «Посмеяться над священным быком Аписом — значит расстричь его в простые быки». Войнович, смеющийся над всяким культом, отнюдь не только сталинским или брежневским, помогает своим читателям осознать мир, в котором мы живем, и необходимость его реального преобразования на благо конкретных людей, составляющих советский народ. За это, за этих конкретных людей, и выступает Ваня Чонкин.

НЕДОСТОВЕРНОЕ ОПОЗНАНИЕ

И в полемике не следует белое называть черным

Люди моего поколения хорошо знают, что такое «стукач». Слишком часто приходилось гадать, кто стукач, штатный или внештатный, добровольный или вынужденный. Ведомство, содержащее стукачей, знало, какова их репутация, и когда уже изымали из общества не всех инакомыслящих, не гнушалось пустить слушок: «Иванов — стукач!» — предостерегая окружающих от доверия инакомыслящему. Подобные слухи пускали чуть не о Солженицыне. «Работа» реальных стукачей от этого не страдала. Разоблачить их могли только прямые доказательства. Конечно, каждый полагался на собственные ощущения, но обличать по одним ощущениям остерегались. А ныне свободная печать, не сообразуясь не то что с моралью, но и с фактами, винит в стукачестве Джорджа Оруэлла, обессмертившего себя изображением электронного стукача — телескринина и, быть может, самым глубоким пониманием влияния стукачества на общество.

В Англии рассекретили очередную порцию бумаг и среди них письмо Оруэлла к Селии Кёруан, сотруднице информационно-исследовательского отдела британского МИДа. Она просила писателя, с которым была дружна, порекомендовать людей, способных вести идейную борьбу с агрессивным коммунизмом, пагубность которого в Британии осознали, хоть и не сразу, после войны и фултоновской речи Черчилля, но задолго до того, как Борис Николаевич Ельцин вышел из партии.

Оруэлл не только дал несколько рекомендаций, но и предостерег от обращения к людям, на его взгляд, к такой борьбе непригодным ввиду их коммунистических симпатий. Для себя он вел список прокоммунистических авторов, поскольку активно выступал против них в печати, и не исключено, хоть подтверждения того и нет, что он познакомил с этим списком Селию.

Британские газеты развернули полемику. Правые заявляли, что всегда считали Оруэлла патриотом. Левые осуждали его контакт с правительством, заметим, с левым, социалистическим правительством Клемента Эттли. Не вступился за писателя даже Майкл Фут, сам позднее член социалистического правительства. Иных социалистов все еще шокирует антикоммунистическая, антисталинская позиция Оруэлла. Они и сегодня не осознали, что такое советский строй, и не видят, что под левыми лозунгами он был на деле крайне правым, отчего воистину левый демократ Оруэлл и стал его противником. На это закрывают глаза и у нас, не случайно российская печать еще резче британской и куда единодушной обрушилась на писателя, без обиняков объявив его стукачом. Стоит задуматься и об обоснованности обвинения, и о его побудительных причинах.

В Англии с ее культом частной жизни одна из первых добродетелей — недоносительство. Трудно предположить, что о тайном занятии знаменитой пятерки советских шпионов в самом сердце британской разведки не догадывался никто из их знакомых. Но никто не донес. Один из пятерых так и остался неразоблаченным и

появляясь неизвестен, а чтимый у нас Ким Филби смог заблаговременно сбежать в СССР. Не то чтобы промолчавшие разделяли их взгляды, но британский джентльмен не считает возможным информировать государство о том, что он узнал или ему доверили частным образом. Как говорил в подобном случае Достоевский: «Разве это мое дело? Это дело полиции». Быть стукачом, сексотом, осведомителем, шпионом, то есть, информируя свое или чужое государство, делать публичным то, что стало тебе известно как частному лицу, конечно, недостойно. Но это не значит, что сопротивляться такому можно тоже только недостойными методами. Достойнее всего открыто демонстрировать, сколь дурны цели, ради которых применяются и к которым ведут недостойные средства. Именно это неустанно делал Оруэлл. И вот его, да еще на фоне нашего опыта, объявляют стукачом и сексотом!

Британское правовое сознание опирается не на всеобщие правила, а на анализ конкретных случаев. У Оруэлла как добрые, так и дурные впечатления от других авторов складывались прежде всего на основании их публичной профессиональной деятельности. Не то чтобы кто-то из отрицательно рекомендованных доверительно признавался Оруэллу в приверженности коммунизму. А во-вторых, о прокоммунистических настроениях таких авторов Оруэлл говорил не только служившей в МИДе приятельнице, но и в открытой печати. Не будь его уже к тому времени в живых (он умер менее чем год спустя), понять, кого бы он рекомендовал, а кого нет, можно было бы по его печатным выступлениям. И ведь после публикации, скажем, блестящей статьи «Уэллс, Гитлер и Всемирное государство» никаких обвинений в стукачестве не последовало, хотя писатель прямо говорил о политическом смысле выступлений выдающегося коллеги, призывавшего не придавать значения деятельности Гитлера.

Коммунистическая партия, требующая смены общественного строя, действовала в Англии легально, члены ее регулярно баллотировались, а иногда и избирались в парламент и никакому наказанию не подлежали, в то время как у нас сама принадлежность к какой-либо партии, кроме правящей, была уголовно наказуема. К тому же у нас, опять же в отличие от Англии, архивы, за вычетом бакатинского мгновения, и через 50 лет не слишком-то рассекречиваются. Можно ли, отвлекаясь от всего этого, делать вид, что назвать человека по его опять же открытым выступлениям коммунистом — совершенно то же самое, что у нас тогда назвать человека антикоммунистом?

Почему, однако, с такой яростью кинулись у нас клеймить писателя за банальную, в сущности, мысль, что сторонников коммунизма не стоит привлекать к критике коммунизма? Речь-то шла исключительно об этом! Никто ведь не удивляется, что профашистски настроенного человека не просят разоблачать фашизм. Не секрет, что Бернард Шоу, входивший в оруэлловский список, открыто заявлял, что диктатура Муссолини намного превосходит демократию, как она применяется в Англии. Неужто напомнивший об этом, пусть даже Отделу пропаганды ЦК КПСС, становился тем самым стукачом? Шоу приветствовал и то, что в России не допускалось существования других партий, кроме коммунистической. Неужто сказать об этом

означало бы настучать на выдающегося драматурга? Предвзятость подобных наветов на Оруэлла ощутима уже в лексике опубликованного сообщения из Лондона.

Писатель имел дело с департаментом МИДа, созданным для контрпропаганды, но не с разведкой или контрразведкой, занятыми отнюдь не идейными спорами. Тем не менее приглашение МИДом писателей и публицистов для ведения идейной борьбы называют «вербовкой агентов». А Селию Кёруан именуют даже «офицером Форин-офиса». Собственный корреспондент в Лондоне наверняка прекрасно знает, что значение слова «офицер» в английском языке несопоставимо шире, чем в русском, что там оно означает прежде всего «сотрудник», «служащий», «чиновник». К примеру, clerical officer — это секретарь духовной консистории и к разведке не причастен. Чтобы вышло пострашней, слова «форин-офис» даны без перевода, хоть не все читатели знают, что это МИД, а со словом «офицер» не вполне сознают, что Селия Кёруан, если говорить по-русски, всего лишь «сотрудница министерства иностранных дел». А далее она именуется уже просто «разведчицей». Но ведь то, что дипломатия и разведка порой пересекаются, не значит, что любого сотрудника МИДа можно назвать разведчиком. Е.М. Примакова, видимо, можно, поскольку он прежде официально возглавлял разведку, но, назвав так покойного А.А. Громыко, можно было получить судебный иск за клевету. И уж совсем странно именовать «разведчиком» человека, выступающего с критическими статьями о порядках в какой-нибудь стране, или сотрудника редакции, такие статьи собирающего для публикации. Краски нарочито сгущаются. А зачем?

Как многим в ту пору, наступление тоталитаризма казалось Оруэллу неизбежным. Он думал, что времена либерального капитализма навсегда миновали и неотвратима централизация экономики, которая, как он понял раньше многих, ликвидирует не только свободу хозяйственной деятельности, но и свободу мысли. Писатель, однако, верил в способность мысли и, в частности, способность литературы выстоять и главной надеждой этого считал личные усилия, личную стойкость человека. Его великий роман впечатляет удивительно точным описанием не только неведомого ему тоталитарного государства, но и духовного сопротивления героя его диктату. Герой потерпел поражение, он «полюбил Большого брата». Но поражение героя зовет читателя продолжать сопротивление.

Хорошо знакомая нам тоталитарная реальность все же не до конца смогла укротить мысль. Мы знаем имена героев сопротивления. Советские граждане шли в ГУЛАГ — а шел туда каждый десятый, если не больше, — преимущественно невиновными и в практическом, и в юридическом смысле, но нередко согрешившими в мыслях своих, то есть потому, что их мысль, даже и не враждебная режиму, на миг оказывалась независимой. Различия в отношении к Большому брату, даже не высказываемые вслух, и вне зоны определяли жизнь советских граждан, в том числе и девятнадцати миллионов коммунистов. Открытое обозначение тех различий как раз и должно бы стать опорой демократического преобразования страны.

Но все чаще звучит другое: все мы оттуда, все одинаковы, все отмечены печатью тоталитарности, и надо нас, как Моисей свой народ, сорок лет водить по пустыне, прежде чем начнется новая жизнь. Но мы семьдесят с лишним лет как раз и ходили по безморальной пустыне и вышли из нее разными, не по формальным приметам, а по своему отношению к Большому брату. А нам внушают, что даже Джордж Оруэлл, объяснивший миллионам, где расходятся человек и государство, был не что иное, как стукач, такой же, как все. То есть, нет разницы меж тем, кто зорко разглядел, как под манящими социалистическими идеями ворочается чудище тоталитаризма, и тем, кто в нужное время вступил в партию и в нужное из нее выходил. Это уже не просто клевета на отдельного человека, пусть даже большого писателя. Это новая попытка навязать нам унитарное сознание: чего там глядеть, кто опять ворует, опять убивает, — все мы одним миром мазаны! Но духовное оздоровление, в котором нуждается страна, начинается с освобождения от этой большой лжи, с осознания различия меж ложью и правдой, меж достойным и недостойным и более всего с освобождения от любви к Большому брату, зовут его Сталин, Брежнев, Ельцин, Зюганов или как там еще.

Не все, что виделось Оруэллу в мрачном 1949 году, подтвердилось. Он думал, к примеру, что Китай окажется среди стран, где уцелеет свободная мысль, а в том же 1949 возникла Китайская народная Республика, по части тоталитаризма сразу начавшая догонять и перегонять и Россию, и Германию. Оруэллу казалось, что централизация хозяйства неизбежна, а ныне мир уже бросился в другую крайность: Фрэнсис Фукуяма уверяет, что либерализм навсегда победил в мировом масштабе и тоталитаризм не страшен. Нас опять толкают к иллюзиям Уэллса, и мы опять нуждаемся в правоте Оруэлла. Мысль движется не только вперед. Мнения меняются. Думать, как Оруэлл, необязательно. Poleмика неизбежна, без нее нет жизни. Но соблюдать правила полемики и не называть белое черным — первый долг свободной печати. Не соблюдая его, она уже этим демонстрирует, что несвободна.

СТАРЫЕ ПИСЬМА

После смерти Толстого Короленко считали крупнейшим из живых писателей, а живы были и Бунин, и Горький, и Федор Сологуб. Сопоставления с Толстым или Гоголем не обязательны, хотя одну великую книгу, которую стоит прочесть каждому, кто хочет что-то понять в России, он все-таки написал. Это «История моего современника». Но вспомнил я о нем по другому поводу — из-за президентских выборов, ведь после свержения царя первым президентом России многие хотели видеть Короленко. Даже большевик Луначарский. Пост, занятый у нас людьми прежнего мира, секретарем обкома Ельциным и профессиональным чекистом Путиным, мог занять Короленко, человек иного мира, в прежнем бывший узником и ссыльным.

Он был известен тем, что вступался за людей, за удмуртов, обвиненных в человеческих жертвоприношениях, за Бейлиса, тоже обвиненного в ритуальном убийстве, за преследуемых по социальным и национальным мотивам, — а это требовало мужества и честности, качеств, государственным деятелям необходимых, но редко свойственных. Поляк по матери и украинец по отцу, Короленко был русским патриотом, — не в том жутком смысле, который это словосочетание обрело ныне, а в буквальном. Он любил Россию, и ему было оскорбительно слышать еще тогда звучавшие речи, что она, дескать, не созрела для демократии и в ней нельзя соблюдать хотя бы элементарные нормы, уже в XIX веке утвердившиеся в Европе. Он был убежден, что Россия способна их соблюдать не хуже других и прямо говорил: «всякая страна всегда является созревшей для законности».

Дело за тем, чтобы решить, чего мы ждем от государства, — чтобы оно командовало обществом и определяло, сколько дать ему свободы, или чтобы оно обслуживало общество. В первом случае полезен кагебистский опыт Путина, во втором — правозащитный опыт Короленко. Настоящие государственники — это люди, защищающие право и закон (как сам Короленко отлично сказал, «закон, отделенный от власти»), а вовсе не те, кто насаждает произвол государства. Короленко — не сторонник непротivления злу, он сторонник государства, но правового, а не чинящего произвол.

В том и была его сила, что он не просто проповедовал добро, а добивался его осуществления. Корней Чуковский задолго до революции подметил: «Не к принципам всегда апеллирует Короленко, а к людям, и не принципы защищает, а людей... Он отнюдь не спасает человечество, он спасает того или другого отдельного человека». Для него, прожившего большую часть жизни в провинции, Россия была не абстракцией, а общим именем миллионов отдельных людей, каждый из которых со своей конкретной судьбой мог стать предметом его забот. Но в Октябре страной овладели люди, непрерывно приносившие других людей в жертву своим понятиям о том, как надо жить. Сперва, вероятно, движимые благими, хоть и утопическими, намерениями. Но ради своего понимания добра они убивали все больше, что и отталкивало Короленко. Он прямо говорил: «Основная ошибка советской власти — это попытка ввести социализм без свободы».

В Полтаве, где он жил, побывали и белые, и красные, и немцы, и сторонники самостийной Украины, — и всем он оказывался не ко двору, со всеми приходил в конфликт потому, что защищал людей. Он и деникинцев, и ленинцев просил остановить расстрелы и насилие над мирными жителями. Еще в декабре 17-го он писал, обращаясь к советским властям: «Вы цинично заносите руку насилия над всеобщим избирательным правом, разгоняете избранные всеобщим голосованием Думы и готовитесь насильственно подавить самый голос Учредительного собрания. И это понятно, власть, основанная на ложной идее, обречена на гибель от собственного произвола». Учредительное собрание разогнали месяц спустя, совершивших Октябрьскую революцию Сталин уничтожил двадцать лет спустя. А Короленко видел и то, и другое наперед, и можно сказать, что нынешние бедствия в большой мере от того, что свергнув царизм страна уже не слышала Короленко и таких как он. Вот и вернулась от царского самодержавия к сталинскому.

Могло ли звучание его голоса что-то изменить? Если бы не могло, коммунисты не вводили бы уже тогда цензуру. Публицист — а Короленко один из самых вдумчивых российских публицистов — помогает людям думать и понимать происходящее. А в ходе гражданской войны люди по обе стороны фронта плохо понимали, что воюют за невозможное. Восстановление прежнего режима, которого хотели царские генералы, было такой же утопией, как построение социализма. Короленко писал: «Мы живем между двумя утопиями: с одной стороны, восстановление нелепостей и гнусностей прошлого, с другой, немедленное водворение социализма бюрократическими мерами». Он подметил, что люди ждут прихода освободителей, то белых, то красных, и сами становятся их жертвами. Ни красные, ни белые не слышали спокойного здравого слова и не давали такому слову звучать. Еще в конце 17 года Короленко заметил: «Ленинский проект "свободы печати", предполагавший искоренение всей печати, кроме большевистской, своей смелостью превосходил самые безумные мечты царских ретроградов. Его можно было бы сравнить с проектом какого-нибудь Горемыкина или Дурново уничтожить всю независимую печать, а все ее средства обратить на издание правительственных органов и рептилий..» Сперва такая ликвидация свободы печати тоже казалась писателю «старчески мрачной, но детски наивной утопией», он еще верил, что перемены, принесенные падением царя, необратимы, но скоро увидел, что «самодурство большевиков ничем не отличается от произвола и самодурства царской власти».

Он нередко писал Раковскому (тогда предсовнаркома Украины), Петровскому, Луначарскому, они слушали, но не очень слышали, предлагали о нем позаботиться, обеспечить ему хорошие условия жизни, от чего он решительно отказывался и просил внимательней читать его письма. Самые значительные из них — письма Луначарскому, который обещал их опубликовать, но на родине они были опубликованы лишь в пору перестройки. После смерти Короленко (в конце 21 года) Луначарский не раз и по-разному объяснял, почему письма не напечатал. Но ему просто нечего было писателю отвечать.

Короленко писал, что в борьбе с народниками марксисты «доказывали, что России необходимо и благодетельно пройти через "стадию капитализма" и сами видели в капиталисте не просто грабителя, но еще и организатора новых отношений, способствующих эффективности производства, далекого от идеала, но служащего развитию страны». Он писал: «По тактическим соображениям вы пожертвовали долгом перед истиной. Вам было выгодно раздуть народную ненависть к капитализму, натравить народные массы на русский капитализм, как натравливают боевой отряд на крепость. И вы не остановились перед извращением истины. <...> Крепость вами взята и отдана на поток и разграбление. Вы забыли только, что эта крепость — народное достояние, <...> что в этом аппарате, созданном русским капитализмом, есть многое, подлежащее усовершенствованию, дальнейшему развитию, а не уничтожению. Вы внушили народу, что все это — только плод грабежа, подлежащий разграблению в свою очередь. <...> Я имею в виду не одни материальные ценности в виде фабрик, заводов, машин, железных дорог, но и те новые процессы и навыки, ту новую социальную структуру, которую вы, марксисты, сами имели в виду, когда доказывали благодетельность "капиталистической стадии"».

Об этом стоит помнить потому, что и нынешние беды, и само нынешнее разорение России пошли от того, что наша власть продолжала жить и все еще живет представлениями, против которых сразу выступил Короленко. Конечно, на смену фанатикам-идеалистам пришли трезвые циники, ни в какой социализм уже не верившие. Брежнев, назвав наш социализм «реальным», подчеркнул этим его отличие от фантастических картин, которые рисовал Ленин, обещая, что при социализме не будет государства и даже армии, а лишь вооруженный народ. Советская власть создала могучую промышленность, но как раз на тех грабительских началах, которые приписала капитализму. А главное требование капиталистического производства — окупаемость, прибыльность, и ради нее стремление удовлетворять спрос, — она отвергла. Наша промышленность делала не то, что нужно людям или работавшим для людей предприятиям, а выполняла нелепые приказы государства. Даже когда в 1991 году банкротство стало очевидным, вчерашние коммунисты не открыли дорогу частному производству в деревне и в городе, а опять занялись дележкой награбленного государством, создавая грабительский капитализм, который держат на привязи. Государственную сверхмонополию надо было не дробить, а вытеснять, и не под ковром, а в ходе рыночного состязания.

Я не идеализирую буржуазное общество и свободную экономику, но нет, увы, других убедительных примеров рентабельного общественного хозяйствования. При свободной экономике и мы могли бы добиться социальных гарантий и общественной взаимопомощи в решении тех проблем, где большинству людей своими силами не обойтись, — пенсии старикам, здравоохранение, образование. А в системе, живущей не проявлением миллионов отдельных волей граждан, а лишь проведением единой воли государства, все это

ненадежно. Над монополистом люди не властны, сегодня государство даст, а завтра еще больше отберет.

Ныне ассортимент знамен государственной монополии разнообразен, — можно именоваться коммунистом, национал-социалистом, монархистом и даже просто государственнымником, без лишних идей. Общий язык они теперь находят запросто. Недавние гонители отступлений от единственно-верного учения с почетом хоронят помазанника Божьего. Авторитарность Ельцина числят противоположностью тоталитарности партии Зюганова, поскольку обновилась вывеска. А спасение России в том, чтобы обратиться к наследству, которое цари и коммунисты поджигали с двух сторон, а новые власти и вовсе знать не хотят. Короленко — олицетворение русской демократии, противопоставшей и царям, и коммунистам. Ее наследство огромно, и его надо воскрешать, чтобы вырваться из навязываемых ложных альтернатив. Но и через восемьдесят лет после смерти писателя, остающегося актуальным, академического собрания его сочинений еще нет.

ПРОПУЩЕННЫЕ УРОКИ

Не приходится удивляться, что ныне проблемы развития национальных культур в центре всеобщего внимания. С одной стороны, возрос удельный вес умственной деятельности в общественном производстве и, соответственно, интерес к проблемам культуры, с другой — растет национальное самосознание. Вопросы развития национальных культур оказались на пересечении двух важнейших тенденций века.

И вот статья Вадима Кожинова «Уроки истории» в одиннадцатом номере журнала «Москва» за 1986 год! Ее основная мысль проста: Ленин, до революции считавший, что в каждой национальной культуре противостоят разные классовые культуры, после революции якобы рассматривал национальную культуру уже как целостную и стоял на страже всего ее достояния, независимо от классового происхождения и содержания. Противники же Ленина, прежде всего, Троцкий, даже и после революции рассматривали культуру с сугубо классовых якобы позиций и под таким флагом сознательно уничтожали культурное достояние русского народа.

Не входя покамест в суть этого оригинального построения, отметим, что литературоведа В. Кожинова огорчает, главным образом, гибель архитектурных памятников и, в частности, строений Московского Кремля, разобранных, как он выражается, «после смерти Ленина». Разобранные сооружения в статье перечислены: храм Спаса-на-Бору, Чудов монастырь с собором Чуда Михаила, Вознесенский монастырь с собором Вознесения и церковь Константина и Елены. Сожалея о разрушениях не менее В. Кожинова, читатель, сколько-нибудь знакомый с историей Кремля, подивится тут, по крайней мере, трем странностям.

Начнем с того, что Ленин и после революции, вопреки В. Кожинову, не утверждал, что вопрос о необходимости сохранить тот или иной памятник сводится к выяснению его художественной или исторической ценности. По прямому распоряжению Ленина в Кремле были разрушены памятник царю Александру II работы известного скульптора А. Опекушина, автора московского памятника Пушкину, и памятник великому князю Сергею Александровичу. Между тем художественной ценностью и эти памятники обладали, и естественно сожалеть об их гибели. Но мог ли Ленин оставить эти памятники неприкосновенными, могла ли революция их пощадить? Могла ли французская революция не срыть Бастилию — архитектурный памятник XIV века, простоявший более четырехсот лет? Могла ли Парижская коммуна не разрушить Вандомскую колонну, уже через несколько лет после ее поражения неслучайно восстановленную? Разумеется, гибель художественного произведения или исторической реликвии всегда прискорбна. Но правомерно ли, сожалея о них, отвлекаться от обстоятельств их гибели? Только понимая эти обстоятельства во всей их совокупности, мы способны различить, где гибель памятника была практически неотвратима, а где она — плод легкомыслия, безответственности и даже преступления.

Вадим Кожин об этом различии знать не хочет. Он выступает как бескомпромиссный защитник потерянных сокровищ. Вот только — и это вторая странность — он бескомпромиссен лишь к послереволюционным утратам. Всем интересующимся историей Кремля известно, что она знает не только созидание, но и разрушение великолепных порой храмов и палат. Даже и нынешний красавец Успенский собор стоит на месте прежнего, тоже представлявшего несомненную ценность. Но к таким утратам В. Кожин снисходителен, пусть даже на месте разрушенного памятника ничего равноценного поставлено не было. Он пишет: «На Ивановской площади, близ знаменитой колокольни, был построен в начале XVI века собор Николая Гостунского. Через три столетия, в 1817 году, площадь потребовалась для военного парада, на котором присутствовал прусский король. И за одну ночь собор был снесен... Но мы и теперь помним, что именно в этом соборе в 1550-х годах начал свою деятельность первопечатник Иван Федоров». С последним нельзя не согласиться. Действительно помним. Как помним и то, что из разрушенного позднее Чудова монастыря вышел Григорий Отрепьев. Трудно только понять, почему в первом случае, имевшем место до революции, В. Кожин вполне удовлетворяется тем, что «мы и теперь помним», никого не обличает и не задается вопросом, «как это могло случиться», который он гневно ставит во втором случае, имевшем место после революции, и на который торопится ответить, что причиной было «заведомое извращение либо тупо-начетническое толкование ленинских высказываний о национальной культуре, содержащихся в ряде его работ 1913-1914 годов». А ведь ни в 1817 году, когда ради парада в честь прусского короля сломали собор Николая Гостунского, ни тем более раньше извращать или тупо-начетнически толковать ленинские высказывания было невозможно, поскольку они и сами еще не существовали, но ломка в Кремле шла куда активнее, чем после революции.

Разумеется, и до революции она вызывалась отнюдь не сознательным намерением погубить памятники искусства, составляющие национальное достояние. Но художественное достоинство не было и тогда единственным или хотя бы главным критерием, определявшим судьбы памятников. Для церкви ценность храма определялась прежде всего его, так сказать, идеологическим достоинством, тем, что, независимо от наличия или отсутствия художественных достоинств, делало его местом общения верующих с Богом. Для этого храмовому зданию надлежало отвечать определенным канонам, а сверх того оно еще должно было быть освящено. Существовали и ритуальные процедуры, эту святость с церковного здания снимавшие, и нанести даже самый малый ущерб действующему храму считалось страшным грехом, но разрушить по тем или иным соображениям храм, лишенный святости, грехом вовсе не было. То, что это мог быть выдающийся памятник архитектуры, для церкви значения не имело. Достаточно вспомнить, что всемирно известный храм Покрова-на-Нерли собирались разобрать на материал для строительства колокольни в соседнем Боголюбовом монастыре и все необходимые разрешения от духовного начальства были уже

получены, но, к нашему счастью, игумен не сошелся с подрядчиками в плате за разборку, и великий памятник уцелел.

Проще всего, конечно, обругать духовенство за то, что судьбы выдающихся храмовых зданий определялись не их художественными достоинствами. Однако куда плодотворней понять, что даже и теми из духовных лиц, кто не хуже нас ощущал художественные достоинства этих зданий и дорожил ими, двигала все же совсем иная иерархия ценностей, обусловленная их социальными задачами, а не просто большей или меньшей любовью к искусству. Понимать историю — означает понимать, как и отчего менялись системы ценностей. Для этого необходимо точно соотносить интересующие нас события с общественными отношениями и временем, когда они происходили. Но В. Кожинов пытается создать впечатление, будто происходившее в определенный исторический час происходило совсем в другие времена. Это третья и, пожалуй, самая удивительная странность.

Все оплакиваемые В. Кожиновым кремлевские сооружения стали ломать не просто, как он уклончиво пишет, «после смерти Ленина», а начиная с 1929 года. Главным виновником ломки В. Кожинов называет Л. Д. Троцкого. Между тем, после смерти Ленина за фракционную работу, а затем и за деятельность, направленную на раскол партии, Троцкий в январе 1925 года был снят с поста наркомвоенмора, осенью 1926 выведен из Политбюро, в октябре 1927 - из ЦК, а 7 ноября того же года исключен из партии, вскоре после чего был выслан в Алма-Ату, а в 1929 - вообще за пределы СССР.

Естественно, возникает вопрос, каким же образом в пору, когда он был идейно разгромлен, когда вся полнота руководства в партии и государстве перешла к человеку, резко выступавшему против Троцкого и троцкизма, идеи Троцкого, не игравшие прежде никакой роли в судьбе кремлевских сооружений, вдруг стали определять их судьбу?

А если выйти за пределы Кремля, поинтересоваться судьбами многочисленных архитектурных сокровищ остальной Москвы, то выяснится, что и они разрушены по преимуществу в тридцатые годы, то есть именно тогда, когда оттеснялись, а затем и физически уничтожались многие выдающиеся деятели ленинской партии, участники Октябрьской революции и гражданской войны.

Неожиданное, на первый взгляд, совпадение! Вот бы и поразмыслить: случайно ли оно? Вот бы и попытаться понять, отчего разом изменили свое место в новой шкале и ценности давних времен, и ценности, вызванные к жизни семнадцатым годом? Отчего, например, одновременно стали ломать старые церкви и убирать левую живопись? Отчего в эти годы оказались «лишними» многие люди, самоотверженно боровшиеся против самодержавия за социалистический идеал, то есть за «свободное развитие каждого», которое, как сказано в «Коммунистическом манифесте», представляет собой «условие свободного развития всех»? В происходившем на переломе от двадцатых годов к тридцатым можно разобраться лишь понимая процесс во всей его целостности. Решение этой задачи в полном объеме еще предстоит нашей искусствоведческой и исторической науке. Но, во всяком случае, ясно, что памятники культуры и культура в целом пострадали не столько от революции и ее

крайностей, сколько от свершавшегося в пору всем известных нарушений законности, и, стремясь к истине, невозможно объяснить потери ухищрениями злоумышленников, задумавших уничтожить русскую культуру, как объясняет их В. Кожин.

Понятно, для этого ему приходится идти на прямые извращения фактов, хронологии и текстов. Бездоказательные утверждения, оборванные цитаты и умолчания — главные методы опытного литературоведа. Произвольно соединяя фразы из статей Малой советской энциклопедии, подготовленной в конце двадцатых годов, В. Кожин уверяет, что в пору ее издания «русское было демагогически отождествлено с "помещичьим", "буржуазным", "кулацким"» и что самого Льва Толстого выставляли певцом дворянства. Набор фраз из энциклопедии о «Войне и мире» в статье Кожина завершает такая: «В романе изображается, как Россия, руководимая дворянством, побеждает Наполеона, которому все западные "свободолюбивые" народы покорились». Между тем непосредственно за ней в энциклопедии следует: «Однако вернуться к этому феодально-крепостнич. прошлому нельзя, старое Отрадное безвозвратно погибло. Рисуя образ солдата из крестьян Платона Каратаева, Толстой намечает путь к безгосударственному, бесцерковному бытию. Платона Каратаева Т. объявляет единственной доподлинной правдой жизни, за которой должно следовать». Хоть многое в Толстом мы видим сегодня иначе, чем авторы первой Малой советской энциклопедии, их позиция явно не такова, какой ее изобразил В. Кожин.

Еще примечательней он цитирует стихотворение Александра Ясного «Россия». Создается впечатление, что тот и впрямь был злостным ненавистником всего русского. Но, обратившись к вышедшей в 1925 году антологии, где В. Кожин это стихотворение обнаружил, читатель видит, что оно состоит из двух частей, а все цитируемые строки взяты из первой, целиком обращенной к старой, дореволюционной России. Именно ей поэт говорит: «Цыц! Пропадай, старая! Не мешай, старуха, достраивать!» и т.д. Зато из второй части В. Кожин не цитирует ни строчки, а между тем вся она посвящена новой России, к которой поэт обращается уже иначе: "Эх ты, Русь, стальная зазнобушка, Советская краля моя...». А. Ясный воспеваает эту новую Россию, противопоставляя ее прежней, в сущности, так же, как Есенин противопоставлял Русь советскую и Русь уходящую. Юношеские стихи скромного поэта несопоставимы по поэтическим достоинствам со стихами Есенина, они прямолинейны, порой даже примитивны. Но в них, во всяком случае, нет ничего антирусского, они, напротив, Русь славят. Не стоит забывать и того, что искренность свою А. Ясный (Александр Маркович Яновский) подтвердил наиболее убедительным образом: сложив свою голову за Россию на фронте 7 февраля 1945 года. Но что до этого Вадиму Кожину? У него, видимо, своя цель, ради которой чужое доброе имя приносится в жертву без раздумья.

Вот мы и добрались до главного: зачем все это? Зачем изобретать врагов всего русского там, где их не было и нет? Не только ведь затем, чтобы, возражая собственным вымыслам, провозгласить: «Я не верю, что можно создать нечто подлинно замечательное в какой бы то ни

было сфере деятельности без причастности историческому бытию, ярчайшее воплощение которого являет Кремль»? Выходит, иностранцы или российские «инородцы» не могли, не могут и не смогут, не признав российского верховенства, создать что-нибудь «подлинно замечательное», да и русским, если в собственной истории они больше дорожат новгородскими, владимирскими или даже петербургскими сокровищами, а то и вообще равнодушны к архитектуре и постигают свою страну по протопопу Аввакуму или Толстому, «подлинно замечательное» недоступно?

В. Кожин не только разработал обязательный ассортимент предметов патриотического чувства, не любить которые (как Валентин Катаев посмел не любить Волгу!) непозволительно. Он и от самой любви требует цельности: любишь русское, так люби все русское, а если хоть что-то не любишь и тем паче бранишь, стало быть, ты все на самом деле ненавидишь, — вот нехитрое правило этого патриотизма. А ведь трудно сыскать воистину крупного русского писателя, который рядом, а часто и вперемешку со словами любви не бросал бы Родине горькие упреки и гневные обличения. Об одном из самых достойных наших соотечественников еще при его жизни великий поэт сказал: «он проповедует любовь враждебным словом отрицания». Но даже если слово отрицания не преобладает, оно в русской литературе всегда соседствует с проповедью любви. Чтобы доказать иное, В. Кожин злоупотребляет возможностью подбирать подходящее для своих рассуждений и обходить впрямую их опровергающее. Он цитирует Александра Блока, и в самом деле вопрошавшего: «В час утра, чистый и хрустальный, у стен Московского Кремля, восторг души первоначальный вернет ли мне моя земля?» Известно, правда, что, подводя итог жизни, Блок написал о себе: «Слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка — своего поросенка». Но это можно не цитировать, можно делать вид, что ничего подобного Блок не писал.

Вадим Кожин защищает не русскую национальную культуру, а однозначность отношения к России, хотя на деле такой однозначности у крупных людей русской культуры почти никогда не было. И не было именно потому, что длительная неразрешенность феодальных, а потом и буржуазных противоречий так или иначе задевала каждого жителя страны. Как давно сказано: «Одним концом по барину, другим — по мужику». И уже одно это удерживало мыслящих людей от однозначных оценок. Даже Сергей Есенин — уж он ли не был певцом Отечества — в 1924 году писал: «После заграницы я смотрел на страну свою и события по-другому. Наше едва остывшее кочевье мне не нравится. Мне нравится цивилизация. Но я очень не люблю Америку». И Америку ведь он не полюбил как раз потому, что нашел и там не цивилизацию, а Миргород, только что железный, о чем и написал. За двойственным отношением к Отечеству всегда различим давний клубок внутренних классовых распрей.

В. Кожин уверяет, что Ленин после революции классовым противоречиям значения не придавал и видел культуру лишь целостной, лишь общенациональной. Но это не так даже в приложении к культуре, после революции еще только складывавшейся. Горький

вспоминает: «На VIII съезде партии Н. И. Бухарин, между прочим, сказал: "Нация — значит буржуазия вместе с пролетариатом. Ни с чем несообразно признавать право на самоопределение какой-то презренной буржуазии". — "Нет, извините, — возразил Ленин, — это сообразно с тем, что есть. Вы ссылаетесь на процесс дифференциации пролетариата от буржуазии, но — посмотрим еще, как он пойдет"». И уж тем более нет оснований утверждать, что после революции Ленин закрыл глаза на классовые противоречия в культурном наследстве. Призывая его беречь, овладевать его накоплениями, учиться по нему, Ленин менее всего ожидал, что люди нового общества механически воспримут весь комплекс сплошь и рядом несовместимых друг с другом идей, запечатленных в культурном наследстве многих эпох. Он предполагал понимание наследства, открытое выяснение объективного смысла памятников, часто отличавшегося от субъективных воззрений их гениальных творцов. Пример такого подхода, отнюдь не пересмотренного Лениным после революции, — известные статьи о Толстом.

Сама по себе антитеза — либо безоговорочное приятие, либо уничтожение — могла возникнуть лишь в головах людей совсем иного склада, уходивших от выяснения истины в открытой полемике, неспособных отстаивать взгляды, которые они по тем или иным соображениям провозглашали своими. А для понимания норм художественной жизни при Ленине достаточно вспомнить, что после того, как Н. С. Гумилев был в 1921 году расстрелян по обвинению в контрреволюционном заговоре, в советском Петрограде напечатали и книгу его стихов «Огненный столп», и посмертный сборник под редакцией Г. Иванова, и сборник рассказов «Тень от пальмы», и «Письма о русской поэзии». Никому тогда не приходило в голову рассматривать эти публикации как знак политической реабилитации поэта, равно как никому тогда не приходило в голову рассматривать его расстрел как повод для поэтической дискредитации и запрета на публикацию его художественных произведений. Такое пришло позднее, в другую эпоху.

В тридцатые годы содержание памятников прошлого — как исконно им присущее, так и приданное позднейшими толкователями — и даже одна их форма оказывали решающее воздействие уже не только на их восприятие, популярность или непопулярность, но сплошь и рядом — на их судьбу. Сегодня все мы сожалеем об утраченном. Однако сожаления имеют смысл лишь в том случае, если на печальном опыте мы учимся жить иначе. А предотвратить дальнейшую гибель художественных ценностей, содержание которых кажется кому-то не вполне созвучным сиюминутному пафосу дня, а то и впрямь ему чуждо, мы сумеем, лишь научившись на практике отличать идейный спор, сплошь и рядом необходимый и неизбежный, от физического уничтожения того, что такой спор вызывает. Единственный путь к гарантированной сохранности культурных ценностей — объективность, гласность, правда, всестороннее рассмотрение любого явления, симпатичного или далекого, терпимость, отказ от искажений, умолчаний, передержек, то есть от всего того, что позволяет себе В.Кожин, выступая защитником культурных ценностей.

Почему кремлевские соборы и палаты бесконечно дороги каждому, кто дорожит русской культурой и вообще судьбой русского народа? Только ли таланты итальянцев Аристотеля Фьорованти, соорудившего Успенский собор, Алевиза Нового, соорудившего Архангельский, или Марко Фрязина и Петра Антонио Солари, руководивших постройкой Грановитой палаты, тому причиной? И в том ли только дело, чтобы непременно назвать еще и псковских мастеров, соорудивших Благовещенский собор? Выдающиеся художники, все равно — иностранцы или русские, запечатлели своими работами особую, исключительную пору истории русского народа — время его национального объединения во имя самостоятельности после двух веков татарского ига, и их работы равно принадлежат русской культуре. Помянутые соборы и палаты строились при Иване III, завершившем сложение основной территории единого Русского государства, — при сыне его, Василии III, в состав этого государства вошли последние остававшиеся полусамостоятельными русские земли — и объединение Руси завершилось. Мудрено ли, что соборы, драгоценные свидетели обретения русским народом национальной независимости, поныне остаются ее историческим и художественным символом?

Когда доступ в Кремль открылся для всех граждан, я, впервые туда попав, испытал незабываемое чувство ошеломляющего восторга. И тут же поймал себя на мысли, что внутри, на Соборной и Ивановской площадях, Кремль выглядит совсем иным, чем я привык его видеть, годами каждый день проходя мимо, снаружи. И ведь не то что бы его наружный вид, стены и башни не отличались художественными достоинствами. Еще при жизни Ивана III стали заменять старые белокаменные кремлевские стены кирпичными, и этот, оформившийся с годами новый облик стоящей посреди города уже не боевой, а декоративной крепости, тоже обрел яркий образный, символический смысл. И его тоже надлежит сознать.

Не секрет, что деятельность Ивана III не исчерпывается заботами о независимости (при нем произошло «стояние на Угре», покончившее с властью татар) и объединении Руси. Долгое время его внимание — и это весьма способствовало объединению — было сосредоточено и на социальных реформах, которые в объединенном государстве дали бы дорогу складывавшимся предбуржуазным отношениям, как это одновременно совершалось в западноевропейских государствах. Не случайно многие сподвижники царя принадлежали к новгородскому и московскому кружкам еретиков, близких по духу европейским реформационным движениям. Однако соотношение социальных сил к концу жизни царя оказалось таково, что он отвернулся от прежних друзей и не только отказался от замысленных прежде преобразований, но и, уступая феодальной реакции, ограничил право крестьянского перехода, что при внуке его, Иване Грозном, переросло в закрепощение крестьян. Тогда и возник феодально-крепостнический порядок, определивший судьбу России и в XVII, и в XVIII, и еще в XIX веках.

Феодальная реакция, тормозя начавшееся движение национального хозяйства к буржуазным экономическим преобразованиям, нашла спасительный для себя выход в том, чтобы

простереть привычные внеэкономические методы эксплуатации за национальные пределы. Иван Грозный, как воистину двуглавый орел, остался в истории и родоначальником Российской империи, и родоначальником крепостного права, и русский народ платил вторым за первое. Вот никуда и не деться от того, что красные стены Кремлевской крепости посреди мирного города надолго стали художественным символом Российской империи («От потрясенного Кремля до стен недвижимого Китая»), дрогнувшей лишь в 1917 году. А его палаты и соборы продолжали быть художественным символом национальной независимости русского народа.

С двойственностью великого памятника сообразно и двойственное отношение народа к древним сооружениям и своей истории. Они столетиями одновременно воплощали для него и национальную независимость, и социальное рабство. Покоренным народам, которым царская Россия была тюрьмой, прекрасные памятники Кремля казались лишь символами их собственного бесправия. Но и для русского народа, платившего ярмом крепостничества за то, чтобы его господа порабощали еще и другие народы, символика независимости, продолжавшая жить в этих памятниках, выходила на первый план по преимуществу тогда, когда обнаруживалась реальная угроза национальной независимости.

В том, что империя была куплена ценой порабощения своего народа, и коренится двойственность суждений лучших сынов России — тут и беззаветная любовь к Родине и народу, тут и презрение, и ненависть к угнетающему их реакционному государству. Может быть, ненависть к государству и была в царской России высшим проявлением любви к Родине. Во всяком случае, для Герцена, для Чернышевского, для Толстого, для Ленина это было так. Об известных словах Чернышевского — «жалкая нация, нация рабов, снизу доверху — все сплошь рабы» — Ленин писал: «Откровенные и прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих словах. А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения». И ведь Чернышевский понимал, что рабство собственного народа — плод имперского господства над другими. Он прямо писал: «Мы, великорусы, достаточно сильны, чтобы остаться одним, имея в самих себе все элементы национального могущества. Гордые своею силою, мы не имеем низкой нужды искать по примеру Австрии вредного для нас искусственного могущества в насильственном удерживании других цивилизованных племен в составе нашего государства. Мы можем вполне признать права национальностей, мы необходимо должны это сделать, чтобы ввести и упрочить у себя свободу».

Не забудем, что и Энгельс именно о русском народе писал: «Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Сила, нужная ему для подавления другого народа, в конце концов всегда обращается против него самого». Поэтому национальное самосознание такого народа в той мере, в какой он стремится к свободе и самостоятельности, побуждает его к отказу от имперских традиций, к четкому противопоставлению им демократических традиций защиты

собственно национальной независимости, так сильно и ярко выраженных Чернышевским. Отсюда росли и ленинские взгляды на национальные проблемы, и, вопреки В. Кожинуву, никаких поправок к ним Ленин после революции не оговаривал.

Еще в начале мировой войны в статье «О национальной гордости великороссов» Ленин писал: «Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм, а не только великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое раболепство...» И далее: «И мы, великорусские рабочие, полные чувства национальной гордости, хотим во что бы то ни стало свободной и независимой, самостоятельной, демократической, республиканской, гордой Великороссии, строящей свои отношения к соседям на человеческом принципе равенства, а не на унижающем великую нацию крепостническом принципе привилегий».

И после революции Ленин по-прежнему был озабочен тем, чтобы «защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ». Его суждения на сей счет недвусмысленны: «Никуда не годится абстрактная постановка вопроса о национализме вообще. Необходимо отличать национализм нации угнетающей и национализм нации угнетенной, национализм большой нации и национализм нации маленькой. По отношению ко второму национализму почти всегда в исторической практике мы, националы большой нации, оказываемся виноватым в бесконечном количестве насилия...». И далее: «Поэтому интернационализм со стороны угнетающей или так называемой "великой" нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство которое складывается в жизни фактически».

Такой подход к национальным проблемам вообще и к развитию национальных культур в частности отличал Ленина и при создании на месте прежней Российской империи Союза равноправных советских республик. И он подчеркивал: «Ничто так не задерживает развития и упроченности пролетарской классовой солидарности, как национальная несправедливость, и ни к чему так не чутки "обиженные" националы, как к чувству равенства и к нарушению этого равенства, хотя бы даже по небрежности, хотя бы даже в виде шутки, к нарушению этого равенства своими товарищами пролетариями». Характерно что, много рассуждая об отношении Ленина к проблемам национальной культуры, Вадим Кожинув совершенно игнорирует все эти его мысли.

А ведь, отвлекаясь от социальных противоречий, В. Кожинув, говорящий вроде бы лишь об одной национальной культуре, не только искажает ее собственный облик, но и бросает ложный свет на ее отношения с другими культурами. Отказываясь от социального понимания русской культуры, отвлекаясь от внутренних различий в ней, он побуждает думать, что традиции Чернышевского и традиции

Победоносцева, традиции Плеханова и традиции Пуришкевича вполне совместимы, а это уже непосредственно касается других народов.

Слов нет, под лозунгом сугубо классового подхода ко всему на свете уже в двадцатые, а еще больше в тридцатые годы зачастую устанавливалось предписанное единомыслие, и многообразие духовной жизни, еще и обогатившейся после семнадцатого года, загонялось в рамки единственно правильных высочайших суждений, так что даже и естественным наукам наперед предрекались выводы, которые надлежало делать. Но пора различать — это, кстати, одно из важнейших пожеланий Маркса — собственный смысл лозунга и смысл практических действий, которые под ним совершаются. И ведь не случайно проповедуемый В. Кожинным вместо классового подхода к истории национальный подход на деле защищает все то же предписанное единомыслие и даже еще усерднее.

Лозунги сами по себе, как бы хороши они ни были, не определяют своим содержанием содержание практических дел. Нынче, к примеру, нет недостатка в призывах беречь и пропагандировать сокровища национальной русской культуры. Но как раз под аккомпанемент речей на эти темы обе величайшие сокровищницы русской живописи, — и Третьяковская галерея и Русский музей, — одновременно оказались практически полузакрытыми, и знакомство с ними широких масс на долгие годы неизбежно ограничивается. А ведь еще и прежде существовала насущная потребность его, напротив, расширить, сделать наконец доступными народу шедевры национального русского искусства, хранившиеся от лишних глаз в запасниках. Однако нынче и открытое прежде стало закрытым, и никто не подумал даже о том, чтобы отремонтировать великие музеи по очереди, а не закрывая их разом. Обо всем этом Вадим Кожин даже не заикается.

И немудрено! Ведь на деле он вовсе не памятники старины защищает, а старинный державный облик России. Смысл его рассуждений впрямь точно воплотился в заключающих статью стихах молодого поэта, согласно которому «одна на свете нам награда... — державы вечная любовь», перед которой немного стоят и жена, и сын, и мать и друг, «и дело, что милее жизни», и даже «всеполюбая природа». Но стоит ли придирааться к залихватским крайностям юности, если вошедший в зрелый возраст критик не хочет помнить, как в давние времена держава, обратившая собственный народ в рабство, сама обращалась в «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайя». Не зря великий русский демократ поставил эти слова эпиграфом к рассказу о путешествии из одной столицы державы в другую.

Да ведь и не так давно, в тридцатые-сороковые годы, не уважавшие семейных и дружеских уз и пренебрегавшие бережным отношением к природе, отнюдь не «всеполюбой», держава, дорожа историческим величием, слишком часто забывала ради него о судьбах и жизнях людей, составлявших ее народ, на деле лишь ослабляя этим свое величие.

Прошлое надо знать и дорожить всем воистину ценным, что было создано до нас. Но это ведь не значит, что надо забывать о том дурном и страшном, что в прошлом было и тоже запечатлено в его памятниках.

Тяжкая цена крепостничества, которую русский мужик заплатил за то, чтобы Русская держава, Российская империя, а практически ее верхний слой с челядью разных рангов, имели особые права над другими народами и особые выгоды, напоминает о себе не только позорными страницами отечественной истории, все реже попадающими в книги для широкого чтения, но порой и прекрасными памятниками, подобно Медному всаднику восхищающими и вместе с тем побуждающими содрогнуться. Зная цену исторической памяти и отдавая должное петровским преобразованиям, сам Пушкин завещал нам это содрогание! И, строго говоря, это тоже резон беречь памятники прошлого.

Само собой, Вадим Кожин волен смотреть на вещи иначе. Ничто не обязывает его соглашаться не только с автором настоящей статьи, но и с Чернышевским, или Толстым, или Лениным. Изложи он свои воззрения без ссылок на авторитеты, не возникло бы, думается, и желания выделять их из других подобных воззрений. Но раз уж В. Кожин счел возможным объявить своим единомышленником Ленина, надо сказать, что Ленин все же иначе понимал российскую историю и российскую действительность, чем В. Кожин.

История нашего Отечества уроков преподала немало. Но, как и в обычной школе, желающим выучиться не следует пропускать уроки. Кто знает о Родине только радующее взор и ласкающее слух, никогда не сумеет понять прошлое и совершенствовать настоящее. Вот и удивительные суждения Вадима Кожина проистекают от непомерного числа пропущенных уроков отечественной истории.

МИФОЛОГИЯ КАК ПРИНЦИП

Опубликовав в седьмой «Неве» за 1987 год статью «Пропущенные уроки», целиком посвященную ложным представлениям Вадима Кожинова об отечественной истории, я, конечно, ожидал, что хоть какие-то свои утверждения он попробует отстоять. Но, походя атакуя в первом «Нашем современнике» за текущий год мои заметки в малотиражной газете «Книжное обозрение», Кожинов старательно подчеркивает, что о большой статье в толстом журнале, всецело посвященной его персоне, он и слыхом не слыхал: «Поэль Карп — новое для меня имя».

Увы, теория психоанализа давно показала, что, сверх меры усердно настаивая на своей неосведомленности, когда реальной надобности в этом нет, человек как раз и выдает свою осведомленность. Громогласно объявляя: «Многочисленные статьи против меня очень мало волнуют, никаких основательных аргументов в них нет», выдает, что они как раз весьма волнуют, а контраргументов нет. «Неосведомленность» Кожинову необходима, поскольку освобождает от нужды защищать свои грубые ляпсусы по исторической части — можно делать вид, что их и не было. Не догадываясь, что психоанализ его выдаст, он настаивает на своем неведении, внушая читателю, что «Невы», в конце которой даются сведения об авторах, и в глаза не видал.

Увлечшись, он изображает меня дряхлым старцем, бог весть где обучавшимся. А из справочников мог бы узнать, что Поэль Карп всего на пять лет старше Вадима Кожинова, на те же пять лет раньше окончил тот же Московский университет, правда, по другому — историческому факультету, и на те же пять лет раньше вступил в Союз писателей. Короче говоря, мы люди одного поколения. Есть, конечно, и различия: я успел окончить университет в 1949 году, том самом, когда в ходе борьбы с космополитизмом он подвергся погрому, а Кожинов в тот год начал учение.

В «Пропущенных уроках» я опровергал конкретные кожиновские мифы, но статья в «Нашем современнике» побуждает думать, что этого мало, поскольку Вадим Кожинов продолжает мифотворчество. А обществу необходимо преодолеть самый этот мифологический метод мышления, навязанный некогда советской идеологией, но переживший Сталина и применяемый ныне для внедрения в растерянные умы самых разнообразных идей. Не стихают споры о том, чей миф лучше, красивей, полезней. Между тем первое условие изменения общества, его перестройки — умение смотреть в лицо реальности, не тешась мифами, не полагаясь на них.

I. Миф о непорочном зачатии

Вадим Кожинов, в годы застоя тоже вполне преуспевший, сегодня усердно обличает Коротича за похвалы писаниям Брежнева: «Отношение к "брежневским мемуарам" — это, конечно, только выразительный пример. Речь идет о литераторах, которые всегда безошибочно пишут и говорят именно то, что в данный отрезок

времени наиболее выгодно писать и говорить». При этом он подчеркивает, что Сталина, дескать, хвалили искренне, поскольку то была трагедия, а уж искренне хвалить Брежнева, правление которого было фарсом, никто, конечно, не мог, отчего и надлежит похвалы Брежневу осуждать суровой, чем похвалы Сталину!

Как же, по Кожинovu определяется, «что в данный отрезок времени наиболее выгодно писать и говорить»? При Сталине и Брежневе это было ясно: существовало спущенное сверху «мнение», повторять его было выгодно, уклоняться от повторения — невыгодно, возражать против него — опасно. Иное дело — наши дни. Что, собственно сегодня выгодно писать и говорить? Мнения расходятся. Возник так называемый плюрализм мнений и, соответственно, плюрализм выгод. В этом-то и новизна эпохи. Единого спущенного сверху «мнения» покамест нет.

Можно счесть, что выгодно выступать за перестройку, поскольку она официально провозглашена съездом партии, — иные лишь потому и норовят быть заодно с теми, кто стоит за перестройку всей душой. Но нельзя ведь сказать, что и выступлению Нины Андреевой наверху никто не радовался, — выходит, и такое выступление может оказаться выгодным. Не только «Огонек», но и «Наш современник» наверху кем-то поддерживается, иначе он бы просто не выходил в свет, так что и его позиция может оказаться выгодной. Да и сегодня она вроде более надежна, — в газете «Правда», центральном органе партии, «Огонек» то и дело бранят, а к «Нашему современнику» вполне доброжелательны. Даже и общество «Память» не лишено влиятельных сторонников, иначе милиция, усердно разгоняющая митинги других неформальных организаций, не охраняла бы митинги «Памяти» и не пропускала бы мимо ушей раздававшиеся там открытые призывы к насилию, явно противоречащие закону.

Всюду есть люди, искренне полагающие, что они действуют на благо народа, страны, социализма и т.д. Искренними могут быть самые дикие заблуждения. Но всюду могут быть и люди, примкнувшие по соображениям выгоды, даже отнюдь не гарантированной выгоды, рискующие ради нее, поскольку никто наперед точно еще не знает, какая тенденция возьмет верх. И потому важно не только то, из каких видов человек говорит, но и что он говорит, за что ратует и даже на чем предпочитает получать выгоду — на подлости или на подвиге.

Впервые за долгие годы мы живем в условиях открытой политической борьбы, и рискуют, стало быть, уже не одиночки, а все ее участники. Переход Коротича от беспроектных похвал Брежневу, которые мне, в годы застоя (как, впрочем, и теперь) отнюдь не преуспевавшему, нравились еще меньше, чем Кожинovu, к рискованной борьбе за обновление общества, побуждает непредвзятого человека отнести к нему лучше, чем прежде, а Кожинov стал относиться к нему явно хуже.

Кожинov пропагандирует миф о непорочном зачатии прогресса, чтобы порочить тех, кто, преодолев свое конформистское прошлое, рискнул в сложной обстановке совершить выбор в пользу демократических перемен. Таких людей обличают сегодня особенно яростно. На соседних страницах той же книжки журнала С.Куняев винит

редактора «Книжного обозрения» Е. С. Аверина в том, что тот некогда работал в аппарате первого секретаря МГК КПСС В. В. Гришина. Не то чтобы Аверин там совершил нечто худое — таких фактов Куняев не приводит. Порочащим оказывается сам факт работы в партийном аппарате. Но может ли такое быть персональной виной одного-единственного и к тому же бывшего сотрудника? А если всякий работник аппарата заведомо виноват, меня, беспартийного, очень занимает, почему же Куняев, давний член КПСС, ни прежде, ни теперь не выступил за ликвидацию этого аппарата? Неужто лишь потому, что это может оказаться невыгодным?

Признать, что виноваты все, — значит признать, что никто не виноват, но вина у каждого человека своя, а есть и вовсе невиновные. Цитировать похвалы Бухарина Сталину нетрудно, но выводить из них идентичность политической позиции обоих, вопреки тому, что один другого все же расстрелял, даже и для мифотворца как-то чересчур.

Нам долго толковывали, что советский народ состоит из одних сталинистов, поскольку на полях Отечественной войны солдаты шли в бой с кличем «За Родину! За Сталина!». Где уж тут вспоминать, что в реальности, если даже политрук такой клич бросал, солдаты, идя в бои, нередко вторили ему матерной бранью. Но если даже они этот клич добросовестно повторяли, он значил не более чем клич «За веру, царя и отечество!» в первую мировую, не дающий все же основания утверждать, что воевали одни православные и что все были за царя, — когда царя сбросили, армия защищать его не стала.

Не в меру занимая читателя чисто ритуальными грехами, его нынче отвлекают от грехов реальных, от преступлений против людей и общества. Вот и к авторам известного «Письма одиннадцати» против «Нового мира» В. Кожинов, не то что к Коротичу, снисходителен и доходит до прямой неправды, до уверений, будто «Письмо» вовсе не было нападением на «Новый мир», но лишь защищало журнал «Молодая гвардия» от атаки, предпринятой А. Дементьевым. По Кожинову «Молодая гвардия» в ту пору была чрезвычайно близка «Новому миру» и лично Твардовскому, и даже наследник у них, оказывается, общий — «Наш современник». Между тем «одиннадцать» говорили о выступлении Дементьева как о типичном для «Нового мира» и откровенно писали: «...не требуется подробно читателю говорить о характере тех идей, которые давно уже (то есть, задолго до статьи Дементьева. — П. К.) проповедует "Новый мир"».

«Одиннадцать» горели желанием «сорвать "успешное" наведение мостов между классово чуждыми идеологиями». Не предполагали они, что не столь далек час, когда, при сохранении классовых различий, наведение мостов окажется единственной альтернативой всеобщей гибели. Тех, кто и прежде это понимал и ратовал за спасение Родины от ядерного пожара, тогда именовали отщепенцами. Против них-то и выступали, не за страх, а за совесть, «одиннадцать». Это вам не дежурные похвалы прозе Брежнева, а прямое идеологическое обоснование осуществленного им свертывания экономических реформ и формирования внешней политики, приведшей в Афганистан. Но для Кожинова ничего этого как бы и не было. Важнейший эпизод внутривластной борьбы он сводит к недоразумению.

Твардовский, однако, опубликовал в седьмом номере за тот же, шестьдесят девятый год краткий ответ на «письмо», где объяснил, что «одиннадцать» отнюдь не только на Дементьева нападают, но «ставят, по-видимому, себе более широкую задачу. Недаром "Письмо в редакцию" снабжено широковещательным названием "Против чего выступает 'Новый мир'? ". И одиннадцать литераторов, не утруждая себя подробным рассмотрением положений статьи А. Дементьева, со всей решимостью пытаются ответить на риторический вопрос заглавия в том смысле, что "Новый мир" выступает против патриотической темы в литературе, против любви к Родине, к деревне, к самой русской природе, к святыням русской старины и, наконец, против дружбы и братства народов СССР. Такой поворот разговора, грубая демагогия и развязный тон "письма одиннадцати" исключают возможность спора по существу». Так воспринял «письмо одиннадцати» Твардовский. Но мифотворцу Кожинуву это нисколько не мешает нас уверять, что «пресловутое письмо» не играло и не могло играть сколько-нибудь существенной роли в судьбе «Нового мира». Он ссылается даже на В. Лакшина, написавшего, что «атака на "Новый мир" летом 1969 года захлебнулась...» и обрывает фразу, а далее-то сказано: «...но для нас это была, пожалуй, пиррова победа». И, действительно, не прошло и полугодия, как журнал был разгромлен, а еще через полгода Твардовского свалили болезни, которых он уже не одолел.

Видимо, Михаил Алексеев со товарищи и впрямь не самое верное оружие выбрали, раз даже Суслову понадобилось еще полгода, чтобы окончательно принять их сторону. Но ведь сторона-то, на которой они стоят, очевидна, — так можно ли провозглашать открытых противников союзниками? В том-то и дело, что, по Кожинуву, можно! Он смело творит новую, никогда не имевшую места «реальность». Он изображает историю не такой, как она была, со всем ее величием и всей неприглядностью, но такой, какой она ему удобна, какой ему выгодно ее изображать.

2. Миф о сотворении мира

Нет, Вадим Кожинув отнюдь не легкомысленный пересказчик давних литературных сплетен. Он пропагандист целостного мировоззрения, и не его вина, как и не его заслуга, что после 1917 года мировоззрение это трудно сформулировать, хоть почва для него уже возделана. За свержением трехсотлетней власти дома Романовых, олицетворяющей феодальную реакцию, последовали такие кошмары как раскрестьянивание, глумление над культурой и ГУЛАГ. Надежда на человечный социализм, почти целый век пленявшая страну, — среди депутатов Учредительного собрания подавляющее большинство составляли социалисты (эсеры, большевики, меньшевики), — уступила место надежде на личный успех любой ценой.

Не будем себя обманывать: массовый интерес к прошлому вызван не только желанием понять происходящее, но и поисками в прошлом идеала, который прежде искали в будущем. Честнее и талантливее других попытался найти идеал в былом Василий Белов со своим «Ладом», да только принять его мешает как раз память о былом, —

память о голодных годах старой России, о неодолимых тяготах прежней крестьянской жизни. Не зря ведь у Глеба Успенского, Чехова или Бунина, не говоря о Льве Толстом, старая деревня, неведомая Белову, но манящая его ладом, воплощала власть тьмы. Книга, написанная как нравственный манифест нации, на деле оказалась этнографическим пособием, и это привело одаренного писателя к душевному разладу, сказавшемуся на позднейших работах. Роману «Все впереди», чтобы привлечь читателя, понадобились уже совсем другие качества, нежели замечательное чувство правды и сострадания человеку, проявившиеся когда-то в «Привычном деле».

Разумеется, столь частое у нас пренебрежение текущей жизнью во имя абстрактных неопределенностей безнравственно, но исправить мы все же властны лишь будущее, ради чего и надобно видеть настоящее как оно есть, и прошлое, каким оно было. Отказ от реалистической мысли о будущем — и отдаленном и, что еще важнее, близком и конкретном — неизбежно ведет к отказу от правды о прошлом. Подобный отказ уродует писательские таланты, на него решившиеся. Тут надобно бы дарование, понятием о правде не связанное, но свободно подхватывающее обломки фактов, чтобы, преобразив их вольным вымыслом, складно творить необходимые фантазии. У Василия Белова, к чести его, такое получается плохо; выступая в романе «Все впереди» мифотворцем, он разом теряет свои литературные достоинства. А Вадим Кожин в подобных ситуациях их, напротив, обретает. Свобода вымысла дарует его перу непринужденность, и читать его вдруг становится занимательно, то и дело дивишься — эва куда метнул!

Обратив свою непринужденность на отечественную историю, Кожин объявил, что цель революции состояла в том, чтобы «освободить прекрасную Родину от власти самодержавия и тех классов, которые благоденствуют за счет эксплуатации народа». От самодержавия Родину, правда, освободил уже Февраль. Тем более, «было необходимо и достаточно сломать прежний государственный аппарат и институт частной собственности на основные средства производства». А беды, по Кожину, начались с того, что сломать захотели «буквально все основы и формы прежнего бытия страны». Этого захотели, оказывается, практически все руководители РКП — и Троцкий, и Сталин, и Бухарин, и прочие. Исключение сделано лишь для Ленина, поскольку он (где и когда именно, Кожин читателю не сообщает) сказал: «Нам больше всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты». Сказано это было, между тем, в статье «О национальной гордости великороссов» в декабре 1914 года. А именно в ней (о чем Кожин тоже умалчивает) Ленин сказал: «...нельзя великороссам "защищать отечество" иначе как желая поражения во всякой войне царизму, как наименьшего зла для 9/10 населения Великороссии», и особо добавил: «...экономическое процветание и быстрое развитие Великороссии требует освобождения страны от насилия великороссов над другими народами». Разве и то и другое, коль скоро мы вместе с Кожинным обратимся для уяснения позиции Ленина к этой статье, не

предполагает весьма радикальной ломки «прежнего бытия страны» и не убеждает, что Ленин вовсе не был в этом отношении исключением среди товарищей по партии?

Кожин пишет: «Сталинизм — это порождение перешедшей все необходимые границы "ломки" народного и человеческого бытия», а поскольку не только Сталин, но и Троцкий, и Бухарин и прочие, по Кожину, стояли за коренную ломку, то есть были, по существу, «сталинистами», возможной альтернативы случившемуся он ни в коем случае не допускает. Утверждая, что Ленин был против ломки, надлежало бы задуматься: «Ну, а проживи Ленин подольше, не будь он болен, не будь он ранен, — может, одолел бы ломающих сверх меры, глядишь, альтернатива и выглянула бы?» Этого простого вопроса В. Кожин удивительным образом перед собой даже не ставит, и приходится думать, что Ленина он исключает из списка сторонников ломки либо потому, что это ему опять же выгодно, либо щадя чувства читателей, либо полагая, что и Ленин бы со стремлением «ломать» не совладал. Ничего страшного в последнем допущении не было бы, но, избегая его, Кожин явно лукавит, а ведь если уверяешь, что в партии имела место политическая борьба, надо все же ясно обозначить — между кем и кем, а главное, из-за чего она шла. Тогда не получалось бы, что партия хотела коренной ломки, а вождь, оказывается, вел ее на штурм Зимнего во имя сохранения «традиций, глубоко своеобразных в каждой стране, вытекающих из своеобразия природных условий, исторически сложившихся отношений между людьми, в конце концов, даже господствующей в данной стране религии», как получается ныне у Кожина.

Между тем Ленин прямо писал о целях революции. За месяц до восстания в статье «Задачи революции» он, не ограничиваясь призывом к захвату власти Советами, ратует за немедленное установление мира, подчеркивая, что при этом «каждая народность без единого исключения, и в Европе и в колониях, получает свободу и возможность решать сама, образует ли она отдельное государство или входит в состав любого иного государства». И далее Ленин пишет: «Мы обязаны удовлетворить тотчас условия украинцев и финляндцев: обеспечить им, как и всем иноплеменникам в России, полную свободу, вплоть до свободы отделения, применить то же самое ко всей Армении, обязаться очистить ее и занятые нами турецкие земли и т.д.». Он зовет также передать землю, взятую у помещиков без выкупа, «в заведывание крестьянских комитетов» и добиться установления всеобщей трудовой повинности! А в обращении к населению 18(5) ноября, то есть через десять дней после Октябрьского восстания, Ленин открыто говорит: «Постепенно, с согласия и одобрения большинства крестьян, по указаниям практического опыта их и рабочих, мы пойдем твердо и неуклонно к победе социализма». Как видим, Ленин выступал за более чем радикальные перемены, никак не совместимые со стремлением Кожина сохранить вековые модели.

Вековой, заложенной Иваном Грозным, а в прообразе еще Батыем, имперской модели Ленин противопоставил полную самостоятельность не только Украины, но даже и небольшой Армении. За право отделения он ратовал, понятно, не затем, чтобы все народы

России прекратили между собой отношения, но затем, чтобы изменить эти отношения, чтобы на смену империи, где первым считался один народ, в значительной своей части тоже не свободный при этом от социального угнетения, пришел добровольный союз равноправных и свободных народов. Неравенство народов империи и незатухавшее стремление царизма еще больше ее расширить терзали Ленина не меньше, чем угнетение русского народа помещиками и капиталистами. В статье «О национальной гордости великороссов», на которую Кожинов пытался опереться, он «не заметил» прекрасных слов: «...мы особенно ненавидим свое рабское прошлое (когда помещики дворяне вели на войну мужиков, чтобы душить свободу Венгрии, Польши, Персии, Китая) и свое рабское настоящее, когда те же помещики, споспешествуемые капиталистами, ведут нас на войну, чтобы душить Польшу и Украину, чтобы давить демократическое движение в Персии и в Китае, чтобы усилить позорящую наше великорусское национальное достоинство шайку Романовых, Бобринских, Пуришкевичей. Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремления к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т.д. "защитой отечества" великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам». Мысль Ленина, как видим, движется совсем иными путями, чем у Кожинова, ради доказательства того, что Россия якобы не потерпела поражения в первой мировой войне позволяющего себе писать: «...войска противника заняли только часть так называемого Царства Польского и Литвы, но не смогли захватить ни одного клочка собственно русских земель». Имперскому человеку привычно делить империю на метрополию, забота о которой на первом плене, и колонии, которыми на худой конец можно и поступиться!

Итак, еще один миф: Ленин, по Кожинову, был добрым консерватором, возглавлявшим не в меру революционную партию. На деле, однако, партия, включая большинство ее руководителей, в основных вопросах шла за Лениным, а Ленин чутко улавливал настроения в партии. Бывали, понятно, споры, расхождения, люди убеждали и переубеждали друг друга, но в понимании целей расхождений как раз было немного — и Ленин, и партия в те годы решительно противостояли сохранению вековой модели, любезной Кожинову.

Справедливость требует, однако, сказать, что против этой модели они выступили отнюдь не первыми в России. Спор о нашей «особенной стати», о нашей, не похожей ни на какие другие модели общественного развития пришел на смену сознанию общности нашей страны с другими европейскими. Между государством Хлодвига и государством Святослава принципиальных различий нет, лишь хронологические. Владимир, принимая христианство, открыто вводил свою страну в европейское сообщество, — хоть христианство и пришло на Русь из Византии, церкви в то время еще не разделились, и европейское христианство, при всех оговорках, создавалось еще единым. Никого не удивляет, что дочери Ярослава Мудрого стали женами европейских монархов: Елизавета — норвежского короля Гаральда, Анна —

французского короля Генриха, Анастасия — венгерского короля Андрея. Татарское завоевание, разумеется, вырвало Русь из европейского и вовлекло в другое сообщество, но мечта об освобождении и само наличие оставшихся свободными русских земель поддерживали причастность к христианской Европе. Вольный Новгород и покорная татарам Москва, конечно, не схожи, но вряд ли случайно тотчас по освобождении для сооружения в Москве православных храмов приглашаются католики итальянцы. Сознание европейской общности было, видимо, сильнее, чем даже определившееся к той поре раскол двух ветвей христианства.

Реальное различие общественных моделей, да и то поначалу не всеобъемлющее, определяется с развитием крепостного права, с его так называемым «вторым изданием», когда у подвластных феодалу русских крестьян все возрастала личная зависимость, тогда как у английских и французских росла личная самостоятельность. Но и в крепостной России причастность к Европе была неистребима и проявлялась не только в регулярном заимствовании образцов для промышленности и армии, как при Петре I, не только в художественных примерах, но и в поисках полезных для страны иных, чем установившаяся со времен Грозного, общественных моделей. Их искали в Европе и Василий Голицын при Софье, и Дмитрий Голицын при Анне, и Никита Панин при Екатерине, и Новиков, и Радищев, и Сперанский, и Чаадаев, и Пушкин, и декабристы, и петрашевцы. А когда «извечная» крепостническая модель обрекла страну на явную отсталость, об этом стали думать на всех этажах — от царя Александра II и его брата Константина до Чернышевского,

Смена модели стала основной проблемой русской жизни в XIX и XX веках, задолго до большевиков. Ленин и его партия были лишь наиболее далеко идущими приверженцами такой смены, быть может, оттого столь радикальными, что сопротивление было яростным и самая смена модели совершалась крайне непоследовательно, начиная с половинчатой крестьянской реформы, оставившей крестьян без земли. Делать, подобно Кожинуву, вид, будто вопрос о смене модели встал лишь с революцией, тоже означает заниматься мифотворчеством. На деле наше своеобразие состояло прежде всего в том, что правящая феодальная верхушка долго тормозила переход на новую буржуазную модель, не давала ходу ее сторонникам, и в стране не накопилось достаточно реальных сил, чтобы ее отстоять. Оттого-то дерзко противостоять старой полуфеодальной модели сумели лишь приверженцы еще более новой — социалистической.

Кожинув не дает себе труда задуматься, почему же в 1917 году свершилась революция, да еще такая беспощадная. А произошло это потому, что «извечная» модель была уже совсем несообразна ни развитию производства, ни тому напряжению, которое приходилось выдерживать империи, ввязавшейся еще в войну и отнюдь не ради защиты русского народа от внешней опасности! Но революция — не только конец одной эпохи, а и начало другой, между тем страна оставалась экономически отсталой, и переход к Марксову социализму, который большевики, не исключая и Ленина, осуществляли отнюдь не «постепенно», как предполагалось сперва, а кавалерийской атакой,

осуществиться в ней не мог. И спор о моделях возобновился с новой силой.

Отступление от псевдоромантических иллюзий военного коммунизма, от манящей, но несбыточной социалистической модели было неизбежным, и полемика фактически пошла о том, к какой из прежних моделей отступить — к старой феодальной или к так и не осуществившейся в России в полную меру буржуазной. Введение НЭПа ставило рубежом отступления буржуазную, стоимостно-меновую модель, надеясь удержать при этом власть коммунистической партии. Но жизнь ее переориентировала на «извечную», феодально-крепостническую.

Для Кожинова, как мы помним, «сталинизм — это порождение перешедшей все необходимые границы "ломки" народного и человеческого бытия». Здесь особенно примечательно слово «порождение», словно Сталин продолжал ломать то, что начала ломать революция. На деле — и в этом вся суть «великого перелома» — хоть «ломка» и впрямь шла с все возрастающей интенсивностью, направление ее коренным образом переменялось. Если после революции ломали феодальные элементы государственной машины, помещичье землевладение и крупную буржуазию, — мелкая, особенно в деревне, после Октября даже выросла, а нэп укрепил ее и в городе, — то с 1929 года ломка, наоборот, была направлена против буржуазных элементов города и деревни, прежде всего, против крестьянства, и, что особенно важно, против сторонников Марксова постбуржуазного социализма в рядах самой партии большевиков.

Конечно, еще Ленин не раз говорил о кулаке как носителе буржуазности и, стало быть, противнике социализма, подчеркивая, что после Октября, после вытеснения помещика, кулак занял в русской деревне место, какого прежде не занимал. Против его могущества и должны были, по мысли Ленина, создаваться кооперативы, призванные вести с ним экономическое состязание. Но сам же Ленин успел призвать к свертыванию НЭПа, и Сталин, делая это, хоть и не сразу, не вытеснял кулака экономически, а уничтожал физически, заодно уничтожая и самостоятельное крестьянство, сгоняя его в колхозы, на практике подобные крепостным хозяйствам.

Лишь созная сегодня эту, не столь ясную тогда реальность, можно понять, что в ходе внутривнутрипартийных дискуссий все лидеры, не исключая и Ленина, определяли свои позиции с учетом во многом неожиданного для всех них развития событий, что и позволяет брать у каждого на разных этапах дискуссии прямо противоречащие друг другу цитаты.

Беда не в том, что в журнале «Наш современник» с особой злобой клеймят именно Бухарина, что ни говори звавшего крестьянство не к обнищанию, а к обогащению. Меня скорее тревожит, что Кожинов уклоняется от признания даже тех ошибок Ленина, в которых тот сам открыто признавался, чтобы точнее определить социальную реальность. Кожинов и не задумывается о мере приложимости суждений Маркса о революции, вспыхивающей на пределе развития буржуазного строя в передовых промышленных странах, к революции в стране отсталой и аграрной. Отягощенность феодальным

наследством, он именуется своеобразием. Но исследование не может быть плодотворным, считая запретными для себя зоны заведомой непогрешимости то народа, то партии, то вождей, то религии, то теорий общественного развития. Оно должно начинаться с признания того, что никто в одиночку не сотворил наше нынешнее общество по наперед намеченному плану — ни Николай II, ни Столыпин, ни Распутин, ни Милюков, ни Керенский и точно так же ни Ленин, ни Троцкий, ни Бухарин, ни Сталин, ни Ежов, ни тем более Хрущев и Брежнев. В этом далеко не полном списке творцов нашего мира есть гениальные умы и поразительные дарования и есть совершенные ничтожества, есть люди высочайшей личной порядочности и люди, лишенные совести и чести, но нелепо думать, что их след в сотворенном прямо пропорционален масштабам личности. Наше общество сложилось в сложнейшем взаимодействии очень разных, несовместимых воле и обстоятельств, и сегодня ему нужны не новые мифы, а достоверные самоанализы.

Нечего хитрить и замазывать тот общеизвестный факт, что в ходе взаимодействия, приведшего к торжеству Сталина, была почти поголовно истреблена партия, совершившая во главе с Лениным революцию, выигравшая гражданскую войну и перешедшая к новой экономической политике. По этому поводу возможны, конечно, пошлые остроты типа «за что боролись, на то и напоролись». Серьезному исследователю и впрямь надлежит разобраться, что в ее собственном устройстве сделало такой трагический поворот возможным. И все же, будь эти люди сталинистами, как нынче уверяют все кому не лень, не к чему было бы в таких количествах и так свирепо их истреблять. А вместо анализа причин идут в ход мифы о том, что Сталин был параноиком и чуть не людоедом.

Но Сталин был холодным, трезвым, не отягощенным моралью политиком, четко создававшим собственные интересы, далекие от идеалов Маркса или Ленина. Старых большевиков он уничтожал вовсе не из-за того, что они в каких-то мыслях с ним совпадали, на что, пусть даже часто недобросовестно, указывает Кожинов, а из-за того, что социализм, по их убеждению в отсталой стране неосуществимый, к которому они надеялись придти со временем, они хотели видеть иным, чем феодальный социализм Сталина, — а этого различия Кожинов как раз и не желает замечать. Между тем в ходе революции и гражданской войны в большевистском движении различимы два этапа — ленинский и сталинский, и пусть даже второй вырос из первого, его развитие принесло коренные отличия от первичного проекта. Покуда существовала хоть какая-то внутрипартийная гласность, споры шли открыто, а после победы Сталина продолжались в закрытых формах. Проблемы выступали под псевдонимами, в споры вступали другие, возрождавшиеся и нарождавшиеся умственные и политические течения, и нельзя ничего понять в нынешних шумных схватках, не видя их связи с теми давними, подспудными. Вот и надо докапываться до различий между Сталиным и Лениным, Сталиным и Троцким, Сталиным и Бухариным, не довольствуясь их лежащим на поверхности сходством, часто к тому же вынужденным.

Только забыв историю, можно истолковывать «Письмо одиннадцати» или нынешнюю позицию журнала «Наш современник» так, как это делает Кожин, объявивший сталинистом даже Александра Твардовского. Но отчего же тогда Твардовский еще при Сталине сочинил для поэмы «За далью даль» главу «Литературный разговор», предмет которой — двойственность сознания, внутренний редактор, без коего «ни шагу, ни строчки и ни занятой»? По Кожину, Твардовский лишь к концу шестидесятых осознал трагедию деревни, но всякому, кто Твардовского читал, даже и в «Стране Муравии» видна не только «Рука, зовущая вперед».

Да, поэма вроде бы славилась сталинские колхозы, но, поставив ее героя в ситуацию выбора, которого на деле не было, Твардовский не только сумел не умолчать об «усопших, что пошли на Соловки», но с редкой для русской поэзии — всегда славившей в деревне общинное, общее, — проникновенностью сумел сказать о привлекательности для крестьянина собственного, самостоятельного хозяйствования: «Посеешь бубочку одну, и та твоя». Что говорить, дурно оставлять за дверью отца, который тебя выкормил, и младшего брата, предоставляя их ужасающей участи, но разве не за отца сказано: «Отворите мне темницу, я на волю полечу»? И разве не про тяжкую уже тогда жизнь в колхозе сказано чуть дальше:

— Кабы больше было воли,
Хочешь — здесь ты, хочешь — там...
— Кабы жалованье, что ли,
Положили мужикам?

Более того, в итоге всех похвал колхозному строительству все же выясняется, что никакого выбора на деле-то не имелось:

Была Муравская страна,
И нету таковой.

Пропала, заросла она
Травой-муравой.

Этот образ -«сниться больше нечему», — жил в поэзии Твардовского издавна, еще в те поры, когда он, может быть, и надеялся, что в конечном счете сталинские злодеяния обернутся для деревни благом. Вот оно как!

Можно, конечно, задним числом почитать поэту мораль. Охотников на то в избытке. И я вовсе не считаю, что поэту все дозволено. Дозволено ему в жизни не более чем всякому человеку. Я лишь про то, что подлинный поэт за собственные падения расплачивается душой, и расплата происходит на людях, она видна каждому, у кого есть глаза, вот и не слаживается у Кожина политический миф на могиле поэта.

Нет, Твардовский не был сталинистом, но, прельщенный идеями революции и равенства, он формировался в годы, когда люди в большинстве еще не слишком различали разные стимулы революции, какие бы упреки ей задним числом ни бросать, и общественные силы в

ней объединившиеся, чтобы после победы разойтись. Никуда не деться от того, что Октябрь – общий плод крестьянских масс, понимавших революцию как буржуазную, с наделением их земель, и большевистской партии, собравшейся строить социализм, в результате оказавшийся феодальным. Руководящие фигуры большевизма и себе не вполне были ясны, пока не пришлось определяться в противоречиях между крестьянством и своей партией. А Твардовскому, тогда молодому деревенскому парню отцовское антифеодальное стремление к самостоятельности было не вполне понятно, а отец понимал, что она – условие инициативы и предприимчивости, которым только и откликается земля. Твардовский, как видно по стихам, всю жизнь потом размышлял о своей юности, и примечательно, что главная его книга, книга о войне, победу в которой так часто выставляют главным доводом в пользу Сталина, при жизни Сталина обошлась практически без Сталина, стала «книгой про бойца». Перед родителями поэт виновен, но винить его в сталинизме можно лишь игнорируя многообразие даже и тогдашних его публичных суждений. Самое, впрочем, удивительное, что Кожинова при всем этом ничуть не смущает, что издания, выступающие за «извечную» национальную модель, и сегодня бьют поклоны Сталину и, проливая слезы о крестьянстве, ратуют за неизбежность колхозов, слышать не желая о подлинном фермерстве.

Сталин был связан необходимостью считаться и с нерусским населением, как никак составлявшим в стране половину, и с международным коммунистическим движением, для которого прямое развенчание Маркса и Ленина было бы чрезмерным. Вот он и держался за номинальный марксизм-ленинизм. Но как раз в колхозном строительстве он очень рано склонился к «извечности» хозяйственных методов, хоть и не имел возможности рекламировать ее столь открыто, как ныне Кожинов. Если нет гласности, ее не остается и для того, кто ее упразднил. Осознать это хоть не просто, но давно пора.

3. Демонология

Кожинов пишет без оглядки, не смущаясь даже публичным обнаружением его грубых передержек и фактических ошибок. Но обвинение в антисемитизме он счел все же нужным если не опровергнуть, то отвергнуть, сославшись на то, что среди высоко ценимых им деятелей культуры попадают и евреи. Сосчитав однажды, что таковых около двух десятков, он восклицает: «Не слишком ли много для антисемита?» Рассуждение довольно типическое, и стоит на нем остановиться. Кожинов внушает, что антисемитом объявляют любого, кто неодобрительно ответит о еврее, даже не по причине его еврейства. Он ссылается на то, что Давид Заславский некогда объявил так антисемитами и Пушкина, и Лермонтова, и Гоголя, и Некрасова, и Льва Толстого и множество других великих русских писателей разом. Это, конечно, вздор. Стиль Заславского в такой же малой степени норма для евреев, как стиль Кожинова — норма для русских. На деле единого отношения к евреям у русских писателей вообще не наблюдается. Суждения их на сей счет

весьма различны и нередко переменчивы. Утверждение Кожина о специальном изъятии из книг классиков их антисемитских заявлений звучит двойным наветом — и, вслед Заславскому, на самих классиков, и на издателей. В массовые издания вообще далеко не все сочинения попадают, а о пропусках в академических, если Кожин таковые обнаружил, говорить надлежит конкретно, а не голословно, поскольку они действительно недопустимы, что бы и о ком бы великий писатель ни сказал. До оскорбительности двусмысленно звучат в этой связи похвалы Кожина Г. М. Фридлендеру, упорно боровшемуся за сохранение в академическом Достоевском вообще всех известных его текстов, а отнюдь не только антисемитских. Сам Кожин признает, что подобные тексты сохранены и в академическом Чехове, — выходит, как раз в этом отношении прекрасно сделанное собрание Достоевского ничего исключительного не представляет.

К тому же классики писали еще в ту пору, когда евреи жили по преимуществу обособленно, загнанные в гетто, за черту оседлости, и жизнь их, естественно, отличалась от жизни народа, к которому принадлежал писатель. Невозможно было и представить, что настанут дни, когда большинство евреев окажется ассимилированным русской культурой в третьем и даже четвертом поколении. Как о любом другом малознакомом народе, о них писали кто с симпатией, кто с антипатией, кто с сочувствием, кто с пренебрежением. Вообще ведь никто не обязан любить ни евреев, ни русских, ни какой-либо другой народ, и антисемитизм — это вовсе не отсутствие любви, а ненависть, ведущая к дискриминации, а затем и к газовым камерам. Считать выступления против или за отдельного человека проявлением ненависти или любви к народу, к которому он принадлежит, конечно, странно, если только в конкретной ситуации их таковыми не сделают дополнительные обстоятельства. Любить Чайковского — не значит быть русофилом, ненавидеть Аракчеева — не значит быть русофобом. Статья Давида Заславского о присуждении нобелевской премии Борису Пастернаку не может рассматриваться как акт антисемитизма, равно как не могут рассматриваться в таком качестве и наши оценки этой гнуснейшей статьи. Не говоря уже о том, что евреи Иисус или Иоанн не отвечают за евреев Иуду или Фому, а русский Лев Толстой — за русского Василия Шульгина, нельзя перенести вину одного или даже многих людей, принадлежащих к какому-то народу, на весь этот народ, на всех в него входящих. Чудовищно было бы объявить, что все евреи отвечают за Ягуду, все русские — за Ежова, а все грузины — за Берию. Да и вообще далеко не во всех аспектах жизни роль межнациональных отношений сама по себе так уж велика.

Они, однако, становятся существенны, когда сказываются особые исторические или современные обстоятельства жизни того или иного народа. К примеру, евреям в царской России было запрещено владеть землей, и если русский народ долгое время состоял преимущественно из крестьянства, то еврейского крестьянства практически не существовало, лишь немногим евреям доводилось работать на своем клочке земли. Важно сейчас не то, что отторжение евреев от земли было в свое время явным актом дискриминации, а то, что в силу этого процент городского населения среди них — особенно когда Временное

правительство упразднило черту оседлости и позволило выбираться из местечек, где часто ни работы, ни, соответственно, средств к существованию не было, — стал выше, чем среди русских или других народов, имевших свое крестьянство. Потому-то все еще выше среди них и доля городских профессий, хоть в ходе всеобщей урбанизации она растет и у других. Между тем на это зачастую указывают как на некую привилегию евреев.

Вадим Кожин прямо призывает: «...уместно поставить вопрос о резком нарушении "пропорциональности" как раз в отношении других наций!» Не берусь судить, заимствовал ли В. Кожин идею «поставить вопрос о нарушении "пропорциональности"» непосредственно у царских чиновников, именно так обосновывавших введение процентной нормы в учебных заведениях, или дошел до нее своим умом, но равенство людей, независимо от этнической принадлежности, состоит не в том, что у всех народов поддерживается одинаковый процент физиков и животноводов, а в том, что права отдельного человека не зависят от его этнической принадлежности и от положения других людей той же или другой национальности. Каждый имеет право учиться чему угодно и где угодно в меру лишь своих собственных способностей и своего личного усердия. Нелепо объявить: прекрасных русских балерин уже и так много, а, скажем, узбекских мало и надо поэтому принимать в хореографические училища поменьше русских и побольше узбечек. Нет, простите, принимать надо всех одаренных, — и русских, и узбечек. Заботящее Кожина восстановление "пропорциональности" там, где эта "пропорциональность" исторически нарушена в результате вековой дискриминации, насильственным сокращением числа евреев среди, скажем, портных или зубных врачей и, допустим, их увеличением среди моряков и доярок, независимо от желаний и склонностей людей, не может расцениваться иначе как прямой антисемитизм — так оценивалась процентная норма в прежние времена, и нет причин оценивать призыв к ее возрождению иначе.

Кстати, то, что среди евреев меньше трактористов и относительно больше музыкантов, ни этим людям, ни народу в целом никаких преимуществ не приносит. Материальное положение музыканта, за вычетом немногих особо выдающихся, отнюдь не лучше, чем положение тракториста, а часто и хуже, труд музыканта тяжел и требует особых способностей и напряжения. Да и подсчеты в этой сфере ведутся недобросовестно. Рассуждают, к примеру, о завышенном среди евреев проценте лиц с учеными степенями, но элементарная объективность требовала бы прежде всего установить, написаны ли соответствующие диссертации в результате занятий в очной аспирантуре или докторантуре, где соискателю оказывается помощь и его освобождают от другой работы, или же диссертации подготовлены самостоятельно, параллельно основной работе, что не заказано любому желающему, способному к научным занятиям. Вот бы и посчитать, где и насколько больше (или меньше) процент евреев — в очной аспирантуре, число мест в которой ограничено, или среди написавших диссертации самостоятельно. Оставляя в своем стремлении к «пропорциональности» это принципиальное различие в стороне, Вадим Кожин демонстрирует готовность ради дорогой ему

«пропорциональности» попридержать самостоятельную научную и культурную активность людей определенных наций. Его не тревожит мысль, что, остановив людей, работающих в науке самостоятельно, можно стране, России, о которой он на словах печется, нанести ущерб. Стоит также отметить, что в отличие от науки и искусства, где в некоторых областях процент евреев, по указанным выше причинам, и впрямь бывает выше их процента среди всего населения страны, в политике и сфере управления, где, по уверениям Кожинова, они также занимают 10-20% мест, такого превышения нет вовсе. Достаточно сказать, что среди двадцати членов и кандидатов Политбюро нет вообще ни одного еврея, хотя, будь Кожинов прав, их было бы там два-четыре человека. Как же не назвать подобные вымыслы, да еще распространяемые массовыми тиражами, антисемитскими?

Антисемитизм — проблема общественная, она не сводима к случайному отзыву об отдельном человеке. Если даже Кожинов укажет на нелестный отзыв Льва Толстого о каком-то еврее, я не стану считать Толстого антисемитом вовсе не потому, что у него бывали и лестные отзывы о каких-то других евреях, а по его честному и чуткому пониманию еврейского вопроса в царской России как целого. Достаточно вспомнить реакцию писателя на известный Кишиневский погром. Согласившись на просьбу Н. М. Стороженко послать вместе с другими телеграмму кишиневскому городскому голове, Толстой попросил изменить ее текст и вместо «Мы выражаем наш ужас перед случившимся, чувство жгучего стыда за христианское общество и безмерное негодование против гнусных подстрекателей темной массы» — предложил написать: «Мы выражаем наше болезненное сострадание невинным жертвам толпы, наш ужас перед этим зверством русских людей, невыразимое омерзение и отвращение к подготовителям и подстрекателям толпы и безмерное негодование против попустителей этого ужасного дела».

А Вадим Кожинов по аналогичному поводу пишет: «Конечно, Сталин очень плохо обошелся со многими евреями, однако все же отнюдь не в большей степени, чем с русскими и людьми других национальностей». Вспомним, однако, какие национальности были при Сталине подвергнуты более тяжким преследованиям, чем евреи. Это, конечно, крымские татары, немцы Поволжья, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, калмыки и другие, насильственно выселенные с мест их прежнего обитания. Однако больше ни у какого другого относительно малочисленного народа, кроме евреев, не была полностью ликвидирована национальная культура — одновременно были закрыты еврейский театр, еврейские газеты и журналы и погублены не просто многие, как у других, но практически почти все видные писатели. Если уж устанавливать «пропорциональность», как любит Кожинов, не следует отвлекаться от нее и тут. Можно, конечно, лишь радоваться, что подобное не было сделано в таких же пропорциях с другими народами и, в частности, с русским, культура которого, хоть и в стесненном виде, продолжала жить, но зачем же отрицать то, что было, и всем желающим знать правду отлично известно.

Кожинская формула «отнюдь не в большей степени» распространяется часто и на гитлеровские злодеяния, замалчивается особое положение, которое, казалось бы, так наглядно продемонстрировали Освенцим и Трешлинка. Разумеется, от нацизма пострадали все народы, подпавшие под его власть, не исключая и немецкого. В абсолютных числах поляков, — а если считать не только мирное население, но и солдат, — то и русских, погибло никак не меньше, возможно, даже больше, чем евреев, уже потому, что их было несопоставимо больше. Но факт остается фактом: поляков, русских, белорусов и других нацисты, к счастью, убивали все же выборочно, а евреев, равно как и цыган, поголовно. И эта особенность гитлеровской национальной политики, нашедшая потом отголосок и в сталинской, как раз и стала питательной почвой для сионизма, то есть еврейского национализма, до того долгие годы остававшегося мертворожденной теорией, хотя ее и пропагандировали такие способные публицисты, как Макс Нордау по-немецки и Владимир Жаботинский по-русски. Лишь когда миллионы людей ощутили свое особое положение, угнетенный им поголовно путь в печь или газовую камеру, столь неотвратимо не грозящий больше никому, кроме цыган, сионистская идея обособления во имя самозащиты, мучительная для народа, более двух тысячелетий жившего среди других, начала овладевать умами, и первым ее практическим проявлением было не создание израильского государства, а восстание в Варшавском гетто, позволившее десяткам тысяч погибнуть не в газовой камере, а в бою с фашистами. Кожинское «отнюдь не в большей мере», то есть «ничего особенного не происходило», на фоне народной катастрофы и сегодня отнимает у евреев всякую другую надежду, кроме сионизма, и, когда мы с горечью наблюдаем в аэропортах людей, навсегда покидающих Родину, стбит помнить, что толкают их на это не только возгласы «Смерть жидам!» на митингах «Памяти», но и рассуждения Вадима Кожина и подобных ему.

Ах, если бы речь шла об отдельных евреях, среди которых, как и среди русских, и украинцев, и других народов, были, конечно, и есть, и негодяи, и палачи, и стукачи, и, восстанавливая реальность жизни, нет причин об этом умалчивать. Но в том-то и дело, что Кожина и его единомышленников вовсе не реальность занимает. Заботься они об истине, они не приплясывали бы вокруг того, что евреев, равно как и людей из других угнетенных самодержавием народов (поляков, армян, латышей, грузин и других) среди участников революции, среди борцов за смену модели (среди делегатов VI съезда РСДРП(б): великоруссов — 92, евреев — 29, латышей — 17 и т.д.) в любезном Кожиную «пропорциональном» отношении было больше, чем русских, роль которых в массовом революционном движении все равно оставалась определяющей, поскольку русские составляли большинство населения центральных районов, и без их активности никакой революции просто и быть не могло.

Заботься Кожин и прочие об истине, они бы без уловок признали, что для евреев, равно как и для русских и для других народов, речь в революции шла вовсе не о чисто национальных, но прежде всего, о социальных проблемах, и евреи, подобно прочим

народам, были социально расслоены. Немалое их число стояло за Октябрьскую революцию и партию большевиков, но отнюдь не меньшее — за партии меньшевиков, эсеров, кадетов и против Октября. Только среди черносотенцев евреев действительно не было, но считать всякого, кто не черносотенец, врагом России как-то странно и даже оскорбительно для России и русского народа. Но Кожин и его единомышленники не только замалчивают в своих рассуждениях, что никакой единой еврейской, как и единой русской, позиции в годы революции и гражданской войны не существовало, но твердят о какой-то особой демонической «еврейской революционности».

А ведь и после революции, когда в советском правительстве оказался еврей — Л. Д. Бронштейн (Троцкий), когда немало евреев заняло видные посты, никакого социального единства среди евреев все же не возникло. Дело не ограничивалось занятием мест на скамье подсудимых в процессах меньшевиков, эсеров, Промпартии и т.п. Ныне модно писать, что в раскрестьянивании участвовали евреи, в то время как среди крестьян, как было сказано, евреев практически не было, и они, выходит, были лишь среди палачей, но не среди жертв. Однако и слова не слышать о том, что одновременно с ликвидацией нэпа в деревне, с раскулачиванием, шла и ликвидация нэпа в городе, такое же, по существу, раскулачивание, и среди его жертв, с которыми обходились ничуть не милосерднее, чем с деревенскими, — вспомним хотя бы прославленные «парилки», где от людей требовали золото, которого у большинства из них не было и в помине, — оказалось множество евреев — ремесленников и торговцев, а в числе их палачей было множество русских и людей других наций, и расправы, кстати, были не свободны от антисемитских выпадов. Но несмотря на это, в тюрьмах, лагерях, ссылках, и русские, и евреи, другие жертвы расправ легко находили тогда общий язык, сознавали свое социальное единство. А нынче видные литераторы усердно выдергивают из списка палачей еврейские фамилии и замалчивают остальные, а в списках жертв, напротив, еврейские фамилии замалчивают, а остальные повторяют многократно. И это тоже явное проявление антисемитизма, как бы от него ни отрекся Кожин. Похвалами поэзии Осипа Мандельштама клеветнические подтасовки, порочащие целый народ, не перекрыть.

Вадим Кожин ко всему еще твердит, что «никто не возражает, когда... говорят о зловердных политических, идеологических, научных деятелях или дельцах какой-либо иной национальности, но если речь заходит о таких же деятелях еврейской национальности, сразу же сыплются обвинения в антисемитизме, шовинизме, черносотенстве, даже фашизме». Но вот на съезде писателей подобные обвинения звучали, напротив, в связи с «Ловлей пескарей в Грузии», и грузинская делегация в знак протеста против шовинизма даже покинула зал заседаний. И не оттого ли, что никто этого не запомнил, дело дошло до убийств в Тбилиси? Немало сказано о шовинизме в связи с погромами в Сумгаите. Национальный вопрос у нас не сводится к еврейскому ни в жизни, ни на страницах «Нашего современника», ни в сочинениях Вадима Кожина. Только о евреях здесь пришлось говорить потому,

что лишь от обвинения в антисемитизме, а не великодержавном шовинизме вообще, Вадим Кожинов почел нужным особо отмываться.

4. Смысл бессмыслицы

Располагая, в отличие от Кожинова, весьма ограниченной журнальной площадью, я опускаю многие мифы, им сотворенные, не говоря уже о мелких подтасовках и семантических сдвигах. В печати не раз указывали на недостоверность его построений и несообразность суждений с фактами.¹ Кожинова это не смущало, он свои позиции не отстаивал, критиков не опровергал, но продолжал мифотворствовать. Природа его мифотворчества как раз и нуждается в прояснении, тем более, что он у нас не один такой, он лишь усерднее и бойчее прочих.

Гласность вернула общество к идейным спорам подспудно или почти подспудно шедшим десятилетиями. Никто, даже Нина Андреева, не пытается сказать, что те годы были безупречны. Обращаясь к былым временам, многие говорят о нечеловеческих условиях жизни, о раскрестьянивании, о расправах с интеллигенцией, о подавлении

¹ Решив продемонстрировать свою образованность, Кожинов ухватился за пересказ в «Книжном обозрении» № 23 за 1988 г. мысли Белинского о Пушкине как залоге будущего России и русской литературы. И объявил: «...здесь имеет место "мешанина" из двух высказываний — Гоголя ("Пушкин... это русский человек в его развитии" — 1834 год) и Белинского ("Завидуем внукам и правнукам нашим..." — 1840 год).» Особенно неловко обращается Кожинов с высказыванием Белинского; эту цитату в учебниках обычно обрывают посреди фразы, и Кожинов, видимо, полагая, что продолжения фразы читатель не знает, пишет: «...освежив в своей памяти суждение Белинского 1840 года о том, какой рай будет через сто лет, в 1940-м, сам Карп, вероятно, придет в ужас...». Но приходится в ужас нет причин: в небольшой рецензии на «Месяцеслов на (високосный) 1840 год» Белинский никакого рая не обещает, он лишь размышляет о первом веке русской литературы, отсчитываемом им от оды Ломоносова «На взятие Хотина», который, начавшись в 1739 году, «заклучился горестною кончиною последнего своего представителя — Пушкина». А завидовать внукам и правнукам зовет лишь потому, что «второй век русской литературы — сердце наше говорит нам — будет веком славным и блистательным: его приготовило окончившееся столетие, поставив литературу на истинный путь». Приготовил более всех именно заключивший век Пушкин, которого Белинский видел провозвестником будущего. Оттого-то позднее, в статье пятой (1844 год) из «Сочинений Александра Пушкина» он и цитирует Гоголя, начав как раз с абзаца, где сказано, что «Пушкин... это русский человек в его развитии,...». Вот опять же как — не Карп «когда-то прочитал в томах Гоголя и Белинского» и перепутал, а Белинский цитирует Гоголя, сказавшего близкое к тому, что он и сам уже говорил. Но вообразим, что я бы и впрямь случайно перепутал цитаты, что, конечно, было бы досадно, — разве такая оплошность, да еще притом, что мысль Белинского и сжавшись в одну строку уцелела, давала бы Кожинову основание для столь агрессивных речей, особенно когда сам он систематически извращает цитируемое? Зачем создается миф о моей забывчивости? Не ради того только, чтобы хоть как-то лягнуть меня, а все затем же: желая сделать свое мифотворчество более достоверным, Кожинов творит миф и о самом себе как о человеке знающем, начитанном, всеведущем.

национальных культур, о лагерях и казнях, но редко углубляются в природу обнимающего все это явления, именуемого сегодня «сталинизмом». О нем по-прежнему судят по этикеткам, им самим на себя навешанным, его рассматривают как форму марксизма, его числят плодом отказа от традиционному особому российскому пути и перехода в прошлом веке на буржуазные рельсы, — корни его, соответственно, ищут в Февральской революции и чуть ли не в отмене крепостного права. На то, чтобы числиться самыми радикальными противниками сталинизма, все еще претендуют те, кто зовет вернуться к «прекрасной родине», якобы существовавшей до семнадцатого или даже до восьмисот шестидесяти первого года. Странники такого возврата и слушать не хотят, что деятельность Сталина как раз и была продолжением самых реакционных течений дореволюционной поры, после революции, естественно, формулируемых иначе и от своих истоков отрекшихся. На противоположном фланге тоже не хотят признать, что Сталин был не только воспитанником, но и практиком ленинизма и, конкретизируя его, шел дальше Ленина, хоть вобрал в свою идеологию много его положений и даже положений Маркса. Приходится еще доказывать, что сталинский социализм был феодальным, и сохранял в псевдосоциалистических формах феодально-абсолютистские, по существу, отношения.

Не то, конечно, плохо, что Сталина критикуют, — плохо, что критикуют его поверхностно, подверстывая к нему явления, быть может, тоже достойные критики, но совсем иные. За яростными схватками крайних флангов часто остается незамеченным, что критика сталинизма, игнорирующая его корни, служит, как это ни парадоксально, более всего именно сталинизму, как якобы самостоятельному явлению, готовому жить дальше в новых одеждах из старых царских гардеробов. Возрастающая идеализация бывшего сосредоточивается не столько даже на последнем царе, которого хоть и оплакивают, но все же признают слабым и даже ничтожным, сколько на тех, при ком расцвело и процветало крепостничество, — на Иване IV, Петре I, Екатерине II и, что особо примечательно, Николае I, всей душой старавшемся не поддаться требованию времени, вопреки ему, беречь «вечную» модель незыблемой.

В годовщину гибели Пушкина Кожин выступил с очередным мифом, по которому поэт, оказывается, погиб из-за того, что росло его влияние на государя, и граф Нессельроде, опасаясь радикальных политических перемен, организовал убийство. Как-то даже и неловко напоминать, что Нессельроде, бездарный дипломат, продержался в своем ведомстве так долго именно благодаря готовности следовать любому царскому курсу. С приходом Николая от привычной австро-прусской ориентации он легко перешел к англо-французской, а потом опять возродил Священный союз. Давно известно, что жена министра, урожденная графиня Гурьева, принадлежала к кругу ненавистников поэта. Но чтобы вывести из этого политический заговор, возглавляемый министром, нужны все же хоть какие-то факты. Таковые не ведомы никому, и мифотворец Кожин их творит: известные слова Александра II о даме, писавшей Пушкину анонимные

письма: «Это — Нессельроде!» — он без каких-либо мотивировок объявляет относящимися к ее мужу!

Николай I при этом подается как человек, готовый строить свой политический курс по советам Пушкина и лишь из-за коварства инородцев не получивший такой возможности. Уж казалось бы, банкротство этого самодержца оспорить трудно, но, по Кожинуву, если какой царь что и не так сделал, то исключительно из-за чьих-то козней, ибо самодержавие — это наша «вечная» традиция. До перемен в обществе, до трансформации составляющих его сословий и классов Кожинуву нет дела. Он категоричен: дворянство, опора самодержавия, сформировалось в рамках опричнины, и все тут! На деле-то дворянство началось в России в XII-XIII веках, если не раньше, когда об опричнине и речи не было. Да и опричнина включала в себя людей весьма различного происхождения: фамилии, перечисляемые Кожинувым, известны задолго до опричнины; это фамилии княжеские, восходившие часто еще к удельным князьям, иные были боярами до опричнины, другие получили боярство после. Российское дворянство складывалось отнюдь не из одних опричников, но из тех же бояр и выходцев из других слоев. Одни продолжали отстаивать неограниченное самодержавие, другие поднимались против него за сословные права, и эти другие все больше ущемлялись и оттеснялись, вплоть до крестьянской реформы, когда и в дворянской среде возникли новые тенденции. Достаточно вспомнить «Мою родословную», чтобы ощутить различие для Пушкина тех, кто «не ваксил царских сапогов», и тех, кто охотно это делал. Но Кожинуву не Пушкин интересен, а возможность создать его именем миф о благих намерениях самодержавия, тормозившего развитие страны ради сохранения «извечной» крепостнической модели.

Спор о модели, анализируется она на примере Николая I или Сталина, остается ключевым для понимания ныне происходящего и того, что надлежит делать. Различия современных программ восходят к давно обозначившемуся противостоянию феодальных начал, с которыми не то что царская власть, но и Временное правительство не покончило, и начал буржуазных и постбуржуазно-социалистических. Схватка меж ними, длившаяся от отмены крепостного права до «великого перелома», привела к возрождению и укреплению феодальных начал в виде сталинского феодального социализма, ожесточившего «вечную» модель.

Можно, конечно, ее, как старое пальто, еще раз перелицевать, на месте формализованной идеологии, лишь по недоразумению именованной марксистской, можно опять водрузить «православие, самодержавие и народность», к чему, собственно, и сводятся цели Кожинова и его единомышленников. Но даже ратуя за блага одного лишь русского народа и пренебрегая остальными, стоило бы помнить, что и русский народ отнюдь не добровольно принимал феодально-реакционный порядок Ивана Грозного или феодальный социализм Сталина, что в России жил не один Калиныч, но и Хорь.

Русский крестьянин стремился не только к сохранению уравнительных порядков общины, помещику-крепостнику не опасных, даже удобных, но и к самостоятельности. Красные победили в

гражданской войне прежде всего потому, что уже Декретом о земле подали крестьянину надежду на самостоятельность. Вводя продразверстку, они теряли крестьянскую поддержку, однако крестьянин вновь склонялся к большевикам, когда прояснилось, что его самостоятельность и право на полученную землю белые признать не хотят.

Октябрь был призван разрешить обе проблемы, по которым «извечная» модель загнала страну в тупик, — аграрную и национальную. Теоретически Ленин противопоставил полукрепостническому помещичьему хозяйству самостоятельность крестьянина с перспективой его сугубо добровольной кооперации с желающими того односельчанами, а единой и неделимой империи — союз самостоятельных республик. Но ни то, ни другое не совмещалось с пониманием НЭПа, как «передышки», скорейшим отказом от него и превращением всего хозяйства страны в единый синдикат, — тоже важнейшим ленинским теоретическим положением. Прилагая эти теории к жизни Сталин следовал легче осуществимым административным. Крестьянин принудительно коллективизировал, а самостоятельность республик свел к их частичной культурной автономии. Оттого-то вопросы, стоявшие перед Октябрем, вновь ставятся ныне, пусть на совсем ином уровне промышленного развития и при совсем иных сельских жителях, не говоря уже о кровавом грузе их неразрешимости в рамках «извечной» модели.

Среди появляющихся ответов на старые октябрьские вопросы бессмыслицы Вадима Кожина не настолько бессмысленны, чтобы ограничиться перечислением ошибок и недобросовестностей, которое Кожина не смущает и не мешает ему и дальше пользоваться несостоятельными аргументами. Может быть именно в силу расхристанности его письма, бесстрашных обращений к областям, ему совершенно неведомым, и, стало быть, рубки с плеча, намерения, не ему одному присущие, проявляются у него особенно наглядно.

В ленинской послеоктябрьской нэповской модели наличествовало нечто, опять поманившее, отшатнувшегося было после продразверстки, крестьянина, ныне не спешащего откликаться на призыв брать землю в аренду. Сегодня нет уверенности, что землю, в которую будут вложены силы и средства, опять не заберут, что она не будет очередным распоряжением отнята у детей. И нет этой уверенности прежде всего потому, что арендовать предлагают не у государства, не у сельсовета, а у того же колхоза или даже совхоза. В свете этой коллизии не случайно заявление Кожина, что, дескать, «беда нашего сельского хозяйства не в колхозах и совхозах как таковых». Ах, господи, ну, конечно, не «как таковых», и там, где колхозы существуют по свободно выраженному желанию крестьян, приказывать им разойтись просто глупо. (Совхоз, однако, нельзя считать за крестьянское объединение — крестьянин там стал наемным рабочим.) Плох не колхоз «как таковой», а недобровольность членства в нем. А добровольность восстановится лишь тогда, когда крестьянин сможет, по своей воле уйдя из колхоза, остаться на земле, стать, если не собственником, то арендатором у государства. Созная эту возможность, он, может быть, никогда и не уйдет, но природа колхоза

изменится, она отойдет от «извечной» модели, отчуждение крестьянина от колхозного хозяйства кончится. Однако Кожинов твердо стоит за колхозы именно как за «извечную» модель. Вот почему, хоть он впрямую вроде и не хвалит Сталина, его считают сталинистом с гораздо большим основанием, чем он счел сталинистом Твардовского.

Кожинов делит хозяйственные модели на зарубежные и отечественные, на западнические и почвеннические и, вопреки очевидности, уверяет, что отечественные и почвеннические не в пример плодотворнее. Но хозяйство лишь исторически, а не имманентно, связывается с национальными особенностями. Оно, конечно, зависит от сложившейся у народа политической структуры и, в свою очередь, оказывает влияние на народный характер. Но ведь в Южной и Северной Корее, в Западной и Восточной Германии, хоть люди там и тут этнически единообразны и говорят на одном языке, хозяйство совсем разное.

Хозяйство бывает либо внеэкономическим, как при феодализме, либо экономическим, как при капитализме и как должно быть при сменяющем его социализме, поскольку без реальных экономических параметров современная техника разоряет общество и заводит его в тупик, а с ними обогащает и служит людям. Выбор между экономической и внеэкономической жизнью и есть самый главный, решающий. При всех возможных вариантах он совпадает с выбором между правом одних решать за других и правом каждого решать за себя, то есть демократией. А она сама по себе предполагает разнообразие моделей, а не «извечную» и «вечную» приверженность одной-единственной, антиэкономической и антидемократической. «Прекрасной» модели у нас за спиной нет, и придется ее собирать из тех примет, которые и у нас мелькали, — свободы крестьянина, свободы рабочего, свободы ученого, свободы художника, социальной помощи всем и зависимости государства от общества, а не, как мы привыкли, наоборот.

Я тоже «далеко ушел от литературных споров». Ведь за рассуждениями о литературе и искусстве сегодня стоят насущные проблемы жизни нашего общего отечества. Чтобы их разрешить, надо их видеть как они есть. Ради этого и приходится мифы, творимые Вадимом Кожиновым и другими мифотворцами, опровергать вновь и вновь, чтобы мифы эти не застили людям взоры. Слишком дорогой ценой придется потом расплачиваться за сегодняшнюю слепоту.

III

ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ!

Гласность, начавшаяся с апреля 1985 года, все еще вновь и непривычна. Еще далеко не каждому ясно, зачем она, как с ней обходиться, и нельзя ли, как прежде, без нее. Переход к гласности свершился в одно мгновение, — в то самое, когда оказалось, что не просто «есть мнение», которого надо держаться, а есть разные мнения. Прежде считалось, что печатать следует лишь абсолютные истины, да и то не все, а лишь те, какие сочтено необходимым довести до сведения населения. Гласность означает, что население, а лучше сказать, народ, вправе знать все.

Входя с прежними привычками в новую эпоху, легко попасть впросак. Люди видят, что не все публикующееся — истина. Прежде обнаруживая в печати неверное суждение, человек, конечно, тоже не обязательно ему верил, но нередко считал, что писать и печатать такое побуждают высшие соображения. Нынче понятней, что высших соображений, оправдывающих и самое благонамеренное вранье, быть не может, что приписки всегда, в конечном счете, наносят ущерб и людям, и обществу, и государству. Но многим хочется, чтобы преодоление лжи и заблуждений свершилось закрытым порядком, в кабинетах, а после было объявлено в виде новых догм. Им кажется, что гласность нужна лишь затем, чтобы сказать правду, которую прежде замалчивали. Они верят, что кому-то известна вся правда, верят, что есть на свете, как внушали при Сталине и Брежневе, владельцы истины в последней инстанции, и дело лишь за тем, чтобы они вышли из засекреченных сфер и заговорили открыто.

Трудно осознавать, что присяжных владельцев истины нет, и говорить надо всем, хоть мы далеко не всё, что надо бы, знаем. Гласность затем и нужна, чтобы видеть все как есть, в жизни и в людских головах. Но о былом многие по-прежнему кричат, как горьковская Настя Барону: «Не было этого!». Мнения, а точнее страсти, все еще зачастую не оглядываются на факты. Мы привыкли к готовым истинам, спускаемым сверху или вышедшим из катакомб. Мы утратили навык совместного общественного мышления, и это самый большой ущерб, нанесенный культуре культом личности и застоем.

О последней пьесе М. Шатрова докторá исторических наук В. Горбунов и В. Журавлев пишут в «Советской России»: «Общая концепция содержания пьесы — концепция перерождения Советского государства». Слово-то какое — «перерождение», сразу обвиняющее в клевете! А есть ведь и спокойные слова: «перемены», «поворот», «преображение», наконец, «перестройка»! Сталин, который был все же откровеннее своих нынешних адвокатов, назвал происшедшее на рубеже двадцатых и тридцатых годов «великим переломом»! И в самом деле, вся жизнь страны, установившаяся после гражданской войны, подверглась тогда радикальным изменениям. Это неоспоримый факт, и тогда его сознавали все. Можно, само собой, его по-разному оценивать, можно спорить, в частности и с Шатовым, чем были вызваны крутые перемены, в какой мере были они оправданы, в какой

степени та разновидность социализма, которую стал строить Сталин, идентична той разновидности социализма, которую до того строил Ленин. Но В. Горбунов и В. Журавлев в это не входят, они знают лишь поступательное развитие, игнорируя факт резких перемен. «Не было этого!» — и все тут. Ныне часто твердят, что не было того, что было, и было то, чего не было.

Наивно объяснять пренебрежение реальностью лишь личными качествами пишущих. Оно — дитя особой философии, для которой высший аргумент — желание, воля. Как пели в середине тридцатых: «Кто ищет, тот всегда найдет!». Мысль, что найдешь отнюдь не всегда, а можно и потерять, что успех поисков зависит не только от усердия ищущих, но и от объективной действительности, долго считалась крамольной. Уверенность, что нам нечего терять и все нам нипочем, как раз и привела к бесчисленным утратам — от экологии до литературы. Но образ мыслей, владевший людьми десятки лет, не исчезает в одно мгновение. С наступлением гласности на поверхность выходит не только правда, которая замалчивалась. Громче и ожесточенней звучат и голоса той воли, которая ее замалчивала. Глупо затыкать уши и не слышать эти голоса.

Юрий Кузнецов в своих эпатазирующих публику низвержениях прежней литературы — от Пушкина до Константина Симонова, не обошел и Ахматову. Каких только кошунственных слов не сыскал он для «Реквиема», впервые опубликованного через двадцать лет после смерти поэта, да и для самой Анны Андреевны. При этом он горделиво объявил «Если бы Ахматову и Цветаеву недооценивали, я бы тотчас выступил в их защиту». Но ведь Ахматову по сей день недооценивают, — по сей день не пересмотрено порочащее ее Постановление. Вот бы Кузнецову и выступить в ее защиту, потребовать его пересмотра, как это, кстати, сделала на общем собрании Ленинградская писательская организация, а там, когда ходатайство будет удовлетворено, можно и признаться, что ему лично стихи Ахматовой не по вкусу. Тогда бы и сослаться на пример Толстого, не любившего Шекспира. Уж, по крайней мере, вышло бы по-мужски. А это не пустяк для человека, столь пылко поносящего женщин.

Выступление Кузнецова многих, естественно, возмутило. Очень уж оно созвучно старой формуле А. А. Жданова: «Не то монахиня, не то блудница». Некоторые, однако, возмущены уже тем, что интервью напечатано. Ах, и впрямь нашей литературе жилось бы легче, если бы никто не думал, как Кузнецов! Но не один ведь Кузнецов так думает! Зачем же прятать голову в песок? Не обязана ли печать продемонстрировать реальность во всей ее наготы?

И еще одно. Выступление Жданова влекло за собой исключение из Союза писателей и, стало быть, лишение хлебной и продовольственной карточек. Карточки Анне Андреевне уже не нужны. И ничем больше выступление Кузнецова ее тоже не ущемит, это не в его власти. Но оно зато отчасти объясняет происшедшее в тот памятный год. Ныне охотно ругают злого Жданова, расправлявшегося с писателями. Никому уже и в голову не приходит, что это, среди прочего, делалось в угоду тогдашним единомышленникам Кузнецова. Ведь и тогда в писательской среде существовали разные мнения, хоть

не было гласности чтобы их высказать: одни содрогались от происшедшего, другие приветствовали его всей душой. Это надо помнить.

Помнить, чтобы понимать происходящее сегодня. Ни один день нашей жизни не был бессмысленным, и даже самые страшные, трагические дни, если мы поймем, что к ним приводило, помогут предотвратить новые трагедии. Надо помнить! Давно сказано: культура — это память! Отчего же так часто с призывами к памяти выступает воинствующее бескультурье? Да просто берет популярный лозунг, — не все ведь дают себе труд поглядеть, что под лозунгом делается. А усердно твердя: «Память! Память!», бескультурье насаждает избирательную память, ратует за то, чтобы «помнить» то, чего не было, и не помнить того, что было.

Характерно, что сегодня страницы журнала, предназначенного для современной литературы, отдают Николаю Михайловичу Карамзину, книги которого, конечно, должны быть доступны, однако и словом не заикаются о надобности переиздать Михаила Николаевича Покровского, книги которого нынче тоже не купишь. Как тут не вспомнить, что в истории Карамзина, написанной дивным слогом, доказываются, по слову Пушкина, «необходимость самовластья и прелести кнута», а Покровским, что ни говори, как раз такому толкованию истории противостоял, за что и был ошельмован в годы культа личности. Блок, словно предвидя нынешние споры, написал: «Мы помним все», и в этом суть дела, здесь граница между памятью и «Памятью».

В «Книжном обозрении» от 25 декабря 1987 года, С. Алексеев пишет, к примеру, о Чебурашке, Буратино и Карлсоне: «Все они объединены одной судьбой — безродством и беспамятством». Но, помилуйте, — какое безродство? Буратино — Алексей Толстой, его автор, этого не скрыл, — пришел к нам из книжки Карло Коллоди «Приключения Пинокио» и восходит к вековой традиции знаменитого итальянского кукольного театра. А Карлсон — явный швед, даже однофамилец тамошнего премьер-министра. Оба они, не говоря об отечественном Чебурашке, из хорошо известных родов. Но для Алексеева «инородный» означает «безродный». Тоже не ново, — уже было в пору борьбы с «безродными космополитами», когда, стремясь доказать национальную самобытность «французскую» булку переименовывали в «городскую».

Понятно, ничего худого в том, что люди любят свою национальную культуру, нет. Имена Толстого и Достоевского, Менделеева и Павлова, русская икона, русская поэзия, русский балет, известные всему миру, и многое другое неопровержимо свидетельствует, что русская культура принадлежит к самым богатым культурам планеты. Как и другие, столь же богатые, она сложилась не в изоляции, а в теснейшем взаимодействии с иными культурами, и принимая дары и одаряя. Из русской культуры не вырвешь греческих иконописцев, итальянских архитекторов, французских хореографов, не выкинешь вклад обрусевших жителей бывшей Российской империи — немцев, украинцев, евреев, грузин, поляков, татар и многих других, вплоть до турок и эфиопов. Оба великих идеологических движения, оказавших

могучее влияние на русскую культуру, — христианство и марксизм, — возникли далеко от Москвы, но, усваивая их, русская культура придала обоим свой, особенный отпечаток. Да, в конце концов, будь даже русская культура в сто раз бедней, все равно, — любому народу естественно любить и беречь свои культурные ценности. О чем тут спорить?

Но, оказывается, вовсе не расцвет и не пропаганда шедевров национальной культуры заботит нынешних, как и прежних, борцов с «безродностью». Ю. Сергеев говорит: «Я хочу художественно дать читателю надежду на то, что у нас еще до христианства была величайшая культура. У меня есть интересные гипотезы...» Опять не факты, не открытие неведомых памятников, — единственный «памятник», поминаемый Сергеевым, известная «Влесова книга», о поддельности которой виднейший специалист по древнерусской литературе О. Творогов как раз чуть раньше писал в такой общедоступной газете как «Правда». Но Сергееву наука не указ, ему нужны гипотезы, дающие надежду! А зачем, собственно, нужны гипотезы о величайшей (!) культуре до христианства, никаких свидетельств которой нет и в помине? Да затем, конечно, чтобы принизить культуру, возникшую с принятием христианства, с приобщением русского народа к сообществу европейских народов, и поздней развивавшуюся внутри него. Перед нами парадоксальное явление: люди, громче всех кричащие о национальной самобытности, стремятся урезать, стерилизовать великие достижения национальной культуры, нанести ей прямой урон, точь-в-точь как в свое время борцы против так называемого «космополитизма» и участники аналогичных кампаний.

С. Алексеев откровенно пишет: «К своей Родине, к своему Отечеству, а равно к его истории и культуре, можно относиться однозначно». Слово это даже подчеркнуто. Но можно ли на деле относиться одинаково к Пугачеву и к посадившему его в клетку Суворову? К Сперанскому и Аракчееву? К Рылеву и Николаю I? Уж не будем касаться более близких времен. Алексеев против перемен: «Если бы каждое новое поколение жизнь свою начинало с пересмотра, с перекраивания и переделки наследства — у нас не было бы Отчизны». Но времена меняются, и люди меняются вместе с ними, а Отчизна, слава богу, жива. Конечно, очень жаль, что часто недостает терпимости к тому, что более не кажется актуальным, и нередко прекрасные памятники старины рушатся, гибнут. Это горько. Но само отношение к наследству не может быть всегда одинаковым, однозначным уже потому, что и наследство не однородно. Даже цари не одинаковы: одно дело Иван IV, другое — Александр II. Затем и нужно помнить все, чтобы ориентироваться в наследстве.

И у советского государства есть уже разное наследство. Сегодняшняя борьба за перестройку побуждает признать, что наследство Сталина, которым страна жила до сих пор, все же отличается от наследства Ленин. А однозначность и неизменность проповедуются, чтобы все осталось как есть. В решении насущных экономических проблем, от чего зависит уже и обороноспособность нашей Родины, многие, вместо социальных реформ, полагаются на

несовместимую с ними проповедь национальной исключительности, «пассионарности», которая, якобы, и березу перешибет. Но ведь наш век показал, чем кончаются подобные упования.

В свое время гонители Ахматовой или «космополитов» обладали монополией публичности, возразить им было невозможно. Гласность позволила спорить с дожившими до наших дней тенденциями. Но нелепо воображать, что от лишения их сторонников возможности твердить свое весь былой вздор сам собой растворится. Это значило бы предаться либеральной эйфории, уповающей на то, что кто-то наверху устроит за нас все к лучшему.

Нет, пусть говорят! Хорошо, что Кузнецов и другие не стесняются в выражениях, и всем видно, что есть у них еще порох в пороховницах. То, что их статьи сохранили свободный доступ в печать, хорошо не только потому, что демократия — не замена одной, плохой монополии на другую, «хорошую», а право голоса для всех. Людей подобных взглядов не следует лишать слова, хоть их единомышленники, а часто и они сами, долго лишали слова других, еще и потому, что их шумные выступления — лучшее напоминание о существовании реально противостоящих демократии сил.

Важно лишь, чтобы не пропала возникшая с гласностью возможность отвечать врагам демократизации. Пока одни журналы и газеты спорят с другими, пока на страницах некоторых возникает даже прямая полемика, в ходе которой слово дают всем сторонам, не стоит падать духом от всякой статьи, выплеснувшейся словно из сталинских времен да еще выбалтывающей то, что тогда, на всякий случай, придерживали в подтексте. Надо продолжать идейный спор и неустанно отвечать! Великий поэт сказал: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Вот и надо защищать жизнь и свободу от жаждущих вернуть вчерашний день. На то и гласность. В этом ее смысл. Покуда она держится, пока Алексеев, Сергеев и иже с ними не стали единственными обладателями права говорить, гласность дает надежду на реальную демократизацию жизни, столь необходимую нашей стране.

ЕДИНЫЙ СЧЕТ

В пору первой оттепели, когда и мечтать еще не приходилось о легализации социалистического плюрализма, уже, однако, дававшего себя знать, зашевелившуюся стихию разногласия вводили в рамки по канонической формуле «консолидации на принципиальной основе». По смыслу слов формула выглядела правильной. Я, грешный, думаю, что в них есть правда и для наших дней: при всех расхождениях, у граждан и, во всяком случае, у литераторов, остается много общего, забывать о котором и в нынешних жизненно необходимых дискуссиях не стоит. Но формула была иносказанием, под «принципиальной основой» следовало понимать спущенную установку, а под «консолидацией» послушное ее исполнение. Поскольку опыт сталинских времен еще жил в памяти большинства, окрик сверху действовал магически. Не все, конечно, шло гладко, не обходилось без крайних мер, утрат, изгнаний, но привычный порядок восстанавливали, и вновь, по слову поэта, превращался «в затхлый пруд литературный водопад». Последствия известны.

Одно из них по-прежнему ощутимо и в нынешние благословенные дни. Радуюсь многообразию суждений, мы не всегда замечаем, что при всех полемических перлах, влекущих отвыкшего от публичных разногласий читателя, истинная полемика, настоящий спор зачастую так и не задаются, — дело ограничивается обменом декларациями и обличениями. Спор — это ведь и есть, быть может, главная форма консолидации, признание за другим права на существование, на довод, который, как минимум, надо опровергать. Собственно говоря, спор — это мирное сосуществование, к которому мы призываем иные страны, и которому никак не научимся в своей. Мирное сосуществование не предполагает ни благостного приятия любого образа мыслей и жизни, ни постоянного обмена декларациями, с одной стороны предрекающими «мы вас похороним», а с другой — обличающими «империю зла». В большой политике мы, к счастью, от такого понимания вещей начинаем отходить, но литературная жизнь по-прежнему к нему тяготеет. И часто не истины в ней выясняются, не сочинения обсуждаются, а присходит нечто другое.

Я бы, к примеру, охотно согласился с Владимиром Бондаренко, пишущим, что «Белые одежды» Дудинцева или «Дети Арбата» Рыбакова «это скорее событие общественное, чем литературное», и противопоставляющим им, как большую художественную ценность, повести Платонова «Котлован» и «Ювенильное море», открывшиеся читателю с великим опозданием. Одного мне недостает: рядом с книгами Дудинцева и Рыбакова почему-то не названы ни «Пожар» Распутина, ни «Все впереди» Белова, о которых, если уж судить о художественности столь строго, надо бы сказать то же самое. Нет, я отнюдь не обвиняю Бондаренко в групповщине, я понимаю, что просто у него такой художественный вкус. Однако, допустив эту возможность, из простой справедливости приходится допускать и возможность другого, тоже отличного от моего, художественного вкуса, уже не Белова с Распутиным, а Дудинцева с Рыбаковым возносящего невесть куда.

Покамест идет обмен вкусовыми, — на деле-то, конечно, не только вкусовыми, — декларациями, мне, различающему, что в последних сочинениях и Распутин, и Рыбаков выступают не столько художниками, сколько проповедниками, в обсуждение не встрять. Можно, правда, потолковать о различии их проповедей, о том, что у кого — правда, а что — мифология. Но мне-то любопытно, отчего столь разные, непримиримые в идейном отношении авторы вдруг так сходятся в понимании литературы, словно никакого Платонова вовсе и не было, не говоря уже о Гоголе и Толстом, которые тоже ведь знали соблазн проповедничества, да только его одолевали, переплавляли в художество или уж проповедовали напрямик. В нынешнем сходстве Рыбакова и Распутина я вижу практическую консолидацию литературного потока, понятий о литературе, происходящую вопреки, а может быть и в угоду всеобщему идейному противоборству. Но эта практическая консолидация не взглядов, понятно, а сугубо литературных свойств — не привлекает внимания критиков и редакций.

Тем, кто вчера настоятельно требовал содержательности, идейности и партийности, ныне вдруг стало, особенно в извлеченных из небытия книгах, остро недоставать художественности. Вот бы и славно, вот бы им для начала назад оборотиться и — пусть не каяться, но хоть заново измерить художественность, а с ней и содержательность творений лауреатов застоя. Но никто из новых борцов за художественность назад не оборачивается.

Читая свежие поношения Набокова или Пастернака, я жду мнения суровых критиков об Иване Стаднюке или Анатолии Иванове. А о них молчат. И я снова тоскую по общеприменимому подходу к литературе, по единому счету. Не хитро бранить роман Пастернака, о котором наворочено с три короба, а вот сопоставить бы его со знаменитым романом А. Иванова «Вечный зов» и наглядно показать, насколько роман Иванова лучше, или продемонстрировать преимущества Стаднюка перед Набоковым. Ан нет, не торопятся, и, боюсь, даже мой призыв к консолидации требований будет истолкован ложно: незачем, скажут над хорошими людьми насмешки строить. И не возьмут в толк, что, как раз заводя отдельные счета для тех и для этих, сами демонстрируют их несопоставимость.

Дмитрий Урнов признается, что ему неловко было прежде сказать, что он терпеть не может Набокова, и что он благодарен перестройке за то, что книгу Пастернака наконец-то читают все, и, стало быть, можно ее теперь без стеснения бранить. Такие признания были бы весьма полезны, дай Урнов себе труд все же определить место названных писателей в послевоенной русской литературе, сопоставив их с теми, кто ему по сердцу. Только читателю Г. Коробкову кажется, что нынче о «Докторе Живаго» «высказать несколько неожиданное мнение — небезопасно». За это, слава богу, и прежде не казнили, а нынче Урнов, как раз высказавшись, стал главным редактором журнала «Вопросы литературы», ведущего нашего критического издания.

Да и вообще литературная критика и в самые глухие времена сдерживалась у нас лишь с одной стороны. Обругать по своей инициативе лидеров советской прозы и драматургии, Михаила Бубеннова и Анатолия Софронова, было, конечно, небезопасно, но

выбранить Платонова, или Зощенко, или других больших писателей никогда не возбранялось. Важно было соблюдать строевой устав литературного тыла, даже сдавая ради этого на литературном фронте один город за другим. Это теперь можно и о Бубеннове, и о Софронове высказывать некоторые наблюдения, понятно, не зарываясь. Будущие историки литературы не преминут отметить двойную бухгалтерию как базис нашей литературной системы ценностей: непристойная брань, обращенная к одним, именуется товарищеской критикой, иронические уколы, задевающие других, объявляются покушением на государство.

Урнов уверен, что у него-то есть верная опора для разрешения любого литературного конфликта. Возражая Игорю Виноградову, он так и говорит: «Достаточно вспомнить, чему нас учили (одни и те же профессора), как вопрос разрешится сам собой». Перечисляя лучшее, на его взгляд, что есть в нашем искусстве, Урнов пишет: «Названные вещи, согласно тому, чему меня учили, обладают признаками бессмертия или величия. На том стою». К счастью, Урнов — человек откровенный, и тут же признает: «А обретут ли вечную жизнь какие-то другие фигуры и произведения (кроме названных им Геннадия Шпаликова, Анатолия Передреева и Аркадия Гайдара. — П. К.) — ничего по этому поводу сказать не могу. Возможно, произведения, моему восприятию недоступные, окажутся классикой именно в силу каких-то свойств, которые я не способен различить».

Что говорить, Владимир Бондаренко подобного предположения не допускает, и преимущества Урнова перед ним наглядны. Но это все же преимущества личные, быть может, преимущества воспитания, суть-то понимается одинаково: чего я не различаю, различать не обучен, то и не художественно. Суждение других, будь их миллионы, будь среди них величайшие литераторы, мне не то что даже не указ, а и не повод усомниться в своей правоте, призадуматься — чем все-таки этот скверный автор взял множество читателей, не одной же запретностью, ее ненадолго хватает. Словом, за написанное Урновым о Набокове и Пастернаке отвечает не столько он сам, сколько профессора, которые его учили. Потому он и говорит не только за себя: «Мне трудно представить себе читателя примерно моей генерации, как, впрочем, и постарше, да и помладше, который, прочитав этот роман ("Доктор Живаго". — П. К.), поставил бы его рядом (в оценочном смысле) с "Войной и миром"».

Требовать даже и от прекрасного романа, чтобы он непременно стоял рядом с «Войной и миром» с «Божественной комедией», с «Илиадой», не слишком корректно, — что тогда останется от нашей литературы? Но размышления автора «Войны и мира» — неплохой ориентир для суждений о литературе. Толстой рассказывает о своем разговоре с Тургеневым: «Мы с ним припоминали все лучшее в русской литературе, и оказалось, что в этих произведениях форма совершенно оригинальная. Не говоря уже о Пушкине, возьмем "Мертвые души" Гоголя. Что это? Ни роман, ни повесть. Нечто совершенно оригинальное. Потом — "Записки охотника" — лучшее, что Тургенев написал. Достоевского "Мертвый дом", потом, грешный человек, — "Детство", "Былое и думы" Герцена, "Герой нашего времени"...».

Вот и по-моему, прежде оценки надо бы задуматься, что такое роман Пастернака, — вот уж воистину ни роман, ни повесть, ни дневник, демонстрирующий преобразование прозы в поэзию, а нечто ни с чем не схожее. Понятное дело, критик всегда вправе выяснять, в какой мере удалась автору его небывалая затея, и я менее всего склонен уверять, что у Пастернака все линии сошлись и все пропорции абсолютны, тем более, что не так оно и у самого Толстого в «Воскресенье» или у Достоевского в «Карамазовых». Да и говоря о современниках, не станем же мы поносить «Тихий Дон» оттого, что второй его том явно слабее первого, а третий еще слабее второго, — и не только потому не станем, что четвертый превзошел даже и первый. Судить книгу в деталях можно лишь ощутив смысл этих деталей в целом, ощутив смысл небывалости целого, а воспринимать такую небывалость профессора научить не могли по той простой причине, что, когда Дмитрий Урнов был студентом, роман Пастернака еще не был завершен и не стал даже предметом скандала. Так что и профессора не слишком вроде виноваты, хоть им, пожалуй, надлежало бы объяснить молодым людям, что завтра могут явиться сочинения, написанные иначе, нежели ныне изучаемые, и разбираться, хороши эти сочинения или дурны, придется не только сверяться с конспектом лекций. Но ведь не в одной литературе тогда учили жить по шаблону.

Дмитрий Урнов — жертва окостеневшего образования, и чтобы на новом поприще способствовать развитию отечественной словесности, ему придется переучиваться и перестраиваться полностью. Не затем, понятно, чтобы полюбить Набокова с Пастернаком, не ценивших, кажется, друг друга, и разлюбить Анатолия Передреева. Переменить полностью отношение к литературе вовсе не значит «сжечь то, чему поклонялся, и поклониться тому, что сжигал». Пристрастия никуда не денутся, любовь овладевает нами не по наущению профессоров, а по зову души. Но картина меняется полностью уже оттого, что в нее входят новые фигуры, и приходится выяснять их отношения с все еще милыми сердцу прежними. Кто-то при этом обретет и новые ценности, у других оценки уцелеют, но картина все равно изменится полностью. Самодостаточный Анатолий Иванов, прекрасный сам по себе, и Анатолий Иванов со своими наглядно показанными критикой преимуществами перед Набоковым, — это разные писатели, хотя бы уже потому, что второй окажется воспринятым серьезнее и глубже, хоть и, конечно, на другом уровне требовательных ожиданий, поскольку всякий автор на деле состязается все же не столько с «Войной и миром», — есть ли у нас право говорить с писателем-современником от имени будущих столетий? — сколько с другими здравствующими писателями, завладевающими людскими умами.

Увы, меняться полностью нелегко. Даже людей, ощущающих в этом необходимость, тянет порой подменить перемены переименованиями. Как много правды в статье Юрия Карякина о «ждановской жидкости» в «Огоньке», а в итоге предлагается дать Ленинградскому университету, носящему ныне имя А. А. Жданова, имя В. И. Вернадского. Но разве университет, становившийся ждановским еще до присвоения ему этого незабвенного имени, от переименования

переменится? Сколько уже здесь профессоров, да и студентов, которым Жданов несравненно ближе Вернадского! Не столь давние сообщения «Советской культуры» о радушном приеме, оказанном в этом храме науки известному Д. Д. Васильеву, тому нагляднейшее свидетельство. Едва ли Владимир Иванович Вернадский счел бы честью дать свое имя месту подобных свиданий. Так не лучше ли предоставить профессорам и студентам сперва разобраться, чьим традициям они следуют, а уж после решать, какое имя университету носить?

После XX съезда подъемные краны убирали по ночам бесчисленные памятники Сталину, и выросшие дети уже не понимают психологии своих родителей. А не лучше ли было приладить к каждому памятнику табличку: «ПОСТАВЛЕНО, КОГДА СТОЯЛ У ВЛАСТИ», и, может быть, поколения, одинаково знакомые со стоящими вокруг на вахте статуями «всевидящего» вождя, легче бы понимали друг друга. Нынче любят взывать к памяти, имея в виду былую славу, но помнить надо и о былом позоре. Главным воспитателем у нас поныне числится гордость, — если что сочтено дурным, его тотчас прячут от глаз. Но на деле верней всего воспитывает стыд, больше всего развращает — бесстыдство. Пока не станет стыдно учить и учиться по ждановским установлениям, переименование — лишь камуфляж. Сам-то Карякин, конечно, вносит свое предложение с чистым сердцем, но сколь многие сегодня по разным мотивам рады хоть на время переменить лик. Ведь ничто покамест не мешает оставаться заядлым консерватором, вопя во все горло: «Перестройка! Перестройка!», или публично одобрять известную статью Нины Андреевой, а назавтра получать мандат делегата на партконференцию.

Впрочем, самые упорные не хотят и внешних перемен. Николай Анастасьев где-то сказал, что «вскоре нам придется полностью пересмотреть наше представление о советской литературе». Заявление вроде бы само собой разумеющееся, коль разом в советскую литературу вошло столько неучетных фигур, да и прежние, начиная с ее основоположника Максима Горького, предстали не в пример полнее. Заявление уж никак не вызывающее — в дни, когда коренным образом пересматриваются представления о социализме, о партии, обо всей нашей жизни. Ан нет, Феликс Кузнецов поспешил публично, выступая с докладом на горьковском юбилее, Анастасьева одернуть: «Полный пересмотр исторически сложившихся истин и оценок ведет к субъективизму, к кощунственному искажению исторической правды, к замене розового на черное». Опять знакомая логика, по которой опасность возможна лишь с одной стороны. А почему бы не пересмотреть полностью «исторически сложившиеся» истины и оценки Сталина, Жданова и Суслова, достаточно субъективные, и не заменить их объективными, преодолевая многолетнее кощунственное искажение исторической правды, ими и по их наущению как раз и производившееся? Надо ли бояться полного пересмотра, когда кощунственным искажением истории мы окружены со всех сторон? Почему бы не заменить розовое, а то и серое, на воистину красное? Анастасьев за это и ратует, но Кузнецов с ним даже не спорит, а сразу его обличает.

Защищать Маяковского от статьи Бенедикта Сарнова «Какого роста был Маяковский?» («Огонек», №19, 1988 год) кинулись сразу два члена-корреспондента Академии наук. Но Сарнов рост Маяковского никак не оспаривает, он говорит лишь о том, что, поскольку прежде один Маяковский был возвышен над русской поэзией начала века, а ныне признано, что был у нас тогда целый ряд великанов, некоторые, увидав их, стали принижать Маяковского. Сарнов этому не только не сочувствует, но сам напоминает о темном чувстве радости унижения великого, еще Пушкина возмущавшем. Критик лишь замечает, что Маяковский отчасти дал повод к нынешним атакам тем, что жил лишь текущим днем, не задумываясь, как оценят (ведь не о всамделишном же памятнике он писал!) его позиции завтра, то есть уже сегодня. Анализа самих этих позиций Сарнов еще и не начал, хоть они далеко не бесспорны. И все равно Феликс Кузнецов гневается, что «вольно или невольно вера Маяковского в контексте статьи Б. Сарнова воспринимается в расширительном, полном объеме значения этого слова, как социальная, гражданская, нравственная вера поэта революции и социализма». То есть, что вовсе не абсолютистское возвышение Маяковского над его великими современниками, а якобы именно его социальную веру ставит под сомнение Сарнов. Ю. Поляков проделывает подобное еще грубее: он цитирует известные строки «Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм» и голословно объявляет: «Но такой памятник Сарнову явно не нравится».

Ф. Кузнецов все же пытается обвинение обосновать. Методика, однако, проста: Сарнов утверждает, что «речь должна идти не о том, чтобы к старому зданию пристроить один-другой флигель или надстроить один-два этажа, а о том, чтобы пересмотреть весь чертеж, весь архитектурный проект, на основе которого возводилось это самое здание». А Кузнецов ему на это: «Ленинский "чертеж", ленинский "архитектурный проект" лежал изначально в основе здания, перестраиваемого сегодня из-за последующих его искажений и искривлений, в силу новых потребностей времени». Дескать, Сарнов до того дошел, что замахнулся на ленинский «проект»!

Но, позвольте, позвольте, разве здание, в котором мы живем, построено по ленинскому «чертежу»? Разве в 1929 году не совершался «великим перелом» этого здания, сперва, действительно, задуманного Лениным, и строительство не пошло по другому «чертежу»? Разве новый, сталинский «чертеж» не предопределил пороки, которые привели наш дом на грань кризиса и побудили всерьез взяться за его перестройку? Разве, наконец, не именно этот сталинский «чертеж» предлагают пересмотреть многие, в том числе и Сарнов? Ответы на эти, отнюдь не риторические вопросы, показывают, что, по Феликсу Кузнецову, ленинский «проект» предполагал и гибель миллионов мужиков при коллективизации и гибель свершивших революцию большевиков в тридцатые годы и все прочее. Это опять всего лишь «искажения и искривления»! Да и с ними, оказывается, можно бы жить, кабы не «новые потребности времени»! Словом, Сталин, по Кузнецову, был, хоть и не безупречным, но верным ленинцем, ведшим нас, никуда

не сворачивая, хоть иногда и безобразничая, по ленинскому пути! Да ведь и сама Нина Андреева на большее не претендовала.

Разумеется, подмена «архитектурного проекта» не была своевременно осознана, миллионы людей искренне верили, что Сталин — продолжатель дела Ленина, тем более, что он и сам так думал, и повторял это без устали, и скажи Кузнецов, что ленинский «чертеж» продолжал жить в умах миллионов и после «великого перелома», я не стал бы спорить. Но возникали проблемы Лениным не предусмотренные, и Сталин их решал, не имея возможности обсудить с Лениным, а Кузнецов упрямо твердит, что здание им выстроенное, за вычетом отдельных «искажений и искривлений», отвечает ленинскому замыслу! Как же все-таки так? Ведь «проект», сложившийся у Ленина в ходе трудных и отнюдь не безошибочных послереволюционных исканий, осуществлению которого он успел положить начало, высшую власть предоставлял Советам, а при Сталине она принадлежала непосредственно к партийным органам, и такие фундаментальные противоположения можно перечислять до бесконечности. Но для Кузнецова коренных различий меж ними нет. А ведь будь оно так, в перестройке не было бы нужды, — обошлись бы ради избавления от «искажений и искривлений» ремонтом, на худой конец, капитальным ремонтом, но зачем же дом перестраивать, если всего лишь лепку на фронтоне исказили или колонна какая искривилась?

Что же до литературы, тут перелом был особенно разителен. «Неистовые ревнители» двадцатых годов мне, да, я думаю, и Сарнову, нравятся не больше, чем Кузнецову, может быть, нравятся даже еще меньше. Но справедливость требует все же признать, что, при всей узости и ярости их нападок, возможность заниматься литературным трудом, писать не в стол, а для печати, была в двадцатые годы несопоставимо большей, чем при Сталине, когда писателей и впрямь не всегда так крикливо критиковали, но зато регулярно убивали. Что говорить, участь Николая Гумилева ужасна, но ведь в сталинские времена такая участь постигла сотни писателей, не говоря о тысячах, лишенных выхода к печатному станку. Если верить Кузнецову, все это тоже, пусть с некоторым перехлестом, так сказать, с походом, делалось до ленинскому «проекту».

Нет уж, Феликс Феодосьевич, увольте. Во-первых, не все в проекте было предусмотрено. И пытаясь его практически осуществить Сталин и его сторонники применяли больше насильственных методов, чем, видимо, предполагал Ленин. Можно, конечно, спорить, насколько реалистичны были его предположения и самый замысел. Но беда не в том, что Сталин изменил Ленину, напротив, он осуществил его замысел. Мы можем лишь предполагать, что столкнись Ленин с необходимостью сделать для его осуществления то, что сделал Сталин, он, возможно, отказался бы от замысла, его бы пересмотрел. Впрочем, не обязательно. А важно, что его выполнение привело совсем не к тому, на что надеялись Ленин, Троцкий, Бухарин и, возможно, даже Сталин. Судить приходится по делам. Почему литературные критики и спорят, как видим, не о литературе, а о делах Сталина, о том изменил ли он Ленину или, как до апреля 1985 года, можно считать его верным ленинцем с отдельными извращениями. А,

во-вторых, важней, чем сообща, или врозь, или даже убивая одни других, действовали большевистские вожди, понять в чем состоял российский революционный процесс, почему он шел так.

Разные писатели по-разному этот процесс видят. И нелепо вымеривать их рост по совпадению их видения со своим. Нет смысла доказывать, что Лев Толстой в своем поколении на голову выше остальных, никому не мешает, что рядом, порой даже заслоняя его, возвышаются Достоевский, Лесков, Щедрин, Тургенев и другие. Зачем же так пылко доказывать, что Маяковский в своем поколении непременно выше всех, непременно «лучший и талантливейший»? Нет, не в росте Маяковского тут дело. Он был великим поэтом из той плеяды великих, которая в первой четверти века зажглась на небе русской поэзии, — и Пастернак, и Цветаева эту свою общность с ним, равно как и он с ними, вполне сознавали. Но этим не исчерпывается ни его судьба, ни его роль в своей судьбе, ни, тем более, его социальная вера. Маяковский, конечно, был поэтом социализма, но такой оценки хватало лишь тогда, когда считалось, что только один социализм и возможен. Если бы не свистопляска, поднявшаяся из-за гораздо более скромных суждений, я бы упрекнул Сарнова в том, что, признавая величие Маяковского, его высокий рост, он не сказал, всегда ли поэт стоял во весь свой огромный рост и говорил во весь голос, или все же порой прогибался перед ложными образами социалистических ценностей, уже выдвигавшимися определенными тенденциями той эпохи. Тем более об этом не задумываются ни Ю. Поляков, ни Ф. Кузнецов, ни писавший позднее в другой газете А. Неверов.

Вспомним, однако, как рисовалось Маяковскому место человека в революции и социализме: «Единица — вздор, единица — ноль». А победа социализма казалась возможной только, «если в партию сгрудились малые». Я отдаю себе отчет, что Ю. Поляков, Ф. Кузнецов и А. Неверов схватятся за предыдущую фразу, чтобы пришить мне «принижение роли партии». Но меня-то беспокоит другое: почему, по Маяковскому, в партию соединяются «малые», «ноли»? Никакая математика не согласится отождествить единицу и ноль. Не согласится на это и история, К тому же, как раз партия большевиков, захватывая власть, уж никак не была собранием «малых», «нолей». Такой букет незаурядных людей никогда, разве что в петровскую эпоху, не оказывался в нашей стране у власти. Да и рядовые большевики, которых в дни Шестого съезда было двести сорок тысяч, тоже никому не казались нулями. Новый счет, сведение единицы к нулю — возник вместе с тенденцией к сталинскому феодальному социализму, и, поддаваясь такому счету, Маяковский, как это ни горько, не только следовал за возникающим культом личности, но и укорачивал собственный рост. Ф. Кузнецов, Ю. Поляков, А. Неверов пишут так, словно поэт не застрелился в тридцать семь лет, и нет нужды это самоубийство понять. В поисках причины у нас все гадают — звать ли ее Вероника Полонская, или Лиля Брик, или Татьяна Яковлева. Лишь бы не говорить об испытаниях социальной веры, которые тем трудней, чем крупней талант. Бенедикт Сарнов только еще подступил к исследованию происходившего с верой Маяковского и того, почему

человек такого роста наложил на себя руки, еще и слова по существу не произнес, а его уже поставили на место: не нарушай табу!

Маяковский готов был стать нулем, и «себя смирял, становясь на горло собственной песне», но великий поэт не смог стать нулем. Помнить о его трагической гибели куда важнее, чем измерять, сколько в нем было сантиметров, и был ли он чуть ниже Цветаевой или Мандельштама или чуть выше. Феликс Кузнецов, достаточно долго возглавлявший московскую писательскую организацию, лучше многих знает, к чему ведут попытки сделать поэта нулем, да еще если у него, в отличие от Маяковского и отчасти на его опыте, готовности к этому уже нет. История с романом Пастернака из той же серии. Вроде бы признано, что от обращения человека в ноль проигрывает не только он, но и все общество, и все, кто обращал его в ноль, искренне стремясь к высоким целям. (Подлецы, понятно, выигрывают!) Но, видимо, привычку не считаться с людьми и фактами, трудно преодолеть.

А. Неверов уже вовсе в обличаемое не заглядывает, и насмешка Сарнова над тем, что переоценка ценностей у нас порой осуществляется динамитом, для него повод заявить, что динамитом попахивает от статьи самого Сарнова, по старому методу: сам дурак! Неверов требует от Бенедикта Сарнова, от Татьяны Ивановой и вообще от всех, кто выступает за демократию, чтобы они сами были демократичны. Пожелание, вроде бы, само собой разумеющееся, да вот беда — от тех, кто против демократии, Неверов не требует ничего, им, выходит, можно и не быть демократичными, то есть опять идет двойной счет, один для чистых, другой для нечистых. Вот и задумываешься, что же получится из перестройки, если нормы демократии будут обязательны только для ее сторонников, а противникам будет дозволено действовать, как они привыкли. В том, чтобы им не перечить, ихнему ндраву не препятствовать, и состоит, по Неверову, демократия. А она, между тем, состоит в одинаковых нормах да всех!

А. Неверов очень сердится на напоминание о том, что в момент, когда на могилу возлагаются цветы, не худо бы выдержать хоть традиционную «минуту молчания», и высокомерно бросает: «Как долго продлится эта минута, нам, надо думать, сообщат критики из "Огонька"». А речь-то шла даже не вообще «о воскрешении несправедливо забытых имен», а — о чем читатели Неверова сами догадаться не могут, — конкретно о Николае Ивановиче Бухарине, которого некоторые литераторы кинулись заново разоблачать, когда не просохла еще типографская краска на сообщении о его посмертной, через полвека после казни, реабилитации. И «как долго продлится эта минута», после которой приличествует и об ошибках Бухарина поговорить, было четко сказано: «Вот, бог даст, издадут хотя бы основные бухаринские труды, мы их прочтем...» Но не хочется Неверову читать, да и зачем, если можно безнаказанно порочить других «по вере».

Сарнов назвал нескольких литераторов, которые, на его взгляд, опасаются тех или иных происходящих перемен, а ему отвечают, что он составляет «черные списки», готовя одновременно динамит, — ясно зачем: уже говорилось, что социализм ему «явно не нравится». Ну,

сказал, допустим, Сарнов что-то неверное, — отчего же и с ним, умелым спорщиком, не поспорить, не уступая ему в острологии. Но спорить-то надо все же помня, по печальному нашему опыту, о различии между спором, самым резким, и разоблачением. Тогда излагающего свои, пусть даже спорные, мысли литератора не стали бы объявлять террористом-динамитчиком, врагом социализма и — вот-вот выговорят, — агентом иностранных держав. Все ведь это уже было.

Не зря, предчувствуя недоумение читателей, редакция «Литературной газеты», отпустившая на разоблачение Сарнова целую полосу, наперед поясняет: «Почему сразу два выступления? Да потому, что мы, в противоположность "Огоньку", не намерены вести с ним полемику из номера в номер. Есть другие задачи и проблемы». А отчего «другие задачи и проблемы» освещаются во второй тетради газеты много лучше, чем литературные задачи и проблемы в первой? Не оттого ли, что во второй тетради идет непрерывная полемика из номера в номер? Да и как иначе! Если никто из нас не обладает истиной в последней инстанции, то приблизиться к истине мы можем лишь сообща, уточняя друг друга непрерывно, из номера в номер, споря, а не торопясь покончить с несогласными («инакомыслящими») раз и навсегда, как со злоумышленниками.

Иногда спрашивают, что произойдет, если консерваторы возьмут верх. Газетная полоса, разоблачающая Бенедикта Сарнова, демонстрирует модель: убрать два-три дежурных упоминания о перестройке, и готово. Впрочем, даже упоминания о перестройке можно оставить, превратив и ее в псевдоним нового консерватизма. Но возврат к нему и вовсе подорвал бы экономику и доверие к системе управления. Поэтому плодотворнее спорить, опираясь на единые нормы и критерии, считаясь с фактами и текстами, и проясняя сказанное, ежели что непонятно. Тогда споры станут школой сосуществования литераторов при самых непримиримых расхождениях. Попробуем не только на целой планете, но и в одной, отдельно взятой стране обойтись без оружия, без насилия, без клевет и угроз, одним только острым словом. Для литератора оно и есть самая принципиальная основа.

СМЯТЕНИЕ И ЗВУКИ

1

С годами все чаще задумываюсь — как это молодой, двадцатитрехлетний, человек из провинциального городка Чембара дерзнул объявить: «У нас нет литературы!» Боже мой, какая у нас тогда, в 1834 году, была литература! И пусть он не мог еще прочесть «Медного всадника», уже написанного, но по причине политического застоя не увидевшего света, какие дивные сочинения уже выходили на русском языке! А он твердил: «У нас нет литературы!» Откуда только бралась дерзость «оплевывать», как сказали бы в наши дни, прошлое и настоящее?

Между тем, видимо, как раз мощь уже явившегося вселяла надежду, что это лишь начало. Гений Державина, гений Крылова, тогда еще живого и по нынешним меркам не старого, гений Пушкина, Баратынского, Грибоедова, Гоголя, уже выпустившего «Вечера на хуторе близ Диканьки», не только не вызывали у начинающего критика коленапреклонности или чванства, но казались ему «черновиком» будущего, казались еще случайностями, не составившими правила. И он устремлялся в завтрашний день, который вскоре и впрямь наступил.

А ныне на всем пространстве нашей периодики, от «Огонька» до «Нашего современника», не просматривается ничего подобного бесстрашному возгласу, прозвучавшему тогда в газете мод и новостей «Молва». Не слышать не только таких крамольных речей, но и более скромных, трезвых, сообразных духу времени суждений: наша литература переживает кризис, застой, упадок. А дело-то обстоит именно так. Если, понятно, помнить, что речь идет о литературе, в которой были Пушкин и Гоголь, Тютчев и Лев Толстой, Островский и Лесков, Некрасов и Чехов, а поближе к нам Зоценко и Мандельштам, Цветаева и Булгаков, Есенин и Бабель, Платонов и Пастернак, и еще многие, многие.

Признание кризисной ситуации, ставшее обыденным в промышленности и сельском хозяйстве, у врат художественного царства буксует. Здесь все прекрасно. Разве что критика не в меру осмелела. То и дело зачитывают списки великих наших современников, сетуя, что их недостаточно почитают. Юрий Бондарев с высокой трибуны перечислил травимые и шельмуемые «замечательные таланты» — это Василий Белов, Виктор Астафьев, Петр Проскурин, Валентин Распутин, Анатолий Иванов, Михаил Алексеев и, смею добавить, сам Юрий Бондарев, в этом списке никак не последний. Травимые и шельмуемые! Мы знаем, как умеют у нас травить и шельмовать, лишая главного, что необходимо писателю, — возможности печататься в родной стране. Можно напомнить, как это было с Булгаковым, с Платоновым, с Зоценко, с Пастернаком, с Гроссманом, с Чуковской и со множеством других. Но на сей раз перечислялись писатели, издаваемые массовыми тиражами во всех издательствах, регулярно выступающие в центральной печати и по телевидению, даже двое редактирующих толстые журналы. И все же

того, что кто-то посмел иметь о них свое суждение, оказалось достаточным, чтобы отвлекать пятитысячную аудиторию, обсуждавшую пути к спасению отечества от превращения в третьеразрядную державу.

И не Бондарев первый такое придумал. Из справочника «Писатели Москвы» можно узнать, что в одной лишь столице проживает чуть не двадцать писателей — Героев Социалистического Труда и столько же лауреатов Ленинской премии, а уж государственных премий, союзных и республиканских, не счесть. Забор из таких прижизненных памятников прикрывает реальное состояние нашей литературы. И покуда мы не различим, сколь оно стало плачевно, нам его не преодолеть, не задуматься о причинах, к нему приведших.

2

Сразу отвергнем, однако, невероятное предположение, будто у нас перестали рождаться люди, способные стать истинными писателями. И в списке Бондарева, и в возможных списках его оппонентов, и в списках героев и лауреатов, и вне всяких списков есть люди бесспорно одаренные, и думать надо о том, почему столь многие из них свою одаренность расплескали, а то и вовсе без толку пролили, отчего дарования гложут, а бездарность цветет.

Давно известно: «Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон, В заботах суетного света Он малодушно погружен; Молчит его святая лира; Душа вкушает хладный сон, И меж детей ничтожных мира, Быть может, всех ничтожней он». Так и должно быть. Сетовать на это нелепо. Но дальше сказано: «Тоскует он в забавах мира, Людской чурается молвы, К ногам народного кумира Не клонит гордой го ловы». Вот и подумаем, может ли наш писатель «тосковать в забавах мира», то есть рыдать среди всеобщего ликования, может ли он «чураться людской молвы», то есть безнаказанно уклоняться от общепризнанных суждений, может ли он, наконец, «не клонить гордой головы к ногам народного кумира»? Заметим, что Пушкин не порывается выяснять, достоин ли кумир поклонения, ложный это кумир или истинный. Ему — переходя к современности — не важно, был ли Сталин гениальным вождем и учителем всего прогрессивного человечества или палачом и предателем великой народной надежды на революцию. Главное, чтобы поэт в любом случае не клонил пред ним головы.

А сколько больших и малых, мертвых и живых, достойных и недостойных кумиров выставлено у нас для неременного поклонения — от Петра Первого до Павлика Морозова и далее. В их числе и редакторы, берущие себе право «совершенствовать» чужие рукописи, и коллеги, о которых не приведи господь отозваться худо, а то ведь тотчас объявят, что их, — как это дивно было сказано? — «травят и шельмуют»! Писателя все кому не лень воспитывают, указуя, в какую сторону клонить голову, между тем, именно «невоспитанность», изначально живущая готовность отозваться на давний призыв: «Дружно гребите во имя прекрасного Против течения», и есть естество таланта. Есенин, следуя ему, писал о «Москве кабацкой», а

Мандельштам о том, что «наши речи за десять шагов не слышны». Различие не принципиальное. Пожалуй, затем и стали в сталинские времена именовать уголовниками людей, осужденных за политические преступления, чтобы незамеченным осталось то, что непомерное число сугубо уголовных преступлений есть уже факт политический. Вот и поразмыслим, чего ждать от писателя, отученного плыть против течения, привычно клонящего давно уже не гордую голову перед очередным кумиром? С чем побежит он «На берега пустынных волн, В широкошумные дубровы...»?

По Пушкину, он туда бежит «И звуков и смятенья полн». О звуках речь особая, хоть нам давно втолковали, что из них поэт «создает художественные образы». Но что еще, однако, за «смятенье»? Разве поэт, ведомый Аполлоном, не знает, что сказать, не знает правды, не выступает против кумира или за него? По Пушкину, однако, вроде бы еще и не знает, оттого и испытывает смятение перед открывшимся, стремясь его уловить и вобрать во всем разнообразии, а не укоротить в угоду даже и собственному замыслу. Поэт начинается не с умысла, не с замысла, а со смятения. Вот и припомним, каково ему с этим смятением.

3

Когда Пушкин умер, стихи, без которых мы его себе уже и не мыслим, самые, быть может, замечательные, еще лежали в столе. Но написаны они отнюдь не перед смертью. «Осень» («Октябрь уж наступил...»), «Не дай мне бог сойти с ума...», «Пора, мой друг, пора..» — за два с лишним года до нее (1834), «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...», «Когда в объятия мои...», «Заклинание» («О, если правда, что в ночи...»), «Для берегов отчизны дальней...» — за семь лет (1830), а «В степи мирской, печальной и безбрежной...» — даже за десять (1827). И все же Пушкин ни одно из них не напечатал, хотя возможность печататься у него была, да он, как известно, и сам издавал журнал. Политических или хотя бы духовных запретов названные стихи явно не вызывали. Личные соображения едва ли играли какую-то роль: напечатал ведь «Под небом голубым страны своей родной...», отчего же было не напечатать «Для берегов отчизны дальней...», возвращающее к тому же сюжету? И все же не напечатал, а семь лет держал и неизвестно, сколько бы еще держал.

Бодлер медлил с изданием своей книги. Казалось бы, в годы революции 48-го года и даже сразу за ней эти стихи были бы встречены сочувственно. Так нет же, он не торопится, все пополняет книгу, и издает «Цветы зла» в самое неподходящее время, когда торжествовала Вторая империя. И хоть революционные его выступления имели место задолго до того, а в книге политических стихов не было, явившись к читателю «не вовремя», Бодлер навлекает себе на голову судебный процесс. А парижские газеты, сообщая, кто произвел неожиданный шум, именуют великого национального поэта «переводчик Эдгара По». И впрямь ведь он был дотоле известен по преимуществу переводами из заокеанского романтика. Что опять за странность такая, — отчего великий поэт предстает публике сперва как

переводчик чужой поэзии? И почему с собственной книгой медлит? И почему потом не вовремя спешит?

Проще всего сослаться на прихоть. Но и прихоти нужен резон, и искать его за пределами бытия негде. Пусть жизнь поэта не сводится к личной биографии, но она и не сиюминутный сколок состояния народа или человечества, даже если он самонадеянно объявит: «Литература начинается с нас!», он все же только прибавится к тому, что уже есть. Только внесет свой заряд в магнитное поле наличной литературы, литературного движения и литературного восприятия. Слов нет, сильный заряд меняет характер поля, и это дает понять, что жизнь переменялась, но и его действие зависит от продолжающих искриться в литературном поле зарядов, равно как судьба этих старых не остается без воздействия нового.

Смятение и чувство жизни сопряжены у поэта с ощущением литературного движения, своей отдельности в нем и зависимости от него. Не оттого ли Пушкин медлил с публикацией, что где-то угадывал грядущий писаревский окрик и ощущал в нем уже для своей эпохи некую убедительность? Впрочем, журнальные нападки могли преломляться в его уме и совсем иначе. Но ему явно недоставало читателей, на верное понимание которых можно было положиться, он явно ощущал несообразность наполнившего стихи и ...отклика, который в данный момент мог ожидать их в совсем иными зарядами дышавшем литературном поле. Публикация ничего, кроме, конечно, будущей судьбы сочинений, не меняла, и Пушкин с ней не торопился, хоть и торопился писать.

Позднее Пришвин говорил: «Бывает, прочитаешь кому-нибудь написанное и он спросит:

— Это на какого читателя написано?

— На своего, — отвечаю.

— Понятно, — говорит он, а всем это непонятно.

— Сначала, — говорю, — свой поймет, а он уже потом всем скажет. Мне бы только свой друг понял, свой читатель, как волшебная призма всего мира. Он существует, и я пишу».¹

В конце жизни Пушкин писал без уверенности, что такой читатель существует, только с надеждой, что он непременно появится. Гордые слова: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой», сказанные не в пору похвал, а в ответ на отчуждение текущей литературы, рождены этой надеждой.

Отношения писателя и читателя не легко налаживаются даже и при отсутствии внешних помех к их встрече и взаимопониманию. Но помехи создает уже активность издателя, либо преследующего чисто коммерческие цели, либо, напротив, из идеальных соображений готового нести расходы, чтобы предоставить народу лишь самые лучшие, самые отборные сочинения, священное литературное писание. Во втором случае, у нас как раз и господствующем, отбор производится в келейном кругу редакторов, рецензентов, редсоветов и комитетов. Но даже вооруженным силам маневры позволяют выявить

¹М. Пришвин, Глаза земли, М., 1957, стр. 36

лишь техническую подготовленность оружия и личного состава, а кто герой и кто трус, выяснится только в настоящем бою с настоящим противником, где в ход пойдут внутренние человеческие резервы, не бросающиеся в глаза. У нас в литературе по закрытым маневрам выносятся не подлежащие обжалованию приговоры, а потом мы дивимся, что в бою все оказывается не так, как было на параде.

4

В изобилии публикуя ныне замечательные сочинения, не дошедшие своевременно до читателя, мы справедливо сетуем на тяжкие для литературы времена культа личности и застоя. Но удивительным образом ограничиваемся общими словами, не входя в то, что конкретно более всего литературе мешало. А более всего мешали ей не поношения, не поклепы, не лишение писателя рабочего места или даже средств к существованию, хоть все это, конечно, вело к самым трагическим последствиям. И все же пагубнее всего, — не для писателя, а именно для литературы, — были не те или иные подробности продвижения писателя к читателю, а сама келейность продвижения, изобилие предварительных суждений, предопределявших судьбу книги. Эта келейность благоприятствует людям бесталанным, которым в бою-то не выстоять, но на маневрах, да еще при добром знакомстве с командованием или наличии нежеланных для командования соперников, удается ох, как хорошо «себя показать». Наплыв псевдописателей, их вхождение в помянутые редсоветы и комитеты, как раз и создавали известную ситуацию, когда «талантам надо помогать, бездарности пробьются сами», и чем самобытнее рукопись, тем мучительнее ее движение по кругам издательского ада. Но это лишь обозримая часть беды.

Художественный процесс нуждается в свободном течении. Он в некотором смысле подобен браку, предполагающему добровольное общение двух равноправных сторон, писателя и читателя, художника и зрителя, и в том, как на деле сложатся их отношения, определяющими становятся потребности и возможности каждой стороны. Специалисты могут давать рекомендации, писать пародии и критики, дело это полезное и даже необходимое, помогающее ощущать искусство. Но не стоит обольщаться: книги имеют свою судьбу, и нам не все ее превратности наперед ясны. Оттого-то литературный процесс, в ходе которого проясняется ценность написанного, и должен непременно быть публичным, доступным для участия всех грамотных, всех пишущих, всех книголюбцев. Беды минувших времен часто сводят к свирепствованию цензуры, поскольку многим прекрасным книгам выйти вовремя в свет помешала именно она. Но будь искусство ограничено лишь политическими запретами, мы, видимо, имели бы дивные его достижения в сферах от непосредственной политики далеких: живописцы достигли бы совершенства в пейзаже и натюрморте, а поэты в любовной лирике. Ан нет, художественная, вкусовая цензура стала у нас пострашней политической, и одно это велит, не замыкаясь на организационно-издательских проблемах, взглянуться в наше

общественное сознание — главную силу, формирующую искусство и художественную жизнь.

XX век с его роковыми свершениями, страхами и надеждами обострил восприятие мира, но отчасти и упростил его. Двоичная система счисления, сводящаяся к «да» и «нет», к «за» и «против», упускает из виду подробности и особенности, а вместе с ними и уникальность происходящего с каждым. С момента рождения кибернетики идет спор о способности счетно-электронной машины, работающей на двоичной системе счисления, которая математике-то служит не хуже десятичной, стать еще и художником. А тем временем люди, понятия не имевшие о кибернетике, создавали и потребляли искусство по двоичной системе. Стало быть, есть в ней нужда. Диски, магнитофоны, телевизоры и видеокассеты такое искусство распространяют, но не они создали на него спрос. И свойства его обусловлены не столько особенностями новой техники, сколько художественными возможностями двоичной системы, заменяющей многомерную уникальность элементарной знаковостью, порой весьма напряженной эмоционально.

Часто «элитарное» и «массовое» искусства различают как не в меру усложненное и не в меру упрощенное. Бывает, конечно, и так. Нередко ориентация на «элитарность» или «массовость» задана уже автором. Но гораздо чаще различие возникает в ходе восприятия. Одно и то же сочинение может восприниматься и как сложное, глубокое, многозначное, и как простое, прямолинейное, одни читают его по десятичной системе, другие по двоичной, и это важнее всего. Алла Пугачева поет песню на слова Осипа Мандельштама: «И всю ночь напролет жду гостей дорогих, Шевеля кандалами цепочек дверных», и облик гостей меняется. Можно просчитать, сколько читателей в равных условиях предпочтут Тынянова Пикулю, но очень трудно, если вообще возможно, просчитать, сколько читателей действительно возьмет у Тынянова больше, чем у Пикуля. А мы, соизмеряя разные искусства и разные сочинения, не считаемся с различной объемом восприятия, хоть в ней-то часто все и дело.

Читатель, зритель, слушатель — есть объективная реальность, и ее тоже, вольно или невольно, «отражает» художник. Призывы покончить с «роком», сопровождаемые советами слушать воистину бессмертные творения Моцарта и Мусоргского, не просто наивны, — в них живет жажда не считаться с объективной реальностью аудитории, часто не более миролюбивой, чем ее гонители. Но если множество людей жаждет читать романы Пикуля, не стоящие, по-моему, такого внимания, можно и должно эти романы критиковать, однако нелепо желать, чтобы никакого Пикуля «как бы вовсе и не было». Писатель находит своих читателей, но и читатели находят своего писателя.

Обоснованные упреки, которые критика адресует Пикулю, справедливей адресовать его читателям, которым не терпится получить упрощенные объяснения сложных исторических событий и явлений. Но, может быть, еще справедливей признать, что жажда упрощений, желание вывести судьбы народов из нравов и интриг правителей, героев и злодеев, тоже имеет объяснение. Оно в многолетней деформации истории в угоду сиюминутным нуждам, в

обезличивании, обезчеловечивании истории и сведении ее к абстрактной работе производительных сил, в абсолютизации истории и провозглашении каждого события единственно вероятным.

Пикуль опрокидывает эти укоренившиеся привычки, он, если угодно, писатель-бунтарь, и в этом его сила. И пусть его история вовсе не такая, как была на самом деле, чего его невежественные читатели обычно знать не могут, самая иллюзия доступного понимания истории, а значит и современности, привлекает истосковавшихся по нему людей. Не будь Валентина Пикуля, они сыскали бы другого любимца, остающегося ныне не столь популярным, поскольку он уступает Пикулью в занимательной примитивизации исторического бытия. Чтобы предотвратить духовный ущерб от подобных сочинений, надо не править, не «улучшать» авторов и, тем паче, их не запрещать, а выпускать еще и другие книги, идущие навстречу потребностям читателей, но более близкие к истине и к искусству.

Наше употребление презрительных ярлыков «массовое искусство» и «элитарное искусство» не соответствует значению слов. К массовому искусству отнесены, скажем, не книга Николая Островского «Как закалялась сталь», тираж которой давно превысил десять миллионов, и, тем более, не Пушкин и не Толстой, а все тот же Пикуль или Юлиан Семенов, до подобных тиражей еще не подскочившие. К элитарному искусству все еще относят, скажем, стихи Пастернака или Цветаевой при стотысячных тиражах сразу становящиеся библиографической редкостью, то есть живо интересующие отнюдь не одну какую-нибудь элиту.

Между тем успех в широком или, до времени, узком кругу, равно как и отсутствие всякого успеха, еще не о качестве книги говорит, а, прежде всего, о вкусах читателя. Одни книги идут к читателю быстро, другие медленно, проводя какой-то срок в элитарном разряде. Какие-то книги, идущие по массовому разряду, и впрямь ничтожны и пошлы, другие отвечают насущным интересам читателей и дышат порой реальной художественной силой.

Естественный отбор подлинных ценностей предполагает право всякой рукописи на самоокупаемое безгонорарное или, на худой конец, оплаченное автором издание. Это условие необходимое, без которого литература неизбежно деградирует. Но не будем, опять же, обольщаться: свобода печати литературе, чтобы стать воистину художественной, необходима, но недостаточна. Слишком велик стал у пишущих соблазн идти навстречу невзыскательному читательскому вкусу. И этот соблазн не просто коммерческий. Нередко переход на двоичную систему осуществляется из сугубо идейных, из сердца исходящих побуждений. Но издавна присущее российской жизни вытеснение идейной полемики в художественную литературу, весьма эту литературу обогатившее, таит в себе, когда содержание такой полемикой исчерпывается, и некоторую опасность.

Народному сознанию у нас веками предлагалась одна, единственно правильная, система взглядов, даже ее варианты и

оттенки считались ересями. Система могла меняться, подчас радикальным образом, но и новой надлежало оставаться единственной и единственно правильной. Последствия такого теологического, в сущности, сознания, именовавшего себя порой даже материалистическим, равно как плоды уверенности в том, что государство в лице своих чиновников, обладает истиной в последней инстанции, у всех на виду. Едва ли не впервые в отечественной истории с высот власти слышна речь о правомерности плюрализма суждений, и первые его ростки наблюдаются в прессе и на телевидении. Но, удивительное дело, большинство этих суждений, точь-в-точь как единственное прежнее, претендует на владение окончательной истиной. И чистосердечная убежденность в своей безоговорочной правоте по-прежнему толкает к «простым» решениям и прямолинейным, а часто и силовым, методам. В призывах к ним нет недостатка, хоть отечеству нашему сегодня всего бы нужнее призывы к ненасилию.

В дни Отечественной войны самой читаемой книгой была «Война и мир», в которой люди обретали примеры самоотверженной любви к родине. Уж кто-кто, а Лев Толстой служил своему народу не корысти ради. Не всем его труд был по душе, церковь его отлучила, но время, казалось, утвердило его правоту, и, когда вспоминаешь все, что с нашей родиной происходило, вспоминаешь о продаже крестьян, о погубленных мыслителях и художниках, прежде всего сожалеешь, что страна и народ не всему, чему могли, научились у великого соотечественника.

И вот нынче Валентин Распутин именно его винит в недооценке патриотизма (!), поскольку Лев Толстой сказал, что патриотизм — это рабство. Советский писатель противопоставил ему свой идеал патриота — Суворова. Отвечая возможным критикам, что «поздно поправлять Суворова», он бестрепетно поправляет Льва Толстого. Распутин как бы втолковывает ему, что ныне без патриотизма и Ясную Поляну не сберечь, хотя Толстого-то мучило желание из Ясной Поляны уйти, ее отдать, а вовсе не сберечь. Это нам надо ее беречь в память о нем, а Льва Николаевича другое интересовало. Распутин, как всякий человек, волен думать, что ему угодно, и меньше всего мне хочется его поправлять, но призадуматься о последствиях столь воинственного образа мыслей для литературы очень даже стоит.

С чего бы впрямь великому патриоту, автору «Войны и мира», говорить, что патриотизм — рабство? Хотел ли он унижить Петю Ростова и капитана Тушина? Вспомним, однако, что гениальный полководец Суворов не только защищал родную землю от захватчиков, но, движимый тем же патриотизмом, вез в клетке Пугачева, подавляя польское восстание, помогал Австрийской империи противостоять в Италии армиям Французской революции. А другой великий полководец и патриот не случайно избранный Толстым в народные герои, изгнав завоевателей с родной земли, умолял царя не идти дальше, на Париж. Он не хотел жертвовать жизнью даже и одного русского солдата ради того, чтобы во Франции правили Бурбоны. Хоть в военном деле Кутузов был прямым учеником Суворова, патриотизмы у них были разные, и конечно, говоря о рабстве, Толстой не Кутузова имел в виду.

Льву Толстому любовь к родине не мешала смотреть на вещи открытыми глазами. Пусть не все в его миропонимании стройно, пусть не на все вопросы он, как, впрочем, и другие великие люди, дал наперед ответы, — он не боялся видеть, что в жизни соседствуют процессы и явления вроде бы несовместимые, и постигал их не по затверженной догме, а по их собственной природе, несводимой к одной, даже и высокой цели. Русский патриот, участник обороны Севастополя, он ощущал как свою и боль Хаджи-Мурата, и страдания поляков. А для Распутина присоединение Сибири — «небесный дар», чувства присоединяемых его не занимают, хотя даже на полотне Сурикова видны люди, защищающиеся от казаков.

Толстой называл патриотизм рабством оттого, что замыкаясь лишь на своих бедах, лишь на обидах своего народа, патриотизм, едва он выходит за пределы самозащиты, при которой это в какой-то мере естественно, зачастую наносит обиды и приносит беды другим народам, служит оправданием их унижения и угнетения. Лобызаться не обязательно, но не делать другим того, чего не хочешь, чтобы делали тебе, — первый человеческий долг.

Это, однако, не все. Великий роман завершается беседой двух русских патриотов, один из которых говорит другому: «Начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было, я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадромом и рубить — ни на секунду не задумаюсь и пойду». Опять один патриотизм — охранительный, другой — жаждущий перемен, желающий улучшить жизнь своего народа. Надо ли удивляться, что Толстому, понимавшему необходимость отдать, наконец, крестьянам землю, готовый в ответ на это рубить, охранительный патриотизм старых и новых Аракчеевых казался рабством? Или стоит все-таки признать, что и в этом проявилась его великая любовь к родине?

Мы вправе не соглашаться с рассуждениями, завершающими «Войну и мир», но в них различим источник величия писателя, не удовлетворяющегося привычными толкованиями «силы, производящей исторические события». В размышлениях об истории, равно как потом о религии, у Толстого проступает смятение, — да, да, то самое пушкинское смятение, — и стремление осознать происходившее, не полагаясь на готовые установки, на волю божества или земной власти. Он добирается до отдельных людей, до причин их поступков, до корней отрицающих одна другую индивидуальных правд. Смятение побуждает писать, не отворачиваясь от жизни, и бесстрашно споря с самим собой, отчего и возникает «десятичность». Видение жизни во всех, а не только в желанных или ненавистных проявлениях — первопричина реализации толстовского художественного гения. Понятно, не каждому такой гений дан, но тем более трудно созидать сколько-нибудь художественную ткань современному писателю, стреножившему себя предвзятыми установками, пусть даже приятными читателю.

Наша литература более всего оскудела от их линейности, «двоичности», доверившись которой писатель решает, что знает истину наперед, и по ходу писания себя уже не оспаривает. Мы все примериваем, которая из многочисленных установок, — от РАППа до общества «Память», — правильная, а надо понять, что пагубна любая

предвзятость, ибо под ее грузом литература перестает быть правдоискательством и становится лишь изложением взглядов автора, отчего и самое даровитое перо сходит на нет, а литература, перестав постигать жизнь, перестает быть искусством, и, тем самым, перестает выполнять свое общественное назначение.

6

Валентин Распутин человек не только одаренный, но искренний. Он, слава богу, говорит, что его противник — Лев Толстой, не менее открыто, чем сторонники «рока». Он подымает руку на признанную классику, и можно вновь убедиться, что искренность, пусть даже искренность в заблуждении, общественно полезна. Она помогает обществу увидеть свое состояние. Ему видна позиция Распутина, но доступна и позиция Толстого.

Но взгляды великого писателя — не только Толстого, а почти каждого, — не всем читателям памяты. Вспоминая, что «нахрюкали» полупросвещенным или вовсе непросвещенным людям в семье и школе. Александр Блок трижды поминает Пушкина: «Пушкин — наша национальная гордость», «Пушкин обожал царя», «Человечество движется по пути прогресса, а Пушкин воспевал женские ножки». Последняя сентенция не противоречит двум первым. Пушкин по-прежнему записан в консерваторы, хоть и более легкомысленного толка. Тут и задумаешься, а читан ли в России Пушкин, читан ли Толстой?

И прежде нередко приходилось сетовать, что русские классики издаются не полностью, выборочно, не вспоминая даже тех, кто вовсе не издавался. Ныне не печатавшееся прежде стали вроде обильно издавать. Но одновременно крепнет желание, чтобы не все важнейшие работы писателя были читателю легко доступны. К примеру, в томе сочинений Добролюбова (!), вышедшем в «Библиотеке любителей российской словесности», среди обещанных «наиболее известных статей великого русского критика» не оказалось ни статьи «Что такое обломовщина», ни статьи «Темное царство», ни статьи «Луч света в темном царств». И не потому, конечно, не оказалось, что Гончаров с Островским проштрафилась, а потому, что Добролюбов читал классиков с пристальным вниманием и различал в «Обломове» или «Грозе», как калечатся людские души, которые по распространившемуся мнению пребывают в классических творениях целостными и чистыми. Так обходятся с Добролюбовым, что уж говорить о других великих авторах, менее у нас почитаемых, а то и вовсе не ценимых. Предвзятые установки уродовали самое восприятие литературы, как уродовали они восприятие жизни литературой, и это тоже сказалось на ее состоянии.

Вот я и думаю, что выход из нынешнего кризиса придет лишь за чувством смятения, из которого вырастет и тяга к истинной литературе, и ее понимание и она сама. Не надо этого смятения страшиться. Лишь отдавшись ему, то есть ощутив все, что в окружающем мире есть, все, на что доселе закрывали глаза, можно смятение преодолеть, внести в мир гармонию, ощутив место и смысл всего, что в нем есть.

А что же звуки? О, конечно, и со звуками не просто. Их восприятие, понимание и самое их рождение тоже, хоть и по-иному, связаны с реальностями художественной атмосферы и проблемами свободного творчества, и о них многое можно бы сказать. Но это, повторяю, разговор особый, ибо вначале все же было не слово, а смятение, и Пушкин ближе к истине, чем евангелист Иоанн.

ИДОЛОПОКЛОНСТВО ИЛИ ГЛАСНОСТЬ?

Прибавление к предыдущему

Своим жестким письмом по поводу «Смятения и звуков» ведущий научный сотрудник института США и Канады В. Г. Курьеров меня, однако, порадовал. Он подтвердил, что статья не зря была написана, что рассматриваемое там мышление живуче и противостоять ему необходимо, если, конечно, мы хотим как-то помочь своей стране выйти из состояния, в которое она вошла с тридцатых и пребывала до последних лет. Ведущий научный сотрудник с яростью уверяет, что возражать «высокоцитимому нашему писателю, пользующемуся народным признанием», непозволительно. Что, ежели этот писатель — «один из лидеров нашего благородного экологического движения», стало быть и все другие движения, в которых он тоже стал одним из лидеров, столь же благородны. Что высказать свое несогласие, «если что-то он не так с чьей-то точки зрения скажет», означает, как объявил еще Ю. Бондарев, «ошельмовать человека».

О. господа, а мы браним Сталина и Брежнева! Да ведь ни Сталин, ни, тем более, Брежнев ничего бы не добились, кабы не распространенная вера в то, что если кто-то в чем-то, нам любезном, прав, то он непременно прав и во всем остальном, а кто другого мнения, пусть помалкивает. Вот и помалкивали, а теперь удивимся, откуда что взялось. Не в Сталине тут корень, хоть он и был нелюдь, а в этой жажде создавать себе идолов, к которым не положено прикасаться. (Еще Флобер заметил, что, если к идолам прикасаться, позолота остается на пальцах.) Идолом можно объявить и Брежнева, еще меньше подходящего для роли живого бога, и даже Черненко. Можно выбрать в идолы бездарного писателя, можно и одаренного и даже имеющего бесспорные заслуги в защите Байкала, которые я тем охотнее признаю, что байкальской водицы мне довелось отведать, и горько думать, что ее погубят. Но разве отсюда следует, что Лев Толстой поболее б наострил, когда бы у Суворова немного подучился?

Нет, из Толстого тоже не надо делать идола, и с ним тоже можно спорить, и Распутин, разумеется, такого права не лишен, но ведь и нам не грех поглядеть, у кого из них правда, что я наперед и оговорил. Однако, ведущий научный сотрудник это признание за Распутиным права на спор с Толстым поворачивает непредвосхитимым образом и утверждает, будто «литератор Y» (то есть я, грешный) объявил, что «не все в его (Толстого) миропонимании стройно». Не просто вырваны слова из фразы, но опущено даже стоявшее перед ними крохотное словечко «путь», которое сразу дало бы читателю понять, что «литератор Y» явно не нападает на Толстого, а спорит с нападающим: «Пусть не все в его миропонимании стройно, пусть не на все вопросы он, как, впрочем, и другие великие люди, дал наперед ответы, он не боялся видеть, что в жизни соседствуют процессы и явления вроде бы несовместимые, и постигал их не по затверженной догме, а по их собственной природе, несводимой к одной, даже и высокой цели». Эта именно фраза дает В. Г. Курьерову повод заявить, что вовсе не Распутин, а «литератор Y» подымает руку на признанного классика. А

дальше уже сам Курьеров выводит «из отсутствия полной стройности в толстовском миропонимании» все ту же распутинскую «недооценку патриотизма»! И все это именуется логикой! Подобным же образом он перекраивает сказанное о Добролюбове, где, конечно, речь не о «преднамеренном сокрытии» статьи «Луч света в темном царстве», а о том, что она и другие лучшие работы исключаются из числа *«наиболее известных»* статей великого русского классика». Остается лишь пожалеть, что если такими же приемами ведущий научный сотрудник института США и Канады выполняет свою основную работу, недоразумения в отношениях между двумя великими державами возможны и впредь. А ведь человеку, причастному к дипломатии, даже в качестве ученого советника, можно бы выучиться умерять свои страсти и спорить, соблюдая хотя бы элементы приличия.

Впрочем, вернемся к сути. В. Г. Курьерова занимает, почему я заспорил с Распутиным. Он твердит, что это — «лагерное» мышление и с пристрастием вопрошает: «А с высказываниями других писателей вы во всех случаях согласны? С Дудинцевым, например...», словно я с одним Распутиным и спорю, хотя как нарочно как раз в предшествующей в «Книжном обозрении» № 42 за 1988 год я весьма критически высказывался даже не об отдельном суждении, а обо всей концепции последнего романа В. Д. Дудинцева, тоже не считая это «шельмованием» честного и мужественного писателя. Да я и вообще не верю, что противостояние нынешних «лагерей» исчерпывает литературный процесс и, как читатели «КО» знают, ратую как раз за единый счет для всех, в том числе и за право критика соглашаться или не соглашаться с любым другим литератором, к какому бы «лагерю» в целом и даже главном он ни принадлежал.

Почему непременно надо оспорить нападки В. Г. Распутина на Толстого и воинственный, суворовский, подход к литературе? Скажи все то же человек бездарный и лживый, спорить не было бы нужды, — с такими приходится спорить лишь тогда, когда они выходят на важные посты или сами на тебя нападают, а так-то и сил неостанет на всякое злобное бормотание откликаться. Но заблуждения человека одаренного и искреннего, пользующегося всенародным признанием, могут запастись в души, и кто-нибудь впрямь поверит, что генералиссимус Суворов делает России больше чести, чем отлученный от церкви Толстой, и более ей надобен. Или смешки по поводу слабости Суворова в истмате внушат, что можно к Пугачеву и его душителям относиться одинаково, и к последним даже лучше, — дескать, каждый делал свое историческое дело. Но дела-то все-таки разные!

Разговор о патриотизме нынче вовсе не зряшный, и не хочу таиться: русский патриотизм мне внятен и дорог на тверской или орловской земле, но не стоит ему утверждаться в Альпах или на Гиндукуше. Действительным патриотом мне кажется тот, кто бьется, чтобы спасти, воскресить свою землю, настрадавшуюся и от Сталина, и от войны, и от застоя, а не тот, кто, перебравшись в поисках лучшей жизни в иную часть страны, что само по себе вполне естественно, не дает себе труда выучить язык, на котором говорят тамошние жители, и это свое высокомерие объясняет любовью к России, к Родине, хоть

сам бы, вероятно, подивился, узнав, что кто-то, претендуя на постоянное жительство и работу в России, выучить русский язык не пожелал. По-моему, России и русскому народу, составляющему половину жителей нашего Союза, от высокомерия таких патриотов, как и от рассуждений В. Г. Курьерова насчет нравственного права Суворова вступать в дела далеких стран, а дома укрощать Пугачева, и прежде и нынче — один вред.

Но бог с ним, с Курьеровым! А вот для Распутина ложные идеи, его опутавшие, обернулись наглядно: достаточно сравнить «Живи и помни» с «Пожаром». Хор все более громких похвал и отсутствие критики не дают писателю неудачу ощутить. Когда я писал «Смятение и звуки», во мне, признаюсь, шевельнулась слабая надежда: а вдруг прочтет, вдруг ужаснется этой своей атаке на Толстого. Сколько уже мы видели дарований, начавших ярко и погибших, нет, погубленных хором «единомышленников», мешавших видеть вещи как они есть, в противоречии с желанным, как не боялся их видеть Толстой. Распутина, так пронзительно рассказавшего о гибели Настены, отчего-то особенно жаль. Когда я читаю в центральной печати или слышу по телевидению иные его суждения, мне кажется, что его самого, как Настену, несет неодолимый поток ста тысяч Курьеровых, и ему уже не выбраться. О, как хотелось бы ошибиться! Ради этого и надо говорить, что думаешь, авось донесется и спасет.

Язык следует придерживать лишь тогда, когда, другой лишен возможности тебе ответить на равных. Вот Солженицына, призывам к реабилитации которого Курьеров рад, — единственное, кажется, в чем мы с ним совпадаем, — и за явные ошибки критиковать в нашей печати совесть не велит, право на это заслужили покамест лишь те, кто за свои идеи тоже страдают или попал в такое же, как он, положение. Сперва надо вернуть ему гражданство и возможность публиковаться, а, если захочет, и жить на родине. Но ведь у Распутина-то все это есть, он, напротив, — любимец сильных мира, ему, напротив, открыта дверь в любую газету или журнал, и в «Правду», и в «Книжное обозрение». Никакие критические суждения вреда причинить ему не могут.

А ставить крест на одаренном человеке и думать, что он уже и пользы принести не может, как-то мне не хочется.

КУЛЬТ БЕЗЛИЧНОСТИ

Есть все же нечто парадоксальное в том, что сталинскую эпоху в обиходе именуют «временем культа личности», не догадываясь хотя бы добавлять: «одной личности», «одной-единственной». А в этом вся суть! Страшны не сами по себе божеские почести Сталину, а свершавшееся по ходу их обращение прочих граждан в «винтики», их обезличивание. На великий толстовский вопрос «За что?» — за что убили, посадили, оплевали, вычеркнули, часто нет иного ответа, кроме того, что был незауряден, что, как говорили еще чеховские герои, был личностью. Против Советской власти не выступал, в оппозиции не состоял, и даже вместе со всеми совершал ритуальные молебны Сталину, да вот беда — был ярок, самобытен, инициативен, выделялся из ряда, и это губило и полководца, и режиссера, и естествоиспытателя. Ах, не в том вовсе дело, что воля Сталина была дьявольской, злой, как в фильме «Покаяние», а в том, что была она единственной, и остальным надлежало лишь ее исполнять. Признающий такой порядок хоть на время правильным, тем самым признает, что всяким там Тухачевским, Мейерхольдам и Вавиловым, хочешь не хочешь, надо рубить головы. Кошунственно называть былые казни или даже глумления над Шостаковичем или Гроссманом ошибками. Да не ошибки вовсе, а как раз безошибочный логический вывод из предположения, что один человек, один гений всех времен и народов, всегда и во всем прав.

Самобытность и самостоятельность всякой личности — непереносимое условие плодотворной деятельности. Наши продовольственные проблемы выросли из пренебрежения личностью крестьянина, которая формируется не только социальными и техническими обстоятельствами, но и природными условиями, в которых он работает, отчего отчуждение крестьянской личности оказывается и одновременным отчуждением природы, то есть важнейшего фактора сельского хозяйства. Не частые еще выступления в защиту советского фермерства радуют меня тем, что в их центре — личность. Не вообще деревенский уклад или даже общинная традиция, во многом изуродованная еще до революции, — за них-то ратуют многие, идеализируя вместе с ними и крепостное право, — а ясное понимание того, что труд на земле — не механический, а человеческий, и человек здесь должен быть не придатком, а хозяином машины. Абстрактно можно спорить, какая технология продуктивней, и находить свои преимущества у гигантского совхоза или у небольшого колхоза, но Анатолий Ананьев прав, когда пишет: «Сколько ни предоставляй свободы председателю, крестьянин остается в подчинении, остается закрепленным, но не хозяином».

Трагедия коллективизации не только во множестве отдельных несправедливостей, но и в пренебрежении личностной связью крестьянина с его трудом. Как только ни глумились над призывом к «врастанию кулака в социализм», а речь-то шла о сохранении в социалистической деревне личностного начала, о том, что оно не тождественно буржуазной собственности, и не всякий крепкий хозяин подобен Якову Лукичу Островнову из «Поднятой целины». (Как, кстати

сказать, и врач, и учитель, и ученый, и художник — отнюдь не «мелкие буржуа», как нам долгие годы втолковывали.) Маркс отличал частную собственность, основанную на личном труде, от капиталистической частной собственности, основанной на эксплуатации чужого труда. А мы это различие проглядели, и, сочтя пределом совершенства налаженную капиталистом фабрику, норовили и на земле создавать фабрики, несообразные природе, и не зря во главе их не часто оказывались самобытные личности. Вот и выходило: «личность есть — есть хозяйство, нет личности — и хозяйства нет».

Исправляя сложившееся, важно принять хорошие законы, отчасти они уже приняты, но, как справедливо пишет тот же Ананьев, «люди в деревне часто не знают своих прав, знают только, что зависимы, и потому боятся и тем унижены». Эта привычка к несправедливости мешает крестьянину, и не только ему, пользоваться и самыми лучшими законами. Помимо дурных законов отказываться бы надо от самого прикладного подхода к крестьянину, — не считать его подсобишкой в решении продовольственной проблемы или подвижником возрождения домостроевских традиций, а увидеть в нем, наконец, самоценного и полноправного человека, начиная с равных горожанину прав на пенсию и паспорт, если таковой вообще необходим, и до права вести хозяйство как он сочтет нужным, а не как мы ему укажем. Тогда и продовольствие перестанет быть проблемой. Тогда в деревне обнаружатся незаметные ныне, уцелевшие крестьяне. Тогда иные вернутся на землю из города, а в город уйдут другие, — ведь людей у нас в деревне не так уж мало, — много больше, чем там, где мы покупаем хлеб. Но без уважения не просто к крестьянству вообще, а к личности каждого конкретного деревенского человека с его собственными стремлениями, без уважения в том числе к его праву отличаться от других деревенских людей, все рассуждения о том, какая технология или организация труда лучше, бесплодны.

Общественное назначение интеллигенции состоит, прежде всего, в том, что она своим образом жизни подает пример уважения к личности, к правам человека, внедряя этим самоценность отдельного человека в общественное сознание, вводя ее в норму, без которой увядает вроде бы далекое от поэзии Ахматовой или прозы Бабеля сельское хозяйство. Увы, этого общественного долга лица интеллектуальных профессий (не хочется пользоваться прекрасным словом «интеллигенция», имевшим первоначально иное значение) у нас сплошь и рядом не выполняют и даже подают противоположные примеры. Культурным ценностям, точь-в-точь как деревенским жителям, отведены ныне, главным образом, прикладные роли.

Вот уже и профессор Гулыга, биограф Канта, Шеллинга и Гегеля, пустил на подкрепление своих похвал популярному Пикулю авторитеты Пушкина и Карамзина. Но ни Пушкин, ни Карамзин с Пикулем не схожи, и приходится профессору их к нему прилаживать. Для этого он, например» объявляет, что «Поэль Карп приписал Пушкину эпиграмму, от авторства которой поэт решительно отрекся» («Москва», 1988, № 6) — речь идет об эпиграмме на Карамзина по поводу необходимости самовластья. Но, господи спаси, еще современники приписывали ее Пушкину, который от нее и впрямь потом отрекался. Но Б. В.

Томашевский его авторство доказал, и эпиграмма включена в академическое собрание.

Да, и впрямь отрекался. Бывают в жизни обстоятельства, вынуждающие отречься от своих сочинений. Пушкин и от «Гавриилиады» отрекался, а письмо царю, в котором свое авторство якобы признал, до нас не дошло. Глядишь, профессор Гулыга и «Гавриилиаду» у Пушкина отберет, — из лучших, конечно, побуждений: чтобы не пятнали национального поэта святотатственные намеки на податливость божьей матери! Но от эпиграммы на Карамзина Пушкин отрекался так: «мне приписали одну из лучших русских эпиграмм», — то есть, отрицая свое авторство, отнюдь не ставил под сомнение смысл эпиграммы, да она, вопреки заверениям профессора, и не «противоположна всем другим его — восторженным — оценкам "Истории государства Российского"», а вполне сообразна со сказанным им по собственному свидетельству в лицо Карамзину: «Вы рабство предпочитаете свободе».

Впрочем, и с Карамзиным у Гулыги выходит не кругло. Карамзин не во всем противоположен Покровскому, который, согласно профессору, при Сталине был «не ошельмован, а справедливо раскритикован» за «антипатриотическую позицию», «антинациональные догмы» и «национал-нигилизм». Консерватор Карамзин и революционер Покровский противостояли не столько в национальных, сколько в социальных вопросах. «Все народное ничто перед человеческим. Главное дело быть людьми, а не Славянами» — это написал не Покровский, а Карамзин, тоже подставившись под обвинения в «национал-нигилизме» и явно не совпадая с Гулыгой и Пикулем. Профессор без труда сыскал бы, конечно, людей, уверенных, что общечеловеческое ничто перед национальным, и, хотя все народы, разумеется, равны, некоторые, как было сказано, все же более равны, чем другие, а есть даже первые среди равных и, стало быть, последние среди равных. Но только ни вольнолюбивый Пушкин, ни консервативный Карамзин тут ни при чем.

Историю издавна коверкают вкривь и вкось. Виною тому порой невежество, — не учились, не читали, не знают самых элементарных вещей. Профессора Гулыгу подозревать в невежестве просто неловко, он, я уверен, читал и Томашевского, и Пушкина, и Покровского, и Карамзина. Но тогда, выходит, профессор сознательно пренебрегает их существенными качествами ради эксплуатации громких имен в своих прикладных целях, — авось поверят! Великие личности, сложные, противоречивые, развивающиеся, выпрямляются в нужном ему направлении, становятся однозначными, безличностными. Не то худо, что профессор хвалит Пикуля или столь же бездоказательно объявляет меня противником перестройки (!). Худо прикладное обращение с культурой, пренебрежение ради своей сиюминутной полемической потребности реальным Пушкиным, реальным Карамзиным.

Известное дело, ежели бранят за консерватизм, за хвалы самодержавию, это вылазка «национал-нигилистов». Часто ведь и впрямь у защитников империи главный аргумент — шовинизм. Но Николай Михайлович Карамзин, великий русский путешественник по

Европе, защищал самодержавие иначе. Великий человек в шаблон не укладывается. И часто его подлинное лицо интереснее тем, кто с ним расходится в социальных симпатиях и спорит, нежели тем, кто торопится подпереть его именем свои нынешние расчеты, манипулируя образом великой личности, как марионеткой.

Приникнув к обезличиванию истории, мы пренебрегаем и незаурядными современниками, если, понятно, они не отмечены чинами и высокими званиями. Недавно по каналу «Пятое колесо» прошла передача о суде над Иосифом Бродским. Горько, конечно, что поэта у нас опознали лишь после всемирного признания, Нобелевской премии и двух инфарктов, а рыжего молодого человека, жившего стихами, судили за тунеядство. И все же лучше поздно, чем никогда, тем более, что некоторые говорили о поэте прекрасно. Только ведь не было бы ни возвращения из ссылки через полтора год вместо пяти (!), ни последующих книг, ни Нобелевской премии, если бы московская писательница Фрида Вигдорова, вопреки запретам судьбы, не записала все происходившее в зале, лишь много лет спустя показанном по телевидению, и не стала стучаться с этим протоколом, вскоре начавшем ходить по рукам и обошедшим весь мир, в каждую дверь. Но ее имя в передаче, где читались отрывки из этого ее протокола, даже не было упомянуто.

Она рассказывала мне про беседу с редактором влиятельной газеты, которому сказала: «Поймите, это большой талант, и наше отношение к нему важно для других молодых талантов, — мы их потеряем, они уйдут от нас». А редактор, друживший с Шелепиным, однако слывший либералом, ответил: «Пусть уходят, они нам не нужны». Но Вигдорова стучалась в другие двери, она искала поддержки у людей, с которыми могли посчитаться, она в буквальном смысле слова положила на это жизнь. И когда, уже после ее смерти, Бродский ее хлопотами, вернулся из ссылки, в его углу общей с родителями комнаты бросалась в глаза огромная фотография Фриды. Он помнил, кто его спас, а создатели передачи о Нобелевском лауреате — забыли. Ведь не Вигдоровой дали премию, она — «всего лишь» личность, прорвавшая полосу безличности. Даже в наше время, когда охотно вспоминают безвинно наказанных, не любят вспоминать тех, кто и тогда не мирился с этими безвинными наказаниями, кто в любую погоду оставался человеком.

Нет, не в недостаточной демократичности нравов, как нам со всех сторон твердят, коренятся кровавые сталинские деяния, а как раз напротив, во внушенном Семнадцатым годом мощным демократическом настрое, который иначе, без расстрелов и лагерей, было не одолеть. А ради командной системы хозяйствования его надлежало одолеть, уничтожить любой способный звучать отдельный голос. Это потом, после смерти вождя, можно было до поры просто их не слушать, их замалчивать, и поныне, указывая на иллюзию всеобщего единогласия, нас уверяют, что в кошмарах былого, давнего и не столь давнего, все одинаково виноваты. А что это не так, как раз и напомнил бы пример Фриды Вигдоровой.

Стоит признать, что все одинаково виноваты, и вот уже Владимир Солоухин о своем призыве изгнать Пастернака из СССР пишет:

«Острого желания каяться и "отмываться" я как-то никогда не испытывал, не потому, что я тогда, выступая, был уж очень умен и хорош, а по тому, что не чувствую за собой особенного греха». Не чувствует потому, что «такие уж были времена»! Хотя 1958 год — не 1929-й, и не 1937-й, и не 1949-й, — стояла оттепель.

Солоухин пишет: «В 1958 году пересылка советским писателем рукописи за границу считалась криминалом». Но Пастернак передал рукопись итальянскому издательству коммуниста Фельтринелли в мае 1956 года, ни от кого не таясь, однако никто не порывался его исключать. Не исключили его и тогда, когда в ноябре 1957 года книга вышла в Италии, сперва на итальянском и тут же на русском языке. Криминалом оказалось присуждение Пастернаку в октябре 1958 года Нобелевской премии, кандидатом на которую, кстати, он, как поэт, выставлялся в 1954 году, когда роман еще не был окончен, но Шведская Академия двумя, если не ошибаюсь, голосами предпочла тогда Эрнста Хемингуэя. Однако в сочетании с неопубликованным на родине романом Нобелевская премия прозвучала как напоминание, что в условиях демократизации, «оттепели», культура чревата явлениями не запрограммированными, и желающим сохранить идейное влияние надлежит действовать тоньше и квалифицированной. Хрущев, как умный политик, тотчас это сообразил, но, ощутив нечто себе неподвластное, по старинке пришел в ярость, тем более, что неспособные стать тоньше и квалифицированной его к этому побуждали. Лишь тут и приступили к исключению. Самовольная публикация за рубежом была и впрямь неслыханной, но Устав Союза писателей ее не запрещал. Чтобы за это исключить, требовалось сперва доказать, что содержание публикации противозаконно, это и «доказывали» Солоухин и другие. Но по закону доказать подобное можно лишь в судебном порядке, что с художественным произведением не просто. Не зря позднее на суде над Синявским и Даниэлем, который Солоухин поминает, главным, хоть и ложным, доводом было то, что печатались под псевдонимами, — знали, мол, что пишут.

За сам по себе тот давний грех участия в самосуде я не стал бы сегодня с Солоухина слишком спрашивать. Но не потому, что другие, якобы, были не лучше, а потому, что от Солоухина и не приходилось ждать иного. Вот вина Бориса Слуцкого, уже к тому времени сформировавшегося в незаурядную личность и вполне сознававшего, в чем он участвует, хоть он и выступал сдержанней Солоухина, была, мае кажется, огромной, — и не напрасно терзала Слуцкого до конца дней. Ужасно было, что в расправе с Пастернаком участвовал Леонид Мартынов. А Солоухина я помню в форме солдата внутренних войск, служившего в кремлевской охране и читавшего стихи о высоком чувстве, которое он испытывает, когда товарищ Сталин гуляет по Тайницкому саду, а он, Солоухин, его защищает от всех врагов на свете. Стихи неподдельно искренние! Не удивительно, что к собранию 31 октября сталинский часовой не успел еще выдавить из себя все, что капля за каплей призывал выдавливать из себя Чехов. Вот он и кинулся в атаку по первому сигналу: «Фас!»

Куда страшней давнего выступления, по-моему, то, что он и по сей день не опамятовался. Куда страшнее, что прожил жизнь, а не ощутил, что и в тот страшный день были люди, державшиеся достойнее его. Конечно, и молчавшим хвастать нечем, подвиг невелик. Но можно ли сказать, что между участвовавшим в поношении и молчавшим нет разницы, что ее нет меж молча поднявшим руку и молча отказавшимся ее поднять, не явившимся? Но тогда нет разницы меж Ежовым и простым человеком, не убивавшим, не доносившим, содрогавшимся от убийств, но не смевшим и носа высунуть. Тогда нет разницы между палачами Треблинки и всяким немцем, быть может, тоже содрогавшимся от происходившего, но протестовать боявшимся. Выходит, виноваты все, все русские, все немцы, все народы, все люди, — все одним миром мазаны! Но ведь это неправда!

Солоухин сослался даже на священное писание: «...распятие Иисуса Христа связывается в сознании человечества не столько с именем Каиафы, первосвященника иудейского, настаивавшего на смертной казни, сколько с именем Пилата Понтийского, промолчавшего и умывшего руки». Но в Евангелии от Иоанна стоит: «Пилат сказал им (иудеям. — П. К.): возьмите его вы, и по закону вашему судите его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого». Вот оно в чем дело! Первосвященник, конечно, хотел смерти Иисуса, но только Пилат, прокуратор Иудеи, имел право принять решение. А Солоухину кажется, что в Иерусалиме состоялось собрание, на котором Каиафа обличал, как Солоухин, а Пилат промолчал, как Евтушенко. На самом-то деле Пилат был властью, и сколько бы он ни умывал руки, роковое решение принял он, не говоря уже о том, что это римляне распинали на кресте, а у иудеев смертная казнь, пока она у них существовала, совершалась побиением камнями.

Нет, Евангелие не учит, что молчание хуже убийства. И Пушкин, написав: «народ безмолвствует», не думал, что безмолвие большее зло, чем убийство царевича. Само собой, достойней бросить обличение в лицо тирану. Но если духа на это не хватает, народ безмолвствует и безмолвием выражает себя. Вот когда он кричит: «Да здравствует царь Димитрий Иванович!» (а первоначально Пушкин предполагал завершить трагедию так, да цензура помешала), — он становится соучастником. Величайший наш поэт это различие видел, а для нашего современника оно неразлично. А все потому, что человек перестает быть личностью и сам готов быть «винтиком», который время ввинчивает куда пожелает.

Но то-то и оно, что кто готов, а кто и не готов, и не столько люди зависят от времени, сколько время от людей, от того, в какой мере стали они людьми, личностями. И сколько среди них личностей — одна-две на целый народ или десятки и сотни тысяч. И в какой мере они почитают священное право другого человека быть личностью, не похожей на них. В сущности, это и есть самое важное право человека, как бы вобравшее в себя все другие, наиболее достойное уважения, даже, если хотите, культура.

И я убежден, что во имя демократических преобразований, которые только и могут спасти страну, нам более всего необходим

культ личности. Но только ни в коем случае не опять одной-единственной, а по числу людей, составляющих народ.

ПРАВДА НЕ ПО БУКВАРЮ

Новое время перемешало старые компании. Те, кого прежде и представить нельзя было рядом, сегодня заодно. Другие, долго бывшие друзьями, напрочь разошлись. Говорят, личные дрязги, а это – преобразование общества. Но не у всех и не всегда хватает духа выяснять отношения через газету, сделать это преобразование внятным обществу. Яков Гордин, ополчившись на старого друга С.Лурье подал пример. Хочется ему последовать, да жаль ломать многолетнюю дружбу. Не буду настаивать, что мне открыта вся истина, как настаивает Я.Гордин, ссылаясь на свои занятия российской политической историей. Но от обнаружения водоразделов, за которыми личное перерастает в общественное и наоборот, никуда не уйти.

Бросается в глаза, что сам по себе предмет суждений С.Лурье Я.Гордина не слишком занимает. Он сосредотачивается на сказанном попутно. Статья предваряется насмешкой над «сладким ожиданием неминуемой катастрофы (в которую, если уж совсем честно, и сам не очень веришь)», а потом речь идет о едва не сбывшейся угрозе «развешать на фонарях» интеллигенцию. Как понять, где пустые страхи, а где всамделишная опасность? Прежде было проще. Никаких тебе зримых конфликтов между КПСС, КГБ и другими аббревиатурами. Морально-политическое единство. Если что и происходило, то под столом. А нынче с властью поди разберись! И Я.Гордин берет букварь, чтобы по нему нас учить законам истории. Я, признаться, большой ценитель букваря. Из него можно узнать, что «мама мыла раму» и много других, на всю жизнь полезных вещей. Но разбираться в истории и политике он не помогает. Не так в них все просто.

Гордин, к примеру, пишет: «расходы на армию нынче преследуют цели не внешней агрессии, а внутренней стабилизации». Что, собственно, автор хочет сказать? Что офицерам надо регулярно платить, не то присягу преступят? Так этого никакой Лурье не оспаривает. Но ведь оклад в полном объеме можно выплачивать и преждевременно уволенным в запас, даже, с учетом возможного их продвижения в чинах за остающееся время, можно ставку повысить! Так что исполнение государством непреложного долга перед военными людьми реорганизовать армию никак не мешает. То же самое с инженерами и рабочими ВПК. Нельзя бросать людей на произвол судьбы. Государство, соорудившее циклопическое производство средств ликвидации человечества, обязано регулярно платить зарплату людям, пошедшим ему служить, даже если прежняя задача временно отложена, а другой работы им покамест нет. Но танки и БТРы зачем дальше гнать с конвейера? Сырье, что ли, у нас лишнее или энергия? Нет, простите, для стабильности не конвейер надо гнать, а о людях позаботиться, чтобы они не чувствовали себя обманутыми.

Корни нестабильности не засекречены. Никакие самые распрекрасные цели, ни строительство социализма, ни строительство капитализма, не дают государству права грабить рядового человека. Но мы привыкли, что все для государства, а человек – винтик. Нынешние власти имеют его в виду не намного больше, чем прежние. Иногда кажется, что даже меньше, поскольку те лицемерили, а эти

бесстыжи. Когда руководитель ФСК утверждает, что его ведомство до следствия и приговора знает, кто преступник, а кто честный человек, и, избличая преступника, нечего оглядываться на права честного человека, мы слышим то, что слышали всю жизнь. Именно этот довод погубил миллионы честных людей. А Яков Гордин, не моргнув газом, уверяет, что от возвращения к таким доводам «танки и БТРы верных Президенту воинских частей» спасли нас в октябре.

Впрочем, и с воинскими частями не все гладко. Я. Гордин мог бы припомнить, что в октябрьские дни даже военный министр генерал Грачев не сразу решился на штурм Белого дома. Зная реальную, хоть и худую, войну, он сознавал, что армии лучше быть вне политики. Но почему все же решился? Да потому, что часть армии уже вовлеклась в политику на другой стороне, и генералы Руцкой, Ачалов, Макашов и прочие уже собирали вооруженных людей, отдавали приказы штурмовать мэрию, Останкино, и самый Кремль уже штурмовали, и стрельба шла не только снайперская. Стоять и дальше в стороне – значило быть на стороне сомнительного Верховного Совета, не выдержавшего испытания референдумом, против законнее избранного Президента, референдумом поддержанного. Этого генерал Грачев, естественно, тоже не хотел. Вот и пришлось вмешиваться в политику.

Кровопролитие вызвано расколом в армии и правоохранительных органах, их вмешательством в политику. Они не сумели обеспечить разрешению конфликта Президента с Верховным Советом спокойное юридическое течение, где решающее слово принадлежит высшему судье, то есть, не господину Зорькину, тоже не оставшемуся вне политики, а народу России. Это в букваре у Гордина есть отдельно интеллигенция и отдельно армия, а в жизни ни единой интеллигенции, ни единой армии, ни даже единой КПСС давно нет. Раскололся не просто СССР, еще до того раскололись все подпиравшие его структуры. И раскололись не от пустой борьбы за власть, как нам внушают, а от неодолимого противоречия между решимостью бросать несметные богатства страны в ненасытную глотку ВПК и необходимостью хоть что-то выдавать для поддержания работоспособности советскому народу. М.С.Горбачев был первым, кто наверху вслух признал, что с этим противоречием уже нельзя не считаться, и этим одним себя обессмертил. Но ни он, ни его противники, ни его преемники за девять лет это противоречие не разрешили. Так мы с ним и живем.

Я.Гордин уверяет, что Президент Ельцин что-то все же делает, «маневрируя в строго ограниченном пространстве возможностей». Но если, опять же по букварю, пространство возможностей подвижно: в январе 1992 оно было одним, в апреле 1993-го – другим, в декабре 1993-го - третьим. И ведь пространство все сужается, а Президент все маневрирует, временами задним числом признавая, что надо было раньше действовать решительней. А раньше, между тем, тех, кто призывал действовать решительней, отнюдь не только «непримиримая оппозиция», но еще бойчей команда Президента, объявляла экстремистами. Ельцин с Гайдаром и Козыревым считались крайними радикалами, на них допустимая демократия кончалась. Но протекшие три года имели конкретное политическое содержание, которое не

обозначить иначе как отступление от серьезных экономических реформ.

Не буду лукавить, проходи президентские выборы нынче и получи я прежний бюллетень, я бы опять оставил в нем Ельцина. Не за Жириновского же голосовать, не за Тулеева, не за Макашова, не за Рыжкова с его полными слез глазами и полной неспособностью к политической деятельности, и даже не за Бакатина, симпатичного, но уже неотторжимого от номенклатурной дисциплины. Но еще острее, чем тогда, я ощутил бы, что в бюллетене нет ни Сахарова, ни Солженицына, ни Буковского, никого из тех, кто хотел перемен, когда они еще не числились государственной политикой, когда требовалось личное мужество. У них, конечно, тоже разные программы и разные идеи, но их общее отсутствие – не случайность. Выборы теперь у нас похожи на выборы, но не скажешь, что вполне демократические – президентские еще были лучше других. Избирательная система и организация выборов таковы, что результаты часто неадекватны стремлениям избирателей.

Будущий историк, надо надеяться, углядит занятную странность нашего времени. В народе заметны три политические тенденции. Одни, сочтя, что на их век богатств Родины хватит, или просто по недомыслию, грезят о счастливых годах застоя, когда и пайка не шла мимо рта, и не слишком хватали тех, кто не чирикал. Другие, понимая, что доступные ресурсы съедены, что техника меняется и жить надо иначе, доверились той части номенклатуры, что выступила за реформы. Третьи различают на лице государства новый макияж и хотят, чтобы от реформ на словах страна перешла к реформам на деле. Эти три тенденции различимы у обыкновенных людей. Но среди политиков есть лишь выразители первой и второй, и может казаться, что страна расколота лишь на два лагеря: на одной стороне коммунисты, жириновцы, монархисты, черносотенцы, руцкисты и т. д. – партия силовых действий, на другой – «Выбор России», «Яблоко», «Союз 12 декабря». Есть и промежуточные меж ними партии Травкина или Шахрая. Но третья тенденция народного сознания на политическом Олимпе не представлена никак.

Не это ли, кстати, сорвало у нас в городе местные выборы? Сторонники первых двух тенденций могли обнаружить в бюллетенях своих единомышленников. Но неужто остальным трем четвертям избирателей просто все надоело? Не верней ли предполагать, что хоть некоторая их часть, ну, пускай треть, хоть я убежден, что больше, не пошла на выборы только потому, что в бюллетенях не было ее единомышленников? А ведь приди на выборы хоть эта треть, выборы бы состоялись! Или отсутствие третьей тенденции в избирательной борьбе – тоже случайность?

Но и печатных органов третьей тенденции нет, лишь изредка в умеренно либеральных изданиях проскакивают аналитические статьи Ю.Буртина, Л.Баткина и немногих других. И почти на каждую следует одергивающий окрик сторонников Президента, ничтоже сумняшеся отодествляющих демократических критиков нынешнего порядка с реакционными его критиками, точь-в-точь как Гордин спрашивает у

Лурье про Проханова и Бондарева: «Вы о такой культуре печетесь, дорогой друг?»

Нет, дорогой друг, Яков Аркадьевич, это Вы предлагаете в учителя Жозефа де Местра, худо повлиявшего на Александра I и отчасти повинного в том, что реформы в России не свершились еще тогда. Да и надо ли ссылаться на Жозефа де Местра, когда, скорей всего, место Цезаря, не убей его Брут, после естественной смерти досталось бы все тому же Октавиану, законному наследнику, усыновленному внучатому племяннику? Октавиан Август был мудрый государственный, мастер социального компромисса, римская культура пережила при нем золотой век. Но созданная им государственная машина, по иному объединив разросшуюся империю, уже хотела Тиберия и Нерона, иначе империю было не удержать. Даже не вдаваясь в исторические процессы, Брут в их воцарении не виновен. Жозеф де Местр его ненавидел просто как заядлый роялист. А Радищев мечтал, что «Брут и Телль еще проснутся», Рылеев сетовал, что нет «ни Брута, ни Риеги», а Пушкин о любимом Чаадаеве говорил: «Он в Риме был бы Брут».

Еще недавно Яков Гордин с пониманием писал, что «Пушкин пошел напролом», подобно тому как пошли и другие достойные люди. «Как Радищев, не могущий больше терпеть муку своего бессилия. Как молодой Михаил Орлов, не желавший ждать поумнения власти. Как Трубецкой, Рылеев, Пущин, Бестужевы, потрясенные прекрасной и страшной дилеммой: действие или бесчестье. «Если ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов». Хорошо писал Яков Гордин совсем еще недавно, отнюдь не в подростковом возрасте! Вот и задумаешься, совсем ли обособлено владение пером от ориентиров пишущего? Когда несет стремнина, идеалы порой меняются, но смена вех несовместима с букварем своей всегдашней правоты, и, приобщившись к победителям, не стоит обличать старого товарища, еще лепечущего о Пушкине и Бруте, когда другое в моде и цене. Тон невольно грубеет, а ведь он и делает музыку.

Я припомнил те строки не только потому, что сам-то я уже в том возрасте, кода любовь не проходит. Мне жаль Якова Гордина, ощущающего, хоть он и пишет иное, что грозы собираются нешуточные, и для пущей убедительности гонящего от себя эту мысль публично. Но на такой случай утешение лишь одно, завещанное дедами и отцами: «Не верь, не бойся, не проси!» Это ведь и имел в виду гениальный поэт, когда, не вкусив еще сей девиз собственными губами, говорил жене: «А кто тебе сказал, что ты должна быть счастлива?» Он думал не о счастье, а об участии в собственной, пусть сумрачной, жизни и тем самым в жизни своей страны. Он ведь тоже пошел напролом. Не с «калашниковым» пошел, а со словом, одним только словом. Неужто же нам, обыкновенным людям, лишь беречься да помалкивать, полагаясь и дальше на всеведение партийных идеологов, называющихся ныне специалистами по политической истории?

НОВЫЕ ПЕСНИ КАНТОРА

Художнику Максиму Кантору широкую известность принесло литературное сочинение «Учебник рисования», ответившее, говорят, на все насущные вопросы человечества. Но внимания достойна и опубликованная «Московскими новостями» его статья, хоть название «Еврейский вопрос – двигатель истории» и пугает замахом. Еврейский вопрос - вопрос серьезный, но на всемирно значимых событиях, великом переселении народов или открытии Америки (хоть Колумб, говорят, крещенный еврей), все же не сказался. Евреи лишь дважды вышли на авансцену всемирной истории – в первом веке создав христианство и в двадцатом, в ответ на обретенное было в христианской Европе равноправие, получив Холокост. Роль евреев раздувают антисемиты. Кантор дал статье подзаголовок «Кто и зачем поднимает новую волну антисемитизма?», но не поинтересовался, почему ее поднимают?

Ему не до причин. Его занимают цели, непонятно только чьи. То еврейства, то истории, то общие цели великих держав. Рассуждай он о целях Бога или производительных сил, было бы ясней, это мы проходили. Но Израиль, как он пишет, возник по воле «исторических персонажей». А чтобы у них что-то вышло, должны все же быть объективные причины, не только от «персонажей» зависящие. Он считает, что история ставит цели, и еврейство тоже их себе ставит. По Кантору: «Основная цель еврейства сводилась к тому, чтобы в гонениях хранить завет Моисея».

А евреи не всегда были гонимы. За тысячу лет до Христа, при Давиде и Соломоне, даже процветали. Обстоятельства менялись, и еврейство, подобно другим народам с долгой историей, менялось, порой до неузнаваемости. Но по Кантору история еврейства целостна, Ветхий завет лишь пополняли новыми эпизодами. «Текст великой книги увеличился, но принципиально ничего не поменялось». Всегда они претендовали на положение «избранного народа». Дескать, считали себя лучше других.

Но не только у евреев отдельность племени выражалось верой в отдельных богов, им особо покровительствовавших. Не одни евреи называли себя избранным народом, иные, вообще, считали людьми лишь единоплеменников. Еще Ницше смеялся над «искренней злобой против претенциозного народца, (имелись в виду древние греки – П.К.), осмеливающегося называть все чужое «варварским» и подчеркивал, что «греки – возницы нашей и всяческой культуры». Аналогична роль древних евреев, создателей христианства, да и на исламе есть еврейский отсвет. Ничего особенного в старой формуле «избранный народ» нет, ее повторяют многие. Текущая печать зовет избранным народом русских, до того звали немцев. Евреи долго отличались от других не больше, чем другие друг от друга. Но по Кантору все народы друг с другом схожи больше, чем с евреями, у него ни на кого не похожими.

И ни слова о причинах различия. А для начала бы вспомнить, как Римская империя раздавила древнее еврейское государство, уже и раньше зависимое. На месте Иерусалима, стертого с лица земли,

возвели город Элия Капитолина. И с отчаянья народ разломился. Одни поверили, что предсказанный Моисеем и пророками Мессия, Спаситель, недавно приходил и пожертвовал собой, чтобы поверившим в него и принявшим вдобавок к моисееву завету его Новый завет открылась посмертная дорога в царствие небесное. Эти евреи и стали перво-христианами. Тем упорней другие вцепились в Моисея, пророков и грядущего Мессию. За ними и шло потом еврейство.

При этом обе части единого прежде народа утратили расовое единство, обе пополнялись новообращенными из других рас, и уже ничем, кроме веры, ни та, ни другая, не скреплялась. Христиане, то есть, евреи, уверовавшие в Спасителя, сперва отвлеклись от национальных различий, не зная, по его слову, «ни эллина, ни иудея», но потом, пополняясь уже не то что выходцами из разных народов, но целыми народами, иные возвращались от космополитического идеала Христа к национальным. Католики оставались космополитами, православные византийцы тоже, а православные русские, как евреи до разлома, уже и самую свою веру сочли национальной, и свою церковь – русской, демонстративно разорвав с прежним: «ни эллина, ни иудея». Другая же часть, пополняясь теми, кто разделил веру еще только ожидавших Мессию, – а таких в Римской империи тоже было немало, считала себя по-прежнему еврейской, хотя тоже оставалась такой в основном по вере. Немалая часть тюркского племени хазар, враждовавшего с Русью, приняла иудаизм, и ныне их потомков, не имеющих в жилах и капли крови авраамова племени, числят евреями. И не одних тюрок, не одних черных фалашей из Эфиопии или китайцев! Кантор считает, что «именно идеологией скреплялось еврейство», что по ней, не по крови, они -- единый народ.

Но признав, что еврейство держится лишь идеологией, он тут же к нему относит «идеологов и лидеров всех четырех интернационалов», подчеркивая, что многие из них «были евреями». В списке «и Маркс, и Троцкий, и Бернштейн, и Ленин». Но, помилуй бог, по идеологии-то они не евреи, а марксисты. К тому же, Троцкий (Бронштейн) и Бернштейн были глубоко ассимилированы, хоть и не крещены, родной язык Бронштейна – русский, а Бернштейна – немецкий. С еврейством Маркса еще хуже. Он все-таки был крещен в четырехлетнем возрасте, рос в соответствующей среде, живя ее жизнью, женился на немецкой аристократке, а марксизм исходил не из Ветхого завета, и не из Талмуда. Хуже всего с Лениным. Его дедушка по матери впрямь еврей. Но уж Ленин-то крещенный новорожденным, не то что никак не еврей по культуре, но и по крови еврей лишь на четвертинку. Даже Гитлер «четвертиночек», «фиртель-юде», не сжигал. Но Кантор тверже, ему и четвертинки хватает. Выходит, кровь, даже слабая ее примесь, ему все же важнее идеологии!

Он сознает, как, при нынешнем интересе к роли многих евреев в революции, звучит утверждение, что и ее вождь, сын действительного статского советника, русский дворянин, был евреем. Затем и опрокидывает признанный было постулат об идеологии, как главном знаке еврейства. Их опознаешь по идеологии, по вере, а они веру и идеологию меняют! Кого же винить в бедах России? Неужто

начальство? Вот лучше и забыть о великом разломе, о том, что жители всей Европы носят по-преимуществу еврейские имена, что евреем был Иисус, и апостол Петр, и Иоанн Креститель, и покровитель Руси апостол Андрей, и Богородица. Зато помнить, что евреем был Иуда, да и другие евреи строили козни.

Кантор приписывает евреям двойственность, почти двуличность. Он пишет: «Существовали две стратегии бытия евреев – рассеяние и диаспора. Исходя из двух методов поведения, в Новой истории родились два противоположных учения: первое – революционное, интернационалистическое, и противное ему – национальное, государственное, то есть сионизм». Трудно допустить, что рассуждение о разнице стратегий «рассеяния и диаспоры» – лишь плод невежества. Из любой энциклопедии можно узнать, что по-гречески слово «диаспора» означает «рассеяние». Все стратегии евреев, вся их жизнь, последние два тысячелетия протекали в рассеянии, в диаспоре. Только там могла возникнуть молитвенная формула, повторяемая верующими на новый год: «В будущем году в Иерусалиме!» Других претензий на несбыточный после римских зачисток Иерусалим, никакой самостоятельной государственной стратегии, у евреев, вопреки Кантору, быть всерьез не могло. Даже после Герцля сионизм продвигался не дальше идеалистических инициатив молодых людей, ехавших в Палестину. Положение изменил лишь Холокост.

Пусть Громыко вскоре говорил противоположное прежним своим речам, слова о «моральном долге мира перед народом-мучеником», звучавшие в его устах и даже в заведомо лживых устах Вышинского от имени страны, потерявшей в лагерях уничтожения добрую половину еврейских граждан и еще не помышлявшей уничтожать другую, были аргументом, который Соединенные Штаты, выступавшие во Второй Мировой войне спасителем человечества, отвергнуть не смели. Недолгое совпадение США и СССР сделало сионизм геополитической реальностью. А чуть утихла начатая в ту пору холодная война, ООН, не мытьем, так катаньем, силится пересмотреть давние решения. Еврейская «государственная» стратегия, вопреки Кантору, после античной началась лишь в 1948 году.

Участие евреев в революционных, интернациональных движениях стран, где они жили в рассеянии, напротив, факт бесспорный. Но только это еврейское бунтарство противостояло отнюдь не сионизму, которого еще и не было, а ограничениям, преследованиям, гонениям, не дававшим евреям быть равноправными гражданами, о чем у Кантора ни словечка. Парадоксально, но факт: при Александре I и Николае I положение евреев в черте оседлости сопоставимо с крепостным состоянием половины русского населения, но при Александре III, после отмены крепостного права для русских, положение евреев еще ухудшили, ввели новые ограничения.

А у Кантора гонения на евреев -- лишь ответ мира на претензии, «избранного народа». Ему не важно, кто кого стал преследовать и какими способами, хотя погромы, устроенные крестоносцами и прочие христианнейшие действия, вплоть до Холокоста, проведенного крещеными национал-социалистами, которому и папа Пий XII не

противился, общеизвестны. Но христианство остается переросшей родителя сектой иудаизма, и с этим Кантору ничего не поделать. Братоубийство не отменяет родства. Ни евреям, ни христианам, не замазать это «стыдное» родство, и, тем самым, общую основу цивилизации. Память о ней уберегла христианство от полного разрыва с евреем Иисусом, а еврейство от полной гибели, уготованной ему в XX веке. Не от ущемлений, ограничений и оскорблений, а от «полной гибели всерьез», на треть сбывшейся.

Максим Кантор смело пишет: «Теодор Герцль (идеолог сионизма и автор брошюры «Еврейское государство») и Карл Маркс (идеолог коммунизма и автор брошюры «Манифест коммунистической партии») были современниками... Они жили и работали одновременно, труды их выходили в свет одновременно – и люди еврейской национальности могли сделать выбор: во что им верить». Могли, дескать, выбирать «кому объединяться – пролетариям всех стран или иудеям?» Кантору не важно, что после разгрома Германии как раз «пролетарии всех стран» подхватили знамя антисемитизма. Он счел, что выбор был, а худо выбравшим, некого винить. Но выбор то, как в сказке, - куда ни пойдешь, смерть, так или этак.

Чтобы после Треблинки внушать, что у евреев был выбор, невежества мало, да и бесстыдства тоже, но художник смело идет на подлог, уличить в котором, при желании, тоже могли уже в газете. Биографии Герцля и Маркса не засекречены. Они не «работали одновременно», и труды их не «выходили в свет одновременно». Маркс родился в 1818 году, а Герцль в 1860, сорок два года спустя. Умер Маркс в 1883, когда Герцлю, соответственно, было 23, он был студентом-юристом Венского университета и о сионизме не думал. Но в декабре 1894 года, через одиннадцать лет после смерти Маркса, как парижский корреспондент венской газеты, Герцль попал на процесс Дрейфуса и был потрясен размахом антисемитизма, изливавшегося в суде и вокруг него. Тут он и решил, что из стран рассеяния евреям надо спасаться и возрождать свою страну. Его «Еврейское государство» издано в 1896 году, через сорок восемь лет после «Манифеста коммунистической партии», изданного в 1848. Сказать, что они вышли в свет одновременно, не точней, чем сказать, что одновременно (сорок шесть лет разницы) произошли победа в Отечественной войне и распад Советского Союза. К тому же, крещенный еврей Маркс «Манифест коммунистической партии» написал вместе с немцем Фридрихом Энгельсом, и никаких специальных обращений к евреям и суждений по еврейскому вопросу там нет. Да и сионизм не альтернатива социализму, хоть Кантор и пишет, что на Святой земле «религиозные и национальные распри дух социализма вывели начисто». Наоборот, в создании Израиля ведущую роль играли социалисты Бен-Гурион, Голда Меир и другие. И киббуц (коммуна) – пример социализма.

Отсюда, понятно, не следует, что большинство евреев уехало из числимой марксистской «страны социализма» потому, что Герцль защищал евреев эффективней. Увы, еврейское государство – тоже не гарантия от уничтожения. Но не только потому, что соседи Израиля ждут – не дождутся, чтобы его упразднить, но, может быть, еще

больше потому, что даже претендующие слыть умеренными «Московские новости» настаивают, что конфликт на Ближнем Востоке неразрешим (Следом появилась статья генерала Владимирова, вещающего о том же.). Но как ни оценивать путь к спасению по Герцлю, даже вовсе его отвергая, надо признать, что скромный венский журналист углядел перспективы новой, еще только зарождавшейся угрозы евреям, куда прозорливей, чем виднейший мыслитель Маркс, хоть и обмишурившийся с коммунистической утопией, но нашедший много серьезных и глубоких подходов к пониманию общественной жизни. Герцль оказался дальновидней многих, хотя политическая сила, опасная евреям, до его смерти в 1904 едва обозначилась, да и сама еще не очень знала, что станет антисемитской.

К началу XX века обнаружилось, что хозяйственное развитие ведет не только к объединению планеты, по нынешнему, к «глобализации», но разом и к дроблению общества, к дроблению составляющих его классов и групп, и нужен все более чуткий учет интересов и нужд этих групп, важных в общественном производстве. А он невозможен без их прямого представительства в общественной жизни, без достаточного уровня демократии и готовности к социальным компромиссам. Но и абсолютистским монархиям, вроде Российской, и их противникам, жаждавшим исправить общество по своим расчетам, вроде русских большевиков, демократия, как бы предоставляющая вещи их собственному ходу, мешала. Из разнообразных истоков пошло движение, противопоставившее социальному компромиссу приказ, не везде одинаковый, но везде для всех безоговорочный.

Это движение обычно именуют «фашизм» по его итальянскому самоназванию от слова *fascio* – «пучок», «единение». Фашисты звали и к национальному и к социальному единению, коммунисты – сперва лишь к социальному, исламские социалисты – к религиозному. Но дело не в символах и самоназваниях номинальных целей, опасно само единение, единение партии, класса, народа, страны, как принцип, простиравшийся на всё и всех. «Фашист» по-русски означает «заединщик». Немецкий «национал-социализм» у нас называют итальянским словом «фашизм», как он сам себя никогда не называл. Но, если уж не по-немецки, – нацизм, отчего бы, – тем паче, что возникали и другие движения такого типа, - не называть их по-русски – заединщики? Но называли «фашизм», чтобы не напоминать, что гитлеровцы тоже строили социализм. Национальный.

Но чуть единение сделали нормой, различия обратились в помехи. На словах заединщики даже чаще атакуют сословные и имущественные различия. Но им мешают и различия в образовании и культуре, и национальные. С последними, при их территориальной рассредоточенности и покорности единому центру, по началу мирятся. Но евреи, живущие в рассеянии, не имеющие признанной территории, при всеобщем единении торчат, как занозы. Их вытаскивают и вытесняют. Не то что среди них нет склонных к тому же, - в России меж заводил заединщины евреи были не лучше других. Но марксизм их не спас. И не потому что Сталин был антисемитом. Брежнев – был не такой заядлый, но евреям легче не стало. Зло не столько в «исторических персонажах», как внушает Кантор, сколько в

недемократическом укладе жизни, в ориентации на «элиту», «номенклатуру», правящий класс, с которым «персонажи» считаются. И чем открытей был антисемитизм любой заединщины, правой или левой, тем популярней среди евреев была идея Герцля. А Кантор судит Израиль словно заединщины не было и нет, словно еще Сталин не проговорился: «Антисемитизм – это международный язык фашизма».

Заединщина, то есть, тоталитаризм, не затем возникает, чтобы перебить евреев. Это для нее, хоть и неперменное, но побочное дело, а на главное глаза старательно закрывают. Советская школа учила истории, восходящей по ступеням. От первобытного коммунизма, через рабовладение, на деле расцветшее отнюдь не везде, она вела к феодализму, в недрах которого росла буржуазия, числимая прогрессивной, поскольку готовила себе могильщика, пролетариат, который, дескать, опять построит коммунизм, но на достигнутом буржуазией высшем техническом уровне. Голландия, Англия, Соединенные Штаты, шли отчасти по этой схеме, но тамошний пролетариат, отстаивая свои права, в заединщину не впал. Демократический порядок позволял компромиссно согласовывать интересы.

А остальной мир жил иначе. Там тоже в феодальных недрах росла буржуазия, да верх ей было не взять, и Германия, Россия, Италия, Испания, Турция, Персия, Индия, Китай, отставали от передовых стран. Силясь за ними поспеть, не переняв их общественных порядков, возникших в гражданских войнах и революциях, отстающие страны ожесточали власть. Нарастали кризисы и недовольства, еще больше возбуждавшие тягу патриотов разного толка к командной дисциплине, чтобы одолеть отставание. В разных сферах росла схожая вера в единение, верноподданное или революционное. На него надеялись те, кто, не озираясь на реальные причины кризисов, пуще всего держались за возможность отдавать приказы, насаждая покорность.

С евреями они обходились схоже, но не единообразно. Порой с них начинали, порой откладывали на закуску или на черный день, Немецкие национал-социалисты сразу выступили антисемитами, из Германии евреев изгоняли, а на захваченных территориях уничтожали. В России коммунисты, напротив, сперва отвергли антисемитизм, евреи, участники революции, составили по началу в Политбюро добрую половину, но через десять лет там не осталось ни одного. Уже до войны антисемитизм был советской государственной политикой и остался таковой.

В последние годы жизни Сталина явно готовили антиеврейские акции. Это было заметно не только по «делу врачей», но и по работе рядовых жилищных контор, составлявших списки евреев. Хоть смерть Сталина и сорвала роковые акции, многие пострадали. Примечательно, что арабская заединщина атакует не только Израиль, но и евреев в других странах, хоть те не помышляют о переезде. Нападки и нападения на евреев растут и в демократических странах, не только под правыми, но еще чаще под левыми лозунгами. Можно ли, взявшись за еврейский вопрос, отвлечься от выяснения природы

этого, опять затопляющего мир, могучего антисемитского вала? Но Максим Кантор, хоть и вопрошает, кто поднимает волну, от ответа уходит.

Его цель другая – гасить надежды на еврейское государство. Для этого все средства хороши, даже то, что «ни Сталин, ни Трумэн, ни Эттли, ни Черчилль в симпатиях к евреям замечены не были», - стало быть, их действия не несли евреям добра. Кантор пишет: «в 1947 году мир решил, что отныне практичнее создавать не внутреннее гетто (как прежде), но гетто внешнее – такое, которое соберет весь проблемный народ в одном месте... Сходную операцию планировал Сталин – более варварскими методами и не на Святой земле». Но «сходные» сталинские замыслы перехода отнюдь не к «внешнему гетто», опровергают построение Кантора. Общность задумки «внешнего гетто» опрокидывает уже то, что, даже и в пору активной поддержки Израиля, Сталин не дал туда свободно эмигрировать из СССР. Он надеялся, что еврейское государство станет его опорой и, в любом случае, вобьет клин между США и Англией, тогда еще влиятельной в регионе. Она воздержалась при голосовании за создание Израиля и пособила арабским странам тотчас начать против него войну. А когда сталинская надежда на базу в Средиземноморье не сбылась, советская политика повернулась на 180 градусов. Словом, ни СССР, ни Англия, ни, тем более, США, обвиненные совсем уже голословно, сообща и сознательно не создавали «внешнее гетто». Если СССР и Англия к обращению Израиля в гетто причастны, то не по совместному замыслу, а потому, что, крепя арабскую заединщину, поощряли там войну.

Злонамеренность Кантора не в рассуждениях, что Израиль – гетто, а в том, что он замалчивает реальные причины этого. Не то что великие державы не виноваты в шестидесятилетних злключениях еврейского государства. Ни одна из них не предложила после войны создать его на территории Германии, скажем, в Восточной Пруссии, отобранной у немцев, которые сочли бы это более справедливым, чем ее отход к Польше и СССР. Да и приняв возрождение еврейского государства на его исторических землях, после римлян захваченных арабами, можно было делить английскую подмандатную территорию, включавшую в себя первоначально Иорданию, населенную арабами, не на три, а на две части, то есть, вернув еврейскому государству столько же палестинской земли, объединить другую ее часть объединить с Иорданией в единое арабское государство. Пребывая под управлением Иордании до войны Судного дня, палестинцы не стремились от нее отделиться.

Кантор цитирует Черчилля, но не признает, что тот, даром что принадлежит к старинному герцогскому роду, мыслит социально (Марксизм давно уже не единственный способ социального мышления.) и, в отличие от заединщиков, с которыми не случайно сражался, Черчилль различает в еврействе тех, кто интегрирован в страну проживания и, как Дизраэли, может ее даже возглавлять, тех, кто по призыву Герцля хочет уехать и возродить отдельную страну, и, тех, кто, как Троцкий, в социальной борьбе в стране проживания, взял сторону тамошней заединщины, его и погубившей.

Не США, не Англия, даже не СССР, где заединщина не сразу стала антисемитской, виноваты, что в гитлеровской Германии антисемитизм взыграл сразу. Точно также другие державы не виноваты, что советский интернационализм потом обернулся антисемитизмом. Заединщина знает разные пути. Но приобщение к ней все большего числа стран, равно как капитуляция перед ней европейских демократий, начатая в свое время в Мюнхене и поныне проявляющаяся закрытием глаз на преступления исламского фашизма и авторитарной России, создает вокруг сопротивляющихся тоталитаризму зону изоляции. Внутренней, если это не тюрьма и не лагерь, а часть города, особый регион – ее и называют гетто. Можно принять за него и отдельную страну. Для многих в Европе Израиль – зона внешней изоляции евреев, тоже гетто.

Говоря о «гетто», Кантор не делает открытия. Израиль знаменит не великими скрипачами или шахматистами, а умелыми генералами. Он обращен в гетто с первых дней борьбы против попыток сбросить его в море. Конечно, это не лучший способ спасения евреев, возможно, даже наихудший, но других надежных, где, по крайней мере, спасение хоть отчасти зависит от ищущих спасения, а не от внешней милости, сегодня, увы, нет. А сопротивляться стремлению их погубить евреи как раз и начали в гетто. До возникновения Израиля Мордехай Анилевич, командир боевой организации Варшавского гетто, и его товарищи совершили тот единственный выбор, который оставляют евреям заединщина и капитуляция демократий, и о котором молчит Кантор: не плестись к печи, но оказать сопротивление, - скорее всего, все равно погибнуть, но не в печи, а в бою.

Кантор объясняет, что израильские солдаты, защищая каждый кибуц, отвечают «на всю историю разом: на геноцид и Холокост, на Хрустальную ночь, и Дахау и Бабий Яр, на резню, учиненную Хмельницким в 1648 году, на погромы в Одессе и Киеве.... на процессы «безродных космополитов», на дело врачей...». Звучит патетично, но исторические ходы не доказывают, что евреи непримиримы, что ближневосточный конфликт неразрешим по их вине. Непримирима другая сторона. А конфликты разрешаются по мере осознания сторонами их пагубности для обеих. Заединщина мешает арабским соседям Израиля видеть, что им тоже лучше жить иначе. А перейди они к демократическому преобразению своих стран, им бы легче было признать, что от компромисса больше прока, чем от скидывания соседа в море. Не на одесские погромы и не на Бабий Яр отвечают израильтяне, а на то, что их страну, не щадя и арабских сограждан, хотят стереть с лица земли. В Египте, в Иордании, стало прорезаться иное сознание, но большинство стоит на своем. Как же израильскому солдату не ответить на огонь? Не Богдану Хмельницкому он отвечает, а стреляющим в него.

И тут Кантор объявляет, что это не согласно с моралью. Он утверждает, что, хотя двойная мораль – одна для соплеменников и единоверцев, другая для прочих, – присуща всем народам, лишь один, – опять же, избранный – якобы счел ее промыслом Божьим. Не в силах опровергнуть, что евреям не оставляют места в мире, он винит их в том, что спасение они ищут «ценой унижения таких же, как они,

парий» и пишет: «Невозможно использовать слово «холокост» как аргумент защиты, когда лишаешь жизни себе подобных».

Но сопоставимого с Холокостом нет. Отвратительные поступки, намеренно совершенные евреями, вроде стрельбы по молившимся в Хевронской мечети или резни в Деир-Ясине, это обычно выходы отдельных людей или групп. Еврейское государство никогда не нацеливалось на ликвидацию каждого попавшего в поле зрения араба, а Холокост выделяется среди массовых убийств именно обреченностью каждого еврея. Ни поляков, ни русских не порочат за то, что они защищались от заединщиков. А евреям и это ставят в строку.

Плохо, что в Ливане от бомбежек погибли десятки арабских детей. Но как тут промолчать, что бомбы бросали на пусковые ракетные установки, расположенные, как оказалось, в домах, где жили люди с детьми, а ракеты оттуда били по Израилю, убивая еврейских детей. Разве в гибели арабских не виновны, прежде всего, те, кто ставил пусковые установки за их спинами? И разве нравственно, оставлять еврейских детей без защиты, даже догадываясь, что другая сторона нарочно разместила смертоносные орудия рядом со своими детьми, подставляя их под огонь? Уже говорят, что и самооборона Варшавского гетто была не вполне моральна, поскольку немецкие мальчики в солдатских шинелях лишь обеспечивали доставку евреев в лагеря уничтожения, а инициативы убивать на месте не проявляли. Оказывая сопротивление, евреи срывают единение, уготовившее им место в Трешлинке. Морален по Кантору лишь отказ евреев от сопротивления, лишь их непротивление злу, ни христианам, ни мусульманам не свойственное.

Но от евреев его требуют. Коллективной ответственности за сопротивление Кантор хочет не от одних израильтян, но от всех евреев. Он говорит: «Еврей должен отвечать за Израиль по той же причине, по какой англичанин (даже живущий вне Англии) отвечает за Англию, американец – за Америку, русский – за Россию». Как такое понимать? Еврей диаспоры к еврейскому государству нередко безразличен, пока не ощущает, что судьба государства сказывается на нем. Отсюда может расти и любовь, и ненависть, но откуда ответственность?

Неужто тургеневский Калиныч отвечает за Ермолова в Чечне или Муравьева в Литве? С какой стати? Его разве спрашивали или он мог вставить словечко? Миллионы русских и при царе и при советской власти ни за что отвечать не могли, как не могли отвечать и миллионы немцев за творившееся гитлеровцами. Каждый в ответе лишь за то, что сам сказал, сам сделал, за то, что сделала партия, в которую вступил, политик, за которого голосовал, за деяния, которые он приветствовал. Но никто не может отвечать за то, что делалось помимо него, что он не мог остановить. Даже осудить задним числом подчас, как в СССР, может лишь герой, не щадящий своей жизни. Морально ли требовать от каждого стать Яном Палахом? Чтобы за мерзавца Ягоды самосожжение совершили все евреи, а за мерзавца Ежова – все русские?

В стране, где никто ни за что не отвечал, но любому вменяли шпионаж в пользу Японии, придумали, что каждый отвечает за все. А пятнадцать лет назад на улицы вывели войска, чтобы совершить государственный переворот и пресечь робкие шаги к демократии. Генерала, выведшего войска, суд оправдал, хоть переворот признан преступным. По такой же логике у Кантора евреи виноваты, что их уничтожают. Чем на это отвечать, кроме сопротивления?

Тут и выясняется, кто подымает новый вал антисемитизма. Вы, батенька, вы, Максим Карлыч, и подымаете!

А выяснять – зачем, это уже психология.

С НАДЕЖДОЙ НА ЛЮТЫЕ ЗИМЫ

Аннотация на обороте титула гласит: «Летописи такого рода появляются в русской литературе раз в столетие... Все мы ждали книгу, которая бы объяснила, что же с миром и с нами случилось... Теперь такая книга есть. Это роман Максима Кантора «Учебник рисования».

На припомню сочинения, так громко представленного, да еще без публикаций в текущей периодике. Рецензии добавили, что роман подвел итог XX веку и, во всяком случае, нашей эпохе. Но баррель нефти все еще стоит шестьдесят долларов, и Россия дышит нефтегазовой подушкой. А эпоха минет, когда страна вдохнет свежий воздух, и вернется к отсроченной искусственным дыханием борьбе с бедой, вынудившей КПСС к перестройке.

Согласно Кантору, нечего озираться на беду, схватившую тогда СССР за глотку, – ставропольский механизатор, как именует он Горбачева, ее выдумал. А на деле в российских невзгодах виноват, дескать, художественный авангард, подменяющий абстрактными квадратами и завитками христианское фигуративное искусство. В центре романа столичная околохудожественная тусовка, норвящая поживиться и готовая к услугам. Книга была бы сатирой, будь ее персонажи не только ничтожны, а хоть сколько-нибудь смешны. В них опознаются московские лица, известные, кто в узком, кто в более широком кругу, но читать скучно. Однако от других плохих романов «Учебник рисования» отличают пронизавшие его искусствоведческий и политический трактаты, претендующие на конечную истину.

Напиши эти два тома Илья Глазунов, не видать бы им такой раскрутки. Общественные позиции Глазунова дали его живописи стойких поклонников, но и сузили их круг. За Кантором – более широкий слой, хоть его взгляды, да и живопись, вторящая немецкому экспрессионизму, схожи с глазуновскими. Но он сам из «интеллигентской» тусовки, которую обличает. Он там свой, вот раскрутки и верят, что под его пером пропаганда фундаментализма будет убедительней. Книга, конечно, написана не по заказу «заговорщиков», ныне ее рекламирующих, а по внутренней нужде бросить обществу в лицо протест, не вовсе беспочвенный. Можно по Фрейду вычислить, что вытолкнуло автора на радикальный рубеж. И пусть не сподобил его господь дать «образ мира, в слове явленный», и даже нынешняя раскрутка не заставит роман дочитывать, будущего историка он привлечет тем, что обнажает безысходность нынешней российской мысли, черпающей идеалы в прошлом, царском или советском.

Искусствоведческий и политический трактаты Кантора то и дело подменяют друг друга. Он решил, подобно Марксу, постичь мир. Маркс изучал для этого экономику, Кантор – искусство. Как ни относиться к Марксу, трудно отрицать, что экономика, точнее сказать, хозяйство, – фундамент человеческой жизни, и зависимость от него неотвратима. Из этого исходит материалистическое понимание

истории, нередко, к сожалению, обращаемое в почти религиозный детерминизм, но не потерявшее своих резонансов. Маркс, первым осознав его значимость, тоже не избежал промахов и упрощений. Трагизм минувшего двадцатилетия тем отчасти и возвращен, что советский «марксизм-ленинизм» отбросили, а не отвергли, не задумались о смысле промахов и упрощений Маркса и их толкований коммунистической властью. Но невозможно понять природу общества, отвлекаясь от природы его хозяйства.

Другое дело искусство. Оно не всегда, не везде и часто не вполне поспевает за жизнью, не всюду развито, не на все откликается. Да и само зависит от хозяйства, и его успехи не одним вольным духом рождены. Русский балет во второй половине девятнадцатого и начале двадцатого века был самым успешным, но не только благодаря глубокому восприятию в России пластической композиции, подтвержденному цветением у нас режиссерского искусства, а во многом потому, что царь содержал огромные балетные труппы и в Петербурге, и в Москве, на что другие державы денег не швыряли.

Но и в благодатных условиях искусство не все схватывает, а лишь важное современникам. Нынешним искусствоведам, и Кантор – не исключение, не угадать, что упустили художники давних лет. Подмена экономики искусством выдает веру в неизменность общих понятий, признание их существующими объективно, именовавшееся в Средние века реализмом, но как раз уводившее от реальности, которая обобщается лишь мысленно и не всегда верно.

Кантор объявляет фигуративное искусство христианским. Но христианству, выросшему из иудаизма, отвергавшего фигуративность, она сперва тоже чужда. Лишь обращенные язычники принесли ему изобразительную фигуративность, возникли иконы. Но их еще долго не все почитали святынями. Лишь к IX веку утвердилась святость изображения Христа и святых. Впрочем, и реформация знала порывы иконоборчества. Христианство стало выяснять с язычеством отношения по поводу фигуративности не при Микельанджело, как уверяет Кантор, а на тысячу с лишним лет раньше. Нынешний отход от нее вызван отнюдь не отказом от христианства. А это главная идея книги.

2

Чтобы возражать, нет нужды защищать авангард, достаточно установить, что называют авангардом. Мое поколение к нему относилось, если не импрессионистов, то Сезанна, и уж, во всяком случае, Брака и Пикассо. Если же иметь в виду современный постмодернизм, мы разойдемся с Кантором не в оценке явления, но в понимании его природы. Конечно, это кризис живописи, но почему он затянулся? Кантор глумится над «Черным квадратом» Малевича. А по своей первой профессии должен бы знать, что, подобно поэту, не облачающему мысли в форму стиха, но мыслящему стихом, художник мыслит картиной. И Малевич, мысля «Черным квадратом», писавшимся до 1917 года, осознавал тупик своего стремления одолеть объективность живописи.

Но после революции на Ломоносовском фарфоровом заводе супрематисты изготавливали посуду оригинальных форм и расцветок. Их работы обрели практический смысл, – вот их и не считают инстоляциями. Жанры живописи, как и других искусств, умирают или смещаются в прикладные сферы. Главный ее жанр, станковая картина, теряет ныне значимость или проецирует дизайн, архитектуру, и неизвестно, когда воспрянет и воспрянет ли в прежней роли. Ведь появились новые сферы художественной изобразительности, – фотография, кино, в том числе мультипликационное, изменились условия бытия изобразительного искусства, его потребители и покупатели. Наивно думать, что поношение «мазни» постмодернистов вдохновит нового Тициана или Рембрандта. Искусство – сфера не чисто технологическая, его технология индивидуализирована и по-иному значима, чем в экономике. Конкурентный рынок бывает забыт, но воскресает, дай лишь производителям независимость и защиту от внеэкономических посягательств. У нас это не вышло лишь потому, что не дали ни независимости, ни защиты. С искусством так не получается. Отменить цензуру, чтобы оно процветало, необходимо, но недостаточно.

3

Кому, однако, нужен авангард? По Кантору, он – плоть от плоти фашизма и коммунизма. Некогда схоже рассуждал «правоверный» марксист Михаил Лифшиц, отвергая уже импрессионистов, но клеймя лишь фашизм, коммунизма не касаясь. Но хоть сперва кое-кто из авангардистов примыкал к тоталитарным движениям, а советская власть модернизм терпела, и наши коммунисты и немецкие национал-социалисты, да и фашисты в Италии, быстро осознали, что это «искусство чуждое народу», «дегенеративное», и ни Пикассо, ни Матисса, ни Шагала, вполне фигуративных, у нас после войны не выставляли. А два зала импрессионизма, появившихся потом в Эрмитаже, были личным подвигом ведавшей живописью А. Н. Изергиной. Привязка авангарда к тоталитаризму – выдумка, он этот авангард ненавидел пуще Кантора. Советская власть задолго до него поощряла классические традиции, но ничего, кроме ходульности, не получила. Похоже вышло и в гитлеровской Германии.

Великое искусство былого невозможно возродить. Оно ведь рождалось произвольно. И Возрождение не так возрождало, как создавало небывалое.

4

Радея о фигуративности и держась ее, как живописец, Кантор пренебрег ею в романе, который побольше «Войны и мира». У Толстого размеры понятны: как истинный фигуративист, он вывел скопище людей с живой кровью. Выкинуть кого-то, значит изменить роман. Но персонажей Кантора, фигуры не имеющих, не явленных читателю во плоти, не опознать по отдельности. Какой-то из них пишет маслом на огромном холсте без подрамника, чтобы потом нарезать из

холста картины. Романист над этим глумится, но сам пишет похоже со сходным результатом. И не просто по недостатку таланта, а еще по непониманию, что, как композиция картины отчасти задана уже пропорциями холста, так и композиция романа связана с его размером, пусть писатели строят ее по-разному. Но Кантора влекут не отношения героев, формирующие композицию, а их разговоры на отвлеченные темы, занимающие тусовку. Они и нагие, вдвоем в постели, думают о делах и говорят об умном. Это не люди, а знаки. Раздражая Кантора в чужой живописи, знаки заселили его прозу.

Огляди он свой опыт прозаика, согласись, что идеалы и вкус художника не прямо выражают его волю или госзаказ, вспомни, как общество, прельстясь пошлостью или нелепостью, не лучше постмодернистских, часто было холодно к великому искусству, он бы ощутил, что роман – не разговорный жанр, что персонажей нельзя произвольно тасовать, что, как в политике, они связаны действием, его материальной почвой и осознанием отношений на этой почве складывающихся. Советский Союз от недостатка самосознания погиб.

5

Но самосознание невозможно без разоблачения лжи, застрявшей в умах. Кризис середины восьмидесятых привел к перестройке, когда правящий слой смекнул, что грозит обвал и льготы усохнут. Номенклатура даже допускала вольность суждений, порой дерзко-разоблачительных, но ушла от общественной дискуссии о природе кризиса. И росла новая большая ложь, что перемены, - как сейчас легко видеть, по-преимуществу косметические, – будто бы совершила диссидентствующая интеллигенция. За это Кантор ее и клеймит.

А на деле нынешний порядок, сперва прежним способом обустроивала КПСС, а потом ее номенклатура, лишь на словах отрекшаяся от советского волюнтаризма. Многие интеллигенты аплодировали Горбачеву или Ельцину. Но номенклатура ни на миг не упустила власть, диссидентов к ней не допуская. Разве что С.А.Ковалева назначили защищать права человека. Но, по мере прояснения реальных намерений власти, интеллигенция расслаивалась.

Иные впрямь стали оруженосцами переодевшихся правителей. Можно бы приветствовать обличение их Кантором, не распространи он его без разбору на всю интеллигенцию, всю ее обвиняя в предательстве интересов народа и страны, в духе ленинской формулы «интеллигенция – это говно». Но более 5% избирателей голосовало за лево-либеральное «Яблоко» и столько же за право-либеральный СПС. Многие их лидеры вели себя жалко, даже предательски, но их избиратели чистосердечно надеялись, что новые лозунги в итоге послужат развитию страны. Большинство российской интеллигенции, вопреки Кантору, оказалось не творцом, а жертвой перемен. И уж никого не предали ни Галина Старовойтова, ни Юрий Буртин, ни Сергей Юшенков, ни Анна Политковская, ни другие, живые люди, лишенные, – поскольку не хвалят, а клеймят власть, – доступа к

печати, не говоря о телевизоре. Но Кантора не смущает, что на деле либерализация не состоялась. Он именует либерализацией уловки продажной тусовки, высмеивая которые, поносит либерализм.

6

Пафос «Учебника рисования» в провозглашении либерализма неуместным в России, в его обличении, как явления, якобы, сугубо западного. Атака на авангард лишь форма атаки на либерализм. Живопись здесь призвана быть образцом постоянства, воплощать фундаментальные понятия, по правилам, жестче, чем в Болонской академии, даром что реальная живопись подвижна уже в пределах одной эпохи, и Тициан пишет иначе, чем Микельанджело.

А Россия – изначально западная страна, не по воле Горбачева, Ленина, Александра II, или даже Петра I, а еще до Ярослава Мудрого, дочь которого, регентша при малолетнем сыне, короле Филиппе I, правила Францией.

Европа, особенно в преддверии нового времени, развивалась неравномерно. Феодалная реакция и, в частности, закрепощение крестьян, вышли в России суровей, чем в Польше или Германии, а в Англии феодалная реакция не прошла. Из-за того же крепостничества буржуазное развитие России отстало от Голландии или Англии. Но сама непрерывность заимствования Русью обретенного Западом, – религии, технических достижений, оружия, культурных открытий, социального мышления, – говорит о единстве Европы, а российское противостояние ей всегда подкреплялось принуждением, насилием.

Едва от общих понятий Кантор идет к конкретностям, он грубо их фальсифицирует. Превосходство традиционной России над революционным Западом он демонстрирует победой над Наполеоном, нашествие которого именует «либеральной атакой». Но в Россию французы входили уже совсем иными, чем когда-то в Германию, – не революционерами и не освободителями. Наполеон не рискнул дать вольную крепостным, то есть, никакого либерализма в Россию не принес. А Лев Толстой, уже после «Войны и мира», после освобождения крестьян, не за фундаментализм ратовал, но звал отдать крестьянам землю и помещикам самим пахать. Он создал даже новую религию протестантского толка, став как бы российским Лютером. Но Кантор ни того, ни другого видеть не хочет. Где уж вспоминать, что Крымская война, в которой Толстой участвовал, при том, что героизм русских солдат и таланты российских полководцев и тут были на высоте, в силу наших крепостнических порядков, приведших к техническому отставанию, окончилась тяжелым поражением.

Кантор и войну с Германией изображает как войну с Западом. Один из его персонажей в парижском кафе так прямо и объявляет, что Гитлер пришел с запада, хотя как раз в Париж он перед тем пришел с востока. А наша пехота ехала на студебеккерах, летчики летали на дугласах, ели свиную тушонку и яичный порошок, и не было тайной, откуда все это. Даже Сталин тогда заявлял, что «наша борьба сольется с борьбой народов Европы за демократию», но победив

Германию, навсегда застрял в освобожденных от Гитлера странах и начал холодную войну с Европой и Америкой. Банкротство СССР и наступило в результате этой войны и гонки вооружений, все более истощавшей страну.

7

Вконец истощенная, лишась богатых колоний, Россия, вопреки Кантору, ныне опять тянется к Западу, хоть и возрождает антиамериканские штампы государственной пропаганды. В минувшем двадцатилетии страна жадно обретала компьютеры и мобильные телефоны. Их Кантор не отвергает. Но объяснил бы тогда, почему мы сами ничего подобного не сделали, а опять покупаем и перенимаем? А и мы могли, – Андрей Колмогоров был близок к мыслям Норберта Винера. Винят Сталина, запретившего кибернетику и заодно генетику. Но это объяснение ничего не объясняет. Не в том ведь дело, что Рузвельт или Черчилль направляли науки дальновиднее. Им и в головы не шло этим заниматься и решать, какой науке жить, а какую отменить. Такая ошибка бывает роковой лишь при тоталитаризме, когда все решает вождь, виновный, однако, не в том, что, как всякому человеку, ему свойственно ошибаться, а в том, что соревновательность, дающую плоды в либеральном обществе, он подменяет «вертикалью власти». Нам разоблачали культ личности Сталина. А Сталин страшен не так личностью, как сталинизмом. Фамилия вождя обозначает вид тоталитаризма, такое бывает не только у нас.

8

Тоталитарное государство, командующее хозяйством, не одному Кантору милей либеральной экономики, преимущества которой в уровне жизни и технике подтверждаются тем, что одолеть кризис тоталитарные учатся у либеральных. Еще в 1921 учился Советский Союз, учились Югославия, и Китай. Фашистская Италия и национал-социалистическая Германия, не целиком ограничив экономику, жестко ее контролировали. А чуть оправясь от кризиса, тоталитарные власти гнут свое, зная, чем за это заплатят страна и народ.

Это не по глупости. Людям, привычным к феодальным порядкам, на почве которых возникали тоталитарные режимы, феодалы они или крестьяне, общество кажется вертикалью, где наверху лучше, чем внизу, где верхние приказывают нижним, где внеэкономическая зависимость защищает господ от равноправия. Конечно, в феодальной Англии жили «по воле лорда и обычаю манора», то есть, лорду не был положен беспредел, надлежало считаться с привычным крестьянским порядком. Но до XVII века феодализм правил и там.

А буржуазные предприниматели оценили обретенную независимость, и новое общество строили как горизонталь. Независимым людям приказ уже был не указ, приходилось сотрудничать с другими независимыми людьми, нанимать рабочих, сговариваться, платить. Чтобы делать это беспрепятственно и нужен

либеральный порядок. В Россию нужда в нем пришла вместе с крестьянской реформой. Но слишком многие боялись. Едва ли не самый литературно одаренный ненавистник либерализма Константин Леонтьев говорил «Россию надо подморозить». Климатические сравнения у нас не редкость. Время надежды после сталинского обледенения Илья Эренбург пророчески назвал «оттепелью». Полвека спустя опять говорят о либерализме, и Максим Кантор повторяет Леонтьева, разве что слог подкачал. Александр III сворачивал отцовские реформы, и Леонтьев уповал на заморозки, но хозяйство по ходу развития высвобождалось, и не все ему желанное сбылось. Сбудется ли ныне поворот вспять, зависит не от одних его совершающих, но автор «Учебника» уповает на лютые зимы, жаждущие своего, привычного.

9

Отдельная глава отдана разоблачению «философии коллаборационизма». Иностранное слово означает по-русски «сотрудничество». Автор глумливо сообщает, что эта философия «провозглашает, как высшую ценность, свободного в своих суждениях человека», но дальше всерьез пишет, что она «выстраивает оппозицию любой форме насилия,... отвергает войну как способ решения конфликтов, .. не приемлет ложного учения о борьбе классов». И на полном серьезе пишет, что итог ее мудрости – «уклонение от боя», цинично противопоставляя ей строки Гете: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой».

Гете реабилитация не потребуется. Он известен как достаточно либеральный правитель, и под свободой, ради которой звал на бой, в отличие от Кантора, разумел не свободу неограниченной власти и насилия, а как раз либеральный порядок, о котором Германия при его жизни могла лишь мечтать. Но с «ложным учением о борьбе классов» у Кантора вышло совсем не кругло.

Учение это возникло во Франции в тридцатые годы XIX века, когда Маркс еще и студентом не был, и не сводится к его вере в будущее бесклассовое общество. Надежда, что оно возникнет, когда рабочий класс ликвидирует буржуазию, подорвана уже тем, что после прихода к власти радикальных рабочих партий всюду складывался новый правящий класс, у нас названный «номенклатурой». Конечно, общественные классы нередко доходят до боев с оружием в руках, но часто как раз потому, что пренебрегают сотрудничеством, хотя противоположные интересы участников единого производства не отменяют их общих интересов. Таковые были и у феодалов с крестьянами, пока зависимого крестьянина не делали рабом, и у капиталистов с рабочими. Усвоив гегелевскую теорию борьбы противоположностей, Маркс странным образом упустил, что она неотделима от единства этих противоположностей. Когда же единство уходит и складывается новый способ производства, наступает не бесклассовая благодать, в которой блаженствует одна из противоположностей без другой, а новое единство новых

противоположностей и новая борьба. Но у Кантора «борьба классов» подобна стычке банд.

10

Еще любопытней нападки на отказ от войны, как средства решения конфликтов. В холодной войне лидеры сверхдержав, не будучи террористами-самоубийцами, сообразили, что при обмене ядерными ударами обе будут стерты с лица земли и, во всяком случае, лишатся культурных и промышленных центров и большинства населения. Потому Хрущев и объявил, что «фатальной неизбежности войны нет», чего Сталин выговорить не мог. А если войны нет, неизбежно какое-то сотрудничество, хотя бы по ее предотвращению.

Возродить войну и угрозу войной, как способы решения конфликтов, хочет не один Кантор. Многие «патриоты», готовы принести отечество в жертву своим нелепым понятиям о нем. Но и на прежних войнах разный бывал коллаборационизм, одни капитулировали, другие шли с врагом на временный компромисс, и что имело место в том или ином случае, покажет лишь конкретное и спокойное исследование.

Генерал Власов мало того, что капитулировал, стал служить Гитлеру, и сколько бы Кантор ни оговаривал его «трудный поиск себя, своей личной позиции», эта «позиция» иная, чем даже у маршала Петена, пошедшего на компромисс с Гитлером, хоть уступки, выговоренные им у победителей для Франции, были ничтожны. Тем более, отличается она от позиции сотен тысяч советских солдат, попавших в плен не по своей вине, а по вине генералов, не одного Власова, но и избежавших плена и вышедших в маршалы. И еще вина Верховного Главнокомандующего, подставившего под гитлеровские удары не готовые, опять же, по его вине, к таким боям войска. Эти сотни тысяч солдат, не всегда даже записавшихся во власовскую армию, объявив их предателями, Сталин переправил из немецких лагерей напрямик в советские, откуда выжившие вышли лишь после его смерти. Понятно, этот удар по стране, как и предвоенные прямые удары по Красной армии, Сталин нанес не как «платный сотрудник империалистических держав», а ради целей, ему более важных, чем защита отечества. Но Кантор, вместо этого реального предательства, обличает всякое вообще сотрудничество, как общую категорию, как выход из изоляционизма. И глумится над Горбачевым, сотрудничавшим со странами, способными спасти нашу. Тут проясняется вся его философия.

11

Открываясь до конца, Кантор подчеркивает, что философии сотрудничества «чуждо марксистское определение насилия как повивальной бабки истории». Маркс, между тем, не давал общего определения насилию, лишь говорил, что оно часто служит истории повивальной бабкой. Но Кантор о роли повивальной бабки, о том, где

она по Марксу нужна, не задумывается. А нужна она у постели беременной, и лишь тогда, когда происходят роды.

Радикальные последователи Маркса толковали его подобно Кантору. Они верили, что насилие способно сыграть роль повивальной бабки и там, где беременности нет в помине. Достаточно, мол, ввести советские войска и, глядишь, настанет социалистический строй. В 1917 году Россия была беременна революцией, да только буржуазной. В октябре Ленин, опираясь на насилие, помогал новорожденной выйти из утробы, издал Декрет о земле, Декларацию прав народов России и провел, наконец, выборы в Учредительное Собрание. Но заметив, что ребенок не тот, какого он ждал, он, опираясь опять же на насилие, разогнал в январе Учредительное Собрание и начал пластическую операцию, которую Сталин потом лишь продолжил, для чего ему пришлось перестрелять немалую часть ленинской партии, искренне надеявшейся придать ребенку черты, обещанные утопией Маркса. Сталин с новыми партийцами ставил насилие и няней, и кормилицей, и воспитательницей в детском саду, и учительницей в школе, и профессором в университете, и укреплял спецорганы и внутренние войска, придав новому строю качества, которые еще ровесники Кантора ощущали на собственной шкуре. О них автор не вспоминает, но сочувствует старику Рихтеру и старухе Герилье, верующим, что беспощадное насилие, еще в январе 1918 года не считавшееся с народным волеизъявлением, не пытавшееся хоть для проверки его повторить, могло привести к иному.

А чтобы родить, надо забеременеть, надо выносить ребенка, надо, чтобы во чреве матери он сформировался и мог, если его будут кормить и любить, начать потом самостоятельное существование. Общественный строй тоже должен сперва сформироваться в недрах предшествующего. Если тот будет при родах упираться, своими запретами запикивать ребенка обратно в материнское чрево, а то и начнет душить, конечно, не обойдется без насилия, именно как повивальной бабки, не меньше, но и не больше. Так было еще в Голландии, принадлежавшей тогда Испании, отчего буржуазная революция обрела черты национально-освободительной войны. И там, и в Англии и во Франции насилие, быть может, переходило порой через край, но и тут и там революция убрала помехи и запреты мешавшие выйти на свет новому строю, которым эти страны воистину были беременны. А у нас он был задушен в колыбели, и насилие стояло насмерть против органичного хода вещей.

Если Кантору и не мил советский порядок, то методы его строительства он ценит и не случайно то и дело толкует о трех великих проектах: христианстве, Возрождении и марксизме, которые якобы могли, хоть и не смогли, создать человечеству земной парадиз. На деле первые два никогда не проектировались, а сложились стихийно, сперва лишь увлекая последователей. Христианство было в подполье триста лет, да и родилось на краю империи, бросая ей вызов. И Возрождение, родилось не в Риме, потом собиравшем его урожаи, а

во Флоренции, никому не навязываясь, но его жадно перенимали. Лишь марксизм сразу мыслился как разрушение старого и постройка нового мира, но по ходу стройки, как впрочем и христианство, он до неузнаваемости преобразился. Старик Рихтер мечтает о четвертом великом проекте, противостоящем коллаборационизму. Не вполне вроде сочувствуя советскому коммунизму автор, однако, корит сограждан, поминающих десятки миллионов убитых в своей стране чаще, чем три тысячи убитых в Чили. У нынешнего порядка, отрекшегося от «марксизма-ленинизма», но дышащего имперскими, религиозными, шовинистическими идеями, еще при Сталине вросшими в коммунизм, и ныне отбросившими привычное лицемерие, есть сторонники. А противники уже зовут его фашизмом, но старый ярлык не избавляет от нужды выяснить, что же это за порядок, в котором правит даже не лицемерная партия, как было у нас недавно, да и у Гитлера тоже, а прямо органы безопасности.

13

Не жалуя нынешнюю власть Кантор кличет ее главу «рыбоволком», и винит заведенный им порядок в чрезмерной либеральности. Но власть и хочет выглядеть либеральной, это обвинение, да еще в обличительном тоне, якобы особо достоверном, ее лишь повеселит. У нас важно иммитировать демократию, а не блюсти ее нормы. Но, помяная невзгоды простых людей, Кантор молчит, отчего они. Народные беды – как бы непреходящая данность.

Финал романа ориентирован не на смену режима, а на христианство, велящее, дескать, сострадать. Но христианство – религия не так сострадания, как спасения. Она родилась, когда Иудею охватило безысходное отчаяние. Традиционную иудейскую надежду на спасителя, который придет, многие потеряли и решили, что он уже посетил сей мир и своим самопожертвованием открыл уверовавшим в него путь к индивидуальному спасению и жизни вечной, который каждому и надлежит самостоятельно совершить.

Эта надежда на усилия каждого по отдельности дала людям, – верят они в чудотворство Иисуса из Назарета или нет, – новое ощущение своей личности, обретения и подвиги которой драгоценны сами по себе, а не только в контексте общенародной, религиозной, национальной, классовой или другой общности. Христианское мировоззрение, не сводимое к вере, придало отдельной душе, отдельной личности, уже иудаизмом оцененной, – что и удержало Ветхий Завет частью христианского, – всеобщую значимость. Христианские народы, то есть главным образом европейцы, в том числе русские, учились ценить индивидуальные усилия и в физическом, и в умственном труде, и в самосознании. Христианство, обращенное к отдельному человеку и молящееся конкретному богочеловеку, фигуративно, поэтому, воплощая его, искусство не отвергло фигуративность, но она – не исключительное свойство христианства.

Кантор, не только в религиозной, а и в мирской жизни, хочет подменить спасение состраданием, и живую душу - фигуративностью.

Фигуративность при этом теряет плотность, и тоже, как говорилось, становится знаковой. Особенно это пагубно при изображении людских отношений. Книга вроде полна секса, но он выступает лишь данью животной природе, – по канонам церкви низкой. Ни одна пара в романе не знает любви, и главный герой, признающийся, что он и написал роман, не скрывает, что в плотских отношениях только животное и видит. А о них ведь не зря так много говорила великая литература, да и живопись их не избегала. Толковый словарь понимает любовь как «чувство самоотверженной привязанности», и половой акт любящих, противостоит животному эгоизму, желанию добыть сладость себе одному, а полон стремления дать радость другому. Когда к этому стремятся оба, в их взаимности, в их совместном одновременном оргазме, как раз и вспыхивает высшая человечность, благая для другого, выводящая за пределы отдельности и одиночества, ведущая к душевной и духовной близости. Но даже и слово «взаимность» автор порочит, воспринимая мир как публичный дом.

14

Падение берлинской стены, отрадное видевшим ее своими глазами, не спасло мир от бедствий. Тоталитарный радикализм, жаждавший покорить либеральные страны, приведший в 1945 Германию и в 1991 Россию к разбитым корытам, вновь живет, охватив Восточную Азию, Ближний и Средний Восток, Латинскую Америку. Россия тоже не перешла к либерализму, - правившая номенклатура с большими жертвами, но сильным везением на нефтяном рынке, устояла и возрождает претензии. Но и в либеральном мире не гладко.

Хозяйство там развивается успешно. Технические и военные достижения неоспоримы. Социальные тоже. Но самосознание, и художественное, и политическое, в явном упадке. Правительства большинства либеральных стран не сопоставимы с лидерами времен Второй мировой и даже холодной войны. Нет здравого объяснения ни состояния международных отношений, ни перспектив социальных структур, при новых технологиях явно требующих перемен.

Из противоречивых тенденций, влекущих разом и к глобальности и к автономизации, еще не сложился новый тип геополитических отношений, в котором империи уступают место гибким союзам. А его сулит голосование французов и голландцев против обращения Евросоюза, инициаторами которого они и были, в централизованную империю. Не стоит забывать, что и президент крупнейшей демократии, США, определяется не общим большинством голосов, а выборщиками, выражающими позиции штатов, неравных, но полноправных. Но совместимость глобальности и автономизма еще не стала законом развития.

Не осознаны и последствия структурной трансформации общества, хотя трудящиеся в большинстве уже не крестьяне, и даже не рабочие, а умственный труд уже часто оплачивается не повремененно, как труд рабочих, а сообразно тиражированию открытий, изобретений и даже отдельных технологических приемов и авторским

правам на них. Крестьяне живут натуральным хозяйством и выручкой от рынка, рабочие – заработной платой, предприниматели – доходами, но все больше людей, живущих авторскими поступлениями, и оттого более свободных и вносящих в общество новые тона. Оттого, что люди искусства тоже входят в этот слой, в котором растет влияние науки, чуткой к оригинальности и новизне, искусству оригинальность порой кажется большей ценностью, чем художественное содержание, что отчасти и питает «авангард».

Либеральные страны не знают как быть с этими и другим переменами. Тем сложнее с ними России, лишь на миг выглянувшей в 1917 году из под пяты самодержавия, а в конце восьмидесятых – начале девяностых из под пяты тоталитаризма. Российское сознание, запечатленное Кантором, не терпит ни личной самостоятельности, ни национального самоопределения, оно не видит смысла автономности и поныне ощущает себя имперским, державным. Оно не признает, что общество – не стадо, нуждающееся в пастухе, что его составляют отдельные люди, каждому из которых общество, как целое, и призвано служить. Это отдается во внешних отношениях, не с одним Западом, но и с бывшими республиками СССР, и еще сильнее во внутренних отношениях, делая бесправными народы России, начиная с русского. Власть толкует о падении рождаемости, свойственном всем европейским странам, но пренебрегает необычайно низкой продолжительностью жизни мужчин, не доживающих до пенсии, и затрудненностью внутренней миграции населения в места, нуждающиеся в рабочей силе. И то, и другое, – от равнодушия к согражданам, на жизни которых поток нефтедолларов не слишком сказывается.

Нет недостатка в примерах хищнического или равнодушного отношения нынешней власти, более откровенной, чем советская, к людям. Легко видеть, что бедствия России, прежде всего, от того же державного всевластия, которое не ушло. Оно оставило печать и на художественной жизни. Но ее кризис тоже начался много раньше. Невозможно сравнить довоенный уровень искусства в СССР с послевоенным, даже при известных успехах послесталинской оттепели. Романы Булгакова и Пастернака, с которыми напрасно равняют Кантора, были начаты до войны, один тогда же и дописан, а другой – вскоре после войны. Но падение искусства и раньше шло не от одних запретов, и то, что запреты отпали, само по себе не создало почвы для художественных удач. Нескладица жизни осталась, номенклатура, ни до перестройки, ни после, себя не одолела, но энергично и ловко мешала другим стоять за себя. Уверяя, что корень зла - живопись квадратов и завитков, а не номенклатура, Кантор номенклатуру выгораживает. Оттого и раскрутка, оттого и обилие публикаций как бы фрондирующего автора в верноподданных изданиях, что, конечно, радует, проливая свет на сущность явлений и заявлений.

IV

И ЭТО БЫЛО ПРАВИЛЬНО?

31 июля в «Ленинградской правде» появились неожиданные для этой газеты слова: «Надо посмотреть суровой правде в глаза и признать — от ответственности за прошлое нам, коммунистам, никуда не уйти. Проклятье прошлого долго будет преследовать нас, и не так-то легко от него освободиться, как думают иные горячие головы, взывающие: "Хватит посыпать голову пеплом! Пора выходить из окопов!"». Пишет это не кто-нибудь, а новый секретарь Ленинградского обкома Ю.П.Белов и продолжает: «Достоин всяческого уважения тот, кто... готов встать в полный рост и позвать за собой: "Хватит пятиться! Пора идти вперед!" Но куда вперед? К нашему былому "авторитету власти"? Так это же не вперед, а назад».

Секретари Ленинградского обкома на моей памяти всегда были твердокаменными, всегда бежали впереди застоя. Даже недавнее глумление съезда над А.Н.Яковлевым и Э.А.Шеварднадзе возбудил наш ленинградский первый секретарь, загодя выбросив лозунг: «Политбюро к ответу!». И вдруг — человеческая речь! Как хотелось бы порадоваться: вот и в Смольном какие-то сдвиги! Но подведомственная товарищу Белову сфера не то что его настроений не разделяет, но с традиционным ленинградским упорством идет в атаку на обновление, по-прежнему доказывая, что все в общем было правильно.

1 июля, за месяц до выступления Ю.П.Белова, в газете «На страже Родины» три полосы занял Я.Лернер, известный тем, что в ноябре 1963 года опубликовал с двумя соавторами в ленинградской «Вечерке» статью «Окололитературный трутень», с которой и началось открытое преследование поэта Иосифа Бродского. Историю эту знает весь мир, не раз ее пересказывала уже и советская печать. В позапрошлом году «Огонек» опубликовал записанный писательницей Фридой Вигдоровой суд над Бродским. К Бродскому за четверть века пришло, между тем, всемирное признание, он удостоен Нобелевской премии по литературе, наши журналы печатают его стихи, уже и книги стали выходить на родине. Казалось бы, что вспоминать о давнем позоре. Ан, нет, стоят на своем!

С молодым человеком обошлись несправедливо, а потом вынудили его покинуть родину, — мир знает о многих, кого, увы, постигла подобная участь, но, заполняя на день полосы газет, они уходят в безвестность. Бродский сегодня известен не своими юношескими страданиями, о которых многие и не знают, а своими стихами. Именно они принесли ему стойкую мировую славу, ими он и знаменит. Вот и нам бы их читать, о них говорить! Но газета «На страже Родины» двадцать семь лет спустя настаивает, что обвинение поэта в тунеядстве было справедливо, судилище и наказание были справедливы, запись Вигдоровой якобы не соответствует действительности, а выступления в нашей печати «являются частью хорошо продуманного плана по реабилитации Бродского». Или они

всерьез думают, что Бродский нуждается в реабилитации? А ведь это нашей стране, нашей прокуратуре, нашему суду, нашей милиции, нашим дружинникам, нашим партийным органам надо бы в этой связи думать о своей реабилитации!

Опровергнуть фальшивую запись процесса, изготовленную Лернером, не составит труда. В зале были десятки людей, известных своей порядочностью и подтверждавших потом достоверность записи Вигдоровой. Но она в сторонних подтверждениях и не нуждается. Фрида Вигдорова была человеком безупречной честности и искренности, а чтобы тогда записать и опубликовать происшедшее на суде, нужно было еще и геройство, и Вигдорова совершила этот подвиг. А нравственные понятия Лернера известны еще с 1963 года, ждать от него раскаяния не приходится, так что вновь подробно опровергать его ложь нет нужды. Замечу лишь, что изготовителю фальшивых банкнот надо знать рисунок на купюрах. Вот и Лернеру стоило бы знать, что А.Раскина, подготовившая публикацию в «Огоньке», — родная дочь Фриды Вигдоровой, и не заявлять, что публикатор к процессу «не имеет ни малейшего отношения». И не стоит приписывать свидетелю Е.Эткинду утверждение, будто Бродский «не состоял в группах и секциях». Ведь Бродский выступал на устном альманахе секции перевода, вести которую было поручено Е.Эткинду, и он не мог сказать, что этого не было. Об этом, как и об участии Бродского в работе ленинградских переводчиков, знает множество людей. Секция перевода не случайно еще до суда, когда издательство «Художественная литература» из-за статьи Лернера расторгло трудовые договоры с «тунеядцем», официально обращалась к директору издательства В.А.Косолапову с просьбой эти договоры восстановить.

Можно так, пункт за пунктом, опровергать и остальные выдумки. Но важнее понять, зачем эта очевидная ложь понадобилась сегодня. Нынче, как, впрочем, и тогда, дело не только в Бродском, тем более, что нанести ущерб ему хозяева Лернера на сей раз, к счастью, уже не в силах. Разве что вконец отобьют у выдающегося поэта охоту хоть ненадолго посетить родной город.

Номер газеты с фальшивкой Лернера содержит еще три крупных материала: свежее интервью с Б.В.Гидасовым, давнее — от марта 1917 года — с В.М.Пуришкевичем и на целую полосу статья, глумящаяся над принципом «разумной достаточности», взятым ныне Советской Армией за основополагающий, и утверждающая, что наши вооруженные силы должны непременно во всех отношениях превосходить всех мыслимых и немыслимых противников. С чего бы затесалась туда история старой провалившейся провокации? Зачем опять бездоказательно утверждать то, что убедительно опровергнуто жизнью, не говоря о выступлениях в печати?

Это станет понятно, если отвлечься от необыкновенной судьбы и личности Иосифа Бродского и вспомнить обвинение: тунеядство! Лернер с особым упорством возражает тем, кто уверяет, «что суд над Бродским имел политическую окраску, что судили человека, осмелившегося иметь особое мнение», хотя позднее не только сам квалифицирует «антисоветские, откровенно националистические

сионистские взгляды Бродского», но и уверяет, что о своем неуважении к Ленину Бродский якобы заявил по ходу судебного заседания. Да существовал ли в природе советский суд, который в 1963 году мог оставить такое без последствий? И все же пафос Лернера в том, что судили за тунеядство, значит, уверяет он, за дело.

Вот суть и проступает. По ходу процесса и защитник, и свидетели защиты справедливо говорили, что поэт — не тунеядец, что работа над стихом не легче, чем за станком, и так оно, конечно, и есть. Да иначе защита аргументировать и не могла, поскольку в 1961 году Президиум Верховного Совета РСФСР издал Указ о борьбе с тунеядством, и каждому, кто по тем или иным причинам не находил работы, пусть и не по специальности, надлежало оправдываться, доказывать, что он не тунеядец, запастись справками, где-то оформляться, пусть и без зарплаты. Бродскому, при фантастическом успехе его стихов, ничего не стоило устроить себе такое псевдооформление. Но он не ловчил, а вел себя с государством как честный человек. Однако честность, искренность как раз и были тогда самыми тяжкими грехами, и даже теперь, в эпоху гласности, мы часто слышим, что и в них надо меру знать. Утверждая, что суд был справедлив, нам и внушают наново сознание этой меры, как бы говоря: разумный или неразумный установлен порядок, судить не вам, вам положено не рассуждать, а делать, что велют, хотя бы формально, тем подтверждая, что наш порядок разумен, то есть, что разумна наша административно-командная система.

Неспроста и стремление доказать правомерность самого по себе обвинения в тунеядстве. У нас и тогда была и ныне есть открытая и еще больше скрытая безработица. При экономической реформе она неизбежно возрастет, и государству придется оказывать людям помощь. А по схеме 1961 года, которую газета «На страже Родины» выдает за образец справедливости, безработные — это просто тунеядцы, их можно будет по суду принудить к подневольному труду не там, где им хочется, а где угодно властям, и уж во всяком случае можно будет о них не заботиться! Это ведь одна из самых главных проблем перехода к рыночным отношениям. И вновь, объявляя человека тунеядцем за то, что он не состоит на государственной службе, опять фактически ратуют за нормы административно-командной системы. Случай Бродского тут особенно удобен: дескать, норма для всех — даже крупному поэту, будущему лауреату Нобелевской премии, послаблений не делали. Вот как было все тогда справедливо!

Примечательно и изображение в статье ленинградской писательской организации, полностью отождествленной с ее тогдашним руководством, которое в деле Бродского вело себя отвратительно. Автор статьи не только умалчивает, что помянутые им свидетели защиты виднейший германист профессор В.Г. Адмони и поэтесса Н.И. Грудинина тоже члены Союза писателей, но даже не вспоминает, что на первых же выборах после суда над Бродским тому руководству пришлось уйти, что выступавший в суде против Бродского референт союза Е. Воеводин вынужден был оставить свою должность. Да и освобождения из ссылки добились все те же писатели, а не

дружина Лернера, отправившая Бродского туда. Молчит Лернер и о том, что обретенный после освобождения вполне официальный статус — по инициативе секции перевода, поддержанной новым руководством писательской организации, Бродский был принят в профессиональную группу при Союзе писателей — не уберег от новых преследований и фактического выдворения за рубеж, хотя о тунеядстве уже не могло быть и речи.

Нынешняя атака на Бродского служит возрождению прошлого, преследующего нас, как проклятье. Не зря статья Лернера напечатана на обороте статьи против разумной достаточности вооруженных сил, которая тоже несовместима с административно-командной системой. Поношение поэта, оскорбление людей, за него вступившихся, извращение хода судебного заседания — все это, как и прежде, лишь подсобные средства для главной цели, для защиты отмирающего, но все еще мешающего жить порядка.

Если этот номер газеты случайно попадет поэту в руки, я наперед прошу прощения, что возбуждаю неприятные воспоминания о тяжелых временах. Но нам помнить о них необходимо, поскольку нас хотят к таким временам вернуть. Ради этого газета «На страже Родины» и провела могучую артподготовку перед съездом партии. И нельзя не огорчиться, что, выступая уже после съезда со своей статьей, первый секретарь по идеологии Ю.П.Белов и словом не обмолвился об этой, самой чудовищной с тех пор, как он появился в обкоме, открытой вылазке ленинградской реакции. Очень мне хотелось поверить, что новый секретарь, в отличие от прежних, и нынешних, и впрямь намерен способствовать движению вперед, а не назад, что его появление в Смольном не сведется к тому, чтобы более умелыми, чем прежде, речами прикрывать попятное движение. Но выступление газеты «На страже Родины», не получившее в обкоме ни отклика, ни оценки, от излишнего доверия и чрезмерных надежд предостерегает. Наш великий город, город Нины Андреевой, город инициативного съезда РКП, не меняется.

ЗАЧЕМ МЫ ПИШЕМ?

Г. Егоров, бывший врач-педиатр, а ныне столяр-декоратор, как он сам себя именуется, в «Книжном обозрении» № 46 за 1988 год утверждает, что «писатели только пишут. А в жизни-то ничего не меняется».

А разве меняется? Разве обжигающе правдивый роман Василия Гроссмана предостерег от нынешней активности общество «Память» или хотя бы его покровителей? Не предостерег. Разве душераздирающая повесть Анатолия Приставкина остановила погромщиков Сумгаита? Не остановила. Разве мудрая рецензия Гавриила Попова на роман Александра Бека пополнила прилавки наших магазинов? Не пополнила. Изменилось ли в жизни что-то даже от того, что были в России Пушкин и Гоголь, Достоевский и Толстой, Щедрин и Чехов? Или, как сказано, писатели лишь пописывали, а читатели лишь почитывали?

Перемены, однако, очевидны. Странно утверждать, что написанное и напечатанное не сказалось на них никак. Другое дело — как? Еще вчера нам внушали, что великие писатели трудились ради установления вчерашнего образа жизни. А если нравственные понятия Льва Толстого и, скажем, Николая Ежова явно не соотносились, то ведь на заблуждения великого писателя тоже указывали. Но, и всерьез говоря, писатель, конечно, не прямо в жизни что-то меняет, и его непосредственные усилия в этом направлении, при всем их благородстве, подчас даже и героическом, означают все же отход от собственно писательского воздействия на жизнь. А своими писаниями писатель меняет прежде всего нечто в сердцах и головах людей, и в силу именно этого от него отчасти зависит, как они свою жизнь понимают, и, стало быть, как ее изменяют. То есть, — и в этом доля правды, которую Г. Егоров напрасно абсолютизирует, — писатель меняет жизнь лишь вместе с читателем. А читатель, конечно, вправе остаться равнодушным к любому из пишущих, даже к Шекспиру, но если он порочит всех писателей чохом, то, должно быть, как-то неладно их читает.

Г. Егоров сперва сообщает, что «верил всему, что было написано Ф. Кузнецовым о русской литературе и моральных устоях», а после бросает тем, кто такой веры и прежде не разделял: «Кузнецова и ему подобных я просто презираю, а вам, извините, не верю». Но стоит ли вообще слепо верить «каждому слову», — ведь даже и безупречно честный человек может чистосердечно заблуждаться.

Разумеется, чужие раздумья — великое подспорье при формировании своих взглядов. Но тот, кто в общении с книгой отказывается от собственного умственного труда и ограничивается усвоением, расплавивается потом нигилизмом. Можно понять Жданова и Суслова, побуждавших миллионы вместо того, чтобы овладеть умственной самостоятельностью, принимать готовенькое из их рук. Трудно понять тех, кто на это соглашался. Ведь и в самые мрачные сталинские времена и в темные годы застоя общение человека с книгой, — пусть лишь с допущенной в библиотеку или на прилавок, но и там было множество замечательных, — оставалось бесконтрольным.

Мысль, возникавшую при чтении, Сталин, вместе с Ягодой, Ежовым и Берией, не в силах был усмирить. Но сколь многие брали чужие взгляды на веру!

Еще великий богослов Квинт Септимий Тертуллиан, тот самый, который ввел понятие об ипостасях (лицах) триединого бога, одно из важнейших в христианстве, говорил, что вера не нуждается в рациональных доказательствах, что в бога потому и надобно слепо верить, что перед судом опыта и разума рассказы о божественных чудесах — совершенная нелепость. Искренний христианин и высокообразованный человек, Тертуллиан так и говорил: «верую, ибо нелепо!». И, не разделяя его веры в бога, я его понимаю. Но трудно понять веру в науку, трудно понять, когда верить зовут в рациональные суждения, в законы развития общества, когда верить зовут в Маркса. А сам-то Маркс на вопрос: «Ваш любимый девиз?» — отвечал: «Подвергай все сомнению!». Понятно, Маркс от своих открытий этим не отрекался, но показывал, что считает их плодом научного исследования, а не божественного откровения, то есть считает, что их можно разумом и опытом доказать, и нет нужды слепо в них верить.

Ленин относил к лучшим элементам нашего общества «элементы действительно просвещенные, за которых можно ручаться, что они ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести». «Ни слова не возьмут на веру»! А нам с тридцатых годов твердили, что надо уже не только в Маркса и Ленина верить, но и в Сталина, и в Жданова, и в Суслова, и в каждого идеологического начальника, которому почему-то все видней. Возражая Г. Егорову, я вовсе не хочу винить его в том, что он так и поступал, он не виновник, а жертва. Но ни Маркс, ни Ленин, не искали слепой веры. Они лишь хотели, чтобы их суждения доходили до людей, чтобы люди их учитывали, формируя свои взгляды. Вот, собственно, в чем коренное различие между Марксом и Лениным, с одной стороны, и Сталиным, Ждановым и Сусловым, с другой. Часто, хоть и не всегда, мы встречаем у тех и других вроде бы одинаковые положения, но для первых это научные положения, подлежащие подтверждению и уточнению практикой, могущие быть даже опровергнутыми, но опытом и исследованием, а не голым наскоком; для вторых же — это положения катехизиса, обсуждению не подлежащие, «Мы так Вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе» — писал талантливый поэт. И эта вера в товарища Сталина (иди товарища Хрущева, или товарища Брежнева), бо́льшая, чем в собственное разумение, — первая заповедь советского порядка. Перестройка не в том, чтобы заменить предмет веры, а в том, чтобы, внемя, разумеется, и чужим разумным суждениям, научиться думать собственной головой и признать право на это за каждым.

Это трудно дается. Вот и самое прогрессивное нынче издание, газета «Московские новости», осерчала на нашу попытку определить позицию солдата Ивана Чонкина, поскольку Чонкин, как там сказано, — не Карл Маркс, и ему, как там же объяснено, сподручнее с Нюрой да с бутылочкой. А спокон веку известно, что даже у Иванушки-дурачка есть свой взгляд на вещи, и не такой дурацкий, чтобы важным господам и философам к нему не прислушаться. И уж совсем неудачно

противопоставление Чонкина именно Марксу, который только при свободном развитии каждого и считал возможным реальное совершенствование общественного строя. Позиция так называемого «простого человека» отнюдь не сводится к вере в Иисуса, в Маркса или в местного начальника. Он и сам определяет свои отношения с миром, в котором живет, и общество зависит от его позиции, пусть выраженной не в абстрактных формулах, а в поступках или в бездействии, куда больше, чем иным кажется.

Мы то и дело наблюдаем, как один человек или группа людей говорят от имени всего народа, объявляя, что народ думает, что он любит и чего хочет. Люди все норовят говорить за других, между тем как народ становится все более многоликим и все меньше готов стричься под одну гребенку. Мудрый Чехов давно сказал: все мы — народ, и все лучшее, что мы делаем — есть дело народное. Оттого и должен звучать плюрализм мнений, что он существует в реальности, что плюралистично мнение народное.

Как же пользоваться теоретически признанным ныне правом этот плюрализм не таить? Порой его трактуют по китайскому образцу: пусть расцветают все цветы, чтобы стало ясно, какие из них надо немедленно вытоптать. Но в том-то и состоит главный урок минувшего, что вера в учреждения, владеющие истиной в последней инстанции и прозорливо вытаптывающие все с ней не согласующееся, никуда, кроме губительных тупиков и пропастей, не ведет. Китайцы поняли это раньше нас. Открытому плюрализму мнений надлежит составлять постоянную атмосферу общественной жизни. В этой атмосфере легче принимать правильные решения и исправлять неправильные.

Можно лишь радоваться, что у нас опять заговорили о Н. С. Хрущеве как инициаторе открытого разоблачения культа Сталина и в печати стали появляться воспоминания его соратников, близких и участников его встреч с интеллигенцией. Эти встречи, пожалуй, ярче всего показали, что великий разоблачитель Сталина был в то же время его продолжателем. Подавляя разнообразие мнений, Хрущев наносил удары преимущественно по тем, кто сочувствовал его борьбе против сталинизма. Он, видимо, надеялся, что, уступив своим противникам в идейной сфере, он возьмет реванш на практике, словно можно, как некоторые поныне верят, сперва накормить народ, а потом устанавливать демократию, словно демократия не затем, прежде всего, нужна, чтобы народ накормить.

Люди, видевшие, как Никита Сергеевич затыкает рты художникам и писателям, расстались с надеждой, что он стоит за демократию, и стали думать, что смысл его борьбы против культа Сталина лишь в борьбе с Молотовым и Маленковым за власть, хоть это, конечно, неверно. Так Хрущев создал предпосылки для своего верхушечного отстранения. Дело не только в том, что он, по словам сына, к семидесяти годам утомился. Человек незаурядного природного ума, Никита Сергеевич не мог не понимать, что оттолкнул от себя тех, кто откликнулся бы на его призыв о поддержке.

И ведь Брежнев тоже это понимал, и отнюдь не сразу с его приходом начался застой. Поначалу, напротив, на первом плане были деятели экономической реформы во главе с А. Н. Косыгиным. Атака на

литературу и искусство шла еще выборочно, суд над Синявским и Даниэлем продолжал начатое еще при Хрущеве судом над Бродским. Но еще печатались неведомые прежде замечательные сочинения, начиная с «Мастера и Маргариты», а «Новый мир» Твардовского, при всех трудностях, еще блистал публицистикой и критикой. Лишь 1968 год создал почву для быстрого укрощения художественной и научной мысли, и тут выяснилось, что атакуя некогда своих сторонников, Хрущев не только обусловил собственное падение, но и наперед подорвал возвращение к идеалам революции, которому искренне хотел служить, и оно отложилось еще на двадцать лет. Стоит поэтому подумать, за чем же дело стало.

Я совершенно иначе смотрю на вещи, нежели Владимир Бондаренко, но всецело поддерживаю его недавний призыв по примеру Испании «поставить общий памятник всем жертвам гражданской войны». Я тоже убежден, что «без этого мы не сдвинемся с места». Без этого мы не поймем, по-моему, что гражданская война лишь формально окончилась в 1921 году, а на деле возобновлялась и в 1929-м, и в 1937-м, и не раз потом. Речь не об одинаковой симпатии к вождю восставших на Тамбовщине Антонову, к подавившему восстание Тухачевскому и председателю суда над Тухачевским Ворошилову, а в том, чтобы осознать гражданскую войну после почти бескровной революции как трагедию, в которой и Антонов, и Тухачевский оказались жертвами.

Гражданская война оттого и принесла столько зла, что поддерживалась верой в возможность насильственно насажденного «единства» и стерильной общественной чистоты. Засоряющие элементы, которые все время приходилось устранять, изменялись — то это были эсеры (они руководили на Тамбовщине) и меньшевики, то наладившие хозяйство крестьяне, то старые большевики, штурмовавшие Зимний, то «буржуазные националисты», то попавшие в плен из-за просчетов командования солдаты, то «космополиты». Иным и поныне кажется, что если расстрелять еще сто-двести тысяч, то настанет, наконец, желанное всеобщее единство и единообразие. А давно бы пора понять, что единообразие в современном мире невозможно, а к единству ведет лишь взаимное согласие, обретаемое в диалогах. Вот и надо переходить от гражданской войны к гражданскому диалогу,

Этого призыва к диалогу мне и недостает у Владимира Бондаренко. Справедливо призывая дать слово самому народу, прислушаться к нему, Бондаренко, забыв мудрое чеховское «все мы — народ», наперед исключает из народа интеллигенцию и противопоставляет ему «произвол элитарной прессы». Но, помилуй бог, разве не народ подписывается на газеты и журналы, выражая этим свое отношение к ним, разве это не доказано массовым движением в защиту свободной подписки? Почему же журналы с большим тиражом объявляются «элитарными», а с меньшим «народными»? Разве три с лишним миллиона подписчиков на «Огонек», разве выросший в два раза тираж «Знамени» и в полтора «Дружбы народов», перевалившей уже за миллион, не свидетельствует, по крайней мере, о том, что

народ, если прислушаться к нему, заговорит и таким, хоть, конечно, и не только таким языком?

Нет, простите, и «Огонек», и «Наш современник», и «Новый мир» и «Московские новости», и «Советская Россия», и «Советская культура», и «Молодая гвардия», и «Знамя», и «Известия» и «Правда» — все это народные голоса. И еще далеко не все народные голоса слышны, могли бы возникнуть издания не только более крайние, чем «Московские новости», с одной стороны, и «Наш современник», с другой, могло бы возникнуть и гораздо больше изданий в промежутке между ними, и яснее стало бы, сколь нелепо деление на два «лагеря», не только упрощающее, но и камуфлирующее реальные проблемы, волнующие людей. «Лагерьей», если уж пользоваться этим словом, нынче никак не два, а много больше, но потому как раз им и стоит не сражаться насмерть, а в открытых дискуссиях, где слово предоставлено всем, учиться цивилизованному взаимодействию.

Потому и надо поставить примирительный памятник жертвам гражданской войны, что и привычное тогда деление на «красных» и «белых» упрощало реальность. Тамбовские крестьяне числились «белыми», они и впрямь восстали против Советской власти. Но разве они восстали против Декрета о земле, провозглашенного Октябрем, или против «строя цивилизованных кооператоров»? Нет, на их знамени стояло: «Долой продразверстку!». И ведь в ходе подавления восстания продразверстка на Тамбовщине отменялась и заменялась продналогом еще до того как Десятый съезд принял решение о замене продразверстки натуральным налогом! Вот и подумаем, отнюдь не идеализируя антоновщину, — а может быть, тамбовские крестьяне вовсе не против Советской власти воевали, а наоборот, подталкивали ее к тем разумным решениям, которые и принял Десятый съезд? И, может, стоит пожалеть, что у них не было другого способа подать свой голос?

Эта мысль неизбежно приходит за пониманием того, что истина не может быть целиком сосредоточена в одном месте у одного человека, и стоит слушать весь народ во всем его многообразии. Конечно, в грозные революционные годы, когда свежа была память о «неудобозабываемом тормозе» самодержавия, понять это было трудно, и не будем сегодня чересчур строго судить ни Антонова, ни Тухачевского (иное дело последующие мирные годы). Но сегодня-то можно бы уже понять, что нежелание слушать других и считаться с другими, провозглашая лишь себя одних выразителями воли народа, его совести и его интересов, как раз и чревато гражданской войной. Увы, этого Владимир Бондаренко удивительным образом словно бы и не видит. Так неужто ставить памятник жертвам былой гражданской войны он зовет лишь затем, чтобы начать новую? А ставить такой памятник, по-моему, непременно надо. Но, раз уж по примеру Испании, то именно ради признания народного многообразия и диалога.

Тут самое время вспомнить, что величайший наш писатель давно звал отказаться от насилия. Его призыв к непотворению злу насиллием часто трактуют как призыв к непотворению злу ради покорности ему. Но Толстой, написавший «Не могу молчать!», сам был примером сопротивления злу, стойкого, беззаветного сопротивления всеми

средствами, кроме насилия! А мы так и не набрались духу всенародно осудить Сумгаит как нечто недопустимое ни при каких обстоятельствах, сколь бы ни был сложен конфликт. О Сумгаите, если и говорят, то в одном ряду с массовыми митингами, демонстрациями и забастовками, хоть все они, как их ни оценивать, во всяком случае оставались ненасильственными, ни групповых изнасилований, ни расчленений тел изнасилованных там не было.

Гласность, естественно, влечет за собой открытие накопившихся за долгие годы конфликтов, национальных, социальных и всяких других, и если мы хотим, чтобы они не взрывались, а находили мирное разрешение, прежде всего надлежит неустанно призывать всех и каждого в любых противоречиях, на чьей бы стороне ни была правда, строго держаться принципа ненасилия, помня, что насилие, от кого бы оно ни исходило, — главный враг перестройки. Как лакмусовой бумажкой мы различаем отношение к перестройке по отношению к насилию.

Последователями Толстого, призывами которого мы пренебрегли, были и Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг. Ганди, долго именовавшийся у нас агентом британского империализма, привел Индию к независимости. Кинг, поначалу считавшийся у нас соглашателем, добился огромных успехов в преодолении расовых барьеров. Оба погибли от рук наемных убийц, но сами не убивали никого. Так может быть, пришло время отказаться от насилия и на родине Толстого? Для этого надо лишь всегда помнить, что и другие люди — люди, что ты не один на свете.

Конечно, у каждого, в том числе и у меня, свои раздумья о насущных проблемах, о том, что делать. Все мы хотим быть услышанными, и это правомерно. Но по-прежнему иные, свободно говоря свое, жаждут заткнуть рты остальным, опасаясь, что факты и доводы разума подорвут ведущую к культуре слепую веру, произрастающую из неведения и слишком долгой безгласности. Оттого-то я, дорогой Г. Егоров, хоть пишу правду, не жду, что мне поверят на слово. Я пишу, чтобы читатели задумались о написанном и проверили не только меня, но и самих себя, и вполне сознаю, что задуматься трудней и непривычней, чем поверить или не поверить.

ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ

Вроде бы признано, что главное зло нашей художественной жизни — групповщина. Правда, выяснить, что это такое, непросто. В Литературной энциклопедии и слова такого нет, в других тоже. Но словарь Ушакова еще в 1935 году, вскоре после возникновения групповщины, дал ей определение — «Засилье отдельной замкнутой группы в какой-нибудь области общественной жизни» — и дал пример словоупотребления: «Ликвидировать групповщину в литературе».

Да, именно засилье одних и оттесненность других, внелитературные действия против литераторов — главное зло нашей литературной жизни. Это засилье, понятно, всегда временное и создает потом нужду в возвращении читателю оттесненных прежде писателей. Но, удивительное дело, их посмертное появление на литературном Олимпе не ослабляет групповщину, и она действует с прежней бойкостью уже против других. И пора бы групповщину не только бранить, а задуматься, на чем она держится, отчего засилье немногих групп у нас так живуче.

Само собой, речь идет не о читательской любви, как всякая любовь, прихотливой и не тотчас достающейся достойным. Писарев, например, считал, что Фет «сказал в 1863 году последнее прости литературной славе, он сам отпел, сам похоронил ее и сам поставил над свежую могилу памятник, из-под которого покойница уже никогда не встанет». Критик уверял, что со временем стихи Фета употребят «для оклеивания комнат под обои и для завертывания сальных свечей, мещерского сыра и копченой рыбы». И, надо сказать, двухтомник, на который Писарев так отозвался, и за тридцать лет не распродали, то есть голос критика вполне совпал с мнением большинства читателей. Но Писарев не мешал Фету писать и печататься, не запрещал ему выходить на суд читателей. И не по наущению критика большинство их Фета тогда отвергло, даром, что среди меньшинства, высоко его ценившего при жизни, были Владимир Соловьев и Лев Толстой. Конечно, стоит помнить, что для пущего доказательства критик советовал читателям «переложить два-три хорошеньких стихотворения Фета... в прозу и прочесть таким образом». Но многие читатели и без подсказки поступали так, игнорируя художественную природу литературы, а с ней и художественное содержание. И в наши дни многие читают так же. Но справедлив читатель или нет, покамест всякий может предстать перед его судом, говорить о групповщине нет оснований.

Однако в наши дни возможности пишущих представлять перед читателем отнюдь не равны, а у многих просто отсутствуют. Стало общим местом обличать привилегии высокопоставленных писателей, возник даже броский термин «секретарская литература». Нередки и небескорыстные предпочтения, оказываемые писателям не столь именитым. Но будь беда лишь в недобросовестности одних и злонамеренности других, гласность помогла бы с групповщиной совладать. Между тем и при нынешних отрадных переменах она по-прежнему сильна. Групповые страсти даже ожесточились. И не сразу видно, как их одолеть.

Еще в 1981 году, популярный пародист Александр Иванов бестрепетно написал: «У нас благополучно работает и преуспевает множество стихотворцев, всю жизнь пишущих без единого проблеска». Храбрость Иванова понятна, он лицо заинтересованное. Если «отличить наших стихотворцев друг от друга, читая их, — задача почти безнадежная», то пародировать их невозможно, надо бросать специальность. И, сочтя причиной упадка поэзии чрезмерно легкий доступ к печатному станку, пародист на полном серьезе требовал поставить заслон: «Приговор опытных редакторов: "Это не поэзия" должен стать окончательным и не подлежащим обжалованию ни в каких инстанциях». Звучало вроде верно: не надо печатать плохого, надо печатать хорошее, не надо печатать графоманов, надо печатать истинных поэтов.

Что же между тем происходило с истинными поэтами? Оказывается, приговор опытных редакторов на них-то прежде всего и сказывался. Борис Слуцкий напечатал первую книгу стихов «Память» в 38 лет. Давид Самойлов напечатал первую книгу стихов «Ближние страны» в 38 лет. Олег Чухонцев напечатал «первую книгу стихов «Из трех тетрадей» в 38 лет. Намечается, как видим, некая закономерность: по ней Пушкин, умерший в 37, не дождался бы своей первой книги, а о Лермонтове и говорить нечего. А мы еще не помянули ни Арсения Тарковского, выпустившего первую книгу «Перед снегом» в 55 лет, ни Марию Петровых, замечательного русского поэта, выпустившего единственную прижизненную книгу стихов отнюдь не в России, а в Ереване в 60 лет. И ведь не подлежи редакторские приговоры обжалованию, мы не прочли бы перечисленных поэтов даже и с опозданием.

Велика же у нас уверенность в непогрешимости, если раздражает сама попытка обжалования, а запоздалый выход превосходных сочинений вызывает не радость, а упреки в некрофильстве. В других сферах жизни, в суде, например, просьба о пересмотре решения — дело обыкновенное. Специально предусмотрено право обжаловать приговор в городском суде, потом в Верховном, и к Генеральному прокурору можно обратиться с просьбой в порядке надзора, проверить, вполне ли законно велось дело. Юстиция не претендует на всезнайство, она считается с возможностью ошибки. В самые мрачные времена она, хотя бы теоретически, признавала такую возможность. И закон наперед стремится исправить возможную ошибку. А литература ничего не боится, словно литературе нечего терять.

Пожалуй, самым лучшим редактором на нашем веку был Твардовский. Но известно, что Твардовский, прочитав стихи Заболоцкого, не только не поспешил их опубликовать, но еще пригласил автора, чтобы пояснить, до чего стихи его плохи, и укоризненно выговорил: «Не молоденький, а все шутите». Уж, казалось бы, приговор такого человека и впрямь обжалованию не подлежит, а ведь ошибся Александр Трифонович, ошибся!

Приглашать Заболоцкого для поучения было с его стороны нехорошо. Но за самую ошибку винить его все же не стоит. Никакой, даже и лучший на свете редактор, и никто вообще не обязан и не способен в одинаковой мере понимать и принимать всякую поэзию.

Заболоцкий писал согласно своим понятиям о ней, Твардовский судил его по своим, и понятия обоих вполне правомерны, не зря их имена часто соседствуют в списках наших лучших поэтов. Сочтя обязательными вкусы Твардовского, мы потеряли бы не одного Заболоцкого. Когда обязательность обретают вкусы редакторов много меньшего масштаба, истинные поэты как раз и добиваются до первой книги в возрасте старше пушкинского, а пишущие всю жизнь без единого проблеска преуспевают. Эти несообразности неверно рассматривать врозь, они — два конца одной палки.

Сегодня в Ленинграде немало интересных поэтов, которых как-то даже и неловко называть молодыми: пушкинский возраст они давно перешагнули, а их первые книги нам все еще лишь сулят. Между тем известность Ольги Бешенковской, Елены Игнатовой, Виктора Кривулина, Елены Шварц и других давно вышла за пределы «Клуба 81», основанного известным критиком Ю. Андреевым. Я не утверждаю, что всякий лишенный права своевременно печатать стихи в родном городе непременно станет лауреатом Нобелевской премии и прославит отечественную поэзию. Но уразумеем, наконец, что исключение из литературного процесса одаренных людей наносит ущерб не только им персонально, но прежде всего самому этому процессу. Мало винить издательских чиновников, ставящих таланту палки в колеса. Пора сообразить, какой редактор способен вовремя улавливать поэтические открытия, поначалу, быть может, даже и небольшие. Да, разумеется, редактор-единомышленник! Но откуда ему наперед в издательстве взяться, если ни в Госкомиздате, ни в Союзе писателей нет покамест машины, безошибочно предрекающей, куда пойдет развитие литературы? Да и не в одном направлении оно идет.

Твардовский издавал прекрасный журнал, который займет почетнейшее место в истории советской литературы. Но Заболоцкому нужен был другой журнал, где его бы ценили, страшно вымолвить, выше Твардовского или, скажем, Марины Цветаевой, или Василия Федорова. Ему нужен был журнал единомышленников. Да, журнал группы единомышленников! Возможно, потомки сочли бы, что ставя Заболоцкого выше кого-то из названных поэтов, группа ошибалась, но они во всяком случае благодарили бы ее за то, что она помогла ему, не мешая другим, во время предстать современникам.

Преодолению групповщины, засилья немногих групп служат не заклинания, звучащие в изобилии, а реальное предоставление и другим группам равных возможностей выхода к читателю, то есть замена внелитературного, закулисного состязания состязанием сугубо литературным, гласным, публичным. Лишь на этой основе возможна действенная консолидация писательского Союза в делах, которые всех писателей объединяют. Конечно, не все участники групп и не все группы принесут подлинные ценности. Но их самовыявление позволит всех разглядеть и ничего ценного не упустить, не потерять.

Чтобы это стало возможным, важно не только вызволить наши немногочисленные издательства и журналы. (В пятимиллионном Ленинграде два журнала для взрослых и ни одного самостоятельного издательства художественной литературы) из-под власти группового радикализма. Надо и писательскому Союзу считаться с многообразием

литературы. Сегодня его организации знают лишь одно внутреннее деление: по жанровым секциям. У нас в Ленинграде «в порядке демократизации» даже закрепили каждого писателя за одним жанром, предоставив ему решающий голос лишь в одной секции, словно Пушкин не был равновелик в поэзии и прозе или Горький — в прозе и драматургии. Пора писателям объединяться внутри единого Союза по творческим склонностям, по литературным стремлениям. Это ведь все-таки союз, а не единое производство, где каждому место в своем цеху, у своего станка. Заболоцкий объединился бы не с Твардовским, а, скажем, с Зощенко или с Вагиновым, Введенским, Олейниковым, Хармсом, как это какое-то время и было. И сразу нашлись бы редакторы-единомышленники! Каждое писательское объединение могло бы издавать альманах или журнал, публикуя своих членов и близких по духу начинающих, и выпускать первые издания книг. А если существующим издательствам Союза писателей перестроить свою работу на пользу писателям не под силу, помогут кооперативные издательства.

В недавнем интервью («КО» № 44 1987 г.) председатель Госкомиздата СССР М. Ф. Ненашев сказал, что «в современных условиях кооперативные издательства создавать нецелесообразно»). Он ссылаясь на то, что количество бумаги и типографские мощности все равно ограничены, и лучше совершенствовать то, что есть, по примеру преобразования «Роман-газеты». Ну, что ж, может быть, издавать массовыми тиражами не макулатуру, а книги, впрямь пользующиеся спросом, Госкомиздат, перестроясь, сумеет. Но чтобы постоянно знать спрос, надо сперва расширять предложение, а мы, с гигантскими тиражами и ныне числясь среди могучих книжных держав, количеством названий похвастать не можем.

Литература начинается со скромного микротиражного выхода к читателю, и лишь потом некоторые издания нуждаются в миллионном тираже и не столь уж многие — в пятидесятитысячном, что тоже неплохо. Но сперва — предложение, сперва побольше названий, а в том-то все и дело, что, как показал многолетний опыт, наши издательские монополии не хотят и не могут обеспечить выход на суд читателя даже всем членам Союза писателей, не говоря уже о начинающих. Конечно, бумаги мало, типографий мало, но наши деды и в голодный год берегли зерно на семена. Неужто и этот опыт забыт? Кооперативные издательства или на худой конец небольшие самоуправляемые и самокупающиеся издательства и журналы, подчиненные лишь объединениям писателей разных литературных тенденций и течений, — это и есть практическое литературное семеноводство. А без него литературе не жить!

Само собой, и писатель должен при этом нести ответственность за свою работу, то есть его гонорар должен зависеть от того, окупилась ли книга и принесла ли доход. Конечно, читатель не всегда судит безошибочно, подчас не сразу опознает хорошую книгу. Поддержать талант, не имеющий публичного успеха, можно, а порой и должно премией, стипендией, ссудой, но не авторским гонораром — нелепо платить за книгу, если ее не берут.

О необходимости поставить гонорар в прямую зависимость от спроса уже писали и я, и другие. Пожалуй, четче всех — В. Солоухин в «Литературной газете». Он только, к сожалению, недостаточно резко подчеркнул, что возможность безгонорарных изданий должна быть так или иначе обеспечена всем литераторам. Сегодня у нас напечатать — означает одобрить. Но хороша книга или дурна, на деле выясняется не до, а после ее напечатания. Чтобы это выяснить, ее и надо напечатать, тогда книга будет иметь судьбу, покамест же судьбу у нас имеют рукописи.

Мы повторяем: «Искусство принадлежит народу», но редко вдумываемся в смысл этих прекрасных слов. А ведь он в том, что литературно-издательские организации и учреждения — лишь посредники меж писателем и читателем, и нужны, чтобы представить писателя на суд народа. Это не значит довериться стихии. Осмысленная тиражная политика при гибком определении цен на книги позволит издателям оказывать на читателей и направленное духовное воздействие. Возрастет и роль критики, если она станет жить по нормам, каких мы хотим для литературы. Но приговоры, и то не окончательные, вправе выносить лишь сам народ, читая книги с жадностью или оставляя их покрываться пылью.

Сетуя на обмеление литературы, вспомним, можно ли было в нее войти без «пробивного» характера, без умения «устанавливать контакты», без готовности ждать до 38-ми и дольше. Но рождаются поэты в каждом поколении, и если их вдруг недостает, сетовать надо не на генетические случайности. Просто ход к народному суду не должен быть перекрыт группоц дружинников. И работать суд должен не раз в тридцать лет, а повседневно, а то завалы будут множиться, а литература скудеть. Чтобы так не было, и нужна реальная перестройка издательского дела и писательского Союза.

ЧТО ПОЧЕМ?

Публикуя в журнале «Полиграфия» статью о ценообразовании, начальник Планово-экономического и финансового управления Госкомиздата, то есть, самый компетентный в экономике книжного дела человек, И. Столяров, признается: «В статье сознательно к ценам на книги не применяются понятия "низкая" или "высокая", так как это главным образом социальные, относительные категории; для одних одна и та же цена может быть высокой, для других — низкой. Здесь же речь идет об экономических основах цены, о том, насколько она отражает общественно необходимые затраты труда, качество, эффективность и спрос». Странно выглядит это противопоставление социального, то есть, по-русски, общественного, и экономического, тем более что сам И. Столяров тут же говорит об общественно необходимых затратах. Он честно подсчитывает затраты: вздорожала бумага, выросла зарплата издательских работников, дороже обходятся полиграфические работы, — выходит, должна и цена вырасти. Одно непонятно — почему любые затраты ведомства И. Столяров зовут общественно необходимыми.

Но нападать на И. Столярова не хочется. Он ведь не исключение среди наших теоретиков и практиков назначения цен. Если Энгельс объяснял, что «только благодаря колебаниям конкуренции, а тем самым и товарных цен, прокладывает себе путь закон стоимости товарного производства, и становится действительностью определение стоимости товара общественно необходимым рабочим временем», то нынче в интервью «Известиям» это объяснение отвергает даже такой толковый экономист, как В. Павлов, занимающий к тому же пост председателя Госкомцен.

Но и В. Павлова ругать не хочется. Он тоже лишь повторяет то, что давно твердили верившие, будто общественно необходимую стоимость можно по затратам просчитать в кабинете, без реальной конкуренции товаров и цен. И поскольку они в этом все еще уверены, на деле обсуждается не перестройка ценообразования, но лишь изменение цен. А это вещи разные. Административно повысить цены в централизованном монопольном хозяйстве — дело нехитрое, и на время это создаст видимость благополучия. Но на практике это лишь усилит инфляцию и подорвет доверие трудящихся к назревшим экономическим реформам, поскольку материальную ответственность за дела прежних политиков и хозяйственников свалят на население.

И. Столяров — не догматик, он даже сетует на «громоздкую недемократическую процедуру решения ценовых вопросов» и выступает за большую самостоятельность издательств. Но он нигде не говорит о цене на книгу, на «Все впереди» или на «Детей Арбата», но лишь о ценах на «виды литературы». Вот, дескать, повысим номинал по научно-популярной литературе с 3,4 копейки за лист до 4,4 копейки, и она из убыточной станет прибыльной!

Но люди покупают не «виды литературы», а конкретные книги, одну расхватывают, а другую, того же «вида» по той же цене, не берут. Конечно, можно сказать, что спрос на книги по истории вырос, а на поэзию упал. Но иные исторические книги валяются на прилавках, а

иной сборник стихов днем с огнем не сыскать. Читатель платит не просто за бумагу или печать, хоть за их качество готов порой приплатить, — тому, кто покупает книги именно для чтения, нужен конкретный текст, а не вообще какая-нибудь книга данного «вида». В 1976 году Лениздат выпустил тиражом в 200 000 сборник Ахматовой по цене 1 р. 56 к. На «черном» рынке цена на него установилась в 15 р. Разумнее, казалось бы, издательству самому назначить такую цену, чтобы книга хоть немного побыла на прилавке, да и доход пошел не спекулянтам, а в казну. Но это было бы «преступлением», нарушением тарифа на «вид литературы». И не в том зло, что тариф низок. Если его поднять, чтобы цена на Ахматову была 15 р., то подскочат цены на книги других поэтов, и при нынешних ценах не распродающиеся, а это разорит издательство и книготорг. Беда в том, что для Госкомиздата Ахматова или кто другой, как говорит народ, «без разницы». И это еще Ахматова, которую на худой конец особым распоряжением можно перевести в другой «вид», а ведь порой и никому не известный автор сочинит нечто обладающее гигантской стоимостью! К этому Госкомиздат не готов, а поправить ценообразование изменением тарифов, уже не раз производившимся, невозможно.

Трудно заподозрить И. Столярова в том, что он не сознает абсурдности такого порядка. Но, чтобы что-то в нем исправить, надо признать, что стоимость книги создает прежде всего труд ее автора и что эту стоимость не измерить подсчетами выплаченного ему гонорара. Выясняется она «только благодаря колебаниям конкуренции». Чтобы что-то тут предвидеть, а иначе разумно хозяйствовать невозможно, надо представлять себе разнообразие читательских интересов и соотнести с ним книгу, на которую устанавливают цену, то есть, сперва ее для этого прочесть. А это значит, что Госкомиздат, и, в частности, управление, возглавляемое И. Столяровым, не способны определять цены. Прочесть все выпускаемые книги сотрудники Госкомиздата не в силах, разве что увеличить штат в тысячу раз.

Не спасет, однако, и мнимая демократизация, отдающая установление цен существующим издательствам. Там книги читают, но ведь наши издательства монополисты. Если, скажем, книгу о балете можно издать лишь в «Искусстве», а оно вас на дух не переносит, надеяться вам не на что. И беда не только в том, что произволом двух-трех чиновников вы будете на долгие годы, а то и навсегда, отстранены от дела, которому посвятили жизнь. Главная беда в том, что, выбирая авторов по своему вкусу (не будем подозревать других причин для предпочтений), монополист пресекает публичное соревнование между пишущими.

О сломе монополии в книжном деле и речи нет, поскольку сам Госкомиздат — циклопическая сверхмонополия. В Ленинграде сегодня нет самостоятельных издательств, но есть отделения московских. Почему бы не сделать их самостоятельными? Да потому, что тогда они смогут конкурировать со вчерашними патронами! А так все в одних руках, и можно действовать без оглядки на спрос. Даже пятимиллионному Ленинграду не дозволено реальное соревнование с Москвой! Где уж надеяться на состязание внутри Ленинграда или

внутри Москвы. И поскольку конкуренции, которую Энгельс считал обязательной для определения общественно необходимой стоимости, нет, нет и возможности ориентироваться в мире цен.

Отсюда и укоренившееся неуважение, пренебрежительное отношение издательства к автору. А при конкуренции издательство вынуждено считаться с авторами, выпускать их малыми, пробными тиражами, пусть по высоким ценам, пусть сперва без гонорара или с грошовым гонораром, или даже в крайнем случае за счет самих (!) авторов, но предъявлять публике. При этом рынок насыщается названиями и можно по реальному спросу на реальные книги видеть, где стоит увеличить тираж, а где и снизить цену, чтобы получить доход, и какое издательство наперед обеспечило себе на это право. А многие книги, нужные специалистам, и при малом тираже себя оправдывают. Если же конкуренции нет, можно вести дело спустя рукава или сосредоточиться на немногих книгах, имеющих миллионный спрос, не заботясь о завтрашнем дне литературы, науки и книготорговли.

Будем откровенны: первая причина ненормального ценообразования в игнорировании природы товарно-денежных отношений. Издательское дело тут разделяет судьбу всякого другого нашего производства. Многие экономисты поныне исходят из предположения Маркса, что после революции и установления коммунизма товарно-денежные отношения отомрут. Но нельзя все же отвлекаться от того, что, хоть революция и произошла, но реальность сложилась совсем иная. В уже цитированном интервью председатель Госкомцен В. Павлов справедливо отметил, что в нашем хозяйстве «потребительский эффект никто не считал» и «требовалось только постоянно держать курс на заниженность цен на ресурсы, в том числе и трудовые, что в свою очередь достигалось низкой оплатой труда». Можно добавить, что этим курсом на заниженность цен реальная стоимость ресурсов, в том числе трудовых, и, в частности, их воспроизводства, отнюдь не снижалась, а это значит, что страна, прельщенная мнимой дешевизной бесчисленных трат, заплатила за прожитое время не так дешево, как изображают, а втридорога, еще тогда израсходовав завтрашние, то есть уже и сегодняшние, ресурсы, чем в большой мере и обусловлены наши нынешние трудности.

У абсолютной монополии, не знающей экономического соревнования, по самой ее природе нет экономических стимулов для приближения цены к общественно необходимым затратам, как и к повышению производительности труда. Это делается лишь по сугубо идейным побуждениям и потому волевым путем, часто ведущим к ошибкам. Не связанная обратным действием потребительского эффекта, абсолютная монополия не в состоянии экономически поддерживать даже технологически ей доступный уровень качества. Характерно, что там, где, на особо необходимые обществу товары устанавливаются цены ниже себестоимости, для чего производство берет огромные государственные дотации, качество таких товаров тем не менее неуклонно снижается, постепенно приближаясь к установленной на них цене.

Все это в полной мере относится к книжному делу. Когда прикидываешь, сколько книг издано за годы Советской власти, сперва

даже трудно понять, откуда у нас острый дефицит нужных книг. Но ведь значительная часть изданных книг попала чуть ли не в 400 тысяч библиотек, где добрая их половина никаким спросом не пользуется. Отчего же так? Да оттого, что формирование библиотек идет так же монопольно-централизованно, как издание книг, и взаимодействие двух могучих монополий позволяет печатать книги, не учитывая потребительского эффекта. Обе монополии легко обходятся чисто номинальными ценами, не отражающими действительной стоимости книг, — ведь речь идет лишь о перекладывании средств из одного государственного кармана в другой, а в издательствах и библиотеках от того, что государственные средства выброшены на ветер, никому убытка нет. Между тем издательская деятельность без потребительского эффекта, издание сотен миллионов книг лишь для того, чтобы они покрывались пылью, усугубляет, поскольку ресурсы Госкомиздата не беспредельны, дефицит **нужных** книг и взвинчивает на них цены. А это уже ведет к новым, особым функциям книги в нашей экономике.

Известный экономист О. Лацис поделился недавно в журнале «Знамя» любопытнейшими наблюдениями за переменами на книжном рынке. Он показал, в частности, что платежеспособный спрос на книги возрос по сравнению с послевоенным временем не больше не меньше как в 55 раз! О. Лацис справедливо пишет, что объяснить этот фантастический рост ни покупкой книг для украшения интерьеров, ни деятельностью спекулянтов, ни пренебрежением читателей библиотеками невозможно. Но невозможно объяснить его и увеличением в стране числа лиц со средним образованием, и ростом числа отдельных квартир, и даже самим по себе ростом заработной платы, меняющим, конечно, структуру потребления. Эти факторы, конечно, могли повысить спрос на книгу, но не в пятьдесят пять же раз!

Думается, причины происходящего на книжном рынке в большой мере таятся за его пределами. Фантастический рост платежеспособного спроса на книги неотделим от общего роста платежеспособного спроса, наличия у населения избытка свободных денег, которые невозможно «отovarить». И тут книга привлекает уже не только своими потребительскими свойствами, уже не только текстом самим по себе, а тем, что она становится средством страховки от инфляции, способом накопления богатства. В букинистических магазинах некоторые книги, вышедшие после войны и даже в шестидесятые годы, продаются по ценам чуть не в десять раз выше номинала. Не будем уж поминать «черный» рынок, подлинную букинистику и антиквариат. Книга в шкафу не портится, а возрастает в цене, и в любой миг ее можно превратить обратно в деньги. Есть ли на нашем рынке другой подобный товар? Увы, автомобили стареют и ржавеют, меха гниют, посуда бьется, а покупные цены на золото и драгоценности несообразны с продажными, да и операции с ними вызывают подозрение. То ли дело книга — надежный, интеллигентный и безопасный способ хранения и наращивания богатства. Вот он откуда, книжный фетишизм, подобный былому золотому фетишизму!

Когда в свободной продаже появятся необходимые гражданам товары, и, в частности, товары, способные тоже выступать в роли

законного сокровища, — жилые дома, кооперативные квартиры и т. п., спрос на книгу, вопреки распространенному мнению, не еще больше вырастет, а начнет сокращаться. Простым увеличением цен ради того, чтобы уравновесить спрос на надежное помещение денег, книжный фетишизм не преодолеть. И ведь ради этой смутной надежды придется лишить миллионы людей возможности читать. Но отчасти улучшить положение уже сегодня можно коренной перестройкой всех участков книжного дела.

Необходимо прежде всего радикально изменить систему комплектования библиотек, чтобы за вычетом определенного числа публичных и специальных научных библиотек библиотечные фонды формировались сообразно с читательским спросом, а не волевым путем. Для этого, пожалуй, верней всего образовать при библиотеках выборные советы читателей, обеспечивающие повседневный контроль за комплектованием. Библиотекам следует также дать право по решению совета возвращать Госкомиздату на компенсационной основе навязанный им и не востребуемый читателями балласт.

Надо резко увеличить сеть небольших самокупающихся издательств, государственных, кооперативных и принадлежащих общественным организациям, предоставив им конкурировать друг с другом. Надо разрешить таким издательствам за счет валютных поступлений от продажи прав на издание советских книг за рубежом приобретать там простое в обслуживании современное полиграфическое оборудование и бумагу. Надо ввести в практику подвижные, индивидуальные для каждой книги цены, позволяющие, пользуясь взаимозависимостью цены и тиража, маневрировать на книжном рынке товарными вкладами во имя равновесия спроса и предложения.

Надо резко увеличить число малотиражных первых изданий, как по ценам, диктуемым спросом, так и на началах самокупаемости за счет издательств, субсидирующих организаций или авторов, **видя в малотиражных изданиях основу всего книжного дела**, — и будущих массовых изданий (от десятков тысяч до миллионов), и выполнения определенными книгами, в том числе малотиражными, роли «сокровища». Авторский гонорар и при малом, если автор не отказался от гонорара по договору, и тем более при массовом тираже должен выплачиваться в размере установленного процента от цены каждой проданной книги. (За русские книги достаточно 10%, за книги на языках малочисленных народов платить надо больше.)

О. Лацис, заговорив о состоянии книжного рынка, напомнил экономистам Госкомиздата, начиная с И. Столярова, что «общественно необходимые затраты не имеют отношения ни к каким фактическим затратам... Это признанная обществом в лице покупателя предельно приемлемая норма, выявляемая рынком». Ее-то и надо иметь в виду! Издательское дело, и нынче в целом приносящее гигантские прибыли, от получения их за счет общего роста платежеспособного спроса, своего монопольного положения и ущемления прав авторов, должно перейти к получению доходов за счет чуткого удовлетворения потребностей читателя, то есть расширенного предложения названий и ориентации массовых тиражей по спросу — все это в условиях

непрерывного экономического соревнования, побуждающего не повышать цены, а сокращать производственные расходы. Тогда-то и совершится переход от ценозначения к ценообразованию, цены станут настоящими, и пропадет нужда обсуждать в общей форме, какими цены должны быть. Тогда, особенно когда рынок насытится и другими товарами, цены на книги перестанут стремительно расти, а иные даже упадут. Для этого не так нужно еще больше бумаги и еще больше полиграфических мощностей (хотя они и нужны), как пересмотр принципов книжного дела и его радикальная перестройка.

КРУГИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Еще в начале XVII века великий англичанин Гарвей разработал учение о кровообращении. У млекопитающих и, в частности, в человеческом организме, существует два круга кровообращения. Один — малый, кровь идет по нему из правого желудочка к легким, где набирается кислорода, который понесет к органам и тканям, и возвращается в левое предсердие. Другой — большой, по нему кровь из левого желудочка устремляется в самые дальние углы организма, питает его, отдает ему кислород, и, оскудев, возвращается в правое предсердие, чтобы снова устремиться к легким. Малый круг подпирает жизнь большого и смысл его существования.

Совершенно так же малые круги культуры, их регулярное функционирование, поддерживают жизнь народов и государств. Закройте научные лаборатории, прекратите издание специальных журналов или хотя бы уничтожьте в них атмосферу научной дискуссии, и промышленность и даже сельское хозяйство мало-помалу придут к пагубным итогам. Не один уже раз мы убеждались в этом на практике. Однако по-прежнему велик соблазн обойтись одной левой половиной «общественного сердца», одним большим кругом культурного кровообращения. Что немедленно в него не вошло, выпадает из жизни общества, в лучшем случае, пребывает в пасынках.

Этот «левый загиб» тормозит развитие культуры, науки и особенно литературы и искусства. Он — первопричина того, что шедевры зачастую приходят к нам из небытия, куда они отброшены современниками, дорожившими лишь большим кругом и уничтожавшими малый.

В живой природе одним кругом кровообращения довольствуются примитивные существа. Обходятся им и самые простые, начальные формы культуры. Но по мере ее развития и профессионализации, по мере технического совершенствования средств ее распространения, обществу, пренебрегающему малым кругом, приходится спохватываться — а не рубит ли оно сук, на котором сидит?

Мы, впрочем, еще не спохватились, нам все еще кажется, что просто надо лучше управлять большим кругом. Государство решает за нас, что нам нужно, и, не спрашивая, что мы купим, определяет, что производить. Так мы дошли до кризиса и ныне еще только начинаем осознавать, что и при социализме состояние хозяйства определяется не просто доброй или злой волей начальников, министров культуры и руководителей творческих союзов, которых мы сладострастно браним, заменяя новыми, чтобы их бранить в следующий раз.

Литература и искусство, обретя в XX веке широкий спрос, стали областью экономики, и художественные проблемы ныне связаны с экономическими одной веревочкой. Особенно мучительна эта связь, когда художественное хозяйство движется по одному единственному и замкнутому кругу.

Искусство, как и промышленность, и сельское хозяйство, и наука, полвека подвергалось административно-командному руководству. Величайшему композитору эпохи для начала было сказано, что у него «сумбур вместо музыки». Суждение это потом пересмотрели и

компенсировали избытком почетных званий и наград на старости лет. Однако все то же самое продолжалось с новыми поколениями. Когда-то Шостакович, потом Шнитке или Денисов, а теперь, когда и они вроде признаны, подозрительными кажутся новые создатели «сумбура». Никто ведь и впрямь наперед не знает, который из них — голос эпохи. Выяснить это явно не под силу никакой специально созданной на это организации — Министерству, Комитету или Отделу. Определить ценность художественного произведения может, конечно, лишь народ.

Но опять незадача, — разве народ оценивает искусство по достоинству немедленно и мгновенно? Разве до поры и музыка Шостаковича не исполнялась в полупустых залах? Разве наполнению и переполнению залов в других случаях не способствуют привходящие обстоятельства и даже несправедливые гонения, побуждающие посещением концерта выразить солидарность с гонимым, подчас великим, а подчас и скромным музыкантом? Как диктатура чиновничества, ее нелепые запреты и незаслуженные премии, так и диктатура рынка, развитию литературы и искусства не помогают. Они, хоть и совсем по-разному, делают одно дело: поощряют сиюминутное.

Между тем никакой беды в том, что оперу гения незаслуженно охаяли, строго говоря, нет. Раз уж возникло такое суждение, отчего не быть ему высказанным? Разве вождь мирового пролетариата обязан быть еще и тонким ценителем музыки? Беда была в том, что любое суждение вождя становилось абсолютным, всеобщим, и не оставляло места для иных, да еще влекло за собой поспешные оргвыводы: оперу изъяли из обращения на двадцать лет.

А ведь в Большом театре немногим более двух тысяч мест, и если бы новая опера шла, как обыкновенно бывает, три раза в месяц, ее за десятимесячный сезон услышало бы, буде зал заполнялся, тысяч шестьдесят, что даже для одной Москвы — капля в море. Чтобы спектакль увидел миллион — цифра тоже не столь циклоническая для нашей огромной страны, — он должен бы продержаться в репертуаре с начальной частотой исполнения лет двадцать.

Я нарочно взял для примера Большой театр, чтобы ясней было, что спектакли крохотных драматических театров, каких в Москве или Ленинграде могут быть сотни, посещало бы совсем уже небольшое число людей, а ведь и там испытывалось бы большое искусство, рождались незаурядные актеры, пробовали себя новые режиссеры. Но в том-то опять же дело, что новую оперу и не считалось нужным подвергать публичному испытанию. Мнение народное выражали вовсе не толпы зрителей и слушателей, не те, кому искусство необходимо, а один-единственный человек — великий вождь.

Ну и что? — скажет читатель. — Ведь после смерти Сталина, через те же двадцать лет, наши театры один за другим стали ставить «Катерину Измайлову», и Большой — тоже! Так-то оно так, да не совсем. Проживи опера эти двадцать лет не в безгласности, а хотя бы в одном театре, пусть даже не дорастая до триумфа, она бы побуждала слушателя к иному, чем принятое тогда, пониманию оперного жанра, она и композитора поощряла бы работать дальше, развивая это понимание, — а ведь Шостакович больше опер не писал, хоть но дарованию был, пожалуй, прежде всего оперным

композитором, и это ощутимо в его симфониях. Наконец, новые музыканты то ли продолжили бы начатое Шостаковичем, то ли стали бы с ним спорить, и «Катерина Измайлова» явилась бы катализатором оперного театра, стимулом к его развитию. Воскрешением через двадцать лет этого не воротишь. Упущены годы и для оперного творчества, и для его восприятия, и для всей художественной культуры, — выросло два поколения без нее.

Остановка в развитии не проходит бесследно. В предвоенные годы в Большом были прекрасные голоса, хорошие голоса появились и в наше время, а с оперой все равно худо. Уже на наших глазах из Большого вытеснили Б.А. Покровского, уходили дирижеры, теперь и певцы уходят. Мы сетуем на беспорядок, браним директоров и министров, возмущаемся, что бездарности дают директивы талантам. Но первопричина забыта, а она в убеждении, что ответственный товарищ, — не в том суть, будет ли это Сталин или секретарь партбюро труппы, — вправе своими указаниями определять пути развития искусства и давать ему окончательную оценку. Лишь бы ответственный товарищ был человеком честным, образованным, обладал хорошим вкусом, терпимостью и другими достоинствами. Кажется, что этого достаточно. Большинство в это верит.

Так мы живем поныне. Хоть большой круг, благодаря телевидению и радио, стал воистину большим, хоть фильм, спектакль или стихи, вышедшие в эфир, становятся известны десяткам миллионов разом, мы все еще рассматриваем театральное представление в подвальчике или книгу стихов, изданную крохотным тиражом, как осваиваемые всем народом. И придирчиво вглядываемся, как их появление отразится на идейном мире почти трехсотмиллионного населения, на духовном облике современника, дотоле пребывающего, видимо, в стерильной чистоте. А они-то появляются в малом кругу, и реальные проблемы духовной жизни народа зависят, не говоря о его бытии, от того, что перейдет из малого круга в большой и, конечно, от того, что проникнет в большой круг, минуя малый. Но никто не задумывается о природе и смысле этого перехода, поскольку считается, что двух кругов художественного кровообращения у нас как бы и нет.

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется» — вот первый закон искусства. Наша художественная жизнь держится на противоположном убеждении и, соответственно, на предсказаниях. Только люди, ими занятые, именуется почему-то не гадалками, а редакторами, или инспекторами, или инструкторами. Исходя из своих гаданий, как бы заменяющих собой малый круг, они по своему усмотрению допускают или не допускают сочинения сразу в большой, как правило, их при этом совершенствуя. Гадалки и без всякого Сталина решают, где музыка, а где «сумбур вместо музыки». Они-то и заказывают музыку.

А кто заказывает музыку, тот за нее и платит. Наш единственный и всеобщий спонсор, государство, рассматривая свои расходы на культуру в ряду других, конечно, сообразило, что сокращение расходов на культуру скажется не столь быстро, как сокращение расходов на оплату пожарных. Так родился пресловутый «остаточный» принцип, и сколь бы страстно мы его сегодня ни бранили, у меня не повернется

язык сказать, что новый театр нашему городу нужней, чем новая водопроводная станция, о которой говорят годами, а все еще не строят, хоть вода в Неве все грязней и все опасней для наших жизней.

Плохо не то, что искусству остаются объедки. Покамест оно не отделилось от государства и живет его подаянными, «спускаемыми средствами», иначе и быть не может. Плох сам по себе принцип государственной благотворительности. Благотворительность в трудную минуту, которая тянется у нас с тридцатых годов, вполне естественно сокращать. Оттого и число театров в стране уменьшилось в полтора раза. Оттого-то даже в Ленинграде выставочных залов и симфонических оркестров явно недостает, число журналов и газет для пятимиллионного города смехотворно, а самостоятельное издательство вообще одно-единственное — это партийное издательство «Лениздат», в котором художественная литература заведомо не должна занимать главное место. Надо ли удивляться, что великий город все более провинциален. Может быть, защита памятников архитектуры оттого и приняла у нас столь острый характер, что они — едва ли не единственное, что уцелело от былого величия?

Но ведь искусство-то ныне вовсе не нуждается в благотворительности. Себе на жизнь оно зарабатывает, ему бы только наладить семенное хозяйство. Сосчитав огромные доходы кинопромышленности, издательского дела, телевидения и радио (включая продажу аппаратуры по завышенным ценам), получаемые государством, мы поймем, что лишь небольшая их часть возвращается искусству и литературе в виде субсидий. Оттого они и нищенствуют.

В современном обществе искусство в целом самоокупается. Так и должно быть. Но это не значит, что должно окупаться каждое художественное сочинение, да еще немедленно. Между тем искусство и литературу, как бы в борьбе с администрированием, переводят на хозрасчет, и требуют полной окупаемости. А в результате невежественный администратор чувствует себя гораздо прочней и уверенней, чем прежде. Да еще бурно растут цены на книги, на театральные и концертные билеты, растет плата за вход в музеи и на выставки, и далеко не всегда этот рост оправдан.

Даже там, где цены определяются реальными затратами (нередко они берутся, вообще, с потолка), сами затраты нельзя назвать общественно-необходимыми. Таковыми они оказываются лишь в том случае, если на предлагаемую продукцию есть общественная потребность, иначе говоря, если общество готово платить по назначенной цене. Но у нас государство само платит за то, что само и производит и само заказывает, то есть, не существует механизма для объективного определения общественно-необходимых затрат. Они подсчитываются чисто бюрократически, почему хозяйство наше и носит затратный характер, и на искусстве, в оценке которого объективные суждения особенно трудны, это сказывается пагубнее всего.

В избытке тиражируются сочинения, на которые нет реального спроса, и в то же время недостает сочинений, спрос на которые есть. Книжное дело в целом явно прибыльно и способно быть еще прибыльней. Но книги приобретают не только частные лица, а и казенные библиотеки, которых в стране 400 000, и каждая может взять

по два-три экземпляра, тем более, что книги они получают через коллектор, нередко в виде обязательной разверстки. При этом оборачиваемость книг в библиотеках крайне низка, и 30-50% в течение года не востребуются ни разу. Если суммировать стоимость невостребуемых книг и прибавить к ней стоимость книг, востребованных за год один-два раза, то есть по масштабам индивидуального владения, и вычесть эту сумму из доходов Госкомиздата, боюсь, бюджет его затрещит, и прибыльность его обнаружит свой отчасти мифологический характер. А ведь за этот миф государство платит наличными, не говоря уже о напрасной растрате бумаги и типографских мощностей, способных давать реальную прибыль.

У государственно-монополистической издательской фирмы есть и другое могучее средство искусственного завышения своих доходов. Переплачивая авторам книг, не пользующихся спросом, издательства регулярно недоплачивают тем, чьи книги хорошо расходятся и приносят реальный доход: ведь по существующим инструкциям с ростом тиражей оплата у нас, вопреки здравому смыслу, снижается! Возможно иные граждане, бдительно пекущиеся о том, чтобы кто-нибудь, даже и самым честным трудом, не заработал слишком много, сочтут недопустимым, чтобы популярный писатель за книгу стоимостью, допустим, в два рубля, разошедшуюся миллионным тиражом, получил обычные во всем мире десять процентов от цены каждого проданного экземпляра, то есть двести тысяч. Но если даже согласиться, что такой заработок непомерен, то прогрессивный налог (понятно, справедливый, учитывающий, что жить на этот заработок писателю придется несколько лет, — не такой, какой хотели наложить на кооператоров), мог бы ощутимо уменьшить личные доходы преуспевающего писателя. Пусть значительная часть этих денег уйдет в доход государства, пусть их передадут Министерству здравоохранения, но ныне-то они идут на субсидирование принудительно приобретающих макулатуру библиотек или остаются в Госкомиздате, покрывая его убытки от выпуска огромными тиражами книг, которые не расходятся. Недоплачивают вроде бы частным лицам, писателям, а ограбленным оказывается государство.

Ответственные сотрудники Госкомиздата уверяют, что их цель — «максимальная доступность книги в смысле цены», но, не говоря уже о непрекращающемся росте номинальных цен, даже и остающаяся доступной «в смысле цены» книга сплошь и рядом остается недоступной «в смысле ее приобретения», купить ее практически невозможно, и, стало быть, цена ее имеет значение лишь для допускаемых к особым прилавкам, тем более, что она бешено растет на черном рынке.

Весь этот искусственный «хозрасчет» и, особенно, массовый выпуск спихиваемой в библиотеки макулатуры, освобождает Госкомиздат и подчиненные ему издательства от необходимости заботиться о новых книгах, которые могли бы иметь успех. Успех и без них обеспечен. Книжное хозяйство устроено так, что в новых книгах, по существу, не нуждается.

Совершенно так же не нуждаются в новых спектаклях Большой или Кировский театры. Они обречены на успех, тем более, что значительная часть мест продается иностранцам, и советскому человеку туда часто просто не попасть. Борьбаться за зрителя этим театрам не нужно. Надо ли удивляться, что это сказывается и на спектаклях, и на актерах?

На первый взгляд, положение в книжном деле и в музыкальных театрах совсем разное, почти противоположное. Одно, хотя бы по видимости, приносит прибыль, другие — явно живут дотацией, лишь отчасти компенсируемой даже валютными поступлениями, то есть работают в убыток. Но и прибыль, и убыток тут чисто бумажные, номинальные; существенно же то, что наши художественные фабрики, будет ли это крупное издательство или Кировский театр, фактически не зависят от художественной реальности. Читатели и зрители им гарантированы, а, стало быть, нет нужды искать ни талантливых авторов, ни талантливых исполнителей. Опасности художественного провала и финансового краха практически не существует.

Сложилась нигде в мире не имеющая подобия, система художественной жизни: между производителями и потребителями искусства расположился могучий монопольный механизм, имеющий возможность пренебрегать интересами и тех и других одновременно. Чтобы возродилась реальная художественная жизнь, нужно избавиться от этой давящей культуры монопольной хозяйственной или, точнее, бесхозяйственной машины. Корень зла в ней.

Невзгоды литературы и искусства нередко сводят к строгости цензуры, уверяя, что нынешняя гласность сама по себе приведет чуть ли не к новому Возрождению. Но сколь ни огромен ущерб от сверхбдительных запретов, надо все-таки сознавать, что десятки тысяч сочинений, без движения лежащих в библиотеках, напечатаны столь огромными тиражами отнюдь не по воле Главлита. Тут нужна полная ясность. Изобилие низкопробной литературы, музыки, театра, вскормлено государственной благотворительностью, никак не ориентированной на спрос и реальные ценности культуры, да еще уверенностью руководителей художественной промышленности, что и самый спрос на литературу и искусство практически безграничен. Такими доводами нас хотят убедить, что ведомства в неудовлетворенности спроса не виноваты. Но уже подписки прошлого и текущего года, прошедшие в итоге без ограничений, дали ориентиры для оценки читательского спроса. К примеру, тираж «Нового мира», объявившего об издании наделавшего большой шум романа Пастернака «Доктор Живаго», подскочил с 500 000 до 1 150 000, то есть прибавил 650 000, и это при чудовищном ажиотаже и умеренной цене.

Сегодня Госкомиздат обещает насытить рынок, сократив число названий, по которому мы и так отстаем от сопоставимых с нами цивилизованных стран, и резко увеличив тиражи «полюбившегося народу». Но увеличивать тиражи пользующегося спросом надо за счет сокращения непомерных тиражей спросом не пользующегося, а не малотиражных изданий, число которых как раз надо увеличить.

На деле и спрос на книги, и потребность в театрах, концертах, художественных выставках, вполне исчислимы, если считать исходя из того, что есть. А для этого надо видеть художественную реальность, на которую никто не глядит, и не тешить себя фантомами! Малый круг, арена публичного испытания, на то в сущности и нужен, чтобы и производители, и потребители искусства опознавали непредсказуемое и непредугадываемое. Здесь проступает и собственный вкус художника, и первый непосредственный отклик. Жизненно необходимая искусству свобода, это как раз и есть, прежде всего, свобода выхода в малый круг, то есть микротиражные публикации, спектакли и выставки в малых залах.

А печатают тех, кого знают, с кем хорошо знакомы, и в это число не входит большинство членов Союза писателей, для которых выход книги обычно сопряжен с мучительной борьбой за право ее издать. Но если поэзия — «езда в незнаемое», надо бы узнавать побольше тех, кого мы не знаем. Как же иначе их узнать, если не всматриваясь в «самотек» на людях? Само собой, истинная поэзия при этом всплывет лишь изредка. Но ведь лишь изредка всплывает она и в изданиях, многократно проверенных редакторами и рецензентами!

Малотиражные, микротиражные первые издания всегда и всюду в мире составляли, составляют и должны, конечно, составлять базис книжного дела. Но при существующих ценовых нормативах, зачастую, правда, искусственных, они почти всегда убыточны и требуют дотаций. И все же микротиражная безгонорарная книга на русском языке имеет большие шансы окупиться за счет более высокой цены и более длительных сроков продажи. Да и начальную цену можно снизить, если издание субсидирует какой-либо фонд, творческий союз или сам автор. Однако чем выше возрастает тираж, тем меньшую, при соответствующем балансе спроса и предложения, можно назначать цену, получая все возрастающий доход. За рубежом массовые тиражи, которые там к тому же много меньше наших, позволяют платить за книгу, пользуясь спросом, как за две-три пачки сигарет.

Публичность отбора сама по себе не гарантирует абсолютной его безупречности, хоть в целом он, конечно, справедливее и точнее, чем закрытый. И все же главное его преимущество в другом: все сочинения публике доступны и подлинные ценности могут дожить до поры, пока их признают таковыми. Не стоит принимать за чистую монету популярный булгаковский сарказм «Рукописи не горят!». Еще как горят, и сколько их сгорело! А диктат сиюминутности, все равно коммерческой или административной, не обнадеживает.

Нынче стихи Фета, при его жизни нужные очень немногим, выпускают огромными тиражами, которые тут же раскупаются. Как же не радоваться, что в свое время они все же вышли в свет, хоть тогда и уверяли, что пригодятся они лишь «для оклеивания комнат под обои и для завертывания сальных свечей, мешчерского сыра и копченой рыбы». Они завоевали читателя отчасти потому, что не настаивали на том, чтобы завоевать его немедленно, а отсутствующее ныне право ждать справедливого суда потомков было общепризнанным.

Сегодня к нам приходит множество сочинений, которые могли бы выйти в свет тридцать, а то и пятьдесят лет назад, и далеко не всегда

этому мешали политические мотивы. Но долговременное отлучение от публики не проходит для художника бесследно. Систематическая невозможность своевременной публикации убивает писателя, ведет к его самоотравлению, — не случайно писавшие «в стол» написали все же много меньше писавших для печати. Однако и для народа все это не проходит бесследно, и дурной вкус, на который потом сами же гадалки сетуют, не в последнюю очередь растет из недоступности образцов хорошего вкуса, и давнего, и современного.

Малый круг не только помогает спасти и поддержать все стоящее, что возникает в литературе и искусстве. Он помогает всякий раз заглянуть в лицо читателю, зрителю, слушателю, и считаться с ним, формируя большой круг художественного кровообращения. Если малый круг жив прежде всего стихией, которой надо обеспечить простор для самовыявления, то большой гораздо лучше поддастся осмысленному воздействию, если, понятно, оно опирается на опыт малого, на доступное каждому знакомство с не принятым к массовому распространению, — тогда ошибки могут быть оспорены и быстро исправлены. На худой конец, недооцененные сочинения продолжат какое-то время существование лишь в малом кругу. Но для самовыражения у авторов не будет нужды в пробивной силе, почитаемой ныне неременной стороной дарования и зачастую вытесняющей все другие его стороны, отчего вместо состязания талантов у нас имеет место главным образом состязание пробивных сил. В конце концов, всегда остается возможность поддержать авторов сочинений, представляющихся кому-то ценными, но не пользующихся спросом, — премиями, стипендиями, субсидиями, но не теми непомерными дотациями на нечитаемые тиражи, никого не интересующие парадные картины и непосещаемые спектакли, без которых выплатить их создателям крупные суммы ныне считается все же неудобным. А ведь сколько бы сэкономили бумаги и прочего!

Ныне утешаются осуждением и впрямь пагубной административно-командной методы и возлагают надежды на хозрасчет, рынок, конкуренцию. Но какое же преодоление монополии, какая конкуренция, если все издательства подчинены Госкомиздату, все театры и киностудии — Министерству культуры? Централизация художественной деятельности абсурдна уже по той простой причине, что эта деятельность носит индивидуальный или групповой характер, и плоды ее тоже никак не должны быть обязательными для потребления всеми гражданами, даже имея в виду массовую продукцию большого круга и, тем более, опыты малого.

Однако при общем поощрении кооперативного движения, стремление создать кооперативные издательства вызвало бурю. Они уже запрещены специальным распоряжением Совета Министров. Говорят, издательские кооперативы не прибавят, дескать, ни типографий, ни бумаги. Но ведь и от арендного подряда земли не прибавится, и мы надеемся лишь на более разумное, более чуткое к спросу пользование ею.

Говорят еще, что кооперативные издательства усилят групповой диктат. Но так вышло бы, открой мы лишь один-два кооператива, дай кому-то привилегию на это, а как раз то, что их сможет создавать

любая группа писателей, начисто снимет ущерб от групповщины, вскормленной и гнездящейся именно в монопольных государственных издательствах. Я не раз писал, что лучшим противоядием от групповщины, то есть закулисного внелитературного состязания, станет публичное литературное состязание и, как его предпосылка, объединение писателей внутри Союза не исключительно по жанровым различиям, как ныне, а по творческим склонностям, с правом на альманах или журнал и первые издания книг. За то же самое ратовал позднее Ал. Михайлов. Того же хотят многие, очень разные писатели, но никто нас не слышит.

Самостоятельным писательским изданиям не дают ходу точь-в-точь как «архангельскому мужику» Н.С. Сивкову, который с выгодой для себя продает мясо по ценам ниже дотационных. Его ведь тоже преследуют за то, что он наглядно демонстрирует пороки существующей монопольной системы. Но в книжном деле «архангельскому мужику» и носа не высунуть. Даже вынужденный общественностью допустить оплачиваемые авторами издания, Госкомиздат поручил осуществлять их тем же издательствам, которые не желают печатать этих авторов обычным порядком. Да еще то и дело разъясняется: чтобы автор, издающийся за свой счет, не дай господи, не подсунил многомиллионному читателю микротиражом плохую книгу, требования к нему будут предъявлять повышенные! Плохие книги считается допустимым издавать лишь за государственный счет, большими тиражами и с хорошим гонораром. А когда автор отказывается от гонорара, сам оплачивает издание и не претендует на большой тираж, зависимость его от вкуса издательских чиновников даже возрастает.

Судьбы литературы и искусства по-прежнему решает не народ, а те, кто взял на себя роль, как не очень грамотно, но очень образно, выразился Юрий Бондарев, «душеприказчиков своего народа», то есть, распорядителей его наследства, словно народ и впрямь вымер. Но народ, слава богу, еще жив и в состоянии без душеприказчиков, самолично, решать, что ему, и каждому в нем, по душе. Да и авторское право у нас в стране покамест не отменено, так что претензии на монополию его приобретения противозаконны. Пора наконец прояснить, в чем состоит демократичность художественной жизни, — в том ли, чтобы кто-то, облеченный особыми полномочиями, «наилучшим образом» решал за народ, что народу читать, смотреть, слушать, или все же в том, чтобы народ и всякий человек из народа решал это сам за себя.

Надо осознать различие экономических проблем малого и большого круга и признать особенности малого и их законность. Тогда, прежде всего сотрется во многом искусственная ныне граница между профессиональным и самодеятельным искусством, между писателем, художником, композитором, состоящим в творческом союзе, и не состоящим, и возникнет грань естественная, определяемая художественным уровнем сочинений и их исполнения, а также вкусом публики, отнюдь не однородным. Само собой, важную роль здесь призвана сыграть литературная и художественная критика, действующая сперва на тех же началах, то есть прежде всего в

малотиражных, безгонорарных изданиях, может быть, даже в микротиражных журналах. Тогда восстановится натуральность художественного процесса и станет возможна объективная дифференциации его участников.

В мае 1921 года Ленин с возмущением писал Луначарскому: «Как не стыдно голосовать за издание "150 000 000" Маяковского в 5 000 экз.? Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность». Как же Ленин предлагал поступить с сочинением, которому он дал столь недвусмысленную оценку? Он предложил печатать «не более 1500 экз. для библиотек и чудаков»¹. Помешать напечатанию «махровой глупости» Ленин не считал возможным. Но нынче это без колебаний делают наши редакторы, инспекторы и инструкторы. А давно бы пора догадаться: если не будет изданий «для библиотек и чудаков», не будет и тех миллионных тиражей, которые потом выдержал Маяковский.

Вот бы и нам поразмыслить о нормах поддержания художественной жизни и ввести их в практику. Признаем для начала, что, по праву требуя свободы выхода к публике, художник не вправе претендовать на гарантированный успех и, в частности, на неприменный гонорар. Уже исходное бескорыстие, самая возможность ознакомить людей с плодами творчества, не зависевшего от материальных стимулов, служила бы оздоровлению атмосферы в литературе и искусстве, нередко становящихся ныне лишь каналами для перекачки предприимчивыми людьми государственных денег в собственные карманы, ради чего от литературы и искусства так часто отстраняют людей, служащих им не корысти ради. Лишь тогда, когда возникнет реальная возможность заниматься искусством не как ремеслом или хотя бы не только как ремеслом, изделия которого скупают монопольные конторы, обнаружится художественный потенциал страны.

Но предъявление искусства даже и малому кругу людей сперва требует расходов на бумагу и печать, на выставочный или зрительный зал и т. п. Справедливо ли взваливать эти расходы на самого художника, если он и так не берет платы за свой труд? По-моему, именно здесь более всего нужны субсидии, при успехе возвращаемые, а при неудаче безвозвратные. Творческие организации и союзы, различные фонды на то и надобны, чтобы оплатить издание безгонорарной микротиражной книги, оплатить выставочный, концертный или театральный зал для предъявления безгонорарных работ не только своих членов, что должно быть самоочевидным, но и рекомендованных ими лиц. Лишь в крайнем случае, когда в такой рекомендации коллеги отказывают, придется пользоваться возможностью выйти к публике за собственный счет. Не надо все-таки гадать, что недавнее дозволение на издание за счет автора (которое, не входя даже во все попутные обстоятельства, обойдется в две-три тысячи рублей), открывает дорогу молодым талантам, у которых этих тысяч, как правило, просто быть не может.

¹ Ленин, СС, т.52, стр.179

В то же время думается, что непосредственный вклад государства в субсидирование художественных опытов может ограничиться отказом от взимания каких-либо налогов с тех изданий, концертов, спектаклей и выставок, плата за которые окупит первоначальные расходы лишь частично. Понятно, когда эти опыты начинают окупаться, и их участники начинают получать определенный гонорар или зарплату, последние должны облагаться налогом на общих основаниях. (Быть может, с тем лишь отличием, определяемым нерегулярным характером заработка, что налоги эти справедливее исчислять по среднему заработку за длинный промежуток, лет за пять).

Доходы от самокупающихся изданий, спектаклей и выставок (включая определенный процент от стоимости проданных с последних картин), но за вычетом трат на продолжение и расширение деятельности, должны поступать в специально созданный Художественный Банк, средства которого расходовались бы исключительно на нужды литературы и искусства, складываясь как из доходов, от них получаемых, так и из добротных даяний.

Первоочередными для Банка должны стать расходы на поддержание малого круга. Но следует считаться и с тем, что даже при явном интересе публики к определенным сферам искусства расходы на них порой заведомо превышают возможные доходы, и художественная деятельность реальна лишь при определенных дотациях, иначе оплата ее окажется практически недоступной для публики. Художественный Банк должен давать и такие дотации.

Многие виды искусства без дотаций существовать вообще не могут, и нигде в мире без них не обходятся. Джордж Баланчин, величайший хореограф XX века, создатель лучшего американского балетного театра, говорил мне, что поддерживать существование труппы с оркестром, при том, что театральные билеты за рубежом много дороже наших, ему удается лишь с помощью богатых друзей, в числе которых он первым назвал Нельсона Рокфеллера, в ту пору губернатора штата Нью-Йорк. Да у нас, при более дешевых билетах, даже и чисто балетный театр, как у Баланчина, и тем более соединенный с оперой, самокупиться не может.

Отсюда ясно, что решительный отказ от дотаций и перевод искусства на «полный хозрасчет» для многих художественных организаций окажется губительным. Думать надо не об отмене, а о конкретизации дотаций, то есть о придании им таких форм, которые, освобождая тот же театр от непосильных для него тягот, вместе с тем не освобождали бы его от необходимости бороться за зрителя, быть может, даже ставя определенную часть дотации в зависимость от зрительского интереса, от выполнения театром каких-то обязательств по отношению к жителям города, в котором он работает, не допускающих, скажем, пренебрежения к уровню спектаклей на основной сцене во имя непомерно длительных гастролей за рубежом.

В то же время, едва ли можно считать правомерным существование стационарных городских оперно-балетных театров, в которых заполняется обычно лишь несколько рядов — а так нередко бывает в республиканских и областных центрах, механически перенявших театральные структуры дореволюционных столиц.

Видимо, опера и балет должны доходить в такие города все же как-то иначе. Быть может, в традиционных театральных центрах должно быть больше разных трупп, которые по очереди гастролировали бы в городах, постоянные театры которых зрителей не собирают и лишь попусту растрачивают государственные средства.

Явно надо менять и принципы комплектования библиотек, которое должно осуществляться под руководством читательских советов, избираемых общими собраниями читателей данной библиотеки. Исключение могут составить лишь немногочисленные государственные публичные и академические специальные библиотеки, получающие обязательные экземпляры. Пусть библиотеки после такой реформы еще не сразу смогут приобретать все книги, пользующиеся спросом, — чтобы преодолеть дефицит, потребуется время и преобразование издательств, но уже то, что они перестанут приобретать не интересующее читателей, не пользующееся спросом, скажется на книжном деле.

Самоокупающиеся художественные организмы и, тем более получающие большие доходы, должны, по моему убеждению, тратить их не на самообогащение, но призваны (разумеется, удовлетворив свои деловые нужды и по достоинству оплатив все работы) пополнять единый Художественный Банк своими доходами, в том числе валютными. Доходы от искусства и литературы, за вычетом, конечно, налогов на личные заработки, **должны не растворяться в общегосударственном бюджете, а составлять общий фонд поощрения литературы и искусства.** В Художественном Банке могут храниться и автономные республиканские и даже городские счета, и именно из них могли бы субсидироваться, возвратно или дотационно, и текущая художественная жизнь, и долговременные усилия по созданию условий для нормальной художественной жизни: строительство театров, кинотеатров, видеотек, концертных и выставочных залов, типографий, приобретение оборудования.

Целесообразность ссуд или дотаций должна определять не чиновники, но Попечительские Советы, распоряжающиеся как общим для всего Банка, так и тем или иным конкретным счетом. В Советы эти должны избираться и видные деятели литературы и искусства, и представители властей, крупных предприятий, профсоюзов, которые, кстати, тоже могли бы целенаправленно пополнять Банк. Там могли бы накапливаться и добровольные целевые пожертвования граждан на сооружение в их городе или районе того или иного художественного очага. Так или иначе, расходы на литературу и искусство должны, как правило, осуществляться за счет общих доходов от них же, а не за счет государственной благотворительности, неизбежно влекущей за собой чиновничий диктат. Лишь тогда затраты будут производиться сообразно с реальными нуждами людей.

Нет смысла во всех деталях предугадывать формы организаций, в которых может протекать художественная жизнь. Практика обогатит самые дерзкие предположения. Надо только не пренебрегать старой истиной: литература и искусство развиваются, лишь выявляя все возможности, все таланты, все дороги, которыми располагают. Затем и нужен малый круг художественного кровообращения, пополняя и

переполняя который всё достойное рано или поздно перетекает в большой и обогащает общество. Заведем же этот бескорыстный круг. Вспомним открытие Гарвея: без малого круга кровь не принесет организму (и точно так же искусство — обществу) жизненно необходимого кислорода. Зачем же тогда оно?

КНИГА И ГОСУДАРСТВО

Книга изначально была делом сугубо частным, хоть печатный станок сразу взяли на вооружение и религия, и политика. До аудио- и видеозаписей книга практически была единственным индивидуализированным способом культурного и художественного общения. И театр, и музыка, и даже живопись, развешенная в местах уединения богатых особ (крупнейший российский музей Эрмитаж был сперва частной коллекцией Екатерины II), — так или иначе предполагают коллективное восприятие, пусть в театре оно очевиднее, чем в музее. Книга, даже политическая, предмет, если угодно, интимный. Даже изданная миллионным тиражом, она остается с каждым читателем один на один, и если уж пришла к нему домой, общение с ней свободно. Желанная книга и для писателя, и для читателя — воплощение личной духовной свободы. Размышления Льва Толстого об исполнении сонаты Бетховена в гостиной среди декорированных дам свидетельствуют об остром ощущении писателем силы музыки, одновременно воздействующей на многих людей, а тем самым на их взаимоотношения. Не зря он вспоминает, что «в Китае музыка — государственное дело». Толстой почти угадал, что музыка более других искусств способна служить массовой культуре. Литературе, как ни старается, тут за музыкой не поспеть. Ее индивидуализм неистребим. Но и Толстой не догадывался, что у него на родине книга вскоре тоже станет государственным делом.

Тенденция к тому, конечно, наметилась сразу за изобретением книгопечатания: церковь создавала индексы запрещенных книг, чтение которых считалось смертным грехом, возникла и светская цензура. В наш век костры из книг складывали не только втайне в советской России, но и на площадях в гитлеровской Германии. И все же феномен огосударствления книги возник и наиболее полно проступил у нас, и наш опыт, его воздействие на культурную и политическую жизнь, должен рассматриваться не только как нарушение прав человека, как его рассматривают обычно, но как примета радикальной трансформации общества, его деиндивидуализации.

Может ли при этом выжить искусство, и литература в частности? Возможны ли такие ее формы как лирическое стихотворение или роман? Огосударствление книги замышлялось как доброе дело, как способ дать лучшее по доступной цене, а то и бесплатно, расширяя возможности самообразования. В первые послереволюционные годы, в крайне трудных условиях государственные издательства обильно печатали крупнейших писателей-классиков, начиная с Пушкина и Толстого. А в годы НЭПа было немало коммерческих издательств. Но государство хотело выступать в роли просветителя. Коммунисты вполне искренне хотели для себя такой роли.

Но государственные издательства выполняли ее не только в недостаточной мере, а все хуже и хуже, и отнюдь не потому, что падали квалификация и преданность власти. Они порой даже росли. Но ситуация развивалась и трансформировалась, и объективная направленность этой трансформации, как и в прочем, все больше отличалась от деклараций о намерениях. Едва ли сто лет назад от

коммунистического движения, поднявшего флаг интернационализма, ждали оголтелого шовинизма, который демонстрирует коммунистическая партия Российской Федерации. Едва ли кто предполагал и плоды монополии государственных издательств.

Коммунистическая идеология, по своей волюнтаристской природе, исходила из веры в возможность, как и в хозяйстве, подменить стихийность литературного процесса его декретированием. Подобно тому, как с ликвидацией НЭПа всем владело и правило государство, что в конечном счете и привело страну к нынешнему состоянию, сугубо государственным стало и книгопечатание. Нефть преуспевала в роли кормилицы государства то больше, то меньше, сообразно мировым ценам, а книга, поставленная государству на службу, кругом зависела от воли властей. Власть отвергала предложения свести огосударствление к политическому контролю, ввести в практику пробные микротиражные издания, подвергающиеся лишь цензуре, но не редактуре. Художественная стихия ее страшила.

Назначение государственного книгопечатания на деле состояло не просто в том, чтобы обеспечить соблюдение даже драконовского цензурного устава, не просто в поощрении и популяризации взглядов, желанных власти, но в создании для таких взглядов исключительного положения, в том, чтобы в печать не проникало что-либо от них отличное и, тем более, их оспаривающее. Напрасно писатели доказывали, что в отвергнутых текстах ничего непечатного нет. Крупнейший поэт послевоенной поры Борис Слуцкий тонко замечал: «Непечатного, конечно, нет, но ведь и печатного нет!» А власть и в самый процесс возникновения литературы, в ее утробное развитие, открытое публике, допускать хотела бы лишь «печатное», то есть непосредственно служащее.

Рассказывали, что при скандале вокруг романа Дудинцева «Не хлебом единым» К. Федин, тогда первый секретарь Союза писателей, сказал Хрущеву: «Дудинцев написал плохую книгу. Но не упадет же от этого небо на землю. Стоит ли нам поднимать такой шум?» И Хрущев воскликнул: «То есть как не стоит? А в Венгрии что было?» Он искренне считал, что причиной восстания была не бедность, не тоталитарный режим, не унижительная зависимость от Москвы, а слова, играющие порой роль спички, но не взрывчатки, а взрывчатка, скапливаясь сверх меры, вспыхивает и без спички.

Советская власть боялась открытого слова и придавала печати непомерное практическое значение. Мандельштам давно заметил: нигде не уважают стихи так, как у нас, — у нас за стихи расстреливают. Теоретической опорой тотального контроля над литературой и искусством считалась известная статья Ленина «Партийная организация и партийная литература», согласно которой члены партии не должны высказывать суждения и совершать поступки, отличные от позиции партии. В пору написания статьи эти требования были обращены к членам партии, но не к беспартийным. Однако после революции, когда власть партии стала несменяемой, когда партия и государство срослись в единое целое, всем гражданам предлагалось вести себя, как члены партии, и стремившиеся к реальной беспартийности считались плохими гражданами. Беспартийным

разрешалось быть лишь в блоке с коммунистами. Последствия, однако, превзошли ожидания. Остановить неприемлемое государственным издательствам, не говоря о цензуре, было нетрудно, хоть и здесь оказалось недостаточным следовать прописям идеологического катехизиса, приходилось учитывать текущую трансформацию позиций самой власти, далеко уходившей от начальных прописей. Хоть главным девизом коммунистов всегда было единство, ожесточенная внутривластная борьба ни на миг не прекращалась, и даже в конце тридцатых годов, когда новые большевики под водительством Сталина уничтожали старых, совершивших в 17-м году революцию, эти новые подсиживали и уничтожали не только старых партийцев, но и друг друга. Разные издательства и печатные органы даже политические задачи понимали не вполне одинаково. Позднейшие политические различия журналов «Молодая гвардия», «Новый мир» и «Октябрь» общеизвестны.

С такими различиями в толковании догмы можно было покончить, лишь упразднив книгопечатание как таковое. По слову героя Грибоедова: «Уж коли зло пресечь, Собрать все книги бы да сжечь». Как минимум уничтожению подлежала художественная литература. И пока речь шла об этом минимуме, можно было думать, что у партийных идеологов и нанятых ими редакторов глубокое чувство прекрасного, помогающее безошибочно его находить и уничтожать. В отдельные периоды, как с 1949-го по 1953-й год, такого идеала почти достигли, и сколько-нибудь значительные книги стихов или прозы, напечатанные тогда, трудно назвать. Их не было.

Неуклонное падение советской литературы и искусства, переживших после революции несомненный взлет, стало поражением партии в идеологической сфере, опередившим ее хозяйственное крушение. Препреграждение пути новому искусству оставляло сердца и умы открытыми для воздействия старого. Государственные издательства не могли при публикации классиков литературы, в большинстве заведомо беспартийных, следовать ленинскому призыву «Долой литераторов-беспартийных!» буквально. А их воздействие, актуализировавшееся личным опытом читателя, задавало восприятию определенный художественный уровень, и, тем самым, носило провокативный характер. К тому же, наряду с русскими классиками, печатали иноязычных, что порождало нужду в адекватности и художественности переводов. Конечно, и здесь художественное начало рассматривалось издательскими идеологами как, так сказать, чисто техническое. Не случайно талантливые поэты, не допускаясь в печать, подобно Марии Петровых, Семену Липкину, Арсению Тарковскому и другим, к переводу привлекались.

На деле, однако, художественность не служебна и не сводится к оформлению идей, но сама содержательна, и признание необходимости в ней, как и признание нужды хотя бы частично переиздавать старую классику, вступало в противоречие со стремлением партии создать директивную литературу. Несообразие свободной стихии государственному порядку, не оставлявшему ей места, наряду с прочими объективными противоречиями социализма, не допускаемыми к открытому выражению, проявлялось подспудно в

неявных и искаженных формах. Прежде всего, — гипертрофией редактуры, превращением правки текста в главную задачу редактора. Однако и таким путем создать государственную художественную литературу не удалось. Достаточно сравнить первый вариант романа «Молодая гвардия» члена ЦК КПСС А. Фадеева, и выправленный им после партийной критики. Правка лишь ослабила книгу. В те годы шутивно спрашивали: «Что такое телеграфный столб»? И отвечали: «Хорошо отредактированная елка».

Но власть верила в способность редакторского глаза все углядеть и поправить. Существовала даже шутивная формула, обращенная к наивному писателю: «Вы что же, хотите, чтобы читатель вас понял, а редактор не понял?» Казалось, ничего стоящего при этом появиться не может, и задним числом часто верят, что ничего и не появилось, а это не совсем так. Времена менялись, порой в потоке макулатуры всплывали или плыли незамеченными подлинными ценностями. Стоит задуматься, почему и как такое, кому-то удавалось, и о том, что при этом от литературы оставалось.

КНИГА И ЧИТАТЕЛЬ

Когда в 1934 году «Литературная газета» напечатала рассказ Василия Гроссмана «В городе Бердичеве», Михаил Булгаков удивился: «Как прикажете понимать, неужели кое-что путное удастся все-таки напечатать?» Про это вспомнил Семен Липкин. В интересной нам связи не так, однако, любопытна кажущаяся неожиданной оценка крупного писателя крупным писателем совсем иного толка, как еще более неожиданное удивление Булгакова, к тому времени практически утратившего возможность печататься. «Путными» порой бывали не только обильно выходившие сочинения отечественных или зарубежных классиков, но и новые стихи и новая проза. Не только злостно и недобросовестно потом поносимые, но и без шума доходившие до читателя, даже переиздававшиеся. До войны дважды выходили однотомники Пастернака, в 1940 вышел сборник Ахматовой «Из шести книг», в 1946-м — книга Леонида Мартынова «Эрцинский лес», выходили и другие, в стандарт государственного реализма не вменяемые. Так бывало еще при Сталине, до «оттепели» или «перестройки», умноживших подобные случаи. Понять, что было с нашей литературой, можно лишь поняв, почему при всеобщей бдительности, искоренении крамолы и терроре что-то путное все же порой печаталось.

Ведь на страже идеологической и политической чистоты стоял бдительный редактор, не говоря о цензоре! Ссылаются на недосмотры, порой даже якобы намеренные. Десятки добросовестно служивших редакторов пострадали от подобных подозрений. Однако не только издательские редактора, но и куда более высокие идеологические функционеры сплошь и рядом не различали печатную крамолу за пределами ее прямых и злободневных проявлений. Бывало и так, что читатель понимал, а редактор не понимал. А все потому, что пределы дозволенного никто, даже и сам Сталин, не мог в общей форме четко обозначить, поскольку, уничтожая литературу на практике, даже и он в своем сознании стремился ее не уничтожить, а «всего лишь» воспользоваться ею для желанного воздействия на людей. Индивидуальное содержание каждого художественного сочинения требовало в советском идеале индивидуального позволения. Но не мог же Сталин лично прочитывать все подготовленные к изданию книги, хоть и уверяли, что он читает по пятьсот страниц в сутки. Достаточно того, что он смотрел все фильмы, поскольку «кино — самое массовое из искусств», и советскую кинематографию, некогда блестящую, этим погубил. А литературу так до конца и не погубил. Так называемая «оттепель», временное расширение допуска в литературный процесс, была не просто либеральным жестом после смерти диктатора, но попыткой власти активней использовать художественное воздействие литературы в своих интересах, и не случайно такие временные попытки и потом возобновлялись. Другие идеологические системы ради использования искусства в своих целях тоже искали с ним компромиссы, сознавая, что от убитого пользы нет. Мадонны Рафаэля с их живой конкретностью были, номиналистической ересью, но папы, в

отличие от советских лидеров, понимали, что и не вполне ортодоксальный Рафаэль укрепляет, а не ослабляет церковь. Советская идеология шла на подобные уступки трудней и реже, «оттепель» быстро свертывали, но все же временами не слишком откровенно еретические книги выходили в свет, и литературный процесс, пусть в уродливом виде, возобновлялся. Просто советская «марксистско-ленинская» идеология в силу своего не чисто идейного, но еще и государственного характера, была более косной, нежели католицизм. Распорядители ядерных бомб не ощущали своего бессилия перед искусством, веря, что и тут дело лишь в технологии и готовности «мастеров» писать, как прикажут. Стоит заметить, что советскому политическому критерию противостоял аналогичный антисоветский. Нередко говорят, что в результате огосударствления печати в СССР вообще перестала существовать литература, продолжаясь лишь в «самиздате» и «тамиздате». Писателей, сообразно делят на официальных, то есть печатавшихся в СССР и состоявших в Союзе писателей, и неофициальных, не печатавшихся и не состоявших. Если в первом случае художественность отождествляли с верностью официальной доктрине, то во втором, напротив, с ее отвержением, и оно порой бывало довольно для неофициального попадания в число шедевров. Наряду с официальным отрицанием художественной ценности сочинений Пастернака, или Солженицына, или Бродского, как-никак отмеченных Нобелевскими премиями, в моду вошло неофициальное отрицание художественности сочинений Горького, или Маяковского, или Ильфа и Петрова. И, как официальные почести часто обретали бездарные казенные книги, так и неофициальную славу нередко обретали бесталанные сочинения, чуждые верноподданности (что само по себе достойно уважения), но не имевшие отношения к искусству. Господствующая идеология уродовала не только своих сторонников, но и противников.

Современный кризис нашей литературы в большой мере восходит к ее давнему разделению книг на легальные, государственные, и нелегальные, «тамиздатские» и «самиздатские». Ныне легальное негосударственное, да и государственное книгопечатание предоставило читателю множество недоступных, прежде книг. Однако, как правило, преобладают так или иначе и прежде известные, хотя бы по названиям. Наша коммерческая книготорговля, за вычетом откровенно прибыльных изданий, особенно детективов, где утверждаются все новые авторы, в собственно художественных сферах живет по преимуществу былыми накоплениями да восполнением упущенного. Литературный процесс и за десять лет не стал органичным и бурным.

Конечно, тут играют роль и сложные идейные и вкусовые метания, овладевшие и писателями, и читателями, но существенна и сама организация книжного дела, так и не приладившаяся к необходимости в постоянном обновлении, в предоставлении читателю всех составляющихся литературных тенденций. Казалось бы, книга — едва ли не единственное, что пропорционально не слишком вздорожало. Если прежде ее цена, за исключением книг специальных, не намного превышала рубль, то есть цену пяти-шести буханок хлеба, то и сегодня

цена книги сравнима с их ценой. И если хорошая книга при скромном по прежним масштабам тираже, долго не находит покупателя, виной чаще всего остается неудачная организация книгопечатания. Прежде всего, отмена издательской монополии государства отнюдь не отменила его технологическую монополию. Независимые издательства, как правило, зависят от государственной полиграфии и государственного производства бумаги. Использование зарубежного рынка ограничено высокими таможенными пошлинами. Но, быть может, еще пагубней оказалось то, что, упразднив Книготорг, распространявший продукцию государственных издательств, государство своей налоговой и вообще финансовой политикой помешало возникнуть организациям, выполняющим аналогичную работу на началах самоокупаемости. В результате огромная Россия распалась на сотни культурных очагов, может быть, где-то и более свободных, чем прежде, но замкнутых, не имеющих ощутимой связи с остальными. У нас много рассуждают о сепаратизме там, где им и не пахнет, а искусственный культурный сепаратизм, мешающий книге выйти за пределы области, никого не волнует. Меж тем, книга, способная окупиться, распространяясь по всей России, в пределах области остается некупаемой. Оттого издательства и прогорают или отдаются чисто развлекательной литературе.

В результате практически невозможно оглядеть, что в литературе возникает, обнаружить сходства и различия литературных движений, отличать сугубо местное от общероссийского, неправомерно отождествляемого с московским. То же самое и с политической литературой, где, кроме псевдо-либеральной и национал-коммунистической, так или иначе поддерживаемых властью, нет места иным тенденциям. Книжное дело, как и другие отрасли хозяйства, сетуя на пороки прежней жизни, не стало по-настоящему иным. Несвершение общих экономических реформ обернулось нарастающей нищетой большинства граждан, а несвершение их в конкретной экономике культуры грозит культуре гибелью. Культура обычно поддерживает либо самоокупаемость, либо помощь меценатов, освобожденных от налогов, либо прямые государственные субсидии, в которых российская власть и прежде была не очень щедра, а нынче свела почти на нет. Сегодня в России культура держится лишь личным энтузиазмом, лишь единичными огоньками.

Посмертная книга петербургской поэтессы Нонны Слепаковой, за сорок лет писания выпустившей лишь четыре книжки, вышла ничтожным тиражом, и не в Петербурге, не в Москве, а в Смоленске. Она названа «Полоса отчуждения», и название отчасти объясняет трудную судьбу и книги, и поэта. Слепакова не принадлежала ни к одному из шумных направлений, легальных или нелегальных, однако была, на мой взгляд, одним из самых значительных русских поэтов последней трети века. Но из Смоленска ее в Москву и Питер не везут. Книготорга торговавшего по всей России больше нет.

В советские времена государство было посредником меж писателем и читателем. Их индивидуальности значения не имели. Распад государственной книжной монополии не восстановил прямую связь писателя и читателя, не помог читателю находить книгу, для него

писавшуюся. Но без книг, написанных близким, хоть до встречи и неведомым, автором, человеку трудно разобраться в смуте, охватывающей жизнь, рядящуюся упорядоченной.

ВОПРОСЫ О КУЛЬТУРЕ

Интервью

1. Какими вам представляются последствия разгрома русской культуры, совершенного большевиками за 73 года?

Я, прежде всего, не думаю, что страна попала в культурный тупик потому, что кто-то сознательно ее гуда загонял. Были, конечно, и такие стремления, но одновременно большевики старались поднять культуру населения, добиться, скажем, всеобщей грамотности, — и ведь добились! Хотели издать массовыми тиражами великих русских писателей, — и ведь издали! Однако, — и в этом суть, — оказалось, что, вопреки их усилиям, культура деградировала. Дело не в намерениях, а больше в том, что условия для органического развития культуры не в каждой социальной структуре в одинаковой мере наличествуют, и, независимо от воли тех, кто данную структуру утверждает, если она по самой ее природе таких условий в ней нет, результаты будут подобны нашим.

Культурное наследие, при всех утратах, у России поныне огромное, великое и прекрасное, а вот индивидуальная восприимчивость и избирательная необходимость в культуре, прежде встречавшиеся чаще, нынче пожухли. Люди уже не так ищут в культуре близкое и значительное, как принимают некий готовенький культурный паек, и беда не в его составе, а в его нормативном характере. Но в субъективном восприятии дымковской игрушки больше культуры, чем в пайковом восприятии Тициана, хоть я их и не равняю. До революции культура во многом была элитарной; когда элиту срезали, оскудела и культура, но ее носителей преимущественно не ради этого уничтожали, это тоже не замысел, а последствие.

Среди причин упадка ленинградского балета называют и жесткие эстетические ограничения, и засилье бездарностей в руководстве, и бегство выдающихся актеров и гибель других, и все это имеет место. Но главное — в отчуждении балета от взыскательного ленинградского зрителя, — и долгие гастроли за рубежом, и то, что дома билеты предпочитают продавать иностранцам, платящим валютой. А большевики не только громили, но субсидировали и поощряли балет.

Дело не в борьбе против культуры, а в борьбе против человека, непосредственно культуру порой и не задевающей, но не оставляющей для нее места. И до революции и после, за вычетом очень узкого круга, человек у нас — лишь средство, рабочая сила для помещичьих или колхозных полей, для царской или советской службы, для усмирения мятежных полейков или афганцев. У человека отобрано собственное усмотрение, он не может быть сам по себе, — для этого нужно быть героем. Но при таком устройстве общества связи человека с другими людьми определяются уже не столько культурой, сколько административным порядком, предписаниями и приказами. Культура неизбежно сводится к их идеологическому оформлению. Это не просто воля Сталина и Жданова, но диктат единого государственного хозяйства, опасаящегося частных, личных отношений между людьми. Приятие людьми такого устройства сокращает и личные их потребности в культуре и общую культуру. В пору застоя могло

казаться, что люди просто боятся выказать себя. Но сегодня никто особенно не боится, но сказать нечего, глубоко думают и здраво говорят лишь немногие. Скучность общественного сознания, и культуры в частности, — беда более страшная, чем все экологические и хозяйственные, ибо она мешает избавиться и от этих бед. Но состояние культуры — следствие нашей жизни, а не, как порой думают, жизнь ужасна оттого, что люди стали некультурны. Стать-то стали, но от нее, от этой бесчеловечной жизни. Обратное влияние некультурности, конечно, делает свое, но не оно первично, и воскресными проповедями его не одолеть.

2. Есть ли выход из тупика?

Только если люди ощутят в нем потребность, захотят другой жизни. Покамест общество не хочет себя осознать, каждый дорожит своей правдой и не видит человека на другой стороне улицы. Общество не сознает себя как целое, состоящее из разных, порой враждебных, но нуждающихся друг в друге частей. Оно выхватило из гегелевской формулы борьбу противоположностей и забыло об их единстве. Это — то немногое, что пришло в советскую жизнь от Маркса. Потому у нас любят однозначные решения, жесткий порядок. Когда же предлагают великую культуру, давнюю или недавнюю, и даже современную — как скажем, величайшую книгу времени перестройки, «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева, то и гениальные творения принимают как примитивные знаки. Выход из культурного тупика зависит от выхода из социального тупика, от преодоления манеры жить короткими дистанциями, установившейся из-за всеобщего и, увы, обоснованного, взаимного недоверия, общей ненадежности людей, идей, дел, обязательств, ценностей и госучреждений. Начнет меняться жизнь, изменится и состояние культуры.

3. Как вы представляете духовное возрождение России?

Как ее материальное возрождение. Больше всего я хочу видеть русских и, вообще, советских граждан сытыми, одетыми как им хочется, имеющими отдельное жилье, и пользующимися благами цивилизации. Тогда возрождения, которое вы зовете духовным, то есть религиозным, а я все же предпочту звать культурным и нравственным, не долго придется ждать. Оно начнется, когда человеку перестанут на каждом шагу мешать сделать свою жизнь лучше.

4. Как вы относитесь к обществу «Память»?

Как к заурядной фашистской организации. Таковые есть не только у нас, но, пока они не выходят за рамки закона, большого вреда от них нет. К тому же, своим бесстыдством они побуждают ценить демократию, при всех ее неудобствах. Ничего страшного не было бы и в «Памяти», не пользуйся она особой благосклонностью властей и партийных органов.

5. Почему общество «Память» использует идею духовного возрождения России?

Фашистские движения всегда паразитируют на национальных кризисах и несчастьях. Особенно если реальных возможностей быстро их преодолеть нет или ими не пользуются. Разве немцы не были правы, считая Версальский мир несправедливым? Вот немецкие фашисты и кричали о возрождении Германии! Почему? Да потому, что

повести за собой народ можно лишь заговорив о реальной его боли, задев какую-то часть правды. А потом, распалив страсти, эту правду отворачивают и вперед выворачивают ложь, но люди-то уже поверили проповедникам. Несчастье русского народа в том, что в глазах других народов империи он выглядит ее властелином, тогда как на деле на подавляющую его часть, особенно проживающую на старых русских землях, лишь взвален груз поддержания и охраны империи, от которой большинству русского народа один убыток. Этим затруднено национальное самосознание. Путь к нему, конечно, в избавлении от имперского духа, в тяге к самостоятельности, но некоторых и впрямь влечет соблазн быть властелином. Эти некоторые и входят в «Память», и тянутся к ней и кричат о духовном возрождении России, а ведут к дальнейшему духовному обнищанию, подобному духовному обнищанию Германии, обусловившему, кстати, и ее военное поражение.

НИ ОДИН ИДЕАЛ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЕДИНСТВЕННЫМ

Интервью

— *Исключительно бурные, разнонаправленные процессы в общественной, политической, жизни нашей страны сегодня породили не менее острые споры, доходящие едва ли не до драки, во всяком случае словесной, о судьбах художественного творчества. Впору вспомнить слова Бориса Леонидовича Пастернака: «...жалко, что прошлое смеется и грустит, а злоба дня размахивает палкой». Удивительно точно сказал поэт, и удивительно точен язык, говорящий: злоба дня. Какими вам, члену Союза писателей СССР, переводчику, публицисту, представляются и прошлое и «злоба дня»?*

— Прежде всего, договоримся о терминах. Что имеют в виду, говоря «наследие?» Конечно, прошлое, уцелевшее в определенных формах и идеях, которые деда и прадеды будто бы передали нам. В реальности все не так просто. Да, прошлое и смеется, и грустит, и плачет, а не предлагает что-нибудь одно... Ну, например: почему Пушкин — прошлое, наследие? Мысленно я обращаюсь к нему ежедневно, гораздо чаще и основательнее, чем ко многим современникам. Он потому и классик, что вошел в наш духовный опыт и там жив. Но ладно, будем условно звать прежнюю культуру наследием.

Но чтобы понять его сегодняшние роли, надо бы приглядеться к миру, в котором наследие эти свои роли играет. А мир ныне совсем иной, нежели тот, где наследие возникало. Вообще-то говоря, все, что происходит, вполне естественно. Ничему из того, что мы пережили, удивляться не приходится. Но происшедшее надлежит понять, а многие все еще стремятся объяснить пережитое готовыми штампами. Действует, так сказать, мифологическое сознание. Его связывают с архетипами, сложившимися в незапамятные времена, — здесь я не буду распространяться: теория достаточно известна... Но наряду с архетипическим рождается и, так сказать, нетипическое сознание; сформировавшиеся позавчера или вчера стандарты действуют сегодня, люди пользуются ими, но смысл их уже иной, порой превратившийся в противоположный. Прежде всего необходимо раскрыть реальный смысл множества имеющих широкое хождение понятий...

Вот здесь-то нам был бы полезен пример, который подал Карл Маркс. Я отнюдь не канонизирую его экономическую теорию или теорию социализма, хоть и не думаю, что их просто следует отбросить как ненужный хлам. Но я веду речь о другом — о материалистическом понимании истории, принадлежащем к важнейшим завоеваниям человеческой мысли. Маркс подал пример демистификации не только религиозных, но и светских понятий (а они порой более религиозны, нежели религия!). Но мы, говоря о Марксе, ничего из этого не берем в рассуждение! То, что десятилетиями именуется марксизмом-ленинизмом, часто не имеет никакого отношения к Марксу и очень малое и приблизительное — к Ленину. Его я еще меньше склонен воспевать. Ленин иногда разрешал и даже приказывал вещи ужасные, но он был способен осознать и осознавал реальные последствия

сделанного. Он был способен перестраивать не только то, что было до него, но и самого себя. Не буду лукавить: для меня неприемлемо стремление решать за других, как им будет лучше. Но в любом случае необходимо отличать трагедию крушения исканий Ленина, пытавшегося усовершенствовать жизнь человеческую, и фарс честолюбия Брежнева, прикреплявшего все новые звезды к мундиру. Это люди несопоставимых уровней.

— *И не пора ли в полной мере оценить те предостережения, которые делали Маркс и Энгельс, рассматривая политическое развитие России? Напомню хотя бы следующие: «Настанет русский 1793 год; господство террора этих полуазиатских крепостных будет невиданным в истории, но оно явится вторым поворотным пунктом в истории России, и в конце концов на место мнимой цивилизации, введенной Петром Великим, поставит подлинную и всеобщую цивилизацию». Это — Маркс. А вот Энгельс: «Освобождение крестьян в 1861 г. и связанное с ним — отчасти как причина, а отчасти как следствие — развитие крупной промышленности, ввергли эту самую неподвижную из всех стран... в экономическую и социальную революцию; и этот путь пока главным образом путь разрушения». Стало быть, их методология позволяла им понимать векторы истории — и не только понимать, но и предсказывать их, как видим, с леденящей душу точностью.*

— Разумеется, они написали много точного, преданного забвению, либо искажению, потому что не укладывалось в жалкий набор штампов, коим представляли марксизм-ленинизм. Вот это извращение в течение многих лет фактов, понятий, теорий и привело к изменению уровня людей в массе. Смысл извращений, пожалуй, лучше всего выразил Оруэлл: война — это мир, свобода — это рабство, невежество — это сила. Мы сжились с такими формулами, мы не отличаем уже, где причины, где следствия и что за этим стоит. Историю у нас рассматривают как арену желаний отдельных людей. И многим кажется: вот если бы Ленин так не указал и не приказал, у нас был бы парламент в духе британского, правовое государство и бог весть что еще. Ничего подобного! Ведь альтернативой красным были не демократы — какие бы то ни было, не гуманисты вроде Бердяева. По другую сторону были Корнилов и Савинков — последний кажется мне наиболее вероятным, и он бы сговорился с каким-нибудь Кутеповым, как, скажем, Гитлер — с Людендорфом. И вся та же самая чудовищная резня разразилась бы под другими лозунгами. Но и сейчас, столько лет спустя, сколь многим не хочется, а то и невыгодно взять в толк такие неприятные вещи, а это мешает правильно оценить и день сегодняшний.

Знаете, у Маркса есть блестящее определение: «Мысли господствующего класса есть господствующие мысли». В нашем случае мысли Сталина и Жданова проникли очень глубоко, — для того была почва. Мы и сегодня, увы, не можем обойтись без «ждановской жидкости» (по меткому слову Ю. Карякина): ненавистью, неприятием пропитано слишком многое. Люди просто не желают вникнуть в резоны противоположной стороны, видя в этом злой умысел, хитросплетения, вражеские происки. Уклад жизни слишком долго воспроизводил и

поощрял монопольную истину, которой надлежало придерживаться всем и во всем. Следовательно, важнее всего стало помешать другим — какому-нибудь коллективу и тем более отдельному индивидууму — высказаться и довести до человечества то, что он понял, придумал, открыл, вообще помешать другим исследовать, думать, понимать. Эта установка — «уничтожить» другого — и теперь еще прочно сидит, как принято говорить, в ментальности многих людей. Установка оформлялась по-разному: в одних случаях это были агенты иностранных разведок, в других — идейные враги социализма, в третьих — «малый народ»; неважно, как это называется, за всем одно: перекрыть, заткнуть, уничтожить. А теперь оказывается — во всем виновата революция. Было бы смешно умалчивать о том, что революция привела к немалым утратам в сфере науки и искусства, — это правда. Но забыть о том, что с революцией пришло, тоже ведь нелепо.

— Да, и это в русле общей ментальности. Что же говорить, если Ленин, сам воспитанный как интеллигент, назвал совесть русской интеллигенции Короленко словом, которое не хотелось бы поминать здесь. Спор Ленина и Горького об интеллигенции был весьма знаменательным.

— Да, я в этом споре на стороне Горького: но он-то не считал, что от революции — один вред. Она вывела на общественную арену огромное количество людей, которые до того не могли и помышлять о ней. Конечно, русская, в том числе революционная интеллигенция конца прошлого — начала XX века — поразительное явление, и прежде всего в нравственном отношении. Но нужно же помнить, что это был тончайший слой. Ведь они почти все знали друг друга лично. А от гигантского народа были отдалены. И вот люди из массы получили выход к культуре. И они пошли в нее с чистым сердцем, исполненные энтузиазма, и многие талантливо работали. Но и этот, уже более плотный слой, а не только их предшественники, тоже был стерт. Монополия казармы простерлась над всем обществом, над всей жизнью.

Вспомним лысенковщину. Теперь-то ясно: то было не чье-то персональное злодеяние, — она не могла не возникнуть (и возникла в разных отраслях науки и в искусстве), коль скоро есть только одна истина и ее знают «где надо». И само собой, что всякий раз находятся люди, которым выгодно и удобно осуществлять свои цели под флагом государственной истины.

Драматизм нашей перестройки заключается не столько в том, что пока не удается осуществить экономические реформы, но и в том, что мы пока не достигли глубинного идеологического обновления, хотя бы на почве гласности — пусть не свободы слова. Разумеется, многое меняется. Посмотрите, прямо на глазах обрел иной облик журнал «Коммунист», возник очень полезный журнал «Известия ЦК КПСС»; обращаемся мы и к наследию, в том числе философскому, политическому, — к Бердяеву, Флоренскому, Бухарину и т. д. И это очень нужно. Но многим кажется, что надо просто вернуться на определенный исторический этап и «вскочить» в упущенное прошлое...

— *Сильно идеализированное, примышленное. К сожалению, мы пока что слабо продвигаемся в области политической культуры.*

— Сегодня возникают какие-то неформальные группы, возможно, зачатки партий. Иногда они выдвигают прекрасные идеи. В Союзе писателей мне привелось пару раз вести собрания, на которых выступали такие люди, — я всем давал высказаться. Но как похожи их речи на выступления представителей правящей партии! Иконы все другие, символы, слова другие, но способы мышления, ментальность — та же самая. Вот, скажем, допустил Верховный Совет сегодня существование других партий — от одного этого не решатся наши проблемы. Всякий посев должна возвращать жизнь. А иначе — опять волюнтаризм. И просто обращение к прошлому, в том числе философскому или политическому, без понимания прошедшего тем временем *процесса*, — бессмысленно. Возьмите две такие фигуры, как Троцкий и Бердяев, — что может быть противоположней! И однако первый — злейший противник Сталина...

— *...с которым второй даже не пытался блокироваться, потому что понимал невозможность этого...*

— Да, но этот противник утверждал, что у нас построен социализм, правда с извращениями (утверждал, уже находясь в изгнании). И Бердяев к концу своей жизни — 1948 год — высказывался в пользу нашего порядка, хотя в конце его жизни этот порядок в каких-то смыслах был еще страшней, чем в 1918-м, когда он написал «Философию неравенства».

— *В его оценках, полагаю, большую роль сыграла наша победа над фашизмом.*

— Еще бы! Но победа еще не означала преодоления. Я привел эти примеры, чтобы показать, что мистифицированное сознание, о котором мы с вами уже говорили, не обошло никого. И надо разорвать эту мистификацию, понять, что на самом деле произошло в октябре 1917 года, — а произошло и вправду великое событие! Но как оно произошло, как развивалось, к чему привело, — все это возможно понять, только если различаешь, в чем и каковы его причины. А если говорить, как иные: ну, это просто злодейство, большевики, или жидомасоны, или бесы, надо просто вернуться к тому, что было, — тогда выходит, что гигантская часть общества, да и весь народ, не имеет к своему развитию никакого отношения, и кучка людей может внушить ему все, что угодно.

Вот, например, многие десятилетия считалось, что Россия — это открытая, «всемирно отзывчивая» страна, что русским (как и всем вообще людям) нужно все самое лучшее, а не только русское. И так, собственно, Россия и жила, к тому и стремилась. Теперь известная часть людей понимает это иначе. Им нужна другая Россия. Они видят причины бед в злонамеренностях врага, в чьих-то заговорах. Ирония заключается в том, что при внимательном прочтении, скажем, книги И. Шафаревича «Русофобия» читатель видит, что автор ее и есть главный идейный русофоб: в этом труде мы вступаем в мир абсолютно извращенных понятий, здесь не до логики, здесь играют свои игры страсти. И страсти старые, но примитивные: получается, что «малый народ» все время управляет судьбой крупного, огромного. Не

оскорбительно ли это для великого русского народа — так о нем думать? Меня не шокируют ни общество «Память», ни другие объединения такого рода. Пока дело не доходит до насилия и призывов к нему, можно высказывать любые суждения — какие угодно. И для этого должна быть своя трибуна. Я рад, что «Наш современник» или «Молодая гвардия» ею являются. Но ведь их-то это не устраивает. Им мало высказывать собственные взгляды — они хотят, чтобы и все другие прониклись такими же взглядами. А это и есть монополизм. И. Шафаревич, С. Куняев и их единомышленники требовали отдать журнал «Октябрь» другому редактору. А до того был, по сути, разгром «Литературной России». И редактора «Книжного обозрения» тоже принуждают подать в отставку, хотя эта газета предоставляет трибуну самым разным людям, она воистину плюралистична (хотя у редакции есть своя позиция). Но кому-то надо обязательно зажимать рот! И сегодня мы уже не можем отрицать, что у нас зреет фашистское движение. Вот наиболее реальная угроза сегодня. Однако невозможно старыми способами строить новую жизнь. А мы хотим опять, в который раз, чтобы кто-то там, наверху, на сей раз Горбачев, наилучшим образом распорядился, что нам делать.

— *Нам все хочется, чтобы какой-нибудь новый Сталин дал указание.*

— Да, но только «хороший Сталин»... А между тем создать демократию можно только демократическим способом. А претендующее на монополию невежество едва ли не страшнее всего в стране, создавшей духовные, художественные ценности удивительной глубины, многообразия, открытости миру. И опять сказывается плен прежних представлений. Вот искренне верилось в свое время, что надо уничтожить дворянско-буржуазное культурное наследие. Теперь ему отдают должное, но хотят порешить что-то другое. Но цивилизованный человек вообще ничего не должен уничтожать. Другое дело, как наследие, воспринимают. Возьмите Ленинград — не правда ли, этот город — сам по себе драгоценнейшее наследство? Славу богу, он пострадал от великих разрушений меньше, чем Москва. Тем не менее сейчас много, и не без оснований, говорят: Ленинград надо спасать. Воистину, состояние его ужасно, начиная с грязи на улицах и кончая на глазах разваливающимися домами. Но как его сохранить? Здесь очень характерен конфликт, который разгорелся несколько лет назад по поводу гостиницы «Англётер». Напомню, Лидваль построил в начале века «Асторию». И вы видите — он понимал: рядом Исаакий, и «Асторией» архитектор как бы расширял нижнюю его часть, подножие собора, очень тонко чувствуя, что такое ансамбль. Все сделано с большим вкусом и деликатностью. Но он не мог сломать рядом стоящий дом — существовала частная собственность, капиталистическая застройка. Теперь «Англётер», не тронутый Лидвалем, пришел в упадок. Он уже не мог стоять, тут власти правы. Что же делать? Совершенно ясно, необходимо понять общую мысль всей площади и «продлить» «Асторию». Но нет, говорят наши смелые молодые оппозиционеры, нельзя трогать старое здание, его надо укрепить. Нет, надо выстроить новое здание, повторив «Англётер», —

отвечают власти. По сути, и те и другие говорят одно и то же: таково восприятие культуры людьми, для которых она мертва...

И совершенно так же — бескрыло, старо — у нас сплошь и рядом играют и ставят Мусоргского или Чайковского. И так же печатают книги, утверждая неизменность, а не развитие. Такое мышление предполагает, что есть одна-единая, раз и навсегда данная истина и, стало быть, есть кто-то единственный, кому она известна. Есть «правильное» искусство и «неправильное» — истинное в отличие от неистинных, и кому-то точно известно, что есть художественная ценность.

Так вновь и вновь воссоздается атмосфера монополии — атмосфера отсутствия состязательности. А искусство может жить только при условии равной для всех возможности выхода на арену творчества и свободного выбора потребителем того, что ему по плечу, по душе, по уму. И тогда, без какого-либо монопольного насилия, складываются общественные представления о том, что ценно, что — нет.

— *Для данного времени.*

— Да, конечно. Тут добавлю: я вовсе не считаю, что потребитель всегда прав. Он часто узнает о многом с опозданием и с еще большим оценивает новую красоту, новую художественную правду, и писатель или художник погибает в нищете, безвестности. Кстати, я потому и полагаю, что нужны творческие союзы. Они должны оказывать художнику профессиональную, материальную поддержку, но не должны вмешиваться в то, что он делает. Помогать жить, творить, издавать, исполнять, но не «направлять». Что же касается изданий, я много лет пишу, говорю: давайте наладим безгонорарные издания! Мне лично ничего не надо наперед за тот или иной труд, я только хочу предьявить его тем, для кого он, возможно, представит интерес. Может, я написал чушь собачью, — и никто меня не купит. Так нужно напечатать ограниченное число экземпляров, а там видно будет. Как Пастернак написал: «Пусть судьба положит, матерью ли, мачехой...» — заранее этого никто знать не может. А у нас функционеры все знают наперед. И потому происходит так много несуразного. Ведь дело не в том, что плох некий министр или директор какого-нибудь гуманитарного института. Нет, плоха система, при которой у большинства людей на руководящих постах сложилось — так положено — упорядоченное понятие об истине. Сегодня они говорят: все должно быть научно — и ругают власти, что те не учитывают науку. А что значит ее учитывать? Это очень часто значит руководствоваться их монопольным суждением. А кто так не захотел, того долой. Любое, самое благое на первый взгляд положение, став монопольным, начинает постепенно душить все остальное.

Вот, скажем, я не поклонник рок-музыки: мои уши ее просто не выдерживают — для меня она слишком интенсивна. Но когда Ю. Бондарев, В. Распутин, В. Белов требовали в газете «Правда» ее «упразднить» — а газета «Правда» при старом редакторе играла большую роль в «упорядочении» нашей культуры, — так и хотелось спросить: а как же можно препятствовать ее тотальному распространению, если у нас в стране только 50 симфонических

оркестров, а в США, скажем, их — 1500? И там тоже есть тяжелый и любой другой рок, но все занимает свое место. И оркестрам тяжелый рок не мешает, а они не мешают ему. Так вы, дорогие товарищи, скажите, что вы предлагаете, скажите, как привить любовь к иной, чем рок, музыке, — ведь это сложнейшая проблема! А если не очень точно представляете ее себе, почитайте, что говорят об этом музыканты, уж сколько всего сказано! Но нет, такие вещи их не волнуют. Их не волнует, что наши прекрасные артисты выступают в пустых залах, а в школах недостает тысяч и тысяч музыкальных педагогов. Тут опять, как говорится, просматривается цель — запретить, подавить то, что не нравится.

— *А в музыке академической — драма, если не сказать, трагедия. Несколько поколений просто не воспринимают уже классику, с современным искусством — все еще сложнее. Становится непонятно, что и как будут наследовать наши потомки.*

— Вы говорите о публике... Но давайте поговорим о процессе передачи мастерства от профессионала к профессионалу; я имею в виду обучение в консерваториях. Тут тоже немало любопытного. У нас в Ленинграде, как известно, консерваторию основал Антон Рубинштейн, а памятники около нее — Римскому-Корсакову и Глинке. И очень хорошо, что памятники им там есть. Но Рубинштейну-то нет. Не могу не вспомнить слова Растрелли, который кончил очень тяжело и уехал из России после всего того прекрасного, что он здесь сделал и нам оставил. И там, на родине, его кто-то спросил: ну, вот вы так долго жили в России, какова ее главная черта, этой страны? И он ответил: неблагодарность. Резко ответил, конечно, но в общем-то — в отношении российской государственности — справедливо, и этот ответ не позабудешь...

— *Самое ужасное, что неблагодарностью платят не только Растрелли и Антону Рубинштейну, — нет, многим. Разве благодарны были Пушкину или Булгакову, да что там перечислять! Это нечто безотказное...*

— Это ведь тоже монопольный дух...

Вот прошел юбилей Модеста Петровича Мусоргского по-моему, самого актуального ныне русского композитора. В своих операх он схватил весь ужас нашей истории, бурлящей в низах. И та лава, которая кипит в операх этого титана исторической, а не только музыкальной мысли, — она сметала все на своем пути и в XX веке вела к тектоническим сдвигам. Так как же мы встретили юбилей самого мятежного нашего композитора — не на словах, а в воплощении его творчества? В основном «музейно», хотя были, конечно, и замечательные вещи, например «Борис Годунов» в Кировском театре. Я думаю, Борис Александрович Покровский на старости лет сотворил чудо. Он шагнул к тому Мусоргскому, к реальному. Я был на всех генеральных репетициях и на двух премьерах: я не мог от этого чуда оторваться. И надо сказать, оркестр играл прекрасно. Хотя и видно было, что между Ю. Темиркановым и Б. Покровским возникали разногласия, но это по-своему раскрывало объемность творения Мусоргского. Точность, выверенность и в то же время страстность

трактовки Темирканова — он весь был в музыке, она жила — парадоксально, но естественно поддерживая режиссерскую дерзость. На сцене образовывался удивительный синтез. Но какие были уклончивые, кислые отзывы! На приемке спектакля — тогда они еще практиковались — я, обычно говоривший в тех стенах о балете, встал и сказал: почему мы все хотим причесать? Почему нам нужен Мусоргский без бунта? Люди даже при самых «абстрактных» обсуждениях проявляют вот что: они хотят, чтобы революция была — но когда-то в прошлом. А она всегда с нами, пока мы не решили ее проблем. Разумеется, я не считаю, что нам сейчас нужен взрыв, — упаси, господь! Бунт, мятеж, взрыв — это трагедия. А нам необходимы глубокие, разумные и опережающие возможность такой трагедии реформы, — чтобы страна могла развиваться, а не деградировать, как это происходило множество лет. Но всю эту остроту надо сознавать, а не прятаться от нее, не загонять историческую энергию внутрь, откуда она рано или поздно вырвется со страшной силой. И вот, причесывая, размагничивая Мусоргского, мы омертвляем наше наследие. Потому что пытаемся представить его как имеющее только один смысл, причем порой в вопиющем противоречии с авторской мыслью.

Монополия мысли порождает разные формы организационной монополии. Как это делается? Просто. Приведу пример.

Как известно, едва ли не самый популярный сегодня у широких зрительских масс род театрального искусства — балет. Ваш журнал в свое время писал о балете немало. Но вот начал выходить в свет журнал «Советский балет» (казалось бы, замечательно!), — и «Советская музыка» (как и «Театр») — по своей ли инициативе? — почти оставила попечения об этом, смею думать, важнейшем музыкально-сценическом жанре! Что же произошло? Произошла монополизация общественного, профессионального мнения о целой области искусства. Потому что журнал «Советский балет» в течение уже нескольких лет дает лакированную рекламу танцевального искусства, а серьезно и дискуссионно заниматься им — такую задачу он, видимо, и не ставит перед собой. Вряд ли можно винить в этом только редакцию и возглавляющую ее Раису Степановну Стручкову.

Здесь помимо всего прочего необходимо понимание, что искусство развивается неравномерно. У него бывают периоды активные, бывают кризисы. Примеров тому тьма — достаточно напомнить, например, итальянскую живопись, которая совершенно поразительна в XV–XVI веках, а в XVII уже не то, — так это не компрометирует ни Италию, ни ее искусство. А мы со своим антиисторическим мышлением считаем, что «мы соплей березу перешибем», у нас все всегда развивается. На самом же деле есть поразительные высоты и есть падения, и это нормальное развитие искусства. Надо жить дальше и работать, а не заниматься бахвальством. Журналу, в редколлегии которого едва ли не все лидеры наших балетных организаций, казалось бы, и карты в руки — заниматься этой проблематикой. Ан нет, они сообща хвалят себя, хоть каждый отрицает другого.

— *Вы хотите сказать, что в рамках общего представления, будто «в области балета мы впереди планеты всей», каждый считает только себя виновником такого большого успеха?*

— Конечно. Насколько губительна такая позиция, свидетельствует, например, судьба Юрия Григоровича. Это — выдающийся балетмейстер. Когда он пришел в Большой театр, то принес туда живое дыхание современности, дерзкого искусства. Естественно, он делал то, что диктовал ему его талант, ставил спектакли так, как хотел. И так же естественно, что не все это принимали. Однако очень скоро вмешалась в дело логика административного диктата. В частности, был погублен, я думаю, самый замечательный его спектакль — «Лебединое озеро». Григорович поставил «Лебединое озеро» оригинально, свежо, точно используя ивановскую картину, многое перестроив, восстановив немало музыки Чайковского. Это был поразительный спектакль, это было настоящее открытие — такое прочтение классики, о котором можно только мечтать. Именно это живое творение и запретили. Как же реагировала труппа Большого, которая сейчас занимается столь активной политической деятельностью? Никак. Это проглотили. Никто на обсуждении не встал и не сказал: «Товарищи, что вы делаете? У нас произошло настоящее событие, удача. Зачем убивать живое?» Я помню, как мы уходили после просмотра, на котором Е. Фурцева изрекла роковое «нет!». Арам Ильич Хачатурян тогда ей сказал: «Екатерина Алексеевна, вы мне поверьте, этот спектакль ближе к Чайковскому, чем любой другой». Но как же было позволить свежего, необычного, неканонизированного Чайковского? Нет нужды повторять, что при всем гении Петипа, подтолкнувшего композитора к балетному творчеству, он не все «прочитал» в нем до конца. Да и никто не может сделать подобного — это хрестоматийно: каждая эпоха читает классику по-новому, и вот у нас нашелся художник, услышавший в музыке старого балета нечто свое и реализовавший новое видение и слышание. Ан нет, не нужно! Нужен раз и навсегда данный образец. Разве это не омертвление классики, разве это не развращение артистов, которых приучают воспринимать наследие как музейный экспонат? И разве это не сказывается на самом балетмейстере? И вот вскоре Юрий Григорович покровительствует кампании, которая поднялась против книги В. Гаевского (особенно резкой была статья В. Ванслоа). Книга, и на мой взгляд, небезупречна по части фактической точности, временами просто пристрастна и явно несправедлива к самому Григоровичу. Но творчество и хочет пристрастности, стало быть, не только близости, но и враждебности. Значит, надо спокойно, хоть и не без страсти, выяснить, кто ближе к истине, как понимать то или иное явление. Увы, все свелось к тому, чтобы заткнуть рот критике. Григорович стал на одну доску с теми, кто стремился помешать работать ему самому. И это тотчас отразилось на его творчестве, вот в чем трагедия. Кого тут обвинять? Я вообще не склонен обвинять, — я плачу. Если в предыдущем поколении хореографов был Якобсон, был Чабукиани, Лавровский в начальной поре своей был интересен, — то в моем поколении, конечно, Григорович возвышался над всеми и по дарованию, и по реально сделанному на сцене. И я сам много писал о Григоровиче и активно поддерживал его работы в Кировском театре, первые работы в Большом. Но когда появляется чисто придворная

критика, когда о любом спектакле Григоровича пишут, что он заведомо прекрасен, то прежде всего страдает хореограф.

— *Во всех подобных историях очень заметно и то, как люди предпочитают любить себя в искусстве. И у них возникает неодолимая потребность учить других уму-разуму, считая лишь свой опыт, лишь свое понимание вещей истинными.*

— Вы помните эпиграф к роману Хемингуэя «По ком звонит колокол» из Джона Донна? Все цитируют его финал: «...а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе». Но мало кто вспоминает предшествующую часть фразы, которая, на мой взгляд, важнее: «Смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством». До недавних пор мы были слишком уверены в том, что мы лучше остального человечества. Неважно, в каких формах выражается такая уверенность, — все они ужасны.

А надежда во всех областях жизни — и в искусстве также — на инакомыслие. Только тогда, когда станут реальными возможности творческого инакомыслия и инакодействия, в повседневных состязаниях раскроются реальные альтернативы, — только тогда осуществится поворот столь желанный и долгожданный. Пускай у каждого будет свой идеал, но ни один из этих идеалов не должен быть единственным — вот в чем проблема.

РЕЧЬ НА ПОХОРОНАХ В. М. ГЛИНКИ

Горько сознавать, что никогда больше не будет Владислава Михайловича, и тот бесспорный факт, что книги его еще будут читать, что его исследования сохраняют свою ценность, что созданные им экспозиции будут сохраняться и пополняться, что не пропадет след от помощи, оказанной им многим чужим работам, — не утешает. Владислав Михайлович принадлежал к редким теперь людям, которые не исчерпываются тем, что они знают и умеют делать, хотя он и знал и умел бесконечно много. Это был человек, который знал еще и разницу между хорошим и дурным, и сообразно с этим знанием строил свою жизнь и отношения с другими людьми.

Нас познакомил мой старый друг, художник, который сам незадолго перед этим познакомился с Владиславом Михайловичем ради консультаций по русскому быту, а подружился навсегда. Владиславу Михайловичу было тогда сорок с чем-то лет, был конец сорок девятого, может быть, пятидесятый год, времена были суровые, потом время смягчилось, потом ветер опять стал возвращаться на круги своя. Но Владислав Михайлович не менялся, никакие веяния на него не действовали, он сам формировал свои мнения.

В его исторических повестях и романах знаменитые исторические персоны проходят как-то боком, а в центре стоят, как он сам выразился, «средние людские судьбы», и это не случайно. Владислав Михайлович больше кого-либо из тех, кого я знаю, был убежден, что историю делают не только сильные мира, что ее ход зависит и от того, как поступаем мы, обыкновенные люди. Народ виделся ему не только в общем и целом, но состоящим из конкретных людей с разной мерой сознания и милосердия, и этим определялось его отношение к ним. Сам он, даже если для выбора оставалась очень малая площадка, следовал своим понятиям о жизни, — делал то, что счел правильным и не делал того, что счел неправильным.

Меня всегда поражала его способность ощущать сегодняшний день с его суетой принадлежащим истории. День еще не кончался, еще было светло, мы ходили взад-вперед по набережной Невы или Мойки, а Владислав Михайлович говорил о нынче происшедшем, как о подвигах двенадцатого года или деятельности графа Аракчеева.

Сам он вошел в историю наших дней, — теперь уже можно сказать «вошел», — не только как историк, хранитель истории в музее или исторический писатель, но как человек, проживший долгую жизнь, сохранив самостоятельность восприятия и живую душу, существование которой и другим помогало, по слову поэта, «жить и жизнь терпеть». Те, кто его знали, покамест мы живы, всегда будем ощущать, что его нет.

ОН ПРОЖИЛ НЕ ЗРЯ (Памяти Я.С.Лурье)

Познакомились мы, по-моему, за год-полтора до смерти Сталина и вскоре, вопреки четырехлетней разнице в годах, в тогдашнем возрасте значительной, подружились. К тому были предпосылки. Оба мы — дети научных работников, хоть и в разных сферах, и с детства соприкасались с соответствующей средой. Оба окончили исторический факультет университета, он — Ленинградского, я — Московского. Обоих занимало средневековье, его — больше русское, меня — западное, оба видели там аналоги современным событиям, и разговоры о давних днях, полные для обоих актуальности, вели к взаимному доверию в то время, когда никому доверять было нельзя. К тому же мы оба смолоду были отчаянными спорщиками, а спорить было о чем.

Самая наша возможность обучаться истории была удачей. Историческое образование в СССР восстановили лишь в 1934 году, и Яша, поступивший в университет в 1937, оказался среди первых его получивших, что отчасти и способствовало его раннему формированию как исследователя и быстрой, через год после окончания университета, защите кандидатской диссертации.

Но ко времени нашего знакомства это блестящее начало давно кануло в прошлое. Политическая реальность не оставила надежд на оплачиваемую работу по специальности — ни на преподавательскую, ни на исследовательскую. Когда умер Сталин, открытое ожесточение на время сгладилось, и Яша обрел постоянное место работы — сперва в Музее истории религии, потом в Пушкинском Доме. Почти сразу по достижении пенсионного возраста его оттуда уволили в связи с делом А. Б. Рогинского, обвинение которого тоже не было обременено доказательствами, да и среди инкриминируемых преступлений важнейшее место занимала подделка ходатайства о записи в читальный зал открытой библиотеки.

Более сорока лет мы не часто, но постоянно виделись и разговаривали об исторических и текущих событиях — то у него дома, то у меня, блуждая то по Комарову, то по Ленинграду. Восстановить былые разговоры, понятно, невозможно, но они крайне редко отдалялись от истории, давней или свершавшейся у нас на глазах. Даже о кино, которым, помимо прочего, занимался Яша, и о балете, которым занимался я, говорили обычно лишь если там задевалась история.

Однажды при публикации совместной статьи редактор просил дать к фамилиям авторов сноску, объясняющую, кто мы есть. Я бодро наступал на машинке: «Я. С. Лурье, доктор филологических наук, П. М. Карп, член Союза писателей, кандидат искусствоведения». (Яша тогда еще в Союзе не состоял.) Он взглянул на бумажку и, как всегда, без лишних церемоний произнес: «Это глупость. Во-первых, фамилии должны стоять по алфавиту, а во-вторых...» И, не договорив, сам после фамилии каждого вписал: «историк», «историк». Не то чтобы он гордился профессией, но принимал ее всерьез, считал, что ею надо

владеть, иметь профессиональные навыки, пройти профессиональную школу, видеть различия школ — различия не пафосные, а методические. Он порой вспоминал своих университетских учителей, особенно М. Д. Приселкова, вернейшего последователя А. А. Шахматова. К ним, заложившим основы научного исследования русских летописей, во многом восходили его научные принципы.

Вроде бы уже было ясно, что и на летописи есть печать времени и круга, в котором она возникла, что и суждения летописца, и факты, им описываемые, не могут приниматься на веру, отчего и невозможно просто извлекать из той или иной летописи примерчики в подтверждение заготовленных тезисов. Но далеко не все этому элементарному положению следовали. Об одном из популярных беллетристов Яша говорил, что он пишет русскую историю по образу и подобию Краткого курса истории ВКП(б), пользуясь широко эксплуатировавшейся тогдашней наукой методикой подбора. Для Яши, напротив, исторический источник сам прежде всего был подлежащим исследованию историческим явлением. Лишь разобравшись в нем, в его внутренних противоречиях, он мог на него опереться в своих истолкованиях событий. Тех, кто обходился иначе, он называл «проблемщиками».

Это, однако, не означает, что его проблемы не занимали. Достаточно заглянуть в его исследования русских ересей. Вот уж кто не был фактографом! Но проблемы начинались для него в самом источнике, а не в отвлеченных рассуждениях о законах исторического развития и всем таком прочем. Поэтому так важны были для него условия исследования, условия научного обсуждения. Отказ от публичности науки был для него отказом от науки. Когда его коллеги готовили книгу в опровержение не допущенной к изданию книги его близкого друга А. А. Зимина, датировавшего «Слово о полку Игореве» иначе, чем принято, Яша говорил мне: «Я не уверен, что Саша прав, но как можно это выяснить, не напечатав сперва его книгу, не выслушав его доводы и не опровергнув их, если даже у нас есть контрдоводы?» А ведь среди публикаторов опровержения неопубликованного были и люди весьма квалифицированные, но старавшиеся совместить преданность науке с нежеланием противоречить господствующей идеологии и не замечавшие, что наука при этом сама преобразуется в идеологию, которая все знает наперед. А наука только оттого и движется, что не все еще знает и раздвигает свои границы, не считает гипотезы, даже и весьма основательные, бесспорными фактами.

При этом сам Яша был человеком стабильного мировоззрения, восходившего к еще дореволюционной традиции. Он весьма ценил Каутского как теоретика и Мартова как революционера. Если пользоваться предреволюционными определениями, когда наименования партий соответствовали их позициям, он был социал-демократом. Большевиков он считал вульгаризаторами и отступниками от основных положений Маркса. Но любимыми его героями были Желябов и Перовская. Их портреты висели у него над столом. Как-то я заметил, что народовольцы больше похожи на большевиков, чем на Мартова. Ему это было неприятно. Я особо напирал на отличие «безумства храбрых» от разумных преобразований, отвечающих не

абстрактной «необходимости», но широкому осознанию этой самой необходимости. Он понимал это, конечно, не хуже меня, но ему трудно было с этим согласиться, трудно было преодолеть постоянно мучившее его противоречие. С одной стороны было его мировоззрение профессионального историка, остро ощущавшего многослойность исторического процесса, смену эволюционных полос и революционных вспышек в тупиках эволюции, а с другой — живые чувства, подавить которые в себе не помогает никакое знание. Может быть, только самосожжение Яна Палаха в Праге зимой 1968 после оккупации прояснило мне его отношение к народолюбцам. Они были для него не столько убийцы, сколько самоубийцы. То обстоятельство, что Желябов, уже бывший 1 марта в заключении и не избалованный в связях с остальными участниками процесса, сам попросил приобщить себя к делу о покушении 1 марта, и в самом деле означало самоубийство, от которого никакого реального прока уже явно быть не могло. Но он платил жизнью за то, чтобы объяснить свое противостояние власти. Конкретный ход истории, раскол в правящем лагере, перевес, который при устранении царя-реформатора получали его консервативные оппоненты и плодами которого вскоре воспользовался Победоносцев, отступали на задний план перед страстным желанием выкрикнуть, что есть в России не только та оппозиция, что мешает царю провести даже те умеренные реформы, которые он считал уже неизбежными, но и другая, безмолвная оппозиция, куда более значительная, но бессильная. Как-то я написал о необходимости отличать русских террористов, действовавших в отсутствие народного волеизъявления, от современных западных, отлично знающих народную волю, многократно выраженную на свободных выборах, но действующих вопреки ей. Яша тут же мне позвонил, считая, что я принял его позицию. Когда же я продолжал твердить, что, по странной закономерности, не только в тот раз проявившейся, стреляли не в Николая Павловича, а в Александра Николаевича, то есть не в того, кто тормозил ход истории, а в того, кто открыл ему хоть какие-то щели, и это важнее, чем благие намерения и личное бескорыстие, — он опять говорил, что общество, полагающееся на добрую волю правителя, не способное к демократической оппозиции, тиранию никогда не преодолеет. Это, разумеется, было верно, и мне оставалось лишь указывать на то, что в тот раз достижение цели к желанным результатам не привело, и, видимо, демократическая оппозиция должна не пресекать даже и ограниченные реформы, но обращать общество лицом к их ограниченности, а для этого нужны иные методы, во всяком случае, не террор.

Мы расходились не только в этом, и когда писали вместе, на выяснение собственных разногласий уходило больше времени, чем на возражения противникам, — противники у нас были общие, и тут договориться было проще. Но и в наших спорах он не пользовался доводами, лежащими за пределами рассматриваемого предмета, не выяснял, на чью мельницу истина льет воду, она была безотносительной ценностью.

Мировоззрение его в большой мере было марксистским, но дополнялось не ленинским, а толстовским пониманием России, более

близким к Марксу, высоко ценившему Руссо, во многом параллельного Толстому-мыслителю. Тут у нас было немало общего: Ленина он, как и я, считал волонтаристом, хоть и с выдающимся политическим дарованием, но Маркса мы оба ценили как мыслителя и исследователя, как сильнейшего инициатора материалистического понимания истории и, уже в силу этого, великого демистификатора ее обличий. Однако его социалистическую теорию, мысль об особом социалистическом строе мы воспринимали по-разному. Яша полагал, что такой строй возможен, но в результате развития общества, а не насилия над ним. Для меня же социалистическое движение казалось осмысленным лишь как стабилизатор буржуазных отношений, включающий в них механизмы социальной защиты. Яша то и дело мне объяснял, что наш порядок ужасен оттого, что не демократичен, а я все не мог сообразить, что же сделает социалистический порядок демократичным, если при общей собственности все сферы жизни будут подведомственны единому начальству, пусть даже сперва демократически избранному. Это было предметом самых жарких наших споров, в которых ни он меня, ни я его, так и не переубедили. Но я вспоминаю эти споры с благодарностью, ведь я получал едва ли не все возможные опровержения моих воззрений и, оспаривая их, утверждался в своей правоте. Яша был честным оппонентом и находил все новые и новые доводы, за которыми лежала неутомимая мысль о механизмах общества.

В пору расцвета шестидесятничества, когда его личные возможности как раз расширились, он сохранял скепсис и не надеялся на глубокие перемены общественной жизни, на способность правящего слоя измениться, и когда началась перестройка — его скепсис тоже не рассеялся. Может быть, только летом 1991, увидав толпы людей у Белого дома, он на какое-то время поверил в перемены. Как социал-демократ он ждал их от революции, сметающей деспотический порядок. Как-то, увидав у меня новую книжку Натана Эйдельмана «Революция сверху», он с горечью заговорил о том, как всем нам хочется, чтобы все обошлось хорошо. Он знал, что ни одна из многочисленных русских революций сверху так по-настоящему и не преобразила жизнь. Чтобы это произошло, необходимо ощущение если не уже начавшейся, то потенциальной революции снизу. Само по себе начальство не может сделать общество рациональнее просто потому, что в рациональном обществе для такого начальства не остается места. Свободная конкуренция несовместима с обкомами, совнархозами и промышленными министерствами. А когда я, не надеявшийся на революцию и оттого еще более скептический, ему говорил, что революционных сил, желающих свободной экономики, а не просто государственных субсидий, в стране нет, да и быть не может, поскольку общество не оправилось от того, что сто лет ожидавшаяся революция 1917 года обернулась обманом, он отвечал: «Таки плохо!»

Его не обольщали благие жесты начальников — ни Хрущева, ни Горбачева, ни Ельцина, вызывавшие порой массовое ликование в той части интеллигенции, к которой и мы принадлежали, — то есть непартийной и даже не просто беспартийной, а сочувствующей демократическому движению. Наблюдая вялое течение обещанных

преобразований, он чаще всего задавался вопросом: когда и как будет дан задний ход, и таковой не заставлял себя ждать. Мнения окружающих не сбивали его с толку. И каждый новый поворот побуждал его думать дальше. Понадеявшись, что Ельцин, отрекшийся от теории коммунизма, хоть что-то сделает, чтобы отойти от его практики, он не связал себя этой надеждой. Мы оба голосовали за Ельцина как наиболее приемлемого из кандидатов и в 1991 радовались его победе над ГКЧП. Но когда в 1992 в конце весны я опубликовал статью «Булат и золото», о том, что произведенная либерализация цен при сохранении государственной монополии производства не разрешает кризис, но лишь позволяет государству за счет граждан его чуть отодвинуть, и позднее, когда я писал об отходе Ельцина от демократических преобразований, Яша был одним из немногих, у кого я находил поддержку.

В отличие от многих наших общих знакомых, искавших разнообразные оправдания чеченской войне, его отношение к ней определилось с первого мгновения, с первого въезда якомы чеченских танков в Грозный, и даже до того. Когда я сетовал, что с людьми, долгие годы казавшимися единомышленниками, невозможно стало говорить, он невесело посмеивался и напоминал о великой очистительной силе даже и относительной свободы. При Сталине некоторые подличали ради спасения жизни, порой даже не собственной, а близких, и вот обретя несопоставимую с тем временем свободу, приблизившись к начальству, делают то же самое уже добровольно. А уверяют, что марксизм опровергнут и классовых интересов нет.

Он не обольщался, он хотел видеть время таким, каким оно было, совершенно так же, как историю — такой, какой она была. В суждениях о современной политике он опирался на свое понимание механизма деформации людских суждений, понимание того, что два летописца излагают одно и то же событие по-разному не только потому, что один при одном дворе, а другой при другом, и, тем более, не потому, что один злой, а другой добрый. Он знал, что жизнь общества в целом и мелких сообществ внутри него трансформирует людские суждения, и историку надлежит пробиться к происходившему, а политику — к происходящему на самом деле. Это и был профессиональный подход к предмету, почитаемому ныне самоочевидным. При таком профессиональном подходе становилось ясным, что спор о вещах не адекватных реальности и вообще частных на самом деле был спором о реальности и даже о самых острых ее вопросах. Я рассказал ему, что мой университетский учитель С. Д. Сказкин, начав было семинар по истории католической церкви, вскоре, к сожалению, прикрытый, словами одного из отцов церкви говорил нам, студентам: вы представьте себе, что вы идете на базар покупать рыбу, а там продавец спрашивает: «Единосуц Господь наш Отцу своему или подобосуц?» и в зависимости от ответа продаст вам рыбу или нет. И хоть не только к Сказкину, но ко всей нашей московской медиевистике — а Сказкин был учеником А. Н. Савина, который в свою очередь учился у П. Г. Виноградова, — Яша относился без особого почтения, это ему понравилось.

Сам он в бога не верил и религиозности — и философской, и бытовой — был совершенно чужд. Ни утверждение, ни отрицание бытия божия его не занимало, равно как и общение с другими потусторонними силами и сверхъестественными явлениями. Но церковь как земной, идеологический институт очень его занимала, и он сочувствовал еретикам, веровавшим куда истовой ортодоксов. В относительно ранней Яшиной работе о ересях, совместной с Н. А. Казаковой, в написанных им главах большое место занимает гонитель еретиков Иосиф Волоцкий, и в тексте вы часто читаете «Иосиф сказал...» или «Иосиф признал...», а то, что за этим следует, мог бы произнести совсем другой Иосиф, еще лежавший рядом с Лениным в мавзолее. И то были не аллюзии, но типологические подобию, которые исследователь не замазывал, а показывал. Не он ведь придумал их поразительное сходство в манере отвечать на инакомыслие. Церковь была для Яши партией, а государственная система с единственной легитимной религией — однопартийной системой. Как-то мы говорили о том, что церковь от Ивана IV до Петра I все более откровенно срсталась с государством, превращаясь почти в агитпроп, и тут Яша вспоминал о преимуществах католичества, до такой откровенности не дошедшего даже в средневековье, а с конца XIX века искавшего новые подходы к человеку, позволившие ему усилить свое влияние. Не само по себе свободомыслие, но восприятие религии как общественной мысли, тоже способствовало нашему взаимопониманию и общему пониманию тех причудливых форм, в которых эта мысль живет и движется и в которых общество себя сознает.

Сходным образом, по-моему, рождался у него интерес к Ильфу и Петрову или Булгакову, которые тоже были еретиками, хоть и противоположного друг другу толка, но, по самому своему противостоянию господствующей догме, сходились не только в коридорах газеты «Гудок», где работали, но и в понимании реальной жизни. Однажды Яша мне рассказал, что в компании сослуживцев, бранивших Булгакова за реакционные взгляды, Ильф, вступившись за него, то ли шутливо, то ли всерьез, сказал: «Не трогайте Мишу, он уже признал отмену крепостного права». Вроде бы подразумевалось, что со временем он признает и Октябрьскую революцию. Между тем, сам Ильф, как и Петров, ее признал изначально, но то-то и оно, что на этом они не остановились. Сюжет их первого романа держался тем, что бриллианты мадам Петуховой, которых Бендер с ее зятем так и не обнаружили, пошли на постройку клуба. Но в написанном следом «Золотом теленке» Бендер ищет уже не сокровища бывших людей, а миллион нового миллионера, так и хочется сказать «нового русского», Корейко, сколотившего миллионы в советском государстве. Ссылаются подчас на то, что воспользоваться ими для красивой жизни ни Бендеру, ни Корейко не удастся, но забывают, что, в отличие от Бендера, Корейко продолжает жить со своими миллионами и в управдомы не перекалфицируется. Когда Остап уговаривает отдать ему желанный миллион за утрату веры в человечество, эта утрата синонимична утрате веры в советскую систему, которую испытал уже не только герой, но и сами авторы, что подтверждается их многочисленными фельетонами. Ильф и Петров занимали Яшу не только как «художники

слова», но и как внимательные и думающие наблюдатели реальности. И Булгаков, двигаясь от «Белой гвардии» к «Мастеру и Маргарите», хоть и с другой стороны, шел к познанию все той же советской реальности. Исходно разные, почти противоположные писатели сходились в восприятии свершавшегося, и для исследователя общественного сознания это было важнее всего.

Параллельное исследование совсем вроде бы разного и обнаружение там и тут совпадающего было важным свойством его научного мышления. Ему было чуждо распространенное деление исторических явлений и персонажей на добрых и злых, хотя от того, что они на глазах менялись местами, легче ему не становилось. Не приемля большевизма и советской власти, он не находил общего языка и с теми, кто норовил заменить их монархизмом и державностью — то в коммунистическом одеянии, то вместо серпа и молота с двуглавым орлом под тремя коронами. Для него и эти противоположности были скорее схожими, чем несовместимыми. Стремление изобразить советские годы всего лишь недоразумением, ошибкой вызывало, у него раздражение. Он знал, что история пишется набело, и ее конкретное течение — плод той реальности, того соотношения сил, того сознания, которые наличествуют. Но это отнюдь не значит, что он был абсолютным детерминистом и считал свершившееся единственно возможным.

Мы много и часто спорили об альтернативах осуществившейся истории, о возможности иного развития, и он соглашался, что сопоставительные исследования сходных процессов в разных странах позволяют такие альтернативы обнаружить и понять, почему не они возобладали в том или ином случае. Человек не был для него лишь объектом исторических сил. Вслед за Львом Толстым он видел в нем «дифференциал истории», движущую частицу этих сил, которая, соединяясь с другими не только в мятеже, но и в согласии на привычную жизнь, определяет течение событий. Он категорически отвергал придание большой значимости историческим персонам. Я не преуспел в стремлении убедить его, что при сложении этих дифференциалов они не вполне равновелики, и подобно тому, как в разные времена различна значимость социальной роли тех или других слоев, — в иные мгновения отдельные люди определяют куда больше, чем остальные, хоть от этого, конечно, не меняется общее направление истории той или иной страны, как воображают последователи учения Ленина о партии или учения Гумилева о пассионарности. Не только привитый воспитанием демократизм, но и опыт историка мешали ему согласиться, что безмолвное большинство не участвует в текущей истории.

Ленин и Гумилев были антиподами его понимания истории. Однако, открыто выступая против нового евразийства Л. Н. Гумилева, он менее всего спорил с его общими концепциями. Доклад, с которым он выступил в Ленинградском филиале Института истории, поразил собравшихся тем, что, минуя взгляды и концепции, он ограничился рассмотрением фактов, на которые Л. Н. Гумилев опирался в своих построениях русской истории. Доклад демонстрировал, что эти «факты» либо вообще не имели места, либо это были совсем иные

факты. Не то что просто неверна была их интерпретация, но совсем иным был на самом деле конкретный ход вещей. Один из слушателей, математик по основной профессии, страстный поклонник Гумилева, в прениях сказал, что не может опровергнуть ничего из сказанного докладчиком, но, на его взгляд, теоретическая концепция Гумилева все равно справедлива и он в нее верит.

Здесь ярко проступила чуждость Яшиных подходов к истории распространенному свойству российского мышления, дорожащего не так фактами, как верой. Многие нынче говорят, что беды России от того, что не стало веры, но говорящие это плохо знают Россию. Я, напротив, думаю, и в этом мы всегда были согласны, что беды России именно от избытка веры, от непомерного доверия к идеологии, светской или религиозной, подменяющей индивидуальное мировоззрение и собственное мышление. Мне-то, кстати сказать, Л. Н. Гумилев как раз и представляется одаренным сочинителем идеологических мифов, сказок, унаследовавшим художественные таланты матери и отца, но отдавшим их фантастическим повествованиям, только не о будущем, как Рэй Бредбери или Станислав Лем, но о прошлом, известном нам все же и по более достоверным источникам. Эти фантастические сказания о былом удовлетворяют нужду растерявшихся сограждан в вере, которую по разным причинам ортодоксальная религия удовлетворить не может.

В одной из последних статей Яша проделал блестящий анализ индивидуального мировоззрения А. И. Солженицына, сыгравшего незаурядную роль в формировании российского сознания последней трети века.

Отношение к Солженицыну остается непростым. Для одних он по-прежнему «злостный антисоветчик» и «враг России», для других — пророк, для третьих — человек, время которого миновало. Яша не примкнул ни к одной из этих концепций, он написал об эволюции взглядов Солженицына, о том, как менялись эти взгляды, а они менялись вместе со временем, с реальными возможностями что-то практически сделать, что-то изменить. Когда читаешь эту статью, становится понятным, почему Солженицын, такой пронизательный критик советского режима, так беспомощен в своих советах, как этот режим преодолеть. Но мы не начинаем относиться к Солженицыну хуже. Более того, мы ощущаем трагизм его пути и сочувствуем ему, даже не разделяя его воззрений на нынешнее положение вещей. Реальное, а не фантастическое самосознание нуждается в опоре на реальную историю, и назначение историка в том, собственно, и состоит, чтобы помочь людям видеть реальность, реальность того, что с ними делают, и того, что они сами делают. Без этого, без ощущения своего места в истории можно сочинять призывы, лозунги, позиции, религиозные, нерелигиозные, марксистские, немарксистские. Не в этом же дело! XX век показал, как любая позиция, любая система взглядов, даже преисполненная благороднейших стремлений, оборачивается ужасными злодействами, бесчеловечностью. Вот и приходится видеть вещи, как они есть, а для этого видеть их не только в сегодняшнем свете, не только в модном ныне «синхронном срезе», но и понимая,

отчего так случилось, что к этому привело и куда ведут сегодняшние действия.

Яша прожил жизнь не слишком заметную, как говорится, скромную и не очень стремился стать заметным. Ему лишь хотелось ввести свои взгляды в более широкий круг людей, чему мешали не только известные качества нашего политического порядка, по природе своей не допускающего независимой, не уложенной на предугазанное место мысли, тем более не кричащей о своей безошибочности. Но его смерть, смерть человека, которого не так уж много людей знало, — утрата не только для меня, знавшего его более сорока лет, но и для страны, и для всех тех в этой стране, кто хочет понять, что с ней происходит. А я убежден, что таких будет все больше и больше, ибо выйти из нынешней ситуации, не понимая, в чем она состоит, невозможно.

Он сетовал, что за рубежом, где его собственные работы как раз получали признание, Россия, даже и в годы холодной войны, оставалась на периферии сознания. Ею, главным образом, интересовались, пытаясь понять, сколь вероятен переход русских танков через Эльбу и как можно его предотвратить. А его интерес к русской истории определялся не только тем, что в России он родился и здесь прошла его жизнь. Он ощущал, что Россия — особенная страна вовсе не из-за особенного, якобы, типа развития, но, напротив, место самых открытых стычек и столкновений между разными типами жизни, происходящих, вообще говоря, и в других местах. Однако здешние битвы бывали особенно жестокими, и за каждый шаг прогресса приходилось платить непомерную цену, не говоря уже о вскорости бравшей свое реакции.

Последний раз мы виделись незадолго до Нового 1996 года. Я уезжал на три-четыре месяца, и мы обменялись последними впечатлениями. Говорили, конечно, о предстоящих президентских выборах, и я настаивал, что во втором туре надо голосовать и против Ельцина, и против Зюганова, которые во второй тур пройдут. Яша отвечал, что оно и верно, да очень велика опасность победы коммунистов. Я стоял на том, что у коммунистов есть предел, который им еще не переступить, и только отвергнув авторитарность под любым флагом, можно надеяться на формирование действительно демократических, действительно реформаторских сил. А он отвечал, что еще не решил. Давно я не видел его таким мрачным.

В марте его не стало, голосовать ему не пришлось, но голос его остался, и написанное им еще пригодится желающим понять наше отечество.

Он не зря прожил жизнь. Уже самой этой жизнью, а не только своими работами, он опровергал распространенную ложь, будто все люди в стране, за вычетом открытых диссидентов, сначала любили царя, потом верили Сталину в том, что надо было грабить крестьян, депортировать инородцев и насаждать единомыслие, а потом опять же все поняли, что надо делать как лучше, хоть и получается как всегда, как уверяют нынче бывшие секретари областных комитетов партии и школьных комитетов комсомола.

Но Яков Соломонович Лурье так не считал и ни в комсомоле, ни в партии не состоял, хоть и в общепринятом смысле диссидентом не был. Он думал и считал иначе. И в России немало было таких людей, пусть не оставивших столь значительных следов в своих работах, какие оставил он. Он ощущал наличие в стране подобных ему людей, думающих в тех же направлениях, и это тоже подталкивало его писать в надежде, что прочтут. И хоть русская революция опять не состоялась, русская демократия опять не родилась и мы вернулись к авторитарным порядкам, его еще прочтут, мысли его еще пригодятся не одной науке, но и социальной практике.

ОПОРА САМОСОЗНАНИЯ

Давно прижилось у нас выражение: начальству виднее. Жизнь России определялась сперва указами царей, потом указаниями Политбюро. Исполнительная власть была сама себе законодательной, а судебная не признала презумпцию невиновности, отчего и поныне у нас нет разницы в положении подсудимого и осужденного. Российская власть все знает наперед. Конечно, потом выяснят, что она ошибалась, и новые лица признают старые ошибки, в полной уверенности, что теперь-то они и впрямь знают все.

Начальственный образ мыслей уродует, однако, не только поведение прокуроров и омонцев, но, становясь всеобщим образом мыслей, вторгается даже в как будто невозможную без независимости науку. Физику спасла ядерная угроза. Уже биология устоять не смогла. А история, которой бы и объяснить ущербное устройство нашего общества, с такой задачей явно не совладала. И до революции, и особенно после она исходила не так из конкретных реальностей, как из примата законов исторического развития перед несообразной с ними очевидностью. Законы почитались разные. Одни ориентировались на Священное Писание, другие – на Маркса, третьи — на волнующую, как степь, собственную фантазию, но различие это не столь существенно, как часто кажется, поскольку закон всегда при этом имеет преимущество перед фактами, которые он не в состоянии объяснить.

И все жё всегда находились историки, для которых наука начиналась с выяснения того, что мы действительно знаем, и обозначения того, что лишь предполагаем, что неясно и даже сомнительно. Процессуальный кодекс исторической науки — критика источника — был для таких точкой опоры. И до революции, и в советские времена среди историков были не только продавцы официальной правды, но также искатели достоверного знания, сознававшие, что в схожих обстоятельствах сходные результаты отнюдь еще не гарантированы уже потому, что мера схожести не везде одинакова, да и другие наличные силы проявляются по-разному. Факты, не укладывающиеся в законы, опрокидывают эти законы, и конкретные истины определяют общие, а не наоборот, что в конечном счете и дает исследователю преимущества перед догматиком.

К искателям достоверного знания принадлежал и недавно скончавшийся Яков Лурье, и это наглядно подтверждается посмертной

книгой «Россия древняя и Россия новая». Соединение под одной обложкой специального исследования «История России в летописании и в восприятии нового времени» с почти публицистическим сочинением «В краю непуганых идиотов (книга об Ильфе и Петрове)», впервые вышедшим в 1993 году за рубежом и под псевдонимом, сперва удивляет. Но потом понимаешь, что за этим странным сближением не только диапазон автора, но и природа занимавших его проблем.

Еще великий Шахматов положил начало умению извлекать из русских летописей, основного источника сведений об отечественном средневековье, их конкретное содержание, нередко затуманенное политическими страстями и мирскими интересами летописца и переписчиков. Содержательное чтение летописей было продолжено крупными учеными, среди которых и М. Д. Приселков, университетский учитель Якова Лурье. Однако поныне история продолжает жить легендами, не считая обязательной основой реальное знание. Из летописей часто извлекают лишь удобные к случаю примеры, их приводят потребительно. Лурье такому конструированию истории изначально противился. А последние годы посвятил и целенаправленной работе по сопоставлению летописных известий и новейшей историографии. Образцом стала уже книга «Две истории Руси XV века», побуждающая иначе, чем принято, взглянуть на ключевой, возможно, век отечественной истории. Последняя работа посвящена более общему рассмотрению чтения летописей и более ранним векам.

Наряду с теоретическими предпосылками достоверного чтения здесь проясняются и вполне конкретные проблемы, прежде всего связанные с монгольским нашествием. Не секрет, что для иных наших современников его как бы и не было. Другие, хоть и не отрицают разорения Руси, тоже напирают на то, что в итоге утвердилась могучая военная держава — Российская империя. Но подход к истории как результату целевых установок как раз более всего чужд Якову Лурье. Историческое развитие, на его взгляд, совершается в ходе конкретных деяний людей, часто даже не сознающих, в какой мере их конкретная деятельность далека от искренне провозглашенных установок. Коллегам, уверяющим, что никакого ущерба «кратковременный» (не говоря о возобновлениях его на протяжении двух с лишним веков) монгольский набег Руси не причинил, что летописцы якобы преувеличили страдания, выпавшие на их долю, Лурье напоминает, что о разорении Руси сообщают и летописцы тех мест, где завоевателей не было, не было причин разорение преувеличивать, что Новгородская летопись, независимая от других, говорит то же, что Владимирская и южные.

Не менее важна и демонстрация отношения тогдашних русских людей к завоеванию, отнюдь не сводившегося, вопреки нынешним уверениям, к выражению покорности, согласия и чуть ли не восторженного их приема. Напоминая о борьбе между Александром Невским и его братом Андреем Ярославичем, Лурье поворачивает читателя от внешнего взгляда на Русь к ее внутренней жизни. И мы видим, что народ отнюдь не ликуя встречал двухвековое рабство и не думал тогда, что оно принесет абстрактное будущее величие, но в

меру возможного продолжал отстаивать независимость и культуру, обретенные Киевской Русью. Истинная история русского народа именно с нее и начинается, а вовсе не возникает заново с утверждением на русской земле монгольской державы. Признавая, что не всегда борьба за освобождение была успешной, исследователь, в отличие от многих, не закрывает глаза на народное самосознание, на понимание людьми необходимости этой борьбы.

Как историк идейной жизни, знаток еретических движений средневековой Руси, Лурье видел в народном самосознании, в понимании людьми реально происходящего и над ними проделываемого, едва ли не важнейший предмет для историка не только давнего, но и нового времени. Это и обратило его к изучению творчества Ильфа и Петрова, рассматриваемого в силу их популярности как исторический памятник народного самосознания советской эпохи.

Наше литературоведение редко любопытствует, в какой мере писатель не только нашел новые способы отображения жизни, но только углядел ее характерные черты, но проник в сущность происходящего. Яков Лурье сосредоточен именно на этом, и видит, что популярность молодых юмористов более всего была вызвана зорким проникновением в самую суть советской системы. Решительно отвергая царский строй, возлагая на победу советской власти большие надежды, веря гуманистическим обещаниям, которые она, а точнее ее теоретические основоположники («эти бандиты Маркс и Энгельс») сеяли, Ильф и Петров именно поэтому острее других, за вычетом разве Андрея Платонова, тоже сперва питавшего надежды, воспринимали крушение надежд и обещаний и задумывались, чем новая власть обернулась.

Если в «Двенадцати стульях» преобладали остроумные догадки, то в «Золотом тельняшке» система выглядит сформировавшейся, а фельетоны, подобные «Клопу», ведут ее открытое бичевание. Писатели именовали систему бюрократической, и Лурье прозорливо подмечает, что Остап Бендер, обретая желанный миллион, терпит поражение вовсе не от обещанного идеального порядка, но от порядка бюрократического, где власть чиновничества попирает человека еще беспощадней, чем власть денег. Лурье показывает, что при всем различии отношения к «проклятому прошлому» этот критический пафос объединял Ильфа и Петрова с Булгаковым, напоминая, что и лично они были в числе немногих, кому он читал последний роман.

Иные литературоведы, враждебные ныне большевизму, до сих пор, однако, следуют большевистскому делению людей, и писателей в частности, на «красных» и «белых» и раз навсегда противоставляют «красных» Ильфа и Петрова «белому» Булгакову, даром что Булгаков (хоть и по-иному) не только в «Днях Турбиных» возлагал на советскую власть определенные надежды. Даже в «Собачем сердце» симпатичный ему персонаж заявлял: «Городовой! Это и только это. И совершенно неважно, будет ли он с бляхой или же в красном кэпи». По логике таких литературоведов на Булгакова, видимо, следует взвалить ответственность за последующую деятельность «городовых в красных кэпи», возглавлявшихся Ягодой, Ежовым и Берией. Яков Лурье

примитивное деление на «своих» и «чужих» отвергает и показывает, что Ильф и Петров различали не только обреченность царского режима в его упрямом сопротивлении переменам, но и сходство и даже преемственность царского и советского, сложившегося под флагом перемен, режима.

Хлебнув ужасов советской жизни, многие ныне замалчивают и даже приукрашают царскую власть. Для Якова Лурье, напротив, советская власть дурна именно тем, что не только не избавила людей от прежних ужасов, но сама, под новым знаменем, их многократно усугубила. Здесь проступает важнейшая, быть может, грань между ревнителями тех или иных общественных порядков, все разное «красных» или «белых», и ученым, исследующим общественное бытие и общественное сознание не по лубочным картинкам и декларациям, но как они есть.

Чаще всего Ильфа и Петрова бранили за изображение квартиранта Вороньей слободки Васисуалия Лоханкина, объявляемого при этом ни больше ни меньше как олицетворением русской интеллигенции и пародией на нее. Лурье на это возражает, не только указывая на самозванство изгнанного из пятого класса гимназии Лоханкина в качестве интеллигента, не только напоминая, что Ильф и Петров, в отличие от многих современников, «ни разу не выступили против конкретных интеллигентов, враждебных официальной идеологии и претендовавших на собственное мнение», и вообще «ни разу не написали ни о коллективизации, ни о вредительстве, ни о политических ошибках своих коллег». Он подчеркивает, что Васисуалий, рассуждая о своих страданиях, все время ищет в них «великую сермяжную правду», и если уж причислять Лоханкина к интеллигенции, то лишь к той ее части, которая всегда была готова признать «сермяжную правду» любой силы, взявшей верх в тот или иной исторический момент, и противостояла интеллигенции, которая подобным «требованиям момента» сопротивлялась и отстаивала либеральные ценности. Лурье относил к ней и самого Остапа, открыто говорившего: «У меня с советской властью возникли за последний год серьезные разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Что я каменщик в фартуке белом...» Последняя фраза из стихотворения Брюсова, где каменщик в фартуке белом строит не что иное, как тюрьму, явно ассоциирует ее в устах Остапа с социализмом, отчего эту фразу о каменщике уже во втором издании и в последующих пришлось изъять.

Можно, конечно, сказать, что капитуляция перед цензурой тоже капитуляция перед властью, то есть «сдача и гибель» интеллигенции. Именно так полагал упорно пытавшийся обойти цензуру выдающийся политический писатель советского времени Аркадий Белинков, обличавший подобную сдачу и гибель в убеждении, что настоящая литература может существовать только вне всякой цензуры. В идеале оно, разумеется, так. Но Лурье, обращенный к реальности, справедливо напоминает, что цензура появилась в России задолго до большевиков и без цензуры русская литература жила лишь от 1905 до 1917 года, что все же не помешало ей еще в XIX веке стать великой.

Важное место в книге занимает и спор с крайней позицией, занятой О. Н. Михайловым или М. О. Чудаковой, без лишних доказательств объявившими Ильфа и Петрова исполнителями идеологического партийного задания. И опять Лурье не только демонстрирует отличие реальных взглядов писателей от партийной идеологии, но и указывает на то, что их книги, не в пример директивным идеологическим сочинениям, и при появлении не были одобрены партийной критикой, а после войны их переиздание даже объявили идеологической ошибкой и читателей отлучили от писателей на десятилетие. Их переиздавали лишь после XX съезда. Но тогда издали даже два собрания сочинений Бунина, который всяко был не исполнителем идеологических заданий КПСС, а эмигрантом.

Ищущий достоверного знания историк видит лучше отдавшегося пристрастиям литературоведа уже в силу большей приверженности фактам. Монгольское иго многое погубило на Руси, но остается фактом, что богатырский эпос уцелел — может быть, именно потому, что память о былой самостоятельности поддерживала в людях надежду. Двадцатый век оказался мучительным для России во многом именно потому, что наследие силовой державности так и не было преодолено, а в спорах о судьбе отечества и царская власть, и особо усердные ее противники самым убедительным доводом считали насилие. Понятно, что судьба литературы и самой истории не могла не быть при этом трагической.

Можно, понятно, счесть, что Ильфу и Петрову повезло, поскольку оба ушли, не дожив до сорока: один в апреле 1937-го умер от туберкулеза, другой погиб на войне в июле 1942-го, а свои романы они успели написать молодыми и выпустить на рубеже нэпа, еще не до конца вытравленного. Но трудно назвать другие книги, напечатанные в советскую эпоху и сыгравшие столь значительную роль в осознании гражданами мира, в котором они жили. Разлетевшиеся острые словечки не просто потешали, но побуждали точнее ощущать окружающую жизнь, прокладывая мостки к умственному освобождению, пробуждая народное самосознание.

Специалисты по русской истории и советской литературе, конечно, прочтут последнюю книгу Якова Лурье. Но она важна не только как ученый труд, обращенный к профессионалам, и хотелось бы, чтобы ее прочел более широкий читатель, которому она послужит опорой для понимания неоднозначных, событий нашего времени и своего места в нем.

СОВРЕМЕННАЯ ТРАГЕДИЯ

Успех виларовского «Дон-Жуана» бесспорен. Ему, разумеется, способствовала политическая актуальность приезда французского театра в СССР и общее сочувствие мирным перспективам. Однако, прежде всего это успех художественный. Но не новизна — относительная после Мейерхольда и Таирова — театральных форм, не прелесть костюмов, даже не мастерство актеров, среди которых вместе с посредственными есть, и, начиная с самого Вилара, просто превосходные, поражает прежде всего. Поражает умение быть актуальным. Чувства времени в мольеровском спектакле больше, чем в иной современной пьесе. Мы не сетуем на Вилара за то, что не увидели нынешних французских авторов. Довольно «Дон-Жуана», чтобы убедиться, что театр его современен — а это ведь и значит народен.

Наши доброжелательные рецензенты увидели в спектакле разоблачение цинизма. Это правда, но лежащая в стороне, да и не очень глубоко. Актуальность Вилара не в том, что он морализует, да и неизвестно, когда для этого было больше поводов — при Мольере или ныне. Нет, не разоблачение пороков героя занимает Видара. Актер первой величины не стал бы так щедро наделять героя собственным обаянием лишь для того, чтобы его разоблачить. Вилар не только любит сам, но и нас заставляет полюбить во всем разочарованного, и ни во что не верящего, и все же столь непосредственного и увлекающегося в делах любви, не говорю уже столь прямого и бесстрашного, человека. Нет, виларовский дон Жуан не мерзавец, подлежащий наказанию, а если он и циник, то только потому, что, ни во что не веря, невольно станешь хоть в какой-го мере циником.

Что может остановить дон Жуана? Ведь жизнь так же прекрасна, как Шарлотта и Матюрина, а сухая мораль так же безжизненна, как изрекающая ее Эльвира. Быть моральным для того, чтобы быть моральным? Это дон Жуана не устраивает. Жизнь слишком привлекательна. Циник и скептик, он это знает. И в стремлении, пусть разочаровавшись, вновь и вновь ею наслаждаться, его не остановит ничто. Даже смерть.

Это страшно — световые колонны, неизвестно даже существующие ли, и какие-то ассиметричные, и кивающая статуя командора. Мороз проходит по коже — это уже не шутки. Но он переступает и через это — не по аморальности, а просто как человек, которому нечего терять, считающий — а почему бы и нет? Но приходит смерть — уже не мистическим (и напрасно, кстати сказать, появляющимся) видением, а в самой грубой натуре — мертвый герой валяется посреди сцены. Умер. Все прелести жизни потеряли для него смысл.

Что же, прикажете воспринимать это как наказание за цинизм? Как выражение правоты Эльвиры, дон Луиса и всех остальных моральных персонажей? Нет, ничего подобного. Слишком бледны они в виларовском спектакле, слишком мало места отвел им режиссер,

исполняющий заглавную роль, чтобы поверить, что они-то и оказываются истинными героями пьесы. Слишком уж они неинтересны. Моник Шометт вовсе не плохо играет Эльвиру, напрасно ее упрекали критики! Она играет именно то, что нужно режиссеру Вилару. Ее героиня скучна и пресна, и нет таких моральных правил, которые заставили бы ради нее забыть, как чертовски хороша жизнь. Персонажи, противопоставленные дон Жуану и обличающие его, мелки и не стоят того, чтобы, с ними солидаризоваться.

Но что же? Ведь смерть в самом деле страшна, никуда дон Жуан от нее не ушел, никуда от нее не уйдешь, прелести жизни не дарят бессмертия, все мы все равно издохнем — это что ли хотел сказать Вилар своим «Дон-Жуаном»? В чем же наконец смысл его обращения к легенде? Смысл этот в истории легенды не столь уже оригинален, но по-прежнему правомерен.

Дон Жуан Вилара выше всего, что его окружает. Он, прежде всего, незауряден. Он выше, на самом деле, а не только в силу цинизма, навязываемой ему плоской морали: не поступай дурно, будь добрым христианином. Он одинок. Его скепсис — скепсис индивидуалиста, неудовлетворенного окружающим и понимающего его ограниченность. Его увлечение жизнью — увлечение одиночки, радующегося ярким цветам, попадающим в поле его зрения. И в том и в другом дон Жуан Вилара по-своему — что остается на его месте — прав, в этом секрет его обаяния, от которого не так легко отделаться.

Но при таком подходе к жизни смерть всегда окажется крушением правоты — мертвеца не воскресят ни былой скепсис, ни былые наслаждения. Крах Виларовского дон Жуана не наказание аморальности, а крах одиночества. Это не бессмысленность жизни вообще, а бессмысленность жизни для себя одного. Потому-то крик Сганареля: «Мое жалованье! Мое жалованье!», смешной у Мольера, не смешон, а страшен

Вилара не устраивает ни жизнь для других, которую предлагают его герою, ни та, какую современное общество предлагает ему. Над этим он смеется вместе с героем. Где же выход? Об этом Вилар здесь не говорит, не будем гадать, знает ли он ответ. Во всяком случае очевидно, — в этом и состоит трагический смысл спектакля, в отличие от мольеровской пьесы, — по Вилару для самого по себе человека и самая забавная жизнь не стоит ни гроша. Нынче нет более актуальной темы. О ней говорит не один Вилар, но он очень остро ощущает ее ужас.

И выходя из театра, мы долго еще не можем расстаться с друзьями, которых там встретили, стоим на улице, споря о Народном Национальном театре, идем домой пешком, и все это только для того, чтобы еще раз убедиться, что мы и в самом деле не одиноки.

ПРЕДЕЛЫ ПРЕЙСКУРАНТА

Человек живет среди людей. И отношения его с ними, с каждым по отдельности и со всеми вместе, регулируются по-разному. Все больший вес обретают теперь внутренние стимулы: чувство долга, чувство достоинства, чувство чести, и высший среди них — совесть. Этим старинным словом мы поныне обозначаем способность к нравственному самосознанию, умение ощутить, чем станет всякий твой шаг для других людей, для общества. Вот почему новый спектакль Театра комедии «Родственники», пусть и не вовсе безупречный, возбуждает интерес.

Популярные комедиографы Э. Брагинский и Э. Рязанов исследуют жизнь осмотрительно и осторожно, но ничего не замазывая, напротив, даже с некоторой дерзостью. Директор рыбного магазина Фёдор Сергеевич Буров, к примеру, для них начальник не только по должности, но и по профессии и по призванию. Готовность обеспечить рыбкой нужного человека, на языке административном именуемая «злоупотребление служебным положением», подымается в этой пьесе до высот преступления против нравственности.

Но спектакль не вызовет негодования. Мы не ополчаемся вслед за авторами на директора Булова. И даже к его несостоявшемуся зятю относимся лишь с брезгливостью. На такой уж лад настраивает режиссер Петр Фоменко.

Противоборство режиссерского искусства и драматургии не новость. Возникнув как подспорье драматургии, режиссура добилась в современном театре равноправия и нередко даже верховенства - без режиссера новой пьесе часто и не выжить.

Поскольку у комедиографов моральные критерии определены ясно: поступки симпатичных им героев почитаются нравственными, несимпатичных — безнравственными, возникает и повод к перетолкованию, которому режиссер подверг пьесу.

Предметом комедии стал уровень нравственного мышления. И выяснилось, что у всех героев спектакля уровень этот одинаков. Различия между наглой убогостью души и смиренной — невелики. Даже Миша Румянцев, усердный борец с насморком, задуманный авторами как положительный герой, исхитряется смекнуть, что заместитель министра здравоохранения, простудившись, ощутит в его снадобье личную нужду — на нее вся надежда! — и подпишет все что требуется. Противогриппозная «семга» служит, как видим, даже ко благу человечества!

Ни Миша, ни прочие персонажи, конечно, не признаются, что слова «нравственно» и «выгодно» для них неразделимы. Но их представления о мире даже не предполагают людей иного толка.

Сцену населяют существа, как говорилось в старину, «без понятия», и Федор Сергеевич Буров среди них не выделяется. Он как все, а если по должности повыше, то ведь каков приход, таков и поп, и наивно валить, по пословице, на попа все вины прихода.

Фоменко избежал такого соблазна. Он изображает молящихся неодоушевленным идолам без различия чина и звания. Символ их мечтаний — облицованное кафелем помещение ванной, вынесенное

на авансцену. Пошлость тут не просто демонстрирует свои переменчивые и зыбкие приметы, по которым надлежит ее потом опознавать: канарейка, широкие брюки, абажур, герань, узкие брюки, полированная мебель, мини-юбки, макси-пальто, карельская береза, платформы и прочее, — она выдаст свое пустое нутро, отсутствие человеческих побуждений и свойств.

Поток пошлых песенок, начиная с развязнейшего «Каблучка», опоясывает островок похожей на пудреницу парковой эстрады, где обитают «родственники». Но порой доносятся мотивы как бы из большого мира, где идет подлинная жизнь, с ее страстями, крушениями и взлетами, — тогда кажется, что и здесь возможно пробуждение души, и грусть о несвершившемся указывает на исходный пункт сатиры Фоменко.

Философ Э. Ильенков пишет: «Нравственность означает умение индивида *самостоятельно осознавать* социальный смысл своих поступков и решений и действовать в соответствии с последними» (курсив мой. — П. К.). Такова позиция режиссера. Быть нравственным дано лишь человеку, способному самостоятельно осознать, а не просто следовать нравственному преискуранту, согласно которому, понятное дело, жертвовать любовью ради карьеры нехорошо.

А герои «Родственников» судят не столько о своих, сколько о чужих поступках. Даже гордое решение Ирины отвергнуть оплаченного жениха не тем вызвано, что она грядущего брака устрашилась, а тем, что просчиталась, — жених попался временный, всего на несколько месяцев.

Фоменко разглядел, что герои пьесы, как положено, поделенные на положительных и отрицательных, пребывают в еще донравственном состоянии. Это и придало спектаклю истинную комедийность.

Выразителен и самый финал: на разные голоса звенящее «все хорошо!». Ну, конечно же, «все хорошо!». Только нравственное сознание возбуждает неудовлетворенность собой, а оно у героев так и не пробудилось... И все же мы ощущаем затянутость первого акта, а во втором слишком уж часто веселят нас интермедии бабушки с официантом.

Увы, и самый талантливый режиссер связан пьесой, и обогатить ее собственными раздумьями о жизни удастся лишь до известного предела. Поэтому, при всем сочувствии стремлению театра ставить новые спектакли, хотелось бы все же надеяться, что среди будущих работ Петра Фоменко окажутся признанные шедевры комедиографии.

БУЛГАКОВ СРЕДИ ПЕРЕМЕН

Булгаков начал печататься поздно, почти тридцати лет и уже после революции; ко времени роковых для него событий он был хоть и известен, но не чересчур, тем более, что и печатался по преимуществу в сменовеховских изданиях — «Россия», «Накануне», обретая определенную политическую окраску. Окраска эта, однако, не была вовсе ложной. Булгаков действительно, в той мере, в какой о художнике можно говорить в политических категориях, сочувствовал идее отказа от борьбы с новой властью и, тем самым, компромиссу с ней. «Белая гвардия» как раз и была самым ярким в литературе выражением необходимости такого компромисса. До известного момента, то есть до XIII съезда, при всех оговорках о надеждах сменовеховцев на политическое перерождение большевиков, идея компромисса приветствовалась и отношение к сменовеховству было в основе положительным. Именно эта недолгая пора была временем относительно нормальной литературной работы Булгакова. Но власть изменила отношение к сменовеховцам, и компромисс стал пониматься ею, вернее новыми ее лидерами, как полная капитуляция даже и сменовеховцев и безоговорочный переход всех и вся на заданные свыше позиции. Алексей Толстой выполнил это требование безраздельно. Для Булгакова между компромиссом, честным признанием власти и сотрудничеством с ней, с одной стороны, и абсолютной духовной капитуляцией с другой, продолжало существовать различие, и это стало субъективным источником как его трагической жизни, так и продолжения и углубления его истинно-художественной работы.

Существенно и другое. Чудакова справедливо напоминает о блоковских ответах на анкету в мае 1918 года, где Блок говорит, что «той России, которая была — нет и никогда уже не будет», что «того рода ужаса, который был, уже не будет», и где он утверждает, что художнику «надлежит готовиться встретить еще более великие события, имеющие наступить, и, встретив, суметь склониться перед ними». Блок оказался кругом неправ, и именно «та Россия, которая была», хоть и в иной форме, возродилась в конце двадцатых — начале тридцатых годов, а начала возрождаться уже в момент перехода от согласия на компромисс к требованию полной капитуляции. Бескомпромиссность — как раз и была главной чертой «той России, которая была».

Но, хоть пришли не «великие события», каких ожидал Блок, а именно Россия с городовым, о которой по всеобщему мнению и мечтал Булгаков, парадокс его судьбы выплеснулся в том, что писатель не сумел как следует «склониться», не смог всецело капитулировать, а все равно хотел именно компромисса, хотел сохранить за собой сердце и душу, обладающие правом на свободу слова — ишь чего захотел! И уже продолжая физическое существование вроде бы лишь по демонстративному милосердию вождя, даровавшего не право опубликовать хоть строчку, но все же прожиточный минимум и возможность умереть вне зоны, он продолжал отчаянно

сопротивляться душевной капитуляции. Эта позиция и запечатлена в известном письме к вождю.

Она и определила смещение и углубление взгляда писателя на жизненную реальность от «Белой гвардии» к «Мастеру и Маргарите», и только на этой почве возможно известное сближение Булгакова с Ильфом, не то что искавшим компромисса, а чистосердечно разделявшим изначальную программу власти, и все равно не принимавшим идею всеобщей капитуляции, при которой кто-то один думает за всех, и твердо сопротивлявшимся такой капитуляции. В более общем смысле возрождение, вопреки Блоку, «той России, которая была», стало предпосылкой сближения людей, весьма меж собой различающихся, но не требующих от других полного единомыслия.

В свете сказанного как нападки рапповцев, так и милосердие Сталина к Булгакову обретают иной, чем принято думать, смысл. Травля Булгакова рапповцами, конечно, примечательна, но не будем забывать, что в большинстве своем травившие, в отличие от Булгакова, были расстреляны или попали в лагерь. Такова была и судьба Киришона, обличавшего «подбулгачников». Их отношение к Булгакову этим, понятно, не перечеркивается, но это предостерегает от современных упрощений, игнорирующих противоречивую социальную природу происходившего. К тому же РАПП вовсе не был еще тогда единственной дозволенной литературной группировкой, но никто не считает нужным объяснить, почему все другие группировки, еще не ликвидированные, тоже не вступались за Булгакова.

Стоит не забывать и того, что в начале тридцатого года грандиозные социальные перемены достигли крайнего напряжения, запечатленного хотя бы известной статьей «Головокружение от успехов». Не случайно, написав эту статью, Сталин протянул «руку помощи» Булгакову. Но протянул он ее вовсе не тому Булгакову, которого знают нынешние читатели «Мастера» и, не мог знать Сталин, а тому писателю, которого он не без основания мог рассматривать как младшего единомышленника Алексея Толстого, тоже готового поддержать возрождение «той России, которая была», и ради возвращения городского согласного на духовную капитуляцию.

Убедившись, что писатель не воспользовался предоставленной возможностью и не оправдал надежд, Сталин утратил к нему интерес, предоставив ему погибать и тем наперед опровергая позднейшую болтовню о своем милосердии и чуть ли не о том, что он был бессилен ограничить действия своего аппарата, даже если этого хотел. Справедливости ради следует сказать, что и Булгаков со своей стороны, хоть, быть может, и не желая того, не только не оправдал надежд Сталина пьесой «Батум», но и действовал вопреки им, дописывая «Мастера». Но справедливости ради, будем помнить, что именно это сделало его великим писателем.

СВЯТЫЕ И СВЯТОШИ

Художник, судьба которого более всего волновала Булгакова последнее десятилетие жизни, в разных его сочинениях состоит в диаметрально противоположных отношениях с религией. В «Мольере», не напрасно названном «Кабала святош», церковь — злостный его враг, а в «Мастере и Маргарите» сам художник уподоблен основателю религии. Сопряжение обеих булгаковских параллелей дает эффект, едва ли в столь открытой форме предполагавшийся Булгаковым, но коренящийся в его понимании хода вещей. Таким сопряжением и примечателен заурядный в остальном спектакль театра «Современник».

Жизнь Мольера и его уничтожение парижским епископом предварены живописным прологом: в центре занавеса несение креста, слева его трагические свидетели. Эти же свидетели на кулисах останутся свидетелями явления архиепископа к королю с требованием наказать Мольера, соотнесенного перед тем с Христом. Декорациями сюжета придали новый оттенок: архиепископ против Христа, церковь против первого святого религии. И когда Мольер, то бишь Христос, умирает, когда снова возникает начальный занавес с несением креста и кулисы с его трагическими свидетелями, справа прибавляется дорога, по которой удаляются Дон-Кихот и Санчо Панса. Дон-Кихоту уподоблен и художник и уже сам Христос. Испанские мотивы поддерживаются не только живописными переключками левой стороны картины с Эль-Греко, но и тем, что испанский инквизиционный вариант единственно правильной, единственно праведной церкви нагляднее других противостоял одиноким праведникам, в числе которых с легкостью мог оказаться, — а в трансформациях догматов еще Никейского собора и даже посланий Павла и на деле оказался, — сам основатель религии.

Церковь являет образ христианства, в котором все меньше от Христа, в котором нет места Христу, которое готово заново его распять и ежедневно распинает. Образ распятого Христа или Христа, несущего крест, в любой церкви не столько предмет почитания, сколько знак продолжающейся расправы, которую совершает сама же церковь, именующая себя христианской. Понятно, какая система отношений меж служителями победоносного культа и самоотверженными правдоискателями, подобными тем, давним, что служат ныне предметом культа, присуща не одной христианской вере, но всему великому множеству вер, как религиозных, так и сугубо светских и даже атеистических. Существенно само разноречие покойного праведника или правдоискателя и неправды, которую творят его именем.

Концепция спектакля, чтобы ее воспринять, требует от воспринимающих способности мыслить конкретно. Где конкретность не в почете, где Христа и христианство различать не хотят, именно удачи нового спектакля покажутся кощунственными. Покамест «Кабалу святош» с «Мастером и Маргаритой» не сопрягали, покамест они жили врозь, до кощунства не доходило. Отдельному архиепископу дозволено быть и злодеем и дураком, ему дозволено не различать в Мольере праведника. Когда Мольер и архиепископ умрут, появятся коррективы,

распятого Мольера причислят к лику святых и на его авторитет ополчатся новые архиепископы. Отдельные ошибки возможны. А Мастера, известное дело, затравили и вовсе безбожники. Но когда Мольер выступает как Мастер, сразу уподобленный Христу, когда архиепископ не различает праведника в живом, современном ему Христе, и внимание сосредоточено именно на этом, а не на подведении итогов, речь идет уже не об отдельных ошибках, а об отсутствии монополии на правду. В непризнании монополии и состоит кощунство.

Такое кощунство страшит не только церковь, но и верующих в то, что высокие идеалы и организации, на них ссылающиеся, нерасторжимы, что праведность поддерживается лишь праведной организацией, как там ее ни называй. Ясно видя, что церковь поддерживает праведность неправедностью и даже прямым насилием, верующие не хотят отказаться от надежды на праведную организацию, не хотят согласиться, что праведность бывает лишь индивидуальной, принадлежащей Христу или художнику, а организация служит праведности только тогда, когда сама состоит из действительных праведников и действует воистину праведно. Праведная организация и организация праведников — не одно и то же, второе неизбежно подменяется первым. Эта мысль присутствует в любом протестантстве в пору его подъема и уходит из него по мере его канонизации.

Поэтому так важно в спектакле музыкальное решение, вроде бы держащееся на музыкальных документах эпохи, на верности ее стилю, но прочитанном взором, схватившим суть обеих булгаковских религиозных параллелей. Засурдиненно звучат лирические мелодии, а служба форсирована, она вопит о своей праведности столь беспардонно, что вопли становятся пародийны и впрямь кощунственны, но по отношению не к истинной праведности, а к праведной маске, которую надела нечисть. Музыка Денисова сдирает покров с дьявола, рядящегося богом, а живопись Биргера обнажает праведную природу человека, обожествленного или еще не обожествленного, безразлично.

Новому спектаклю именно музыка и живопись придают художественную силу и смысл. Однако драматическому театру этого мало, хоть остальные создатели спектакля честны. А отсутствие грубых искажений текста, перекроек и вставок, что, конечно, нынче большая редкость, само по себе не выручает даже Шекспира с его открытым драматическим течением и уж тем более не достаточно для Булгакова, у которого драматическому подтексту отдана большая доля. Булгаковская пьеса нуждается в режиссере. Декорации, покамест они живут непривычной театру изобразительной живописью, берут на себя содержательный воз и его тащат. Но, переходя в привычную сцене неизобразительную, аккомпанирующую живопись, декорации не могут перевесить недостаток сценической плоти, хотя художник и здесь владеет театральным инструментарием и решая сценическое пространство, и пользуясь светом и ощущая живописный смысл смены костюмов. Главного мы ждем от режиссера.

Отсутствие у него отрицательных качеств не возмещает отсутствия положительных. Режиссерского решения спектакля как

целого, за вычетом музыки и оформления, не существует, пластических решений отдельных сцен — тоже. Самый выбор актеров, в большинстве плохо понимающих, что они делают, и плохо делающих то, чего они не понимают и не ощущают душевно, обрекает спектакль на бессилие. Без актеров, даже и выдающиеся режиссеры предлагают лишь схемы, но уж никак не смириться с их отсутствием, если вся надежда на них. Исключение — Гафт в роли короля.

В ином роде исключение — Кваша в роли Мольера. Он тоже в отдельных сценах демонстрирует бесспорный талант, не вполне отвечающий, однако, требованиям роли. Поручив актеру Кваше играть Мольера, режиссер Кваша не только создал себе постоянное отвлечение в первом своем режиссерском опыте, но и пренебрег свойствами собственного артистического дарования. Достоинства актера Кваши — искренность, цельность и глубина, с подлинной эмоциональной силой выступающие в монологе «За что?», где герой наконец-то живет одним нутром, одной прямой речью души, — почти везде оборачиваются недостатками: недостатком переменчивого артистизма, недостатком внутренней подвижности, недостатком поверхностной легкости, прикрывающей от окружающих трагедию Мольера, данную Булгаковым с первых сцен. Само собой, и достоинства актера Кваши не заменить одной лишь живостью да подвижностью, — Юрский, именно ими обладающий, тоже немного добился, — но прибавление их необходимо. Пьеса требует соединения очень разных театральных качеств, так сказать, мхатовских и антимхатовских, и, должно быть, не случайно единственная известная мне удача пришла, когда Мольера играл Любимов в режиссуре Эфроса. Вдвоем они сумели сделать то, что одному Кваше, работающему за двоих, было не под силу. Не должно быть обидно это сознавать. Но осознать это необходимо, чтобы работать дальше.

КАЗАРМА В ХРАМЕ

Алтарная часть нового зала Таганки словно бы расписана старинными фресками, изображающими великое множество подобных Ольге, Маше и Ирине сестер, неизбежное пришествие которых предсказал прогрессивно мыслящий полковник Вершинин. Но, не успев настроиться на благолепный лад, вы обнаруживаете вдоль стен, чуть ли не прямо на священных ликах, зеркала и умывальники, а посередине — железные кровати. Обе метафорические крайности вроде не имеют ничего общего с давно знакомым, кажется, укладом Прозоровского дома, каковому надлежит у нас на глазах попасть во власть шершавого животного.

Отправная точка избрана, однако, не затем, чтобы ею удовольствоваться. Юрий Любимов откровенно объявляет, что трагедию трех сестер понимает иначе, нежели их создатель, великий Антон Павлович Чехов, имя которого назойливо обозначается в программе тринадцать раз подряд. Режиссер не просто перетолковывает писателя, что и само по себе вызывает у нас бури протестов. Он идет наперекор всему, чем дорог зрителям Чехов.

Разумеется, осквернять храмы и глумиться над умершими — дурно. Но Чехов для Любимова не икона и не покойник, и, стало быть, неразлучные с его пьесами ложные понятия о жизни не могут быть просто отброшены, но должны быть опровергнуты, опрокинуты и осмеяны именно там, где они выглядят всего убедительней. Вот чеховская пьеса и стала на Таганке объектом злой пародии.

Пародия, как известно, предполагает имитацию, создание нового сочинения как бы в прежнем жанре, где черты пародируемого стиля и самого жанра доведены до нелепости. Любимов, однако, никакой пародирующей Чехова пьесы не сочинил, опорой пародии стал собственный текст Чехова, иначе, чем обычно, акцентированный. Художественная задача как раз и состояла в правде новых акцентов. Пародируется, впрочем, не столько сам по себе Чехов, сколько жизнь, на взгляд Любимова Чеховым приукрашенная. Поэтому пародист не так имитирует, как преодолевает имитационность манеры, обычно придававшей сценическим воплощениям чеховских пьес видимость правды. Можно бы даже сказать, что пародируется не так чеховская пьеса, как ее традиционное театральное воплощение. Но, сознаемся, это, во многом справедливое суждение, все же упростит оценку спектакля.

Разумеется, пьеса, как явление литературы, и спектакль, как явление театра, заведомо не идентичны. Разумеется, никем не доказано, что прежние постановки были адекватны авторским текстам, а не глумились над ними еще смелей. Сам Чехов, как известно, считал, что в почитаемых образцовыми постановках Художественного театра, его пьесы испорчены. Известны опять же разнообразные попытки прочесть «Три сестры» заново — в 1940 году В. И. Немировичем-Данченко, позднее — Г. А. Товстоноговым, А. В. Эфросом, А. Ханушкевичем. При всех различиях смыслов и форм новых постановок, перечисленные режиссеры пробивались к истинному на их взгляд Чехову и спорили не с ним, а с его первым и великим толкователем —

К. С. Станиславским. Но Любимов спорит уже и с Чеховым. Дивиться нечему — именно в «Трех сестрах» Чехов ощутимо приблизился к Станиславскому. Поэтому спору и служит не очередное перетолкование, а пародия.

Даже имитационной пародии достаются упреки в «нехудожественности», но она отчасти защищена самостоятельным, отпочковавшимся от пародируемого объекта бытием. Художественное величие «Истории одного города» не зависит от нашего знакомства с пародируемой там исторической литературой и даже исторической реальностью. Акцентуальная пародия неотделима от пародируемого объекта и может показаться не имеющей собственной ценности. Но ведь от пьесы неотделимо и почтительное (что, понятно, не означает «адекватное») сценическое воплощение, а ему в художественности не отказывают. Пародийное растет порой из самых почтительных намерений и, стало быть, правомерно и там, где подобных намерений нет. Другое дело, насколько пародия удалась и в чем ее назначение.

Пародия Любимова, по-моему, не только талантлива и актуальна, но во многих своих частях и ракурсах на редкость удачна, несмотря на пустоты, длинноты и монотонности, которых тоже хватает.

Чеховская пьеса живет противостоянием распада жизни сестер и прочих симпатичных персонажей и владеющей ими неколебимой веры в лучшую жизнь и неминуемый прогресс, ради которого важно лишь трудиться не покладая рук, что они, по преимуществу, и делают или, во всяком случае, искренне намереваются делать. Заторможенность драматического развития — не недостаток, и не «чисто эстетическое» свойство чеховской драматургии. За этой заторможенностью — стремление писателя понимать прогресс реалистически, научно, во всех сложностях и замедлениях социальной эволюции. Любимов, как подобает революционеру, глумится над эволюционной основой чеховской драматургии и нарочито замедляет, почти останавливает действие, рассматривая движущие силы и обстоятельства как бы по отдельности, не заслоненными проистекающими из них событиями.

Дочери генерала Прозорова живут в уверенности, что «самые порядочные, самые благородные и воспитанные люди — это военные». Эту уверенность резче всего и атакует Любимов. В начале спектакля опускается стена, и зритель видит за окном натуральную Москву, уцелевшую церковь и недавно пробитый туннель, заглатывающий троллейбусы. Любимов демонстрирует мечту сестер в обыденной для московского зрителя неприглядности. Но неприглядность манящего лишь декорация для военного оркестра, занимающего первый план и делающего музыку спектакля. Мечта о Москве неприглядна не сама по себе, да и не показалась бы она столь жалкой, окажись новое здание театра не на Таганке, а где-нибудь на Поварской или Спиридоньевке. Убогой делает мечту прежде всего военный оркестр, вера в военное благородство и надежда на его спасительную роль.

Идея отчасти подсказана постановкой Адама Ханушкевича, глумившегося над русской армией, направляющейся в Царство Польское. Но Любимова национальная проблематика не занимает, ему безразлично, куда армия двинется, она пугает его и стоя на месте, в

заштатном русском городке. Гениальность метафорического зрения и еще больше слуха, виртуозно обостренного для нас композитором Э. Денисовым, обнажается в простом до примитивности напоминании о казарменной почве душевных переливов трех приятных женщин. Нигде не сказано, что на таком постаменте только шершавому животному и стоять, но само по себе выведение на сцену не названного Чеховым объясняет то, что иначе понять не удастся, объясняет гибель этих женщин, их братьев, их женихов и возлюбленных.

Мы ведь не хотим верить, что погубила их лишь собственная никчемность и огорчаемся, когда перетолкование Чехова клонится к выставлению на показ этой никчемности. Любимов, унизивший чеховских героинь куда безоглядней, чем когда-то Товстоногов, демонстрирует зато и причину их духовного унижения, сохраняя этим в своей злой пародии и привычное чеховское сострадание.

Сидящие в центре персонажи, не только имеющие воинские звания, но и нянька Анфиса, и Ферапонт, и Кулыгин и Наташа, то и дело браво маршируют. Соленый не чудище среди них, а самое дорогое и открытое дитя марширующего общества. Чебутыкин напоминает Соленого, разве что стеснительней. Сами сестры остаются в стороне, но души их тянутся к шагающему центру. Учительство (и Кулыгина и Ольги) тоже полно его духом. А возобновляющиеся марши с военного благородства сдирают, между тем, позолота.

Пожалуй, беспощаднее всех обходятся с красноречивым красавцем Вершининым. Посреди рассказа о солдатах, отличившихся на пожаре, на малых подмостках в глубине большой сцены появляются они, солдатушки — бравы ребяташки, и вместе с ними общество по знаку Вершинина и под его водительством вдохновенно марширует. Сам он вдохновеннее всех, рослый, красивый, только что вещавший о неуклонном пути в лучшее будущее, шагает зловеще отрегулированной походкой, вот так и готовый туда идти, не оглядываясь по сторонам и не глядя под ноги.

Подобные построения преобладают, лишь на время уступая место декларациям на малых подмостках и сценкам в правой, если смотреть из зала, части сцены, на фоне заслонившего окно с Москвой и оркестром зеркала. Дискретность спектакля, да еще при столь свойственном Любимову пренебрежении психологической плотью драмы, выдвигает вперед не настроения, как обычно у Чехова, а характеры. И выигрывают актеры склонные к однозначности, к плакатности. Л. Селютиной хватает искренности, чтобы нам отстраниться от Ирины, желающей быть простой лошадкой. М. Полицеймако хватает полнозвучного голоса, чтобы нам отстраниться от Ольги, твердящей в финале, что «счастье и мир настанут на земле».

А. Демидова оказывается в проигрыше. Следуя замыслу режиссера, она деформирует привычно-чеховские интонации, которые так тонко схватывала в «Вишневом саду» А. Эфроса, но и гротеск не обретает должной остроты, — он, видимо, не в природе ее таланта. Вроде бы именно Маша первой пародируется, именно ее слова, вырванные из контекста, произносятся в первые минуты спектакля как эпиграф: «человек должен быть верующим или должен искать веры». А все последующее как раз и демонстрирует бесплодие веры и

нелепость ее поисков. Но Демидова, играя, согласно общему замыслу, прежде всего страсть, ничуть не более духовную, чем в романчике Наташи с Протопоповым, не рискует отказаться от расчета на положенный чеховской героине ореол, хоть никаких оснований для него не предъявляет.

Уязвимо не только актерское начало. Усердное желание развеять иллюзии, посеянные Чеховым, побуждает Любимова переступить и через сомнения, которые у писателя возникали. И вот самая скептическая и, можно бы думать, близкая любимовскому пониманию вещей фигура — барон Тузенбах, единственный разорвавший с военной средой и не ждущий даров прогресса, оказывается и самой ничтожной фигурой спектакля. Любимову нечего с ним делать. Осмеять, как других, вынуждая маршировать с ними вместе? Но с каждой минутой это все более странно. Выделить из строя и признать своим предшественником? Но тогда пришлось бы внутри построения искать противовес всей остальной пародийной ткани, для чего текст пьесы оснований никак уже не дает. И барон, погибая от руки Соленого, сосредоточившего в себе самое ненавистное Любимову, остается незаметным лицом, вроде Андрея Прозорова, жизнь которого с Наташей предвещает несостоявшуюся жизнь барона с Ириной.

Пародийность далеко не везде превозмогла пьесу, поскольку Чехов, при всех своих иллюзиях, был, вероятно, более других русских писателей, реалистом в изображении жизни, и она выбивалась за границы иллюзий. Поэтому временами Любимову приходится упрощать своего оппонента. Чехов несет здесь ответственность не только за себя, но и за последователей, которых не выбирал, не только за Станиславского, но и за Ермилова. Это, конечно, не вполне справедливо. Но раз уж театр, даже больше, чем литература, служит ареной клокочущей идейной жизни, такие перехлесты неизбежны и было бы несправедливо, ссылаясь на них, отвергать убедительность Любимова в остальном. Восходящую к Чехову атеистическую религиозность, объявившую себя тем более основательной, что примитивные суеверия в ней заменены наукообразными, а райские кущи в небесах столь же маловероятными райскими кущами на земле, театр разоблачает поделом.

Окно, в котором видны были оркестр и нынешняя Москва, по преимуществу заслонено зеркалом, отражающим сидящих в зале. Легко возомнить, что это мы попали на сцену и участвуем в действии. Однако, зеркало, как и все вообще у Любимова, хоть и доподлинное, но метафорическое. Это традиционная метафора театра как зеркала жизни напоминание об актуальности прошлого для понимания настоящего. На переломе века чеховские герои терзались проблемами, мучающими нас поныне. Чехов эти проблемы ощутил, — вот и причина обращения Любимова к нему, хоть склонность писателя откладывать их разрешение до призванного некогда наступить лучшего будущего вызывает у режиссера уже не умиление, а гнев.

Но метафора не исчерпана традиционным. В качестве зеркала в привычном театральном смысле на сей раз не напрасно выступает и взятая в театральную раму натуральная жизнь. Отвергая иллюзии и иллюзорные методы мышления, Любимов предлагает взглядеться в

жизнь как она есть, со старой церковью, новым туннелем и неизменной военной музыкой. Он зовет изменять жизнь, не откладывая, не надеясь, что от повторения пройденного что-нибудь изменится само собой.

Невозможно отказать в своевременности, а, тем самым, и в художественной силе, этому призыву, находящему отклик не только в рациональных разгадках метафор, но и в неодолимой радости въявь видеть театр, знающий, что чрезмерное терпение ничуть не плодотворнее чрезмерного нетерпения.

3.11.83

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПАРАДОКСЫ

За последние годы в театре и вокруг него все стало спорным. Спорят о драматургии, об актерском мастерстве, о режиссуре, о сценографии, но истина, каковой, по мнению древних, надлежит рождаться в спорах, все не рождается. Беда в том, что споры оставляют в стороне главные проблемы современного театра. А где нет спора о существовании, спорным становится все, даже то, о чем удалось бы сговориться, разберись мы в сути дела. Конечно, наивно предполагать, что кто-то один, и я в том числе, может на пальцах эту суть объяснить, и все пойдет, как по маслу. Но повернуться к ней лицом — самое время.

Прежде всего, видимо, надо уточнить, какие сферы полемики для понимания этой сути насущнее, — и не потому даже, что они вообще самые главные, но потому, что именно в них сегодня коренится неладное. Хотя первым человеком на театре искони был и поныне остается актер, без которого театр попросту невозможен, организационно-экономические обстоятельства влияют ныне на формирование талантов куда сильнее, нежели сами по себе достоинства или несовершенства подготовки будущих актеров. Особо на судьбе театра сказывается ныне и состояние критики.

Кому и зачем нужна, в самом деле, театральная критика? Зачем у зрителей, попадающих в театр от случая к случаю, отнимают места, так сказать, зрители-профессионалы? Зачем десяткам и сотням тысяч людей знать их впечатления и раздумья о спектаклях? Не довольно ли обменяться этими впечатлениями на художественном совете театра, в каком-то секторе специального института, а то и в кругу семьи?

Вопросы эти особенно актуальны в нашем обществе, где все до одного театры находятся в ведении управлений и министерств культуры и в поле зрения отделов культуры соответствующих партийных комитетов. А и тут и там, да и в самих театрах сегодня работает множество разумных и образованных людей, нередко даже наделенных званиями и степенями, свидетельствующими о специальной театроведческой подготовке. Если таких людей не хватает, ничто не мешает пополнить их ряды. В свое время критик П. Марков стал одним из руководителей МХАТа, в наши дни тот же путь проделал критик А. Смелянский. Но и признавая плодотворность таких преобразований, конечно, повышающих уровень системы управления, мы все равно дорожим статусом непричастной к управлению театральной критики.

У критики городского транспорта, не менее необходимого, чем городской театр, такого постоянного статуса нет. Печать замечает его лишь на выходе за рамки ординара. А самый посредственный спектакль удостаивается рецензии, подчас не одной, и если молчат, мы справедливо досадуем. И ведь досада охватывает не только актера, которого не заметили, не только критика, который не высказался, но и те самые тысячи и десятки тысяч любителей театра, которые ничего о виденном спектакле не прочли или не нашли в прочитанном подспорья собственным размышлениям. За устранение препятствий с пути самостоятельной, независимой литературно-

художественной критики в принятом более десяти лет назад постановлении ратовал и ЦК КПСС, которому, казалось бы, куда проще добиваться улучшения работы театра, совершенствуя его управление.

Видимо, все же театральная критика призвана не только быть поводырем и рекламным агентом театра, а должна играть еще какую-то роль в художественной жизни, сказывающуюся на театре не так линейно, как нам кажется и хочется. Но примечательно, что театр признавать за ней такую роль нынче вовсе не желает.

Сразу же вспоминается недавняя дискуссия в альманахе «Современная драматургия», где во втором номере за 1984 год опубликовал свое выношенное суждение («давно хотелось написать») один из самых талантливых и тонких наших режиссеров Анатолий Эфрос. Он обличает прежде всего критическую самонадеянность и, оспорив, — по большей части справедливо и убедительно, — отдельные суждения Б. Любимова и М. Любомудрова, Н. Велеховой и И. Вишневской, завершает спор цитатами из Станиславского, повторяющими одну и ту же мысль: «Современные критики пишут в своих рецензиях личные мнения. Это самонадеянно, так как обществу интересны такие мнения только замечательных личностей, как, например, Толстого, Чехова...».

Обобщение это и в устах Станиславского правдой не становится. Но Станиславского хотя бы можно понять. Совершив поворот в мышлении театра, он слишком часто наткнулся на непонимание критики и, чувствуя свою правоту, — а он и впрямь был прав, — объяснял необоснованные претензии личными качествами критиков, тогда как были то голоса иного, прежнего понятия о театре, не самого прогрессивного, но не сдававшегося, да и, как показала позднейшая жизнь, не вполне еще себя исчерпавшего.

А. Эфроса, тоже недовольного тем, что «современные критики пишут в своих рецензиях личные мнения», понять нельзя. Чьи же мнения хочет он видеть в рецензиях, подписанных конкретными именами? Если писать критику дозволяется лишь Толстому, то заниматься режиссурой — лишь Станиславскому. Но кто же, кроме народа, и то лишь в ходе длительного процесса, сумеет определить, кто Толстой, а кто не Толстой? Да и народу не опознать ни Толстого, ни Станиславского, если они не напечатали ни строки, не поставили ни спектакля! Вырвавшаяся у Станиславского горькая фраза, возведенная А. Эфросом в принцип, означает ликвидацию не только театральной критики, но и театра. Неужто опытный режиссер сам этого не сознает и во многом обоснованное раздражение против отдельных критиков толкает его сокрушать критику в целом?

Но если в ожесточении от несправедливых нападков на твое личное творчество и твои личные мнения ты хочешь, чтобы помалкивали все, кто с тобой не согласен, то есть и те, кто не в меньшей мере, чем ты, говорят от себя и сами, быть может, подвергаются несправедливым нападкам, — а в обобщенное рассуждение о недопустимости «личных мнений» попадают и они, — ты становишься не только на одну доску, но и в один строй с теми, кто честит тебя, и от них не отличаешься.

Еще важнее другое. Разве в нынешних рецензиях, в отличие от времен Станиславского, мало не своих мнений? Читая критиков, с которыми спорит А. Эфрос, я мысленно выдвигал им те же почти возражения. За одним-единственным исключением. И, признаться, без этого исключения, то есть, будь эти статьи лишь личным мнением авторов, забыл бы о них. Но в том-то и дело, что такие статьи обычно пишут от имени народа, партии, советского театра или советской молодежи, хотя доверенности на это критику никто не выдал.

Легко заметить, что критические суждения далеко не всегда соответствуют действительному мнению той организации или инстанции, от имени которой якобы говорят. М. Любомудров, видимо, искренне верит, что уж его-то суждения в брошюре «Судьба традиций» (Библиотека «Огонька», 1983, № 8) или в статье «Театр начинается с Родины» («Наш современник», 1985, № 6), во всяком случае, соответствуют. Но откуда он может знать мнение партии о спектакле Г. Товстоногова «История лошади», если ни один партийный комитет, не говоря уже о съезде, его не обсуждал и резолюций по нему не выносил? Надо отдавать себе отчет, что критик, жаждающий, как велют почтеннейшие театральные деятели, писать не свое личное мнение, просто не имеет возможности наперед проверить соответствие того, что он пишет, действительному мнению тех, от чьего лица он пишет, да такой возможности и быть не может. Не напрасно партия в упомянутом уже постановлении прямо требовала, чтобы критики отнюдь не таили собственные мнения. Их повседневное и открытое сопоставление делает более заметными как удачи, так и провалы любого театра, как прозрения, так и предвзятости любого критика. Но ни М. Любомудров, ни А. Эфрос, при всем кричащем различии их понятий о театре, от критики этого одинаково не хотят, то есть не хотят признать за ней ту особенную роль, которая принадлежит не каждому критику по отдельности, а всем им вместе.

Между тем, в слове «критика» важнее всего — собирательное значение. Нет ничего страшней абсолютизации личного мнения об искусстве. Но ведь абсолютизация начинается лишь там, где субъективное мнение оказывается единственным и, тем самым, — всеобщим. По личному мнению Льва Толстого, Шекспир — плохой драматург. Это личное мнение, опубликованное в печати, никому не помешало переводить, издавать и ставить Шекспира на сцене. Вот если бы современники Толстого пренебрегли Шекспиром, поскольку таково мнение самого Льва Николаевича, величайшего из великих, было бы, действительно, худо. А так статья «О Шекспире и драме» помогает лучше понять не только Толстого, но и Шекспира, достоинства которого видней в свете их отличий от тех, какие хотел видеть в драме Толстой. Выходит, и суждения Толстого не тем драгоценны, что авторитетно представляют истину в последней инстанции.

Долг и назначение театральной критики как целого — всестороннее испытание спектакля, театра, театрального направления, театральной эпохи. Летчик, испытывая самолет, выполняет в воздухе разные фигуры — и мертвую петлю, и бочку, и штопор — не потому, что их обязательно придется делать при эксплуатации самолета.

Проверяя, как машина поведет себя в них, он осознает качество самолета. Точно так же смысл и достоинство художественного сочинения в полную меру осознаются по его восприятию людьми, отличающимися друг от друга вкусами, и нравами, и убеждениями, и уровнем образованности, и уровнем развития, и уровнем восприятия, что отнюдь не одно и то же. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», — сказал великий русский поэт, и в его правоте мы убеждались не раз. Спектакли, наперед захваленные как боевые залпы идейной борьбы, в репертуарном бытии зачастую оказывались холостыми выстрелами, но никто не испытывал их, не разбирая до последнего винтика, они стояли вне критики, и, даже признавая фиаско, следующий спектакль строили по тому же, не оправдавшему себя проекту. Конкретные примеры каждый вспомнит, перебрав хотя бы юбилейные премьеры, тотчас после юбилеев сходявшие со сцены. Но речь сейчас не о том, какой спектакль был хуже всех, а о необходимости всестороннего рассмотрения каждой новой работы.

Театр больше любого искусства зависит от тех, к кому обращается. Зритель — соучастник спектакля. Сравнивая премьеру и рядовое представление, мы часто обнаруживаем, что акценты сместились и спектакль переменялся до неузнаваемости, хоть никто как будто этого и не хотел.

Но хороший актер — чувствительнейший прибор, непроизвольно реагирующий на каждое дыхание. Многоголосая критика дает ему, и одновременно зрителю, лишние случаи задуматься о том, что он чувствует. Она переводит дыхание, кашель, слезы, смутные побуждения зала на язык понятий и, к тому же, толкует жизненные явления, за понятиями стоящие. Поэтому личное мнение критика, — если, конечно, он изъясняет его откровенно и достаточно внятно, — не теряя в субъективности, оказывается существенной деталью объективного многоголосого общественного испытательного механизма, повседневно устанавливающего истину. Мы повторяем, что она рождается в спорах, но хотим, чтобы все спорящие говорили верно, то есть, чтобы и видимость спора была и ничего по существу спорного сказано не было. Мы хотим, конечно, чтобы истина рождалась, но только без родовых схваток. А это, к сожалению, невозможно.

Бывает, что несправедливые и даже злобные нападки обнаруживают какие-то коренные свойства, как раз и составляющие особенность и достоинство спектакля. Бывает, что незаслуженные похвалы выявляют слабости спектакля. Чем шире и многообразнее совокупная критическая палитра, чем разнообразнее и непосредственнее ее индивидуальные голоса, тем больше выигрывают театр и общество. Как известно, искусство принадлежит народу, и лишь сообразуясь с широтой и многообразием его суждений, критика может служить насущно необходимым художественной жизни каналом обратной связи между теми, для кого искусство создается, и теми, кто его создает.

Здесь разрешается и тяжба меж «научностью» и «живым письмом», часто ведущаяся в критике. На практике претензии на научность сплошь и рядом оборачиваются претензией на монопольное

суждение, нередко еще более субъективное, чем у самого заливчатского пера. Но в идеале критика отнюдь не антипод театроведческой науки, а ее неотъемлемая часть. Вернемся к азучной истине: театроведение как наука состоит из теории театра, истории театра и театральной критики. Все три кита необходимы, чтобы земля не потонула в океане. Но задачи и методы у каждого свои, и механическое перенесение норм, не говоря уже о догмах, научности не прибавляет.

История театра прочно стоит на фундаменте прежней театральной критики. Обилие рецензий, их конкретность и подробность, отклики не только на премьеры, но и на текущий репертуар, позволяют довольно полно реконструировать спектакли, которые мы не могли видеть. По нынешним рецензиям представить себе спектакль, которого не видел, как правило, невозможно. А ведь рецензии как раз и образуют начальный этап и фундамент театроведческой науки.

Подобно тому, как нельзя стать биологом, проштудировав сочинения всех великих натуралистов, но ни разу не разрезав лягушку или другую живую тварь, нельзя стать серьезным театроведом, не анализируя долгие годы живой театр, все равно — хорош этот театр или дурен. Естественные науки кормятся черным хлебом эксперимента, театроведческая наука — черным хлебом рецензирования. Кого-то мы обманываем, уверяя, что способные молодые люди уходят из текущей критики в науку. На самом деле это они уходят из науки, — порой даже на службу в научные учреждения.

Теория и история театра выросли и продолжают расти из критики. Конечно, в ответ они обогащают критику, но не стоит обманываться: овладевший элементами истории и началами теории в меру, положенную дипломом об окончании вуза или даже ученой степенью, критиком отнюдь еще не является.

Менее всего хочу я, естественно, сказать, что зло в образовании и спасение в невежестве. Напротив, совсем напротив: учение — свет, а неученье — тьма. Я настаиваю лишь на том, что хоть образование во многом, пусть не во всем, помогает восприятию искусства и жизни, оно ни в малейшей степени его не заменяет.

Вроде бы ясно, что настоящим актером не станешь без особого дара публичности, позволяющей при людях, на тебя в ожидании взирающих, открывать тайники своей души. Но и критику нужен тот же дар — не таить личные чувства. Сидя в театре, критик проводит на себе опыт художественного восприятия, он сам тут и лягушка, и исследователь, ее препарирующий. И опыты, проделанные на разных лягушках и осмысленные разными исследователями, вместе дают картину мнений общества и шире — общественного мнения.

Но если собирательная задача критики — выражать общественное мнение, то придется признать: у нас оно плохо выражено уже потому, что в критике не столько избыток, сколько недостаток мнений личных. В избытке, напротив, претензии на монопольность суждения, за которыми обычно просматриваются вкусы и интересы той или иной художественной группы, ибо значительная часть критики искренне или расчетливо ориентируется на них. Поскольку групп немало, ни одна из них, естественно, не обретает абсолютной монополии, они порой даже

открыто сражаются меж собой в печати, но сообща сводят на нет внегрупповые, независимые взгляды, ни с какой группой не слившиеся и, тем паче, противостоящие сразу нескольким.

Ирония истории проявляется тем, что и не обойденные похвалами театры и актеры оказываются в проигрыше, ибо таланту, чтобы дальше работать убежденней и убедительней, важно ощутить не только сочувствие единомышленников, но и отстранение тех, кому он противостоит. Да и захваленные театры и актеры остаются недооцененными, недохваленными, поскольку истинный талант движется не только по инерционно воспеваемым путям, а сведение на нет субъективности в критике как раз и лишает театр неожиданных откликов, не только бранных, но и сочувственных.

«Дядя Ваня» Г. Товстоногова, разумеется, получил свою долю восхвалений, и, когда кто-то стал его хулить, защита тотчас вышла на самые авторитетные страницы. Но столь пламенного отклика в прессе, как последовавшая за ним «Смерть Тарелкина», он все же не получил. А на мой взгляд, «Дядя Ваня» — спектакль куда более значительный.

Г. Товстоногов прочел пьесу, отказавшись от приданных МХАТом чеховскому театру умиляющих интонаций, огорчавших автора, писавшего комедии. Скажут, не один Товстоногов в последние годы блистательно воскрешал жестокий реализм Чехова. Да, разумеется, но он — единственный, кто не разорвал при этом с открытой МХАТом же родственной Чехову психологической манерой, а переосмыслил ее, приблизил к тексту.

В роли Астрова выступил Кирилл Лавров, каждая роль которого, сообразно с его видным положением, получает в печати одобрение, часто и впрямь заслуженное. Но его роль в чеховской пьесе ничем не выделилась среди обычно достающихся ему похвал. Между тем, Лавров преодолел привычное, еще, должно быть, от самого Станиславского пошедшее понимание Астрова. Он сыграл как бы одновременно две роли: показал и ум, и талант, и великие возможности героя, и расточение этих возможностей, распад его души; показал и то, каким он мог бы быть, и то, каким он стал. Игра Лаврова, пожалуй, самая беспощадная и точная краска в спектакле, не бедном актерскими удачами.

Я вовсе не хочу, опять же, объявить свое видение непременно, я настаиваю лишь на том, что рассмотрение и такого оттенка, быть может, помогло бы лучше оценить значимость нового «Дяди Вани» для всего театрального процесса. Но групповые суждения, — и «за», и «против», — идут крупным помолом, им не до оттенков. Обличая критику, сетуют, что она родеет говорить о слабостях тех, кто уже увенчан славой и почестями. Но, быть может, еще хуже, что она родеет выделить их подлинные успехи из повседневно добротного уровня.

Возвышение заурядного и принижение выдающегося создает ровную картину пустыни, в которой вроде бы нет никого и ничего, кроме посредственностей, устраивающих свои дела. А при всех отступлениях нашего театра, он не однороден, не вовсе отступился от искусства, и никто, кроме многоголосой критики, не в состоянии указать на живые очаги и дать весть их поддерживающим, что труд их не напрасен.

Нелепо думать, что похвала — всегда ложь, а брань — всегда правда; бывает и наоборот. И от того, что критика по команде покаянно кувыркается и дружно бранит сегодня то, что вчера дружно хвалила, или воспеваает тех, кого некогда порочила, ничего, в сущности, не меняется. Критике стоит быть принципиальной не только из нравственных соображений, но и потому, что, острее сопрягая взгляды каждого критика с конкретностью каждого спектакля, она увеличивает свои шансы обратить взоры театра и зрителей к подлинному содержанию возникающего искусства, а стало быть, и к действительности, вызвавшей его к жизни. На то и многоголосие, чтобы и театр, и зритель не просто опознавали эталоны, мнимые или истинные, а всякий раз видели отдельное сочинение во всей его полноте и со всех сторон.

Минувшее десятилетие подняло новую, так называемую «поствампиловскую», волну драматургии, покончившую с привычными разговорами об отставании. И оказалось, что театру с новой драматургией не совладать. Она, конечно, пробивается, но, по преимуществу, не обретая адекватной сценической формы, скованная компенсационными приемами времен отставания. Да и сам Вампилов все еще в чтении более крупный писатель, нежели на сцене,

Кругом теперь говорят о необходимости новых театров и студий, справедливо ссылаются на опыт ленинградской мастерской драматурга. Но если театры и студии не очень-то рождаются, виноваты не только административные препоны. Каким должен бы стать театр А. Вампилова, или театр А. Соколовой, или театр А. Гельмана? Чем каждый из них отличается от театра А. Володина или театра В. Розова? Или от театра А. Арбузова или театра А. Софронова? И кто кому близок и от кого далек по типу сценического мышления? И какие драматурги уместятся в одном театре, а какие невольно начнут мешать друг другу? И какой режиссер ощущает стиль автора, а какой восприимчив лишь к его идеям? Все бы это можно хоть отчасти заметить уже по идущим и шедшим спектаклям, и желанные театры и студии могли бы гипотетически прочертиться на журнальных страницах. А ничего подобного не происходит.

Критика, не дерзающая быть субъективной, и в людях театра не вполне ощущает субъективность, конкретность лиц с их склонностями, страстями, идеалами и преобладающими интересами. Никто не задумался, почему лишь А. Эфрос различил в «Человеке со стороны» И. Дворецкого трагедию, которая при чтении пьесы видна явственно. Или почему Г. Товстоногов, так проникновенно прочитавший «Пять вечеров» А. Володина, так холодно проработал «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова, его ощущению жизни вроде бы более близкого? К тому же, тут пришлось бы добавить, что и никто другой на советской сцене не сделал это лучше. И внимание к субъективному толкнуло бы к поискам общих тенденций современного театра.

А у нас жажда обобщения часто влечет к абстрактным обособлениям и на них застревает. Отдельно рассматриваются пьесы и спектакли о производстве, отдельно — о личной жизни, отдельно — воспевающие деревенского труженика, отдельно — бичующие городского мещанина... Но душа театра не сводится к отражающейся

на его сцене реальности, тем более, что и производство зависит от личной жизни, а она, увы, от производства, и деревенский труженик, перебравшись в город, запросто оказывается не меньшим мещанином, чем городские. Новый театр — это непременно новый ракурс рассмотрения жизни, театр сходится с драматургом, когда их взгляды близки по ракурсам, а не всего лишь по находящемуся в поле зрения. Кому же, как не критике, первой эти ракурсы различить? Кому, как не критике, догадаться, отчего они меняются, возникают и пропадают?

Тут бы и образование пригодилось. Куда, в самом деле, подевалась великая традиция русского поэтического театра, в котором более всего сверкала Ермолова, а мое поколение еще видело Остужева? Куда этот театр исчез? Почему по-русски почти не пишут уже для сцены стихами, почему даже Пушкина в театре читать не умеют? Это вовсе не проблема одной лишь технологической подготовки, так называемого мастерства и прочих сюжетов этого ряда, как раз охотно обсуждаемых, а перемена взгляда на жизнь! Полная это перемена? Или частичная? И надолго ли? Вот бы критике о ней заговорить со всем пылом личных симпатий и антипатий, то ли радуясь, что над трупом поэтического театра победоносно торжествует современный реализм, то ли сожалея, что ни Шекспира, ни Расина, ни Шиллера мы не слышим во всей их мощи.

Само собой, голоса критиков, как и спектакли, и театры, не будут и не должны быть одинаковы, — один убедительней внушит неверное, другой — беспомощней скажет верное, один выразит чувства большинства зрителей, другой — именно с этими чувствами станет воевать, — но это и есть движение к истине, рождающейся не в пустых склоках, а в открытой борьбе художественных идей, где плодотворны лишь доводы, апеллирующие к сердцу и разуму, но не к силе. Критические споры решаются не «оргвыводами», а духовной действенностью печатных страниц, выход на которые, гласность, — непременное условие критики. Побеждает в читательском сознании тот, кто ясно и откровенно говорит, что думает, кто не страшится возражений и умеет на них ответить, уточняя свои или опровергая чужие аргументы. Лишь так складывается и овладевает умами объективное, научно обоснованное суждение.

Зачастую, однако, оппонента не опровергают, но всеми правдами и неправдами стремятся снять его аргументы с обсуждения. Особенно тут усердствуют под предлогом защиты высших достижений современного искусства. Но подлинные художественные достижения, как не раз демонстрировала история, не блекнут от того, что не все сразу так их и расценили. Конечно, с предвзятыми нападками необходимо спорить, находя убедительные доводы против несправедливостей. Но самые ретивые защитники часто на это как раз и не способны, вот они и требуют создать вокруг современных, а порой даже и классических, художественных ценностей зону если не похвал, то почтительного молчания, чем и наносят подлинным ценностям наибольший ущерб.

Так вышло, к примеру, с книгой В. Гаевского «Дивертимент», которая привлекла внимание не только изысканностью слога, но и страстным отрицанием балетов Ю. Григоровича, укрепивших в Москве

традиции ленинградской хореографии. Она восторженно воспела театр, в котором первое место принадлежит не хореографу, а балерине, театр радостного танца, не обремененный трагичностью. Естественно, пристрастия критика, близкие некоторым тенденциям нынешней балетной сцены, не только московской, и могли, и непременно должны были вызвать не одни восторги, но и возражения, споры. Однако споров не было, были лишь окрик В. Ванслова с надуманными идеологическими обвинениями и наказания редакторам. Полтора подвала В. Ванслова в газете «Советская культура» содержали к тому же не меньше отклонений от истины, чем книга В. Гаевского. Творчество Ю. Григоровича выглядело там продолжением тех течений балета, в преодолении которых как раз и формировался его талант. Вне зависимости от собственных намерений В. Ванслов лишь продолжил компрометацию хореографа, начатую В. Гаевским.

Держась иных взглядов, чем они оба, я тогда же написал большую статью, где подробно рассмотрел взгляды Гаевского и Ванслова в соотношении с реальным бытием советского балетного театра. Но бравшие в руки рукопись меня сразу же спрашивали: «А вы за Гаевского или за Ванслова? За Плисецкую или за Григоровича?». Поскольку об этом и шла речь в статье, я тотчас признавался: покамест речь идет о наветах и дисциплинарных мерах, я, конечно, за того, на кого они валятся, но в остальном, в собственно балетном кругу, я не могу такого сказать.

Я, к примеру, никак не согласен с Гаевским, что высокая оценка «Легенды о любви», едва ли не самого значительного советского балета, — ошибка. Но и с Вансловым, даже закрывая глаза на форму и тон его директив, я никак не могу согласиться, к примеру, в том, что Григорович — продолжатель Р. Захарова. Художественное направление, связанное с этим авторитетным именем, на мой взгляд, продолжается ныне совсем иными спектаклями Большого и других театров. И много еще примеров я приводил уже предварительно в оправдание того, что не согласен ни с Гаевским, ни с Вансловым, а думаю совсем по-другому.

Я, опять же, признавался, что не устаю восхищаться балериной Майей Плисецкой, что высоко ценю большинство балетов Юрия Григоровича, а мне говорили: «Надо иметь позицию!» и спрашивали: «На чьей же вы стороне?». Приходилось отвечать: я на своей стороне, но в некотором смысле и на стороне всех действующих лиц, пока они соблюдают нормы общественного поведения, а «иметь позицию» — вовсе не означает присоединиться к какой-то из двух конфликтующих сторон. Шекспировский герой сказал даже: «Чума на оба ваши дома!», но никто не винит его в отсутствии позиции.

Я за то, чтобы Гаевский имел возможность без опасений излагать свои, противоречащие моим взгляды, и я мог ему возразить, не оставляя этим впечатления, будто и я на стороне дубинки. Я за то, чтобы Ванслов, если он рискнет говорить без дубинки в руках, тоже имел возможность излагать свои, не менее противоречащие моим взгляды, и я мог бы ему тоже возразить, не опасаясь последствий. Я и за Плисецкую, и за Григоровича, поскольку оба они обогатили наш театр, и мы обкрадем себя, ради полемических красот или других

надобностей кого-то из них перечеркивая, даже если что-то у них не получается и мы об этом открыто говорим, — ведь талант утверждает себя не непогрешимостью, а пронзительностью удач.

И мне отвечали, иногда даже соболезнуя: «Нет, такого мы себе позволить не можем». Я потерпел неудачу. Статья моя не была напечатана. А сколько таких неудачников в нашей критике, не только балетной! Сколько статей, — быть может, самых лучших, — даже не написаны, поскольку авторы не видели конкретной возможности их напечатать.

Но, чем чаще молчит критика, тем больше неудач в театре. Пора говорить об этом без обиняков. Из того, что правда — одна, никак еще не следует, что она всегда и целиком в одних руках. И затыкающие уши себе же причиняют зло, если, конечно, иметь в виду искусство, а не быт, который можно наладить совсем неплохо.

И это ведь наш театр, наша культура, наша страна, и, если, чтобы никому, и себе в том числе, не причинять беспокойства, мы окончательно разучимся быть откровенными и одновременно терпимыми к откровенности других, искусство иссохнет, как река в засуху. А и самой замечательной гидростанции нужна вода, чтобы вращались турбины.

ПАМЯТИ ЭФРОСА

Весть о смерти Эфроса приводит в отчаянье. Конечно, еще три год назад, когда он согласился возглавить Таганку, я, отчаиваясь, говорил «Но ведь это — самоубийство, неужели он не понимает?» И все равно примириться с этой смертью невозможно, как будто самоубийство оставляет другой исход.

Анатолий Эфрос был для меня самой крупной фигурой послевоенного русского театра. Конечно, Товстоногов начал раньше и полнее владел разнообразным наследством советской сцены. Конечно, Любимов, хоть и начал позднее, добился более явного признания. Но, отдавая должное обоим, я всегда предпочитал Эфроса, он просто был мне интереснее. И не только потому, что мы ровесники и, соответственно, личные впечатления и проблемы ближе.

Сценическое мышление Эфроса захватывало органичностью. Завлекал не замысел, не попутные декларации, не вывод, а течение сценического бытия. Это в нем уцелела старо-мхатовская черта. Спектакли бывали лучше или хуже, но живыми непременно. Психологическому театру он принадлежал всюду, даже там, где ему самому казалось, что они враждуют. Но эпоха жила не психологией, а социологией, связь которых остается для современников туманной. В отличие от Любимова или Марка Захарова, занятых обнажением социальных противоречий, Эфроса широкая публика в кумирах не держала. Да он и впрямь лишь просветлял почву, где социальные противоречия росли.

Лет восемь назад Вадим Гаевский, с которым мы оказались в Таллине в одном номере, на мои восторги по поводу «Дон-Жуана» и «Женитьбы» ответил: «Мы так не думаем и Толю всерьез не берем, наш герой — Любимов». Большого неофициального признания Эфрос так и не получил.

С официальным было еще хуже. Анатолий Васильевич Эфрос, в указе о присвоении после пятидесятилетия менее чем камер-юнкерского почетного звания заслуженного деятеля искусства поименованный Анатолием Израилевичем, а в некрологе Анатолием Исаевичем, вызывал у ведавших культурой должностных лиц еще большую неприязнь, чем не стеснявшийся с ними Любимов. Фрондирующего русского коммуниста они выносили легче, чем аполитичного беспартийного еврея. Свой театр был у него всего лишь четыре года, — после XXII съезда, с 1963-го по 1967-й. Все остальное время — положение гастролера или очередного в чужом театре.

Покамест некоторый неофициальный успех удерживал узкую группу артистов, готовых работать, доверяясь традиции психологического театра, обидой удавалось пренебрегать. Но социальный кризис углублялся, а вместе с ним росла нужда в плакатно-социальном театре и к психологическому падал интерес. На этой почве росли расхождения с актерами.

Один из лучших поздних спектаклей, «Живой труп» во МХАТе, остался практически незамеченным. Он, действительно, не влезал в рамки привычного: в его спектакле лгать и подличать было невозможно уже не особенной душе, выдающейся личности, как

привыкла русская сцена, а заурядному честному человеку. Но в жизни эта психология давно была повержена, заурядный человек привык лгать и подличать, и не видя другого выхода, считал себя при этом честным и не желал, чтобы ему демонстрировали невозможность такой жизни, чем и была сильна игра Калягина.

В конце жизни Эфрос сетовал, что «почему-то ушел от психологического реализма. Кому-то все время бросал вызов. Традиции, например». Такая самооценка росла из нарастающей растерянности. На деле он вовсе не уходил от психологического реализма, но переходил от психологической верности бытовой реплики и бытового поступка к психологической точности смены крупных планов жизни и жизненно-важных решений.

Психологические метафоры, к которым он перешел, были могучи не только сами по себе, как у Любимова, но и местом в ряду, который, они в спектакле образовывали, и психологической обоснованностью перехода от одной метафоры к другой. Но к шумному успеху, ни официальному, ни неофициальному, и это не приводило. Эфрос оставался вне обоих властных течений современного советского сознания. Он принадлежал искусству. И, не желая согласиться с тем, что и зрители, и критики, да уже и актеры, отнюдь не одному искусству принадлежат, все больше метался. Критику, к нему более чем несправедливую, он винил в субъективности, тогда как хулы были не так все же личными, как адекватными управленческой позиции, да и место в печати оставалась лишь у нее.

В пору этой растерянности ему и предложили занять место Любимова, из-за рубежа выяснявшего отношения с властями. Разумеется, вторгаться в эту дискуссию, пусть Любимов и не казался во всем безупречным, было безнравственно. Но не забудем, что к утрате критериев Эфрос был приведен всей своей унижительной жизнью, и к тому же мог себя уверять, что никому реального ущерба не нанесет, зато получит театр. Конечно, еще в пору работы над «Вишневым садом» можно бы понять, что Таганка — лишь псевдоним Любимова, что отдельно от него она не существует, хоть, разумеется, ее актеры способны, не без усилий, врать в другой театр.

Сделать Таганку своей Эфрос не мог, открыть в том же здании другой театр тоже, да и не этого ждали назначавшие. Слухи о возвращении Любимова пролили на происшедшее дополнительный свет, и стыдный шаг оказался бессмысленно-напрасным. Всего этого оказалось слишком много, и пришла смерть. Она, понятно, не меняет шкалу ценностей, но нам, привыкшим к безнравственной повседневности, стоит все же различать поступки людей, лишенных совести и чести, и людей с нравственным чувством, запутавшихся, однако, в нашей невыносимой жизни. Таким людям, а Эфрос был таким, дурные поступки не по силам, им бы не след их совершать из простого чувства самосохранения.

Но в том-то и дело, что у Эфроса не было чувства самосохранения. Он привык жертвовать собой искусству. Должно быть, и на сей раз он верил, что жертвует собой ради искусства. И пусть он ошибся, примириться с этой вынужденной всем ходом жизни жертвой

нет сил. Тем более, что и некрологи молчат о том, чего его лишали всю жизнь.

Самоубийства в некотором смысле страшнее убийств, они означают, что нет надежды. За ними – либо переворот, либо всеобщий упадок.

20.1.87

КРУШЕНИЕ КРЕОНА

«Антигона» Ануя — не новинка. Были спектакли и недурные, но незначительные

Что нам Антигона, когда есть Петр Григоренко, Сергей Ковалев, Анатолий Марченко? Отношение к власти захватнической, жестокой, проще всего свести к заведомо отвращающим свойствам. Важно выяснить отношения с властью, пекущейся о нас, любящей. Для Антигоны это родной дядя Креон, подаривший девочке первую куклу, а когда она подросла — отец ее жениха, и сыну и ей желающий счастья.

Но власть хочет порядка, и после борьбы братьев Антигоны за трон, в которой оба вели себя отвратительно и оба погибли, наследник-дядя ради порядка одного хоронит с почетом, а труп другого запрещает предать земле. Власть не выносит, чтобы у каждого была своя правда, чтобы царственные соперники стоили друг друга. Это подрывает устои. Власть верит, что обязана лгать во спасение общества, но человек лгать не обязан.

В спектакле Чхеидзе такое представление — плод девичьей наивности. Антигона молодой Лавровой, наследницы прославленных отца и деда, прежде всего искренна, в ней нет и тени фальши, претензии на подвиг, ощущения своего геройства. Похоронить брата ей так же естественно, как прийти к жениху, чтобы стать его женой до свадьбы. Новое поколение завело с обществом столь же интимные отношения, как друг с другом. Искренность побуждает верить такой Антигоне, а если местами одаренной актрисе недостает пронзительности, то оттого, пожалуй, что жареный петух еще не клевал, а на это как-то и нехорошо сетовать. Это знание, боюсь, придет.

Басилашвили против Ануя

Недостает, впрочем, лишь в сравнении с ее главным сценическим партнером, дядей, в роли которого Басилашвили, этим знанием в избытке располагающий и на протяжении спектакля упрямо старающийся им поделиться.

Басилашвили затевает яростный спор с Ануем. Он произносит авторский текст, но каждое произносимое слово актер обращает на пользу своему герою. Басилашвили делится с ним не только красотой, но и обаянием, и добротой, и готовностью помочь ближнему, побудившей артиста потратить уйму времени на общественную и прямо депутатскую деятельность. Самые худые дела Креона в его устах выглядят жизненно необходимыми, и хоть пагубными для одного, но благами для сотен и тысяч. Понятно, текст не дает актеру победить драматурга, но мы не испытываем к Креону личной ненависти: пока не стал царем, он был, наверное, верным товарищем, — и от этого еще страшней.

Пьеса Ануя откровенно осовременена, древние греки спрашивают, который час, просят сигаретку. У Басилашвили нынешний день владеет интонацией, с которой он говорит: «чтобы скоты, которыми я управляю, все уразумели, трупный запах по меньшей мере месяц будет отравлять

воздух». Как современный государственный деятель он уверен, что люди должны надыхаться смрадным запахом гниющего трупа, чтобы научиться себя вести. А он даже не убивал Полиника, лишь воспользовался его трупом. Но нет сомнений, что ради конституционного порядка этот добрый Креон и сам убьет хоть восемьдесят или, говорят, сто тысяч. В Фивах почтенный, седой, красивый царь, а в остальном - работа у них такая.

Любящие убийцы

Почему же ни Антигона, ни мы, грешные, не внемлем? Почему еще знаменитые слова «чем больше мы по этому случаю убьем священников, тем лучше», сказанные, когда Ануй был мальчиком и пьес не писал, заставляли нас содрогаться? Не потому ведь, что мы так любим священников. Мы просто не уверены в праве убивать и вообще решать за других, жить им или не жить, и как жить. Скажут, это чепуха, — повсюду в мире убивают каждый день. Сойдемся на минимуме: не убивать тех, кто сам не убивает. Ведь если убивать можно, в дело вступает логика, с которой не поспоришь. Потому наивная Антигона и повторяет: «я не хочу быть правой», «я не обязана подавать пример». Мало кто берет с нее пример, оно и опасно и часто бессмысленно.

Но что происходит с теми, кто принимает логику Креона? Он именуется подданных скотами, но ведь не родились они скотами, а сделались под водительством добрых и любящих убийц. А ни Фивам, ни другому городу не жить без людей ни в древней Греции, ни в покоренной Франции, ни в современной России. Держащие людей за скотов лгут, что это для их же блага. В жизни торжествует большее, чем логика, и продавшие по расчету совесть поступили нерасчетливо. Сажая на трон хорошего царя, не стоит чересчур ему доверяться. На троне в голову взбредают мысли, которые на табуретке не придут. Басилашвили всей силой своего таланта стремится доказать противоположное и верит в царскую мудрость. Но таков уж мифологический сюжет, что наказание Антигоны влечет за собой гибель сына, а она — самоубийство жены. Креон выносит и это: «Ну что ж, если назначен совет, пойдем на совет», и сломленный, все равно поднимается и идет. Проиграв автору в споре, актер сыграл едва ли не лучшую свою роль, поскольку прежде его искусство не было столь полно, -- по Станиславскому -- искусством переживания не только на сцене, а именно что в жизни.

Возрождение традиций Товстоногова

Спектакль Чхеидзе доводит размышления до корней, и, кажется, впервые после смерти Товстоногова возвращает этой сцене присущее ей понятие о назначении театра. Театр Товстоногова едва ли не больше, чем даже театр Любимова, не говоря об Эфросе, воспринимался как театр политический. А это был театр общественного сознания, далеко не всегда преломлявшегося политически. Горьковские «Варвары» и особенно «Мещане» были

прочитаны здесь как раз наперекор привычной политизации, что удалось, конечно, только потому, что обнаруженное Товстоноговым присутствовало в пьесах большого писателя, которого прежде трактовали плоско, чтобы возвеличивать, как ныне, чтобы развенчать. Театр Товстоногова был не просто сообществом одаренных актеров, они есть и сегодня — и Толубеев в роли хора, и Лифанов в рода стражника, и Старых в роли бессловесной жены Креона, и другие. Возможно, Товстоногов что-то бы с актерами уточнил, но спектакль, думается, он бы принял.

А, может быть, и вообще современный упадок театра, о котором столько говорят, вызван не только безденежьем, не только навалившимися на зрителей заботами, но в борьбе за выживание театр слишком торопится стать другим. Не имевшим прежде лица это, быть может, и полезно. Но театру Товстоногова стоит удержать взгляд режиссера на людей и общество. Ведь безвременье и уродство, которые он опознавал и препарировал, не ушли и, во всяком случае, возвращаются.

НАДЕЖДА БЫЛА

Понемногу фильм «Хрусталеv, машину!» достигает зрителя. Достигает уже не как запретный или полузапретный плод, подобно трем предшествовавшим картинам Алексея Германа, при любом отношении к ним оправдавшим интерес. Достигает не сквозь советскую цензуру, а сквозь провал на престижном международном фестивале, сквозь торопливо выходящие из зала фигуры, заслоняющие экран. Но на экране пейзажи, интерьеры, композиции, лица, выхваченные из потока реальной жизни зорчайшим художественным взором, сопоставимого с которым в российском кинематографе нынче, пожалуй, не сыскать, взором более острым и точным, чем в предыдущих фильмах. Катарсиса нет, но и не отмахнешься.

Объяснения неудачи лежат на поверхности. Для бегущего по экрану видения на манер Гойи пронзительного, почти гротескового реализма у Германа с лихвой, но способности испанца видеть во плоти сверхреальные метафоры все же недостает. Аналоги им, да и то сугубо натуралистические, обнаруживаются разве что к концу, за пределами обыденной жизни героя. Есть и другое объяснение: одной режиссурой не обойтись, надобен внятный сценарий. Но, опять же, у Феллини это почти всегда сценарий изобразительного письма, а не словесной пьесы, пусть даже ее недостаток у Германа и ощущается. Но он не объясняет, почему отдельные кадры пронзительнее фильма, претендующего на метафоризм не подробностей, а целого. Говорят еще, что фильм сложен и чтобы уследить за развитием, впрямь надо сосредоточиться. Но, справясь с трудностями чтения, обнаруживаешь, что всё тут не слишком сложно, а слишком просто. Режиссер погружен в дни болезни и смерти Сталина и попутные события, среди которых дело врачей, на экран не выходящее и краешком. Страх посеян первыми же кадрами и не уходит до конца. Но не зажатый страх тех дней, со страху и сам прятавшийся, взрываясь лишь иногда, — а сплошь истерический. Герой, генерал медицинской службы, входит в фильм уже потерянным и для поддержания духа непрерывно пьет чай, то бишь того же цвета коньяк. Этого исходно сломленного человека страх, а потом само КГБ, по ходу фильма добивают, и, даже освобожденному, ему со страхом не совладать, — и он уходит, из прежней привилегированной жизни в неизвестность, «в низы». Можно, конечно, объяснять сей необычный все же поворот тем, что, изнасилованный в заключении гомосексуалистами, генерал-бабник вдруг ощущает свою истинную сексуальную природу и тянется к ней; но вряд ли все же фильм про это. Скорее, в противоположность марковсу пролетарию, которому нечего терять, кроме своих цепей, чем и поощрялось дерзкое желание приобрести весь мир, советский генерал бежит потому, что, пройдя круги ада, даже и после смерти Сталина ждет покоя лишь от положения, в котором нечего терять. Можно бы заметить, что на деле смерть вождя все же внесла в жизнь некоторые перемены, пусть сущности режима не менявшие. Но режиссер этим переменам, как и позднейшим, более наглядным, справедливо не доверяет, тем более, что нынешний год, реставрируя прежние отношения под новыми именами, подтверждает обоснованность

недоверия. Десятки и даже сотни тысяч вернувшихся из лагерей, куда были загнаны десятки миллионов, своими судьбами уже тогда скорее рождали отчаянье, нежели оптимизм. Безнадёжность, переполняющая картину, вытекает не из социально-экономических раздумий, — это крик души, и он, быть может, достигал бы слуха, излившись текстом, статьёй, а вернее всего лирической поэмой.

Но одно то, что в лирические герои вышел советский генерал, пусть от медицины, который в финале даже извлечен из заключения, чтобы то ли спасти товарища Сталина, то ли установить факт его смерти, и на сей предмет сведен с сидящим у постели вождя Лаврентием Берией, на деле в последние дни диктатора висевшим на волоске и к подобным акциям не способным, выдает претензию на трагедию. Но трагедия по природе не монотонна, не монохромна, как этот сознательно черно-белый фильм. Трагические коллизии захватывают не самой по себе невозможностью спасения, — чтобы стать трагическим, даже и обреченному герою надо еще самому определить, в каком качестве он гибнет. А ни генерала, ни Германа это не занимает. Беда не в ложном избрании жанра, не в том, как «сделано». У натурального художника уже и самый выбор жанра содержателен, да и вообще стерто разделение на содержательность и «художественность». Бессодержательная «художественность» и есть первый враг искусства. А фильм Германа насквозь содержателен, что и позволяет его не рецензировать, а с ним полемизировать.

Нужно это потому, что чувства, выплеснутые фильмом, при всей трудности его восприятия зрителем, не уникальны, они владеют значительной частью наших сограждан и изъясняются много проще, к примеру часто повторяемым народным афоризмом «все дерьмо, кроме мочи». Еще шекспировские могильщики это обсуждали, по опыту зная, во что обращается человек, и даже кожевеннику не отводившие более десятка лет. Как вода — «первый враг вашему брату покойнику», так распоясавшееся государство — первый враг живому человеку. Герман убедительно показал, до чего оно доводит и на воле и, тем более, в заключении. Но чтобы стать предметом искусства, палачество должно встречать сопротивление, не обязательно реальное, но все же... Безмолвная овечка, покорно кладущая голову под нож мясника, в трагические герои не идет. Покамест людей не держат за людей, их гибель не пробивает равнодушия. Как это опять же говорит народ, — «сколько вас сушеных на фунт?» Герман заражает зрителя страхом, но не состраданием.

В фильме, отвергающем бесчеловечность, нет и мгновения человечности. Даже для влюбленной в него женщины, когда он приходит к ней, как-никак, в поисках спасения, генерал, и откликаясь на просьбу ее обрюхатить, не находит живого слова или хоть касания. Бесчеловечность государства выглядит обращенной на обезчелоченных людей, о которых мы не знаем, когда и отчего они человечность утратили или всегда были такими, отчего и государство такое завели. Между тем, даже если «все дерьмо», так, по крайней мере, не всегда, и, как сказано классиком театра, когда играешь злого, ищи, где он добрый. Понимание этого важно не только театроведу, но и социологу. Нам предлагают культ извечной безнадёжности, между тем

подлинность российской трагедии как раз в том, что, по слову поэта, «надежда была». Она была и в семнадцатом, и еще в двадцать седьмом, и в пятьдесят третьем и пятьдесят шестом, и в шестьдесят восьмом, и в восемьдесят пятом, и в девяносто первом, и при желании не так трудно понять, почему не сбылась, и бог весть когда опять появится. А причиной не одни обстоятельства, но и люди.

Многочисленные крушения надежд, конечно, наложили на фильм свою печать. Выйди он не в 1998-м, а хотя бы в 1995-м, а еще лучше в 1991-м, — возможно, растоптанные надежды не отсутствовали бы, а умирали на экране, обнажая трагедию, не одним Германом, но и многими современниками, воспринятую лишь как обыденность ужаса. Для этого, однако, надо бы пристально вглядываться не в итог обезчеловечения, а в его ход. Ведь и в нынешней реставрации винишь в первую голову не государственных лиц, а недавних товарищей, и в новом развороте теперь охотно оправдывающих все, что прежде вместе отвергали, лишь потому, что место звезды с серпом и молотом занял двуглавый орел. Впрочем, и советская символика уже мало кого из них смущает.

Между тем, утрата человеческого облика более трагична, чем физическая гибель, а ныне это и не дошло еще до альтернативы. Но Герман не дал своим героям людского облика. Может быть, нынче многие о нем и впрямь забыли, — морали нет, есть только даже не красота, а зеленые бумажки, но в страшное время, по фильму текущее, и тем более, на протяжении двадцатого века, еще уничтожали и людей, — людей сплошь и рядом бессильных, хранивших себя в тайниках души, но души не потерявших. Сколько за эти три четверти века выдающихся людей погибло, лишь бы не утратить лицо человеческое, пусть ничего в реальности не изменив! Трудно соглашаться с Тютчевым, что в Россию можно только верить. Если не жаль сил, можно ее понять и умом. Хоть невозможно предсказать, что, как и когда все же обратит Россию к необходимости, осознав опыт нашего века, жить иначе, не стоит наперед исключать такую возможность.

А когда себе и другим вбиваешь в голову, что наше отечество — проклятое место и ничего быть в нем не может, этим и себя освобождаешь от какой бы то ни было ответственности за поступки. Выпустив свой новый фильм, Алексей Герман присоединился к хору, возглавленному Никитой Михалковым, чтобы заглушить голос Андрэ Глюксмана и других западных интеллигентов, различающих в чеченских событиях поворот к временам, изображенным в фильме. Для Германа, выходит, это тоже «наше внутреннее дело». А это не столько внутреннее дело государства, сколько, прежде всего, внутреннее дело любого из нас, и, признав за государством право на бесчинство, трудно соперничать жертвам его бесчинств. Не только в чужой Чечне, но и в собственном фильме.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ*О переводе поэзии*

За последние годы в отношении к поэзии произошел очевидный перелом. Явилось множество новых поэтических имен. Были воскрешены или с несравненно большей полнотой, чем прежде, открылись многие большие русские поэты. И, наконец, больше места стала занимать в читательских интересах иноязычная поэзия, все чаще и шире переводившаяся. Эти разные потоки поэзии вместе с Пушкиным, Баратынским, Лермонтовым, Державиным, Жуковским, Тютчевым, Некрасовым, Фетом и поэтами XX века, и живыми и умершими, но неумирающими, составили круг впечатлений современного читателя.

Мы, как правило, упускаем из виду многослойность этого круга. Современность видится нам лишь в отклике на сегодняшнее, в лучшем случае — в сегодняшнем отклике. Но ведь и давно умершего, и жившего в чужой стране поэта мы читаем не из праздного любопытства. Бессмертие большого поэта не сводится к личному его бессмертию, к величию его таланта. Это еще и бессмертие его интересов, разделяемых, пусть не во всем и не везде, современным человеком. Узнать о современном человеке можно не только из того, что о нем написано, но и по тому, что он читает.

Переводы сегодня читаются в изобилии. Поэтические — в особенности. Однако суждение о них, как правило, проскальзывает над их реальным местом в современной литературе. Еще не так давно мы тратили время на серьезнейшие дискуссии о том, можно ли считать перевод художественного произведения художественным творчеством. Разумеется, в этом споре, едва только он вышел на поверхность и вовлек в себя широкую литературную общественность, истина родилась незамедлительно. Но при быстрой победе справедливости не все успели разглядеть, что щедрую дань отрицанию художественной природы перевода отдали не только его очевидные недоброжелатели, но, как это ни парадоксально, и часть его защитников. Некоторые из них, особенно ревностные, так свято уверовали в могущество разработанных ими методов и правил, что всерьез доказывали, будто всегда возможно совершенно точно, полным весом, перевести на русский, как и на другие языки, всю мировую поэзию, со всеми ее особенностями и оттенками. Рождение на другом языке пусть даже не близнеца, но хотя бы родного брата иноязычного стихотворения, действующего с той же силой и в том же направлении, что и оригинал, перестало считаться невероятным чудом, каким следует считать всякое вообще произведение любого искусства. Высокие удачи Лозинского или Маршака тщательно анализировались и брались за основу академических законов перевода. Искусство переводчика, его внутреннее художественное ощущение сковывались все более и более жесткими нормами сопоставительной стилистики, производным от которых был объявлен не только деловой, но уже и художественный перевод. Переводчик

уподоблялся стеклу хрустальной чистоты, сквозь который надлежало видеть только оригинал. И читатель верил этому чистосердечно. Раскрывая томик стихов Байрона, Гете или Гюго, он видел там Байрона, Гете, Гюго и никого другого.

Естественно тянуться к книгам, подписанным именами корифеев мировой поэзии. Но ради того, чтобы не создать себе ложной перспективы, читателю стихов следует отчетливо уяснить, что сулит ему переводная поэтическая книга, какова мера возможного в ней соответствия подлиннику, что следует в ней искать, что от нее требовать, какое место занимает она в современном поэтическом движении и чем, на самом деле, может обогатить того, кто ее раскроет.

Как же стихи живут в чужом языке, куда девается таинственное волшебство слова, его всякий раз особенный облик, в котором держится поэзия?

Символ немецкого романтизма — «die blaue Blume», голубой цветок. По-русски это и красиво, и в меру загадочно, но слитности облика и цвета, мерцающей двойственности, которая колышется по-немецки, в переводе нет и в помине.

Гете пишет: «Neue Liebe — neues Leben», и в перемене звучания «Liebe» — «Leben» — свидетельство перемены жизни. А в точном переводе «Новая любовь — новая жизнь» значение слов остается, но смысл их звучания исчезает, и мы переходим от поэзии к обыденной прозе.

Три глубоких рва отделяют переводное стихотворение от подлинника. Сперва несходство языков, навязывающее литературе национальные пределы. Краткость английских слов или отсутствие в русском артиклей в большой мере определяют структуру и стиль английских и русских стихов.

Уже само понятие о различии стилей внутри языка в каждом из них своеобразно. Однако, даже отыскав точки максимального стилистического соответствия двух языков, мы не завалим ров, их разделяющий. Как ни важны общие представления о стилистических пластах, они не покрывают того особенного словесного мира, какой представляет собой отдельное стихотворение. А этот особенный, пусть отчасти и предопределенный устойчивыми стилистическими нормами, единственный стиль тоже вырастает из свойств родного языка.

Установление нормативных языковых соответствий, весьма продуктивное, пока речь идет о самых общих случаях (немецкое «Ich habe» следует переводить «у меня есть» и т. п.), становится все менее надежным по мере углубления в текст, вырастая порой в непреодолимую преграду, когда мы сталкиваемся с большим художником, смело творящим свой стиль и ждущим в ответ столь же непринужденной смелости.

В повседневной жизни языка правила просто необходимы, в попытке воссоздать единственный и неповторимый язык Гоголя плодотворно только творчество. Здесь граница возможностей сопоставительной стилистики, на которую уповают как на филологическое обоснование перевода и которая в самом деле, хотя и только до указанного предела, такое обоснование дает.

Заговорив о стиле, мы подступили ко второму рву между переводом и оригиналом — к несходству литературных традиций. Это преграда самая широкая, со множеством дополнительных барьеров.

Первый — различие систем стихосложения, принятых разными литературами, во многом также обусловленное несходством языков. Кое-чему найдены устойчивые соответствия: французский силлабический александрийский стих передается обычно русским шестистопным ямбом с цезурой после третьей стопы, оттого и по-русски названным александрийским. Переводчику все время приходится искать такие соответствия, и правила мало ему помогают, тем более, что и система стихосложения смещается, — порой то, что прежде считалось погрешностью, становится выразительным средством. Проблема передачи по-русски силлабики, тоники, свободного стиха неразрешима в отвлечении от реального развития русской поэзии, которое не определяется волей переводчика, как и волей оригинального поэта.

Но система стихосложения — лишь один и достаточно все же подвижный элемент поэтической формы. Есть куда более стойкие, и их несоответствие имеет и структурное, и стилистическое, и содержательное значение. Перевод «Дон-Жуана», выполненный Татьяной Гнедич, точно так же, как и подлинник, равнодушен к каталектике, к строгости чередования мужских и женских окончаний в октавах. Особенность английского языка — обилие односложных слов — закреплена литературной традицией, и англичане, как правило, не замечают негармоничности такого чередования рифм. А у нас язык другой и традиция другая: рифмы в русских октавах меняются в определенном порядке. Блистательный в других отношениях перевод Т. Гнедич кажется читателю, знающему «Домик в Коломне», несколько небрежным, хотя он лишь безупречно верен подлиннику. А между тем, в оригинале «Дон-Жуан» не кажется небрежным.

Да и самый характер рифм в чужих языках часто далек от нашей традиции. Испанские стихи сплошь и рядом ассонированы на одну гласную, а у нас такой ассонанс либо вообще не станет рифмой, либо, если усилить созвучие, породит некоторую монотонность, которой в испанском нет.

И восприятие формы стиха определено литературной традицией. Легко переводить сонет с итальянского на английский, коли англичане почитали его не меньше итальянцев, хоть и не так строго соблюдали его правила. А по-русски сонет, за редчайшими исключениями, остался чисто книжной формой. Если русский переводчик и не обречен этим на книжность, то преодолеть ее ему куда труднее, чем его английскому собрату.

Покамест ясно лишь, что в суждениях о консерватизме или новаторстве переводчика надлежит проявлять крайнюю осторожность, сообразовывая такое суждение с литературой его времени. Если Тютчев упорядочивал гейневский свободный стих, то лишь оттого, что русская поэзия не видела тогда подступов к свободному стиху, с которым она и поныне не очень дружна. Но лексика и весь стиль Тютчева здесь — не простое следствие ритмических изменений, которые он произвел, а, как и сами эти изменения, отражение духа

времени. Сопоставлять перевод Тютчева со сделанным через сто лет — значит отвлечься от того, что всякий перевод возникает в русле литературного процесса.

Развитие формы — лишь наглядный пример литературной традиции. Само постижение жизни, а значит, и образные средства, развиваются в разных литературах неравномерно. Аналогичные явления даже при известном параллелизме сохраняют своеобразный национальный отпечаток. Чем ближе иноязычное произведение нашей литературе, тем легче отыскиваются и средства его в ней запечатлеть. Немецкий романтизм по-русски тяготеет к Жуковскому и другим предшественникам и современникам Пушкина, поэзия парнасцев — отчасти к символизму и особенно к акмеизму. Но и ориентация на родную литературу не сулит переводчику спасения. Очевидность литературного направления не исчерпывает конкретного стиля иноязычного поэта. Чтобы прижиться в чужой литературе, ему надо сыскать родственников. Иногда они даже известны — легко догадаться, что русский «Дон-Жуан» Байрона где-то рядом с «Онегиным». Но, при всей связанности двух романов, различия столь огромны, что и ориентир не спасает. Переводчику, сообразуясь с традициями родной литературы, надлежит заново сотворить стиль иноязычного автора, как если бы тот писал по-русски.

И здесь возникает третий, последний ров. Он в несходстве личностей поэта и его переводчика, их поэтических обликов, темпераментов, характеров, вкусов, пристрастий, страстей и страданий — одним словом, в различии их личных судеб и судеб их стран и времен.

Поняв все это, естественно было бы отказаться от непосильной задачи, если бы опыт не подтверждал, что поэты входили в духовный мир иноязычных народов, нередко занимая там ничуть не меньшее место, чем у себя на родине, как Шекспир или Гейне в России. Значит, что-то все же дает поэзии перенестись через преграды и жить в ином облике.

Стало общим, местом говорить, что переводчику необходимо прежде всего правильно прочесть оригинал, что для этого, конечно, нужно хорошо знать язык, с которого переводишь, хорошо знать предмет, о котором идет речь, хорошо знать жизнь чужой страны, ее литературу, культуру, историю и все, к сему принадлежащее. Истины эти очевидны, требования элементарны, и не очень понятно, почему в нашей теоретической литературе эти обязательные во всех случаях условия работы переводчика порой относят к какому-то особому научному или даже научно-аналитическому методу перевода, когда речь идет еще даже не о переводе, а о его естественных предпосылках, о простой грамотности.

В нашей литературе о переводе все время смешиваются знание и наука. Но это вещи разные. Наука опирается на знание, знание питается наукой. Однако наука добывает новые знания, а знание пользуется готовыми результатами науки. Конечно, переводчик опирается на завоевания лингвистики и литературоведения, они для него подспорье, но ведь пользование электричеством и даже электроникой и атомной энергией — важнейшими достижениями науки

— никого еще не делает ученым, отчего же филологии составлять исключение?

Разумеется, есть области, где само знание языка и понимание текста возможны лишь при собственной научной деятельности. Это, прежде всего, памятники древней литературы. Потому Добролюбов и говорил, что «переводчик классического произведения должен быть и ученый». Обычно же для понимания текста нет надобности в специальных научных исследованиях.

Между тем, справедливая борьба за грамотность, за филологическую культуру, которая, конечно же, необходима переводчику, как воздух, перерастает в абсолютизацию филологической культуры, к слову «необходимо» потихоньку, почти про себя, прибавляется: «и достаточно».

Так вот, не будем строить себе иллюзий: необходимо, но недостаточно! И недостаточно не только для воспроизведения на родном языке, но уже для постижения текста, ибо и чтение, с которого поэт-переводчик начинает работу, должно быть не просто филологическое, но поэтическое.

Поэтическое восприятие стихотворения предполагает сопричастие, филологический анализ — отстраненность. А уже само чтение оригинала должно быть не только усвоением точных сведений текста, но многоканальным погружением в образный мир оригинала, не поддающимся до конца учету.

Работу поэта-переводчика нередко изображают как работу с обычным текстом. Но стихотворение — не просто «текст», это произведение искусства, а в том и чудо искусства, что оно заставляет воспринимать себя как реальность. Так воспринимает стихи всякий читатель, но для того чтобы эту реальность еще раз запечатлеть, сотворить еще одно чудо, надо воспринять ее так же глубоко, как поэт воспринял жизнь.

Когда восприятие стихотворения ограничивается филологическим анализом, для воссоздания его на другом языке полагаются на поэтическое мастерство в самом узком смысле — на поэтическую технику. Но техника стихосложения — достояние не одних только поэтов. При усердии и элементарном слухе ею овладеет всякий желающий. Это дело доступное. Образование тоже доступно каждому. Немалое число достаточно образованных, достаточно усердных и достаточно владеющих поэтической техникой людей посвящает свой труд переложению иноязычной поэзии. Но, подобно тому как вообще поэтом становится лишь человек, обостренно воспринимающий мир, так и подлинным поэтом-переводчиком становится лишь тот, кто сверх этого обостренно воспринимает еще и чужую поэзию, так, что впечатления, ею оставленные, толкают к творчеству столь же неодолимо, как другого поэта — впечатления от реальности.

Не текст, а живущее в этом тексте художественное произведение, отразившее жизнь, за ним стоящую, постигает и воссоздает поэт-переводчик. Покойный И. А. Кашкин говорил, что переводить следует не просто текст, но «затекст». Термины И. А. Кашкина, рождавшиеся в пылу полемики, не всегда были безупречны, и словечко «затекст» не слишком изящно. И все же, призывая переводить «затекст», Кашкин

ратовал за верность художественной природе оригинала. Он призывал, понимая текст, идти за текст, а вовсе не мимо текста, как это пытаются ему приписать некоторые из оппонентов.

Вот она где, тайна пресловутой проблемы «подстрочника». Много бесконечно справедливого сказано в осуждение подстрочника, ненадежного помощника поэта, не знающего языка, на котором писал тот, кого он переводит. Критики подстрочника всецело правы. Переводить с подстрочника — значит плутать во тьме. Но разве, зная язык оригинала, переводчик зачастую не бредет в такой же точно тьме, если чтение его не поэтическое, не проникающее в «затекст», и он не видит в стихе ничего, кроме некоего текста, смысл которого ему ясен как раз в меру изложенного в подстрочнике?

Так справедливо ли считать, что перевод с оригинала всегда и во всех случаях заведомо лучше перевода с подстрочника? Нет, перевод с оригинала несомненно лучше только при прочих равных условиях, то есть, к примеру, при сопоставлении работ одного переводчика, одинаково близкого его дарованию.

Сравнивая переводы стихов с оригинала и с подстрочника, нельзя отвлекаться от природы переводчика, от меры и качества его душевного и поэтического восприятия. Без него переводчик и в оригинале увидит лишь подстрочник, а с ним, блуждая в потемках и, разумеется, далеко не наверняка, он может и угадать поэтическое содержание оригинала, которое не начисто же оторвано от смысла подстрочника.

Поэтическое восприятие, а не только знание китайской культуры, помогло А. Гитовичу оживить древних китайских поэтов. В. А. Жуковский перевел «Одиссею» с подстрочника и к тому же еще немецкого, между тем его «Одиссея» до сих пор не превзойдена. Мы спорим о подстрочнике, как будто рядом нет проблемы поэтического восприятия оригинала. Мы обучаем стихотворцев редким языкам, а потом Ахматова или Пастернак, Заболоцкий или Гитович, Маршак или Мартынов переводят по подстрочнику, и оказывается, что лишь с их помощью мы проникли, наконец, в жизнь иного народа, ибо только у них эта жизнь нас захватила.

Значит, ничего худого в подстрочнике нет и не стоит на него ополчаться? Нет, ограниченность, предопределенная подстрочником, очевидна, преодолеть его плен необходимо. Но из области гневных речей в область практической борьбы, к которой уже так бесконечно долго призывают, перейдет лишь тогда, когда от нападков на следствие — подстрочник — мы перейдем к искоренению причины: представления о переводчике как о ремесленнике, представления, обусловившего нашу манеру издавать переводные стихи.

Поэт-переводчик лишен элементарного права писателя — печатать свои произведения. Книга поэта-переводчика, если таковая все же появляется, — дань его заслугам, юбилею или кончине. Читатель обнаруживает в ней лучшее — впрочем, не всегда и лучшее — из уже опубликованного.

За широким плащом Байрона или Шекспира поэты и ремесленники равны. Лишь искушенный читатель заглядывает в конец книги, чтобы по фамилии переводчика решить, что читать, а что не стоит. Читатель же неискушенный порой только диву дается: куда как скверно,

оказывается, писал великий и возносимый до небес гений. Мы привыкли смотреть на поэта-переводчика как на мастерового, выполняющего, что прикажут, вот и забота наша лишь о том, чтобы мастеровой ремесло знал, да хорошо бы еще науки, к нему прилежащие. Вот мы и тешимся мыслью, что, заменив тупого малограмотного халтурщика смышленным и научно подкованным работягой, наверняка осилим всю лирику мира!

Но подлинным переводчиком поэзии может быть только поэт. Это не значит, разумеется, что он обязательно должен параллельно с переводными писать и собственные стихи. Ведь и не все, кто пишет собственные стихи, — поэты. Но когда поэты пишут стихи, они могут влить в них свое, собственное, никому еще не ведомое переживание, а могут и слить в них свое с чужим, уже когда-то кем-то пережитым.

Всякий приходит к этому по-своему. Для одних перевод — как бы продолжение собственного творчества. И Ахматова, и Маршак, и Пастернак, и Лозинский сперва открылись читателю в своих стихах и только потом уже в чужих. Впрочем то-то и оно, что не в чужих: теперь они были и их собственными. Леонид Мартынов, обращаясь к великим поэтам, которых ему довелось переводить, не зря восклицал: «Я не могу дословно и буквально, как попугай, вам вторить, какаду! Пусть созданное вами гениально, по-своему я все переведу, и на меня жестокою облаву затеет ополченье толмачей: мол, тать в ночи, он исказил лукаво значение классических вещей». Пусть это сказано с полемическим задором, конечный итог размышлений поэта неоспорим: «Любой из нас имеет основанье добавить, беспристрастие храня, в чужую скорбь свое негодование, в чужое тленье своего огня».

«Свое негодование», «свой огонь», часто обнаруживаются, прибавляясь к «чужой скорби» или «чужому тленью». Арсения Тарковского читатель узнал как вдохновенного переводчика классика туркменской поэзии Махтум-Кули и других поэтов Востока. Сравнительно недавно вышла книга его собственных стихов «Перед снегом». Это книга подлинного поэта. Но поэта в Тарковском можно было видеть уже по переводам. От того, что публикация его собственных стихов замедлилась, он не переставал быть поэтом.

Более того, он остался бы поэтом, даже не издав ни строки. Едва ли мы когда-нибудь узнаем стихи Льва Эйдлина, едва ли он их пишет. И, однако, его переводы из Бо Цзюй-и стали событием в современной поэзии, ибо они созданы поэтом. Можно задуматься о своеобразном свойстве поэтического таланта, который прорастает лишь в переводе, лишь на чужой питательной среде. Но, обладая поэтическим слухом, отказать ему в признании невозможно.

Оригинальность писателя заключается не в том, что он «сам все придумал». Она — в своеобразии взгляда на мир. Шекспир не становится меньше от того, что все его пьесы написаны на заемные сюжеты, порой совпадающие с первоисточником даже в деталях. Однако доказывать оригинальность Шекспира, видимо, нет надобности.

Очевидная на огромном примере истина остается собой и там, где примеры не столь значительны, если только это примеры подлинного искусства. Труд переводчика — не просто дань уважения культуре,

истории или даже археологии литературы. Он, прежде всего, — вклад в современный ему литературный процесс. Этой меркой и надлежит его мерить, не боясь сопоставления, сделанного поэтом-переводчиком, с тем, что делают другие, работающие рядом поэты.

Лишь став на этот путь, лишь издавая работы поэта-переводчика не только под общими корешками с десятком других, гениальных и бездарных, но, прежде всего, маленькими индивидуальными сборниками, как издаются книги поэтов, мы поможем возобладать в переводе подлинной поэзии и остановим ремесленничество. Впрочем, это сделает уже читатель, жадно раскупая одни книги и оставляя на прилавке другие — в зависимости от реальной меры поэзии, а не только от имени великого автора оригинала, как это нередко бывает сейчас.

Когда переводчик-поэт явится читателю с открытым забралом, не прячась за громкое имя автора, он сам, и гораздо эффективнее, чем от наших увещаний и заклинаний, позаботится — если обладает необходимыми для того данными — о поэтической ценности своих работ. А ради этого он неминуемо обратится к более глубокому, чем сегодня, постижению подлинника, к выбору подлинника, который действительно стоит переводить, начав с изучения языка. Тем более, что знание языка будет уже не просто подспорьем в одной работе, но дверью в чужую поэзию, за которой откроется множество новых замыслов, если только у этих замыслов будет хоть какая-то надежда, воплотившись, увидеть свет, надежда, для писателя необходимая.

Слово «перевод» вводит в заблуждение. Кажется, что мы переводим Китса и Верлена, как техническую документацию. Но мы переводим их как бы на другую, идущую в том же направлении, дорогу, переводим из одной литературы в другую. Покойный А. А. Фадеев назвал переводы С. Я. Маршака «фактами русской поэзии». И в самом деле, не став фактом родной поэзии, переводное стихотворение не имеет права на существование, ибо, коль нет в нем поэзии, то и об оригинале оно не скажет ничего существенного.

Существует много различных критериев верности на разные случаи. Есть, однако, и обязательный во всех случаях. Это поэтическая ценность перевода — решающий элемент его верности оригиналу. Как бы точно, пусть даже дословно, ни был передан текст оригинала, если в переводе скучно читать то, от чего дух захватывает при чтении оригинала, значит, перевод не состоялся.

Чем нехорош почти дословный перевод Иоганнеса фон Гюнтера из Александра Блока?

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

по-немецки обратились в:

Nacht, Straße, Pharmazie, Laterne,
Ein sinnloses und trübes Licht.
Leb fünfundzwanzig Jahr noch gerne —
Es bleibt so. Auswege gibt's nicht.

Du stirbst — und lebst zum andern Male,
Es wiederholt sich alles — sieh:
Nacht, eis'ge Wellchen im Kanale,
Laterne, Straße, Pharmazie.

Стихотворение состоит почти что из перечисления конкретных предметов, и все эти предметы скрупулезно сохранены в переводе. Но конкретные детали, поставленные рядом, особенно в стихах, обретают общий смысл. Они не равноценны, хотя и стоят в одном ряду. У Блока главное в этом перечислении последнее слово — «фонарь». В первую строку оно входит незаметно, как деталь городского пейзажа. Размышляя о бессмысленной, однообразной и безысходной жизни, поэт не просто заново перечисляет привычные предметы, какими они останутся и в будущем, он постигает их сегодняшний смысл. От строк

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.

к строкам

Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

ведет происшедшее в промежутке осознание бессмысленности жизни и своего одиночества в ней. Это и запечатлено в повторении и в перемене прежнего порядка. Место «бессмысленного и тусклого света» занимает «ледяная рябь канала», на последнее место передвигается «фонарь» — последнее, что остается в глазах. Одиноким фонарь во мгле, обозначавший в русской литературе, чуть ли не с Гоголя, непроходимое одиночество, остается от стихотворения как судьба его героя.

Гюнтер передвинул одно только блоковское слово — фонарь — Laterne. Его место заняло слово Pharmazie — аптека, по-немецки, как и по-русски, иностранное и не несущее в себе устойчивого образного содержания. От фонаря в блоковских стихах продолжался пусть тусклый, но свет одинокой участи во тьме жизни! В Pharmazie нет этого тревожного мерцания одиночества, есть только запах йодоформа и безапелляционность не очень приглядной гибели. Мысль о самоубийстве, в стихах Блока лишь вспыхивающая, здесь становится грубо предметной. А ведь всего два слова (правда, на другом языке) поменяли места!

Но Гюнтер превосходно владел русским языком, отлично знал Блока и общество, в котором тот жил, обладал и филологическими, и всякими другими знаниями. Отчего же он терпит поражение? Оттого ли только, что неверен его метод дословного перевода, неверно его стремление к предельной точности в воссоздании всех особенностей формы и почти точного воспроизведения важнейших мест оригинала? Нет, стремление Гюнтера к точности вполне уместно при столь тесной связи, как у немецкой и русской литератур. Только точность в выборе слов невозможна без поэтического восприятия слов оригинала. Гюнтер переводит Блока как мертвый текст, он не потрясен — пусть по каким-то своим причинам — заключенным в этом тексте поэтическим миром, поэтому его феноменальная точность упускает из виду поэзию, а с ней и смысл подлинника.

Не в педантизме тут беда, и не с педантизмом надо бороться. У переводчика некоторый педантизм, конечно, не доходящий до бессмысленно-формального копирования, — скорее достоинство. Это выражение внимания к автору. Педантизм не убивает поэзию в переводе Гюнтера. Переводчик с самого начала не зачерпнул эту поэзию из оригинала и, видимо, ощущая это, стремился возместить ее внешней точностью. Так слепой двигается аккуратнее и осторожнее зрячего, видящего, куда он устремился.

Противоречия перевода останутся неразрешимыми, покамест мы ищем выхода из них в переводческом смирении, принижении и самоотречении. Но проблема переводимости — основная для перевода — проблема не столько филологическая, сколько эстетическая. По мере нарастания художественности текста для его воспроизведения на другом языке все больше и больше приходится за правилами грамматики и стилистики видеть эстетические закономерности, определяющие перенесение образного содержания из одной эстетической системы в другую.

Образные средства в стихе взаимосвязаны, и перемена хотя бы одного из них, кажущегося самым незначущим, решительно меняет поэтическое содержание. Это могло бы насторожить и заставить усомниться в правомерности частных жертв и частных замен, которыми только и живут переводы. Однако угрожающие по отдельности эти замены становятся уместными, составив систему. Конечно, поэтическое содержание меняется от каждого изменения в форме, но, создав новую, иную гармонию, учитывающую происшедшие перемены, удастся выразить хотя и иное, но весьма все же близкое к исходному поэтическое содержание.

Конечно, образное содержание неразрывно связано с конкретной формой слова, не говоря уже о его смысле, и все же в самом по себе образном содержании есть нечто, сохраняющее свою значимость и в иной системе образов. Перевод стихов подобен, конечно, метафорически, «переселению душ».

Создавая на другом языке новую поэтическую структуру, мы примеряем ее к поэтическому содержанию и «затексту» оригинала, надеясь в результате извлечь из новой структуры содержание, сходное с прежним. В итоге поэтическое содержание выступает в переводе преображенным в буквальном смысле, является в новом образе,

потому и перевод стихов есть не что иное как их преобразование, то есть перемена воплощения при сохранении сущности.

Но ведь это проблема не только переводческая и вообще не только литературная. С нею, разумеется, всюду по-своему, сталкивается и композитор, сочиняющий оперу на сюжет известного литературного произведения, и кинорежиссер, воссоздающий драматический спектакль, и драматург, инсценирующий роман, и балетмейстер, переносящий его на балетную сцену. Во всех названных случаях переход из одного эстетического мира в другой очевиден. И вот оказывается, что добиться успеха удастся лишь тогда, когда господствующими становятся нормы искусства, принимающего чужое образное содержание.

Театральный спектакль, добросовестно заснятый на пленку, теряет все присущие ему свойства, но не приобретает силы кино. Не спасает ни самое дотошное внимание к тексту спектакля, ни выделение самых существенных его элементов крупным планом. Чтобы театр ожил в кино — это теперь общепризнано, — нужно сыскать выразительные средства, отличные от театральных, свойственные кино. Однако — и это тоже начинает осознаваться — тут не обойдешься простым подысканием частных субститутов. Желанной цели достигают, лишь перенося образное содержание из одного искусства в другое в его целостности, хоть и не во всей полноте. А значит, само это образное содержание, вместе со всей отразившейся в нем действительностью (вот он где, «затекст»), должно стать предметом познания, предметом отражения принимающего искусства. Это искусство как бы возвращается к изначальной стадии, проделывая сызнова работу первооткрывателя, вслед за первоисточником, хоть и не обязательно ступая в оставленные им следы, да оно и невозможно.

Мусоргский, создавая «Бориса Годунова», изменял пушкинский текст, и если сопоставить либретто оперы с пушкинским оригиналом, придется признать, что во многих случаях гениальные стихи изуродованы. Так что же: неужели надо присоединиться к тем современникам композитора, которые только это и увидели, не заметив, что литературные погрешности дали великому композитору возможность музыкой прибавить пушкинского пушкинскому «Борису», ибо в опере Мусоргского Пушкин не только в тексте, но и в музыке, хотя концепция Мусоргского и не совпадает с пушкинской?

Мы отчетливо сознаем, что «Борис Годунов» — создание двоих, и нелепо было бы требовать от Мусоргского или от Чайковского в «Пиковой даме» смирения и приниженности во имя великого Пушкина, ибо то пушкинское, что вошло в их оперы, они принесли туда в себе.

Но разве не подобное же положение возникает в переводе — хотя различие эстетических миров иноязычной и родной поэзии не столь очевидно и не столь значительно, как различие двух искусств. И здесь, чтобы зажить на другом языке, стихи вместе со всей лежащей за ними действительностью должны стать предметом художественного познания и отражения. Различие между оригинальным и переводческим творчеством поэта лишь в том, что в последнем случае среди посылок к творчеству будут сверх обычных и художественные

впечатления от оригинала, а в отображаемую действительность войдет отображенная автором оригинала и он сам вместе с ней.

Поэт-лирик, переводя лирическое стихотворение, вовсе не должен от себя отрекаться. Напротив, чужое лирическое стихотворение при переводе прежде всего станет предметом его собственного лирического переживания. Вот Жуковский и говорил: «У меня все свое и все чужое». А иначе получается гладкая, складная, но никому не нужная проза в стихах.

Действительность, познаваемая переводчиком, в отличие от живой жизни, познана и закреплена искусством иноязычного поэта. Переводчику дано взглянуть в нее с особой полнотой и, стократ возвращаясь к ней, стократ возобновляя свое впечатление, достигнуть предела образного соответствия. В этом смысле переводить легче, чем писать свое, улавливая уходящий меж пальцами мир.

Однако реальный мир воздействует все же куда сильнее и действеннее, нежели и самые прекрасные стихи, потому-то восприятие переводчика и должно быть особенно острым, особенно чувствительным, что действительность, лежащая у него на столе, не так уж настоятельно требует себя запечатлеть. В этом смысле переводить стихи куда труднее, чем писать собственные.

Но и сама острота восприятия действительности — живой или запечатленной — свойство поэтического таланта, а потому, чем крупнее поэт, тем лучшим, понятно, при соответствующей склонности, станет он переводчиком.

Е.Эткинд в книге «Поэзия и перевод» противопоставляет два типа переводчиков — один представлен М.Лозинским, как самым совершенным и объективным из русских переводчиков, другой — Б.Пастернаком, при всех своих талантах оказывающимся носителем безудержной вольности. О направлении, во главе которого стояли М.Лозинский и В.Брюсов, Е.Эткинд говорит: «Только на этом пути нас ждут успехи и победы». Речь идет о научном переводе, о верности филологической науке. Б.Пастернаку же, напротив, в связи с переводом «Фауста» брошен прямой упрек в «пренебрежении филологической наукой».

Даже отмечая достоинства перевода из Шелли, Е. Эткинд пишет: «Сколько бы Пастернак ни стремился усвоить стиль, взгляд, настроенность Шелли, он все же не смог преодолеть свое видение мира». В другом месте сказано: «В переводе тот же пейзаж, что у Шелли, а все-таки кажется, будто он заново написан другим живописцем». О переводе из Байрона: «Пастернак допускает фальшивые ноты, сталкиваясь со стилистически ему чуждым поэтом». Грузин восхищает перевод из Гаприндашвили, но Е. Эткинд замечает: «Если (?) это так, то оттого, что Пастернак здесь нашел свое видение природы». Сопоставляются переводы из Важа Пшавелы, и опять предпочтение отдано Н. Заболоцкому. Переводы из Верлена тоже оказываются не самыми совершенными или вообще не переводами. О Шекспире, — не только о трагедиях, непосредственно не связанных с кругом вопросов, которых касается автор, но даже и о сонетах, — нет ни слова. У читателя складывается впечатление, что Пастернак, может

быть, и значительный поэт, но уж переводчик, во всяком случае, с очень серьезными изъянами.

Совсем другое дело М.Лозинский. У него и Гюго — Гюго, и Шиллер — Шиллер, и Гейне — Гейне. Даже заговорив о недостатках перевода «Божественной комедии», перед тем оцененной чрезвычайно высоко, автор тут же спохватывается: «Впрочем, недостатки ли это?» И слова нет о том, что архаизмы в переводе из Гюго возникли не оттого, что по-русски нет других средств «повышения» стиля, но оттого, что они по душе Лозинскому, что Данте удался ему, потому что в нем переводчик нашел свое, а вот Шекспир от него был дальше, и не так уже неоспоримы переводы. Нет, Лозинский, для Е. Эткинда, — идеальный переводчик. А все потому, что он однажды сказал, что в переводе стихов «господствует анализ», что его труду переводчика предшествовал огромный труд исследователя и комментатора, что он считал своей задачей «соединить в неразрывном синтезе филологическую точность и поэтическую гармонию».

Во всем этом стоит разобраться. Заслуги Лозинского перед искусством поэтического перевода бесспорны и общепризнанны. Никто не собирается их умалять или объявлять свободными от недостатков переводы Пастернака. Однако простая справедливость требует признать за обоими поэтами своеобразие индивидуальности. А в переводе это прежде всего своеобразие «соединения филологической точности и поэтической гармонии», имеющего место, хотя и совсем по-разному, и у того, и у другого. И у Лозинского, и у Пастернака, при всем их различии, победы приходили от таланта и сообразно с масштабом и направлением таланта, а не вопреки ему.

Почему же только один путь перевода должен быть признан ведущим к «успехам и победам», а творчество большого поэта, бесконечно много сделавшего для развития переводческого искусства, должно быть подвергнуто сомнению и выведено за пределы перевода? Где-то в затексте этой предвзятости, не высказанная до конца, прячется мысль, что большая самобытная поэтическая индивидуальность — преграда к занятию переводом. Поэзия незаметно, возможно, помимо воли автора, не раз сказавшего о своей приверженности к ней, здесь противостоит переводу.

Но поэзия — не только предмет перевода, а и средство перевода. Переход из мира одной поэзии в мир другой, отделенной тремя глубокими, непроходимыми рвами, не простой переход, не простой перевод, — это прыжок, и его пружиной может быть только поэтическое дарование. Все остальное в переводческом труде, в том числе и такая безусловная и непрременная необходимость, как знание языка, филологическая культура и образование, — лишь пусковая установка для ракеты, которую поднимает собственный запал.

«ЧТО ПОЛЬЗЫ, ЕСЛИ МОЦАРТ БУДЕТ ЖИВ?..»

Искусство перевода, как и все на свете, движется, порой при этом оно перестает быть переводом, порой перестает быть искусством. И нет ничего странного в том, что разные люди предостерегают его от разных опасностей, каждый от той, которая представляется ему самой опасной. Все спорящие тут выступают как бы от имени искусства перевода в целом, все они и в самом деле ему служат до поры, пока не искажаются взгляды тех, с кем спорят.

Во втором номере журнала «Нева» за 1967 год помещена реплика Е. Эткинда на мою статью «Преображение» (о переводе поэзии), опубликованную в четвертом номере журнала «Звезда» за 1966 год. Автор статьи «Преображение» объявлен «взыскующим чуда» противником науки — он «отмахивается от аналитической мысли», он «сердито выговаривает тем педантам, которые посмели рассматривать перевод стихов как проблему не только поэзии, но и филологии». Между тем, каждый, кто возьмет в руки соответствующий номер журнала «Звезда», легко убедится, что там сказано нечто совершенно иное: «Справедливая борьба за грамотность, за филологическую культуру, которая, конечно же, необходима переводчику как воздух, понемногу перерастет в абсолютизацию филологической культуры, к слову "необходимо" потихоньку, почти про себя прибавляется "и достаточно". Так вот, не будем строить себе иллюзий: необходимо, но недостаточно». И когда Е. Эткинд объявляет эту позицию пренебрежением к науке, он старается внушить читателю, что науки, в самом деле, достаточно, чтобы получилось искусство. Ссылается он на особую роль в переводе «знаний, техники и мерил», на то, что у переводчика (в отличие от оригинального поэта) такие мерилы есть.

Не будем здесь спорить об оригинальной поэзии, где, как и всюду в искусстве, по-моему, тоже есть мерилы. Ограничимся переводом. Итак, у поэта-переводчика «мерилы есть — это соответствие перевода подлиннику».

Вроде бы, правильно. Но соответствие перевода подлиннику мыслится Е. Эткинду так: если поэт былых времен «ставил над стихотворением имя Байрона, Гюго или Гете, он как бы скреплял перевод грифом "с подлинным верно"».

Однако можно ли приложить к переводу этот канцелярский гриф? Маршаку, например, именно он казался прямой противоположностью художественной верности, необходимой при перенесении поэзии из одной литературы в другую. Жалуясь на бедность даже и самого слова «перевод», Маршак сетовал, что «нотариальный перевод, скрепленный печатью "с подлинным верно", и перевод "Божественной комедии" Данте определяются одним и тем же термином, несколько суховатым и в известной мере принижающим достоинство этого литературного жанра». По Е. Эткинду, не только слово «перевод», но и самая печать «с подлинным верно» годится и в том, и в другом случае. Так стирается различие между верностью протокольной и верностью художественной. Но критерии верности в художественном переводе не так просты. Потому они и составляют предмет вековых споров, что

проблема художественного перевода — проблема не только филологическая, но и эстетическая, и гносеологическая.

Есть критерии смысловые, но они не исчерпывают художественную природу стиха. Есть критерии формальные, но и они не в состоянии исчерпать проблему. На словах выказывая себя сторонником изучения «структуры художественного произведения и поэтического слова», Е. Эткинд на самом деле не хочет видеть, что происходит с этой структурой при переводе. Между тем, художественная структура поэтического произведения заведомо не может быть воспроизведена в целостности на другом языке уже в силу несходства языков и литературных традиций, а малейший сдвиг зачастую обесценивает все произведение. Воссоздание же отдельных его элементов не восполняет утраченной значимости художественной структуры. Поэтому подлинный переводчик не механически повторяет на родном языке художественную структуру иноязычного оригинала, а создает другую, новую художественную структуру, по содержанию, стилю и прочим качествам так или иначе (и всякий раз по-разному) адекватную аналогичным свойствам структуры оригинала. Ограничиваясь копированием, переводчик, при всей его добросовестности, терпит поражение. Победа же приходит там, где, памятуя, что он создает новое произведение, переводчик, во имя верности автору, сам остается поэтом, как в девятнадцатом веке Жуковский и в двадцатом Пастернак. В «реплике» сказано, что «автор статьи "Преображение" очень сердится на тех, кто думает о критериях переводческого искусства». Но на самом деле я пишу: «Существует много различных критериев верности на разные случаи. Есть, однако, и обязательный во всех случаях. Это поэтическая ценность перевода — решающий элемент его верности оригиналу». Е. Эткинду этот критерий мешает, и он избавляет себя от необходимости возражать по существу.

И так случается не раз. Если я пытаюсь разобраться в природе перевода по подстрочнику и отыскать реальные пути преодоления этого метода в переводческой практике, — мой критик называет это «теоретическим оправданием перевода с подстрочника». Если я говорю, что переводчиком поэзии может быть только поэт, — мой критик объявляет это суждение о практике перевода выступлением против теории перевода и теоретиков вообще.

А дело все в том, что перевод по методу Е. Эткинда никакой поэтической ценности перенести из оригинала не может. Он пишет о переводчике: «Подлинный художник всегда личность, и отпечаток его личного вкуса, его своеобразного дарования, его пристрастий неизбежен, иначе перевод не был бы искусством». Но разве перевод остается искусством лишь в меру отклонения от оригинала? Дальше Е. Эткинд, напротив, пишет о верности подлиннику как о главной задаче переводчика, но тут уже дело обходится без всякого искусства. Между тем, верность оригиналу возможна лишь как художественная верность, она возникает там, где переводчик вновь так или иначе переживает пережитое некогда автором. Если поэзия — отражение жизни, то перевод — как бы двойное ее отражение. Но Е. Эткинду реальная природа перевода кажется очень уж запутанной, и он ее упрощает.

Пренебрегая существом искусства, он славит ремесло, не замечая, что Каролина Павлова, на которую он ссылается, назвала свое ремесло «святым». Она не побоялась слова «из религиозного лексикона» — ведь, именно святостью ремесло писателя отличается от литературного ремесленничества. Впрочем, слов из религиозного лексикона не боялся и Маяковский, уже после статьи «Как делать стихи» признававшийся, что «приходит страшнейшая из амортизаций — амортизация сердца и души (!)». Филологу, следовало бы знать, что религиозная лексика так глубоко проникла в язык, что ею давно обозначаются понятия, даже и ничего общего с религией не имеющие. П. Антокольский не побоялся сказать, что «талант от бога». Кстати, против ссылок на талант он возражает не вообще, а по вполне конкретному поводу — споря с молодыми поэтами, которые, занимаясь переводом, «отказываются от знания чужого языка, как от непосильной для себя задачи». Понятно, что П. Антокольский тут всецело прав. Но Е. Эткинд толкует его весьма расширительно, стремясь любыми средствами умалить значение таланта. И, чтобы окончательно сразить своих оппонентов, он высылает на защиту ремесла Ахматову и Цветаеву.

Он, правда, пишет: «Научиться созданию стихов нельзя». Но это не точно. Научиться созданию стихов можно, и даже очень недурно. Нельзя научиться быть поэтом. Разница огромная, а чтобы ее заметить, нужен слух, как нужен слух, чтобы узнать слышанную однажды мелодию, понять, в той ли тональности она звучит. И вот оказывается, что между тем, кто выучился создавать стихи, и поэтом есть разница. Говорить об этой разнице трудно, всегда кто-нибудь скажет, что вы не хотите, чтобы поэты учились своему делу, совершенствовались мастерство. А вы, между тем, хотите сказать, что не поэтам нет смысла учиться не своему делу и напрасно им совершенствоваться мастерство. Это до ужаса обидно. Столько положено стараний, столько знаний добыто, столько усердия проявлено — и все напрасно. В наши дни не так просто подсыпать яд, но легко сочинить теорию, согласно которой Моцарт окажется плохим композитором, то бишь переводчиком. Или окажется, что с помощью филологической науки можно создавать поэзию, не будучи поэтом. Противоположная точка зрения Е. Эткинду, естественно, представляется защитой «случайностей, неисповедимых и тщательному анализу не поддающихся».

Но, помилуй бог, что же делать, если талант тем как раз и силен, что в нем есть до того неведомое и непревзойденное! К чему все эти восклицания о «сверхъестественности» и «непознаваемости», если сам автор реплики утверждает, что «художественное творение не поддается исчерпывающему анализу»?

Случайность кажется Е. Эткинду противоположностью знания и научного закона. Но давно уже известно, хотя и не из филологии, что случайность — форма проявления закономерности. При этом она по-прежнему случайность, которая могла быть, а могла и не быть. Я в самом деле думаю, что явление таланта, даже и в самых благоприятных условиях и при насущной потребности в нем, —

счастливая случайность, редкость, потому мы им и дорожим, и дрожим над ним, и благоговеем перед ним.

Поэтому, что бы там ни говорилось обо мне, я радуюсь, что Е. Эткинд уже не задевает переводы Пастернака — ведь именно их несправедливая оценка вынудила меня в статье «Преображение» с ним спорить, и я доволен, что об этом единственном моем полемическом обращении прямо к нему Е. Эткинд в своей ответной реплике даже не вспоминает. Это хорошо. Никогда не поздно отказаться от предвзятости. Но вот Бальмонта, который еще в книге «Поэзия и перевод» выступал у него как пример «словесного блюда декадентствующих пошляков начала нашего века», он по-прежнему поносит.

Что, однако, всего любопытнее: обличая Бальмонта, Е. Эткинд обильно цитирует поэму Л. Мартынова о нем. Но Л. Мартынов писал не только о Бальмонте, он писал и о проблемах перевода, его суждения не раз цитируются в статье «Преображение», они до чрезвычайности близки ее автору: «Любой из нас имеет основанье добавить, беспристрастие храня, в чужую скорбь свое негодование, в чужое тленье своего огня!» Все, кажется, ясно, да к тому же сказано с полемическим задором. Но Е. Эткинд об этом не вспоминает. С Л. Мартыновым он предпочитает не спорить. Он рассказывает историю о Бальмонте. Так мы знакомимся со вторым полемическим приемом Е. Эткинда — уйти от разговора по существу, а вместо него рассказать что-нибудь веселое, тут о Бальмонте, там о Метерлинке.

Но смысл всех этих отступлений проясняется, когда мы переходим к вопросам практическим. «Читателю хочется иметь по-русски и Гете, и Гейне, и Верлена, и Рембо, и Рильке... — пишет Е. Эткинд. — Вот наша первая задача, не будем от нее отмахиваться». Что это, собственно, означает? А какая же у нас вторая задача? И есть ли она вообще? Или Е. Эткинд имеет в виду издание индивидуальных сборников переводчиков? Но эти сборники нужны именно для решения первой задачи — дать читателю великих поэтов, которых он хочет иметь по-русски в достойном виде. Не знаю, читал ли Маршак теоретические труды Е. Эткинда, но кажется, он обращается именно к нему: «Если вы внимательно отберете лучшие из наших стихотворных переводов, вы обнаружите, что все они — дети любви, а не брака по расчету». Для того и нужны индивидуальные сборники, чтобы по крайней мере уравнивать детей любви с детьми от брака по расчету в правах. Если переводы, рожденные по любви, обретут путь к типографскому станку, который сегодня открывается им лишь случайно, ремесленничеству придется потесниться. Е. Эткинд отлично понимает, о чем идет речь, но перечисляет изданные уже индивидуальные сборники, хотя почти все это сборники избранного из уже опубликованного. Конечно, издание таких сборников, как правило, подводящих итоги многих лет деятельности поэта-переводчика, весьма отрадно. Но речь-то идет совсем о другом, о праве переводчика публиковать то, что сделано им в силу внутренней потребности, а не только издательского заказа, о праве, которое признается за всеми другими литераторами.

Нашей первой задачей должна быть забота о качестве, о подлинной художественной ценности перевода. Издавать Верлена или Байрона по принципу «будет сделано» — нельзя, даже если иногда в таких сборниках попадаются в порядке исключения прекрасные стихи. Ссылаться на то, что читателю этот автор нужен, и ради этого покамест — первая задача! — забыть о качестве значит уподобляться хозяйственникам, которые помнили лишь о пресловутом «вале», не интересуясь всерьез качеством продукции. И опять же прекрасно писал Маршак: «Истинно поэтические переводы надо копить, а не фабриковать».

Элементарные истины, подтвержденные вековой историей литературы, не стоит сокрушать и в крайнем раздражении. Издательское дело надо ориентировать на то, что есть и может быть на самом деле, а не только существует в теории.

Когда же мы будем в полной мере сознавать многообразие существующих у нас направлений и методов художественного перевода, станет ясно, что и теория художественного перевода не может строиться по единому образцу, ориентирующемуся лишь на одно из этих направлений. Хорошо известно, во что превращается наука, когда единственно верной в ней объявляется одна точка зрения и один человек берет себе право одергивать инакомыслящих.

Нет поэтому нужды останавливаться на остальных полемических приемах Е.Эткинда. Не скрою, у меня захватило дух, когда я прочел о себе: «В полном соответствии со своими мистическими представлениями о литературе». Но я полагаю, читатели и сами оценят эти приемы.

ШАРЛЬ БОДЛЕР. ЦВЕТЫ ЗЛА.

В апреле 1971 года исполнилось 150 лет со дня рождения Шарля Бодлера. Нельзя сказать, чтобы ему в России не везло. Скорее напротив. Читать его стали рано, оценили сразу высоко, революционеры равняли с Некрасовым, символисты тоже читали. Объяснять, кто такой Бодлер и почему его трагическая поэзия бессмертна, нет надобности. Переводили его еще Д. Минаев и Н. Курочкин, П. Якубович и В. Брюсов, Вячеслав Иванов и И. Анненский, Д. Мережковский и К. Бальмонт, Эллис и Бенедикт Лившиц. Издание «Цветов зла», выпущенное ныне в серии «Литературные памятники», — девятое русское отдельное издание Бодлера. И все же великий француз еще не стал для русского читателя своим, как Шекспир, как Шиллер, как Бернс, как иные современники.

Причины вполне обозримы. Хоть Бодлер и был страстным сторонником романтической живописи, поэтика его строго классична. Традиционная форма не просто безупречна, но доведена до высшей степени совершенства. Романтическая энергия живет в ее пределах, она — в инструментовке стиха, в свободе движения фразы, в точности и дерзости лексики. При переходе французского силлабического стиха в русский силлабо-тонический форма всегда оказывается жестче, нежели в оригинале. Иным поэтам это не так уж и вредит. Но Бодлер, сдавленный дополнительным железным каркасом, уже почти не дышит. Чтобы преодолеть более твердую оболочку ритма, переводу нужна, вероятно, и еще более могучая страсть. Стихотворение «Плаванье», переведенное Мариной Цветаевой, с ее синтаксической раскованностью и непринужденностью, неопровержимо доказывает, что «русский Бодлер» возможен. Но умелые подходы к его созданию мы обнаруживаем и у перечисленных выше старых поэтов, и у наших современников: В. Левики, С. Петрова, А. Эфрон и многих еще других.

Книга, подготовленная Н. И. Балашовым и И. С. Поступальским, не просто заслуживает похвал, но представляет собой весьма поучительный образец.

Читая в переводах иноязычных поэтов, читателю легко вообразить, что автор писал по-русски. Сложные проблемы поэтического перевода его не занимают. Он полагается на редактора, проверившего соответствие перевода с подлинником. К тому же иной простодушный редактор и сам торопится объявить свою работу научной, свято веруя, что под этим солидным наименованием субъективность вкуса будет принята за высшую объективность.

Н. Балашов и И. Поступальский, напротив, подают пример истинно научного подхода к изданию сборника переводных стихов, воссозданных разными людьми в разные времена и под одной обложкой объединенных лишь волей составителя. Они отдают себе отчет в том, что успех русского варианта иноязычного стихотворения, его соответствие подлиннику и поэтическая сила зависят прежде всего от переводчика, ибо лишь в его восприятии узнаем мы автора. Н. Балашов и И. Поступальский воскрешают забытый обычай ставить фамилию переводчика не только в конце книги, куда никто не заглядывает, но и в самом тексте, под стихотворением. Мало того.

Добрая треть вошедших в книгу стихов напечатана в двух, а некоторые даже и в трех переводах. Составители не просто побуждают читателя слепо довериться их вкусу, но демонстрируют ему реальность достигнутого нашей поэзией в освоении чужеземного классика. И какие бы частные упущения мы ни сыскали, какие бы сомнения ни вызывало предпочтение одного или отвержение другого перевода, сколько бы ни возникло споров о составе и комментариях — говорить конкретнее в столь короткой рецензии невозможно, — все равно, увидав многообразие переложений, читатель объемнее ощутит стоящий за ними оригинал.

Прошло сто лет, как поэт умер. Множество бурь прокатилось над ним при жизни и после смерти. Множество превратных толкований искажало его лицо. Сегодня мы можем увидеть его таким, каким он был. Многие из того, что он предчувствовал, сбылось. Многие намеченные им пути пройдены позднейшей литературой. О предмете бушующих страстей можно ныне говорить академически объективно. Книга стихов, выпущенная издательством «Наука», очень этому поможет.

ДВАЖДЫ РОЖДЕННОЕ

Искусство перевода занимает в советской литературе исключительное место. Объяснение тому — прежде всего традиции русской словесности. Главная же причина нашего многолетнего усердия в издании переводной литературы — интернациональная программа семнадцатого года.

Искусство перевода политически осмыслено не только при обращении к современности и чтении по-русски вьетнамских или чилийских писателей, но и в таких, казалось бы, сугубо академических предприятиях, как издание древнегреческой драмы, прозы французских моралистов или поэзии немецких романтиков, без знания которых наше представление о культуре человечества было бы неполным.

Поэтому издание переводной литературы по сей день остается полем сражения. И не только при решении собственно идеологических проблем, начиная с отбора произведений для перевода. Важно одновременно сражаться за качество перевода, за его художественные достоинства, общественный престиж. А не все ли условия, надобные для этого, учтены издательской практикой.

Русский читатель получил за последние десятилетия множество прекрасных переводческих работ. Издательства выступили инициаторами многих начинаний, обогативших представления о зарубежных литературах и литературах народов СССР. Достаточно назвать «Библиотеку всемирной литературы» издательства «Художественная литература», «Библиотеку драматурга», выпущенную «Искусством», серию «Литературные памятники», выходящую в издательстве «Наука», чтобы напомнить о размахе переводческой работы.

Она не могла бы осуществляться в таких масштабах, не располагай издательства квалифицированными кадрами. Среди редакторов иноязычных литератур немало тончайших знатоков языка и словесности, филологов высокого класса. Но проблемы издания переводной литературы не снимаются личными достоинствами издательских работников. Тем более теперь, когда книжное дело обрело индустриальный характер.

При издании оригинальных книг совместить производство и творчество проще. Рукопись писателя попадает в планы книжной промышленности только после знакомства с ней редактора и рецензентов. Иное дело выпуск переводов. Основанием включить книгу в издательский план служит обычно значимость оригинала. Лишь потом, обыкновенно, доходит до перевода. При этом молчаливо предполагается, что его качество гарантируется усердием переводчиков и бдительностью редакторов. Но что-то, видимо, все же выходит неладно, ибо сравнение с переводом звучит для оригинальной литературы порой как бранное.

Чем это вызвано? В значительной мере тем, что при выборе произведения для перевода не много значит слово будущего переводчика, его инициатива, его внутренняя потребность перевести именно эту книгу. Призвание нередко подменяется приглашением, а

переводчик кажется актером на все роли. Иногда, правда, особенно в «Художественной литературе» и «Науке», отдельные названия включаются в план по предложению переводчика. Однако и тут книга попадает в план прежде, чем переведена. Случаи включения в план готовых переводов, осуществленных по инициативе переводчика, составляют редчайшее исключение.

Очевидно, сегодня нужны дополнения к сложившейся системе, которые дали бы возможность лучше сообразовать требования книжной промышленности и издательской политики с творческим характером художественного перевода.

Так называют обычно перевод литературного произведения. Но оно же бывает и предметом чисто информационного перевода, дающего первую, пусть неполную, информацию о содержании, внешних особенностях и структуре произведения. Не становясь в полном смысле художественным, такой перевод все же служил культуре и взаимопониманию народов. Многие переводы иностранной литературы, опубликованные в прошлом и начале нынешнего столетия, художественно более чем несовершенные, тем не менее держали русского читателя в курсе событий европейской литературной жизни. Информационный перевод, пока мы сознаем его информационную природу, полезен, хоть и не воспроизводит художественную силу оригинала. Последнее — уже иная задача. Этот перевод мы и называем художественным потому, что самый метод постижения и воссоздания оригинала в нем художественный, и его информация — объемнее.

Однако в нашей практике организационные принципы, на которых должны базироваться тот и другой виды перевода, не различают. Принципы информационного перевода обычно переносят на художественный. И без того не легкий дающийся, он испытывает дополнительные трудности.

Конечно, и самый строгий научный перевод требует известного артистизма и не всякому, знающему два языка, доступен. К примеру, русское «авось», по мнению многих лингвистов, сперва значило «может быть», но свой начальный смысл оно сохранило лишь там, где это «может быть» не слишком надежно. В любом языке есть «может быть», но русское «авось» укладывается в него, оставляя рядом провал, пустоту, вынуждая договорить. Даже деловой, сугубо информационный перевод не довольствуется, как известно, буквальным соответствием слов.

Смысл художественного перевода еще менее сводится к непосредственно сказанному. Он живет в образном мире, в поэтической ткани. Изменить в ней хоть малость означает так или иначе исказить общий смысл. Замену одного единственного слова в стихах Пушкина мы воспримем как чудовищное их искажение, даже если новое слово по смыслу близко, только звучит иначе. А ведь переводчик Пушкина на английский, как и переводчик Байрона на русский, ищет замену не одному слову, а всем словам, всем фразам, всем недомолвкам. Вот почему при художественном переводе отношение переводчика к иноязычному сочинению уподобляется отношению оригинального автора к жизни. Литература — тоже жизнь, и

там, где мы хотим перенести ее в сферу другого языка, она подлежит вторичному художественному освоению. Успех в переводе идет от того же самого дарования, что и в оригинальном творчестве. Поэтому история литературы не знает грани между переводчиком и оригинальным писателем. Не зря едва ли не все классики нашей литературы отдали дань переводу. В XX веке эту дань платили особенно щедро. Уже первые выпуски серии «Мастера поэтического перевода», предпринятой издательством «Прогресс», на примерах таких разных поэтов, как Д. Самойлов, Л. Мартынов, М. Зенкевич, А. Ахматова, Б. Пастернак, П. Антокольский, М. Цветаева, М. Алигер, А. Сурков, И. Эренбург, Б. Лившиц, А. Блок и другие, наглядно показали, что поэзия переводится лишь поэзией.

Эта старая истина торжествует над всеми правилами, которые мы устанавливаем, с ней не считаясь. Нынче принято думать, что если старый перевод хорош, в новом нет нужды. А жизнь преподносит парадоксы. Восхищаясь переводом «Гаргантюа и Пантагрюэля», выполненным Н. Любимовым, можно по всем канонам указать на то, что старый перевод В. Пяста сух и скучен. Но прежний перевод «Легенды об Уленшпигеле» А. Горнфельда, по нашим же нормам, очень хорош, он продолжает жить поныне, и все же невозможно отрицать, что любимовский перевод нас обогатил.

О подстрочнике тоже, казалось бы, все известно: если при переводе стихов его терпят, как неизбежное зло, прозу переводить по подстрочнику стало совсем предосудительно. Но перевод того же Н. Любимова «Давид Сасунский» Наири Зарьяна — сделан с подстрочника. А познакомившись с рукописью, Зарьян писал: «Мне все время казалось, что я читаю не перевод, а армянский оригинал».

Можно удивиться, что переводчику, не знающему армянского языка, удалось такого добиться. Не умаляя роли знаний, собирания материала, гибкости, богатства и выразительности языка, — все это, конечно, помогало Н. Любимову, — надо признать: главное все же в том, что он чутьем художника эпического склада угадал интонации армянского эпоса. Словом, в переводчике надо дорожить художником. Иначе мы иссушаем переводческое дело.

Различия между переводом и оригинальным творчеством понятны. Переводчик связан действительностью уже запечатленной, он может пристальней в нее взглядеться, тщательней изучить ее черты и максимально к ней приблизиться. Но различий с запечатлевшим эту действительность первым все же меньше, чем сходства, ибо и здесь приближение никогда не становится абсолютным, и не может быть окончательного, исчерпывающего перевода, перевода на все времена. Как и самобытные сочинения, переводы то переживают свою эпоху, то умирают с ней.

Порой говорят, что проблема перевода — проблема жертвы, то есть умения пожертвовать второстепенным у автора, чтобы сохранить главное. Но представления о том, что главнее, меняются от эпохи к эпохе, от переводчика к переводчику. Мы все как-то отвлекаемся от того, что и оригинальный писатель улавливает не все многообразие жизни, но лишь то, что представляется ему существенным. Не проблема жертвы, а проблема выбора стоит перед писателем вообще

и переводчиком, в частности. И выбор этот — не просто акт свободной воли, но следствие своеобразия таланта, своеобразия эпохи, социальной, психологической индивидуальности пишущего и переводящего.

Подобно оригинальному автору, склонному к каким-то излюбленным картинам действительности, и переводчик тяготеет к родственным ему писателям и литературным течениям. Прочитав поразившее его сочинение, он ощущает нужду открыть его всем, еще не имеющим к нему доступа. Заранее запланировать рождающийся при этом перевод столь же трудно, как планировать рождение стихотворения.

Печально, что у нас укоренился некий стандарт «перевода вообще» — отчасти научного, отчасти художественного, отчасти верного, отчасти выразительного. С ним не усовершенствовать переводческое дело, разные направления которого призваны друг другу помогать. У перевода научного и художественного, перевода прозы и стихов, книг классических и современных, литературы зарубежной и литературы народов СССР есть особенности, которые надо учитывать.

До сих пор у нас редок научно-информационный перевод произведений мировой классической литературы. Едва ли не единственным случаем такого научного, не претендующего на художественность, семантически точного, комментированного перевода западной классики остаются «Гамлет» и «Отелло», переведенные профессором М. Морозовым и опубликованные после его смерти, в 1954 году. Потребность в таких переводах есть у читателя, ищущего точное знание шекспировского текста — театроведа, режиссера, актера, любителя театра.

Дело, однако, не только в этом читателе. Русские научно-комментированные издания могли бы стать важным подспорьем при переводах классической литературы на языки народов СССР. И все же вопрос об издании не претендующих на художественность научно-комментированных переводов европейской литературы у нас даже не ставится, хотя еще Пушкин высказывался в их пользу. Такая работа ведется лишь по восточным литературам, где в сериях «Памятники литературы народов Востока» и «Памятники письменности Востока» изданы комментированные научные переводы многих произведений.

С трудом пробиваются и новые художественные переводы вещей, когда-то переведенных. И дело не всегда в достоинствах последнего перевода, чаще в том, что издатели неохотно принимают во внимание собственные побуждения переводчиков, их инициативу.

Писатель пишет книгу, рассчитывая на ее публикацию. А для переводчика издание самостоятельно задуманной работы обычно возможно лишь при счастливом совпадении его замыслов с издательскими планами. Самые важные для переводчика и, быть может, лучшие его работы, выполненные по влечению души, нередко находятся в самом трудном положении. Бывает, их отвергают наперед, не читая, не оспаривая ни художественных достоинств, ни значимость оригинала. «Этого автора уже издавали» — вот и весь сказ.

Таким образом, из художественного творчества переводчика изымается едва ли не важнейший элемент — замысел, выбор темы и материала. Для публикации нового перевода ему необходимо доказывать, что старый плох, что новый лучше. Но бывает, что старый, как было сказано, вовсе и не плох! И все же новый — иной, и, если он хорош, он должен иметь право предстать перед читателем.

Речь не об отвержении инициатив издателей и издательской политики. Но если книги, рожденные переводчиками по призванию, останутся счастливым исключением в общем потоке, ремесленничество будет удерживать освоенные территории.

Нужно преодолеть инерцию и наладить выпуск переводных произведений, исходя не только из достоинств оригинала, но и из художественных достоинств перевода. Тут, как и в оригинальной литературе, не следует заранее пугаться возможного порой появления двух работ на одну тему. От того, что «Гамлет» почти одновременно вышел в переводах Лозинского и Пастернака, и наша литература, и наше знание Шекспира лишь обогатились.

Художественное освоение современных авторов еще сложнее, чем освоение классики, ибо литературы развиваются неравномерно, и выразительные средства чужеземного писателя часто несвойственны литературе, в которую книга вступает. Художественный перевод самых ярких современных писателей — обычно экспериментальное поле, и это надо учитывать. Без разнообразия подходов к переводу Аполлинера или Элиота читатель не ощутит сложности и многослойности их поэзии. Пусть переводчики отрицают друг друга, издатель должен понимать, что среди них нет владельца абсолютной истины, и они делают сообща одно дело. Они должны иметь возможность вынести свою работу на суд публики — поначалу хотя бы ограниченными тиражами, в безгонорарных изданиях, на правах рукописи.

Важной издательской формой, поощряющей искания, могли бы стать индивидуальные сборники новых работ переводчиков, где были бы представлены интересующие их поэты и опробованы пути их перевода. Вышедшая до войны антология «Поэзия Америки» И. Кашкина и М. Зенкевича — весьма поучительный, хотя, к сожалению, не нашедший подражания образец.

Важнейшей областью освоения являются литературы народов СССР, где, пожалуй, резче всего проявляются трудности переводческого дела. При переводе поэзии ведущую роль здесь все еще играет подстрочник, зачастую очень приблизительный, да и собственно поэтическая работа нередко идет по единому стандарту, стирающему своеобразие национальных литератур. Недостатка в грозных филиппиках нет, однако не возникает альтернативы сложившейся системе, и все остается по-прежнему. Если подготовка переводчиков в местных вузах и Литературном институте дала известные плоды в прозаических переводах, то в поэзии по-настоящему ощутимых результатов нет. По-прежнему переводы, выполненные по подстрочникам такими мастерами, как Н. Тихонов, С. Липкин, А. Тарковский, М. Петровых, Д. Самойлов, Я. Козловский, Н. Гребнев, О. Чухонцев, быстрее и прочнее прокладывают

национальному автору дорогу к русскому читателю, и это естественно. Можно надеяться на русских поэтов, живущих в республиках и смолоду двуязычных, можно помогать поэту изучить какой-то из национальных языков, но ясно, что в переводе поэзии народов СССР подстрочник долго еще будет неизбежностью.

Поэтому нужно заботиться о том, чтобы работа по подстрочнику, пока она продолжается, обрела более серьезный, более ответственный характер. Подстрочник должен быть внятным, грамотным, достоверным, словом, научным, он должен непременно сопровождаться оригиналом, точной метрической схемой и указаниями на особенности поэтики. Ныне издательство, вручая переводчику подстрочник, почти никогда не прилагает к нему оригинал. А ведь самый вид поэтического текста подсказывает многое, не говоря уже о том, что, долго держа в руках оригинал вместе с подстрочником, невольно усваиваешь элементы языка. Подстрочник, который превратился в забор, отделяющий переводчика от чужого языка, при дальновидной организации работы мог бы стать мостом к языку.

Есть, видимо, смысл открыть хотя бы в московской и ленинградской писательских организациях кабинеты национальных литератур, куда лучшие поэтические книжки из республик поступали бы с добротными подстрочными переводами. Это расширило бы инициативу переводчика и помогло бы ему соединиться с авторами внутренне близкими.

Постоянный творческий контакт переводчика с поэтом, который может судить о сходстве перевода со своим стихотворением, — действенное средство, чтобы улучшить переводы поэзии народов СССР. Систематически переводя одного и того же близкого ему автора, переводчик глубже проникает в его поэтическую систему, видит ее движение, слышит отзвуки былого, и ему естественнее все это передать. Многолетняя совместная работа Я. Козловского и Н. Гребнева с Р. Гамзатовым — пример самый известный, но далеко не единственный.

Больше русских переводов могли бы издавать национальные издательства. Помогая русским переводчикам преодолевать этнографический и языковой барьер, они могли бы своеобразием своих изданий заинтересовать общероссийский и общесоюзный книжный рынок, что тоже содействовало бы сближению литератур и народов.

В журнальной статье, понятно, лишь намечены конкретные пути дифференциации переводческого дела. Здесь много неизведанного и неиспробованного. Одно ясно: чтобы в переводческой работе больше значили качественные критерии, надо заботиться в том, чтобы все лучшее, что может сделать каждый одаренный переводчик, было сделано и увидело свет. В переводе, пожалуй, еще острее, чем в других жанрах, необходимо состязание талантов, постоянный, непрекращающийся открытый конкурс, судьей на котором и будет читатель — купит он или нет переводные книги.

ТОЛЬКО АРИФМЕТИКА...

Газетная рубрика, в которой обсуждается художественное преобразование литературных сочинений при переходе границы между языками, поименована «арифметика и алгебра перевода». И это правильно. Ход литературного процесса зависит, конечно, от собственно художественных закономерностей, сопоставимых со сложной алгеброй. Но он зависит и от более простых организационных и экономических обстоятельств, сравнимых с арифметикой. Важно лишь не упустить их взаимовлияние. Уровень и характер литературных сочинений — не трогая подвижничества одиночек — в большой мере определяется тем, как поставлены издательское дело и книжная торговля. Но и они связаны уровнем и характером литературных сочинений (если, понятно, не довольствоваться спихиванием гигантских тиражей в бесчисленные библиотеки, где книги мирно пылятся). Переводным книгам, и особенно переводным стихам, такое взаимовлияние присуще, пожалуй, более всего.

Между тем, многочисленные дискуссии витают в эмпиреях. Не то что арифметика, уже и алгебра с дельными суждениями К. Чуковского, А. Федорова и других осталась далеко внизу. Нынче у каждого своя теория перевода. Это было бы прекрасно, держи ее каждый для себя, а не навязывай всем, приговаривая: только так и не иначе! И ведь у каждого вроде скользит что-то здоровое, какая-то часть истины, выставлена вперед, как танк, за которым движутся незамеченными или непонятными другие стороны проблемы перевода.

Конечно, правы те, кто утверждает, что человек, владеющий языком оригинала, но не владеющий языком поэзии, не способен перевести поэзию на другой язык. Этого никому не опровергнуть. Тут бы и остановиться, так ведь нет, за верной посылкой следуют возведение подстрочника на самодержавный престол и уверения, что знание чужого языка переводчику даже и не надобно.

Доходя до подобного абсурда, трудно надеяться на отсутствие возражений. И с разных сторон раздаются голоса в защиту другой бесспорной истины: язык поэзии — это вторая языковая система, вырастающая на первой: на национальном языке, не зная которого, к языку поэзии пробиться непросто. Вот тут бы опять же остановиться, так ведь нет, снова из верной посылки вырастает абсурд, уже противоположный.

Нас уверяют, что подстрочник — дело временное, что время его прошло и переводить надлежит исключительно с оригинала. А ведь согласиться с этим значило бы продолжать издание переводов лишь с трех-четырех европейских языков да с четырех-пяти языков народов СССР. С остальных, при самых скромных требованиях к качеству, пришлось бы переводить много меньше или не переводить вовсе. Единственное утешение, что к упразднению подстрочника порой призывают для красного словца, и, полностью разоблаченный, он тут же возвращается под малограмотным названием «филологический перевод», как будто бывают переводы нефилологические. На деле-то рассуждения о «временности» подстрочника призваны еще больше

снизить требования к нему и, главное, к опирающимся на него переводам — с временки какой спрос?

Но если мы не испугаемся натиска людей, у которых вместо логики — влияние, а вместо доказательств — темперамент, и обратимся к опыту, к реальности, мы тотчас вспомним, что, скажем, Жуковский и Пастернак, величайшие фигуры русского поэтического перевода, лучше или хуже читали почти на всех языках, с которых переводили. Жуковский не знал, кажется, только древнегреческого, а Пастернак — грузинского да венгерского. И, однако, «Одиссея» в наследстве Жуковского или Бараташвили в наследстве Пастернака занимают важнейшее место. Велик соблазн сказать, что это исключения, хотя исключения у столпов жанра не могут быть случайными. Но подобные исключения так часто и так блестяще повторяются, что сами стали правилом. И не только после революции, когда тому были особые причины. Бунин перед революцией переводил Аветика Исаакяна и Хаима-Нахмана Бялика, хотя ни армянского, ни еврейского языков не понимал. Но он понимал страдания и сочувствовал им. А без этого и знание языка не поможет и вообще ничто не поможет, если иметь в виду литературу, а не бизнес.

При прочих равных условиях перевод с оригинала всегда лучше. Более того, переводить с оригинала в некотором смысле легче. И не только потому, что понимаешь смысл каждого слова, — тут возможности добросовестного подстрочника («филологического перевода») как раз довольно велики. А потому, что, читая иноязычное стихотворение, воочию видишь идеал, к которому стремишься. Именно тут и рождается своя, а не совместная с поработавшим за тебя лингвистом, версия его восприятия — переводы, сделанные с одного оригинала, меньше похожи друг на друга, чем сделанные с одного подстрочника. А при чтении подстрочника ты должен угадать свой идеал, что, вопреки нигилистам, возможно, однако при этом слабеет внутренняя необходимость перевести, внушаемая поэтической силой оригинала. Но все это именно при прочих равных условиях, выпадающих редко, а само по себе ни одно из необходимых переводчику качеств — ни поэтический талант, ни знание языка — ничего не гарантирует.

Так, может быть, не стоит тратить столько пыла на поиски единственно правильного пути для всех, все равно — ведутся такие поиски искренне и по наивности или для видимости и злонамеренно? Когда речь идет о повороте рек, важно все продумать наперед и лучше отказаться от проекта, рискованного для людей и страны. А при переводе какой риск? Человек, не знающий языка или не обладающий поэтическим дарованием или даже обладающий и тем и другим, может, конечно, перевести плохо. И ничего страшного в этом нет. Страшно, когда плохой перевод с ходу печатают сотысячным тиражом, расходуют бумагу, типографскую краску, труд рабочих, деньги на гонорар переводчику, а книга остается на полках магазинов и библиотек. Вот это дело серьезное, так сказать, государственное. Тут хорошо бы поменьше, чем нынче, ошибаться, поменьше зависеть от случайностей.

А для этого надо бы полагаться не на предписываемые переводчикам методы и правила, надо бы не указывать, из какой касты должны рекрутироваться прииздательские группы «своих людей», которым раздают подстрочники или дают заказы по оригиналу, а судить по переводам, поэзия ли перед нами и различим ли за нею поэт, считающийся ее автором. Теория перевода, как и теория литературы, призвана изучать реальность, а не диктовать нормативы. Тургенев говорил: у писателя, выступающего с новой книгой, нет никаких преимуществ перед писателем, выступающим с первой книгой. И если такие преимущества появляются, литературе это не на пользу.

Не столько методы перевода, сколько методы отбора переводов определяют уровень переводческого искусства. Сегодня отбор происходит за закрытой дверью, и отбираются не сочинения, а люди, призванные их создать. А потом перевод апробируют один-два, в лучшем случае, три человека — внешний и внутренний редакторы да рецензент. Их личный вкус выступает в роли общественного. Оригинальная литература тоже, конечно, страдает от закрытого отбора. И там тоже, как недавно Лев Аннинский, призывают: «Поменьше стихов!». То есть фактически требуют еще больше ужесточить закрытый отбор. Зло хотят лечить злом, и не миниатюрными, как гомеопаты, а лошадиными дозами.

Но искусство принадлежит народу, стало быть, именно и только народ в состоянии отобрать то, что ему нужно, из огромного ассортимента, который мы, литераторы, можем предложить. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...», и никто за народ воистину нужное отобрать не в силах. Однако многие, и в отношении переводов особенно, убеждены, что искусство принадлежит редколлегиям, которым все дано предугадать и которые за выставленные даже и выдающимся работам препоны ответственности не несли.

Инициатива перевода всецело принадлежит сегодня редколлегиям, издательствам, то есть она заведомо отделена от внутренней необходимости переводчика перевести данное конкретное произведение. Здесь и совершается отчуждение перевода от литературы. А литература предполагает личную необходимость и личное сознание общественной необходимости в том, что делаешь.

Прекрасный поэт Александр Кушнер убежден, что никому уже не нужны драматические произведения Шиллера, которые между тем с успехом идут на немецких сценах и читаются и в ГДР, и в ФРГ, и в Австрии. Такой взгляд, видимо, связан с природой собственной лирической поэзии Кушнера, и, думая так, он, я уверен, если ему предложат, решительно откажется переводить «Дон Карлоса». Однако сплошь и рядом переводят то, что считают никому не нужным. Зато те, кому Шиллер и у нас сегодня необходим, кто переводит его на свой страх и риск, не имеют шансов представить свои переводы на суд читателя, если издательство заблаговременно не включило Шиллера в план и не заказало новый перевод, да к тому же имеющему побуждение перевести «Дон Карлоса».

Я далек от того, чтобы перечеркнуть огромную работу издательств, выпускающих переводную литературу. Но надо отдавать

себе отчет в том, что фактически делает наша гигантская переводческая машина. А она прежде всего дает информацию о советской и зарубежной иноязычной литературе. Это дело полезное, даже если истинно художественные работы в нем остаются редкими исключениями. Информация и просвещение, даже в недостаточном виде, служат культуре. Служит ей, конечно, и распространившийся во всем мире информативный, просветительский перевод.

Но если просветитель воображает, что у него в руках вся полнота истины на вечные времена, и претендует на монополию, он, даже не желая того, начинает вредить культуре, и просветительский перевод становится преградой художественному, смысл которого в том, чтобы не только узнать о происходящем в иноязычных литературах, но и обогатить свою за счет лучшего в них.

Когда наряду с имеющимся добротным переводом появляется другой, он теперь рассматривается как претензия заменить первый. Но считать, что в ходу должен быть лишь один перевод «Дон Жуана» или «Цветов зла», все равно, что считать, что в ходу должен быть лишь один роман о войне или о коллективизации. Художественное творчество и монополия — две вещи несовместные. Перед войной разом вышли три перевода «Гамлета» (Пастернака, Лозинского и Радловой). Все три сделаны с оригинала, и каждый предлагает свою версию неисчерпаемой трагедии. Какую мы ни предпочтем (я предпочитаю Пастернака), остальные были не ремесленными изделиями, а тоже отвечали художественной природе перевода как самобытного, оригинального жанра.

Индивидуальность переводчика, как и сочинителя, прежде всего определяется ощущением необходимости ввести в свою культуру нечто, в ней до того отсутствовавшее, и в частности какого-то иноязычного писателя или сочинение, уже существующее на другом языке. Без внутренней потребности непременно воссоздать данное стихотворение на родном языке ничего хорошего не получается. Истинный переводчик изъясняет себя тем, что по собственной душевной надобности воссоздает чужое, и его индивидуальность проявляется не в том, что он в сравнении с оригиналом, вольно или невольно, изменит, но, напротив, в том, что он хочет удержать и удержит, пусть совсем иными средствами.

Признав за переводчиком самобытность, можно надеяться на реальное вращение в нашу литературу возникшего на других языках. Для этого наряду с существующей издательской системой должна существовать и другая, не столь заорганизованная, в которой переводчики смогут сами определять, что им переводить и печатать. Сегодня за выходящей отдельным нарядным изданием работой безвестного прежде переводчика легко просматривается особое покровительство. А ведь печатать свои работы должны все, у кого они есть, чтобы народ мог выбирать. Уж, во всяком случае, это обязательно для профессиональных литераторов, каковыми принято считать членов Союза писателей. Маяковский писал: «Я себя советским чувствую заводом, вырабатывающим счастье». А нынче вроде признано, что для повышения качества продукции заводам нужна большая самостоятельность.

Понятно, одна самостоятельность качества не обеспечивает, и рядом с призывами к ней не зря стоят призывы к повышению ответственности. Гарантированная оплата, не зависящая от читательского спроса, служит поэзии дурную службу. Куда плодотворней печатать без гонорара (как печатаются многие научные статьи), небольшими тиражами (скажем, тысяча экземпляров) книги, созданные переводчиками, как, впрочем, и сочинителями, на свой страх и риск, с тем, чтобы гонорар выплачивался лишь тогда, когда в ответ на отклики публичной критики или прямые запросы читателей и торговли, сообразно с ними выпускают дополнительный тираж. И разумнее бы выплачивать гонорар за каждый проданный, а не просто за общее число напечатанных экземпляров.

Спросят, зачем же печатать плохой перевод даже и малым тиражом? Да затем, чтобы не печатать его сразу массовым, выплачивая за халтуру или неудачу деньги, положенные за книгу, нужную людям. Затем, что, кроме воистину общественного испытания, в литературе нет способа отличить, что хорошо и что дурно.

Мы повторяем «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Но не обязательно же сразу ее продавать, можно для начала и даром отдать. И как только появится возможность печататься даром, куда легче станет отличать переводчика-дельца («языконосец» он или «рифмоносец») от переводчика-поэта. И сразу вспомнится, сколь многообразны пути поэтов к художественности перевода. Одним шла Мария Петровых, не знавшая армянского языка, но полюбившая и понявшая Армению, поныне ей благодарную. Другим — Иван Кашкин, читавший по-английски новую американскую прозу и поэзию и открывший их русскому читателю. Укрепи мы самостоятельность и ответственность переводчика, сразу обнаружится, что и сегодня не все в нашем переводческом искусстве так безнадежно, как можно решить по грудам не раскупающихся книг.

К сожалению, даже подтвержденные многолетней практикой правила арифметики опрокидываются, если кому-то невыгодно их соблюдать. Группам, охраняющим свою монополию на доступ к государственному карману и страшущимся открытого состязания, соблюдать их невыгодно. А поскольку такие группы достаточно уверены в себе, чтобы посягать и на самые элементарные истины, о них приходится неустанно напоминать.

Место и время публикации

1. Почему я не хунвейбин? 1967. Публикуется впервые.
2. По поводу незаменимости. 1984. Публикуется впервые.
3. «Классика и мы». 1977. Toronto Slavic Quarterly № 20, 2007
4. В защиту Чацкого. 1980. Прибавление к написанному. 1983, Публикуется впервые.
5. Смысл притчи. Литературное обозрение, №3, 1983.
6. Непреднамеренность гения. 1984. Публикуется впервые.
7. Социальная почва романтизма. 1970е годы. Toronto Slavic Quarterly №24, 2008
8. Романтизм и его исследователь. Звезда №1, 1975
9. Памяти Н.Я.Берковского (Выступление на вечере памяти Н.Я.Берковского), апрель 1986

II

10. Деревенский человек. Июль 1965. Публикуется впервые.
11. Актуальность вчерашней газеты. НМ №3 1969
12. Решения, от которых не уйти. Нева, 37 1972
13. За кого Чонкин? КО №42, 21.10.88
14. Недостоверное опознание. ЛГ №34 1996
15. Старые письма. ЗР №64, 18.5.2000
16. Пропущенные уроки. Нева, №7 1987
17. Мифология, как принцип. Нева, №11 1989

III

18. Знать своих героев! КО №9 26.2.1988
19. Единый счет. КО №№31-32, 29.7 и 5.8. 1988
20. Смятение и звуки. КО №45 11.11.1988
21. Идолопоклонство или гласность? КО №3 1989,
22. Культ безличности. КО №47 25.11.1988
23. Правда не по букварю. Невское время, №133, 15.7.1994
24. Новые песни Кантора. 2007. Публикуется впервые.
25. С надеждой на лютые зимы. Toronto Slavic Quarterly №19, 2007

IV

26. И это было правильно? КО №36 7.9. 1990
27. Зачем мы пишем? КО №8 24.2.1989
28. Принадлежит народу. КО №6 5.2.1988
29. Что почем? КО №14 1.4. 1988
30. Круги художественного кровообращения. Искусство Ленинграда №2 1989
31. Книга и государство. ЗР №80 7.9.2000
32. Книга и читатель. ЗР №81 14.9. 2000
33. Вопросы о культуре. Интервью. 1.8. 1990
34. Ни один идеал не может быть единственным. Советская

музыка №4 1989

35. Выступление на похоронах В.М.Глинки. 1983
36. Он прожил не зря. In memoiam. Я.С.Лурье, «Феникс», 1997.
Опора самосознания. ЧП №175, 26.11.1997

V

37. Современная трагедия. Октябрь 1956. Публикуется впервые.
38. Пределы преискуранта. Смена, 24.2.1974.
39. Булгаков среди перемен. 1980. Публикуется впервые.
40. Святые и святоши. 1981. Публикуется впервые.
41. Казарма в храме. Февраль 1983. Публикуется впервые.
42. Профессиональные парадоксы. Нева №3 1986
43. Памяти Эфроса. Январь 1987. Публикуется впервые.
44. Крушение Креона. Новое время, №44, 1996
45. Надежда была. ЗР №94 14.12. 2000

VI

46. Преображение. Звезда, №4 1966
47. «Что пользы, если Моцарт будет жив?» Звезда, №9 1968
48. Шарль Бодлер, Цветы зла. Звезда, №5 1971
49. Дважды рожденное. В мире книг, №9 1974
50. Только арифметика. ЛГ №44.29. 10. 1986

Сокращения: ЗР – За рубежом (Тель-Авив), КО – Книжное обозрение (Москва), ЛГ – Литературная газета (Москва). НМ – Новый мир (Москва)